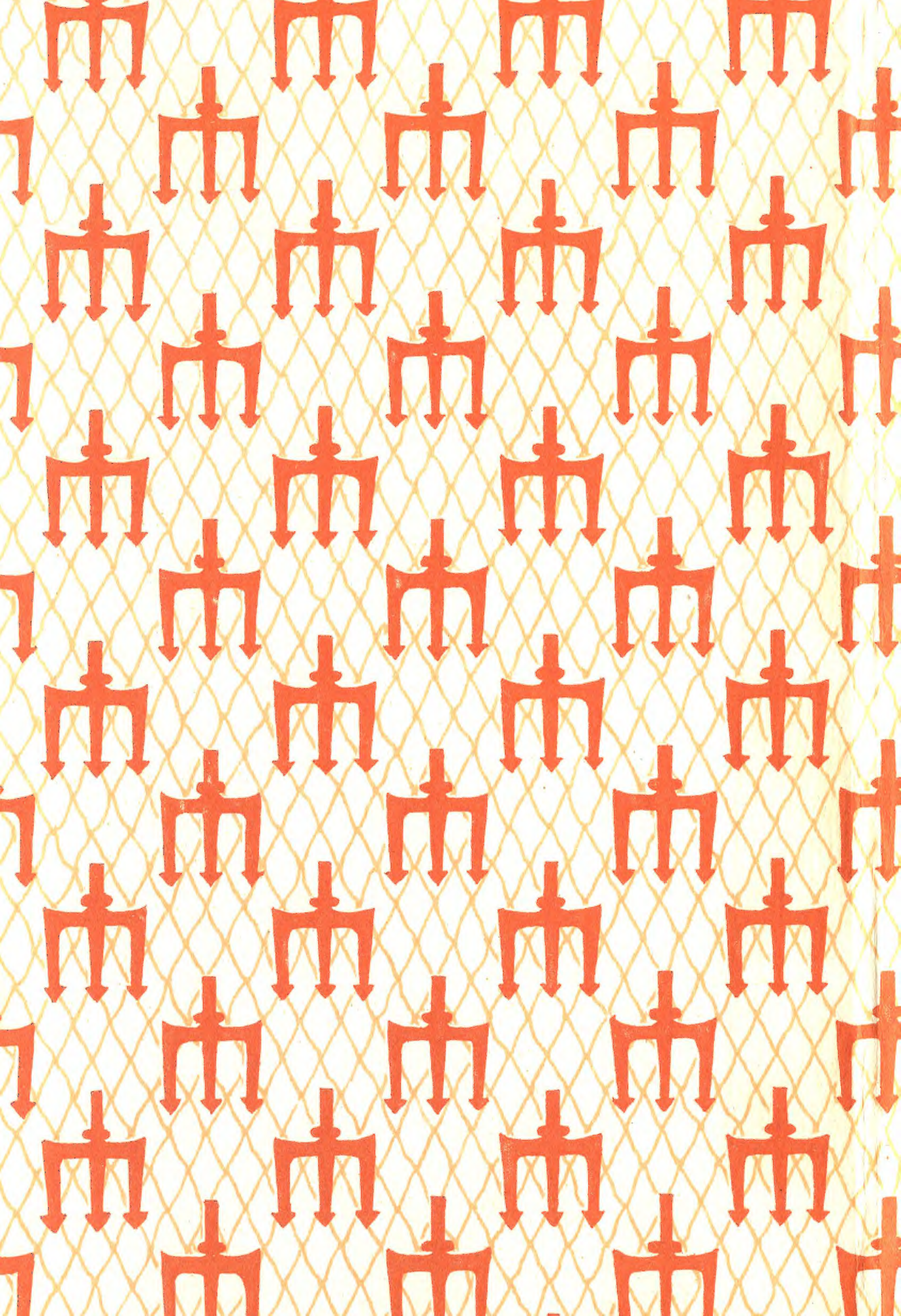
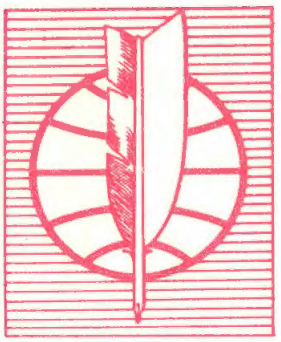
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ

СПАРТАК





БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

РАФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ

Спартак

Роман

●

Перевод с итальянского

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1976

И(Ит)
Д42

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

RAFAELLO GIOVAGNOLI

SPARTACO

1874

Перевод
А ЯСНОЙ

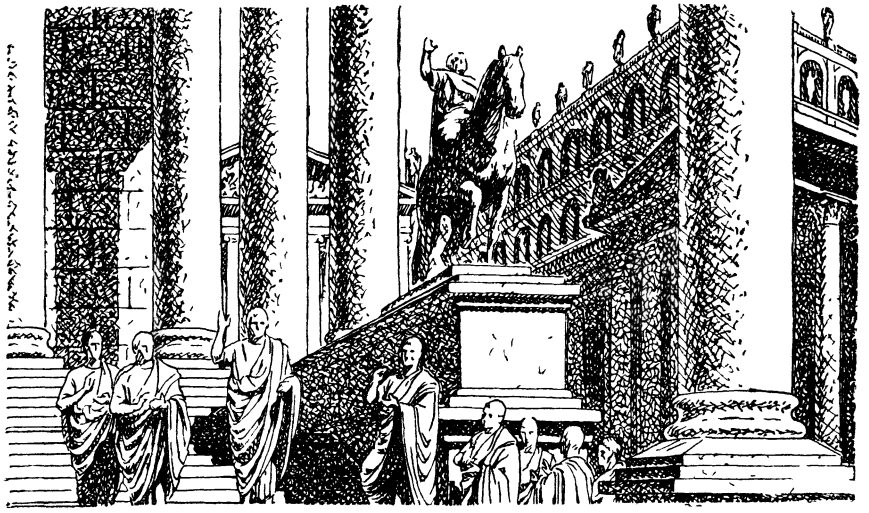
Предисловие
С УТЧЕНКО

Оформление серии
Б А ДЕХТЕРЕВА

Рисунки
Л И. ФАЛИНА

Д $\frac{70803-598}{M101(03)76}$ Подп. изд.

© Предисловие Оформление Иллюстрации
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.



РИМ И ВОССТАНИЕ СПАРТАКА

Восстание Спартака, о котором рассказывается в этой книге, происходило более двух тысяч лет тому назад в Риме.

Теперь, если мы произносим слово «Рим», мы имеем в виду известный город, столицу Италии. Но в те далекие времена, когда происходило восстание Спартака, под Римом подразумевался не только сам город, но и могущественное государство, которое по географическим понятиям того времени вполне можно было считать мировым государством.

Разумеется, мировое римское государство возникло не сразу. По широкоизвестной древней легенде город Рим был основан в середине VIII века до н. э. Кстати сказать, новейшие археологические раскопки на территории города примерно подтверждают эту датировку. Сначала Рим представлял собой очень небольшое поселение полудеревенского типа на берегу реки Тибр. Но город оказался расположенным в удачном месте, он быстро рос, население его увеличивалось.

Римляне оказались очень воинственным, агрессивным народом. В течение V—III веков до н. э. они вели почти непрерывные войны на территории Италии. В результате этих войн вся страна подчинилась Риму и он превратился в крупное государство. Но римляне этим не удовлетворились: из-за острова Сицилия они начали борьбу с другим крупнейшим государством Средиземного моря — Карфагеном. Город Карфаген был расположен на северном побережье Африки (в районе современного города Туниса), но его власть простиралась на ряд крупных островов Средиземного моря и на значительную часть территории Испании.

Римляне вели три войны с Карфагеном, которые в общей сложности продолжались, правда с довольно большими перерывами, более ста лет. В конечном счете этот наиболее могущественный соперник Рима был окончательно сокрушен, а самый город Карфаген римляне взяли штурмом, разрушили, сожгли и всех уцелевших жителей продали в рабство.

В довольно длительном интервале между второй и третьей войной против Карфагена римляне проникли в восточную часть Средиземноморья: сначала на Балканский полуостров, где они подчинили себе Грецию и Македонию, а затем и на территорию Малой Азии. Короче говоря, к началу I века до н. э. Рим стал безусловным господином и хозяином всего Средиземноморья, как западного, так и восточного, а по тем временам это и значило стать государством мирового масштаба.

В ходе всех этих войн в Риме сложилась опытная, закаленная, обладавшая очень высокими боевыми качествами армия. Римское войско подразделялось на легионы, состав которых с течением времени менялся (от 4200 до 6000 человек). Каждый легион делился на 30 боевых единиц-манипулов; в каждом манипуле было две центурии (сотни). Кроме того, на флангах каждого легиона располагалась конница и легковооруженная пехота, на долю которой обычно выпадала обязанность начинать сражение.

Командный состав римской армии делился на высший и низший. К высшему принадлежали консулы, которые были главнокомандующими, а также военные трибуны. В низшем командном составе основным чином был командир сотни — центурион. В ранний период римское войско состояло из четырех легионов и распадалось на две консульские армии. Таким образом, каждый консул командовал двумя легионами, когда же обе армии объединялись, консулы, по римскому обычаю, командовали поочередно. В более позднее время этот порядок соблюдался редко, а число легионов в армии доходило до нескольких десятков.

Характерной особенностью римской военной тактики было устройство укрепленного лагеря. Место, где останавливалось римское войско хотя бы на одну ночь, непременно окружалось рвом и валом и таким образом принимало вид крепости. Лагерные укрепления исключали нападение врага врасплох, в лагере войско всегда могло укрыться, если было необходимо перейти к обороне.

В римской армии царила железная дисциплина. Порядок и повиновение командиру ставились превыше всего, за невыполнение приказа полагалась смертная казнь. Из поколения в поколение передавался рассказ о том, как консул Манлий Торкват казнил своего собственного сына, который вступил в схватку с вражеским полководцем, победил его, но тем самым нарушил запрет консула. Не менее жестоко каралась и трусость. Если отряд римской армии бежал с поля боя, то проводилась так называемая децимация: провинившийся отряд выстраивали и каждый десятый по фронту подвергался смертной казни.

Но зато воины, отличившиеся на поле боя, получали в награду венки, различные золотые украшения. Полководцу, одержавшему крупную победу, давался титул императора и назначался триумф, т. е. торжественный въезд в Рим на колеснице, запряженной белыми конями, во главе победоносного войска. Такова была римская военная организация, которая обеспечила Риму его победы над другими племенами и народами и привела, в конечном счете, к установлению римского господства над всем древним миром.

В результате захватнических войн в Рим хлынули огромные богатства. Во-первых, это была военная добыча, которая после каждого удачного сражения, похода, взятия городов доставалась каждому солдату, не говоря уже о командирах, и обогащала их. Римские полководцы очень любили демонстрировать военную добычу во время своих триумфов. Так, например, знаменитый историк Плутарх рассказывает об одном триумфе, который длился три дня, причем в течение этих дней непрерывно проносили и везли на колесницах драгоценное вооружение, произведения искусства, огромные сосуды, наполненные золотой и серебряной монетой. Во время другого триумфа демонстрировалась такая добыча: 1230 слоновых клыков, 234 золотых венка, 137 тысяч фунтов (римский фунт равен 327 г) серебра, 140 тысяч золотых македонских монет, 224 тысячи серебряных греческих монет, большое количество изделий из золота и серебра. Конечно, до нас дошли описания только немногих триумфов, но и то, что сохранилось, дает возможность представить огромные размеры добычи после каждого удачного похода или даже сражения.

Но кроме военной добычи такого рода, римское государство обогащалось за счет контрибуций, которые накладывались в конце войны на побежденные народы. Общая сумма этих контрибуций непрерывно росла. Так, например, после первой войны с Карфагеном римская казна получила 3200 талантов (талант — около 2400 рублей золотом) контрибуции, а после второй войны контрибуция равнялась уже 10 тысячам талантов. Однако римские завоевания приводили не только к захвату добычи и росту контрибуций.

Все завоеванные Римом земли и государства (вне территории самого Апеннинского полуострова) превращались в так называемые провинции, облагались крупными налогами и подвергались самой беспощадной эксплуатации. В конце II века до н. э. Рим владел девятью провинциями, среди них: Сицилия, Корсика, Сардиния, часть Галлии, Испания, Македония, часть Малой Азии.

Кроме денег, кроме золота и серебра, различного рода драгоценных изделий, произведений искусства, редких заморских товаров и предметов роскоши, в Рим хлынули теперь огромные массы живого товара — рабов. Большое количество пленных продавалось в рабство. Уже упоминалось, что после взятия и разрушения Карфагена все жители города были обращены в рабов. За несколько лет до этого римский консул, подчинивший себе ряд городов Эпира—области на северо-западном побережье Балканского полуострова, продал в рабство 150 тысяч пленных. Римские историки неоднократно сообщают о продаже пленников и другими римскими полководцами.

Торговля рабами ширилась и процветала. Кстати, большое количество невольников доставлялось на рабские рынки пиратами, которые почти беспрепятственно орудовали в Средиземном море. В различных частях римского государства действовали рабские рынки, особенно славился рынок на острове Делос. Там шла крупная оптовая торговля и бывало, что продавалось до 10 тысяч рабов в день. Здесь можно было купить раба любой профессии, какой угодно национальности. Обычно работорговцы поджидали приставшие к острову корабли и оптом закупали живой товар.

В Риме тоже существовал невольничий рынок — на площади у храма Кастора. Он выглядел так: на помост выводили мужчин, женщин, юношей, девушек и даже маленьких детей. Все они были почти полностью раздеты, чтобы покупатель мог своими глазами убедиться в отсутствии физических недостатков. У всех выставленных на продажу на шее висели дощечки, а на дощечках было написано имя, возраст, а иногда и национальность ра-

ба. У многих на головах красовались лавровые венки, ноги были натерты мелом или гипсом.

Так как молодые и здоровые рабы, естественно, ценились дороже, то продавцы всячески старались придать им наиболее привлекательный вид — натирали тело скипидаром, завивали волосы, выщипывали седину, иногда наряжали в яркие национальные одежды. Продавец был обязан объявлять о недостатках продаваемых им рабов, если же он не хотел этого делать, то обязан был надевать рабу на голову белый шерстяной колпак, и тогда уже покупатель приобретал раба на свой риск и страх. Разумеется, такой раб ценился гораздо дешевле.

А вообще цены на рабов были самые различные и зависели от многих условий. В период крупных завоеваний цены падали и раба можно было купить «по дешевке». Так, после захвата Сардинии в Риме даже существовала поговорка «дешев, как сард»; очень упали цены на рабов после подчинения ряда государств Малой Азии. Образованные рабы или имевшие редкую специальность всегда ценились дорого. А за искусных, опытных поваров или за красивых и хорошо обученных танцовщиц римские богачи платили огромные деньги.

Рассказывали про такой случай. Один ловкий работорговец продал знатному и богатому римлянину двух детей редкой красоты, которые были так похожи друг на друга, что он объявил их близнецами. Буквально на следующий день выяснилось, что дети не только не близнецы, но что они говорят на разных языках и родились в разных странах. Тогда разъяренный римлянин велел разыскать продавца, который так его одурачил. Продавец явился, сказал, что он согласен вернуть деньги и забрать детей обратно, но тут же добавил: «Я продам их снова и значительно дороже — ведь в том, что близнецы похожи друг на друга, нет ничего удивительного, а вот полнейшее сходство между детьми, родившимися в разных странах, это действительно удивительный и редчайший случай!» Дело кончилось тем, что покупатель, убежденный этими словами, не только оставил детей у себя, но еще гордился тем, что приобрел их очень дешево и удачно.

Именно в это время Рим превращается в настоящее рабовладельческое государство. Общая численность рабов непрерывно росла, рабский труд использовался в самых различных отраслях хозяйства. Руками рабов возделывалась земля, добывалась руда, строились дороги, водопроводы, общественные здания. На мельницах и в пекарнях, в ремесленных мастерских и домашнем хозяйстве — везде применялся труд рабов.

Рабы, принадлежавшие более или менее крупным владельцам, делились обычно на две категории: сельская фамилия и городская фамилия. Положение этих «фамилий» было неодинако-

вым. В городскую фамилию входили в основном образованные и квалифицированные рабы (домашние учителя, писцы, повара, танцовщицы и т. д.) и домашняя прислуга, в сельскую фамилию — земледельцы, садовники, пастухи, частично ремесленники. Положение рабов, занятых в сельском хозяйстве, было очень тяжелым. Часто можно было наблюдать такую картину: несколько сот рабов, двигаясь рядами, вскапывают землю мотыгами под наблюдением надсмотрщика, восседающего верхом на коне. Розга, плеть, ремень — вот те средства, при помощи которых он подгоняет тех, кто, по его мнению, работает недостаточно усердно. Очень часто провинившихся в чем-либо рабов высылали на работу в кандалах; в каждом крупном имении римских рабовладельцев имелось специальное помещение, так называемый эргастул — тюрьма для закованных рабов. Размещалась она обычно в подвале.

Скованные тяжелыми железными цепями, с заклейменными лбом и руками, рабы с восходом солнца шли на свою работу, продолжали ее до позднего вечера и совершенно измученные, еле держась на ногах, добирались до эргастула, чтобы свалиться на солому и проспать несколько часов.

От каторжного труда, постоянного недоедания, от ужасных условий жизни рабы умирали десятками, но это совсем не заботило их хозяев. Живой товар был так дешев, что проще и выгоднее было купить на рынке новых рабов, чем увеличивать расходы на содержание старых.

Недаром известный римский писатель и ученый Теренций Варрон установил такую классификацию сельскохозяйственного инвентаря: орудия немые — соха, плуг, грабли и т. д.; орудия полунемые — рабочий скот и орудия говорящие — рабы. Раб действительно считался не личностью, а лишь вещью, целиком принадлежащей своему хозяину, «одушевленным орудием». Поэтому все рабы, независимо от того, чем они занимались и где они находились — в городе или деревне,— были абсолютно бесправны, т. е. не имели ни политических, ни гражданских прав. Хотя они и жили в римском государстве, но государство не признавало и не защищало их — они душой и телом принадлежали своим владельцам, которые могли их покупать, продавать, наказывать, убивать, и все это совершенно бесконтрольно и совершенно безнаказанно.

Но если положение рабов, используемых в сельском хозяйстве, было столь тяжелым, то еще более тяжелым и гораздо более опасным для жизни было положение тех рабов, которых делали гладиаторами. Гладиаторами становились военнопленные, обращенные в рабство, осужденные преступники, дезертиры, рабы, пойманные при попытке к бегству. Иногда это были рабы, по-

просту отдаваемые своими хозяевами внаем владельцам гладиаторских школ, разумеется, за хорошую плату.

Гладиаторские бои были одним из наиболее любимых зрелищ и развлечений римского народа. Сначала эти бои происходили только на похоронах знатных римлян, и первый из известных нам боев, в котором участвовало всего три пары гладиаторов, происходил в 264 году до н. э., т. е. тогда, когда началась первая война с Карфагеном. Через несколько лет происходили бои, в которых уже участвовало 20—25 пар гладиаторов, а в 174 году до н. э. один из знатных римлян устроил пышные похороны своему отцу и выпустил 74 гладиатора, которые бились друг с другом в продолжение трех дней. Постепенно гладиаторские игры стали устраиваться во время различных праздников. Многие знатные и богатые римляне, искавшие популярности, не жалели никаких затрат на организацию и проведение гладиаторских игр. Но в этом, пожалуй, всех превзошел Юлий Цезарь. В 65 году он организовал на свои собственные средства выступление 320 пар гладиаторов, и все они бились в серебряных доспехах.

Гладиаторские игры обычно начинались торжественным шествием участников. Многие из них выступали в своей национальной одежде и имели вооружение своего народа. Самниты, например, сражались короткими прямыми мечами и были прикрыты большими четырехугольными щитами, а фракийцы, наоборот, имели искривленные мечи и маленькие выпуклые щиты. Среди гладиаторов были так называемые мирмиллоны, вооруженные мечом, щитом и защищенные еще латами, или ретиарии, все вооружение которых состояло из сетки и трезубца.

На арене гладиаторы бились парами и группами. Зрители поощряли сражающихся криками, указаниями, советами. Когда гладиатор падал раненным, победитель ставил ему на грудь ногу и ожидал решения судьбы своего противника от зрителей. Если зрители хотели пощадить побежденного, то они махали платками или поднимали вверх правую руку, и тогда побежденный гладиатор отпускался с арены живым. Протянутая же вперед рука с опущенным вниз большим пальцем означала для побежденного смертный приговор. Те гладиаторы, которые, по мнению зрителей, держались во время боя недостаточно храбро, возбуждали ярость и презрение, и толпа по отношению к ним бывала беспощадна.

Часто гладиатору, удачно выступавшему в групповом бою, приходилось под конец иметь дело с двумя-тремя противниками. По окончании боя особый служитель обходил убитых и вонзал в них раскаленный прут, чтобы убедиться, действительно ли они мертвы. Затем другие служители в масках крюками уволакивали трупы с арены.

Иногда, чтобы зрелище было эффектнее, бои гладиаторов проводились ночью, при свете факелов, иногда гладиаторы сражались верхом на конях или даже на колесницах. Все гладиаторы проходили специальную и довольно длительную подготовку, специальный курс обучения в особых гладиаторских школах. Вот в одной из таких школ, в городе Капуе, на юге Италии, и началось знаменитое восстание под руководством Спартака.

* * *

Восстание Спартака вовсе не первое восстание рабов в истории Рима. Сначала это были, конечно, отдельные, разрозненные выступления, имевшие местное значение. Римский историк Тит Ливий кратко упоминает о каком-то заговоре рабов еще во время второй войны с Карфагеном. Он же рассказывает о гораздо более крупном выступлении рабов в области на севере Италии, Этрурии, в 196 году до н. э., причем на подавление этого восстания был брошен целый легион регулярных войск. Еще через десять лет на юге Италии, в Апулии, восстали рабы-пастухи. Подробности нам неизвестны, но, видимо, восстание было массовым, потому что подавлявший его римский полководец приговорил к смертной казни 7 тысяч человек, однако многие, как говорится у Тита Ливия, «спаслись бегством».

Первое, действительно грандиозное восстание, которое уже сами римляне называли «рабской войной», вспыхнуло в 138 году (или в 136 г.) в Сицилии, продолжалось до 132 года и охватило территорию всего острова. Движение началось с заговора, возникшего в имении крупного рабовладельца Дамофила, известного крайне жестоким обращением со своими рабами. Сначала число восставших было невелико — около 400 человек, но когда рабам неожиданно удалось захватить довольно крупный город Энну, восстание начало быстро распространяться.

Во главе восставших оказался талантливый организатор по имени Евн — раб-сириец; вскоре он даже был провозглашен царем. Впервые в истории возникло государство, созданное рабами. Оно было названо Новосирийским царством — ведь большинство восставших рабов были по происхождению сирийцами.

Восстание продолжало разрастаться, к Энне присоединялись другие города и области. Число участников восстания достигло 200 тысяч человек. Несколько крупных отрядов римских войск, посланных на подавление восстания, было разгромлено, и только когда против восставших выступили консульские армии, восстание удалось подавить ценой больших потерь. Но отзвуки этого восстания прокатились по всему греко-римскому миру: древние историки рассказывают об отдельных вспышках и вы-

ступлениях рабов как на территории Италии, так и в Греции и даже на островах Эгейского моря, например на острове Делосе.

Через неполных тридцать лет после разгрома Новосирийского царства на территории той же Сицилии вспыхнуло второе восстание рабов (104—101 гг. до н. э.). В разных частях острова образовалось несколько очагов движения, которые затем слились воедино. Борьба восставших с римскими войсками тоже была длительной и упорной, но все же силы были слишком неравны и римляне, в конечном счете, вышли победителями.

Восстание под руководством Спартака — самое крупное в истории восстание рабов (74—71 гг. до н. э.) — тоже началось с заговора сравнительно небольшой группы. В городе Капуе, в одной из гладиаторских школ, принадлежавшей некоему Лентулу Батиату, возник заговор, в котором приняло участие около 200 рабов-гладиаторов. Заговор был раскрыт, но кое-кому из участников удалось бежать из города. Их было совсем немного — всего 78 человек. Беглецы нашли приют на горе Везувий и избрали из своей среды трех вождей: Спартака, Крикса и Эномая.

Древние историки и писатели о последних двух вождях восстания ничего не сообщают. Поэтому, строго говоря, нам известны лишь их имена, да существует предположение, будто они были по своему происхождению галло-германцами. Что касается Спартака, то о нем какие-то биографические данные сохранились. Мнение некоторых ученых, что он якобы происходил из царского рода Спартокидов, не имеет никаких серьезных оснований. Он родился, видимо, во Фракии, служил когда-то в римских войсках, но затем бежал, был схвачен и в наказание отдан в гладиаторы. За свою храбрость он получил свободу, после чего был принят в школу Батиата преподавателем фехтования.

Спартак, несомненно, наиболее выдающийся из этих трех вождей восстания. Он обладал блестящими способностями организатора и военачальника. Плутарх писал даже, что Спартак отличался не только отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера «более походил на образованного эллина, чем на человека его племени». Римский историк Саллюстий характеризовал Спартака как «человека выдающегося и физическими силами и духом». Чрезвычайно интересен отзыв о Спартаке К. Маркса (в одном из его писем Ф. Энгельсу): «Спартак... является самым великолепным парнем во всей античной истории. Великий генерал... благородный характер, истинный представитель античного пролетариата»[1]. В. И. Ленин в своей лекции

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2, т. 30, с. 126.

«О государстве» говорил: «...Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет тому назад. В течение ряда лет всемогущая, казалось бы, Римская империя, целиком основанная на рабстве, испытывала потрясения и удары от громадного восстания рабов, которые вооружились и собрались под предводительством Спартака, образовав громадную армию» [1].

Мы не будем в данном случае останавливаться на освещении самого хода восстания. Оно достаточно подробно (иногда даже более подробно, чем это позволяют исторические данные!) изложено в романе Джованьоли. Поэтому обратим все наше внимание на итоги движения и его оценку.

Восстание приобрело такой размах, что Спартак, по выражению Плутарха, «стал уже великой и грозной силой». В период наивысшего подъема движения его армия насчитывала до 120 тыс. человек. После ряда блестящих сражений и побед над римскими полководцами, после удачных походов на север и юг Италии Спартак, обманутый пиратами, обещавшими организовать переправу его войска в Сицилию, вынужден был в 71 году в Апулии принять бой в условиях, явно неблагоприятных для восставших.

Как и рассказано об этом в книге Джованьоли, в упорной и кровопролитной борьбе армия Спартака потерпела поражение; сам Спартак, геройски сражаясь, пал на поле боя. Шесть тысяч рабов в знак торжества победителей были распяты на крестах, расставленных вдоль дороги, ведущей из Капуи — города, где началось восстание,— и вплоть до Рима. Восстание было подавлено, потоплено в крови, но отдельные отряды и группы восставших рабов бродили по Италии еще несколько лет.

Таковы итоги движения. Восстание рабов под руководством Спартака окончилось, как мы видим, поражением. И несмотря на это, оно имело огромное историческое значение. Восстание Спартака показало прежде всего, как далеко зашли, в какой степени обострились противоречия между двумя основными классами римского общества — рабами и рабовладельцами. Причем это восстание вспыхнуло на сей раз не где-то в отдаленных провинциях, а в самом центре римского государства и приобрело неслыханный еще размах и масштабы.

С другой стороны, восстание Спартака показало, что рабы не могли добиться решающей победы в то время. Ведь неслучайно не только это восстание, но и предшествующие ему движения рабов в Сицилии оканчивались неудачей. Во-первых, слишком велико было неравенство сил — римское государство располага-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 77.

ло первоклассной армией и неисчерпаемыми людскими резервами. Во-вторых, восставшие рабы выступали всегда стихийно — они не имели ясной политической цели и программы, они стремились к личному освобождению, но не к уничтожению рабовладельческого строя в целом и потому, по выражению В. И. Ленина, «...даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались пешками в руках господствующих классов» [1].

И наконец, восстание Спартака показало, что и в те отдаленные времена среди угнетенных и бесправных не только было живо, но и оказалось великой движущей силой стремление к самому простому и вместе с тем самому высокому общечеловеческому идеалу — к свободе. Поэтому непреходящее, неумирающее значение восстания рабов под руководством Спартака заключается в том, что — пусть стихийно, пусть без «программы» — огромные массы угнетенных и обездоленных поднялись на отчаянную, героическую борьбу за свободу, за независимость, за человеческое достоинство.

* * *

В заключение — очень коротко об авторе романа «Спартак» Джованьоли и об исторической достоверности самого романа.

Рафаэлло Джованьоли был активным участником того национально-освободительного движения, которое развернулось в Италии в 60—70-х годах прошлого века. В те времена Италия страдала от государственной раздробленности и от иноземного порабощения. Мелкие княжества и области, на которые распадалась страна, находились под властью австрийцев. Во владениях римского папы (так называемая Папская область) стояли французские интервенты.

С 1859 года начинается открытая революционная борьба итальянского народа против иноземных захватчиков, против светской власти римского папы, борьба за объединение Италии. В этой борьбе огромную роль сыграли патриотически настроенные отряды, руководимые национальным героем Италии Джузеппе Гарибальди.

Джованьоли был гарибальдийцем. Сначала он участвовал в качестве добровольца в войне против австрийцев, а затем, когда Гарибальди организовал поход против папского Рима, он вступил в его войска. Свой патриотизм и революционные убеждения Джованьоли перенес и в литературу. Он автор ряда исторических романов, из которых, однако, наибольшей популярностью всегда пользовался «Спартак». С момента своего выхода в свет

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 82.

в 1874 году книга неоднократно переиздавалась, была переведена на многие языки, в том числе и на русский.

Роман «Спартак» действительно написан очень красочно и увлекательно. Автор подробно, с живыми, яркими деталями рисует ход восстания, характеризует действующих лиц. Он великолепно изучил эпоху, в которую жили и действовали его герои. Его сочувствие всегда на стороне угнетенных. Все эти обстоятельства содействуют тому, что книга читается с огромным и захватывающим интересом, и недаром сам Гарибальди был от нее в восторге и писал автору, что прочел его роман «залпом».

Все это так, и многие достоинства романа Джованьоли бесспорны. Однако как всегда при чтении исторических повестей и романов, так и в данном случае встает один неизбежный вопрос: насколько автор близок к исторической действительности, какую роль играет в его произведении вымысел, в какой мере произведение в целом точно и достоверно?

Надо сказать сразу — поскольку Джованьоли занимался не научным исследованием, но писал роман, т. е. литературно-художественное произведение, он не был обязан слишком строго придерживаться исторических фактов. Он имел право помимо исторических лиц вводить в свое повествование чисто литературных, т. е. вымышленных героев, создавать какие-то новые ситуации, останавливаться на различных деталях и красочных подробностях. Другими словами говоря, писатель, автор исторических романов, конечно, пользуется большей свободой в обращении со своим материалом, чем любой историк.

Но вместе с тем писатель, избравший ту или иную историческую тему, не может и не должен слишком отрываться от действительности, от эпохи, от реальной обстановки. Своим правом на художественный вымысел писатель должен пользоваться умеренно и тактично. Кроме того, он, безусловно, должен хорошо знать тот исторический материал, который он берет в основу своего произведения, должен «вжиться» в изображаемую им эпоху, понять ее своеобразие, уловить ее аромат.

Насколько же отвечает всем этим условиям и требованиям роман Рафаэлло Джованьоли «Спартак»? Несомненно, автору, поскольку он прекрасно владеет своим материалом, многое удалось. К числу таких удач следует прежде всего отнести описание битв и сражений. Строго говоря, мы не знаем, как происходили на самом деле сражения между армией Спартака и римскими легионами. До нас не дошло никаких описаний этих сражений, но прекрасное знание местности, римского военного строя, римских обычаев дало возможность Джованьоли описать эти битвы весьма достоверно. Несомненно также, что писатель су-

мел вжиться в описываемую им эпоху и обстановку, передать ее особенности, выделить и подчеркнуть многие красочные детали. Однако наряду с этими бесспорными удачами в романе Джованьоли встречаются места, свидетельствующие о том, что стремление автора к чисто литературным эффектам берет верх над исторической достоверностью. Вот несколько наиболее характерных примеров.

Во-первых, Джованьоли явно преувеличивает политическую сознательность рабов, а следовательно, и цели их движения. Как уже было сказано, рабы в ту эпоху не выступали да и не могли выступать против рабовладельческого строя, против рабства как такового; они добивались лишь личного освобождения и не выдвигали более широких задач. В романе же Джованьоли рабы, и в первую очередь сам Спартак, высказывают такие мысли о рабстве, которые вполне могли прийти в голову Джованьоли, но не римскому рабу в I веке до н. э. Эти мысли о рабстве навеяны уже совершенно иной обстановкой — они зародились и получили распространение в эпоху буржуазных революций.

Не менее невероятно и то, что рассказывается в романе о связях Спартака с Юлием Цезарем и Катилиной. Такие связи и встречи вообще были абсолютно немыслимы, но уж совсем невероятно то, что Катилина и Цезарь якобы с сочувствием относились к заговору рабов, а Цезарь даже предупредил Спартака о раскрытии заговора. Все это не только абсолютно неправдоподобно, но даже противоречит известным нам историческим данным. Так, например, мы знаем, что несколько лет спустя, когда Катилина выступил против римского правительства и собирал войско для борьбы с Римом, к нему начали перебегать рабы, но он считал ниже своего достоинства обращаться к их помощи и категорически отказывался принимать их в армию.

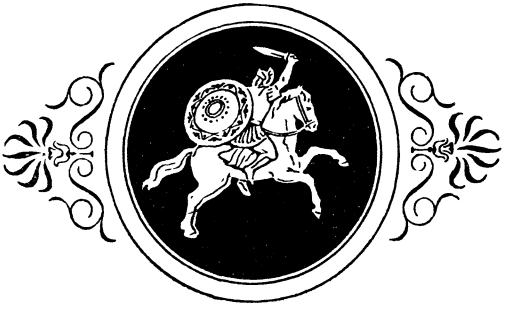
Далеко не бесспорно объяснение разногласий между Спартаком и его ближайшими соратниками, Криксом и Эномаем, предательством Эвтибиды и любовной интригой. Причина разногласий между восставшими рабами на самом деле нам неизвестна. Историки высказывали по этому поводу различные предположения, но вопрос остается нерешенным до сих пор. Но каковы бы ни были причины разногласий в армии Спартака, они, безусловно, серьезнее и глубже, чем это изображает в своем романе Джованьоли.

И наконец следует сказать, что проходящая через весь роман история любви Спартака и Валерии (жены, а затем вдовы Суллы) целиком вымышлена автором и не может считаться достоверной. Эта линия введена Джованьоли (как и история с Эвтибидой) для «романтизации» повествования и никакого соответствия с исторической действительностью не имеет.

Таковы необходимые пояснения к роману с точки зрения историка. Но, как уже было отмечено выше, Джованьоли не историк, а писатель прежде всего и потому вправе не столь строго придерживаться фактов. Поэтому достоинства романа следует искать в живом, ярком и убедительном рассказе автора об одном из самых героических эпизодов всемирной истории — восстании рабов и их борьбе за свободу.

С. Утченко

СПАРТАК



RACONTO STORICO DEL SECOLO VII DELL' ERA ROMANA

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ ИЗ VII ВЕКА РИМСКОЙ ЭРЫ

Капрера, 25 июня 1874 г.

Дорогой мой Джованьоли,

Я залпом прочел вашего «Спартака», несмотря на то, что у меня совсем нет времени для чтения; я от него в восторге и восхищен вами.

Надеюсь, что наши сограждане оценят великие достоинства этого произведения и, читая его, убедятся в необходимости сохранять непоколебимую стойкость, когда речь идет о борьбе за святое дело свободы.

Вы, римлянин, описали не лучший, но наиболее блестящий период истории величайшей республики — период, когда надменные властелины мира начинали уже погрязать в тине порока и разврата, но, несмотря на то, что это поколение было источено испорченностью и разложением, оно породило исполинов, равных которым не было ни у одного из предыдущих поколений, ни у одного народа и ни в одну эпоху.

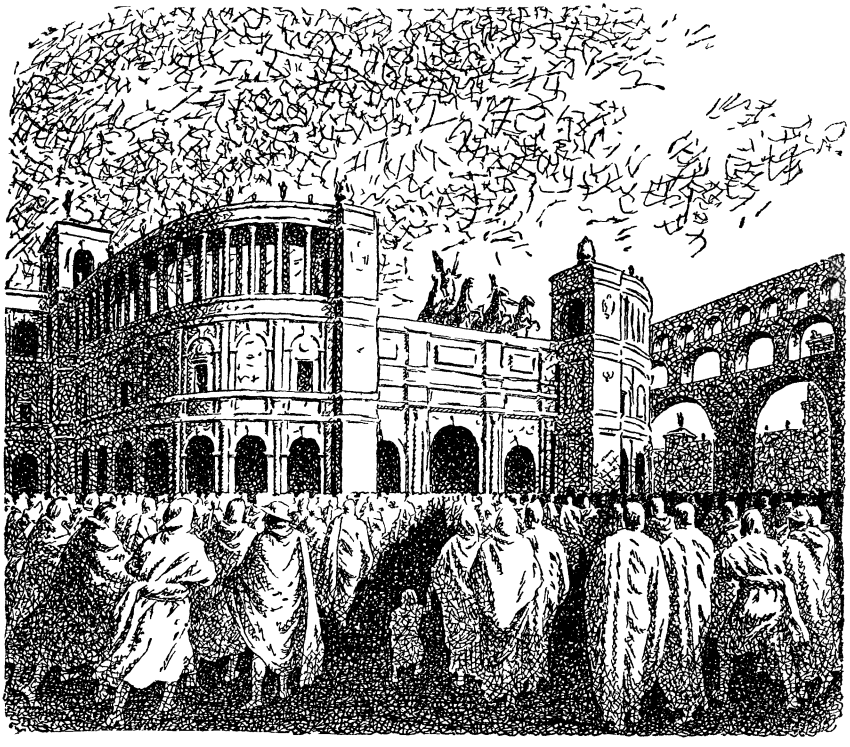
«Из всех великих людей величайшим был Цезарь»,— сказал знаменитый философ. И действительно, деяния Цезаря возвеличили описанную вами эпоху.

Вы изваяли Спартака, этого Христа — искупителя рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб, получивший свободу, благодарю вас за это, а также за то глубокое волнение, которое я испытал, читая ваше произведение.

Не раз слезы катились из глаз моих, не раз чудесные подвиги рудиария приводили меня в волнение, и я был немало огорчен тем, что ваша повесть оказалась такой краткой.

Пусть же воспрянет дух наших сограждан при воспоминании о великих героях, почивших в нашей родной земле, земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ.

Неизменно ваш
Джузеппе Гарибальди



Глава первая

ЩЕДРОТЫ СУЛЛЫ

За четыре дня до ноябрьских ид[1] (10 ноября) в 675 году римской эры[2], в период консульства Публия Сервилия Ватия Исаврийского и Аппия Клавдия Пульхра, едва только стало светать, на улицах Рима начал собираться народ, прибывавший из всех частей города. Все шли к Большому цирку[3]

---

[1] Иды — по римскому календарю середина месяца пятнадцатый день марта, мая, июля и октября и тринадцатый день остальных месяцев (Здесь и далее примечания Д. Узина.)

[2] Римская эра — летосчисление «со дня основания города Рима» (753 год до н. э.) 675 год римской эры — то есть 78 год до нашей эры по новому летосчислению.

[3] Большой цирк построен, по преданию, легендарным римским царем Тарквинием Древним. Находился между Палатинским и Авентинским холмами, в нем помещалось сто пятьдесят тысяч зрителей.

Из узких, кривых, густо населенных переулков Эсквилина[1] и Субуры[2], где жил преимущественно простой люд, валила разношерстная толпа, люди разного возраста и положения; они наводняли главные улицы города — Табернолу, Гончарную, Новую и другие,— направляясь в одну сторону — к цирку.

Ремесленники, неимущие, отпущенники, покрытые шрамами старики гладиаторы, нищие, изувеченные ветераны гордых легионов[3] — победителей народов Азии, Африки и кимвров[4], женщины из простонародья, шуты, комедианты, танцовщицы и стайки резвых детей двигались нескончаемой чередой. Оживленные лица, беззаботная болтовня, остроты и шутки свидетельствовали о том, что люди спешат на всенародное излюбленное зрелище.

Вся эта пестрая и шумливая многочисленная толпа наполняла великий город каким-то неясным, смутным, но веселым гулом, с которым могло бы сравниться лишь жужжание тысяч и тысяч ульев, расставленных на улицах.

Римляне сияли от удовольствия; их нисколько не смущало небо, покрытое серыми, мрачными тучами, предвещавшими дождь, а никак уж не хорошую погоду.

С холмов Латия[5] и Тускула[6] дул довольно холодный утренний ветер и пощипывал лица. Это легко было заметить по тому, как некоторые из граждан натянули на головы капюшоны плащей, другие надели широкополые шляпы или круглые войлочные шапки; мужчины старались закутаться поплотнее в зимние плащи и тоги[7], а женщины — в длинные просторные столы[8] и паллии[9].

---

[1] Эсквилин — самый большой и высокий из семи холмов, на которых стоял город Рим. Один из кварталов города.

[2] Субура — район Рима в долине между холмами Эсквилином, Квириналом и Виминалом и улица того же названия, весьма людная и оживленная.

[3] Легион — крупнейшее войсковое соединение в римской армии численностью от пяти до шести тысяч воинов.

[4] Кимвры — германское племя. В 113—105 гг. до н. э., соединившись с тевтонами и кельтскими племенами, они нанесли римлянам ряд поражений. Римский полководец Марий разбил тевтонов при Аквах Секстиевых в 102 году до н. э., а в 101 году до н. э. одержал победу над кимврами в Северной Италии, при Верцеллах. Битва закончилась почти полным уничтожением кимвров.

[5] Латий.— Обитатели Рима принадлежали к племени латинов (отсюда и язык, на котором говорили римляне, получил название латинский), жившем в долине между реками Тибром и Апионом, Апеннинским хребтом и Тирренским морем. Эта область называлась Латием.

[6] Тускул — древний город Латия (ныне Фраскатти).

[7] Тога — римская гражданская верхняя одежда, обычно белая; ее носили по достижении совершеннолетия. Тогу с пурпурной каймой носили дети полноправных граждан и высшие сановники.

[8] Сто́ла — длинное, просторное платье римских женщин.

[9] Паллий — просторный плащ, вообще верхнее платье.

Цирк, построенный в 138 году от основания Рима первым из царей Тарквинием Древним, после взятия Апиол был расширен и разукрашен последним из царей, Тарквинием Гордым; он стал называться Большим с 533 года римской эры, когда цензор [1] Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем.

Большой цирк, воздвигнутый в Мурсийской долине между Палатинским и Авентинским холмами, к началу описываемых событий еще не достиг того великолепия и тех обширных размеров, какие придали ему впоследствии Юлий Цезарь и Октавиан Август [2]. Все же это было грандиозное и внушительное здание, имевшее в длину две тысячи сто восемьдесят и в ширину девятьсот девяносто восемь римских футов; в нем могло поместиться свыше ста двадцати тысяч зрителей.

Цирк этот имел почти овальную форму. Западная часть его была срезана по прямой линии, а восточная замыкалась полукругом. В западной части был расположен оппидум — сооружение с тринадцатью арками; под средней находился главный вход — так называемые Парадные ворота. Из них перед началом ристалищ на арену выходила процессия жрецов, несших изображения богов. Под остальными двенадцатью арками расположены были конюшни, или «камеры», куда ставили колесницы и лошадей, когда в цирке происходили бега. В дни кровопролитных состязаний, любимого зрелища римлян, там находились гладиаторы и дикие звери. От оппидума амфитеатром шли многочисленные ряды ступенек, служивших скамьями для зрителей; ступеньки пересекались лестницами: зрители всходили по ним, чтобы занять свои места. К этим лестницам примыкали другие, по которым народ направлялся к многочисленным выходам из цирка.

Вверху ряды скамей оканчивались аркадами, предназначенными для женщин, которые пожелали бы воспользоваться этим портиком.

Против Парадных ворот устроены были Триумфальные ворота, через которые входили победители, а с правой стороны оппидума были расположены Ворота смерти; через эти мрачные ворота служители цирка при помощи длинных багров убирали с аре-

---

[1] Цензоры — должностные лица, ведавшие цензовой переписью имущества граждан в целях взимания налогов, отдачей на откуп государственных доходов, составлением списков сенаторов и надзором за благонравием населения.

[2] Октавиан Август (63 г. до н. э.— 14 г. до н. э.) — двоюродный племянник Юлия Цезаря, усыновленный им. В результате длительной гражданской войны Август захватил в свои руки высшую власть в Риме, уничтожил республиканский строй и установил монархию (с 27 года до н. э.).

ны изуродованные и окровавленные тела убитых или умирающих гладиаторов.

На площадке оппидума находились скамьи для консулов[1] и высших должностных лиц, для весталок[2] и сенаторов[3], тогда как остальные места ни для кого особо не предназначались и не распределялись.

По арене между оппидумом и Триумфальными воротами тянулась низкая стена длиной приблизительно в пятьсот футов, именовавшаяся хребтом; она служила для определения дистанции во время бегов. На обоих ее концах было несколько столбиков, называемых метами. На середине «хребта» возвышался обелиск солнца, а по обеим его сторонам располагались колонны, жертвенники и статуи, среди которых выделялись статуи Цереры и Венеры Мурсийской.

Внутри цирка по всей его окружности шел парапет высотой в восемнадцать футов; он назывался подиумом. Вдоль него пролегал ров, наполненный водой и огороженный железной решеткой. Все это предназначалось для охраны зрителей от возможного нападения диких зверей, которые свирепствовали на арене.

Таково было в 675 году это грандиозное римское сооружение, предназначенное для зрелищ. В огромное здание цирка, вполне достойное народа, чьи победоносные орлы уже облетели весь мир, устремилась, ежечасно, ежеминутно увеличиваясь, нескончаемая толпа плебеев, всадников[4], патрициев, матрон; вид у всех был беззаботный, как у людей, которых ждет веселая и приятная забава.

Что же происходило в этот день? Что праздновалось? Какое зрелище привлекло в цирк такое множество народа?

---

[1] Консул — для управления республикой в Риме ежегодно избирали двух консулов, которым принадлежала высшая гражданская власть, а во время войны они командовали армиями. В знак высшей власти впереди консула шли двенадцать ликторов со связками прутьев (фасциями), в которые за городской чертой вкладывались топоры в знак того, что вне Рима консул имеет неограниченные полномочия.

[2] Весталки — жрицы Весты, богини домашнего очага. Они были связаны обетом безбрачия, обязаны были поддерживать в храме Весты неугасимый огонь.

[3] Сенатор — член сената, высшего государственного совета в Риме эпохи республики. В состав сената входили главным образом бывшие магистраты (консулы, преторы и др.). Созывать сенат могли высшие магистраты: диктатор, консул, претор. Сенат представлял интересы крупных землевладельцев.

[4] Всадники — крупные римские торговцы и ростовщики, второе цензовое сословие Рима после сенатской аристократии. Его название связано с тем, что из этого сословия длительное время рекрутировалась римская конница (служба, которая требовала высокого имущественного положения).

Луций Корнелий Сулла Счастливый[1], властитель Италии, человек, наводивший страх на весь Рим, велел объявить несколько недель назад — быть может, для того, чтобы отвлечь свои мысли от неисцелимой накожной болезни, которая мучила его уже два года,— что в продолжение трех дней римский народ будет пировать за его счет и наслаждаться зрелищами.

Уже накануне на Марсовом поле[2] и на берегу Тибра римские плебеи восседали за столами, накрытыми по приказу свирепого диктатора. Они шумно угощались до самой ночи, а затем пир перешел в разнузданную оргию. Заклятый враг Гая Мария[3] устроил это пиршество с неслыханной, царской пышностью: в триклинии[4], наскоро сооруженном под открытым небом, римлянам подавались в изобилии самые изысканные кушанья и тонкие вина.

Сулла Счастливый проявил неслыханную щедрость: на эти празднества и игры, устроенные в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств. Избыток приготовленных кушаний был так велик, что ежедневно огромное количество яств бросали в реку; вина подавали сорокалетней давности.

Так Сулла дарил римлянам левой рукой часть тех богатств, которые награбила его правая рука. Квириты[5], в глубине души не терпевшие Луция Корнелия Суллу, принимали, однако, с невозмутимым видом угощение и развлечения, которые устраивал для них человек, страстно ненавидевший весь римский народ.

День вступал в свои права. Животворные лучи солнца то тут, то там прорывались сквозь тучи и, разгораясь, золотили вершины десяти холмов, храмы, базилики и беломраморные стены патрицианских дворцов. Солнце согрело благодатным теплом плебеев, разместившихся на скамьях Большого цирка.

---

[1] Луций Корнелий Сулла Счастливый (138—78 гг. до н. э.) — глава аристократической группировки. Захватив власть в 82 году до н. э., объявил себя диктатором и удерживал диктатуру до 79 года до н. э. В 88 году до н. э. Сулла был избран консулом и возглавлял римское войско в войне против понтийского царя Митридата. В 83 году до н. э., восстановив римское господство на Востоке, Сулла вернулся в Рим и вынудил сенат предоставить ему неограниченные полномочия диктатора. В эпоху кровавой диктатуры Суллы закладывались основы Римской империи.

[2] Марсово поле — военный плац на берегу Тибра, а также место собраний центуриатных комиций.

[3] Гай Марий (156—86 гг. до н. э.) — римский полководец и политический деятель; пользовался поддержкой плебса, семь раз избирался консулом. Возглавлял борьбу с Суллой.

[4] Триклиний — столовая в доме богатого римлянина, в которой находился стол с примыкавшими к нему с трех сторон ложами.

[5] Квириты — торжественное наименование римских граждан Римляне почитали в числе своих богов наравне с Марсом (богом войны) Квирина, которого считали обожествленным Ромулом (один из легендарных основателей Рима).

В цирке уже сидело свыше ста тысяч граждан в ожидании самых излюбленных римлянами зрелищ: кровопролитного сражения гладиаторов и боя с дикими зверями.

Среди этих ста тысяч зрителей восседали на лучших местах матроны, патриции, всадники, откупщики, менялы, богатые иностранцы, которые приезжали со всех концов Италии, стекались со всего света в Вечный город.

Несмотря на то что баловни судьбы являлись в цирк позже неимущего люда, им доставались лучшие и более удобные места. Среди разнообразных и малоутомительных занятий многих римских граждан, у которых зачастую не было хлеба, а временами и крова, но которых никогда не покидала гордость, всегда готовых воскликнуть: «Noli me tangere — civis romanus sum!» («Не прикасайтесь ко мне — я римский гражданин!»), была одна своеобразная профессия, заключавшаяся в том, что нищие бездельники заблаговременно отправлялись на публичное зрелище и занимали лучшие места для богатых граждан и патрициев; те приезжали в цирк, когда им заблагорассудится, и, заплатив три или четыре сестерция, получали право на хорошее место.

Трудно вообразить, какую величественную картину являл собою цирк, заполненный более чем стотысячной массой зрителей обоего пола, всех возрастов и всякого положения. Представьте себе красивые переливы красок разноцветных одежд — латиклав [1], ангустиклав [2], претекст [3], стол, туник, пеплумов [4], паллиев; шум огромной толпы, похожий на подземный гул вулкана; мелькание голов и рук, подобное яростному и грозному волнению бурного моря! Но все это может дать только отдаленное понятие о той великолепной картине, которую представлял собою в этот час Большой цирк.

То тут, то там простолюдины, сидевшие на скамьях, извлекали запасы захваченной из дома провизии. Ели с большим аппетитом — кто ветчину, кто холодное вареное мясо или кровяную колбасу, а кто пироги с творогом и медом или сухари. Еда сопровождалась всяческими шутками и прибаутками, беззаботной болтовней, громким хохотом и возлияниями вин: велитернского, массикского, тускульского.

Повсюду шла бойкая торговля: продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков сбывали свой товар плебеям, раскупавшим эти

[1] Латиклава — туника с широкой пурпурной каймой, которую носили сенаторы.

[2] Ангустиклава — туника с узкой пурпурной каймой, отличительный знак всаднического сословия.

[3] Претекста — окаймленная пурпуром тога, которую носили магистраты и жрецы, а также мальчики высших сословий до шестнадцатилетнего возраста.

[4] Пеплум — просторное женское платье из тончайшей ткани.

дешевые лакомства, чтобы побаловать своих жен и детей. А затем благодушно настроенным покупателям приходилось, разумеется, подзывать и продавцов вина, чтобы утолить жажду, вызванную жареными бобами. Они пили налитую в стаканчики кислятину, которую разносчики без зазрения совести выдавали за тускульское.

Семьи богачей, всадников и патрициев, держась отдельно от плебса, вели веселую, оживленную беседу, выказывая подчеркнутое достоинство манер.

Разодетые в пух и прах щеголи расстилали циновки и ковры на жестких каменных сиденьях, держали раскрытые зонты над головами прекрасных матрон и очаровательных девушек, оберегая их от жгучих лучей солнца.

В третьем ряду, почти у самых Триумфальных ворот, между двумя патрициями сидела матрона блистательной красоты. Гибкий стан, стройная фигура, прекрасные плечи свидетельствовали о том, что это была истинная дочь гордого Рима.

Правильные черты лица, высокий лоб, тонкий красивый нос, маленький рот и большие черные живые глаза — все в этой женщине дышало неизъяснимым очарованием. Черные, как вороново крыло, густые и мягкие кудри падали ей на плечи и были скреплены надо лбом диадемой, осыпанной драгоценными камнями. Туника из белой тончайшей шерсти, обшитая внизу золотой полосой, обрисовывала ее прелестную фигуру. Поверх туники, ниспадавшей красивыми складками, был накинут белый паллий с пурпурной каймой.

Этой роскошно одетой красавице не исполнилось, вероятно, еще и тридцати лет. То была Валерия, дочь Луция Валерия Мессалы, сестра Квинта Гортензия [1], знаменитого оратора, соперника Цицерона, который стал консулом в 685 году. За несколько месяцев до начала нашего повествования Валерия развелась со своим первым мужем.

Рядом с Валерией сидел Эльвий Медуллий, существо длинное, бледное, худое, холеное, прилизанное. надушенное, напомаженное и разукрашенное; все пальцы его были унизаны золотыми кольцами с самоцветными камнями, с шеи спускалась золотая цепь тонкой работы. Элегантный наряд дополняла тросточка из слоновой кости, которой Медуллий весьма изящно играл.

На неподвижном и невыразительном лице аристократа лежала печать скуки и апатии; ему было только тридцать пять лет, а уже все на свете ему надоело. Эльвий Медуллий принадлежал

---

[1] Квинт Гортензий (114—50 гг. до н. э.) — известный римский оратор

к высшей римской знати, изнеженной, проводившей жизнь в кутежах и празднествах и предоставлявшей плебеям право сражаться и умирать за отечество и его славу.

По другую руку Валерии Мессалы сидел Марк Деций Цедиций, патриций лет пятидесяти, с открытым, веселым и румяным лицом, приземистый, коренастый толстяк с объемистым брюшком; выше всего он почитал утехи чревоугодия и большую часть времени проводил за столом в триклинии. Полдня у него уходило на отведывание изысканнейших лакомых блюд и соусов, приготовляемых его знаменитым поваром, который славился своим искусством на весь Рим; вторую половину дня этот патриций занят был мыслями о вечерней трапезе и предвкушением радостей, которые он снова испытает в триклинии.

Спустя несколько времени сюда пришел и Квинт Гортензий, чье красноречие снискало ему мировую славу.

Квинту Гортензию не было еще тридцати шести лет. Он посвятил много времени и труда изучению искусства пластики, различных приемов выражения мыслей и достиг столь высокого совершенства в искусстве сочетать жесты с речью, что, где бы он ни появлялся — в сенате ли, в триклинии ли, в любом другом месте,— каждое его движение было исполнено достоинства и благородства, которое казалось врожденным и поражало всех. Одежда его неизменно была темного цвета, но зато складки латиклава ниспадали так гармонично и были уложены так обдуманно, что выгодно оттеняли его красоту и величавость осанки.

К этому времени он уже успел отличиться в сражениях против италийских союзников Марсийской [1], или гражданской, войны и за два года получил сначала чин центуриона [2], а затем и трибуна [3].

Надо сказать, что Гортензий выделялся не только ученостью и высоким даром слова,— он был также искуснейшим актером; половиной своего успеха Гортензий обязан был прекрасно звучавшему голосу и тонким декламаторским приемам, которыми он владел в совершенстве и пользовался так умело, что, когда

---

[1] Марсийская, или Союзническая, война — война, которую вели в 90—88 гг. до н. э. против Рима племена и города Италии, добивавшиеся от римского сената прав гражданства. Наиболее активную роль в войне играло племя марсов.

[2] Центурион — начальник центурии, войскового подразделения, численностью около ста человек.

[3] Трибун — первоначально начальник трибы, то есть одной из трех частей, на которые в первое время были разделены граждане Рима; впоследствии — народные трибуны, которых сначала было два, затем (с 457 года до н. э.) десять. Избирались они из среды плебеев с целью охранять интересы своего сословия. Трибуны имели право отвергать распоряжения консулов и сената.

он произносил речь, известнейший трагик Эзоп[1] и знаменитый актер Росций[2] спешили на Форум; оба пытались постигнуть тайны декламаторского искусства, которыми Гортензий пользовался с таким блеском.

Пока Гортензий, Валерия, Эльвий и Цедиций вели беседу и, по выраженному Валерией желанию, вольноотпущеннику было приказано принести таблички, на которых значились имена гладиаторов, сражавшихся в тот день, процессия жрецов с изображениями богов уже обошла «хребет», и на его площадке были установлены эти изображения.

Неподалеку от того места, где сидели Валерия и ее собеседники, стояли два подростка, одетые в претексты — белые тоги с пурпурной каймой; мальчиков сопровождал воспитатель.

Одному из его питомцев было четырнадцать лет, другому — двенадцать. Оба отличались чисто римским складом лица — худощавые, с резкими чертами и широким лбом. Это были Цепион и Катон[3] из рода Порциев, внуки Катона Цензора[4], который прославился во время второй Пунической войны[5] непримиримой враждой к Карфагену; он требовал, чтобы Карфаген был разрушен во что бы то ни стало.

Младший из братьев, Цепион, казавшийся более разговорчивым и приветливым, часто обращался к своему воспитателю Сарпедону, тогда как юный Марк Порций Катон стоял молчаливый и надутый, с брюзгливым, сердитым видом, совсем не соответствовавшим его возрасту. Уже с ранних лет он обнаруживал непреклонную волю, стойкость и непоколебимость убеждений. Рассказывали, что, когда ему было еще только восемь лет, Марк Помпедий Силон, один из военачальников во время войны итальянских городов против Рима, явился в дом дяди мальчика,

---

[1] Эзоп Клодий — знаменитый трагический актер, современник и друг Цезаря.

[2] Росций — Квинт Росций Галл, выдающийся актер, друг Цицерона; был рабом и выкупился на волю. Чаще всего играл в комедиях без маски и был неподражаем в исполнении ролей, требующих живой мимики и жестикуляции.

[3] Марк Порций Катон (95—46 гг. до н. э.), посмертно прозванный Утическим,— правнук Катона Старшего, государственный деятель консервативного направления. Во время гражданской войны бежал от Цезаря в Сицилию, к Помпею, потом на Родос и примкнул к республиканцам. После поражения помпеянцев при Тапсе в 46 году до н. э. оборонялся с гарнизоном в Утике (Африка). Окончил жизнь самоубийством, чтобы не сдаться Цезарю.

[4] Катон Цензор — Марк Порций Катон Старший (234—149 гг. до н. э.), римский политический деятель и ученый. Известен своим консерватизмом; был непримиримым врагом Карфагена.

[5] Вторая Пуническая война — вторая война с Карфагеном, длилась с 218 года по 201 год до н. э. и закончилась мирным договором между Римом и Карфагеном, окончательно утратившим свое могущество.

Друза, схватил Катона и поднес к окну, угрожая выбросить на мостовую, если он откажется просить дядю за итальянцев. Помпедий тряс его и грозил, но ничего не добился: Марк Порций Катон не проронил ни слова, не сделал ни одного движения, ничем не выразил согласия или страха. Врожденная твердость души, изучение греческой философии, в особенности философии стоиков, и подражание суровому деду выработали у этого четырнадцатилетнего юноши характер доблестного гражданина.

Над Триумфальными воротами, неподалеку от одного из выходов, сидел, также со своим наставником, мальчик из другой патрицианской семьи, оживленно разговаривавший с юношей лет семнадцати. Хотя юноша и был одет в тогу, которую полагалось носить по достижении совершеннолетия, над губой у него едва пробивался пушок. Он был небольшого роста, болезненный и слабый на вид, но на бледном лице, обрамленном черными блестящими волосами, сияли большие черные глаза; в них светился высокий ум.

Этот семнадцатилетний юноша был Тит Лукреций Кар[1]. Он происходил из знатного римского рода и впоследствии обессмертил свое имя поэмой «О природе вещей». Его собеседнику, сильному и смелому двенадцатилетнему мальчику, Гаю Кассию Лонгину[2], сыну бывшего консула Кассия, суждено было сыграть выдающуюся роль в событиях, предшествовавших падению республики.

Лукреций и Кассий вели оживленную беседу. Будущий великий поэт последние два-три года часто бывал в доме Кассия, научился ценить в юном Лонгине его острый ум и благороднейшую душу и сильно привязался к нему. Кассий также любил Лукреция. Их влекли друг к другу одни и те же чувства и стремления, оба они одинаково относились к людям и богам.

Поблизости от Лукреция и Кассия сидел Фавст, сын Суллы, хилый, худой рыжеволосый подросток; с его бледного лица еще не сошли синяки и ссадины — следы недавней драки; голубые глаза смотрели злобно и спесиво — ему льстило, что на него указывают пальцем как на счастливого сына счастливого диктатора.

На арене сражались с похвальным жаром, но без ущерба для

---

[1] Тит Лукреций Кар — великий римский поэт и ученый (ок. 98—55 гг. до н. э.). В поэме «О природе вещей» Лукреций дал яркое и оригинальное изложение атомистического учения греческого философа Эпикура (III век до н. э.). Это изложение развертывается у него в целую систему материалистического мировоззрения. Поэма Лукреция развивает мысль о вечности материи, прославляет человеческий разум и воспевает неисчерпаемую жизненную силу природы. Маркс называл Лукреция «свежим, смелым, поэтическим властелином мира».

[2] Гай Кассий Лонгин (ок. 85—42 гг. до н. э.) — вначале сторонник Цезаря, впоследствии один из организаторов его убийства.

себя молодые, еще не обученные гладиаторы, вооруженные учебными палицами и деревянными мечами. Этим зрелищем развлекали зрителей до прибытия консулов и Суллы, устроившего для римлян любимую забаву и развлечение.

Бескровное сражение, однако, не доставляло никому удовольствия и никого не интересовало, кроме ветеранов-легионеров и рудиариев [1], оставшихся в живых после сотни состязаний. Вдруг по всему огромному амфитеатру гулко прокатились шумные и довольно дружные рукоплескания.

— Да здравствует Помпей!.. [2] Да здравствует Гней Помпей! Да здравствует Помпей Великий! — восклицали тысячи зрителей.

Помпей, вошедший в цирк, занял место на площадке оппидума, рядом с весталками, которые собрались тут в ожидании кровавого зрелища, столь любимого этими девственницами, посвятившими себя культу богини целомудрия. Помпей приветствовал народ изящным поклоном и, поднося руки к губам, в знак благодарности посылал поцелуи.

Гнею Помпею было около двадцати восьми лет; он был высок ростом, крепкого, геркулесовского сложения; густые волосы, покрывавшие его крупную голову, росли на лбу очень низко, чуть ли не срастаясь с бровями, нависшими над большими черными глазами красивого миндалевидного разреза; впрочем, глаза у него были малоподвижны и невыразительны; строгие и резкие черты лица и могучие формы тела создавали впечатление мужественной красоты. Конечно, внимательно присмотревшись к его неподвижному лицу, наблюдатель нашел бы, что на нем не запечатлелись великие мысли и деяния человека, которому предстояло в течение двадцати лет занимать первое место в Римской империи. Как бы то ни было, но уже в возрасте двадцати пяти лет он вернулся победителем из похода в Африку, заслужил триумф [3] и даже самим Суллой — вероятно, в минуту какого-то особого благоволения — был назван *Великим*. Каково бы ни было мнение о Помпее, его заслугах, деяниях, удачах, но в тот день, когда он вошел в Большой цирк, 10 ноября 675 года, симпатии римского народа были на его стороне. В двадцать пять лет он уже был триумфатором и заслужил любовь своих легионов, со-

[1] Рудиарий — гладиатор, получивший свободу.

[2] Помпей Великий (106—48 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец. В 60 году до н. э. участвовал в первом триумвирате с Цезарем и Крассом, но в 49 году до н. э. разошелся с Цезарем, был разбит в битве при Фарсале в 48 году до н. э., бежал в Египет и был там убит.

[3] Триумф — наивысшая почесть, оказывавшаяся римскому полководцу, одержавшему решительную победу над неприятелем. Согласие на триумф давал сенат.

стоявших из ветеранов, закаленных в невзгодах и опасностях тридцати сражений: они провозгласили его императором [1].

Может быть, подчеркнутое пристрастие к Помпею отчасти объяснялось тайной ненавистью плебеев к Сулле: не имея возможности проявить эту ненависть иным путем, они изливали ее в бурных рукоплесканиях и похвалах молодому другу диктатора, единственному человеку, способному совершать ратные подвиги, равные подвигам Суллы.

Вслед за Помпеем прибыли консулы Публий Сервилий Ватий Исаврийский и Аппий Клавдий Пульхр, которые должны были оставить свои посты 1 января следующего года. Впереди Сервилия, исполнявшего обязанности консула в текущем месяце, шли ликторы, а впереди Клавдия, исполнявшего обязанности консула в прошлом месяце, шли ликторы с фасциями.

Когда консулы появились на площадке оппидума, в цирке все встали, чтобы выразить должное уважение к высшей власти в республике.

Сервилий и Клавдий опустились на свои места, вслед за ними сели и все зрители; сели и два будущих консула — Марк Эмилий Лепид [2] и Квинт Лутаций Катулл, которые выбраны были на следующий год в сентябрьских комициях [3].

Помпей приветствовал Сервилия и Клавдия, они ответили ему любезно, почти подобострастно; затем Помпей поднялся и подошел пожать руку Марку Лепиду, обязанному ему своим избранием; Гней Помпей использовал для этого свою большую популярность, вопреки желанию Суллы.

Лепид встретил молодого императора почтительными изъявлениями преданности; они стали беседовать; второму же консулу, Лутацию Катуллу, Помпей поклонился сдержанно и важно.

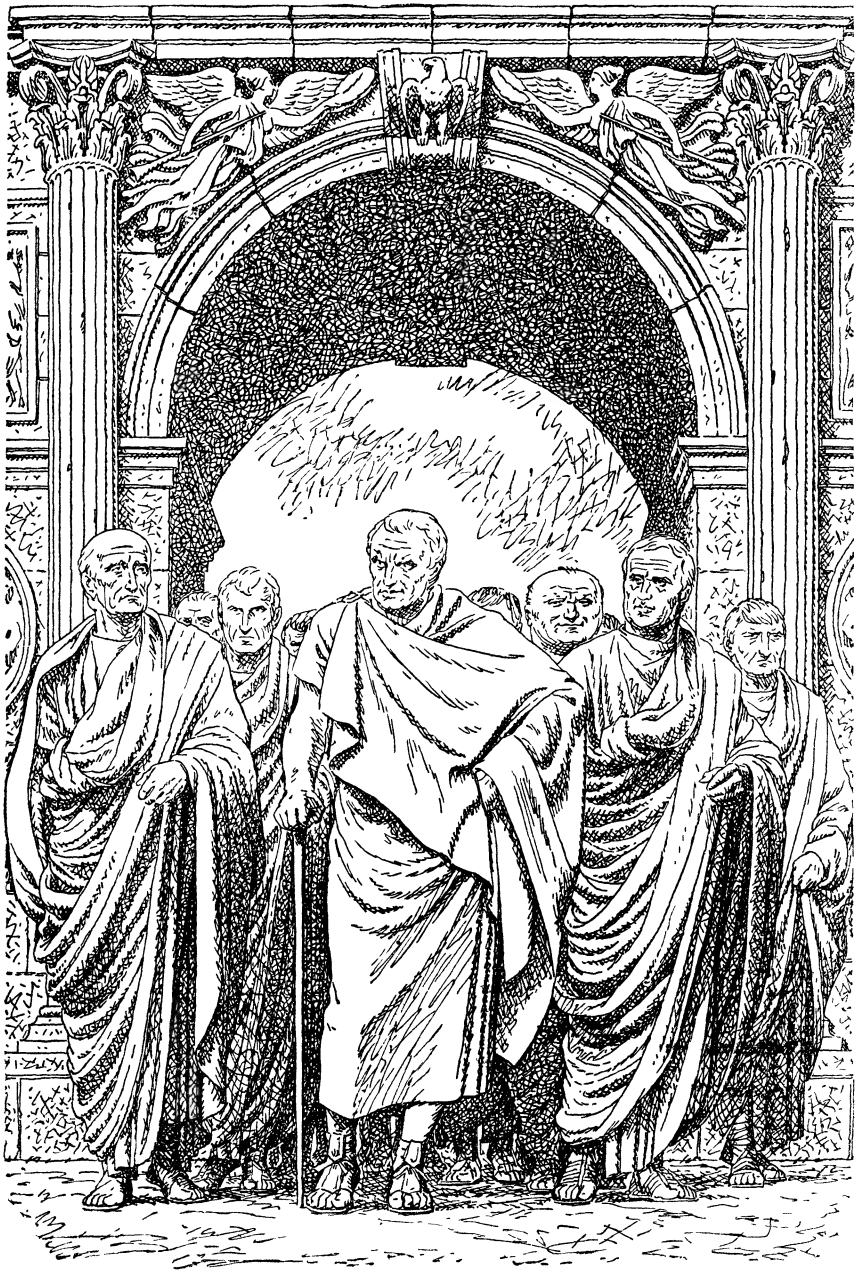
Несмотря на то что во время избрания консулов Сулла уже не был диктатором, он сохранил свое могущество и теперь употребил все свое влияние против кандидатуры Лепида, считая — и не напрасно,— что тот в душе был его противником и сторонником Гая Мария. Но именно эта оппозиция Суллы и благосклонная поддержка Помпея создали в комициях положение, при котором кандидатура Лепида взяла верх над

---

[1] Император — почетный титул, который давался военачальнику, одержавшему серьезную победу над врагом (другое значение это звание получило только в период империи).

[2] Марк Эмилий Лепид в 80 году до н. э. занимал должность наместника Сицилии. В 78 году до н. э., будучи консулом, пытался уничтожить распоряжения Суллы. Вооруженное выступление Лепида против сулланцев Помпея и Катулла оказалось неудачным. Помпей разбил войско Лепида в Верхней Италии. Лепид бежал в Сардинию, где вскоре умер (77 год до н. э.).

[3] Комиции — народное собрание свободных граждан в Древнем Риме.



кандидатурой Лутация Катулла, которого поддерживала партия олигархов. За это Сулла упрекал Помпея и твердил, что он на выборах в консулы поддерживал худшего из граждан и противодействовал избранию лучшего.

Как только прибыли консулы, выступление молодых гладиаторов прекратилось, а те гладиаторы, которым действительно предстояло сражаться в этот день, приготовились к выходу из камер, чтобы, согласно обычаю, продефилировать перед властями; они ждали только сигнала.

Все глаза были устремлены на оппидум, все ждали, когда консулы подадут знак к началу боя. Но консулы, окидывая взглядом ряды амфитеатра, как будто искали кого-то, желая испросить разрешения. Действительно, они ждали Луция Корнелия Суллу, человека, сложившего с себя звание диктатора и все же оставшегося властителем Рима.

Наконец раздались рукоплескания, сначала слабые и редкие, затем все более шумные и дружные, отдаваясь эхом по арене. Взгляды присутствующих устремились к Триумфальным воротам, через которые в сопровождении сенаторов, друзей и приверженцев в это время входил Луций Корнелий Сулла.

Этому удивительному человеку было тогда пятьдесят девять лет. Он был довольно высок ростом, хорошо и крепко сложен; шел он медленно и вяло, как человек, силы которого истощились,— это было следствием пьяных оргий, которым он предавался всю жизнь, а теперь более, чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленной поступи была изнурительная и неизлечимая болезнь, наложившая на его черты, на весь его облик печать преждевременной старости.

Лик Суллы был поистине ужасен. Правда, черты его были правильны и гармоничны: высокий лоб, крупный нос с раздувающимися, словно у льва, ноздрями, несколько большой рот с выпуклыми властными губами. Его можно было бы назвать даже красивым, в особенности представив себе эти черты в обрамлении густых белокурых волос с рыжеватым оттенком; лицо это освещалось серо-голубыми глазами, живыми, глубокими и проницательными. Это были светлые орлиные очи, но нередко они походили и на глаза гиены; в жестоком их взгляде можно было прочесть желание повелевать и жажду крови.

Когда Сулла воевал в Азии против Митридата, его попросили уладить спор, возникший между царем каппадокийским [1] Ариобарзаном [2] и царем парфянским, отправившим к нему сво-

---

[1] Каппадокия — область в восточной части Малой Азии

[2] Ариобарзан — царь Каппадокии; был изгнан Митридатом и вновь возвращен на престол Суллой.

его посла Оробаза. В посольской свите Оробаза был некий халдеец, знаток магии, который по лицам людей определял их душевные способности. Всматриваясь в черты Суллы, он подивился выразительному блеску его звериных глаз и сказал: «Этот человек непременно будет великим, и я удивлен, как он терпит, что до сих пор еще не стал первым среди людей».

Возвращаясь к Сулле, портрет которого мы здесь набросали, надо объяснить, почему мы назвали его лицо ужасным; оно было поистине страшным: покрытое какой-то грязноватой сыпью, с рассеянными там и сям белыми пятнами, оно было похоже, согласно злой остроте одного афинского шутника, на лицо мавра, осыпанное мукой.

Если лицо Суллы было таким в молодости, то легко понять, каким страшным оно стало с годами; в жилах диктатора текла дурная золотушная кровь, а оргии, которым он усердно предавался, обострили болезнь. Белые пятна и струпья, уродовавшие его лицо, увеличились числом, и теперь уж все его тело было усеяно гнойными язвами.

Ступая медленно, с видом пресыщенного человека, Сулла вошел в цирк. Вместо национального паллия или же традиционной тоги на нем была наброшена поверх туники из белоснежной шерсти, затканной золотыми арабесками и узорами, нарядная хламида огненно-красного цвета, отороченная золотом; на правом плече она скреплялась золотой застежкой, в которую были вправлены драгоценные камни, искрившиеся и переливавшиеся в лучах солнца. Сулла, презиравший весь род людской, в особенности своих сограждан, был первым из немногих, надевших греческую хламиду. У него была палка с золотым набалдашником, на котором с величайшим искусством был выгравирован эпизод из битвы под Орхоменом в Беотии, где Сулла разбил наголову Архелая [1], наместника Митридата. Резчик изобразил, как коленопреклоненный Архелай сдается Сулле. На безымянном пальце правой руки у диктатора было кольцо с большой камеей из кроваво-красной яшмы, оправленной в золото; на камне была изображена сцена выдачи Бокхом [2] царя Югурты. Сулла носил это кольцо не снимая со дня триумфа Гая Мария и постоянно хвастался им, что вполне соответствовало его характеру. Это кольцо стало первой искрой, зажегшей пламя пагубного раздора между Суллой и Марием.

---

[1] Архелай — один из полководцев понтийского царя Митридата.

[2] Бокх — тесть нумидийского царя Югурты, с которым римляне вели войну в последние годы II века до н. э. (Югуртинская война). Вначале Бокх выступал на стороне Югурты. После решительных побед, одержанных Марием (106 год до н. э.), Бокх, ведший переговоры с квестором Мария Суллой, выдал Югурту римлянам.

При громе рукоплесканий сардоническая улыбка искривила губы Суллы, и он вполголоса произнес:

— Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!

В это время консулы подали сигнал к началу зрелищ; сто гладиаторов вышли из камер и колонной двинулись по арене.

В первом ряду выступали ретиарий [1] и мирмиллон [2], которые должны были сражаться первыми, и хотя недалека была та минута, когда одному из них было суждено убить другого, они шли, спокойно беседуя. За ними следовало девять лаквеаторов [3]; в руках они держали трезубцы и сети, которые должны были накидывать на девятерых секуторов [4], вооруженных щитами и мечами.

Вслед за этими девятью парами шли тридцать пар гладиаторов, которые должны были сражаться друг против друга, по тридцать бойцов с каждой стороны, как бы повторяя в малых размерах настоящее сражение. Тридцать из них были фракийцы, другие тридцать — самниты; все красивые и молодые, рослые, сильные и мужественные люди.

Гордые фракийцы были вооружены короткими, кривыми мечами; в руках они держали небольшие квадратные щиты с выпуклой поверхностью, головы защищены шлемами без забрала; это было их национальное вооружение. Все они были в коротких ярко-красных туниках, на шлемах развевались по два черных пера. У тридцати самнитов было вооружение воинов народа Самния: короткий прямой меч, небольшой закрытый шлем с крыльями, маленький квадратный щит и железный наручник, закрывавший правую руку, не защищенную щитом, и, наконец, надколенник, который защищал левую ногу. Самниты были в голубых туниках, на шлемах у них развевались белые перья.

Шествие завершали десять пар андабатов в белых туниках; вооружены они были только короткими клинками, скорее похожими на ножи, чем на мечи; на головах их были шлемы с опущенными глухими забралами, в которых прорезаны были неправильно расположенные и чрезвычайно маленькие отверстия для глаз. Эти двадцать несчастных, брошенных на арену, сражаясь друг с другом, словно играли в жмурки; они долго развлекали публику, вызывая взрывы хохота, до тех пор, пока лорарии, подгоняя противников раскаленными железными прутьями, не сталкивали их вплотную, чтобы они убивали друг друга.

Сто гладиаторов обходили арену под рукоплескания и крики

---

[1] Ретиарий — гладиатор, вооруженный трезубцем и сетью.

[2] Мирмиллон — гладиатор в галльском вооружении, с изображением рыбки на острие шлема.

[3] Лаквеатор — гладиатор, вооруженный трезубцем и петлей.

[4] Секутор — гладиатор, вооруженный мечом и щитом.

зрителей. Подойдя к тому месту, где сидел Сулла, они подняли голову и, согласно наставлению, данному им ланистой [1] Акцианом, воскликнули хором:

— Привет тебе, диктатор!

— Ну что ж, хороши! — заметил Сулла, обращаясь к окружающим. Он осматривал дефилировавших мимо него гладиаторов опытным глазом победителя во многих сражениях.— Храбрые и сильные юноши! Нам предстоит красивое зрелище. Горе Акциану, если будет иначе! За эти пятьдесят пар гладиаторов он взял с меня двести двадцать тысяч сестерций, мошенник!

Процессия гладиаторов обошла арену цирка, приветствовала консулов и вернулась в камеры. На арене, сверкающей, как серебро, остались лицом к лицу только два человека: мирмиллон и ретиарий.

Все затихло, и глаза зрителей устремились на двух гладиаторов, готовых к схватке. Мирмиллон, галл по происхождению, белокурый, высокий, ловкий и сильный красавец, в одной руке держал небольшой щит, а в другой — широкий и короткий меч, на голове у него был шлем, увенчанный серебряной рыбой. Ретиарий, вооруженный только трезубцем и сетью и одетый в простую голубую тунику, стоял в двадцати шагах от мирмиллона и, казалось, обдумывал, как лучше поймать его в сеть. Мирмиллон, подавшись корпусом вперед и опираясь на вытянутую левую ногу, держал меч почти опущенным к правому бедру, ожидая нападения.

Внезапно, сделав огромный прыжок, ретиарий очутился в нескольких шагах от мирмиллона и с быстротою молнии бросил на противника сеть. Но тот отскочил и, пригнувшись к самой земле, увернулся от сети, затем ринулся на ретиария, который, поняв свой промах, пустился бежать. Мирмиллон бросился преследовать его, но ретиарий, более ловкий, описав полный круг, успел добежать до того места, где лежала сеть, и подобрал ее. Едва он выпрямился, как мирмиллон настиг его, и в тот миг, когда он готов был обрушить на ретиария страшный удар, тот повернулся и кинул на противника сеть. Мирмиллон на четвереньках отполз в сторону, быстрым прыжком вскочил на ноги, и ретиарий, уже направивший на него трезубец, только царапнул остриями по щиту галла. Тогда ретиарий снова бросился бежать.

Толпа недовольно загудела: она считала себя оскорбленной тем, что гладиатор осмелился выступать в цирке, не умея в совершенстве владеть сетью.

---

[1] Ланиста — учитель гладиаторов, а также содержатель школы гладиаторов, торговавший ими.

На этот раз мирмиллон, вместо того чтобы бежать за ретиарием, повернул в ту сторону, откуда мог ожидать приближения противника, и остановился в нескольких шагах от сети. Ретиарий, разгадав его маневр, помчался обратно, держась около хребта арены. Добежав до Триумфальных ворот, он перескочил через хребет и очутился в другой части цирка, около своей сети. Мирмиллон, поджидавший тут ретиария, набросился на него и стал наносить удары, а тысячи голосов кричали в ярости:

— Бей его, бей! Убей ретиария! Убей разиню! Убей труса! Убей, убей! Пошли его ловить лягушек на берегах Ахеронта!

Ободренный криками толпы, мирмиллон продолжал наступать на ретиария, а тот, сильно побледнев, старался держать противника на расстоянии, размахивал трезубцем, кружил вокруг мирмиллона, напрягая все силы и стараясь схватить свою сеть.

Неожиданно мирмиллон, подняв левую руку, отбил щитом трезубец и проскользнул под ним; его меч готов был поразить грудь ретиария, как вдруг последний ударил трезубцем по щиту противника и бросился к сети, однако недостаточно ловко и быстро: меч мирмиллона ранил его в левое плечо; брызнула сильной струей кровь. Но ретиарий все же убежал со своей сетью. Сделав шагов тридцать, он повернулся к противнику и громко закричал:

— Рана легкая! Пустяки!..

Минуту спустя он стал напевать:

Приди, приди, красавец галл.
Я не тебя ищу, а рыбу...
Приди, приди, красавец галл!

Веселый взрыв смеха послышался после строфы, пропетой ретиарием; его хитрая выдумка удалась: он завоевал симпатии публики; раздались аплодисменты в честь безоружного, раненного, истекающего кровью человека, которому жизненный инстинкт подсказал, что надо найти в себе мужество шутить и смеяться.

Взбешенный насмешками противника, загоревшись завистью, ибо толпа явно выказывала теперь симпатию ретиарию, мирмиллон с яростью набросился на него. Но ретиарий, отступая прыжками и ловко избегая ударов, крикнул:

— Приди, галл! Сегодня вечером я пошлю доброму Харонту жареную рыбу!

Эта новая шутка еще больше развеселила толпу и вызвала новое нападение мирмиллона. На этот раз ретиарий очень удачно набросил свою сеть — его враг запутался в ней. Толпа неистово рукоплескала.

Мирмиллон, стараясь освободиться, все больше запутывался

в сети; зрители громко хохотали. Ретиарий помчался к тому месту, где лежал трезубец, поднял его и, возвращаясь бегом, закричал:

— Харонт получит рыбу! Харонт получит рыбу!

Однако когда он приблизился к своему противнику, тот отчаянным усилием могучих рук разорвал сеть, и она упала к его ногам, освободив руки. Он мог теперь встретить нападение врага, но двигаться ему было невозможно.

Толпа снова разразилась рукоплесканиями. Она напряженно следила за каждым движением, за каждым приемом противников. Исход поединка зависел от любой случайности. Лишь только мирмиллон разорвал сеть, ретиарий подбежал к нему и, изловчившись, нанес сильный удар трезубцем. Мирмиллон отразил удар с такой силой, что щит разлетелся на куски. Но трезубец все-таки ранил гладиатора; брызнула кровь — на его обнаженной руке было теперь три раны. Почти в то же мгновение мирмиллон схватил левой рукой трезубец и, бросившись всей тяжестью тела на противника, вонзил ему лезвие меча до половины в правое бедро. Раненый ретиарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, обагряя кровью арену, и, сделав шагов сорок, упал на колено, затем рухнул навзничь. Мирмиллон, увлеченный силой удара и тяжестью своего тела, тоже свалился, затем поднялся, высвободил ноги из сетей и ринулся на упавшего противника.

Толпа бешено рукоплескала в эти последние минуты борьбы, рукоплескала и тогда, когда ретиарий, опираясь на локоть левой руки, приподнялся и обратил к зрителям свое лицо, покрытое мертвенной бледностью. Он приготовился бесстрашно и достойно встретить смерть и обратился к зрителям, прося даровать ему жизнь не потому, что надеялся спасти ее, а только следуя обычаю.

Мирмиллон поставил ногу на тело противника и приложил меч к его груди; подняв голову, он обводил глазами амфитеатр, чтобы узнать волю зрителей.

Свыше девяноста тысяч мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки книзу: это был знак смерти, и меньше пятнадцати тысяч добросердечных людей подняли руку, сжав ее в кулак и подогнув большой палец,— в знак того, что побежденному гладиатору даруется жизнь.

Среди девяноста тысяч человек, обрекших ретиария на смерть, были и непорочные, милосердные весталки, желавшие доставить себе невинное удовольствие — зрелище смерти несчастного гладиатора.

Мирмиллон уже приготовился прикончить ретиария, как вдруг тот, схватив меч противника, с силой вонзил его себе

в сердце по самую рукоятку. Мирмиллон быстро вытащил меч, покрытый дымящейся кровью. Тело ретиария выгнулось в жестокой агонии, он крикнул страшным голосом, в котором уже не было ничего человеческого:

— Проклятые! — и мертвым упал навзничь.

Глава вторая

СПАРТАК НА АРЕНЕ

Зрители неистово аплодировали. Все принялись обсуждать происшедшее, цирк гудел сотней тысяч голосов.

Мирмиллон вернулся в камеру, откуда вышли Плутон, Меркурий и служители цирка. Они крюками вытащили с арены труп ретиария через Ворота смерти, прикоснувшись предварительно раскаленным железом к телу умершего, чтобы удостовериться в его смерти. Затем принесли несколько небольших мешков, наполненных блестящим порошком толченого мрамора, доставленного из соседних Тиволийских карьеров, засыпали то место, где оставалась большая лужа крови, и арена снова засверкала, как серебро, под яркими лучами солнца.

Толпа рукоплескала и выкрикивала:

— Да здравствует Сулла!

Сулла повернулся к своему соседу, Гнею Корнелию Долабелле, бывшему два года назад консулом, и сказал:

— Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлая чернь! Ты думаешь, она рукоплещет мне?.. Нет, моим поварам, приготовившим для них вчера вкусное и обильное угощение.

— Почему ты не занял место на оппидуме? — спросил Гней Долабелла.

— Не думаешь ли ты, что от этого возрастет моя слава? — ответил Сулла и тут же добавил:— А ведь товар, проданный мне ланистой Акцианом, недурен, а?

— О, как ты щедр, как ты велик! — воскликнул сидевший рядом с Суллой сенатор Тит Аквиций.

— Да поразит Юпитер-громовержец всех подлых льстецов! — вскричал бывший диктатор и, в ярости схватившись рукой за плечо, стал усиленно чесать его, пытаясь заглушить мучительный зуд, похожий на укусы отвратительных паразитов.

Через минуту он добавил:

— Я отказался от власти, ушел от дел, а вы все еще видите во мне своего господина! Презренные, вы можете жить только рабами!

— Не все, о Сулла, рождены для рабства,— смело возразил патриций из свиты Суллы, сидевший неподалеку от него.

Этот бесстрашный человек был Луций Сергий Катилина [1]. В ту пору ему шел двадцать седьмой год. Природа наделила его высоким ростом, могучей грудью, широкими плечами, крепкими мышцами рук и ног. У него была большая голова с целым лесом черных вьющихся волос, смуглое мужественное лицо с энергичными чертами. Толстая набухшая вена, пересекая большой лоб, спускалась к самой переносице; темно-серые глаза хранили выражение жестокости, а нервные подергивания, пробегавшие по этому властному, решительному лицу, раскрывали внимательному наблюдателю малейшие движения души Катилины.

К тому времени, о котором повествуется в этой книге, Луций Сергий Катилина снискал среди своих соотечественников славу страшного человека. Все боялись его вспыльчивого, необузданного нрава. Он убил патриция Гратидиана, когда тот спокойно гулял по берегу Тибра,— убил только потому, что Гратидиан отказался дать под залог имущества Катилины крупную сумму денег, нужную последнему для уплаты огромных долгов. Из-за этих долгов Катилина не мог получить ни одной из государственных должностей, на которые притязал.

То было время проскрипций [2], когда ненасытная жестокость Суллы утопила Рим в крови. Имени Гратидиана не значилось в проскрипционных списках; более того: он даже считался сторонником Суллы, но он был очень богат, а имущество людей, занесенных в проскрипционные списки, подлежало конфискации. И когда Катилина притащил в курию [3], где заседал сенат, труп Гратидиана и, бросив его к ногам диктатора, заявил, что он убил этого человека как врага Суллы и врага родины; диктатор оказался не очень щепетильным: он посмотрел сквозь пальцы на убийство, обратив все свое внимание на несметные богатства убитого.

Вскоре после этого Катилина поссорился со своим братом. Оба обнажили мечи, но Сергий Катилина, отличавшийся необычайной силой, был также и первым фехтовальщиком в Риме. Он убил брата, наследовал его имущество и тем спасся от разоре-

---

[1] Луций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.) — организатор заговора против консулов и сената (66—62 гг. до н. э.). Рассчитывая захватить власть с помощью народных масс, Катилина обещал добиться ликвидации долгов и наделения крестьян конфискованными у богачей землями. Это привело в движение широкие демократические массы. В 63 году до н. э. заговор был раскрыт Цицероном. Катилина был убит.

[2] Проскрипция — объявление вне закона. В период диктатуры Суллы в специальные проскрипционные списки заносились противники оптиматов, приговоренные к казни и конфискации имущества.

[3] Курия — здесь: здание, в котором собирался сенат.

ния, к которому его привели расточительность и беспрерывные кутежи. Сулла и на сей раз постарался ничего не заметить; квесторы [1] тоже не стали придираться к братоубийце.

В ответ на смелые слова Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернул голову в его сторону и сказал:

— А как ты думаешь, Катилина, сколько в Риме граждан столь же смелых, как ты, и обладающих такой же, как ты, широтой души и в добродетели и пороках?

— Не могу я, о прославленный Сулла,— ответил Катилина,— глядеть на людей и взвешивать события с высоты твоего величия. Знаю только, что я от рождения люблю свободу и не выношу никаких уз. И прямо скажу — ненавижу тиранию, хотя бы она скрывалась под маской великодушия, хотя бы ею пользовались лицемерно, якобы для блага родины. А ведь родина наша, даже раздираемая мятежами и междоусобными войнами, жила бы лучше под властью многих, чем под деспотической властью одного! И, не входя в разбор твоих действий, скажу тебе откровенно, что я, как и прежде, порицаю твою диктатуру. Я верю, я хочу верить, что в Риме есть еще немало граждан, готовых претерпеть любые муки, лишь бы снова не подпасть под тиранию одного человека, особенно если он не будет называться Луцием Корнелием Суллой и чело его не будет увенчано, как твое, лаврами победы в сотнях сражений и если его диктатура хотя бы отчасти не будет оправдана, как была оправдана твоя диктатура, преступными деяниями Мария, Карбона [2] и Цинны [3].

— Так почему же,— спокойно спросил Сулла с еле заметной насмешливой улыбкой,— почему же вы не призываете меня на суд перед свободным народом? Я отказался от диктатуры. Почему же мне не было предъявлено никаких обвинений? Почему вы не потребовали отчета в моих действиях?

— Дабы не видеть снова убийств и траура, которые в течение десяти лет омрачали Рим... Но не будем говорить об этом, в мои намерения не входит обвинять тебя: ты, быть может, совершил немало ошибок, зато ты совершил и много славных подвигов; воспоминания о них не перестают волновать мою душу, ибо, как и ты, Сулла, я жажду славы и могущества. А скажи все же, не кажется ли тебе, что в жилах римского народа еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как

[1] Квестор — римский сановник, первоначально — судебный следователь по уголовным делам; впоследствии ведал финансами государства.

[2] Гней Карбон — приверженец Мария, консул в 85—84 гг. до н. э. По его предложению все приверженцы Суллы были осуждены на изгнание. Казнен в 83 году до н. э. по приказу Помпея.

[3] Луций Корнелий Цинна — в 87 году до н. э. получил консульство как приверженец народной партии. Вместе с Марием был консулом в 86 году до н. э. и вел борьбу с Суллой.

несколько месяцев назад ты в курии, при всем сенате, добровольно сложил с себя власть и, отпустив ликторов и воинов, направился с друзьями домой и как вдруг какой-то неизвестный юноша стал бесчестить и поносить тебя за то, что ты отнял у Рима свободу, истребил и ограбил его граждан и стал их тираном! О Сулла, согласись, что нужно обладать непреклонным мужеством, чтобы произнести все то, что сказал он: ведь тебе достаточно было только подать знак — и смельчак тотчас поплатился бы жизнью! Ты поступил великодушно — я говорю это не из лести: Катилина не умеет и не желает льстить никому, даже всемогущему Юпитеру! — ты поступил великодушно, не наказав его. Но ты согласен со мной: если у нас существуют безвестные юноши, способные на такой поступок — я так жалею, что не узнал, кто он,— то есть надежда, что отечество и республика еще могут быть спасены!

— Да, это был, конечно, отважный поступок, а я всегда восхищался мужеством и любил храбрецов. Я не захотел мстить смельчаку за обиду и стерпел все его оскорбления и поношения. Но знаешь ли ты, Катилина, какие последствия будут иметь поступок и слова этого юноши?

— Какие? — спросил Сергий Катилина, устремив испытующий взор в затуманенные глаза диктатора.

— Отныне,— ответил Сулла,— никто из тех, кому удастся захватить власть в республике, не пожелает от нее отказаться.

Катилина в раздумье опустил голову, затем, овладев собой, поднял ее и сказал:

— Найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет и захочет захватить высшую власть?

— Ну...— произнес, иронически улыбаясь, Сулла.— Видишь толпы рабов? — И он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом.— В рабах нет недостатка... Найдутся и диктаторы.

Весь этот разговор происходил под аккомпанемент бурных рукоплесканий толпы, увлеченной кровопролитным сражением, происходившим на арене между лаквеаторами и секуторами; вскоре оно завершилось смертью семи лаквеаторов и пяти секуторов. Оставшиеся в живых гладиаторы, раненные и истекающие кровью, удалились в камеры, а зрители бешено аплодировали, смеялись и весело шутили.

В то время когда лорарии вытаскивали из цирка двенадцать трупов и уничтожали следы крови на арене, Валерия, внимательно наблюдавшая за Суллой, который сидел неподалеку от нее, вдруг поднялась и, подойдя к диктатору сзади, выдернула шерстяную нитку из его хламиды. Удивленный, он обернулся и, сверкнув своими звериными глазами, принялся рассматривать ту, которая прикоснулась к нему.

— Не гневайся, диктатор! Я выдернула эту нитку, чтобы иметь долю в твоем счастье,— произнесла Валерия с чарующей улыбкой.

Почтительно приветствуя его, она, по обычаю, поднесла свою руку к губам и направилась к своему месту. Сулла, польщенный ее любезными словами, учтиво поклонился и, повернув голову, проводил красавицу долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.

— Кто это? — спросил Сулла, опять повернувшись в сторону арены.

— Это Валерия,— ответил Гней Корнелий Долабелла,—дочь Мессалы.

— А-а!..— заметил Сулла.— Сестра Квинта Гортензия?

— Именно.

И Сулла вновь повернулся к Валерии, которая смотрела на него ласковыми глазами.

Гортензий встал со своего места и пересел поближе к Марку Крассу [1], очень богатому патрицию, известному своей скупостью и честолюбием — двумя противоречивыми страстями, прекрасно уживавшимися, однако, в этой своеобразной натуре.

Марк Красс сидел рядом с девушкой необыкновенной красоты. Так как ей предстоит играть большую роль в нашем повествовании, задержимся на мгновение и поглядим на нее.

Звалась эта девушка Эвтибидой; по покрою одежды в ней можно было признать гречанку; сразу бросалась в глаза красота ее высокой и стройной фигуры. Талия была так тонка, что, казалось, ее можно было охватить двумя пальцами. Прелестное лицо поражало алебастровой белизной, оттененной нежным румянцем. Изящной формы лоб обрамляли кольца рыжих пушистых волос. Большие миндалевидные глаза цвета морской волны горели страстным огнем и непреодолимо влекли к себе. Чуть вздернутый, красиво очерченный носик как будто подчеркивал выражение дерзкой смелости, запечатлевшейся в ее чертах. Меж полуоткрытых, слегка влажных алых губ сверкали белоснежные зубы — настоящие жемчужины, соперничавшие прелестью с очаровательной ямочкой на маленьком округлом подбородке. Белая шея казалась изваянной из мрамора, плечи были достойны Юноны. Кисти обнаженных точеных рук и ступни ног были крошечные, как у ребенка.

---

[1] Марк Красс (114—53 гг. до н. э.) — сторонник Суллы, обогатившийся во время проскрипций в 82 году до н. э. Владел серебряными рудниками, землями и большим количеством рабов. Возглавлял римское войско, посланное на подавление восстания Спартака. В конце 60 года до н. э. Цезарь, Помпей и Красс составили триумвират. В 55 году до н. э. Красс снова был избран консулом вместе с Помпеем. Погиб во время войны с парфянами.

Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, густо затканной серебряными звездочками и уложенной изящными складками, под которыми угадывались скульптурные формы девушки, был накинут паллий из голубой шерсти, тоже весь в звездочках. Волосы надо лбом скрепляла небольшая диадема. В маленькие уши были вдеты две крупные жемчужины со сверкающими подвесками из сапфиров в форме звездочек. Шею обвивало жемчужное ожерелье, с которого на полуобнаженную грудь спускалась большая сапфировая звезда. Руки украшали четыре серебряных браслета с вырезанными на них цветами и листьями. Талию охватывал обруч с острым, угловатым концом, тоже из драгоценного металла. На маленьких розовых ножках были короткие котурны, состоявшие из подошвы и двух полосок голубой кожи, пересекавшихся у щиколоток; выше щиколоток ноги были схвачены двумя серебряными ножными браслетами тончайшей чеканной работы.

Девушке этой было не более двадцати четырех лет. Она была хороша собой и изысканно одета. Казалось, сама Венера Пафосская сошла с Олимпа, чтобы смертные могли насладиться лицезрением ее чудесной красоты.

Такова была юная Эвтибида, неподалеку от которой сел Марк Красс, с восторгом любовавшийся ею.

Когда к нему подошел Гортензий, Красс всей душой предавался созерцанию очаровательной девушки. Красавица же, явно скучая, в эту минуту зевала, открыв маленький ротик; правой рукой она играла сапфировой звездой, искрившейся на ее груди.

Крассу исполнилось тридцать два года; он был выше среднего роста и крепкого сложения, но склонен к тучности. На могучей шее сидела довольно крупная голова, гармонировавшая с мощным телом, но лицо, бронзово-золотистого оттенка, было худым; черты лица мужественные, чисто римского склада — орлиный нос, выдающийся, резко очерченный подбородок; глаза серые, с желтизной,— они то блестели необычайно ярко, то были неподвижны, бесцветны, как будто угасали. Родовитость, необычайное красноречие, огромное богатство, приветливость и учтивость завоевали ему не только известность, но и славу и влиятельность. К тому времени, с которого начинается наше повествование, он уже не раз доблестно сражался в гражданской войне на стороне Суллы и занимал различные административные посты.

— Здравствуй, Марк Красс,— сказал Гортензий, выводя его из состояния оцепенения.— Ты, видимо, погружен в созерцание звезд?

— Ты угадал, клянусь Геркулесом!— ответил Красс.— Эта...

— «Эта»? Которая?

— Вон та красавица гречанка, которая сидит двумя рядами выше нас...

— А! Я тоже заметил ее. Это Эвтибида.

— Эвтибида? Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я назвал тебе ее имя... Она действительно гречанка...— сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Крассом.

— Настоящая богиня! Сама Венера!.. Клянусь Геркулесом, я не могу представить более совершенного воплощения красоты прославленной дочери Юпитера.

— Ты прав,— улыбаясь, сказал Гортензий.— Но разве жена Вулкана так уж недоступна? Разве не дарит она щедро свои милости и сокровища своей красоты богам, полубогам, а временами даже и простым смертным, если кому-нибудь выпало счастье понравиться ей?

— А где она живет?

— На Священной улице... около храма Верхнего Януса.

Глаза Красса вспыхнули фосфорическим огнем, каким они иногда загорались, но тут же огонь погас, и, обернувшись к Гортензию, Красс спросил:

— Тебе надо поговорить со мной?

— Да, о тяжбе с банкиром Трабулоном.

— Я слушаю тебя.

Пока они беседовали об упомянутой Гортензием тяжбе и пока Сулла, несколько месяцев назад похоронивший свою четвертую жену, Цецилию Метеллу, а теперь вновь попавший в сети Амура, затевал на пятьдесят девятом году жизни поздний роман с прекрасной Валерией, послышался звук трубы. Это был сигнал к началу боя между тридцатью фракийцами и тридцатью самнитами, уже построенными в ряды друг против друга.

Разговоры, шум, смех прекратились; все взоры были устремлены на сражающихся. Первое столкновение было ужасно: среди глубокой тишины, царившей в цирке, резко прозвучали удары мечей по щитам, по арене полетели перья, осколки шлемов, куски разбитых щитов, а возбужденные, тяжело дышавшие гладиаторы наносили друг другу удар за ударом. Не прошло и пяти минут после начала боя, а на арене уже лилась кровь: трое гладиаторов корчились на земле в агонии, а сражающиеся топтали их ногами.

Невозможно ни описать, ни вообразить себе напряжение, с которым зрители следили за кровавыми перипетиями этого боя. О нем можно составить себе лишь слабое представление, судя по тому, что восемьдесят тысяч человек из числа собравшихся в цирке бились об заклад на сумму от десяти до двадцати

сестерциев и даже до пятидесяти талантов[1], смотря по своему состоянию; одни держали пари за пурпурно-красных фракийцев, другие — за голубых самнитов.

По мере того как ряды гладиаторов редели, все чаще и чаще раздавались рукоплескания и громкие поощрительные возгласы.

По прошествии одного часа сражение уже подходило к концу. По всей арене то тут, то там лежали пятьдесят гладиаторов, убитые или смертельно раненные; умирающие корчились в судорогах агонии и испускали душераздирающие крики.

Зрители, державшие пари за самнитов, казалось, могли быть вполне уверены в их победе. Семеро самнитов окружили и теснили трех оставшихся в живых фракийцев, последние же, тесно став спиной друг к другу, образовали треугольник и оказывали яростное сопротивление превосходящим силам самнитов.

Среди трех еще живых фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, поразительная сила крепких мышц, совершенная гармония всех линий тела, несокрушимая, непреодолимая храбрость несомненно должны были способствовать выдвижению этого человека, особенно в ту эпоху, когда физическая сила и твердость характера являлись главным условием успеха в жизни.

Спартаку исполнилось тридцать лет, и все те выдающиеся качества, о которых мы говорили, сочетались в нем с образованностью, редкой для его общественного положения, с возвышенным образом мыслей, благородством и величием души, доказательства которых он давал не раз.

Длинные белокурые волосы и густая борода обрамляли его красивое, мужественное лицо с правильными чертами, озаренное светом голубых глаз, полных жизни, чувства, огня; они придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение какой-то печальной доброты. Но в бою Спартак совершенно преобразился: на арене цирка сражался гладиатор с искаженным от гнева лицом, глаза его метали молнии, вид был ужасен.

Спартак родился во Фракии, в Родопских горах. Он сражался против римлян, вторгшихся в его страну, попал в плен и за свою силу и храбрость был зачислен в римский легион, где проявил необычайную доблесть. Затем он так отличился в войне против Митридата и его союзников, что был назначен деканом — начальником отряда из десяти человек — и заслужил почетную награду — гражданский венок[2]. Но когда римляне снова начали войну против фракийцев, Спартак бежал из легиона и стал сражаться в рядах соотечественников против римлян. Раненный, он снова попал в плен к своим врагам. Вместо смертной

[1] Талант — самая крупная в древности денежная единица.

[2] Гражданский венок — состоял из дубовых листьев и давался римскому солдату, спасшему в бою жизнь своему товарищу.

казни, предписанной законом для дезертиров, он должен был стать гладиатором и был продан одному ланисте, впоследствии перепродавшему его Акциану.

Прошло не более двух лет с тех пор, как Спартак попал в ряды гладиаторов. Со своим первым ланистой он объездил почти все города Италии, участвовал более чем в ста боях и ни разу не был серьезно ранен. Другие гладиаторы тоже были мужественны и сильны, но Спартак настолько превосходил их силой и храбростью, что постоянно оставался победителем и заслужил себе великую славу во всех амфитеатрах и цирках Италии.

Акциан купил фракийца за очень большие деньги — двенадцать тысяч сестерциев. Спартак принадлежал ему уже шесть месяцев, но Акциан ни разу не выпускал его в римских амфитеатрах — то ли потому, что высоко ценил Спартака как преподавателя фехтования, борьбы и гимнастики в своей школе гладиаторов, то ли потому, что слишком дорого заплатил за него, чтобы рисковать его жизнью. В случае смерти Спартака плата за него не возместила бы понесенных ланистой убытков.

Но сегодня Акциан впервые выпустил Спартака на арену цирка, потому что Сулла заплатил за сто гладиаторов, отобранных для боя в этот день, огромную сумму — двести двадцать тысяч сестерциев — и такая щедрая плата покрывала убыток, который ланиста мог понести в случае смерти Спартака. И все же, несмотря на то что гладиаторы, оставшиеся в живых после состязаний, поступали в собственность ланисты, исключая тех, кому народ даровал свободу, Акциан, взволнованный и бледный, спершись на одну из дверей камеры, следил за последними моментами борьбы; для того, кто захотел бы понаблюдать за ним, конечно, не могло пройти незамеченным его беспокойство за Спартака. Он напряженно следил за каждым движением, за каждым ударом, нанесенным или отбитым фракийцем.

— Смелее, смелее, самниты! — кричали тысячи зрителей, державших за них пари.

— Бейте их! Рубите этих трех варваров!

— Задай им, Небулиан! Прикончи их, Крикс! Подминай, подминай, Порфирий! — кричали зрители, в руках у которых были таблички с именами гладиаторов.

В ответ на эти выкрики гремел не менее мощный хор сторонников фракийцев. У них, правда, было мало шансов на выигрыш, но они не теряли надежды. Спартак, еще не раненный, с неповрежденным щитом и шлемом, как раз в этот момент пронзил мечом одного из окруживших его самнитов. При этом взмахе меча раздался гром рукоплесканий и возгласы тысячи зрителей:

— Смелее, Спартак! Браво, Спартак! Да здравствует Спартак!

Двое других фракийцев, которые сражались бок о бок с бывшим римским солдатом, были оба тяжело ранены; они вяло наносили и вяло отражали удары,— силы их иссякали.

— Защищайте мне спину! — крикнул Спартак; размахивая с быстротою молнии своим коротким мечом, он вынужден был одновременно отражать удары мечей всех самнитов, дружно нападавших на него.— Защищайте мне спину!.. Еще минута... и мы победим!

Голос его прерывался, грудь порывисто вздымалась, по бледному лицу катились крупные капли пота. Глаза его сверкали; в них горели жажда победы, гнев, отчаяние...

Вскоре недалеко от Спартака, заливая арену своею кровью, упал другой самнит, раненный в живот; он хрипел в агонии и слал проклятия зрителям. Вслед за ним свалился с разбитым черепом один из фракийцев, стоявших за спиной Спартака.

Весь цирк гудел от рукоплесканий, криков и возгласов: взоры всех зрителей были прикованы к сражающимся, ловили малейшее движение их, малейший жест. Луций Сергий Катилина, вскочив, стоял рядом с Суллой; он едва дышал, не видел ничего, кроме этой кровавой бойни, и не отрываясь смотрел на меч Спартака, так как держал пари за фракийцев; казалось, нить его собственной жизни была связана с этим мечом.

Третий самнит, пораженный Спартаком в сонную артерию, последовал за своими товарищами, лежавшими на арене; в это же мгновение и фракиец — последняя и единственная поддержка Спартака,— пронзенный тремя мечами, упал мертвым, даже не вскрикнув.

По цирку пронесся гул огромной толпы, похожий на рев зверя, а потом наступила такая тишина, что можно было ясно расслышать тяжелое, прерывистое дыхание гладиаторов. Нервное напряжение зрителей было так велико, что вряд ли оно могло быть сильнее, если бы даже от исхода этой схватки зависела судьба Рима.

Борьба уже длилась более часа. Спартак благодаря своей непостижимой ловкости и удивительному искусству фехтования получил только три легкие раны, вернее — царапины, но теперь он оказался один против четырех сильных противников. Хотя все четверо были ранены более или менее тяжело и истекали кровью, все же они еще оставались грозными врагами, так как их было четверо.

Как ни был силен и отважен Спартак, однако после гибели своего последнего товарища он понял, что настал его смертный час.

Вдруг глаза фракийца загорелись; ему пришла в голову спасительная мысль: он решил воспользоваться старинной тактикой

Горациев против Куриациев [1] — он бросился бежать. Самниты пустились за ним следом.

Толпа загудела, словно пчелиный рой.

Не пробежав и пятидесяти шагов, Спартак вдруг сделал неожиданный поворот, обрушился на ближайшего преследователя и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит закачался, взмахнул руками, как будто ища опоры, и упал, а в это время Спартак, набросившись на второго врага и отражая щитом удары его меча, уложил его на месте под восторженные крики зрителей, ибо теперь уже почти все были на стороне фракийца.

Как только второй самнит упал, подоспел его товарищ — третий самнит, весь покрытый ранами. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным пускать в ход меч и, видимо, не желая убивать его. Оглушенный ударом, самнит перевернулся и рухнул на арену. Тотчас же на помощь ему поспешил последний из самнитов, совсем уже выбившийся из сил. Спартак напал на него и, стараясь не наносить ран, обезоружил противника, выбив из его рук меч, потом обхватил его своими мощными руками, повалил на землю и прошептал ему на ухо:

— Не бойся, Крикс, я надеюсь спасти тебя...

Он стал одной ногой на грудь Крикса, а другой — на грудь самнита, которого оглушил ударом щита; в этой позе он ждал решения народа.

Единодушные долгие и громовые рукоплескания, словно гул от подземного толчка, прокатились по всему цирку! Почти все зрители подняли вверх кулак, подогнув большой палец — обоим самнитам была дарована жизнь.

— Какой храбрый человек! — сказал, обращаясь к Сулле, Катилина, по лбу которого градом катился пот.— Такому сильному человеку надо было родиться римлянином!

Между тем слышались сотни возгласов:

— Свободу храброму Спартаку!

Глаза гладиатора засверкали необычным блеском; он побледнел как полотно и приложил руку к сердцу, как бы желая унять его бешеные удары, вызванные этими словами, этой надеждой.

— Свободу, свободу! — повторяли тысячи голосов.

— Свобода! — прошептал еле слышно гладиатор.— Свобода!.. О боги Олимпа, не допустите, чтобы это оказалось сном! — И ресницы его увлажнились слезами.

---

[1] Гораций против Куриациев.— Согласно преданию, поединок трех братьев Горациев, римлян, с тремя братьями Куриациями, выставленными городом Альба-Лонга, должен был решить исход вооруженной борьбы двух городов. Два брата Горация были убиты, но третьему удалось одержать победу над Куриациями при помощи маневра, который в данном случае применил Спартак.

— Нет, нет! Он бежал из наших легионов,— раздался громкий голос,— нельзя давать свободу дезертиру!

И тогда многие из зрителей, проигравшие пари из-за отваги Спартака, закричали с ненавистью:

— Нет, нет! Он дезертир!

По лицу фракийца пробежала судорога. Он резко повернул голову в ту сторону, откуда раздался обвинительный возглас, и стал искать глазами, в которых сверкала ненависть, того, кто бросил это обвинение.

Но тысячи и тысячи голосов кричали:

— Свободу, свободу, свободу Спартаку!..

Невозможно описать чувства гладиатора в те минуты, когда решался вопрос всей его жизни. Тревога, мучительное ожидание отразились на его бледном лице; сверкающие лихорадочным огнем глаза красноречиво говорили о происходившей в нем смене отчаяния и надежды.

Этот человек, полтора часа боровшийся со смертью и ни на одну секунду не терявший присутствия духа, человек, который сражался один против четверых, гладиатор, убивший двенадцать или четырнадцать своих товарищей по несчастью, не обнаруживая при этом своего волнения, вдруг почувствовал, что у него подкосились ноги, и, чтобы не упасть без чувств на арену цирка, он оперся о плечо одного из лорариев, явившихся убирать трупы.

— Свободу, свободу! — продолжала неистовствовать толпа.

— Он ее достоин! — сказал на ухо Сулле Катилина.

— И он удостоится ее! — воскликнула Валерия, которой в эту минуту восхищенно любовался Сулла.

— Вы этого хотите? — произнес Сулла, вопросительно глядя в глаза Валерии, светившиеся любовью, нежностью, состраданием; казалось, она умоляла о милости к гладиатору.— Хорошо. Да будет так!

Сулла наклонил голову в знак согласия, и Спартак получил свободу под шумные рукоплескания зрителей.

— Ты свободен! — сказал лорарий Спартаку.— Сулла даровал тебе свободу.

Спартак не отвечал, не двигался и боялся открыть глаза, чтобы не улетела мечта, страшился обмана и не решался поверить своему счастью.

— Злодей, ты разорил меня своей храбростью!— прошептал кто-то над его ухом.

От этих слов Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана — хозяин Спартака явился на арену вместе с лорариями поздравить гладиатора, надеясь, что тот останется его собственностью. Теперь же Акциан проклинал храбрость

фракийца: глупейшее милосердие народа и разбойничье великодушие Суллы лишили его двенадцати тысяч сестерциев.

Слова ланисты убедили фракийца в том, что это не сон. Он встал, величественно выпрямился во весь свой гигантский рост, поклонился сначала Сулле, потом народу и через двери, ведущие в камеры, ушел с арены под новый взрыв рукоплесканий.

— Нет, нет, не боги создали все окружающее,— как раз в эту минуту сказал Тит Лукреций Кар, возобновляя беседу, которую он вел с юным Кассием и молодым Гаем Меммием Гемеллом [1], своим близким другом, сидевшим во время зрелища рядом с ним.

Гай Меммий Гемелл страстно любил литературу, искусство и увлекался философией. Впоследствии Лукреций посвятил ему свою поэму «De rerum naturae» («О природе вещей»), над которой он размышлял уже в это время.

— Но кто же тогда создал мир? — спросил Кассий.

— Вечное движение материи и соединение невидимых молекулярных тел. Ты ведь видишь на земле и на небе массу возникающих тел и, не понимая скрытых производящих начал, считаешь, что все они созданы богами. Никогда ничто не могло и не может возникнуть из ничего.

— Что же такое тогда Юпитер, Юнона, Сатурн? — спросил пораженный Кассий, которому очень нравилось слушать рассуждения Лукреция.

— Да это все порождение людского невежества и страха. Я познакомлю тебя, милый мой мальчик, с единственно верным учением — с учением великого Эпикура, который не страшился ни грома небесного, ни землетрясений, наводящих на людей ужас, ни могущества богов, ни воображаемых молний Юпитера. Борясь с закоренелыми предрассудками, он, полный нечеловеческой отваги, осмелился проникнуть в самые сокровенные тайны природы и в ней открыл происхождение и природу вещей.

В эту минуту воспитатель Кассия напомнил ему о приказании отца вернуться домой засветло и стал торопить его. Мальчик послушно встал; за ним поднялись Лукреций и Меммий, и все они стали спускаться по ступенькам к ближайшему запасному выходу. Однако, чтобы попасть туда, Кассий и его друзья должны были пройти мимо того места, где сидел Фавст, сын Суллы; около него стоял, ласково разговаривая с ним, Помпей Великий, который, оставив оппидум, пришел сюда приветствовать знакомых матрон и друзей. Кассий пробежал было мимо него, но вдруг, круто остановившись, сказал, обращаясь к Фавсту:

[1] Гай Меммий Гемелл — народный трибун в 66 году до н. э. При выборах консулов в 53 году до н. э. был осужден за подкуп избирателей и уехал в Грецию, был человек образованный и одаренный оратор.

— А ну-ка, Фавст, повтори при таком знаменитом гражданине, как Помпей Великий, безумные свои слова, которые ты произнес третьего дня в школе. Ты ведь говорил, что твой отец очень хорошо поступил, отняв свободу у римлян и сделавшись тираном нашей родины. Мне бы хотелось услышать от тебя еще раз эти слова. За них я расшиб тебе кулаком лицо, и синяки еще не прошли до сих пор. Теперь я при самом Великом Помпее вздую тебя еще раз, да покрепче!

Кассий напрасно ждал от противника ответа: Фавст склонил голову перед удивительным мужеством мальчика, который не побоялся поколотить и обругать сына властителя Рима, побуждаемый пламенной любовью к свободе, горевшей в его доблестном сердце. И Кассий, почтительно поклонившись Помпею, а также Меммию и Лукрецию, удалился из цирка со своим воспитателем.

Как раз в это время из рядов, расположенных над Воротами смерти, выходил юноша лет двадцати шести, одетый в очень длинную, длиннее обычного, тогу, которая закрывала его худые и тонкие ноги. Он был высок ростом и обладал величественной, внушительной внешностью, хотя лицо у него было болезненное и нежное. Встав со скамьи, он простился со своей соседкой, молодой женщиной, окруженной поклонниками — юными патрициями и изысканно одетыми щеголями.

— Прощай, Галерия,—сказал юноша, целуя руку красавицы.

— Прощай, Марк Туллий,— ответила она.— Не забудь: послезавтра в театре Аполлона дают «Электру» Софокла, и я там участвую. Приходи.

— Приду обязательно.

— Будь здоров! Прощай, Туллий! — послышалось одновременно несколько голосов.

— Прощай, Цицерон,— сказал, пожимая ему руку, красивый и осанистый человек лет пятидесяти пяти, нарумяненный и надушенный.

— Да покровительствует тебе Талия, искуснейший Эзоп,— ответил юноша, пожимая руку великому актеру.

Подойдя к очень красивому человеку лет сорока, сидевшему рядом с Галерией, он также пожал ему руку, промолвив при этом:

— Да реют над тобой все девять муз, непревзойденный Квинт Росций, любимейший из друзей моих.

Цицерон медленно отошел и с изысканной учтивостью стал пробираться сквозь толпу, заполнившую все проходы, направляясь к тому месту около Триумфальных ворот, где, как он заметил, сидели два племянника Марка Порция Катона Цензора.

Группа зрителей, с которыми простился Марк Туллий Цицерон, состояла из служителей искусства: Галерии Эмболарии,

красивой двадцатитрехлетней женщины и самой выдающейся актрисы того времени, выступавшей преимущественно в трагических ролях; известного трагического актера Эзопа, несмотря на свои пятьдесят пять лет всегда надушенного, нарумяненного и нарядного, и его соперника — Квинта Росция, великого актера, заставлявшего своей игрой плакать, смеяться и сострадать ему весь римский народ; он сидел рядом с Эмболарией. Это к нему относился прощальный привет Цицерона, исполненный горячей дружбы.

Росцию недавно исполнилось сорок лет. Его дарование достигло полного расцвета, он был очень богат. Его боготворил весь Рим, самые именитые граждане гордились дружбой с ним; Сулла, Гортензий, Цицерон, Помпей, Лукулл, Квинт Метелл, Цецилий Пий, Сервилий Ватий Исаврийский, Марк Красс, Корнелий Скрибониан, Курион, Публий Корнелий Сципион Азиатский наперебой приглашали его, ласкали и превозносили не только как искуснейшего актера, но и как человека доблестного и одаренного; это искреннее и восторженное преклонение было особенно ценно, потому что исходило от великих людей, возвышавшихся умственно и духовно над обыденным уровнем.

Возле трех знаменитых актеров группировались звезды меньшей величины из артистической плеяды, пленявшей в те годы римскую публику, которая толпами шла в театры смотреть трагедии Эсхила [1], Софокла [2], Еврипида [3] и Пакувия [4], комедии Аристофана [5], Менандра [6], Филемона [7] и Плавта [8].

Вокруг Эмболарии, Эзопа, Росция и их сотоварищей теснились назойливые поклонники, тупые бездельники, одержимые манией величия, глупейшим тщеславием и жаждой сильных впечатлений и ощущений.

Марк Туллий Цицерон, пройдя ряды, отделявшие его от Катона и Цепиона, подошел к ним и после дружеского приветствия сел рядом, вступив в разговор с Катоном, к которому испытывал большое расположение.

Марку Туллию Цицерону, как мы уже говорили, в это время было двадцать шесть лет, он был молод, хорош собой и имел ве-

---

[1], [2], [3] Эсхил (525—456 гг. до н. э.), Софокл (ок. 496—406 гг. до н. э.), Еврипид (480—406 гг. до н. э.) — великие греческие драматурги

[4] Пакувий (ок. 220—132 гг. до н. э.) — римский сатирик, драматург и живописец.

[5] Аристофан (ок. 446—388 гг. до н. э.) — величайший греческий комедиограф.

[6] Менандр (ок. 343—293 гг. до н. э.) — крупнейший представитель новоаттической (александрийской) комедии.

[7] Филемон — современник Менандра, представитель новоаттической комедии.

[8] Плавт (ок. 254—184 гг. до н. э.) — римский комедиограф.

личавый облик, несмотря на свое болезненное, слабое телосложение. У него была длинная шея, мужественное лицо с выразительными, энергичными и правильными чертами, необычайно широкий лоб, сообразно его могучему уму, густые взъерошенные брови, из-под которых сверкали большие глаза. На его совершенной формы губах почти всегда играла улыбка, зачастую ироническая, но даже в самой иронии своей носившая отпечаток добродушия. Одаренный прозорливым умом, блестящей памятью и красноречием, Цицерон благодаря упорному, прилежному труду, которому он отдавался с большой любовью, в двадцать шесть лет прославился одновременно как философ, как оратор и как блестящий, всеми признанный поэт.

Еще в очень молодые годы Цицерон изучал поэтику у греческого поэта Архия, которого он защищал впоследствии в одной из своих знаменитых речей. Архий пользовался громкой известностью благодаря своему поэтическому дарованию и душевным качествам; в ту пору он жил в доме великого Лукулла, победителя Митридата и Тиграна [1], обучая его детей искусству стихосложения; одновременно он открыл в Риме школу, которую посещали молодые люди из патрицианских семей. Ко времени нашего повествования Архий сочинил и опубликовал поэму «О войне кимвров», где превозносил отважного Гая Мария, единственного из всех римлян, который в период республики семь раз избирался консулом.

Доблестные подвиги Гая Мария не только принесли Риму победу над нумидийским царем Югуртой, но спасли также республику от губительного нападения тевтонов и кимвров. За эти подвиги Гай Марий был удостоен наименования третьего основателя Рима [2].

Еще будучи учеником в школе Архия, пятнадцатилетний Цицерон написал поэму «Главк Понтий» [3], которая плавностью стиха и красотой стиля заставила заговорить о нем; тогда еще не было Лукреция, Катулла [4], Вергилия [5], Овидия [6], Горация [7], обога-

---

[1] Тигран II Великий (95—56 гг. до н. э.) — царь Армении, зять и союзник Митридата Понтийского, успешно воевал с Парфией. Был разбит римским полководцем Лукуллом.

[2] Первые двое — легендарные Ромул и Рем.

[3] «Главк Понтий» — приписываемая Цицерону поэма, не дошедшая до нас. Главк — морской бог, покровитель рыбаков и мореплавателей.

[4] Катулл (ок. 80—54 гг. до н. э.) — римский поэт-лирик.

[5] Вергилий (70—19 гг до н. э.) — Публий Вергилий Марон, великий римский поэт, автор «Энеиды».

[6] Овидий (43—17 гг. до н э.) — Публий Овидий Назон, знаменитый римский поэт. Крупнейшее произведение Овидия — «Метаморфозы» («Превращения»).

[7] Квинт Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт.

тивших латинский язык своими дивными поэтическими творениями.

Посещение школы Архия не мешало Цицерону усердно слушать лекции сначала философа-эпикурейца Федра [1], потом стоика Диодота и академика Филона, бежавших из Афин, которыми завладел Митридат. Он слушал замечательные лекции по красноречию, которые читал в Риме в течение двух лет знаменитый Молон Родосский [2]. Красноречие Молона было столь необыкновенным, что он первым получил разрешение выступать в сенате на греческом языке без посредничества переводчика.

Цицерон с большим усердием изучал законоведение под руководством обоих Сцевол [3], сенаторов и ученых юристов: старший был августом [4], младший — верховным жрецом [5]. Они обучали юношу самым тонким приемам и тайнам юриспруденции.

Когда ему было только восемнадцать лет, он участвовал в Марсийской, или Союзнической, войне под началом Помпея Великого, и, как он сам потом рассказывал, его поражали храбрость и постоянные удачи Суллы.

За два года до описываемых событий Марк Туллий впервые появился на Форуме и произнес речь в защиту Квинтия. Некий кредитор, которого защищал знаменитый Гортензий, требовал у Квинтия возврата своего имущества. Цицерон, тогда еще только начинавший свою карьеру, решительно отказывался выступать против грозного Гортензия, но актер Росций, с которым он был очень дружен, просил за своего родственника Квинтия. Цицерон согласился и выступил; он говорил столь убедительно и так обворожил судей, что выиграл тяжбу.

Потом Цицерон выступил с большим подъемом в защиту прав одной гражданки из Арретия против декрета Суллы, по которому жители Арретия были лишены прав гражданства. Цицерон, по характеру скорее робкий и нерешительный, говорил с большим мужеством, и в этом сказались его душевная чистота и честность. Выступление это наделало много шума.

---

[1] Федр — философ-эпикуреец, живший в Риме и Афинах, учитель Цицерона.

[2] Молон Родосский — родосский ритор. Цезарь и Цицерон учились у него красноречию.

[3] Имеются в виду: 1) Квинт Муций Сцевола — в 121 году до н. э. управлял Азией; мужественно выступал против Суллы в сенате. 2) Муций Сцевола — верховный жрец; занимал должность наместника Азии. Убит в 82 году до н. э. Оставил по себе славу честного человека, горячего патриота, выдающегося правоведа и оратора.

[4] Авгур — римский жрец, предсказывавший на основании наблюдения за полетом и клевом птиц волю богов и исход того или иного предприятия.

[5] Верховный жрец возглавлял коллегию понтификов, состоявшую из восьми, а потом пятнадцати человек и ведавшую всеми вопросами культа.

Но речь, явившаяся венцом славы юного Туллия и доставившая ему огромную известность, была произнесена им в защиту Секста Росция Америйского, обвинявшегося отпущенником Суллы Корнелием Хрисогоном в отцеубийстве. Защитительная речь Цицерона была необыкновенно страстной, живой, настойчивой и красноречивой. Росций Америйский был оправдан, а Цицерона объявили достойным соперником Гортензия,— он на этот раз выступал противником Гортензия и одержал над ним победу.

В те дни среди различных слоев населения Рима ходила по рукам поэма Цицерона. Она еще усилила всеобщее восхищение одаренностью ее автора; Цицерону суждено было в дальнейшем вознести латинский язык на недосягаемую высоту своими произведениями, и трудно сказать, чем следует в них больше восхищаться: теоретической ли глубиной, чистотой нравственного чувства, величием мыслей, блеском стиля или же очарованием формы, отличающейся аттическим изяществом.

Поэма, о которой мы упомянули, называлась «Марий»; от нее дошел до нас лишь небольшой фрагмент. Она была написана в честь Гая Мария, родившегося, как и Цицерон, в Арпине и безмерно им почитаемого.

Мы должны просить прощения у наших читателей за частые отступления, но они вызываются как самой темой, так и необходимостью давать наброски портретов выдающихся людей последнего века свободного Рима, отличавшихся либо мужеством и добродетелями, либо мрачными и ужасными пороками, либо чудесными деяниями.

Теперь же восстановим прерванную нить нашего повествования.

— Неужели, о великие боги, то, что рассказывают о тебе, правда? — спросил с удивлением Цицерон юного Катона.

— Да, правда,— отвечал, насупившись, мальчик.— А разве я не был прав?

— Ты был прав, храбрейший из юношей,— тихо ответил Цицерон, целуя Катона в лоб,— но, к сожалению, не всегда возможно громко говорить правду, нередко право должно уступать силе.

И оба на секунду замолчали.

— Но как же случилось, что...— спросил Туллий Сарпедона, наставника обоих юношей.

— Из-за ежедневных убийств, совершавшихся по приказанию Суллы,— прервал его Сарпедон,— я должен был раз в месяц бывать у диктатора с двумя своими воспитанниками, для того чтобы Сулла, при его безумной страсти к истреблению, относился к ним благосклонно, считал их в числе своих друзей

и чтобы ему в голову не пришла шальная мысль занести их в проскрипционные списки. Сулла действительно всегда принимал их благосклонно и, обласкав обоих мальчиков, отпускал с приветливыми словами. Как-то раз, выйдя от него и пересекая Форум, мы услышали душераздирающие стоны, доносившиеся из-под сводов Мамертинской тюрьмы...

— И я спросил у Сарпедона,— прервал его Катон,— «Кто это кричит?» — «Это граждане, которых убивают по приказу Суллы»,— ответил он мне. «За что же их убивают?» — спросил я. «За то, что они любят свободу и преданы ей».

— Тогда этот безумец,— сказал Сарпедон, в свою очередь прерывая Катона,— сказал мне изменившимся голосом и очень громко, так что, к несчастью, слышали все окружающие: «Почему ты не дал мне меч? Ведь я мог несколько минут назад убить этого лютого тирана моей родины!»

Немного помолчав, Сарпедон прибавил:

— Так как слух об этом дошел до тебя...

— Многим известен этот случай,— ответил Цицерон,— и все говорят с восторгом о мужестве мальчика...

— А что, если, на беду его, это дойдет до Суллы?— воскликнул в отчаянии Сарпедон.

— Что мне до того? — презрительно произнес, нахмурив брови, Катон.— Все, что я сказал, я могу повторить и в присутствии того, перед кем вы все трепещете. Хотя я еще очень молод, клянусь всеми богами Олимпа, меня он не заставит дрожать!

Цицерон и Сарпедон, пораженные, переглянулись, а мальчик с воодушевлением воскликнул:

— Ах, если бы на мне была уже тога!

— Что же ты тогда сделал бы, безумец? — спросил Цицерон, но тут же добавил:— Да замолчишь ли ты наконец!

— Я бы вызвал на суд Луция Корнелия Суллу и всенародно предъявил ему обвинение...

— Замолчи, замолчи же! — воскликнул Цицерон.— Ты всех нас хочешь погубить! Я неразумно воспевал подвиги Мария, я защищал на двух процессах моих клиентов, которые не были приверженцами Суллы, и, разумеется, не снискал этим расположения бывшего диктатора. Неужели ты хочешь, чтобы из-за твоих безумных слов мы последовали за неисчислимыми жертвами его свирепости? А если нас убьют, избавим ли мы тем самым Рим от мрачного могущества тирана? Ведь страх оледенил в жилах римлян их древнюю кровь, тем более что Сулле действительно сопутствуют счастье и удача, и он всесилен...

— Вместо того чтобы называться *Счастливым*, лучше бы ему именоваться *Справедливым*,— ответил Катон уже шепотом, по-

винуясь настоятельным увещаниям Цицерона; и, бормоча что-то, он мало-помалу успокоился.

В это время андабаты развлекали народ фарсом — кровавым, мрачным фарсом, участники которого, все двадцать злосчастных гладиаторов, должны были расстаться с жизнью.

Сулла уже пресытился зрелищем, он был занят одной-единственной мыслью, завладевшей им. Он встал и направился туда, где сидела Валерия, любезно поклонился, окинув ее долгим взглядом, которому постарался придать, насколько мог, выражение нежности, покорности, приветливости, и спросил:

— Ты свободна, Валерия?

— Несколько месяцев назад я разошлась со своим мужем...

— Я знаю,— ответил Сулла, на которого Валерия смотрела ласково своими черными глазами.— А меня,— спросил бывший диктатор после минутной паузы,— меня могла бы ты полюбить?

— От всей души! — ответила Валерия, опустив глаза, и обворожительная улыбка приоткрыла ее красивые губы.

— Я люблю тебя, Валерия. Мне кажется, никогда еще я так не любил! — произнес Сулла дрожащим от волнения голосом.

Оба умолкли. Бывший диктатор Рима взял руку красавицы и, горячо поцеловав ее, добавил:

— Через месяц ты будешь моей женой.

И в сопровождении своих друзей он покинул цирк.

Глава третья

ТАВЕРНА ВЕНЕРЫ ЛИБИТИНЫ

На одной из самых дальних узких и грязных улиц Эсквилина, около старинной городской стены времен Сервия Туллия, а именно между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами, находилась открытая днем и ночью, а больше всего именно ночью, таверна, названная именем Венеры Либитины, или Венеры Погребальной,— богини мертвых, смерти и погребения. Таверна эта, вероятно, называлась так потому, что близ нее с одной стороны находилось маленькое кладбище для плебеев, а с другой стороны, вплоть до базилики Сестерция, тянулся пустырь, куда бросали трупы слуг, рабов и самых бедных людей; лишь волки да коршуны справляли по ним кровавую тризну.

Над входом в таверну помещалась вывеска с изображением Венеры, более похожей на отвратительную мегеру, чем на богиню красоты,— очевидно, ее рисовал незадачливый художник. Фонарь, раскачиваемый ветром, освещал эту жалкую Венеру, но она ничуть не выигрывала от того, что ее можно было лучше

рассмотреть. Все же этого скудного освещения было достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих к высохшей буковой ветке, прикрепленной над входом в таверну, и несколько рассеять мрак, царивший в этом грязном переулке.

Войдя в маленькую, низкую дверь и спустившись по камням, небрежно положенным один на другой и служившим ступеньками, посетитель попадал в закопченную и сырую комнату.

Направо от входа, у стены, находился очаг, где ярко пылал огонь и готовились в оловянной посуде разные кушанья, среди которых была традиционная кровяная колбаса и неизменные битки; никто не рискнул бы узнать, из чего они делались. Готовила всю эту снедь Лутация Одноглазая, хозяйка и распорядительница этого заведения.

Рядом с очагом в небольшой открытой нише стояли четыре терракотовые статуэтки, изображавшие ларов — покровителей домашнего очага; в их честь горела лампада и лежали букетики цветов и венки.

У очага стоял небольшой, весь перепачканный столик и скамейка некогда красного цвета с позолотой; в минуты, свободные от обслуживания посетителей, на ней сидела Лутация, хозяйка таверны.

Вдоль стен, направо и налево, а также перед очагом расставлены были старые обеденные столы, а вокруг них — длинные топорные скамьи и колченогие табуретки.

С потолка свешивалась жестяная лампада в четыре фитиля, которая вместе с огнем, ярко пылавшим в очаге, рассеивала тьму, царившую в этом подземелье.

Напротив входной двери в стене была пробита дверь, которая вела во вторую комнату, поменьше и чуть почище первой. В углу горел светильник с одним фитилем, слабо освещавший комнату; в полумраке виден был только стол и два обеденных ложа.

Десятого ноября 675 года, около часа первого факела, в таверне Венеры Либитины было особенно много народу,— шум и гам наполняли не только лачугу, но и весь переулок. Лутация Одноглазая вместе со своей рабыней, черной, как сажа, эфиопкой, суетилась, стараясь удовлетворить раздававшиеся одновременно со всех сторон шумные требования проголодавшихся посетителей.

Лутация Одноглазая, сорокапятилетняя женщина, высокая, сильная, плотная и краснощекая, с изрядной проседью в каштановых волосах, была в молодости красавицей. Но лицо ее обезобразил шрам, шедший от виска до носа. Шрам проходил через вытекший правый глаз, веко его закрывало пустую глазницу. За это увечье Лутацию много лет называли «монокола», то есть одноглазая.

Когда-то, в молодости, Лутация была женой легионера Руфино, больше года храбро сражавшегося в Африке против Югурты.

Когда Гай Марий победил нумидийского царя и Руфино вместе с Марием вернулся в Рим, Лутация была в расцвете красоты, но — увы! — не во всем подчинялась предписаниям, касающимся брака, изложенным в Законах двенадцати таблиц [1]. В один прекрасный день муж приревновал ее к мяснику, свежевавшему по соседству свиней, выхватил меч и прикончил соседа, затем ударом меча постарался внушить жене необходимость соблюдения указанных законов; память об этом осталась у нее на всю жизнь. Руфино думал, что убил жену. Боясь, что придется отвечать перед квесторами не столько за смерть Лутации, сколько за убийство мясника, он поспешил в ту же ночь уехать. Сражаясь под начальством боготворимого им полководца Гая Мария, он был убит во время памятного боя при Аквах Секстиевых, где доблестный уроженец Арпина [2], разбив наголову тевтонские орды, спас Рим от величайшей опасности.

Через много месяцев, оправившись от ужасной раны, Лутация извлекла все свои сбережения, кое-кто помог ей, и она собрала небольшую сумму, на которую могла купить обстановку для таверны. Прибегнув к великодушию Квинта Цецилия Метелла Нумидийского [3], она получила в дар эту жалкую лачугу.

Несмотря на свое обезображенное лицо, услужливая и веселая Лутация еще привлекала некоторых посетителей; не раз из-за нее происходили драки.

Заходили в таверну Венеры Либитины бедняки ремесленники — плотники, гончары, кузнецы,— а также самые отпетые забулдыги: могильщики, атлеты из цирка, комедианты и шуты самого низкого пошиба, гладиаторы и нищие, притворявшиеся калеками.

Но Лутация Одноглазая не отличалась щепетильностью и не обращала внимания на всякие тонкости — ведь таверна ее не была предназначена для менял, всадников и патрициев. К тому же добродушная Лутация считала, что, по воле Юпитера, солнце сияет на небе одинаково как для богатых, так и для бедных, и если для богачей открыты винные и пирожные лавки, трakти-

---

[1] Законы двенадцати таблиц относятся к середине V века до н. э. и отражают социальные отношения в римском обществе в момент его перехода к рабовладению. Не касаясь основ государственного строя, они регулировали взаимоотношения правовые, а также и семейные. Эти законы были написаны на двенадцати бронзовых таблицах и выставлены на Форуме.

[2] Уроженец Арпина — Гай Марий.

[3] Квинт Цецилий Метелл Нумидийский был послан в 109 году до н. э. в Африку для борьбы с Югуртой; нанес ему поражение в битве при реке Мутуле и после этой победы получил прозвище «Нумидийского».

ры и гостиницы, то и бедняки должны иметь где-то пристанище. А кроме того, Лутация успела убедиться, что квадрант, асс и сестерций [1] из кармана бедняка или какого-нибудь мошенника ничем не отличаются от таких же монет из кошелька зажиточного горожанина или надменного патриция.

— Лутация, черт возьми, скоро ли ты подашь эти проклятые битки? — орал старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.

— Ставлю сестерций, что Лувений доставляет ей с Эсквилинского поля мертвечину, не доеденную воронами. Вот из какого мяса Лутация готовит свои дьявольские битки! — кричал нищий, сидевший рядом со стариком гладиатором.

Громкий хохот раздался в ответ на зловещую шутку нищего, притворявшегося калекой. Однако могильщику Лувению, коренастому толстяку с багровым и угреватым лицом, выражавшим тупое равнодушие, не пришлась по вкусу шутка нищего, и в отместку он громко заявил:

— Лутация, послушай честного могильщика: когда готовишь битки для этого чумазого Велления (так звали нищего), клади в них тухлую говядину — ту самую, что он привязывает веревкой к груди и выдает за кровавые раны. Никаких ран у него и в помине нет, только надувает сердобольных людей, чтобы ему подавали побольше.

За этой репликой последовал новый оглушительный взрыв хохота.

— Не будь Юпитер лентяем и не спи он так крепко, уж он истратил бы одну из своих молний и мигом испепелил бы тебя! Прощай тогда могильщик Лувений, бездонный, зловонный бурдюк!

— Клянусь черным скипетром Плутона, я так отделаю кулаками твою варварскую рожу, таких язв насажаю, что тебе не придется обманывать людей, попрошайка, будешь молить о жалости по праву.

— А ну подойди, подойди, пустомеля! — вскочив с места, вопил во все горло нищий, потрясая кулаками.— Подойди! Я тебя живо отправлю к Харонту и, клянусь крыльями Меркурия, прибавлю тебе из своих денег еще одну медную монетку: всажу ее тебе в твои волчьи зубы, держи крепче!

— Перестаньте вы, старые клячи! — заревел Гай Тауривий, огромного роста атлет из цирка, увлеченный игрой в кости.— Перестаньте, а не то, клянусь всеми богами Рима, я так вас стукну друг о дружку, что перебью все ваши трухлявые кости и превращу вас в трепаную коноплю!

---

[1] Асс, квадрант, сестерций — мелкие римские монеты.

К счастью, в эту минуту Лутация Одноглазая и ее рабыня, эфиопка Азур, внесли и поставили на стол два огромнейших блюда, наполненных дымящимися битками. На них с жадностью набросились две самые большие компании из числа собравшихся в таверне.

Сразу водворилась тишина. Счастливцы, первыми получившие еду, придя в веселое настроение, пожирали битки и находили стряпню Лутации превосходной. А в это время за другими столами играли в кости, перемешивая игру с грубым богохульством и разговорами на злободневную тему — о бое гладиаторов в цирке, на котором посчастливилось присутствовать кое-кому из посетителей, являвшихся свободными гражданами. Они рассказывали чудеса на удивление тем, кто принадлежал к сословию рабов и не допускался на зрелища в цирк. Все в один голос превозносили мужество и силу Спартака.

Лутация сновала взад и вперед, подавала на столы колбасу. Мало-помалу в таверне Венеры Либитины установилась тишина.

Первым нарушил молчание старый гладиатор.

— Я двадцать два года бился в амфитеатрах и цирках,— громко сказал он.— Меня, правда, немножко продырявили, распороли и опять сшили, а все-таки я спас свою шкуру, значит, храбростью и силой меня не обидели боги. Но, скажу вам, я еще не встречал и не видывал такого гладиатора, такого силача и такого фехтовальщика, как Спартак Непобедимый!

— Родись он римлянином,— добавил покровительственным тоном атлет Гай Тауривий (сам он родился в Риме),— его можно было бы возвести в герои.

— Как жаль, что он варвар! [1]— воскликнул Эмилий Варин, красивый юноша лет двадцати, с лицом, уже изборожденным преждевременными морщинами.

— Ну и счастливец же этот Спартак! — заметил старый хромой легионер, сражавшийся в Африке; лоб его пересекал широкий рубец.— Хоть он и дезертир, а ему даровали свободу! Слыханное ли дело! Сулла, видимо, был в добром расположении, вот и расщедрился!

— Вот, должно быть, злился ланиста Акциан! — сказал старый гладиатор.

— Да он всем плакался: ограбили, разорили, погубили!..

— Ничего, за свой товар он получил звонкой монетой!

— Да, надо правду сказать, товар был хорош! Такие молодцы — один лучше другого!

— Кто же спорит, товар был хорош, но и двести двадцать тысяч сестерциев тоже деньги немалые.

---

[1] Варвар — у римлян: чужеземец, неприятель.

— Да еще и какие! Клянусь Юпитером Статором!

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул атлет.— Мне бы их, эти денежки! Как мне хочется познать все радости, которые может дать человеку золото!

— Ты?.. А мы-то что же? Ты думаешь, Тауривий, мы не сумели бы вкусить наслаждений, заполучив двести двадцать тысяч сестерциев?

— Сорить деньгами дело нетрудное, да не всякий умеет скопить их.

— Только вы уж не убеждайте меня, что Сулле трудом достались его богатства.

— Он начал с того, что получил наследство от одной женщины... из Никополя...

— Она уже была в летах, когда влюбилась в него; а он был тогда еще молод и если не красив, то, уж наверное, не так уродлив, как теперь.

— Умирая, она завещала ему все свои богатства.

— А в молодости он был беден. Я знал одного гражданина, у которого Сулла долго жил в доме нахлебником,— сказал атлет,— он получал три тысячи сестерциев в год.

— В войне с Митридатом, при осаде и взятии Афин, Сулла сумел захватить львиную долю добычи. Вот тогда он приумножил свое богатство. А потом наступили времена проскрипций, и по приказу Суллы было убито семнадцать консулов, шесть преторов [1], шестьдесят эдилов и квесторов, триста сенаторов, тысяча шестьсот всадников и семьдесят тысяч граждан. И как вы думаете, куда пошло все их имущество? Прямо в казну? А Сулле так-таки ничего и не перепало?

— Хотелось бы мне получить хотя бы самую малую толику того, что ему досталось во времена проскрипций!

— И все же,— задумчиво сказал Эмилий Варин, хорошо образованный юноша, склонный в этот вечер пофилософствовать,— пусть Сулла из бедняка превратился в богача, пусть он возвысился из неизвестности и стал диктатором Рима, триумфатором, пусть ему воздвигли золотую статую перед ростpами с надписью: «Корнелий Сулла Счастливый, император», а все же этот всемогущий человек страдает неизлечимой болезнью, которую не в силах победить ни золото, ни науки.

Слова эти произвели глубокое впечатление на весь собравшийся здесь сброд, и все единодушно воскликнули:

— Да, верно, верно!..

---

[1] Претор — а) должностное лицо, стоявшее степенью ниже консула и имевшее в своем ведении судебную власть; главной обязанностью преторов была охрана порядка в городе; б) наместник римской провинции с правом главнокомандующего.

— Так ему и надо! — со злобой крикнул хромой легионер, сражавшийся в войсках Гая Мария в Африке и благоговевший перед памятью своего полководца.— Поделом ему! Пускай помучится. Он бешеный зверь, чудовище в человеческом обличье! Это ему зачлась пролитая им кровь шести тысяч самнитов. Они сдались Сулле при условии, что он сохранит им жизнь, и все шесть тысяч человек были умерщвлены в цирке. Когда в них метали там стрелы, сенаторы, собравшиеся в курии Гостилия, услыхав душераздирающие крики несчастных, в страхе вскочили с мест, а Сулла преспокойно продолжал свою речь и лишь холодно заметил сенаторам, чтобы они слушали его внимательно и не беспокоились по поводу того, что происходит снаружи: там просто дают, по его приказу, урок кучке презренных негодяев.

— А резня в Пренесте, где он за одну ночь, не щадя ни пола, ни возраста, перебил все злосчастное население города — двенадцать тысяч человек!

— Не он ли разрушил и сровнял с землей Сульмон, Сполетий, Интерамну, Флоренцию, самые цветущие города Италии, за то, что они были приверженцами Мария и нарушили верность Сулле?

— Эй, ребята, замолчите! — крикнула Лутация; она сидела на скамейке и укладывала на сковородку зайчатину, которую собиралась жарить.— Вы, сдается мне, хулите диктатора Суллу Счастливого? Предупреждаю, держите язык за зубами! Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего гражданина Рима!

— Так вот оно что! Оказывается, косоглазая-то — сторонница Суллы! Ах ты проклятая! — воскликнул старый легионер.

— Эй ты, Меттий,— заорал могильщик Лувений,— говори с уважением о нашей любезной Лутации!

— Клянусь щитом Беллоны, ты у меня замолчишь! Вот еще новость! Какой-то могильщик смеет приказывать африканскому ветерану!

Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, как вдруг с улицы послышался нестройный хор женских голосов.

— Это Эвения,— заметил один из гостей.

— Это Луцилия.

— Это Диана.

Все взгляды устремились на дверь, в которую входили, танцуя, пять девиц в чересчур коротких одеждах.

Мы не будем останавливаться на сцене, последовавшей за появлением женщин; отметим лучше то усердие, с которым Лутация и ее рабыня накрывали на стол,— судя по приготовлениям, ужин обещал быть роскошным.

— Кого это ты ждешь сегодня вечером в свою харчевню, для кого жаришь драных кошек и хочешь выдать их за зайцев?— спросил нищий Веллений.

— Не ждешь ли ты, часом, к ужину Марка Красса?

— Нет, она ждет самого Помпея Великого!

Смех и остроты продолжались, как вдруг в дверях таверны появился человек огромного роста и могучего телосложения; хотя волосы у него уже были с сильной проседью, он все еще был хорош собой.

— А, Требоний!.. Здравствуй, Требоний!.. Добро пожаловать, Требоний! — послышалось одновременно из разных углов таверны.

Требоний был ланистой; несколько лет назад он закрыл свою школу и жил на сбережения, скопленные от этого прибыльного занятия. Но привычка и склонность тянули его в среду гладиаторов, и он был завсегдатаем всех дешевых трактиров и кабаков Эсквилина и Субуры, в которых шумно веселились эти пасынки судьбы.

Поговаривали, что он, несмотря на то что сам происходил из гладиаторов и гордился связью с ними, оказывал услуги и патрициям. Во время гражданских смут ему поручали нанимать большое число гладиаторов.

Говорили, что под началом Требония были целые полчища гладиаторов, во главе которых он появлялся то на Форуме, то в комициях, когда обсуждался какой-нибудь важный вопрос и кое-кому выгодно было навести страх на судей или создать замешательство, а подчас и затеять драку во время выборов судей или должностных лиц. Утверждали, что Требоний получал большую выгоду от подобных занятий.

Как бы то ни было, Требоний считался другом и покровителем гладиаторов, и в этот день по окончании зрелищ в цирке, на которых он, как всегда, присутствовал, он дождался Спартака у входа, обнял его, расцеловал и, поздравив, пригласил на ужин в таверну Венеры Либитины.

Требоний пришел в таверну Лутации в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов.

Спартак все еще был в той пурпурной тунике, в которой сражался на арене цирка. На плечи его был накинут плащ покороче тоги; солдаты носили обычно подобные плащи поверх доспехов. Спартак получил этот плащ во временное пользование у одного центуриона, друга Требония.

Завсегдатаи таверны встретили гостей шумными приветствиями. Побывавшие в этот день в цирке с гордостью показывали другим героя дня — мужественного Спартака.

— Сюда, сюда, доблестный гладиатор,— сказала Лутация,

опережая Спартака и Требония и приглашая их в другую комнату,— тут для вас приготовлен ужин. Идите, идите,— добавила она,— твоя Лутация, Требоний, позаботилась о тебе. Угощу вас отменным жарким: такого зайца не подадут к столу даже у Марка Красса!

— Что ж, попробуем, оценим твои кушанья, плутовка ты эдакая! — отвечал Требоний, легонько похлопывая Лутацию по плечу.— А пока что подай нам амфору старого велитернского. Только смотри — старого!

— Всеблагие боги! — воскликнула Лутация, заканчивая приготовления к ужину, в то время как гости садились за стол.— Всеблагие боги! Он еще предупреждает — «старого»! Да я самого лучшего приготовила!.. Подумать только — пятнадцатилетней выдержки! Это вино хранится со времен консульства Гая Целлия Кальда [1] и Луция Домиция Агенобарба! [2]

Пока Лутация занимала гостей, ее рабыня, эфиопка Азур, принесла амфору. Она сняла печать, которую гости принялись рассматривать, передавая один другому, и налила часть вина в высокий сосуд из толстого стекла, до половины наполненный водой, а остаток вина перелила из амфоры в меньший сосуд, предназначенный для чистого, неразбавленного вина. Оба сосуда Азур водрузила на стол, а Лутация перед каждым из гостей поставила чаши. Между сосудами она поместила черпак, им наливали в чаши чистое или разбавленное вино.

Вскоре гладиаторы получили возможность оценить искусство Лутации, приготовившей жаркое из зайца, а также решить, сколько лет насчитывало вино. Если велитернское и не вполне соответствовало дате, помеченной на амфоре, когда ее запечатывали, все же вино было признано выдержанным и весьма недурным.

Ужин удался, вина было вволю, гладиаторы веселились от души. Все располагало к дружеской беседе и оживлению, и вскоре действительно стало очень шумно.

Один только Спартак, которого все осыпали восторженными похвалами, не разделял общего веселья, не шутил, ел как бы нехотя. Быть может, он все еще был во власти пережитого за этот день и не успел прийти в себя от ошеломляющего сознания нежданно обретенной свободы. Казалось, над его головой нависло облако печали и тоски, и ни острой шуткой, ни ласковым словом сотрапезникам не удавалось разогнать его грусть.

---

[1] Гай Целлий Кальд — народный трибун в 107 году до н. э., консул в 94 году до н. э., сторонник Мария.

[2] Луций Домиций Агенобарб — консул в 94 году до н. э., приверженец Суллы; умерщвлен по приказанию Мария Младшего (приемного сына Гая Мария).

— Клянусь Геркулесом, милый Спартак, я не могу понять тебя!..— обратился к нему Требоний и хотел было налить велитернского в чашу Спартака, но заметил, к своему удивлению, что она полна.— Что с тобою? Почему ты не пьешь?

— Отчего ты такой грустный? — спросил один из гостей.

— Клянусь Юноной, матерью богов! — воскликнул другой гладиатор, судя по говору — самнит.— Можно подумать, что мы собрались не на товарищескую пирушку, а на поминальную тризну. И ты, Спартак, как будто празднуешь не свою свободу, а оплакиваешь смерть своей матери!

— Матери! — с громким вздохом повторил Спартак, словно потрясенный этими словами.

И, так как он опечалился еще больше, бывший ланиста Требоний встал и, подняв свою чашу, воскликнул:

— Предлагаю выпить за свободу!

— Да здравствует свобода! — дружно закричали гладиаторы; при одном этом слове у них засверкали глаза. Все встали и высоко подняли свои чаши.

— Ты счастлив, Спартак, что добился свободы при жизни,— с горечью сказал белокурый молодой гладиатор,— а к нам она придет только вместе со смертью!

При возгласе «свобода» лицо Спартака прояснилось; улыбаясь, он высоко поднял свою чашу и звучным, сильным голосом воскликнул:

— Да здравствует свобода!

Но печальные слова молодого гладиатора так взволновали его, что он не мог допить чашу — вино не шло ему в горло, и Спартак снова опустил голову. Он поставил чашу и сел, погрузившись в глубокое раздумье. Наступило молчание, глаза десяти гладиаторов были устремлены на счастливца, получившего свободу, в них светились зависть и радость, веселье и печаль.

Вдруг Спартак прервал молчание. Задумчиво устремив неподвижный взгляд на стол, медленно отчеканивая слова, он произнес вслух строфу знакомой всем песни — ее обычно пели гладиаторы в часы фехтования в школе Акциана:

Он родился свободным [1]
Под отеческим кровом,
Но в железные цепи
Был врагами закован.
Не за родину ныне
Бьется он на чужбине,
Не за милый далекий
За родительский кров
Льется в битве жестокой
Гладиатора кровь.

[1] Перевод стихотворных текстов М. Талова.

— Наша песня! — шептали удивленно и радостно некоторые из гладиаторов.

Глаза Спартака засияли от счастья, но тотчас, как бы желая скрыть свою радость, причину которой не мог уяснить себе Требоний, Спартак опять помрачнел.

— Из какой вы школы гладиаторов? — спросил он своих сотрапезников.

— Ланисты Юлия Рабеция.

Спартак взял свою чашу и, с равнодушным видом выпив вино, произнес, повернувшись к выходу, словно обращался к служанке, входившей в эту минуту:

— Света!

Гладиаторы переглянулись, а молодой белокурый самнит промолвил с рассеянным видом, как будто продолжая прерванный разговор:

— И свободы!.. Ты ее заслужил, храбрый Спартак!

И тут Спартак обменялся с ним быстрым выразительным взглядом — они поняли друг друга.

Как раз в то мгновение, когда юный гладиатор произносил эти слова, раздался громкий голос человека, появившегося в дверях:

— Ты заслужил свободу, непобедимый Спартак!

Все повернули голову и увидели у порога неподвижно стоявшего человека могучего сложения, в широкой пенуле [1] темного цвета; то был Луций Сергий Катилина.

При слове «свобода», которое подчеркнул Катилина, Спартак и все гладиаторы, за исключением Требония, обратили к нему вопрошающие взгляды.

— Катилина! — воскликнул Требоний; он сидел спиной к дверям и не сразу заметил вошедшего.

Он поспешил навстречу Катилине, почтительно поклонился ему и, по обычаю, поднеся в знак приветствия руку к губам, сказал:

— Привет тебе, славный Катилина!.. Какой доброй богине, нашей покровительнице, обязаны мы честью видеть тебя среди нас в такой час и в таком месте?

— Я искал тебя, Требоний,— ответил Катилина,— а также и тебя,— добавил он, повернувшись к Спартаку.

Услыхав имя Катилины, известного всему Риму своей жестокой непреклонностью, силой и отвагой, гладиаторы переглянулись; некоторые, надо заметить, испугались и побледнели. Даже сам Спартак, в груди которого билось бесстрашное сердце, невольно вздрогнул, услышав голос грозного патриция; нахмурив лоб, он пристально смотрел на Катилину.

---

[1] Пенула — верхнее дорожное платье; теплый плащ с капюшоном.

— Меня? — спросил удивленный Спартак.

— Да, именно тебя,— спокойно ответил Катилина, сев на скамью, которую ему пододвинули, и сделал знак, приглашая всех садиться. Я не думал встретить тебя тут, даже не надеялся на это, но я был почти уверен, что застану здесь Требония и он научит меня, как найти отважного и доблестного Спартака.

Пораженный Спартак не спускал глаз с Катилины.

— Тебе дали свободу, и ты достоин ее. Но у тебя нет денег, чтобы прожить до той поры, пока ты найдешь заработок. А так как благодаря твоей храбрости я выиграл больше десяти тысяч сестерциев, держа пари с Гнеем Корнелием Долабеллой, я и искал тебя, чтобы вручить тебе часть выигрыша. Она твоя: если я рисковал деньгами, то ты в продолжение двух часов рисковал своей жизнью.

Среди присутствующих пробежал шепот одобрения и симпатии к этому аристократу, который снизошел до встречи с презираемыми всеми гладиаторами, восторгался их подвигами и помогал в беде.

Спартак, не питая доверия к Катилине, был тем не менее тронут участием, проявленным к нему столь высокой особой,— он отвык от такого отношения к себе.

— Благодарю тебя, о славный Катилина, за твое благородное намерение! — ответил он.— Однако я не могу, не имею права принять твой дар. Я буду преподавать приемы борьбы, гимнастику и фехтование в школе моего прежнего хозяина и, надеюсь, проживу своим трудом.

Катилина постарался отвлечь внимание сидевшего рядом с ним Требония и, протянув ему свою чашу, приказал разбавить велитернское водой, а сам тем временем наклонился к Спартаку и едва слышным шепотом торопливо сказал:

— Ведь и я терплю притеснения олигархов, ведь я тоже раб этого мерзкого, растленного римского общества, я тоже гладиатор среди этих патрициев, я тоже мечтаю о свободе... и знаю все...

Спартак, вздрогнув, откинул голову и посмотрел на него с выражением недоумения, а Катилина продолжал:

— Да, я знаю все... и я с вами... буду с вами...— А затем, поднявшись со своего места, он произнес громким голосом, чтобы все его слышали:— Ради этого ты и не отказывайся принять кошелек с двумя тысячами сестерциев в красивых новеньких ауреях[1].— И, протянув Спартаку изящный кошелек, Катилина добавил: — Повторяю, это вовсе не подарок, ты заработал эти деньги, они твои; это твоя доля в сегодняшнем выигрыше.

Все присутствующие осыпали Катилину почтительными по-

---

[1] Аурея — золотая монета, равная 100 сестерциям.

хвалами, восхищаясь его щедростью, а он взял в свою руку правую руку Спартака, и при этом рукопожатии гладиатор встрепенулся.

— Теперь ты веришь, что я знаю все? — спросил его вполголоса Катилина.

Спартак был поражен, он никак не мог понять, откуда патрицию известны некоторые тайные знаки и слова, но ясно было, что Катилина действительно их знает; поэтому он ответил Луцию Сергию рукопожатием и, спрятав кошелек на груди под туникой, сказал:

— Сейчас я слишком взволнован и озадачен твоим поступком, благородный Катилина, и плохо могу выразить тебе благодарность. Завтра утром, если разрешишь, я явлюсь к тебе, чтобы излить всю свою признательность.

Произнося медленно и четко каждое слово, он испытующе взглянул на патриция. В ответ Катилина наклонил голову в знак понимания и сказал:

— У меня в доме, Спартак, ты всегда желанный гость. А теперь,— добавил он, быстро повернувшись к Требонию и к другим гладиаторам,— выпьем чашу фалернского, если оно водится в такой дыре.

— Если уж моя ничтожная таверна,— любезно сказала Лутация Одноглазая, стоявшая позади Катилины,— удостоилась чести принять в своих убогих стенах такого высокого гостя, такого прославленного патриция, как ты, Катилина, то, видно, сами боги-провидцы помогли мне: в погребе бедной Лутации Одноглазой хранится маленькая амфора фалернского, достойная пиршественного стола самого Юпитера.

И, поклонившись Луцию Сергию, она ушла за фалернским.

— А теперь выслушай меня, Требоний,— обратился Катилина к бывшему ланисте.

— Слушаю тебя со вниманием.

Гладиаторы смотрели на Катилину и изредка вполголоса обменивались одобрительными замечаниями по поводу его физической силы, могучих рук с набухшими узловатыми мускулами, а он тем временем вполголоса вел беседу с Требонием.

— Я слышал, слышал,— заметил Требоний.— Это меняла Эзефор, у которого лавка на углу Священной и Новой улиц, недалеко от курии Гостилия...

— Вот именно. Ты сходи туда и, как будто из желания оказать Эзефору услугу, намекни, что ему грозит опасность, если он не откажется от своего намерения вызвать меня к претору для немедленной уплаты пятисот тысяч сестерциев, которые я ему должен.

— Понял, понял.

— Скажи ему, что, встречаясь с гладиаторами, ты слышал, как они перешептывались между собой о том, что многие из молодых патрициев, связанные со мной дружбой и признательные мне за щедрые дары и за льготы, которыми они обязаны мне, завербовали — разумеется, тайно от меня — целый манипул [1] гладиаторов и собираются сыграть с ним плохую шутку...

— Я все понял, Катилина, не сомневайся. Выполню твое поручение как должно.

Тем временем Лутация поставила на стол фалернское вино; его разлили по чашам и, попробовав, нашли неплохим, но все же не настолько выдержанным, как это было бы желательно.

— Как ты его находишь, о прославленный Катилина? — спросила Лутация.

— Хорошее вино.

— Оно хранится со времен консульства Луция Марция Филиппа [2] и Секста Юлия Цезаря.

— Всего лишь двенадцать лет! — воскликнул Катилина.

При упоминании имен этих консулов он погрузился в глубокую задумчивость; пристально глядя широко открытыми глазами на стол, он машинально вертел в руке оловянную вилку. Долгое время Катилина оставался безмолвным среди воцарившегося вокруг молчания.

Судя по тому, как внезапно загорелись огнем его глаза, задрожали руки, судорога пробежала по лицу и вздулась перерезавшая лоб жила, в душе Катилины происходила борьба различных чувств и какие-то мрачные мысли теснились в его мозгу.

Человек прямой и открытый по натуре, он оставался таким и в минуты проявления своей жестокости. Он не хотел, да и не мог скрыть бушевавшую в его груди бурю противоречивых страстей, и она, как в зеркале, отражалась на его энергичном лице.

— О чем ты думаешь, Катилина? Ты чем-то огорчен? — спросил его Требоний, услышав вырвавшийся у него глухой стон.

— Старое вспомнил,— ответил Катилина, не отводя взора от стола и нервно вертя в руках вилку.— Мне вспомнилось, что в том же году, когда была запечатана амфора этого фалернского, предательски был убит в портике своего дома трибун Ливий Друз и другой трибун, Луций Апулей Сатурнин [3]. А за несколь-

[1] Манипул — половина когорты (250—300 человек).

[2] Луций Марций Филипп — народный трибун в 104 году до н. э., консул в 91 году до н. э. Во время борьбы Мария и Суллы он стоял на стороне последнего.

[3] Луций Апулей Сатурнин — народный трибун в 103—100 гг. до н. э.; сторонник Мария, энергичный руководитель народной партии, автор законопроектов о наделении ветеранов Мария землей, о снижении цен на хлеб и др. Оптиматы оказывали ожесточенное сопротивление этим мерам. Сатурнин был убит в помещении сената.

ко лет до того зверски убиты Тиберий и Гай Гракхи [1] — два человека самой светлой души, которые когда-либо украшали нашу родину! И все они погибли за одно и то же дело — за дело неимущих и угнетенных; и всех их погубили одни и те же тиранические руки — руки подлых оптиматов [2].

И, подумав минуту, он воскликнул:

— Возможно ли, чтобы в заветах великих богов было начертано, что угнетенные никогда не будут знать покоя, что неимущие всегда будут лишены хлеба, что земля всегда должна быть разделена на два лагеря — волков и ягнят, пожирающих и пожираемых?

— Нет! Клянусь всеми богами Олимпа! — вскричал Спартак громоподобным голосом и стукнул своим большим кулаком по столу; лицо его выражало глубокую ненависть и гнев.

Катилина вздрогнул и устремил глаза на Спартака. Тот заговорил более спокойно, могучим усилием воли подавив свое волнение:

— Нет, великие боги не могли допустить в своих заветах такую несправедливость!

Снова наступило молчание, которое прервал Катилина. В его голосе звучали печаль и сострадание:

— Бедный Друз... Я знал его... Он был еще так молод... благородный и сильный духом человек. Природа щедро наделила его способностями, а он пал жертвой измены и насилия.

— И я его помню,— сказал Требоний.— Помню, как он произносил речь в комиции, когда вновь предлагал утвердить аграрные законы. Выступая против патрициев, он сказал: «При вашей жадности вы скоро оставите народу только грязь и воздух».

— Злейшим его врагом был консул Луций Марций Филипп,— заметил Катилина.— Однажды народ восстал против него, и Филипп, несомненно, был бы убит, если бы Друз не спас его, уведя в тюрьму.

— Он немножко запоздал: у Филиппа все лицо было в синяках, а из носа текла кровь.

Пока происходила эта беседа, в передней комнате в соответ-

---

[1] Гракхи — братья Тиберий и Гай, знаменитые римские политические деятели во II веке до н. э. Будучи трибунами, Гракхи хотели провести реформы в пользу обедневших свободных римлян: дешевую продажу хлеба, облегчение военной службы и др. Этими мерами они возбудили против себя знать и сенат. В 133 году до н. э. был убит Тиберий, а в 121 году до н. э. погиб Гай Гракх.

[2] Оптиматы — аристократическая верхушка, состоявшая из служилой знати, крупных рабовладельцев, преимущественно владевших землями в пределах самой Италии. В политическом отношении оптиматы представляли собой консервативную группировку, опиравшуюся на сенат. Вождем оптиматов был Луций Корнелий Сулла.

ствии с количеством поглощаемого пьяницами вина стоял невероятный шум и гам и все громче раздавались оглушительные восклицания. Вдруг Катилина с его сотрапезниками услышали, как в передней комнате все хором закричали:

— Родопея, Родопея!

При этом имени Спартак вздрогнул. Оно напомнило ему родную Фракию, ее горы, отчий дом, семью! Сладостные и вместе с тем горькие воспоминания.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать, прекрасная Родопея! — громко закричали человек двадцать бездельников сразу.

— Попотчуем красавицу вином за то, что она пожаловала к нам,— сказал могильщик, и все присутствующие окружили девушку.

Родопея была молода, не больше двадцати двух лет, и действительно хороша собой: высокая, стройная, беленькая, правильные черты лица, длинные белокурые волосы, голубые, живые и выразительные глаза. Ярко-голубая туника с серебряной каймой, серебряные запястья, голубая шерстяная повязка явно свидетельствовали о том, что она не римлянка, а рабыня и ведет легкомысленный образ жизни.

Однако, судя по сердечному и довольно почтительному обращению с ней дерзких и наглых посетителей таверны Венеры Либитины, можно было понять, что девушка она хорошая, очень тяготится жизнью, на которую обречена, несчастлива, несмотря на свою показную веселость, и сумела заслужить бескорыстное расположение этих грубых людей.

Нежное личико, скромное поведение, доброта и учтивость Родопеи покорили всех. Однажды она попала в кабачок Лутации вся в крови и слезах от побоев хозяина, ее мучила жажда. Ей дали глоток вина, чтобы немного подкрепиться. Это случилось за два месяца до начала событий, о которых мы повествуем. С тех пор через два-три дня, когда позволяло время, Родопея забегала на четверть часика в таверну. Здесь она чувствовала себя свободной и испытывала блаженство, вырвавшись хоть на несколько минут из того ада, в котором ей приходилось жить.

Родопея остановилась у столика Лутации. Ей поднесли чашу албанского вина, и она стала пить из нее маленькими глотками. Шум, вызванный ее приходом, стих. Вдруг из угла комнаты опять донесся гул голосов.

Могильщик Лувений, его товарищ, по имени Арезий, и нищий Веллений, разгоряченные обильными возлияниями, начали громко судачить о Катилине, хотя все знали, что он сидит в соседней комнате. Пьяницы всячески поносили Катилину и всех патрициев вообще, хотя сотрапезники призывали их к осторожности.

— Ну нет, нет! — кричал могильщик Арезий, такой широкоплечий и высокий малый, что мог бы поспорить с атлетом Гаем Тауривием.— Нет, нет, клянусь Геркулесом! Эти проклятые пиявки живут нашей кровью и слезами. Нельзя пускать их сюда. Пусть они не оскверняют места наших собраний своим гнусным присутствием!

— Да уж, хорош этот богач Катилина, погрязший в кутежах и пороках, этот лютый палач, приспешник Суллы! [1] Явился сюда в своей роскошной латиклаве только затем, чтобы поиздеваться над нашей нищетой. А кто виноват в этой нищете? Он сам и его друзья патриции!

Так злобно кричал Лувений, стараясь вырваться из рук удерживавшего его атлета, чтобы ринуться в соседнюю комнату и затеять там драку.

— Да замолчи ты, проклятый пьянчужка! Зачем его оскорблять? Ведь он тебя не трогает? Не видишь разве — с ним целый десяток гладиаторов; они раздерут в клочья твою старую шкуру!

— Плевать мне на гладиаторов! Плевать на гладиаторов! — вторя могильщику, орал, как бесноватый, дерзкий Эмилий Варин.— Вы свободные граждане и тем не менее, клянусь всемогущими молниями Юпитера, боитесь этих презренных рабов, рожденных лишь для того, чтобы убивать друг друга ради нашего удовольствия!.. Клянусь божественной красотой Венеры Афродиты, мы должны дать урок этому негодяю в роскошной тоге, в котором соединились все пороки патрициев и самой подлой черни, надо навсегда отбить у него охоту любоваться горем несчастных плебеев!

— Убирайся на Палатин! [2] — кричал Веллений.

— Хоть в Стикс [3], только вон отсюда! — добавил Арезий.

— Пусть эти проклятые оптиматы оставят нас, нищих, в покое и не лезут к нам — ни в Целий, ни в Эсквилин, ни в Субуру, пусть убираются отсюда на Форум, в Капитолий, на Палатин и погрязнут в своих бесстыдных пирах и оргиях.

— Долой патрициев! Долой оптиматов! Долой Катилину! — кричали одновременно восемь — десять голосов.

Услышав этот шум, Катилина грозно нахмурил брови и вско-

---

[1] Приспешник Суллы — Катилина; он был в свое время сторонником Суллы.

[2] Палатин — Палатинский холм; был выбран, по преданию, самим Ромулом для основания Рима. Занимая центральное положение благодаря близости к Форуму, где были сосредоточены вся торговля и общественная жизнь, Палатин сделался излюбленным местом жительства богатых и знатных граждан.

[3] Стикс — по верованиям древних греков, река, семь раз обтекающая подземное царство мертвых.

чил с места; глаза его загорелись дикой злобой. Оттолкнув Требония и гладиатора, которые пытались удержать его, заверяя, что они сами расправятся с подлым сбродом, он бросился вперед и стал в дверях, мощный, свирепый, скрестив на груди руки и высоко подняв голову. Гневно оглядев присутствующих, он крикнул громким голосом:

— О чем вы тут раскваkались, безмозглые лягушки? Зачем пачкаете своим грязным рабским языком достойное уважения имя Катилины? Чего вам нужно от меня, презренные черви?

Грозный звук его голоса на минуту как будто устрашил буянов, но вскоре снова раздался возглас:

— Хотим, чтобы ты убрался отсюда!

— На Палатин! На Палатин! — послышались другие голоса.

— На Гемонскую лестницу [1], там твое место! — вопил пронзительным голосом Эмилий Варин.

— Идите сюда все! А ну-ка, живее! Эй вы, мерзкий сброд! — воскликнул Катилина и расправил руки, словно готовился к драке.

Плебеи пришли в замешательство.

— Клянусь богами Аверна,— крикнул могильщик Арезий,— меня-то ты не схватишь сзади, как бедного Гратидиана! Геркулес ты, что ли?

И он ринулся на Катилину, но получил такой страшный удар в грудь, что зашатался и рухнул на руки стоявших позади него; могильщик Лувений, также бросившийся на Катилину, упал навзничь у ближайшей стены, сраженный ударами мощных кулаков, которыми Катилина с быстротою молнии барабанил по его лысому черепу.

Женщины, сбившись в кучу, с визгом и плачем прятались за стойкой Лутации. Поднялась суматоха; люди метались взад и вперед, отшвыривали и опрокидывали скамьи, били посуду; стояли грохот, крик, оглушительный шум и гам, сыпались проклятия и ругань. Из другой комнаты долетали голоса Требония, Спартака и других гладиаторов, упрашивавших Катилину отойти от дверей, чтобы дать им возможность вмешаться в драку и положить ей конец.

Тем временем Катилина мощным пинком в живот свалил нищего Велления, который бросился на него с кинжалом.

При виде упавшего Велления враги Катилины, столпившиеся у дверей задней комнаты, отступили, а Луций Сергий, обнажив короткий меч, бросился в большую комнату и, нанося

---

[1] Гемонская лестница (Гемонии) — высеченная в скалистом склоне Капитолийского холма лестница, по которой крюками стаскивались в Тибр тела казненных.

удары плашмя по спинам пьяниц, прерывисто кричал диким голосом, похожим на рев зверя:

— Подлая чернь, дерзкие нахалы! Всегда готовы лизать ноги тому, кто вас топчет, и оскорблять того, кто снисходит до вас и протягивает вам руку!..

Вслед за Катилиной, как только он освободил вход в большую комнату, ворвались один за другим Требоний, Спартак и их товарищи.

Под натиском гладиаторов вся толпа, которая уже стала отступать под градом ударов Катилины, бросилась со всех ног на улицу. В таверне остались только хрипло стонавшие Веллений и Лувений, распростертые на полу, оглушенные ударами, и Гай Тауривий, не принимавший участия в свалке; скрестив на груди руки, он стоял в углу около очага, как безучастный зритель.

— Мерзкое отродье! — кричал, тяжело дыша, Катилина.

Он до самого выхода преследовал убегающих. Повернувшись затем к женщинам, продолжавшим жаловаться и плакать, он крикнул:

— Да замолчите же, проклятые плаксы! На́ тебе,— сказал он, бросая пять золотых на стол, за которым сидела Лутация, печально подсчитывая свои убытки: разбитую посуду и скамьи, кушанья и вина, не оплаченные сбежавшими буянами.— На́ тебе, несносная болтунья! Катилина платит за всех этих мошенников!

В эту минуту Родопея, смотревшая на Катилину и его друзей расширенными от страха глазами, вдруг побледнела как полотно и, вскрикнув, бросилась к Спартаку:

— Я не ошиблась! Нет, нет, не ошиблась! Спартак!.. Ведь это ты, мой Спартак?

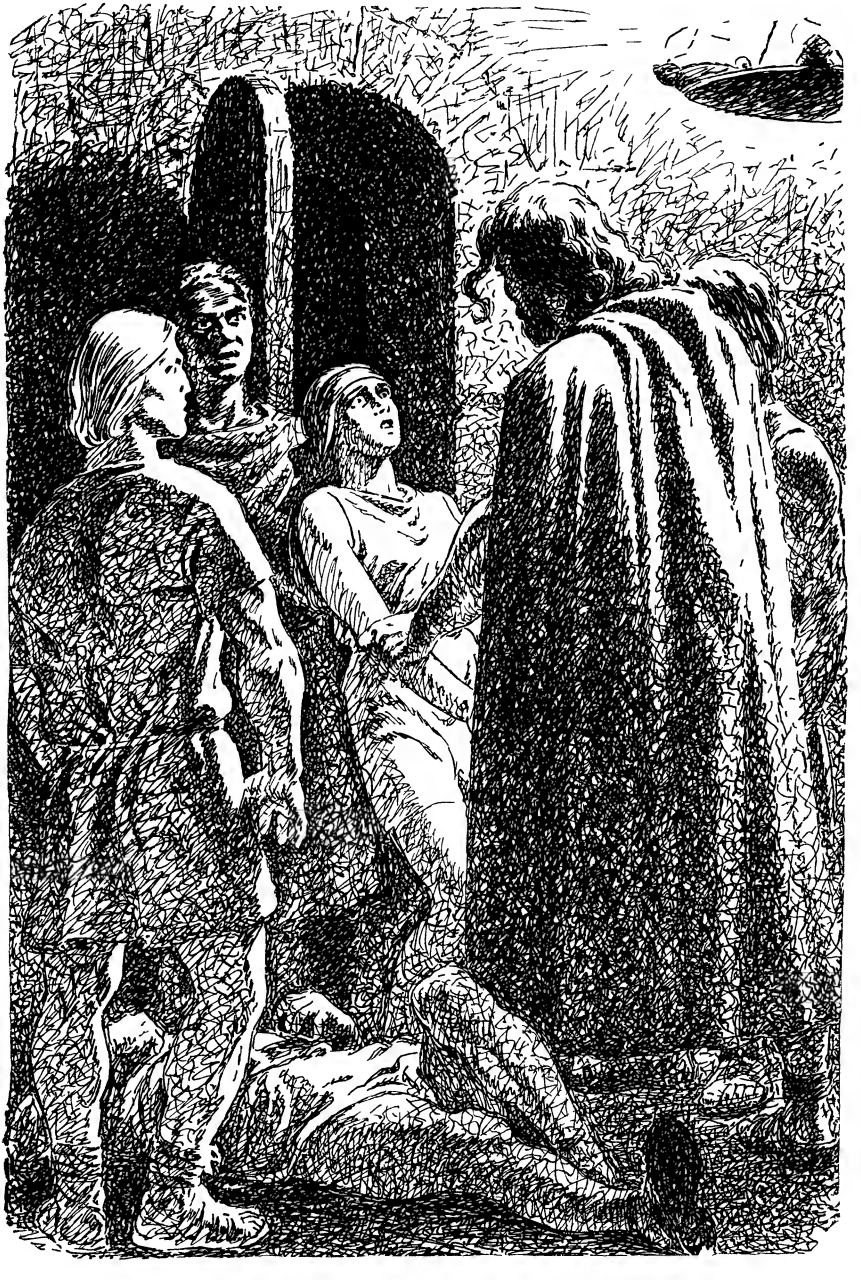
— Как!..— закричал не своим голосом гладиатор, с невыразимым волнением глядя на девушку.— Ты? Возможно ли это? Ты? Мирца!.. Мирца!.. Сестра моя!..

Брат и сестра бросились друг другу в объятия среди воцарившейся мертвой тишины. Но после первого порыва нежности, поцелуев и слез Спартак вдруг вырвался из объятий сестры, схватил ее за руки, отодвинул от себя и осмотрел с ног до головы, бледнея и шепча дрожащим голосом:

— Ведь ты... ты...— воскликнул он и с горьким презреньем оттолкнул от себя девушку.— Ты стала...

— Рабыня я!..— крикнула она, рыдая.— Я рабыня... А мой господин негодяй!.. Он истязал меня, пытал раскаленным железом... Пойми же, Спартак, пойми!..

— Бедная! Несчастная! — дрожащим от волнения голосом произнес гладиатор.— Приди ко мне на грудь, сюда, сюда! —



Он привлек к себе сестру и, крепко целуя, прижимал к своей груди.

Через минуту, вскинув вверх глаза, полные слез и сверкающие гневом, он с угрозой поднял свой мощный кулак и в страшном негодовании воскликнул:

— Да где же молния Юпитера?.. Да разве Юпитер — бог? Нет, нет, Юпитер — просто шут! Юпитер — жалкое ничтожество!

А Мирца, прильнув к широкой груди брата, плакала горькими слезами.

Прошла минута тяжкого молчания, и вдруг Спартак крикнул голосом, не похожим на человеческий:

— Да будет проклята позорная память о первом человеке на земле, от которого произошли два разных поколения: свободных и рабов!

Глава четвертая

ЧТО ДЕЛАЛ СПАРТАК, ПОЛУЧИВ СВОБОДУ

Со времени событий, описанных в предыдущих главах, прошло два месяца.

Накануне январских ид (12 января) следующего, 676 года на улицах Рима утром бушевал сильный северный ветер, нагоняя серые тучи, придававшие небу унылое однообразие. На мокрую и грязную мостовую медленно падали мелкие хлопья снега.

Граждане, пришедшие на Форум по делам, собирались там кучками. Но лишь немногие оставались в этот день на открытом воздухе,— тысячи римлян теснились кто под портиками Форума, а кто под портиками курии Гостилия, Грекостаза [1], базилик Порция, Фульвия, Эмилия, Семпронии, храмов Весты, Кастора и Поллукса, Сатурна, храма Согласия, воздвигнутого в 388 году римской эры Фурием Камиллом [2], во времена его последней диктатуры, в честь достижения мирного соглашения между патрициями и плебеями. Прогуливались и под портиками храма богов — покровителей Рима. Величественный и вместительный римский Форум был окружен замечательными зданиями: он тя-

[1] Грекостаз — особое здание близ курии Гостилия, где останавливались иностранные (преимущественно греческие) послы в ожидании решений сената. Обширная базилика с мраморными колоннами в коринфском стиле.

[2] Фурий Камилл — полководец, отличившийся в войне с вольсками и эквами (италийские племена) в 431 году до н. э. Начиная с 390 года до н. э. пять раз избирался диктатором. За заслуги перед государством получил звание «отца отечества».

нулся от теперешней площади Траяна до площади Монтанара и от арки Константина до Пантанов, занимая все пространство между холмами Капитолийским, Палатинским, Эсквилином и Виминалом. Современный римский Форум представляет собою лишь бледное подобие древнего.

Много народу собралось внутри базилики Эмилия, великолепного здания, состоявшего из обширного портика с чудесной колоннадой, от которого отходили два других, боковых портика. Здесь вперемежку толпились патриции и плебеи, ораторы и деловой люд, горожане и торговцы, которые стояли маленькими группами и обсуждали свои дела. Толпа беспрестанно двигалась взад и вперед, слышался шумный говор.

В глубине главного портика, напротив входной двери, но вдали от нее, высокая длинная балюстрада отделяла часть портика от базилики и образовывала как бы отдельное помещение, где разбирались судебные тяжбы; сюда не доходил шум, и ораторы могли без помехи произносить свои речи перед судьями. Над колоннадой вокруг всей базилики шла галерея, откуда удобно было наблюдать за всем, что происходило внизу.

В этот день на балюстраде, окружавшей галерею, работали каменщики, штукатуры и кузнецы: они украшали ее бронзовыми щитами, на которых с изумительным искусством были изображены подвиги Мария в войне с кимврами.

Базилика Эмилия была воздвигнута предком Марка Эмилия Лепида, избранного в этом году консулом вместе с Квинтом Лутацием Катуллом и приступившего к исполнению своих обязанностей первого января.

Марк Эмилий Лепид, как мы уже говорили, принадлежал к числу приверженцев Мария; став консулом, он прежде всего приказал украсить базилику, построенную его прадедом в 573 году римской эры, вышеупомянутыми щитами, желая заслужить признательность партии популяров в противовес Сулле, разрушившему все арки и памятники, воздвигнутые в честь его доблестного соперника.

Среди праздного люда, глазевшего с верхней галереи на снующую внизу толпу, стоял Спартак; облокотясь на мраморные перила и подперев голову руками, он рассеянно и равнодушно смотрел на суетившийся и волновавшийся внизу народ.

На нем была голубая туника и короткий паллий вишневого цвета, схваченный на правом плече серебряной тонкой работы застежкой в виде щитка.

Неподалеку от него оживленно разговаривали трое граждан. Двое из них уже известны нашим читателям: атлет Гай Таурийский и наглый Эмилий Варин. Третий был одним из многочисленных бездельников, живших за счет ежедневных подачек

какого-нибудь патриция; обычно они объявляли себя «клиентами»[1] этого аристократа и сопровождали его на Форуме, в комиции, подавали голос по его желанию и приказанию, превозносили его, льстили и надоедали непрестанным попрошайничеством.

То было время, когда после побед в Азии и Африке Рим утопал в роскоши и погряз в восточной лени; когда Греция, побежденная римским оружием, победила своих покорителей[2], заразив их изнеженностью и привычкой к роскоши; когда неисчислимое и все возрастающее количество рабов исполняло все работы, которыми до того занимались свободные трудолюбивые граждане. Все это убило труд — самый мощный источник силы, нравственности, благоденствия. И Рим, еще носивший личину величия, богатства и мощи, уже ощущал, как в нем самом развиваются зловещие зародыши приближающегося упадка. Клиентела была страшной язвой эпохи, о которой мы повествуем, она повлекла за собою гибельные последствия. Любой патриций, любой консул, любой богатый честолюбец имел свиту в пятьсот — шестьсот клиентов, были даже такие, у которых число клиентов доходило до тысячи. Граждане, вполне способные к труду, избирали профессию клиентов — так же точно, как их предки в былые времена избирали сапожное или плотничье ремесло, становились кузнецами или каменщиками; это были преступные и продажные приверженцы какой-либо партии, нарядившиеся в гордую тогу римлянина; они жили подачками, сплетнями, интригами, низкопоклонством.

Человек, болтавший в галерее базилики Эмилия с Гаем Таурисием и Эмилием Варином, как раз и был одним из этих вырождающихся римлян. Его звали Апулеем Тудертином, потому что предки его пришли в Рим из Тудера; он был клиентом Марка Красса.

---

[1] Клиенты — бедные свободнорожденные граждане (или вольноотпущенники), находившиеся под покровительством влиятельного и богатого гражданина и получавшие от него материальную поддержку.

[2] Знакомство римлян с греческой культурой начинается в III веке до н. э. и особенно усиливается во II веке до н. э. Широкое проникновение греческой культуры в среду господствующих рабовладельческих кругов с самого начала встретило упорное сопротивление со стороны консервативной части оптиматов. Одним из наиболее влиятельных вождей этого «охранительного» движения был Катон Старший. В проникновении разлагающих чужеземных влияний, в богатстве и роскоши Катон видел главную причину упадка нравов и мощи римского государства. Объяснение упадка Римской республики у Джованьоли является наивным. Действительные причины следует искать, как указывают классики марксизма-ленинизма, в разложении римской гражданской общины, вызванном обеднением большинства свободных граждан, в обострении классовой борьбы, происходившей в римском рабовладельческом обществе этой эпохи как между рабовладельцами и рабами, так и внутри привилегированного класса «свободных».

Все трое стояли недалеко от Спартака, толкуя об общественных делах. Спартак, углубившись в серьезные и печальные размышления, не слушал их разговоров.

С тех пор как фракиец нашел свою сестру в столь тяжелом положении, первой мыслью, первой его заботой было вырвать Мирцу из рук человека, оскорбившего и унизившего ее. Катилина со свойственной ему щедростью, на этот раз не вполне бескорыстной, отдал в распоряжение рудиария и остальные восемь тысяч сестерциев, которые он выиграл в тот день у Долабеллы: он хотел помочь Спартаку выкупить Мирцу.

Спартак с благодарностью взял деньги, обещая вернуть их, хотя Катилина и отказывался от этого, и тотчас же отправился к хозяину сестры, чтобы выкупить ее.

Разумеется, хозяин Мирцы, видя тревогу Спартака за судьбу сестры и его горячее желание освободить ее, непомерно поднял цену. Он говорил, что Мирца обошлась ему в двадцать пять тысяч сестерциев (он приврал наполовину), указывал на то, что она молода, красива, скромна, и, подытожив свои расчеты, объявил, что девушка представляет собою капитал по меньшей мере в пятьдесят тысяч сестерциев. Он поклялся Меркурием и Венерой Мурсийской, что не уступит ни одного сестерция.

Легче себе представить, чем описать отчаяние бедного гладиатора. Он просил, он умолял, но негодяй, уверенный в своих правах, зная, что закон на его стороне, был непоколебим.

Тогда Спартак в бешенстве схватил мерзавца за горло и, наверное, задушил бы, если б его не удержала мысль о Мирце, о своей родине, о задуманном им тайном деле, которое было для него священным; он знал, что без него дело это обречено на гибель.

Спартак опомнился и выпустил хозяина Мирцы. У того глаза чуть не выскочили из орбит, лицо и шея посинели, он был оглушен и почти потерял сознание. После нескольких минут раздумья Спартак спокойно обратился к нему, хотя все еще был бледен и весь дрожал от гнева и пережитого волнения:

— Так сколько ты хочешь?.. Пятьдесят тысяч?..

— Я... больше не хо... чу... ни... чего... уби... райся!.. Уби... райся... к черту... или я со... зову... всех сво... их... ра... бов!..— выкрикивал хозяин, заикаясь.

— Прости меня, извини!.. Я вспылил. Бедность виновата... любовь к сестре... Выслушай меня, мы столкуемся.

— Столковаться с таким разбойником, как ты? Ты ведь сразу бросаешься душить человека!—возразил хозяин, уже несколько успокоившись и ощупывая шею.— Вон! Вон отсюда!

Спартаку удалось кое-как успокоить негодяя, и они пришли к такому соглашению: Спартак вручит ему тут же две тысячи

сестерциев с условием, что Мирце отведут особое помещение в доме и Спартаку будет разрешено жить вместе с ней. Если через месяц Спартак не выкупит сестру, она опять станет рабыней.

Золотые монеты сверкали очень заманчиво, условие было довольно выгодным: хозяин получал тут чистого дохода по меньшей мере тысячу сестерциев, ничем не рискуя. И он согласился.

Убедившись в том, что Мирцу поместили в удобной маленькой комнатке, расположенной за перистилем дома, Спартак попрощался с нею и направился в Субуру, где жил Требоний.

Он рассказал ему все, что случилось, и просил совета и помощи.

Требоний постарался успокоить Спартака. Он пообещал ему свое содействие и помощь, сказав, что он похлопочет и найдет способ избавить Спартака от забот, даст ему возможность если не совсем освободить сестру, то, по крайней мере, устроить так, чтобы впредь никто не мог обидеть и оскорбить ее.

Обнадеженный обещаниями Требония, Спартак пошел в дом Катилины и с благодарностью вернул ему восемь тысяч сестерциев: сейчас он в них не нуждался. Мятежный патриций долго беседовал со Спартаком в своей библиотеке; говорили они, видимо, о делах секретных и весьма важных, судя по предосторожностям, принятым Катилиной для того, чтобы посторонние не помешали их беседе... Никто не знает, о чем они говорили, но с этого дня Спартак стал часто бывать в доме патриция; теперь их связывали узы дружбы и взаимного уважения.

С того самого дня, как Спартак получил свободу, его прежний ланиста Акциан ходил за ним по пятам и надоедал ему бесконечными разговорами о шаткости его положения, о необходимости устроиться прочно и надежно обеспечить себя. Кончил он тем, что напрямик предложил Спартаку заведовать его школой или же снова запродаться в гладиаторы, причем посулил такую сумму, какой никогда не заплатил бы даже свободнорожденному.

Свободнорожденными назывались люди, родившиеся от свободных граждан или же вольноотпущенников — от свободного и служанки или от слуги и свободной гражданки. Не следует забывать, что, кроме людей, попадавших в рабство во время войн и проданных затем в качестве гладиаторов, иногда, в наказание за какие-либо провинности, существовали еще и гладиаторы-добровольцы. Обычно это были бездельники, кутилы и забияки, погрязшие в долгах, не способные удовлетворить свои необузданные прихоти и страсть к удовольствиям, буяны, не дорожившие жизнью. Продаваясь в гладиаторы, они давали клятву, формула которой дошла до наших дней,— закончить свою жизнь на арене амфитеатра или цирка.

Спартак, разумеется, решительно отверг все предложения

своего прежнего хозяина и попросил ланисту не беспокоить его впредь своими заботами. Но Акциан не переставал преследовать Спартака и вертеться около него подобно злому гению или предвестнику несчастья.

Тем временем Требоний, который полюбил Спартака, а может быть, имел и некоторые виды на него в будущем, усердно занялся судьбой Мирцы. Друг Квинта Гортензия и горячий поклонник его ораторского таланта, он имел возможность порекомендовать Валерии, сестре Гортензия, купить Мирцу, которая была воспитанной и образованной девушкой, говорила по-гречески, умела умащивать тело маслами и благовониями, знала толк в притираниях, употреблявшихся знатными патрицианками, и могла быть полезной Валерии для ухода за ее особой.

Валерия не возражала против покупки новой рабыни, если та подойдет ей. Она пожелала увидеть Мирцу, поговорила с ней и, так как Мирца ей понравилась, тут же купила ее за сорок пять тысяч сестерциев. Вместе с другими своими рабынями она увезла ее в дом Суллы, женой которого Валерия стала 15 декабря прошлого года.

Хотя это и не совпадало с планами Спартака, мечтавшего о том, чтобы сестра его стала свободной, все же в ее положении это оказалось лучшим выходом: по крайней мере, она была избавлена — и, возможно, навсегда — от позора и бесчестия.

Итак, в какой-то мере устроив судьбу Мирцы, Спартак занялся другими серьезными и, по-видимому, требующими тайны делами, судя по частым его беседам с Катилиной и ежедневным продолжительным свиданиям с ним. Фракиец, кроме того, усердно посещал все школы гладиаторов, а когда в Риме происходили состязания, то он бывал во всех кабачках и тавернах Субуры и Эсквилина, где постоянно искал встреч с гладиаторами и рабами.

О чем же он мечтал, за какое дело взялся, что он замыслил?

Об этом читатель скоро узнает.

Как-то, стоя на верхней галерее базилики Эмилия, Спартак был погружен в глубокое раздумье; он не слышал того, что говорилось вокруг, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где громко болтали между собой Гай Тауривий, Эмилий Варин и Апулей Тудертин, не слышал их крикливых голосов и грубых острот.

— Очень хорошо, отлично! — говорил Гай Тауривий, продолжая разговор с товарищами.— Ах, этот милейший Сулла!.. Он решил, что можно разрушить памятники славы Мария? Ах! Ах! Счастливый диктатор думал, что достаточно свалить статую, воздвигнутую в честь Мария на Пинцийском холме, и арку в Капитолии, воздвигнутую в честь победы над тевтонами и кимврами,— и память о Марии исчезнет! Да, да, он считал, что этого достаточно, чтобы стереть всякий след, всякое воспоминание

о бессмертных подвигах уроженца Арпина. Несчастный безумец!.. Из-за его свирепости и страшного могущества в наших городах, пожалуй, не осталось бы жителей и вся Италия превратилась бы в груду развалин. Но, как бы то ни было, Югурту победил не он, а Марий! И не кто иной, как Марий, одержал победу при Аквах Секстиевых и Верцеллах!

— Бедный глупец!—визгливо кричал Эмилий Варин.—А вот консул Лепид украшает базилику чудесными щитами, на которых увековечены победы Мария над кимврами!

— Я и говорил, что этот Лепид будет бельмом на глазу у счастливого диктатора!

— Брось ты!.. Лепид ничтожество! — сказал тоном глубочайшего презрения клиент Красса, толстенький человечек с брюшком.— Какую неприятность может он доставить Сулле? Не больше, чем мошка слону!

— Да ты не знаешь разве, что Лепид не только консул, но и богач! Он богаче твоего патрона Марка Красса!

— Что он богат, это я знаю, но что он богаче Красса, этому я не верю.

— А портики в доме Лепида ты видел? Самые красивые, самые великолепные портики не только на Палатине, но и во всем Риме!

— Ну и что ж из того, что у него дом самый красивый в Риме?

— Да ведь это единственный дом, в котором портики построены из нумидийского мрамора!

— Ну и что ж? Этим, что ли, он устрашит Суллу?

— Это доказывает, что он могуществен; он силен тем, что народ любит его.

— Его любят римские плебеи. А разве мало они упрекают его за бессмысленную роскошь и безудержное мотовство?

— Не плебеи, а завистливые патриции, которым не под силу с ним тягаться.

— Запомните мои слова,— прервал их Варин,— в этом году случится что-нибудь необыкновенное.

— Почему же?

— Потому, что в Аримине произошло чудо.

— А что там случилось?

— На вилле Валерия петух заговорил человеческим голосом.

— Ну, если это правда, то действительно такое диво предвещает удивительные события!

— Если это правда? Да в Риме все только об этом и говорят. Рассказывали об этом чуде сам Валерий и его семья, вернувшаяся из Аримина, да и слуги их тоже подтверждают.

— Действительно, необыкновенное чудо,— бормотал Апулей

Тудертин; человек религиозный, полный предрассудков, он был глубоко потрясен и искал тайного смысла в явлении, которое, как он твердо верил, представляло собою предупреждение богов.

— Коллегия авгуров уже собиралась для разгадки тайны, скрытой в таком странном явлении,— произнес своим скрипучим голосом Эмилий Варин, а затем, подмигнув атлету, добавил: — Я хоть и не авгур, а мне все ясно.

— О! — воскликнул с удивлением Апулей.

— Чему тут удивляться?

— О-о! — на этот раз насмешливо воскликнул клиент Марка Красса.— А ну-ка, объясни нам, раз ты лучше, чем авгуры, понимаешь скрытый смысл этого чуда!

— Это предупреждение богини Весты, оскорбленной поведением одной из своих весталок.

— Ах, ах!.. Теперь я понял! А ведь правда... недурно придумано... иначе и быть не может! — смеясь, сказал Гай Тауривий.

— Ваше счастье, что вы понимаете друг друга с полуслова, а я, признаюсь, недогадлив и ничего не понял.

— Что ты притворяешься? Как это ты не понимаешь?

— Нет, право, клянусь двенадцатью богами Согласия, не понимаю...

— Да ведь Варин намекает на роман одной из дев-весталок, Лициния, с твоим патроном!

— Злостная клевета! — возмущенно воскликнул верный клиент.— Какая наглая ложь! Этого не только вымолвить, но и подумать нельзя!

— И я говорю то же самое,— сказал Варин с насмешливой улыбкой и издевательским тоном.

— Так-то оно так, а вот поди наберись храбрости и внуши это добрым квиритам! Они все в один голос настойчиво твердят об одном и осуждают увлечение твоего патрона прекрасной весталкой.

— А я повторяю: это сплетни!

— Я понимаю, милейший Апулей Тудертин, что ты должен так говорить. Это очень хорошо и вполне понятно. Но нас-то не надуешь, нет, клянусь жезлом Меркурия! Любви не скроешь. И если бы Красс не любил Лицинию, он не сидел бы рядом с ней на всех собраниях, не выказывал бы особой заботливости о ней, не смотрел бы на нее так нежно и... Ну, мы-то понимаем друг друга!

В эту минуту к Спартаку подошел человек среднего роста, но широкоплечий, с мощной грудью, сильными руками и ногами, с лицом, дышащим энергией, мужеством и решимостью, чернобородый, черноглазый и черноволосый. Он легонько ударил фракийца по плечу и этим вывел его из задумчивости.

— Ты так погружен в свои мысли, что никого и ничего не видишь.

— Крикс! — воскликнул Спартак и провел рукой по лбу, как будто желал отогнать осаждавшие его мысли.— Я тебя и не заметил!

— А ведь ты на меня смотрел, когда я прогуливался внизу вместе с нашим ланистой Акцианом.

— Будь он проклят! Ну как там, рассказывай скорей! — спросил Спартак.

— Я встретился с Арториксом, когда он вернулся из поездки.

— Он был в Капуе?

— Да.

— Виделся он с кем-нибудь?

— С одним германцем, неким Эномаем; его считают среди всех товарищей самым сильным как духом, так и телом.

— Хорошо, хорошо! — воскликнул Спартак; глаза его сверкали от радостного волнения.— Ну и что же?

— Эномай полон надежд и мечтает о том же, о чем и мы с тобою; он принял поэтому наш план, присягнул Арториксу и обещал распространять нашу святую и справедливую идею (прости меня, что я сказал «нашу», я должен был сказать «твою») среди наиболее смелых гладиаторов школы Лентула Батиата.

— Ах, если боги, обитающие на Олимпе, будут покровительствовать несчастным и угнетенным, я верю, что не так далек тот день, когда рабство исчезнет на земле! — тихо промолвил глубоко взволнованный Спартак.

— Но Арторикс сообщил мне,— добавил Крикс,— что Эномай хотя и смелый человек, но слишком легковерен и неосторожен.

— Это плохо, очень плохо, клянусь Геркулесом!

— Я тоже так думаю.

Оба гладиатора некоторое время молчали. Первым заговорил Крикс, он спросил Спартака:

— А Катилина?

— Я все больше и больше убеждаюсь,— ответил фракиец,— что он никогда не примкнет к нам.

— Значит, о нем идет ложная слава? И пресловутое величие души его — пустые россказни?

— Нет, душа у него великая и ум необычайный, но благодаря воспитанию и чисто латинскому образованию им владеют всяческие предрассудки. Я думаю, что ему хотелось бы воспользоваться нашими заветными мечтами, чтобы изменить существующий порядок управления, а не варварские законы, опираясь на которые Рим сделался тираном всего мира.

После минуты молчания Спартак добавил:

— Я буду у него сегодня вечером, встречусь там и с его друзьями и постараюсь договориться с ними относительно общего выступления. Однако опасаюсь, что это ни к чему не приведет.

— Катилине и его друзьям известна наша тайна?

— Если даже они и знают о ней, нам все равно не грозит опасность: они нас не предадут, если мы даже и не придем к соглашению с ними. Римляне не особенно боятся рабов; нас, гладиаторов, они не считают сколько-нибудь серьезной угрозой для себя.

— Да, это так, мы в их представлении не люди. Даже с рабами, восставшими восемнадцать лет назад в Сицилии под началом сирийца Эвна [1], они считались больше, чем с нами.

— Да, те для них были почти что людьми.

— А мы какая-то низшая раса.

— О Спартак, Спартак! — прошептал Крикс, и глаза его засверкали гневом.— Больше, чем за жизнь, которую ты мне тогда спас в цирке, я буду благодарен тебе, если ты стойко будешь бороться с препятствиями и доведешь до конца трудное дело, которому ты себя посвятил. Объедини нас под своим руководством, чтобы мы могли, обнажив мечи, помериться силой в ратном поле с этими разбойниками и показать им, что гладиаторы не низшая раса, а такие же люди, как и они!

— О, я буду с непоколебимой волей, с беспредельной энергией и упорством, всеми силами души до конца моей жизни бороться за наше дело! Я буду биться за свободу до победы — или умру за нее смертью храбрых!

В словах Спартака чувствовалась глубокая убежденность и вера. Он пожал руку Криксу; тот поднес ее к сердцу и произнес в сильном волнении:

— Спартак, спаситель мой, тебя ждут великие дела! Такие люди, как ты, рождаются для подвигов и высоких деяний. Из таких людей выходят герои...

— ...или мученики...— тихо сказал Спартак; лицо его было печально, и голова склонилась на грудь.

В эту минуту раздался пронзительный голос Эмилия Варина:

---

[1] Эвн (или Эвиоп).— В Сицилии, житнице Италии, было сосредоточено большое количество рабов, работавших в огромных латифундиях. Сицилия стала ареной первого крупного восстания рабов (136 год до н. э.). Этим восстанием руководил раб-сириец Эвн. Восстание охватило всю Сицилию. Сенат послал против восставших одного за другим консулов Кая Фульвия Флакка и Луция Кальпурнина Писона. Но они были разбиты. Только консулу Публию Рупилию удалось выиграть в 132 году до н. э. несколько сражений и осадить город Энну. Измена помогла римлянам овладеть городом. Вождь восставших Эвн был взят в плен и умер в тюрьме.

— Пойдемте, Гай и Апулей, в храм Раздора, узнаем новости о решениях сената!

— А разве сенат собирается сегодня не в храме Согласия? — спросил Тудертин.

— Ну да,— ответил Варин.

— В старом или в новом?

— Какой же ты дурак! Если бы он собрался в храме Фурия Камилла, посвященном истинному согласию, я сказал бы тебе: пойдем в храм Согласия. Но ведь я звал тебя в храм Раздора — не понимаешь разве, что я говорю о храме, воздвигнутом нечестивым Луцием Опимием на костях угнетенного народа после позорного и подлого убийства Гракхов?

— Варин прав,— сказал Гай Тауривий,— храм Согласия действительно следовало бы назвать храмом Раздора.

И трое болтунов направились к лестнице, ведущей в портик базилики Эмилия; за ними последовали оба гладиатора.

Как только Спартак и Крикс приблизились к портику, какой-то человек подошел к фракийцу и сказал ему:

— Ну что ж, Спартак, когда ты решишь вернуться в мою школу?

Это был ланиста Акциан.

— Да поглотят тебя живым воды Стикса! — закричал, дрожа от гнева, гладиатор.— Долго ли ты будешь надоедать мне своими мерзкими приставаниями? Скоро ли дашь мне жить спокойно и свободно?

— Но ведь я беспокою тебя,— сладким и вкрадчивым тоном сказал Акциан,— для твоего же собственного блага, я забочусь о твоем будущем, я...

— Послушай, Акциан, и хорошенько запомни мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекуне, а если бы он мне и понадобился, я никогда не выбрал бы тебя. Запомни это, старик, и не попадайся мне больше на глаза, не то, клянусь Юпитером Родопским, богом отцов моих, я так хвачу тебя кулаком по лысому черепу, что отправлю прямехонько в преисподнюю, а потом будь что будет!

Через минуту он добавил:

— Ты ведь знаешь, какая сила в моем кулаке. Помнишь, как я отделал десятерых твоих рабов-корсиканцев, которых обучал ремеслу гладиаторов, а они в один прекрасный день набросились на меня, вооруженные деревянными мечами?

Ланиста рассыпался в извинениях и уверениях в дружбе. Спартак в ответ сказал:

— Уходи, и чтоб я тебя больше не видел! Не приставай ко мне!

Оставив смущенного и сконфуженного Акциана посреди пор-

тика, оба гладиатора направились через Форум к повороту на Палатин — там, у портика Катулла, Катилина назначил свидание Спартаку.

Дом Катулла, который был консулом вместе с Марием в 652 году римской эры, то есть за двадцать четыре года до нашего повествования, считался одним из самых красивых и роскошных в Риме. Перед домом возвышался великолепный портик, украшенный военной добычей, отнятой у кимвров, и бронзовым быком, перед которым эти враги Рима приносили присягу. Портик служил местом встреч молодых римлянок, они совершали здесь прогулки и занимались гимнастическими упражнениями. Само собой разумеется, что сюда же приходили и молодые щеголи — патриции и всадники — полюбоваться прекрасными дочерьми Квирина.

Когда оба гладиатора дошли до портика Катулла, они увидели вокруг него толпу патрициев, любовавшихся женщинами, которых тут собралось больше, чем обычно, так как была ненастная погода — шел дождь, перемежавшийся со снегом.

Сверкающие белизной точеные руки, едва прикрытые плечи, пышность нарядов и блеск золота, жемчугов, яшмы и рубинов, пестрота оттенков нарядных одежд представляли очаровательное зрелище. Тут можно было увидеть изящнейшие пеплумы, паллии, сто́лы, туники из тончайшей шерсти и других чудесных тканей.

Собравшиеся в портике женщины поражали своей красотой. Тут были Аврелия Орестилла, возлюбленная Катилины; молодая, прекрасная и величественная Семпрония, которая за душевные свои достоинства и высокие качества ума названа была впоследствии великой: она погибла в бою, сражаясь, как храбрый воин, бок о бок с Катилиной, в битве при Пистории; Аврелия, мать Цезаря; Валерия, жена Суллы; весталка Лициния; Ливия, мать юного Катона; Постумия Регилия, предок которой одержал победу над латинянами при Регильском озере. Были там и две красавицы девушки из знаменитого рода Фабия Амбуста; Клавдия Пульхра, жена Юния Норбана, бывшего два года назад консулом; прекраснейшая Домиция, дочь Домиция Агенобарба, консула и прадеда Нерона; Эмилия, прелестная дочь Эмилия Скавра, и молоденькая Фульвия; весталка Вителия, известная необыкновенной белизной кожи, и сотни других матрон и девушек, принадлежащих к самой родовитой римской знати.

Внутри обширного портика молодые патрицианки упражнялись в гимнастике или же забавлялись игрой в мяч — любимейшей игрой римлян обоего пола и любого возраста.

В этот холодный зимний день большинство собравшихся тут женщин прогуливались взад и вперед, чтобы согреться.

Подойдя к портику Катулла, Спартак и Крикс остановились несколько поодаль от толпы патрициев и всадников, как полага-

лось людям низкого звания. Они искали глазами Луция Сергия; он стоял у колонны с Квинтом Курионом, патрицием (благодаря ему впоследствии был раскрыт заговор Катилины). С ними стоял и молодой Луций Кальпурний Бестия, трибун плебеев в год заговора Катилины.

Стараясь не привлекать внимания собравшихся здесь знатных людей, гладиаторы приблизились к Катилине. А Луций Сергий в эту минуту с саркастическим смехом говорил своим друзьям:

— Хочу на днях познакомиться с весталкой Лицинией, с которой так любезничает толстяк Марк Красс, и рассказать о романе его с Эвтибидой.

— Да, да,— воскликнул Луций Бестия,— скажи ей, что Красс преподнес Эвтибиде двести тысяч сестерциев.

— Марк Красс дарит женщине двести тысяч сестерциев?..— удивился Катилина.— Ну, это чудо куда занимательнее ариминского чуда. Там будто бы петух заговорил по-человечьи.

— Право, это удивительно только потому, что Марк Красс жаден и скуп,— заметил Квинт Курион.— В конце-то концов, для него двести тысяч сестерциев все равно что одна песчинка в сравнении со всем песком на берегах светлого Тибра.

— Ты прав,— сказал с алчным блеском в глазах Луций Бестия.— Действительно, для Марка Красса это сущая безделица. Ведь у него свыше семи тысяч талантов!..

— Какое богатство! Сумма показалась бы невероятной, если бы не было известно, что она действительно существует!

— Вот как хорошо живется в нашей благословенной республике людям с низкой душой, тупицам, посредственностям. Им широко открыт путь к почестям и славе. Я чувствую в себе силы и способность довести до победы любую войну, но никогда я не мог добиться назначения командующим, потому что я беден и у меня долги. Если завтра Красс из тщеславия вздумает получить назначение в какую-нибудь провинцию, где придется воевать, он добьется этого немедленно: он богат и может купить не только несчастных голодных плебеев, но и весь богатый, жадный сенат.

— А ведь надо сказать, что источник его обогащения не так уж безупречен,— добавил Квинт Курион.

— Еще бы! — подтвердил Луций.— Откуда у него все эти богатства? Он скупал по самой низкой цене имущество, конфискованное Суллой у жертв проскрипций. Ссужал деньги под огромные проценты. Купил около пятисот рабов — среди них были и архитекторы и каменщики — и настроил огромное количество домов на пустырях, где прежде стояли хижины плебеев, уничтоженные частыми пожарами, истреблявшими целые кварталы, населенные бедняками.

— Теперь,— прервал его Катилина,— половина домов в Риме принадлежит ему.

— Разве это справедливо? — пылко воскликнул Бестия — Честно ли это?

— Зато удобно,— с горькой улыбкой отозвался Катилина.

— Может ли и должно ли это продолжаться? — спросил Квинт Курион.

— Нет, не должно,— пробормотал Катилина.— И кто знает, что написано в непреложных книгах судьбы?

— Четыреста тридцать три тысячи граждан из четырехсот шестидесяти трех тысяч человек, населяющих, согласно последней переписи, Рим,— заметил Бестия,— живут впроголодь; у них нет даже клочка земли, где бы они могли сложить свои кости. Но погоди, найдется смелый человек, который объяснит им, что богатства, накопленные остальными тридцатью тысячами граждан, приобретены всякими неправдами, что богачи владеют этими сокровищами не по праву! А тогда ты увидишь, Катилина, обездоленные найдут силы и средства внушить гнусным пиявкам, высасывающим кровь голодного и несчастного народа, уважение к нему.

— Не бессильными жалобами и бессмысленными выкриками нужно, юноша, бороться со злом,— серьезно произнес Катилина.— Нам следует в тиши наших домов обдумать широкий план и в свое время привести его в исполнение. Души наши должны быть сильными, а деяния великими. Молчи и жди, Бестия! Быть может, скоро наступит день, когда мы обрушимся со страшной силой на это прогнившее общественное здание, в подвалах которого мы стонем. Несмотря на свой внешний блеск, оно все в трещинах и готово рухнуть.

— Смотри, смотри, как весел оратор Квинт Гортензий,— сказал Курион, как бы желая дать другое направление разговору.— Должно быть, он радуется отъезду Цицерона: теперь у него нет соперников в собраниях на Форуме.

— Ну что за трус этот Цицерон! — воскликнул Катилина.— Как только он заметил, что попал у Суллы в немилость за свои юношеские восторги перед Марием, он немедленно же удрал в Грецию!

— Скоро два месяца, как его нет в Риме.

— Мне бы его красноречие! — прошептал Катилина, сжимая мощные кулаки.— В два года я стал бы властителем Рима!

— Тебе не хватает его красноречия, а ему — твоей силы.

— Тем не менее,— сказал с задумчивым и серьезным видом Катилина,— если мы не привлечем его на свою сторону — а это сделать нелегко при его мягкотелости,— то в один прекрасный

день он может превратиться в руках наших врагов в страшное орудие против нас.

Все трое патрициев умолкли.

В эту минуту толпа, окружавшая портик, немного расступилась, и показалась Валерия, жена Суллы, в сопровождении нескольких патрициев, среди которых выделялись тучный, низкорослый Деций Цедиций, тощий Эльвий Медуллий, Квинт Гортензий и некоторые другие. Валерия направилась к своей лектике, задрапированной пурпурным шелком с золотой вышивкой; лектику держали у самого входа в портик Катулла четыре могучих раба-каппадокийца.

Выйдя из портика, Валерия завернулась в широчайший паллий из тяжелой восточной ткани темно-голубого цвета, и он скрыл от взглядов пылких поклонников все прелести, которыми так щедро наделила ее природа.

Она была очень бледна, взгляд ее больших и широко открытых черных глаз оставался неподвижным; невеселый вид казался странным для женщины, вышедшей замуж немногим больше месяца назад.

Легкими кивками головы и кокетливой усмешкой отвечала она на поклоны собравшихся у портика патрициев и, скрывая под милой улыбкой зевоту, пожала руки двум щеголям — Эльвию Медулию и Децию Цедицию. Это были две тени Валерии, неотступно следовавшие за ней. Конечно, они никому не уступили чести помочь ей войти в лектику. Войдя туда, Валерия задернула занавески и знаком приказала рабам двигаться в путь.

Каппадокийцы, подняв лектику, понесли ее; впереди шел раб, расчищавший дорогу, а позади следовал почетный эскорт из шести рабов.

Когда толпа поклонников осталась позади, Валерия с облегчением вздохнула и, поправив вуаль, стала смотреть по сторонам, окидывая унылым взглядом то мокрую мостовую, то серое небо.

Спартак стоял вместе с Криксом позади толпы патрициев; он увидел красавицу, которая поднималась в лектику, и сразу узнал в ней госпожу своей сестры; его охватило какое-то необъяснимое волнение. Толкнув локтем товарища, он шепнул ему на ухо:

— Погляди, ведь это Валерия, жена Суллы!

— Как она хороша! Клянусь священной рощей Арелата, сама Венера не может быть прекраснее!

В этот момент лектика супруги счастливого диктатора поравнялась с ними; глаза Валерии, рассеянно смотревшие в дверцу лектики, задержались на Спартаке.

Она почувствовала какой-то внезапный толчок, как от электрического тока, и вышла из задумчивости; по лицу ее разлился легкий румянец, и она устремила на Спартака сверкающий

взгляд своих больших черных глаз. Когда лектику уже пронесли мимо двух смиренно стоявших гладиаторов, Валерия раздвинула занавеси и, высунув голову, еще раз посмотрела на фракийца.

— Ну и дела! — воскликнул Крикс, заметив несомненные знаки благоволения матроны к его счастливому товарищу.— Дорогой Спартак, богиня Фортуна, капризная и своенравная женщина, какой она всегда была, схватила тебя за волосы или, вернее, ты поймал за косу эту непостоянную богиню!.. Держи ее крепко, держи, а то она еще вздумает убежать, так пусть хоть что-нибудь оставит в твоих руках.— Эти слова он добавил, когда повернулся к Спартаку и заметил, что тот изменился в лице и чем-то сильно взволнован.

Но Спартак быстро овладел собой и с непринужденной улыбкой ответил:

— Замолчи, безумец! Что ты там болтаешь о богине Фортуне? Клянусь палицей Геркулеса, ты видишь не больше любого андабата!

И чтобы прекратить смущавший его разговор, бывший гладиатор подошел к Луцию Сергию Катилине и тихо спросил его:

— Приходить ли мне сегодня вечером в твой дом, Катилина?

Обернувшись к Спартаку, Катилина ответил:

— Конечно. Но не говори «сегодня вечером» — ведь уже темнеет; скажи «до скорого свиданья».

Поклонившись патрицию, Спартак удалился, сказав:

— До скорого свиданья.

Он подошел к Криксу и стал что-то говорить ему вполголоса с большим воодушевлением; тот несколько раз утвердительно кивнул головой; затем они молча пошли по той дороге, которая вела к Форуму и к Священной улице.

— Клянусь Плутоном, я окончательно потерял нить, которая до сих пор вела меня по запутанному лабиринту твоей души! — сказал Луций Кальпурний Бестия, изумленно смотревший на Катилину, который фамильярно беседовал с гладиатором.

— А что случилось? — спросил Катилина.

— Римский патриций удостаивает своей дружбы презренную и низкую породу гладиаторов!

— Какой позор! — саркастически улыбаясь, сказал Катилина.— Просто ужасно, не правда ли? — И, не дожидаясь ответа, добавил, изменив тон и манеры: — Жду вас сегодня у себя — поужинаем, повеселимся... и поговорим о серьезных делах.

Направляясь по Священной улице к Палатину, Спартак и Крикс вдруг увидели изысканно одетую молодую женщину, которая шла с пожилой рабыней, а за ними следовал раб. Она появилась с той стороны, куда шли гладиаторы.

Женщина эта была необыкновенно хороша собой; хороши бы-

ли рыжие волосы, белоснежный цвет лица, хороши были большие глаза цвета морской волны. Крикс, пораженный ее внешностью, остановился и, глядя на незнакомку, сказал:

— Клянусь Гезом, вот это красавица!

Спартак, грустный и озабоченный, поднял опущенную голову и посмотрел на девушку; та, не обращая внимания на восторги Крикса, остановила свой взгляд на фракийце и сказала ему по-гречески:

— Да благословят тебя боги, Спартак!

— От всей души благодарю тебя,— слегка смутившись, ответил Спартак.— Благодарю тебя, девушка, и да будет милостива к тебе Венера Книдская!

Приблизившись к Спартаку, девушка прошептала:

— Свет и свобода, доблестный Спартак!

Фракиец вздрогнул при этих словах, нахмурил брови и, с изумлением глядя на собеседницу, ответил с явным недоверием:

— Не понимаю, что означают твои шутки, красавица.

— Это не шутка, и ты напрасно притворяешься. Это пароль угнетенных. Я гречанка Эвтибида, бывшая рабыня, тоже принадлежу к угнетенным...— И, с чарующей улыбкой взяв большую руку Спартака, она ласково пожала ее своей маленькой, нежной ручкой.

Гладиатор, вздрогнув, пробормотал:

— Она произнесла пароль, она знает тайный пароль!..

С минуту он молча смотрел на девушку; в ее улыбке было выражение торжества.

— Итак, да хранят тебя боги! — сказал он.

— Я живу на Священной улице, близ храма Януса. Приходи ко мне, я могу оказать тебе небольшую услугу в благородном деле, за которое ты взялся.

Спартак стоял в раздумье. Она настойчиво повторила:

— Приходи!..

— Приду,— ответил Спартак.

— Привет! — сказала по-латыни гречанка, сделав приветственный жест рукой.

— Привет! — ответил Спартак.

— Привет тебе, богиня красоты! — сказал Крикс, который во время разговора Спартака с Эвтибидой остановился на некотором расстоянии от них и не спускал глаз с прелестной девушки.

Он замер на месте, глядя вслед удалявшейся Эвтибиде. Неизвестно, сколько времени он простоял бы в таком оцепенении, если бы Спартак не взял его за плечи и не сказал:

— Ну что же, Крикс, уйдем мы наконец отсюда?

Галл очнулся и пошел рядом с фракийцем, то и дело оборачиваясь. Пройдя шагов триста, он воскликнул:

— А ты еще не хочешь, чтобы я называл тебя любимым детищем Фортуны! Ах, неблагодарный!.. Тебе следовало бы воздвигнуть храм этому капризному божеству, которое распростерло над тобой свои крылья.

— Зачем заговорила со мной эта девушка?

— Не знаю и знать не хочу! Знаю только, что Венера — если только Венера существует — не может быть прекраснее!

В эту минуту один из рабов, сопровождавших Валерию, нагнал гладиаторов и спросил:

— Кто из вас Спартак?

— Я,— ответил фракиец.

— Сестра твоя Мирца ждет тебя сегодня около полуночи в доме Валерии, ей надо поговорить с тобой по неотложному делу.

— Я буду у нее в назначенное время.

Раб удалился, а оба друга продолжали свой путь и вскоре скрылись за Палатинским холмом.

Глава пятая

ТРИКЛИНИЙ КАТИЛИНЫ И КОНКЛАВ ВАЛЕРИИ

Дом Катилины, расположенный на южном склоне Палатинского холма, не принадлежал к числу самых больших и величественных в Риме. Однако по своему внутреннему устройству и убранству он не уступал домам самых именитых патрициев того времени, а триклиний, где возлежали, пируя, в час первого факела Луций Сергий Катилина и его друзья, славился на весь Рим своим великолепием.

Продолговатый просторный зал был разделен на две части шестью колоннами тиволийского мрамора, увитыми плющом и розами, разливавшими свое благоухание в этом месте, где искусство служило пресыщенной роскоши. Вдоль стен, также убранных благоухающими гирляндами, стояли мраморные статуи, блистая красотой. Пол был вымощен драгоценной мозаикой; на нем с великим искусством были изображены вакхические танцы нимф, сатиров и фавнов.

В глубине зала, за колоннами, стоял круглый стол из редчайшего мрамора и вокруг него три больших и высоких ложа на бронзовых постаментах; пуховые подушки на них были застланы покрывалами из драгоценного пурпура. С потолка спускались золотые и серебряные светильники замечательной работы, озаряя зал ярким светом и разливая опьяняющий аромат, и от этого сладостного дурмана замирали чувства и цепенела мысль.

У стен стояли три бронзовых поставца тончайшей работы, все

в чеканных гирляндах и листьях. В этих поставцах хранились серебряные сосуды разной формы и разных размеров. Между поставцами расположены были бронзовые скамьи, покрытые пурпуром, а двенадцать бронзовых статуй эфиопов, украшенные драгоценными ожерельями и геммами, поддерживали серебряные канделябры, усиливавшие и без того яркое освещение зала.

На ложах, облокотившись на пуховые пурпурные подушки, возлежали Катилина и его гости: Курион, Луций Бестия[1], пылкий юноша, ставший позже народным трибуном; Гай Антоний, молодой патриций, человек апатичный, вялый и обремененный долгами; впоследствии он оказался соучастником заговора Катилины, а затем товарищем Цицерона по консульству и благодаря энергии Цицерона в том же году уничтожил Катилину, прежнего своего единомышленника.

Здесь был и Луций Калпурний Писон Цесоний[2], патриций, запутавшийся в долгах, которые не в силах был заплатить; он не смог спасти Катилину в 691 году, зато ему было предназначено судьбой отомстить за него в 696 году, когда он стал консулом и употребил все силы, чтобы отправить Цицерона в изгнание. Писон был человек грубый, необузданный и невежественный.

Рядом с Писоном возлежал на втором ложе, стоявшем в середине и считавшемся почетным, юноша лет двадцати; его женственно красивое лицо было нарумянено, волосы завиты и надушены, глаза подведены, щеки дряблые, а голос хриплый от чрезмерных возлияний. Это был Авл Габиний Нипот, близкий друг Катилины; в 696 году он вместе с Писоном содействовал изгнанию Цицерона. Габинию хозяин предоставил «консульское» место на почетном ложе, которое находилось справа от входа в триклиний, и поэтому он считался царем пира.

Рядом с Габинием, на другом ложе, возлежал молодой патриций Корнелий Лентул Сура[3], человек храбрый и сильный; в 691 году его задушили в тюрьме по приказанию Цицерона, бывшего тогда консулом; это произошло накануне восстания Катилины, в заговоре которого Корнелий Сура принимал самое деятельное участие.

Возле Суры помещался Гай Корнелий Цетег[4], юноша задорный и смелый; он тоже мечтал о восстании, об изменении государственного строя Рима, о введении новшеств.

---

[1] Курион, Луций Бестия и другие собравшиеся у Катилины заговорщики принадлежали к сенаторскому сословию.

[2] Луций Калпурний Писон Цесоний — тесть Цезаря; консул в 58 году до н. э. Во время борьбы Цезаря с Помпеем держался в стороне и старался примирить соперников.

[3] Корнелий Лентул Сура — главный помощник Катилины в организации заговора; принадлежал к патрицианскому роду Корнелиев.

[4] Гай Корнелий Цетег — один из главарей заговора Катилины.

Последним на этом ложе возлежал Гай Веррес, жестокий и алчный честолюбец; вскоре ему предстояло стать квестором у Карбона, проконсула Галлии, и затем претором в Сицилии, где он прославился своими грабежами.

Триклиний, как мы видим, был полон; тут собрались далеко не самые добродетельные римские граждане и совсем не для благородных подвигов и деяний.

Все приглашенные были в пиршественных одеждах тончайшего белого полотна и в венках из плюща, лавра и роз. Роскошный ужин, которым Катилина угощал своих гостей, подходил к концу. Веселье, царившее в кругу этих девяти патрициев, остроты, шутки, звон чаш и непринужденная болтовня, безусловно, свидетельствовали о достоинствах повара, а еще больше — виночерпиев Катилины.

Прислуживавшие у стола рабы, одетые в голубые туники, стояли в триклинии напротив почетного ложа и были готовы по первому знаку предупредить любое желание гостей.

В углу залы расположились флейтисты, актеры и актрисы в очень коротких туниках, украшенных цветами; время от времени они проносились перед пирующими в танце, усиливая шумное веселье.

— Налей мне фалернского! — крикнул хриплым от возлияний голосом сенатор Курион, протянув руку с серебряной чашей ближайшему виночерпию.— Налей фалернского. Хочу восхвалить великолепие и щедрость Катилины. Пусть этот ненавистный скряга Красс убирается в Тартар вместе со всем своим богатством.

— Вот увидишь, сейчас наш пьянчужка Курион начнет коверкать стихи Пиндара[1]. Это зрелище не из приятных,— сказал Луций Бестия своему соседу Катилине.

— Хорошо еще, если память ему не изменит. Пожалуй, он уже час назад утопил ее в чаше вина,— ответил Катилина.

— Красс, Красс!.. Вот мой кошмар, вот о ком я всегда думаю, вот кто мне снится!..— со вздохом произнес Гай Веррес.

— Бедный Веррес! Несметные богатства Красса не дают тебе спать,— ехидно сказал Авл Габиний, испытующе глядя на своего соседа и поправляя белой рукою локон своих завитых и надушенных волос.

— Неужели же не наступит день равенства? — воскликнул Веррес.

— Не понимаю, о чем думали эти болваны Гракхи и этот дурень Друз, когда решили поднять в городе мятеж, для того

---

[1] Пиндар (VI—V века до н. э.) — знаменитый поэт-лирик Древней Греции.

чтобы поделить между плебеями поля! — сказал Гай Антоний.— Во всяком случае, о бедных патрициях они совсем не подумали. А кто же, кто беднее нас? Ненасытная жадность ростовщиков пожирает доходы с наших земель, под предлогом взимания процентов за ссуду ростовщик задолго до срока уплаты долга накладывает арест на наши доходы...

— И впрямь, кто беднее нас! Из-за неслыханной скупости неумолимых отцов и строгости всесильных законов мы обречены проводить лучшие годы молодости в нищете, томиться неосуществимыми желаниями,— добавил Луций Бестия, судорожно сжимая чашу, которую он осушил.

— Кто беднее нас? Мы в насмешку родились патрициями!.. Только издеваясь над нами, можно говорить о нашем могуществе, только смеха ради можно утверждать, что мы пользуемся почетом у плебеев,— с горечью заметил Лентул Сура.

— Оборванцы в тогах — вот кто мы такие!

— Нищие, облачившиеся в пурпур!

— Мы обездоленные бедняки... нам нет места на празднике римского изобилия!

— Смерть ростовщикам и банкирам!

— К черту Законы двенадцати таблиц!..

— И преторский эдикт!..[1]

— К Эребу[2] отцовскую власть!..

— Да ударит всемогущая молния Юпитера-громовержца в сенат и испепелит его!

— Только предупредите меня заблаговременно, чтобы я в этот час не приходил в сенат,— забормотал, выпучив глаза, с идиотским выражением лица пьяный Курион.

Неожиданное и глубокомысленное заявление пьяницы вызвало взрыв смеха, которым и закончился нудный перечень горестей и проклятия гостей Катилины.

В эту минуту раб, вошедший в триклиний, приблизился к хозяину дома и прошептал несколько слов ему на ухо.

— А, клянусь богами ада! — громко и радостно воскликнул Катилина.— Наконец-то! Веди его сюда, пусть с ним идет и его приятель.

Раб поклонился и собрался уже удалиться, но Катилина остановил его, сказав:

— Окажите им должное внимание. Омойте ноги, умастите благовониями, облачите в пиршественную одежду и украсьте головы венками.

---

[1] Преторский эдикт.— Подобно другим должностным лицам, преторы имели право издавать свои эдикты в дополнение к действующему своду законов.

[2] Эреб — самая мрачная часть подземного царства.

Раб снова поклонился и вышел. А Катилина крикнул дворецкому:

— Эпафор, сейчас же распорядись, чтобы убрали со стола объедки и поставили две скамьи напротив консульского ложа. я ожидаю двух друзей. Вели очистить залу от мимов, музыкантов и рабов и позаботься, чтобы в зале для собеседований было все готово для долгого, веселого и приятного пира.

В то время как дворецкий Эпафор передавал полученные приказания и из триклиния удаляли мимов, музыкантов и рабов, пирующие пили пятидесятилетнее фалернское, пенившееся в серебряных чашах, с нетерпением и явным любопытством ожидая гостей, о которых было доложено. Слуга вскоре ввел их; они появились в белых пиршественных одеждах, с венками из роз на головах.

Это были Спартак и Крикс.

— Да покровительствуют боги этому дому и его благородным гостям! — сказал Спартак.

— Привет вам! — произнес Крикс.

— Честь и слава тебе и твоему другу, храбрейший Спартак,— ответил Катилина, поднявшись навстречу гладиаторам.

Он взял Спартака за руку и подвел к роскошному ложу, на котором до этого возлежал сам. Крикса он усадил на одну из скамей, стоявших напротив почетного ложа, и сам сел рядом с ним.

— Почему ты, Спартак, не пожелал провести этот вечер за моим столом и отужинать у меня вместе с такими благородными и достойными юношами? — обратился к нему Катилина, указывая на своих гостей.

— Не пожелал? Не мог, Катилина. Я ведь предупредил тебя . Надеюсь, твой привратник исполнил мое поручение?

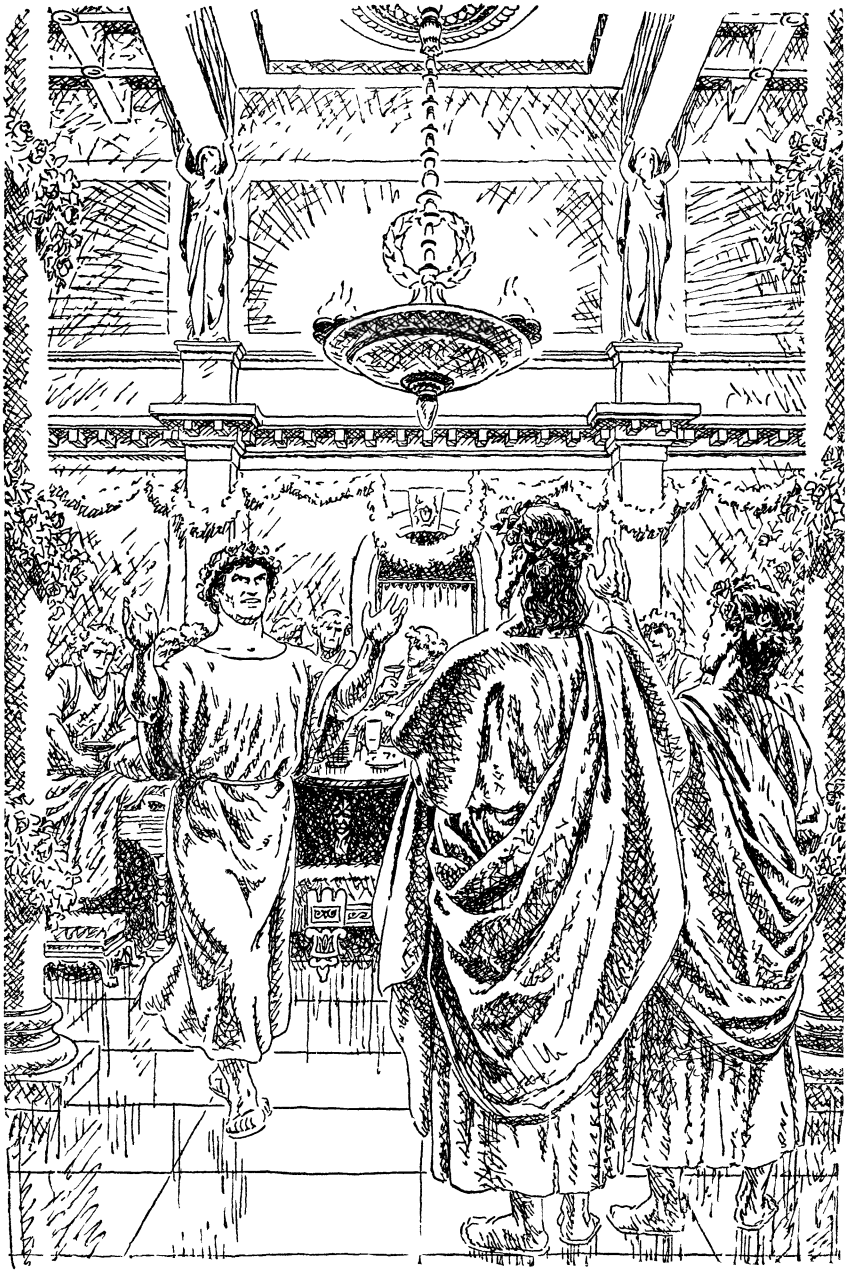
— Да, я был предупрежден, что ты не можешь прийти ко мне на ужин.

— Но ты не знал причины, а сообщить ее тебе я не мог, не полагаясь на скромность привратника... Мне надо было побывать в одной таверне, где собираются гладиаторы, чтобы встретиться кое с кем. Я повидался с людьми, пользующимися влиянием среди этих обездоленных.

— Итак,— заметил Луций Бестия, и в тоне его прозвучала насмешка,— мы, гладиаторы, думаем о своем освобождении, говорим о своих правах и готовимся защищать их с мечом в руке!..

Лицо Спартака вспыхнуло, он стукнул кулаком по столу и, порывисто встав, воскликнул:

— Да, конечно, клянусь всеми молниями Юпитера!.. Пусть...— Оборвав свой возглас, он изменил тон, слова, движения и продолжал: — Пусть только будет на то воля великих



богов и ваше согласие, могущественные, благородные патриции, тогда во имя свободы угнетенных мы возьмемся за оружие.

— Ну и голос у этого гладиатора! Ревет, как бык! — бормотал в дремоте Курион, склоняя лысую голову то к правому, то к левому плечу.

— Такая спесь к лицу разве что Луцию Корнелию Сулле Счастливому, диктатору,— добавил Гай Антоний.

Катилина, предвидя, к чему могут привести саркастические выпады патрициев, приказал рабу налить фалернского вновь прибывшим и, поднявшись, сказал:

— Благородные римские патриции, вам, кого немилостивая судьба лишила тех благ, которые по величию душ ваших принадлежат вам, ибо вы должны были бы в изобилии пользоваться свободой, властью и богатством, вам, чьи добродетели и храбрость мне известны; вам, верные и честные друзья мои, я хочу представить отважного и доблестного человека — рудиария Спартака, который по своей физической силе и душевной стойкости достоин был родиться не фракийцем, а римским гражданином и патрицием. Сражаясь в рядах наших легионов, он выказал великое мужество, за которое заслужил гражданский венок и чин декана...

— Однако это не помешало ему дезертировать из нашей армии, как только представился удобный случай,— прервал его Луций Бестия.

— Ну и что же? — все больше воодушевляясь, воскликнул Катилина.— Неужели вы станете вменять ему в вину то, что он покинул нас, когда мы сражались против его родной страны, покинул для того, чтобы защищать свое отечество, своих родных, свои лары? Кто из вас, находясь в плену у Митридата и будучи зачислен в его войска, не счел бы своим долгом при первом же появлении римского орла покинуть ненавистные знамена варваров и вернуться под свои знамена, знамена своих сограждан?

Слова Катилины вызвали ропот одобрения. Ободренный сочувствием слушателей, он продолжал:

— И я, и вы, и весь Рим восхищались мужественным и бесстрашным борцом, совершившим в цирке подвиги, достойные не гладиатора, а храброго, доблестного воина. И этот человек, стоящий выше своего положения и своей злосчастной судьбы,— раб, как и мы, угнетенный, как и мы,— вот уже несколько лет устремляет все свои помыслы на трудное, опасное, но благородное дело: он составил тайный заговор между гладиаторами, связав их священной клятвой; он замыслил поднять их в определенный день против тирании, которая обрекает этих несчастных на позорную смерть в амфитеатре для забавы зрителей; он хочет дать рабам свободу и вернуть их на родину.

Катилина умолк и после короткой паузы продолжал:

— А разве вы и я не задумываемся над этим, и уже давно? Чего требуют гладиаторы? Только свободы! Чего требуем мы? Против чего, как не против той же олигархии, хотим мы восстать? С тех пор как в республике властвует произвол немногих, только им одним платят дань народы и нации, а все остальные, достойные, честные граждане — люди знатные и простой народ,— стали подонками из подонков, несчастными, угнетенными, недостойными и презренными людьми.

Трепет волнения охватил молодых патрициев; глаза их засверкали ненавистью, гневом и жаждой мести.

Катилина продолжал:

— В домах наших нищета, мы кругом в долгах; наше настоящее печально, будущее — еще хуже. Что нам осталось, кроме жалкого прозябания? Не пора ли нам пробудиться?

— Проснемся же! — произнес сиплым голосом Курион, услышав сквозь сон слова Катилины; смысл этих слов не доходил до него, и, пытаясь их понять, он усиленно тер глаза.

Хотя заговорщики и были увлечены речью Катилины, никто не смог удержаться от смеха при глупой выходке Куриона.

— Ступай к Миносу [1], пусть он судит тебя по твоим заслугам, поганое чучело, винный бурдюк! — закричал Катилина, сжимая кулаки и проклиная незадачливого пьяницу.

— Молчи и спи, негодный! — крикнул Бестия и так толкнул Куриона, что тот растянулся на ложе.

Катилина медленно отпил несколько глотков фалернского и немного погодя продолжал:

— Итак, славные юноши, я вас созвал сегодня, чтобы совместно обсудить, не следует ли нам для блага нашего дела объединиться со Спартаком и его гладиаторами. Если мы решим выступить против нобилитета, против сената, которые сосредоточили в своих руках высшую власть, владеют государственной казной и грозными легионами, то одни мы не сможем добиться победы и должны будем искать помощи у тех, кто умеет отстаивать свои права, кто умеет мстить за обиду. Война неимущих против владеющих всем, война рабов против господ, угнетенных против угнетателей должна стать и нашим делом. Я не могу понять, почему бы нам не привлечь гладиаторов, которые будут находиться под нашим руководством, управляться нами, будут превращены в римские легионы? Убедите меня в противном, и мы отложим осуществление нашего плана до лучших времен.

Нестройный ропот сопровождал речь Катилины — она явно не понравилась большинству сотрапезников. Спартак, взволно-

[1] Минос — по верованиям древних греков, сын Зевса, царь острова Кипра, ставший после смерти судьей в подземном царстве.

ванно слушавший Катилину и одновременно зорко следивший за настроением молодых патрициев, заговорил спокойным тоном, хотя лицо его было бледно:

— Я пришел сюда, чтобы доставить удовольствие тебе, о Катилина, человеку достойнейшему, которого я уважаю и почитаю, но я вовсе не надеялся, что твои слова убедят этих благородных патрициев. Ты чистосердечно веришь тому, о чем говоришь, хотя в глубине души ты не совсем убежден. Позволь же мне и да позволят мне достойные твои друзья говорить без обиняков и открыть вам свою душу. Вас, людей свободных, граждан знатного происхождения, держат в стороне от управления государственными делами, вас лишают богатств и власти — виной этому каста олигархов, враждебная народу, враждебная людям смелым, сторонникам нововведений, каста, чья власть более ста лет омрачает Рим раздорами и мятежами; теперь она более чем когда-либо сосредоточила в своих руках всю полноту власти, она господствует и распоряжается вами по своему произволу. Для вас восстание — это свержение нынешнего сената, замена действующих законов другими законами, более справедливыми для народа, предусматривающими равномерное распределение богатства и прав; замена теперешних сенаторов другими, выбранными среди вас и ваших друзей. Но для вас, как и для нынешних властителей, народы, живущие за Альпами или за морем, навсегда останутся варварами, и вы захотите, чтобы они все по-прежнему были под вашей властью и вашими данниками; вы захотите, чтобы дома ваши, как и подобает патрициям, были полны рабов, а в амфитеатрах, как и теперь, устраивались бы ваши любимые зрелища — кровавые состязания гладиаторов; они будут отдыхом от тяжелых государственных забот, которыми вы, победители, завтра будете обременены. Только этого вы и можете желать; для вас важно одно: занять самим места нынешних властителей.

Нас же, обездоленных гладиаторов, волнуют совсем иные заботы. Всеми презираемые «низкие люди», лишенные свободы, лишенные родины, принужденные сражаться и убивать друг друга на потеху гордых римлян, мы добиваемся свободы полной и совершенной; мы хотим отвоевать нашу отчизну, наши дома! И, следовательно, целью нашего восстания является борьба не только против теперешних властителей, но и против тех, которые придут им на смену, будут ли они называться Суллой или Катилиной, Цетегом или Помпеем, Лентулом или Крассом. С другой стороны, можем ли мы, гладиаторы, надеяться на победу, если будем предоставлены самим себе и одни восстанем против страшного и непобедимого господства Рима?.. Нет, победа невозможна, а значит, и задуманное нами дело безнадежно. Пока я надеялся, что ты, Катилина, и твои друзья будете нашими верными вождя-

ми, пока я мог предполагать, что люди консульского звания и патриции встанут во главе наших гладиаторских легионов, дадут им свое имя и сообщат свое достоинство, мне удавалось согреть сердца своих сотоварищей по несчастью жаром моих собственных надежд. Но теперь я вижу и из долгих бесед с тобой, о Катилина, я понял, что взращенные вашим воспитанием предрассудки не позволят вам стать нашими вождями, и я убежден в несбыточности своих надежд, которые я долго лелеял в тайниках своей души, мечтаний, не покидавших меня и во сне... С чувством беспредельного сожаления я с этой минуты торжественно отказываюсь от них как от невообразимого безумия. Разве можно назвать иначе наше восстание, даже если бы нам удалось поднять пять — десять тысяч человек? Какой авторитет мог бы иметь, например, я или кто-нибудь другой, мне равный? Какого влияния достигнет он, даже если бы это был человек еще сильнее меня? Через какие-нибудь пятнадцать дней от наших легионов ничего не осталось бы — так случилось двадцать лет назад с теми тысячами гладиаторов, которых доблестный римский всадник, по имени Минуций [1], или Веций, собрал близ Капуи. Они были рассеяны когортами претора Лукулла, несмотря на то что гладиаторов вел предводитель высокого рода, смелый и отважный духом...

Трудно описать впечатление, произведенное речью Спартака, презренного варвара в глазах большинства гостей. Одних поражало красноречие фракийца, других — возвышенность его мыслей, третьих — глубина политических идей, и в то же время всем понравилось преклонение перед Римом, которое выказал Спартак. Рудиарий искусно польстил самолюбию патрициев, и они рассыпались в похвалах храброму фракийцу; все они — а больше всех Луций Бестия — предлагали ему свое покровительство и дружбу.

Долго еще длилось обсуждение поднятых вопросов, было высказано немало самых различных мнений, и решено было отложить осуществление задуманного до лучших дней; ждать от времени доброго совета, а от Фортуны — благоприятного случая для смелого дела.

Спартак предложил Катилине и его друзьям свои услуги и услуги *немногих* гладиаторов, веривших в него и уважавших его,— как бы невзначай он все время подчеркивал слово «немногих». После того как Спартак, а с ним и Крикс выпили из чаши дружбы, которая пошла вкруговую, и бросили в нее, как и другие гости, лепестки роз из своих венков, гладиаторы простились с хозяином дома и его друзьями, невзирая на старания удержать

[1] Минуций.— В 104 году до н. э. произошло восстание рабов около Капуи, в Кампанье, которым руководил разорившийся римский всадник Минуций, вооруживший три тысячи пятьсот рабов.

их на празднестве, подготовлявшемся в соседней зале. Наотрез отказавшись остаться, Спартак вместе с Криксом покинул дом патриция.

Выйдя на улицу, он в сопровождении Крикса направился к дому Суллы. Не сделали они и четырех шагов, как Крикс первый нарушил молчание.

— Ты объяснишь мне, надеюсь...

— Замолчи, во имя Геркулеса! — вполголоса прервал его Спартак.— Позже все узнаешь.

Они прошли молча шагов триста. Первым заговорил рудиарий; он повернулся к галлу и тихо сказал:

— Там было слишком много народу, и не все они на нашей стороне, да и не все эти юноши владели рассудком, чтобы можно было им довериться. Ты слышал: для них наш заговор перестал существовать, он рассеялся, как видение безумного. Ступай сейчас же в школу гладиаторов Акциана и перемени наш пароль приветствия и тайный знак при рукопожатии. Теперь паролем будет не *Свет* и *Свобода*, а *Постоянство* и *Победа;* а условным знаком — не три коротких рукопожатия, а три легких удара указательным пальцем правой руки по правой ладони другого.

И Спартак, взяв правую руку Крикса, три раза легонько ударил указательным пальцем по ладони его руки, говоря:

— Вот так, ты понял?

— Понял,— ответил Крикс.

— А теперь иди, не теряя времени. Пусть каждый из начальников манипул предупредит своих пятерых гладиаторов о том, что наш заговор едва не был раскрыт. Каждому, кто произнесет прежний пароль и применит старые знаки, надо отвечать, что всякая надежда потеряна и совершенно оставлена мысль осуществить безумную попытку. Завтра рано утром мы встретимся в школе Юлия Рабеция.

Пожав руку Крикса, Спартак быстро зашагал к дому Суллы. Он скоро дошел туда, постучался в дверь. Ему открыли, и привратник ввел его в комнатку, отведенную Мирце в покоях Валерии.

Девушка завоевала расположение своей госпожи и уже занимала при ней важную должность — ведала туалетом Валерии. Мирца тревожилась за брата. Как только он вошел в комнату, девушка бросилась к нему и, обвив руками шею Спартака, осыпала его поцелуями.

А когда утих бурный порыв нежности, Мирца, сияя от радости, рассказала Спартаку, что она никогда не позвала бы его в такой час, если бы на то не было приказания ее госпожи. Валерия часто и подолгу говорит с нею о Спартаке, расспрашивает о нем и выказывает такое теплое участие к судьбе Спартака, ка-

кое не часто встретишь у знатной матроны по отношению к рудиарию, к гладиатору. Узнав, что Спартак еще не поступил на службу, Валерия приказала позвать его сегодня вечером; она собирается предложить ему руководство школой гладиаторов, которую Сулла недавно устроил на своей вилле в Кумах.

Спартак весь преобразился от радости; слушая Мирцу, он то бледнел, то краснел; в мозгу его, несомненно, бродили странные мысли, и он энергично качал головою, словно хотел отогнать их.

— А если я соглашусь управлять этой маленькой школой гладиаторов, будет ли Валерия требовать, чтобы я опять продался в рабство, или же я останусь свободным? — спросил он наконец сестру.

— Об этом она мне ничего не говорила,— ответила Мирца,— но ведь она так расположена к тебе и, конечно, согласится, чтобы ты остался свободным.

— Значит, Валерия очень добрая?

— Да, да, она и добрая и красивая...

— О, значит, ее доброта беспредельна!

— Тебе она очень нравится, не правда ли?

— Мне?.. Очень, но чувство мое — почтительное благоговение. Именно такое чувство и должен питать к такой знатной матроне человек, находящийся в моем теперешнем положении.

— Тогда... пусть тебе будет известна...только умоляю тебя, никому ни слова... она запретила мне говорить это тебе... Слушай, такое чувство внушили тебе, без сомнения, бессмертные боги! Это долг благодарности к Валерии — ведь это она в цирке уговорила Суллу даровать тебе свободу!

— Как, что ты сказала? Правда ли это? — спросил Спартак, вздрогнув всем телом и бледнея от волнения.

— Правда, правда! Но только, повторяю тебе, не подавай и виду, что ты это знаешь.

Спартак о чем-то задумался. Через минуту Мирца сказала ему:

— Теперь я должна доложить Валерии, что ты пришел, и получить разрешение ввести тебя к ней.

Легкая, словно мотылек, Мирца исчезла, проскользнув в дверцу. Спартак, погруженный в свои мысли, не заметил ее ухода.

В первый раз рудиарий увидел Валерию полтора месяца назад: придя в дом Суллы навестить сестру, он столкнулся с ней в портике, когда она выходила к носилкам.

Прекрасная наружность Валерии произвела на Спартака очень сильное впечатление.

Он почувствовал к ней странное, необъяснимое влечение, которому трудно было противиться; у него зародилось пламенное желание, мечта поцеловать хотя бы край туники этой женщины,

которая казалась ему прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.

Хотя знатность и высокое положение супруги Суллы обязывали ее к сдержанности в отношении человека, находящегося в таком унижении, как Спартак, все же и у нее с первого взгляда, как мы это видели, возникло такое же чувство, как и то, что взволновало душу гладиатора, когда он впервые увидал Валерию.

На первых порах бедный фракиец пытался изгнать из своего сердца это новое для него чувство; рассудок подсказывал ему, что любовь к Валерии — ни с чем не сравнимое безумие, ибо на пути ее стоят непреоборимые препятствия. Но мысль об этой женщине возникала вновь и вновь, настойчиво, упорно овладевала Спартаком среди всех забот и дел, возвращалась ежеминутно, волнуя и тревожа его; разгораясь все больше, она вскоре овладела всем его существом. Бывало так, что он, сам того не замечая, влекомый какой-то неведомой силой, оказывался за колонной в портике дома Суллы и ждал там появления Валерии. Не замеченный ею, он видел ее неоднократно и каждый раз находил все прекраснее, и с каждым днем все сильнее становилось его чувство к ней; он преклонялся перед ней, любил ее нежно, боготворил. Никому, даже самому себе, он не мог бы объяснить это чувство.

Один только раз Валерия заметила Спартака. И на миг бедному рудиарию показалось, что она взглянула на него благосклонно, ласково; ему почудилось даже, что ее взгляд светился любовью, но он тут же отбросил эту мысль, сочтя ее мечтой безумца, видением, вымыслом разгоряченной фантазии,— он понимал, что подобные мысли могут свести его с ума.

Вот что творилось в душе бедного гладиатора, и поэтому легко понять, какое впечатление произвели на него слова Мирцы.

«Я здесь, в доме Суллы,— думал несчастный,— всего лишь несколько шагов отделяют меня от этой женщины... Нет, не женщины, а богини, ради которой я готов пожертвовать жизнью, честью, кровью; я здесь и скоро буду близ нее, может быть наедине с нею, я услышу ее голос, увижу вблизи ее черты, ее глаза, улыбку...» Никогда еще он не видел улыбки Валерии, но, должно быть, улыбка у нее чудесная, как весеннее небо, и отражает ее величественное, возвышенное, божественное существо. Всего несколько мгновений отделяют его от беспредельного счастья, о котором он не только не мог мечтать, но которое даже во сне ему не снилось... Что случилось с ним? Быть может, он стал жертвой волшебной грезы, пылкого воображения влюбленного? А может быть, он сходит с ума? Или, к несчастью своему, уже лишился рассудка?

При этой мысли он вздрогнул, испуганно озираясь, и широко

раскрыл глаза, растерянно отыскивая сестру... Ее не было в комнате. Он поднес руки ко лбу, как будто хотел сдержать бешеное биение крови в висках, рассеять туман, который, казалось, заволок его мозг, и еле слышно прошептал:

— О великие боги, спасите меня от безумия!

Он вновь огляделся вокруг и мало-помалу начал приходить в себя, узнавать место, где он находился.

Это была комнатка его сестры: в одном углу стояла ее узенькая кровать, две скамейки из позолоченного дерева у стены, чуть подальше — деревянный шкаф с бронзовыми украшениями, на нем — терракотовый масляный светильник в виде ящерицы, изо рта которой высовывался горевший фитиль; дрожащий огонек рассеивал мрак в комнате.

Ошеломленный, почти в бреду, Спартак продолжал думать, что все это либо снится ему, либо он сходит с ума. Он подошел к шкафу и, протянув левую руку, дотронулся указательным пальцем до фитиля светильника, и только когда пламя больно обожгло его, он пришел в себя и постепенно усилием воли усмирил свое волнение.

Когда пришла Мирца и позвала его, чтобы проводить до конклава Валерии, он внешне был уже довольно спокоен и даже весел, хотя чувствовал, как колотится у него сердце. Мирца заметила, что он бледен, и заботливо спросила:

— Что с тобой, Спартак? Ты плохо чувствуешь себя?

— Нет, нет, напротив, никогда еще мне не было так хорошо! — ответил рудиарий, идя вслед за сестрой.

Они спустились по лесенке (рабы в римских домах всегда жили в верхнем этаже) и направились к конклаву, где их ждала Валерия.

Конклавом римской матроны называлась комната, в которой она уединялась для чтения или принимала близких друзей. На современном языке мы бы назвали эту комнату кабинетом; естественно, что она примыкала к тем покоям, где жила хозяйка дома.

Конклав Валерии находился в ее зимних покоях (в патрицианских домах обычно было столько отдельных апартаментов, сколько времен года); это была небольшая уютная комната, в которой трубы из листового железа, искусно скрытые в складках роскошных занавесей из восточной ткани, распространяли приятное тепло, доставлявшее тем большее удовольствие, чем холоднее стояла погода. Стены были задрапированы голубым шелком, причудливыми складками и фестонами спускавшимся с потолка почти до самого пола. Поверх шелка была наброшена тонкая, словно облачко, белая вуаль; в изобилии разбросанные по ней свежие розы наполняли комнату нежным благоуханием.

С потолка свисал золотой чеканный светильник с тремя фитилями, в виде большой розы среди листьев,— произведение греческого мастера, поражавшее искусной работой. Разливая голубоватый матовый свет и тонкий запах аравийских благовоний, которые были смешаны с маслом, пропитывавшим фитили, светильник только наполовину рассеивал мрак в конклаве.

В этой комнате, убранной в восточном духе, не было другой мебели, кроме ложа с одной спинкой, на котором лежали мягкие пуховые подушки в чехлах из белого шелка с голубой каймой; там стояли еще скамьи, покрытые таким же шелком, и маленький серебряный комодик вышиной не более четырех пядей от земли, на четырех ящиках его было искусно выгравировано изображение четырех побед Суллы.

На комоде стоял сосуд из горного хрусталя с выпуклыми узорами и цветами ярко-пурпурного цвета работы знаменитых аретинских мастерских; в нем был подогретый сладкий фруктовый напиток, часть которого была уже налита в фарфоровую чашку, стоявшую тут же. Эту чашку Валерия получила от Суллы в качестве свадебного подарка. Она представляла собою целое сокровище, ибо стоила не меньше тридцати или сорока миллионов сестерциев; такие чашки считались большой редкостью и высоко ценились в те времена.

В этом уединенном, спокойном и благоуханном уголке в тихий час ночи покоилась на ложе прекрасная Валерия, завернувшись в белую, тончайшей шерсти тунику с голубыми лентами. В полумраке блистали красотой ее плечи, достойные олимпийских богинь, округлые, словно выточенные из слоновой кости руки.

Опираясь локтем на широкую подушку, она поддерживала голову маленькой, как у ребенка, белоснежной рукой.

Глаза ее были полузакрыты, лицо неподвижно — казалось, она спала; в действительности же она так углубилась в свои думы и думы эти, верно, были такими сладостными, что она как будто находилась в забытьи и не заметила появления Спартака, когда рабыня ввела его в конклав. Она даже не пошевельнулась при легком стуке двери, которую Мирца отворила и тотчас же, выйдя из комнаты, затворила за собой.

Лицо Спартака было белее паросского мрамора, а горящие глаза устремлены на красавицу; он замер, погруженный в благоговейное созерцание, вызывавшее в его душе неописуемое, доныне еще не испытанное им смятение.

Прошло несколько мгновений. И если бы Валерия не позабыла обо всем окружающем, она могла бы отчетливо услышать бурное, прерывистое дыхание рудиария. Вдруг она вздрогнула, словно кто-то позвал ее и шепнул, что Спартак здесь. Приподнявшись, она обратила к фракийцу свое прекрасное лицо, сразу по-

крывшееся румянцем, и, глубоко вздохнув, сказала нежным голосом:

— А... ты здесь?

Вся кровь бросилась в лицо Спартаку, когда он услышал этот голос; он сделал шаг к Валерии, приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но не мог вымолвить ни одного слова.

— Да покровительствуют тебе боги, доблестный Спартак! — с приветливой улыбкой произнесла Валерия, успев овладеть собой.— И... и... садись,— добавила она, указывая на скамью.

На этот раз Спартак, уже придя в себя, ответил ей, но еще слабым, дрожащим голосом:

— Боги покровительствуют мне больше, чем я того заслужил, божественная Валерия, раз они оказывают мне величайшую милость, какая только может осчастливить смертного: они дарят мне твое покровительство.

— Ты не только храбр,— ответила Валерия, и глаза ее засияли от радости,— ты еще и хорошо воспитан.

Затем она вдруг спросила его на греческом языке:

— До того, как ты попал в плен, ты был у себя на родине одним из вождей своего народа, не правда ли?

— Да,— ответил Спартак на том же языке; он говорил на нем если не с аттической, то, во всяком случае, с александрийской изысканностью.— Я был вождем одного из самых сильных фракийских племен в Родопских горах. Был у меня и дом, и многочисленные стада овец и быков, и плодородные пастбища.

Я был богат, могуществен, счастлив, и, поверь мне, божественная Валерия, я был полон любви к людям, справедлив, благочестив, добр...

Он на миг замолчал, а потом, глубоко вздохнув, сказал голосом, дрожавшим от сильного волнения:

— И тогда я не был варваром, не был презренным и несчастным гладиатором!

Валерии стало жаль его, в ее душе поднялось какое-то хорошее чувство, и, подняв на рудиария сияющие глаза, она сказала с нескрываемой нежностью:

— Мне много и часто рассказывала о тебе твоя милая Мирца; мне известна твоя необыкновенная отвага. И теперь, когда я говорю с тобой, мне совершенно ясно, что презренным ты не был никогда, а по уму, воспитанности и манерам ты более подобен греку, чем варвару.

Невозможно описать, какое впечатление произвели на Спартака эти слова, сказанные нежным голосом. Глаза его увлажнились, он ответил прерывающимся голосом:

— О, будь благословенна... за эти сочувственные слова, милосерднейшая из женщин... и пусть великие боги... окажут тебе

предпочтение перед всеми людьми... как ты этого заслуживаешь, и сделают тебя самой счастливой из всех смертных!

Валерия не могла скрыть свое волнение, его выдавали ее выразительные глаза, частое и бурное дыхание, вздымавшее ее грудь.

Спартак был сам не свой; ему казалось, что он жертва каких-то чар, что он попал во власть какой-то фантасмагории, возникшей в его мозгу, и он всей душой отдавался этому сладостному сновидению, этому колдовскому призраку счастья. Он смотрел на Валерию восторженным взглядом, полным смирения и обожания; он жадно слушал ее мелодичный голос, казавшийся ему гармоническими звуками арфы Аполлона, упивался ее горящим, страстным взором, сулившим, казалось, несказанные восторги любви, и, хотя он не мог верить и не верил тому, что явно отражалось в ее глазах, считая все это лишь галлюцинацией, плодом разгоряченного воображения, все же он не спускал влюбленный взор с дивных очей Валерии; сейчас в них был для него весь смысл жизни; все его чувства, все мысли принадлежали ей одной.

Вслед за последними словами Спартака наступила тишина, слышно было только дыхание Валерии и фракийца. Почти помимо их сознания они были погружены в одни и те же мысли, от одних и тех же чувств трепетали их души; оба они были в смятении.

Валерия первая решила прервать опасное молчание и сказала Спартаку:

— Теперь ты совершенно свободен. Не хочешь ли управлять школой из шестидесяти рабов, из которых Сулла решил сделать гладиаторов? Он устроил эту школу у себя на вилле в Кумах.

— Я готов на все, что только ты пожелаешь,— ведь я раб твой и принадлежу тебе,— тихо сказал Спартак, глядя на Валерию с выражением беспредельной нежности и преданности.

Валерия молча посмотрела на него долгим взглядом, потом встала и, точно ее снедала какая-то тревога, прошлась несколько раз по комнате. Затем, остановившись перед рудиарием, она опять устремила на него пристальный взгляд и тихо спросила:

— Спартак, скажи мне откровенно: что ты делал много дней назад, спрятавшись за колонной в портике моего дома?

Тайна Спартака уже перестала быть его сокровенной тайной. Валерия, верно, насмехается в глубине души над дерзостью какого-то гладиатора, поднявшего свой взор на одну из самых прекрасных и знатных римлянок.

Точно пламя разлилось по бледному лицу фракийца; он опустил голову и ничего не ответил. Тщетно пытался он поднять глаза на Валерию и заговорить — его удерживало чувство стыда.

Спартак почувствовал всю горечь своего незаслуженного по-

зорного положения; проклиная в душе войну и ненавистное могущество Рима, он стиснул зубы, дрожа от стыда, от горя и гнева.

Не зная, чем объяснить молчание Спартака, Валерия сделала шаг к нему и едва слышно, голосом еще более нежным, чем прежде, спросила:

— Скажи мне... что ты там делал?

Рудиарий, не поднимая головы, упал перед Валерией на колени и прошептал:

— Прости, прости меня! Прикажи своему надсмотрщику сечь меня розгами... пускай распнут меня на Сестерцевом поле, я заслужил это!

— Что с тобой? Встань!..— сказала Валерия, беря Спартака за руку и заставляя его подняться.

— Я боготворил тебя, как боготворят Венеру и Юнону! Клянусь тебе в этом.

— Ах! — радостно воскликнула матрона.— Ты приходил, чтобы увидеть меня?

— Чтобы поклоняться тебе. Прости меня, прости!..

— Встань, Спартак, благородное сердце! — сказала Валерия дрожащим от волнения голосом, с силой сжимая его руку.

— Нет, нет, здесь, у твоих ног, здесь мое место, божественная Валерия! — И, схватив край ее туники, он горячо целовал его.

— Встань, встань, не тут твое место,— вся дрожа, прошептала Валерия.

Спартак, покрывая жаркими поцелуями руки Валерии и глядя на нее влюбленными глазами, повторял, точно в бреду, глухим, еле слышным голосом:

— О дивная... дивная... дивная Валерия!..

Глава шестая

УГРОЗЫ, ЗАГОВОРЫ И ОПАСНОСТИ

Прекрасная гречанка Эвтибида возлежала на мягких пурпурных подушках в зале для собеседования у себя в доме на Священной улице, близ храма Януса.

— Итак,— сказала она,— ты что-нибудь знаешь? Понял ты, в чем тут дело?

Собеседником ее был человек лет пятидесяти, с безбородым лицом, изрезанным морщинами, которые плохо скрывал густой слой румян и белил; по манере одеваться в нем тотчас же можно было признать актера. Эвтибида, не дождавшись ответа, добавила:

— Хочешь, я скажу, что думаю о тебе, Метробий? Я никогда особенно высоко тебя не ценила, а сейчас вижу, что ты и вовсе ничего не стоишь.

— Клянусь маской Мома [1], моего покровителя,— ответил актер писклявым голосом,— если бы ты, Эвтибида, не была прекраснее Дианы и обворожительней Венеры, даю тебе слово Метробия, близкого друга Корнелия Суллы, хранящего эту дружбу ни мало ни много тридцать лет, что я рассердился бы на тебя! Поговори со мной так кто-нибудь другой, и я, клянусь Геркулесом Победителем, повернулся бы и ушел, пожелав дерзкому приятного путешествия к берегам Стикса!

— Но что же ты сделал за это время? Что разузнал об их планах?

— Сейчас скажу... И много и ничего...

— Как это понять?

— Будь терпелива, и я все тебе объясню. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что я, Метробий, старый актер, вот уже тридцать лет исполняющий женские роли во время народных празднеств, обладаю искусством обольщать людей. К тому же речь идет о варварах, невежественных рабах, о гладиаторах. Я, конечно, сумею добиться своей цели, тем более что располагаю необходимым для этого средством — золотом.

— Потому-то я и дала тебе это поручение, что не сомневаюсь в твоей ловкости, а ты...

— Но пойми, прелестнейшая Эвтибида, если моя ловкость должна проявиться в раскрытии заговора гладиаторов, то тебе придется испытать ее на чем-нибудь другом и иным образом, ибо заговор гладиаторов никак нельзя раскрыть — его, попросту говоря, и в помине нет.

— Так ли? Ты в этом уверен?

— Уверен, совершенно уверен, о прекраснейшая из девушек.

— Два месяца назад... да, не больше двух месяцев, я имела сведения о том, что у гладиаторов заговор, что они объединились в какое-то тайное общество, у них был свой пароль, свои условные знаки, свои гимны, и, кажется, они замышляли восстание, похожее на восстание рабов в Сицилии.

— И ты серьезно верила в возможность восстания гладиаторов?

— А почему бы и нет?.. Разве они не умеют сражаться, не умеют умирать?

— В амфитеатрах...

— Вот именно. Если они умеют сражаться и умирать на потеху толпы, то почему бы им не подняться и не повести борьбу не на жизнь, а на смерть за свою свободу?

[1] Мом — сын Ночи, олицетворение злословия (мифол.).

— Ну что ж, если ты утверждаешь, что это тебе было известно, значит, это правда... и действительно у них был заговор... но могу тебя заверить, что теперь у них никакого заговора нет.

— Ах,— произнесла с легким вздохом прекрасная гречанка,— я, кажется, знаю, по каким причинам; боюсь, что я угадываю их!

— Тем лучше! А я их не знаю и нисколько не стремлюсь узнать!

— Гладиаторы сговорились между собой и подняли бы восстание, если б римские патриции, недовольные существующими законами и сенатом, возглавили их борьбу и приняли командование над ними!

— Но так как римские патриции, как бы подлы они ни были, еще не такие низкие подлецы, чтобы стать во главе гладиаторов...

— А ведь был такой момент... Впрочем, довольно об этом. Скажи лучше, Метробий...

— Сперва удовлетвори мое любопытство,— сказал актер,— от кого ты узнала о заговоре гладиаторов?

— От одного гладиатора... моего соотечественника...

— Ты, Эвтибида, более могущественна на земле, чем Юпитер на небе. Одной ногой ты попираешь Олимп олигархов, а другой— грязное болото черни...

— Что ж, я делаю что могу, стараюсь добиться...

— Добиться чего?

— Власти, добиться власти! — воскликнула Эвтибида дрожащим от волнения голосом.

Она вскочила, лицо ее исказилось от гнева, глаза сверкали зловещим блеском, они были полны глубокой ненависти, отваги, решимости, которых никак нельзя было предположить в этой очаровательной, хрупкой девушке.

— Я хочу добиться власти,— крикнула гречанка,— стать богатой, могущественной, всем на зависть...— И шепотом, со страстной силой она добавила: — Чтобы иметь возможность отомстить!

Хотя Метробий и привык к самому разнообразному притворству на сцене, он все же был поражен; открыв рот, актер смотрел на искаженное лицо Эвтибиды. Гречанка заметила это и, опомнившись, вдруг громко расхохоталась.

— Не правда ли, я недурно сыграла бы Медею? Может быть, не с таким успехом, как Галерия Эмболария, но все же... Ты от изумления обратился в столб, бедный Метробий. Хотя ты старый и опытный актер, а навсегда останешься на ролях женщин и мальчиков!..

И Эвтибида снова захохотала, приведя Метробия в полное замешательство.

— Чтобы добиться чего? — спросила через минуту гречанка.— Чего добиться, старый безмозглый чурбан?

Она щелкнула Метробия по носу и, не переставая смеяться, сказала:

— Добиться того, чтобы стать богатой, как Никопола, возлюбленная Суллы, как Флора, которая по уши влюблена в Гнея Помпея! Стать богатой, очень богатой, понимаешь ли ты это, старый дуралей, для того, чтобы наслаждаться всеми радостями, всеми удовольствиями жизни, потому что, когда жизнь кончится,— всему конец, небытие, как учит божественный Эпикур. Ты понял, ради чего я пользуюсь всем своим искусством, всеми средствами обольщения, которыми меня наделила природа? Ради чего стараюсь одной ногой стоять на Олимпе, а другой в грязи, и...

— Но грязь ведь может замарать?

— Всегда можно отмыть ее. Разве в Риме мало бань и душей? Разве в моем доме нет ванны? Но великие боги! Подумать только, кто смеет читать мне трактат о морали! Человек, который всю свою жизнь провел в болоте самой постыдной мерзости!

— Ну, перестань! К чему рисовать такими живыми красками мой портрет? Ты рискуешь сделать его настолько похожим, что люди будут удирать сломя голову, завидев такую грязную личность. Ведь я говорил шутя. Моя мораль у меня в пятках, на что мне она?

Метробий приблизился к Эвтибиде и, целуя ее руку, проговорил:

— Божественная, когда же я получу награду от тебя? Когда?

— Награду? За что давать тебе награду, старый сатир? — сказала Эвтибида, отнимая руку и опять щелкнув Метробия по носу.— А ты узнал, что задумали гладиаторы?

— Но, прекраснейшая Эвтибида,— жалобно хныкал старик, следуя за гречанкой, которая ходила взад и вперед по зале,— мог ли я открыть то, что не существует? Мог ли я, любовь моя, мог ли?

— Ну хорошо,— сказала куртизанка и, повернувшись, бросила на него ласковый взгляд, сопровождаемый нежной улыбкой,— если ты хочешь заслужить мою благодарность, хочешь, чтобы я доказала тебе мою признательность...

— Приказывай, приказывай, божественная...

— Тогда продолжай следить за ними. Я не уверена в том, что гладиаторы окончательно бросили мысль о восстании.

— Буду следить в Кумах, съезжу в Капую...

— Если хочешь что-нибудь узнать, больше всего следи за Спартаком! — И, произнеся это имя, Эвтибида покраснела.

— О, что касается Спартака, вот уже месяц, как я хожу за

ним по пятам,— не только ради тебя, но и ради самого себя; вернее, ради Суллы.

— Как? Почему? Что ты? — с любопытством спросила гречанка, подойдя к Метробию.

Озираясь вокруг, как будто боясь, что его услышат, Метробий приложил указательный палец к губам, а потом вполголоса сказал Эвтибиде:

— Это мое подозрение... моя тайна. Но так как я могу и ошибиться, а дело касается Суллы... то я об этом не стану говорить ни с одним человеком на свете, пока не буду убежден, что мои предположения правильны.

По лицу Эвтибиды пробежала тень тревоги, которая была непонятна Метробию. Как только гречанка услышала, что он ни за что на свете не хочет открыть ей свой секрет, она загорелась желанием все узнать. Кроме таинственных причин, побуждавших Эвтибиду допытываться, в чем тут дело, ее, возможно, подстрекало женское любопытство, а может быть, и желание посмотреть, насколько велика власть ее очарования даже над этим старым комедиантом.

— Может быть, Спартак покушается на жизнь Суллы?

— Да что ты! Что тебе вздумалось!

— Так в чем же дело?

— Не могу тебе сказать... потом, когда-нибудь...

— Неужели ты не расскажешь мне, мой дорогой, милый Метробий? — упрашивала Эвтибида, взяв актера за руку и тихонько поглаживая своей нежной ладонью его увядшее лицо.— Разве ты сомневаешься во мне? Разве ты еще не убедился, как я серьезна и как отличаюсь от всех других женщин?.. Ты ведь не раз говорил, что я могла бы считаться восьмым мудрецом Греции. Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, что никто никогда не узнает того, что ты мне расскажешь! Ну, говори же, скажи своей Эвтибиде, добрый мой Метробий. Моя благодарность будет беспредельной.

Она кокетничала, дарила старика нежными улыбками и чарующими взглядами и вскоре, подчинив его себе, добилась своего.

— От тебя, видно, не отделаешься, пока ты не поставишь на своем,— сказал Метробий.— Так вот знай: я подозреваю — и у меня на это есть основания,— что Спартак влюблен в Валерию, а она в него.

— О, клянусь факелами эриний! — вскричала молодая женщина, страшно побледнев и яростно сжимая кулаки.— Возможно ли?

— Меня все убеждает в этом, хотя доказательств у меня нет... Но помни, никому ни слова!..

— Ах,— воскликнула Эвтибида, вдруг став задумчивой и будто говоря сама с собой.— Ах... вот почему... Да, иначе и быть не могло!.. Только другая женщина... Другая!.. Другая!..— воскликнула она в ярости.— Значит... она превзошла меня красотой... Ах, я несчастная, безумная женщина!.. Значит, есть другая... она меня победила!..

И, закрыв лицо руками, гречанка зарыдала.

Легко себе представить, как был поражен Метробий этими слезами и нечаянно вырвавшимся у Эвтибиды признанием.

Эвтибида, красавица Эвтибида, по которой вздыхали самые знатные и богатые патриции, Эвтибида, никого никогда не любившая, теперь сама до безумия увлеклась храбрым гладиатором; женщина, привыкшая презирать всех своих многочисленных поклонников из римской знати, была отвергнута простым рудиарием!

К чести Метробия надо сказать, что он от души пожалел бедную гречанку; он подошел к ней, попытался утешить и, лаская ее, говорил:

— Но... может быть, это и неправда... я мог ошибиться... может, это мне только показалось...

— Нет, нет, ты не ошибся! Тебе не показалось... Это правда, правда! Я знаю, я это чувствую,— ответила Эвтибида, утирая горькие слезы краем своего пурпурового паллия.

А через минуту она добавила мрачным и твердым тоном:

— Хорошо, что я об этом знаю... хорошо, что ты мне это открыл.

— Да, но умоляю... не выдай меня...

— Не бойся, Метробий, не бойся. Напротив, я тебя отблагодарю как смогу; и если ты поможешь мне довести до конца то, что я задумала, ты на деле увидишь, как Эвтибида умеет быть благодарной.

И после минутного раздумья она сказала прерывающимся голосом:

— Слушай, поезжай в Кумы... Только отправляйся немедленно, сегодня же, сейчас же... Следи за каждым их шагом, каждым словом, вздохом... раздобудь улики, и мы отомстим и за честь Суллы и за мою женскую гордость!

Дрожа от волнения, девушка вышла из комнаты, бросив на ходу ошеломленному Метробию:

— Подожди минутку, я сейчас вернусь.

Она действительно тотчас же вернулась, принесла с собой тяжелую кожаную сумку и, протянув ее Метробию, сказала:

— На, возьми. Здесь тысяча аурей. Подкупай рабов, рабынь, но привези мне улики, слышишь? Если тебе понадобятся еще деньги...

— У меня есть...

— Хорошо, трать их не жалея, я возмещу тебе... Но поезжай... сегодня же... не задерживаясь в дороге... И возвращайся... как только можешь скорее... с уликами!

И, говоря это, она выталкивала беднягу из комнаты, торопя с отъездом; она проводила его по коридору мимо гостиной, мимо алтаря, посвященного домашним ларам, потом мимо бассейна для дождевой воды, устроенного во дворе, провела его через атрий в переднюю до самой входной двери и сказала рабу-привратнику:

— Видишь, Гермоген, этого человека?.. Когда бы он ни пришел... в любой час веди его немедленно ко мне.

Еще раз простившись с Метробием, она вернулась к себе, закрылась в своей комнате и долго ходила взад и вперед, то замедляя, то ускоряя шаги. Тысячи желаний теснились в душе, тысячи надежд и планов рождались в воспаленном мозгу, сознание ее то затуманивалось, то вдруг озарялось мрачным светом, и в чувствах, отражавшихся в ее глазах, не было ничего человеческого, только лютая, звериная ярость.

Наконец она бросилась на ложе и, зарыдав, произнесла вполголоса, кусая белыми зубами свои руки:

— О эвмениды! Дайте мне отомстить... я воздвигну вам великолепный алтарь!.. Мести, мести я жажду!.. Мести!..

Чтобы понять безумный гнев красавицы Эвтибиды, нам придется вернуться назад. Мы кратко расскажем читателям, какие события произошли в течение двух месяцев с того дня, как Валерия, побежденная страстью к Спартаку, открылась ему в любви.

У гладиатора был мужественный облик, удивительной красоты сложение и, как помнят читатели, необыкновенно привлекательное лицо, освещенное милой улыбкой; когда гнев не искажал это лицо, оно носило отпечаток доброты, кротости, силы чувств, отражавшихся в больших синих глазах. Неудивительно, что он зажег в сердце Валерии любовь такую же глубокую и сильную, как та, что завладела его душой. Вскоре знатная римлянка, открывавшая в возлюбленном всё новые и новые качества, новые достоинства, всецело была покорена им и не только безмерно любила его, но и уважала и почитала. Так несколько месяцев назад ей казалось, что она будет если не любить, то хотя бы уважать и почитать Луция Корнелия Суллу.

Мнил ли себя Спартак счастливым или действительно был счастлив, это легче понять, чем описать. Впервые познав упоительные восторги любви, он был переполнен своим счастьем, поглощен им и, как все счастливые влюбленные, стал эгоистом; он забыл о цепях, которые еще так недавно сковывали его, забыл святое дело свободы, о котором так долго мечтал и которое по-

клялся довести до конца. Да, он забыл обо всем, потому что был только человеком, и любовь усыпила в нем все другие чувства, так же как она одурманила бы Помпея, и Красса, и Цицерона.

И в эти дни, когда Спартак был весь поглощен своей любовью, когда он считал себя любимым и действительно был любим, Эвтибида много раз настойчиво приглашала его к себе — якобы по очень важному делу, связанному с заговором гладиаторов. Спартак наконец внял ее призывам и отправился в дом к гречанке.

Эвтибиде, как мы уже говорили, еще не было двадцати четырех лет. За восемь лет до описываемых нами событий, то есть в 668 году римской эры, когда Сулла после продолжительной осады взял Афины, в окрестностях которых родилась Эвтибида, она попала в рабство. Юная рабыня досталась патрицию Публию Стацию Апрониану, и он приблизил к себе эту завистливую, злую, тщеславную девушку с прирожденными дурными наклонностями. Получив вскоре свободу, Эвтибида осталась в Риме и постепенно приобрела влияние, силу и богатство. Кроме редкой красоты, природа наделила ее недюжинным умом, и она стала вдохновительницей всевозможных интриг и коварных козней. Узнав все тайны зла, изведав все страсти, Эвтибида возненавидела жизнь, которую она вела. И как раз в это время она встретила Спартака, поразившего ее сочетанием геркулесовской силы и необыкновенной красоты. Сердце Эвтибиды запылало страстью, и она не сомневалась, что гладиатор откликнется на ее чувство.

Когда ей удалось обманом заманить Спартака к себе в дом, она пустила в ход все средства обольщения, какие подсказала ей порочная натура, но, к удивлению своему, увидела, что рудиарий равнодушен ко всем ее чарам; ей пришлось убедиться, что существует человек, способный отвергнуть ее любовь, тогда как все другие так жадно искали и добивались ее внимания. Как раз этот презревший ее гладиатор был единственным человеком, к которому она питала какое-то чувство, и тут прихоть гречанки постепенно и безотчетно разрослась в настоящую страсть, страшную и опасную, потому что она горела в порочной душе.

Став ланистой в школе гладиаторов Суллы, Спартак вскоре уехал в город Кумы, близ которого у диктатора была роскошная вилла; там Сулла поселился со всем своим двором и семьей.

Самолюбие Эвтибиды было глубоко оскорблено, чувство ее осталось без ответа, и она догадывалась о тайных причинах такого пренебрежения: несомненно, у нее была соперница, какая-то другая женщина завладела любовью Спартака. Гречанка инстинктивно чувствовала, что только другая любовь, образ другой женщины могли остановить Спартака. Она употребила все уси-

лия, чтобы забыть рудиария, изгнать из мыслей всякое воспоминание о нем, но все было напрасно. Так уж создано человеческое сердце, и так было всегда: то, что не дается, становится особенно желанным, и чем больше препятствий на пути к исполнению желания, тем упорнее мы стремимся удовлетворить его.

До этого дня Эвтибида была счастлива и беззаботна, а теперь оказалась самым несчастным созданием, влачившим жалкое существование среди богатства, удовольствий и поклонения.

Читатели видели, с какой радостью Эвтибида ухватилась за возможность отомстить любимому и в то же время ненавистному ей человеку и своей счастливой сопернице.

В то время как Эвтибида, запершись у себя в комнате, давала волю злым порывам души, а Метробий мчался на прекрасном скакуне в Кумы, в таверне Венеры Либитины происходили не менее важные события, грозившие большой опасностью Спартаку и делу освобождения угнетенных, за которое он решил бороться.

В сумерки семнадцатого дня апрельских календ (16 марта) 676 года римской эры в таверне Лутации Одноглазой собралось довольно много гладиаторов, чтобы угоститься сосисками, жареной свининой и выпить велитернского и тускуланского вина.

Ни у кого из двадцати гладиаторов, сидевших за столом, не было недостатка в хорошем аппетите, в желании выпить и повеселиться.

На почетном месте за столом сидел гладиатор Крикс, распорядитель пиршества. Сила и храбрость Крикса, как мы уже говорили, снискали ему авторитет среди товарищей, а также доверие и уважение Спартака.

Стол для гладиаторов был накрыт во второй комнате таверны. Они чувствовали себя здесь свободно, уютно и могли без опаски вести откровенную беседу, тем более что рядом, в большой комнате, посетителей в этот час было немного, да и те, кто заходил, выпивали на скорую руку тускуланского и тут же удалялись.

Усевшись за стол со своими товарищами, Крикс заметил, что в углу комнаты на небольшом столе стояли тарелки с остатками еды,— очевидно, за этим столом недавно кто-то ужинал.

— Скажи-ка, Лутация Кибела, мать богов...— обратился Крикс к хозяйке, хлопотавшей у стола и подававшей кушанья.

— Правильно, я мать, да только не богов, а неблагодарных мошенников гладиаторов, таких вот, как вы! — прервала его Лутация.

— А ваши боги разве не были гладиаторами, да к тому же хорошими?

— О, да простит мне великий Юпитер! Какие богохульства приходится мне выслушивать!—в сердцах воскликнула Лутация.

— Клянусь Гезом, я не лгу и не богохульствую! Я не буду говорить о Марсе и его деяниях, напомню лишь о Бахусе и Геркулесе; уж если они оба не были отличными и храбрыми гладиаторами и не совершали дел, достойных амфитеатра и цирков, то пусть молнии Юпитера поразят тут же на месте нашего прекрасного ланисту Акциана!

За столом грянул дружный хохот, и со всех сторон послышалось:

— Если бы!.. Если бы!.. Было бы только небу угодно!..

Когда шум прекратился, Крикс спросил:

— Скажи, Лутация, кто ужинал за этим маленьким столом?

Лутация обернулась и с удивлением воскликнула:

— Куда же он делся? Вот так история! — И, поглядев вокруг, она добавила: — О, да поможет мне Юнона Луцина, он ушел! Не заплатил по счету! — И Лутация бросилась к опустевшему столу.

— Он? Да кто ж этот неизвестный? Кто скрывается под именем *он*? — спросил ее Крикс.

— Ах! — воскликнула Одноглазая, вдруг успокоившись.— Напрасно я на него наговорила! Я ведь знала, что он порядочный человек. Вот, глядите, оставил мне на столе восемь сестерциев в уплату по счету... даже больше, чем надо. Ему полагается сдачи четыре с половиной асса.

— Чтоб тебя разорвало, косоглазая! Скажешь ли ты нам наконец?..

— Ах, бедняга! — продолжала Лутация, убирая со стола.— Он забыл стиль и дощечку с записями.

— Пусть Прозерпина съест сегодня вечером твой язык под кисло-сладким соусом, старая мегера! Скажешь ты наконец имя твоего посетителя? — вскричал Крикс, выведенный из терпения болтовней Лутации.

— Скажу, скажу, дураки! Вы любопытнее всякой бабы! — ответила, рассердившись, Лутация.— За тем малым столом ужинал торговец зерном из Сабинской земли; он приехал в Рим по своим делам и приходит сюда уже несколько дней подряд, всегда в одно и то же время.

— Покажи-ка,— сказал Крикс и, взяв из рук Лутации деревянную дощечку, покрытую воском, и костяную палочку, оставленные на столе, стал читать записи торговца.

В этих записях действительно были отмечены закупленные партии зерна, цена, на которой сторговались, и имена людей, продавших хлеб; по-видимому, они получили от скупщика задатки, так как против их имен стояли цифры.

— Вот только никак не пойму,— говорила Лутация Одноглазая,— когда он ушел, этот купец? Готова поклясться, что, когда

вы входили, он еще был здесь!.. А-а, понимаю! Наверное, он меня позвал, а я была занята, готовила для вас сосиски и свинину. Он звал, звал, да и ушел — должно быть, очень торопился,— а деньги на столе оставил. Вот благородный человек!

И Лутация, отобрав у Крикса дощечку и стиль, ушла, бормоча себе под нос:

— Завтра он придет... обязательно придет. Я все и отдам ему в целости.

Проголодавшиеся гладиаторы ели, почти не разговаривая, и только через некоторое время один из них спросил:

— Так как же? О солнце[1], значит, ничего не слышно?

— Солнце за тучи спряталось[2],— ответил Крикс.

— Однако странно,— сказал один из гладиаторов.

— Непонятно,— прошептал другой.

— А что слышно о муравьях?[3]

— Число их увеличивается, и они усердно занимаются своим делом, ожидая наступления лета[4].

— Пусть же скорее придет лето, и пусть солнце, сверкая всемогуществом своих лучей, обрадует трудолюбивых пчел и опалит крылья злым трутням[5].

— Скажи мне, Крикс, сколько звезд в поле зрения?[6]

— Две тысячи двести шестьдесят на вчерашний день.

— А новые появляются?

— Все время. Они будут появляться до тех пор, пока над миром не засверкает лучезарный свод небес, покрытый мириадами звезд.

— Гляди на весло[7],— сказал гладиатор, увидев, что вошла Азур, рабыня-эфиопка, принесшая вино.

Когда она вышла, гладиатор-галл сказал на ломаном латинском языке:

— Мы ведь здесь одни и можем говорить свободно, не затрудняя себя условным языком. Я примкнул к вам недавно и еще не научился ему как следует. Я попросту спрошу вас: увеличивается ли число сторонников? Каждый ли день мы растем? Когда наконец мы сможем подняться и начать настоящее сражение? Когда скажем нашим высокомерным и безмозглым господам, что и мы тоже люди храбрые, а может, и храбрее их?..

[1] Условный язык гладиаторов, принятый ими, чтобы иметь возможность говорить без боязни в гладиаторских школах и в присутствии людей, не принимавших участия в заговоре. Солнце — это великий учитель, то есть Спартак.— *Примеч. автора.*

[2] Он не прислал приказов и хранит еще молчание.— *Примеч. автора.*

[3] А заговорщики? — *Примеч. автора.*

[4] Сигнала восстания.— *Примеч. автора.*

[5] Римлянам.— *Примеч. автора.*

[6] Каково число сторонников? — *Примеч. автора.*

[7] Внимание, кто-то идет.— *Примеч. автора.*

— Ты слишком нетерпелив, Брезовир,— ответил Крикс, улыбаясь.— Не надо так спешить и горячиться! Число наших сторонников изо дня в день увеличивается; число защитников святого дела растет ежечасно, ежеминутно... Сегодня, например, ночью назначено собрание в священной роще богини Фурины, за Сублицийским мостом, между Авентином и Яникулом: соблюдая предписанный обряд, будут принимать в члены нашего союза еще одиннадцать гладиаторов, верных и испытанных людей.

— В роще богини Фурины! — сказал пылкий Брезовир.— Там, где еще стонет среди листвы вековых дубов неотомщенный дух Гая Гракха, чьей благородной кровью ненавистники патриции напитали эту священную заповедную землю! Да, именно в этой роще должны собраться угнетенные, чтобы объединиться и, выступив, завоевать свободу!

— А я вот что скажу,— заметил гладиатор-самнит,— я жду не дождусь той минуты, когда вспыхнет восстание; но не потому, что верю в счастливый его исход, а потому, что давно мечтаю сразиться с римлянами, отомстить за всех самнитов и марсийцев, погибших в священной гражданской войне.

— Нет, если бы я не верил в то, что наше правое дело победит, я бы не вошел в Союз угнетенных.

— Я все равно обречен на смерть, так уж лучше умереть на поле сражения, чем в цирке. Вот почему я вступил в союз.

В эту минуту один из гладиаторов уронил меч и перевязь, на которой он висел,— придя в таверну, он положил их себе на колени. Гладиатор этот сидел на скамейке напротив двух обеденных лож, на которых возлежали некоторые из его товарищей. Он нагнулся, чтобы поднять меч, и вдруг крикнул:

— Под ложем кто-то есть!

Действительно, из-под ложа торчала чья-то нога, обмотанная от колена до щиколотки широкой белой тесьмой, которую в то время многие носили (она называлась «круралис»), и виднелся край зеленой тоги.

Гладиаторы вскочили со своих мест, встревоженные и взволнованные.

Крикс приказал:

— Гляди на весло! Брезовир и Торквато будут гнать насекомых [1], а мы будем жарить рыбу [2].

Исполняя приказ, двое гладиаторов подбежали к двери и, прислонившись к притолоке, стали беззаботно болтать друг с другом, а остальные в мгновение ока подняли ложе и вытащили спрятавшегося под ним молодца лет тридцати. Когда четыре мощных руки схватили его, он взмолился о пощаде.

[1] Пусть охраняют вход — *Примеч. автора.*

[2] Захватим шпиона.— *Примеч. автора.*

— Ни звука! — тихо, но внушительно сказал ему Крикс.— И ни одного движения, а не то живо прикончим тебя на месте!

Блеснули острые клинки десяти мечей, предупреждая попавшегося шпиона, что если он только попытается подать голос, то вмиг отправится на тот свет.

— А, так это ты и есть сабинский купец? Зерном торгуешь да по столам пригоршни сестерциев раскидываешь? — сказал Крикс, и его налившиеся кровью глаза сверкнули мрачной ненавистью.

— Поверьте мне, доблестные люди...— лепетал шпион, позеленев от страха.

— Замолчи, мерзавец! — крикнул гладиатор, сильно ударив его кулаком в живот.

— Эвмакл! — с упреком произнес Крикс.— Подожди... пусть он скажет, кто его подослал сюда.

И, обратившись к мнимому торговцу зерном, он воскликнул:

— Не на зерне ты наживаешься, а на шпионстве и предательстве...

— Во имя великих богов... умоляю вас! — произнес соглядатай прерывистым, дрожащим голосом.

— Кто ты? Кто тебя подослал сюда?..

— Сохраните мне жизнь... я все открою... Но из милосердия, из жалости сохраните мне жизнь!

— Это мы потом решим... пока что говори!

— Меня зовут Сильвий Гордений Веррес... я грек... бывший раб... теперь отпущенник Гая Верреса.

— А, так ты явился сюда по его приказу?..

— Да, по его приказу.

— А что мы сделали Гаю Верресу? Почему он шпионит и доносит на нас? Ведь если он захотел узнать цель наших тайных собраний, то, очевидно, для того, чтобы донести об этом сенату.

— Не знаю... не знаю...— сказал, дрожа, отпущенник Гая Верреса.

— Не хитри... и не притворяйся дураком. Если Веррес решил поручить тебе такое тонкое и опасное дело, значит, он считает тебя достаточно ловким и способным довести его до конца. Говори все начистоту, а вздумаешь отпираться — плохо это для тебя кончится.

Сильвий Гордений понял, что тут не до шуток; понял, что смерть подстерегает его, и решил говорить все начистоту, чтобы спасти свою шкуру, если только это возможно. Он рассказал все, что знал.

Гай Веррес на пиру у Катилины узнал о существовании какого-то Союза гладиаторов, решивших поднять восстание про-

тив существующих законов и власти. Он был вполне уверен, что эти храбрые люди, презирающие смерть, так легко не откажутся от своего замысла — ведь им терять было нечего, а выиграть они могли все,— и нисколько не поверил, когда Спартак в тот вечер в триклинии Катилины заявил с видом горького разочарования, что решил оставить всякую мысль о восстании. Веррес был убежден, что тайный заговор продолжает существовать, Союз гладиаторов усиливается, растет и в один прекрасный день они сами, без участия и содействия римских патрициев, поднимут знамя восстания.

Веррес долго обдумывал, как ему поступить в данном случае. Он был непомерно жаден к деньгам и считал, что все средства хороши, была бы выгода; поэтому он и решил следить за гладиаторами, разузнать все их планы, овладеть всеми нитями заговора и донести о нем сенату. В награду за это он надеялся получить крупную сумму денег или управление провинцией, где ему предоставят возможность законно разбогатеть, обирая местных жителей, как это всегда делало большинство квесторов, преторов, проконсулов. Известно, что жалобы угнетенного населения не тревожили римский сенат.

Для достижения цели Веррес месяц назад поручил своему отпущенному и верному слуге Сильвию Гордению ходить за гладиаторами по пятам, следить за каждым их движением, разузнавать обо всех их тайных собраниях.

И вот уже месяц Сильвий Гордений терпеливо посещал многочисленные притоны, кабачки, харчевни и таверны в самых бедных и отдаленных районах Рима, где гладиаторы собирались чаще всего.

Беспрестанно подслушивая, наблюдая и присматриваясь, он собрал кое-какие улики и уже сделал некоторые выводы. Он понял, что после Спартака самым уважаемым и влиятельным среди гладиаторов был Крикс, именно в его руках находились главные нити заговора, если таковой существует; поэтому он стал следить за Криксом. Так как галл был частым посетителем таверны Венеры Либитины, Сильвий в течение шести-семи дней приходил туда ежедневно, а иногда и по два раза в день. После долгих зрелых размышлений, узнав, что в этот вечер в таверне соберутся начальники манипул и Крикс тоже примет участие в сборище, Сильвий решился на хитрость — забрался под обеденное ложе как раз в момент прибытия гладиаторов, когда внимание Лутации Одноглазой было отвлечено их приходом, и никто не обратил внимания на его неожиданное исчезновение.

Сильвий Гордений рассказывал все это вначале отрывисто и бессвязно, дрожащим, прерывающимся голосом, а к концу весьма живописно и витиевато. Крикс, внимательно наблюдав-

ший за ним, несколько секунд молчал, а затем медленно и очень спокойно произнес:

— А ведь ты редкостный негодяй!

— Ты меня переоцениваешь, благородный Крикс, я, право...

— Нет, нет, ты опаснее, чем кажешься на первый взгляд! С виду ты сущий баран и труслив, как кролик,— а посмотри-ка, сколько у тебя ума и хитрости!

— Я же не сделал вам ничего дурного... я лишь выполнял приказ моего господина... Простите ради моей искренности... А кроме того, клянусь вам всеми богами Олимпа и Аида, что я никому, никому, даже Верресу, не скажу ни слова о том, что здесь случилось. Мне думается, вы можете подарить мне жизнь и отпустить на все четыре стороны.

— Не торопись, добрый Сильвий, мы еще поговорим об этом,— с усмешкой ответил Крикс и, подозвав к себе семь или восемь гладиаторов, обратился к ним: — Выйдемте на минуту.

Выходя первым, он повернулся к остальным и сказал:

— Стерегите его... только не причиняйте ему вреда.

Вместе с теми, кого он позвал, Крикс прошел через главную комнату таверны и вышел в переулок.

— Как поступить с этим негодяем? — спросил Крикс товарищей, когда те окружили его.

— Чего там спрашивать? — ответил Брезовир.— Прикончить, как бешеную собаку!

— Отпустить его — это все равно что самим предать себя,— сказал другой.

— Оставить живым или держать его где-нибудь заложником опасно,— заметил третий.

— Да и где могли бы мы его спрятать? — спросил четвертый.

— Итак, смерть? — сказал Крикс, окидывая товарищей вопрошающим взглядом.

— Улица пустынна.

— Отведем его на самый верх холма, на другой конец улицы...

— Mors sua, vita nostra [1],— поучительным тоном заметил Брезовир, нещадно коверкая произношение этих четырех латинских слов.

— Да, это необходимо,— подтвердил Крикс, сделал несколько шагов к двери таверны, потом остановился и спросил: — Кто его убьет?

Наступило долгое молчание, и наконец кто-то сказал:

— Убить безоружного и беззащитного...

---

[1] Его смерть — наша жизнь *(лат.)*.

— Был бы у него меч...— произнес другой.

— Если бы он мог и хотел защищаться, я взял бы это на себя,— сказал Брезовир.

— Но убить безоружного...— сказал самнит Торкват.

— Вы храбрые и благородные люди,— сказал с волнением Крикс,— люди, достойные свободы! Но для нашего общего блага кто-нибудь должен победить свое отвращение и выполнить приговор, который вынес в моем лице суд Союза угнетенных.

Все умолкли и наклонили голову в знак согласия и повиновения.

— К тому же,— сказал Крикс,— разве он пришел сразиться с нами равным оружием и в открытом бою? Разве он не шпион? Если бы мы не поймали его, разве он не донес бы на нас спустя два часа? Завтра нас всех потащили бы в Мамертинскую тюрьму, а через два дня распяли бы на Сестерциевом поле.

— Да, верно, верно,— тихо произнесли несколько гладиаторов.

— Итак, именем суда Союза угнетенных приказываю Брезовиру и Торкватo убить этого человека.

Оба гладиатора, которых назвал Крикс, в знак согласия наклонили голову, и все возвратились вместе с Криксом в таверну.

Сильвий Гордений Веррес с тревогой ожидал решения своей судьбы; минуты ему казались часами, а может быть, даже веками. Когда он остановил свой взгляд на Криксе и его спутниках, входивших в таверну, он побледнел как полотно и глаза его наполнились ужасом — он не прочел на их лицах ничего утешительного.

— Скажите, вы простили меня? — спросил он, и в голосе его послышались слезы.— Вы сохраните мне жизнь?.. Да?.. На коленях молю вас, заклинаю жизнью ваших отцов и матерей, всем, что дорого вам... Смиренно умоляю вас!..

— Мы лишены отцов и матерей,— мрачно ответил Брезовир, и лицо его потемнело.

— У нас отняли все, что было нам дорого! — произнес другой гладиатор, и глаза его блеснули гневом и местью.

— Встань, мерзавец! — приказал Торкват.

— Молчите! — сказал Крикс и, обернувшись к отпущеннику Гая Верреса, добавил: — Ты пойдешь с нами. В конце этого переулка мы посовещаемся и решим твою судьбу.

Сделав знак, чтобы подняли и увели Сильвия Гордения, которому оставили последнюю надежду для того, чтобы он не оглашал улицу воплями, Крикс вышел в сопровождении гладиаторов, тащивших полумертвого от страха отпущенника; он не сопротивлялся, не произнес ни слова.

Один из гладиаторов остался, чтобы расплатиться с Лута-

цией за кушанья и вино; остальные, повернув направо от таверны, стали подыматься по грязному извилистому переулку, заканчивавшемуся у городской стены, за которой начиналось открытое поле.

Здесь гладиаторы остановились. Сильвий Гордений бросился на колени и начал плакать, моля гладиаторов о пощаде.

— Хочешь ты, подлый трус, сразиться с кем-нибудь из нас равным оружием? — спросил Брезовир отпущенника, когда тот умолк в отчаянии.

— Пожалейте! Пожалейте!.. Ради детей моих молю о милосердии!

— У нас нет детей! — вскричал один из гладиаторов.

— Мы обречены никогда не иметь семьи! — сказал другой.

— Так ты способен только прятаться и шпионить? — сказал Брезовир.— Честно сражаться ты не умеешь?

— Пощадите!.. Помилуйте!.. Умоляю!..

— Так иди же в ад, трус! — крикнул Брезовир, вонзив ему в грудь короткий меч.

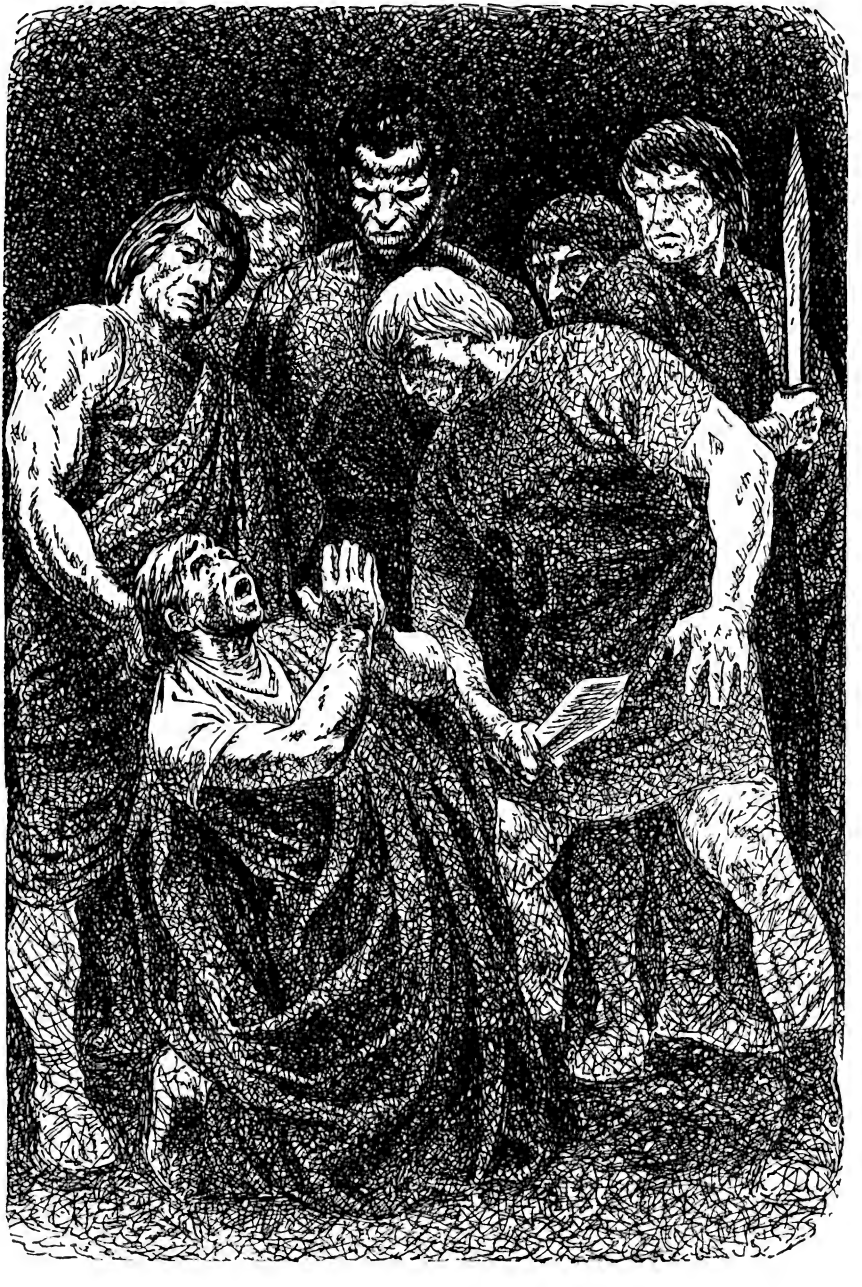
— И пусть с тобой погибнут все подлые предатели, у которых нет ни чести, ни доблести! — сказал Торквато, дважды поразив мечом упавшего.

Гладиаторы окружили умирающего и молча следили за его последними судорогами; лица их были задумчивы и мрачны. Брезовир и Торквато несколько раз воткнули клинки в землю, чтобы стереть с мечей кровь, пока она еще не запеклась, и вложили их в ножны.

Затем все двадцать гладиаторов, серьезные и молчаливые, вышли через пустынный переулок на более оживленные улицы Рима.

...Через неделю после описанных здесь событий, вечером, в час первого факела, со стороны Аппиевой дороги[1] в Рим въехал через Капенские ворота всадник, закутанный в плащ, представлявший лишь слабую защиту от дождя, который лил уже несколько часов без перерыва, затопив улицы города. У Капенских ворот всегда было очень людно: они выходили на Аппиеву дорогу, эту царицу дорог, ибо от нее ответвлялись дороги, которые вели в Сетию, Капую, Кумы, Салерн, Беневент, Брундизий и Самний. Сторожа у Капенских ворот, привыкшие видеть, как прибывают и выходят во все часы дня и ночи люди любого сословия то пешком, то верхом, то в носилках, в колесницах и в паланкинах, запряженных двумя мулами, тем не

[1] Аппиева дорога — первая стратегическая дорога римлян, проложенная в 312 г до н э по почину Аппия Клавдия Слепого Первоначально она доходила до Капуи, а при императоре Траяне (98—117 гг. н э) была доведена до Брундизия.



менее удивились, глядя на всадника и его скакуна: оба были в поту, измучены долгой дорогой, забрызганы грязью.

Миновав ворота, лошадь, пришпоренная всадником, помчалась во весь опор, и стража слышала, как удалялось и наконец затерялось вдали эхо от звонкого топота копыт по мостовой.

Вскоре лошадь проскакала по Священной улице и остановилась у дома Эвтибиды. Всадник соскочил с коня и, схватив бронзовый молоток, висевший у двери, несколько раз сильно ударил им. В ответ раздался лай собаки — без сторожевого пса не обходился ни один римский дом.

Через минуту всадник, стряхивая воду с намокшего плаща, услышал шаги привратника — он шел по двору, громко окликая собаку, чтобы та замолчала.

— Да благословят тебя боги, добрый Гермоген!.. Я Метробий, только что прибыл из Кум...

— С приездом!

— Я весь мокрый, словно рыба... Юпитер, властитель дождей, желая позабавиться, показал мне, как много у него запасено воды в тучах небесных... Позови кого-нибудь из рабов Эвтибиды и прикажи ему отвести мою бедную лошадь в конюшню на соседний постоялый двор, пусть ее там поставят в стойло и зададут овса.

Привратник, взяв лошадь под уздцы, громко щелкнул пальцами — так вызывали рабов — и сказал Метробию:

— Входи, входи, Метробий! С расположением дома ты знаком. Возле галереи ты найдешь Аспазию, рабыню госпожи; она доложит о тебе. О лошади я позабочусь; все, что ты приказал, будет сделано.

Метробий стал осторожно подниматься по ступенькам к входной двери, стараясь не поскользнуться, так как это было бы плохим предзнаменованием, вошел в переднюю и при свете бронзового светильника, спускавшегося с потолка, прочел на мозаичном полу выложенное там, по обычаю, слово Salve (привет); как только гость делал несколько шагов, это слово повторял попугай в клетке, висевшей на стене.

Миновав переднюю и атрий, Метробий вошел в коридор галереи, там он увидел Аспазию и приказал ей доложить о его приезде Эвтибиде.

Рабыня сначала была в нерешительности и колебалась, но актер настаивал. Аспазия боялась, что госпожа накричит на нее и прибьет, если она не доложит о Метробии, с другой же стороны, бедняжка опасалась, как бы Эвтибида не разгневалась, что ее побеспокоили. Наконец она все же решилась доложить своей госпоже о приезде комедианта.

А в это время, удобно усевшись на мягком красивом диване

в своем зимнем конклаве, где стояла изящная мебель, где было тепло от топившихся печей и чудесно пахло благовониями, гречанка слушала любовные признания юноши, сидевшего у ее ног. Дерзкой рукой Эвтибида перебирала его мягкие и густые черные кудри, а он смотрел на красавицу влюбленным взором и пылко, восторженно говорил о своей любви и нежности.

Юноша этот был среднего роста и хрупкого сложения; на бледном лице его с правильными, привлекательными чертами выделялись необычайно живые черные глаза; одет он был в белую тунику с пурпурной каймой из тончайшей шерсти, что свидетельствовало о его принадлежности к высшему сословию. Это был Тит Лукреций Кар. С ранних лет он усвоил философию Эпикура; в его гениальном мозгу уже зарождались основы бессмертной поэмы, а в жизни он следовал догмам своего учителя и, не стремясь к серьезной, глубокой любви, искал мимолетных приключений, боясь

Себя обречь на горе и заботы
Мучительные, ибо рана сердца,
Питаясь ими, с каждым днем все жгучей,
Покуда сердце не покроют струпья...
. . . . . .

Впрочем, это не помешало ему кончить жизнь самоубийством в возрасте сорока четырех лет, и как предполагают, из-за безнадежной, неразделенной любви.

Лукреций, красивый, талантливый юноша, приятный, остроумный собеседник, был богат и не жалел денег на свои прихоти. Он часто приходил к Эвтибиде и проводил в ее доме по нескольку часов, и она принимала его с большей любезностью, чем других, даже более богатых и щедрых своих поклонников.

— Ты любишь меня? — кокетничая, спрашивала юношу гречанка, играя его кудрями.— Я еще не надоела тебе?

— Нет, я люблю тебя все более страстно...

В эту минуту кто-то тихонько постучался в дверь.

— Кто там? — спросила Эвтибида.

Аспазия робко ответила:

— Прибыл Метробий из Кум...

— Ах! — вся вспыхнув, радостно воскликнула Эвтибида и вскочила с дивана.— Приехал?.. Проводи его в кабинет... я сейчас приду,— и, повернувшись к Лукрецию, который тоже поднялся с видимым неудовольствием, торопливо сказала прерывающимся, но ласковым голосом: — Подожди меня... Не слышишь разве, какая на дворе непогода?.. Я сейчас вернусь... И если вести, привезенные этим человеком,—а я их страстно жду уже неделю — будут хорошими и если я утолю сегодня вечером мою

ненависть желанной местью... мне будет весело, и частицей моей радости я поделюсь с тобой.

Эвтибида вышла из конклава в сильном возбуждении, оставив Лукреция изумленным, недовольным и заинтригованным. Он покачал головой и, задумавшись, стал прохаживаться взад и вперед по комнате.

На дворе бушевала гроза. Частые молнии одна за другой озаряли конклав мрачными вспышками, а ужасные раскаты грома сотрясали дом до самого основания. Между раскатами грома как-то необыкновенно отчетливо слышен был стук града и шорох дождя, а сильный северный ветер дул с пронзительным свистом в двери, в окна и во все щели.

— Юпитер, бог толпы, развлекается, показывая свое разрушительное могущество,— тихо произнес юноша с легкой иронической улыбкой.

Походив еще несколько минут, он сел на диван и долго сидел задумавшись, как бы отдавшись во власть ощущений, вызванных этой борьбой стихий; затем вдруг взял одну из навощенных дощечек, лежавших на маленьком изящном комодике, серебряную палочку с железным наконечником и с вдохновенным, горящим лицом быстро стал писать...

Гречанка вошла в кабинет, где ее ждал Метробий. Он уже снял плащ и с досадой разглядывал его — плащ был в ужасном состоянии. Эвтибида крикнула рабыне, собиравшейся уйти:

— Разожги пожарче огонь в камине и принеси одежду, чтобы наш Метробий мог переодеться. И подай в триклиний хороший ужин.

Повернувшись к Метробию, она схватила его за руки и, крепко пожимая их, спросила:

— Ну как, хорошие вести ты привез мне, славный мой Метробий?

— Из Кум — хорошие, а вот с дороги плохие.

— Вижу, вижу, бедный мой Метробий. Садись поближе к огню.— Эвтибида пододвинула скамейку к камину.— Скажи мне поскорее, добыл ли ты желанные доказательства?

— Прекрасная Эвтибида, как тебе известно, золото открыло Юпитеру бронзовые ворота башни Данаи...[1]

— Ах, оставь болтовню!.. Неужели даже ванна, которую ты только что принял, не подействовала на тебя и ты не можешь говорить покороче?..

— Я подкупил одну рабыню и через маленькое отверстие

[1] По греческому сказанию, аргосскому царю Акрисию оракул предсказал гибель от руки внука. Акрисий заточил свою дочь Данаю в бронзовой башне, чтобы лишить ее общения с людьми. Но увлеченный ее красотой Юпитер проник к ней в виде золотого дождя.

в дверях видел несколько раз, как между тремя и четырьмя часами ночи Спартак входил в комнату Валерии.

— О боги ада, помогите мне! — воскликнула Эвтибида в дикой радости, обратив к Метробию искаженное лицо с расширенными зрачками горящих глаз, раздувшимися ноздрями и дрожащими губами, похожая на тигрицу, жаждущую крови.

Она сделала движение, собираясь уйти, но вдруг остановилась и, повернувшись к Метробию, сказала:

— Перемени одежду, подкрепись в триклинии и подожди меня там.

«Не хотел бы я впутываться в какое-нибудь скверное дело,— подумал старый комедиант, входя в комнату, предназначенную для гостей, чтобы сменить одежду.— Горячая голова... от нее всего можно ожидать... Боюсь, натворит невесть что!»

Вскоре актер, сменив одежду, отправился в триклиний, где его ждал роскошный ужин. Вкусная еда и доброе фалернское заставили доблестного мужа забыть злополучное путешествие и изгнали предчувствие какого-то близкого и тяжелого несчастья.

Не успел он еще закончить ужин, как в триклиний вошла Эвтибида, бледная, но спокойная; в руках она держала свиток папируса в обложке из пергамента, раскрашенного сурьмой; свиток был перевязан льняной тесьмой, скрепленной по краям печатью из воска с изображением Венеры, выходящей из пены морской.

Метробий, несколько смутившийся при виде письма, спросил:

— Прекраснейшая Эвтибида... я желал бы... я хотел бы знать... кому адресовано это письмо?

— И ты еще спрашиваешь?.. Конечно, Луцию Корнелию Сулле...

— О, клянусь маской бога Мома, не будем спешить, обдумаем получше наши решения, дитя мое.

— Наши решения?.. А при чем здесь ты?..

— Но да поможет мне великий всеблагой Юпитер!.. А что, если Сулле не понравится, что кто-то вмешивается в его дела!.. Что, если он, вместо того чтобы разгневаться на жену, обрушится на доносчиков?.. Или, что еще хуже — а это вероятнее всего,— он разгневается на всех?..

— А мне-то что за дело?

— Да, но... то есть... Осторожность не мешает, дитя мое. Для тебя, может быть, безразличен гнев Суллы... а для меня это очень важно...

— А кому ты нужен?

— Мне, мне самому, прекрасная Эвтибида, любезная богам и людям! — с жаром сказал Метробий.— Мне! Я очень себя люблю.

— Но я даже имени твоего не упоминала... Во всем том, что может произойти, ты ни при чем.

— Понимаю... очень хорошо понимаю... Но, видишь ли, девочка моя, я уже тридцать лет близок с Суллой... Я хорошо знаю этого зверя... то есть... человека... При всей дружбе, которая нас связывает уже столько лет, он вполне способен свернуть мне голову, как курице, а потом прикажет почтить мой прах пышными похоронами и битвой пятидесяти гладиаторов у моего костра. Но, к несчастью, мне-то самому уж не придется насладиться всеми этими зрелищами!

— Не бойся, не бойся,— сказала Эвтибида,— ничего плохого с тобой не случится.

— Да помогут мне боги, которых я всегда чтил!

— А пока воздай хвалу Бахусу и выпей в его честь пятидесятилетнего фалернского. Я сама тебе налью.

И она ковшиком налила фалернского в чашу комедианта.

В эту минуту в триклиний вошел раб в дорожной одежде.

— Помни мои наставления, Демофил: до самых Кум нигде не останавливайся.

Раб взял из рук Эвтибиды письмо и, засунув его между рубашкой и верхней одеждой, привязал у талии бечевкой, потом, простившись с госпожой, завернулся в плащ и ушел.

Эвтибида успокоила Метробия, которому фалернское развязало язык, и он снова пытался говорить о своих страхах. Заверив комедианта, что они завтра увидятся, она вышла из триклиния и возвратилась в конклав, где Лукреций, держа в руке дощечку, перечитывал написанное им.

— Прости, я задержалась дольше, чем предполагала... но, я вижу, ты времени не терял. Прочти мне твои стихи. Я знаю, ты можешь писать только стихами, и стихами прекрасными.

— Ты и буря, что бушует сегодня, вдохновили меня... Ты права, я должен прочесть эти стихи тебе первой. А потом, возвращаясь домой, я прочту их буре.

Лукреций встал и с необычайным изяществом продекламировал:

Ветер, во-первых, морей неистово волны бичует,
Рушит громады судов и небесные тучи разносит,
Или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем,
Мощные валит стволы, неприступные горные выси,
Лес, низвергая, трясет порывисто: так, налетая,
Ветер, беснуясь, ревет и проносится с ропотом грозным.
Стало быть, ветры — тела, но только незримые нами.
Море и земли они вздымают, небесные тучи
Бурно крутят и влекут внезапно поднявшимся вихрем;
И не иначе текут они, все пред собой повергая,
Как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится
Мощной внезапно рекой, которую, вздувшись от ливней,
Полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее, водопады,

Леса обломки неся и стволы увлекая деревьев.
Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором
Вод неспособны: с такой необузданной силой несется
Ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи.
Опустошает он все, грохоча; под водою уносит
Камней громады и все преграды сметает волнами.
Так совершенно должны устремляться и ветра порывы,
Словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую
Сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат,
Вновь налетая и вновь; а то и крутящимся смерчем
Все, захвативши, влекут и в стремительном вихре уносят.

Как мы уже говорили, Эвтибида была гречанка, притом гречанка, получившая хорошее образование. Она не могла не почувствовать и не оценить силу, красоту и гармонию этих звучных стихов и выразила свое восхищение словами, полными искреннего чувства, на что поэт, прощаясь с ней, сказал с улыбкой:

— За свое восхищение ты поплатишься дощечкой: я уношу ее с собой.

— Но ты мне сам принесешь ее, как только перепишешь стихи на папирус.

Пообещав Эвтибиде вскоре прийти к ней, Лукреций удалился. Душа его еще была полна стихами, их подсказало ему наблюдение над природой, поэтому стихи получились такими сильными, звучными и полными чувства.

Эвтибида как будто была вполне удовлетворена. В сопровождении Аспазии она удалилась в свою спальню, решив перед сном подумать на свободе и вкусить всю несказанную радость мести. Но, к ее великому удивлению, эта радость оказалась совсем не такой полной, как она думала, и она удивлялась, что чувствует такое слабое удовлетворение. Совсем неожиданные мысли бродили в ее голове, когда она ложилась. Она приказала Аспазии удалиться, оставив зажженным ночной светильник, лишь слегка затемнив его.

Долго перебирала она в памяти все, что ею было сделано, и размышляла над возможными последствиями своего письма. Быть может, Сулла сумеет сдержать свой гнев до глубокой ночи, выследит Валерию и Спартака и убьет их обоих...

Мысль о том, что она скоро узнает о смерти и позоре Валерии, этой надменной и гордой матроны, которая смотрела на нее свысока, хотя сама была лицемеркой, в тысячу раз более преступной и виновной, чем она, Эвтибида,— эта мысль наполняла душу гречанки злобной радостью и смягчала муки ревности, все еще терзавшей ее сердце. Но чувства Эвтибиды к Спартаку были совсем иными. Эвтибида старалась оправдать его проступок и, хорошенько подумав, пришла к выводу, что фракиец гораздо менее виновен, чем Валерия. В конце концов, он

только бедный рудиарий, и жена Суллы, хотя бы даже и некрасивая, должна была казаться ему богиней. Эта подлая женщина, наверное, обольстила его, околдовала... Конечно, все случилось именно так, а не иначе. Разве сам по себе гладиатор осмелился бы поднять глаза на жену Суллы? А снискав ее любовь, бедный Спартак, естественно, оказался в полной ее власти и уже не мог, не смел даже на мгновение подумать о другой любви, о другой женщине. Смерть Спартака теперь не казалась Эвтибиде заслуженной карой — нет, ее ничем нельзя было оправдать.

Эвтибида долго не могла уснуть и ворочалась с боку на бок, погруженная в печальные думы, охваченная самыми противоречивыми чувствами, горько вздыхала, трепеща от страшных мыслей. Время от времени, побежденная усталостью, она забывалась в дремоте, но потом, вздрогнув, снова начинала метаться в постели, пока наконец не уснула тяжелым сном. В комнате воцарился на некоторое время покой, нарушаемый лишь прерывистым дыханием спящей. Вдруг Эвтибида вскочила и в испуге закричала голосом, полным слез:

— Нет, Спартак!.. Нет, это не я убиваю тебя... это она... Ты не умрешь!..

Несчастная была поглощена неотвязной мыслью, которая во время короткого сна перешла в видение; образы, отягощавшие ее мозг, претворились во сне в один образ Спартака, умирающего и молящего о пощаде.

Вскочив с постели, бледная, с искаженным от страдания лицом, она накинула широкое белое одеяние, позвала Аспазию и велела ей разбудить Метробия.

Немалых трудов стоило ей уговорить актера немедленно отправиться в путь и, догнав Демофила, взять у него обратно письмо, написанное ею три часа назад,— теперь она не хотела, чтобы оно попало в руки Суллы.

Метробий устал с дороги, осоловел от выпитого вина, разнежился в приятном тепле постели, и Эвтибиде понадобилось все ее искусство и чары, чтобы через два часа он решился отправиться в путь.

Гроза окончилась. Все небо было усыпано звездами, и только свежий, но довольно резкий ветерок мог потревожить позднего путника.

— Демофил опередил тебя на пять часов,— сказала гречанка Метробию,— поэтому ты должен не скакать, а лететь на твоем коне.

— Да, если бы он был Пегасом, я заставил бы его лететь.

— В конце концов, так будет лучше и для тебя!..

Через несколько минут послышался стремительный топот лошади, скакавшей во весь опор. Он будил сынов Квирина; они

настороженно прислушивались, а потом снова закутывались в одеяла и, с наслаждением вытягиваясь в теплой постели, радовались ей еще больше при мысли, что многие несчастные находятся сейчас в пути под открытым небом и мерзнут на холодном ветру, который яростно завывает за стенами дома.

Глава седьмая

КАК СМЕРТЬ ОПЕРЕДИЛА ДЕМОФИЛА И МЕТРОБИЯ

Всякому, кто выезжал из Рима через Капенские ворота и, проехав по Аппиевой дороге после Арриции, Сутрия, Суэссы-Пометин, Таррацины и Кайеты, добирался до Капуи, где дорога разветвляется (направо она идет на Беневент, а налево — в Кумы), и затем сворачивал в сторону Кум, открывалась картина несравненной красоты.

Путешественнику, который мог бы охватить взглядом окрестные холмы, оливковые и апельсиновые рощи, виноградники, фруктовые сады, плодородные нивы в золоте урожая, зеленые луга с буйными благоухающими травами — излюбленные пастбища многочисленных стад овец и коров, оглашающих окрестности призывным блеянием и тоскливым мычанием, представилось бы все чудесное солнечное побережье, тянущееся от Литерна до Помпеи.

Там, на этих благодатных берегах, словно по какому-то волшебству, возникли неподалеку друг от друга Литерн, Мизены, Кумы, Байн, Путеолы, Неаполь, Геркуланум и Помпея, а вокруг них выросли богатые храмы, роскошные виллы и дворцы, веселые солнечные сады, многочисленные деревни и фермы. Все побережье казалось единым огромным городом, а дальше виднелось спокойное лазоревое море, покоящееся в берегах залива, заботливо охраняющих его, а еще дальше — кольцо прелестных островов с роскошной растительностью: Исхия, Прохита, Несида, Капрея. И все это богатство, вся красота природы сосредоточены в цветущем уголке земли, которому боги и люди, казалось, уговорились дать все, что существует в мире наиболее прекрасного и пленительного, в цветущем уголке, залитом солнцем и овеваемом ласковым дуновением мягкого, теплого ветра.

Пейзаж был поистине сказочно прекрасен! Недаром об этих местах в те времена сложилась легенда, что именно здесь поджидал со своей лодкой умерших Харон, перевозивший их из этого мира в элисий [1].

[1] Элисий, элизиум, или Елисейские поля,— по верованиям древних греков и римлян, место блаженства, где после смерти пребывают души умерших героев и праведников.

Приехав в Кумы, путешественник попадал в великолепный, богатый, густо населенный город, расположенный частью на крутой, обрывистой горе, частью на ее пологом склоне и на равнине у моря. В сезон купаний сюда съезжались римские патриции; некоторые из них проводили здесь также часть осени и весны.

В Кумах имелись все удобства, роскошь и уют, которыми богачи и знатные люди того времени могли окружить себя в самом Риме. Были здесь и портики, и базилики, и форумы, и цирки, и грандиозный амфитеатр (развалины его сохранились и доныне), а на горе, в Акрополе,— чудесный храм, посвященный богу Аполлону, один из самых красивых в Италии.

Кумы были основаны в очень отдаленные времена. Известно, что за пятьдесят лет до основания Рима Кумы были уже в таком расцвете и так могущественны, что переселенцы из этого города основали в Сицилии город Занклу, который позже стал называться Мессана. Несколько позже была основана другая колония, Палеополис, очевидно, нынешний Неаполь.

Во время второй Пунической войны Кумы были независимым городом, дружественно настроенным союзником, а не данником Рима. Хотя в это время многие другие города Кампаньи перешли на сторону карфагенян, Кумы остались верны Риму, поэтому Ганнибал, собрав большие силы, напал на них. Но консул Семпроний Гракх пришел на помощь Кумам и разбил Ганнибала, истребив великое множество карфагенян.

С тех пор римские патриции оказывали предпочтение Кумам, хотя в эпоху описываемых событий знатные люди стали больше посещать Байи, и вследствие этого Кумы начали постепенно приходить в упадок.

Недалеко от Кум, на высоком холме, откуда открывался великолепный вид на побережье и на залив, стояла роскошная вилла Луция Корнелия Суллы. Все, что тщеславный, сумасбродный, одаренный безудержной фантазией Сулла мог придумать, было создано на этой вилле для удобства и роскоши. Сады ее простирались до самого моря, и в них диктатор велел устроить специальный бассейн для прирученных рыб, за которыми был установлен самый тщательный уход.

Вилла Суллы не уступала в роскоши римским домам. Там была баня — вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных ванн, на устройство которых Сулла не пожалел средств. Были на вилле теплицы с редкими цветами и вольеры для птиц, были заповедники, где жили олени, козули, лисицы и разная дичь.

Всемогущий диктатор уже два месяца уединенно жил в этом очаровательном уголке, где воздух был необычайно мягок и полезен для здоровья.

Своим многочисленным рабам он приказал проложить дорогу, которая ответвлялась от Аппиевой дороги и вела прямо на виллу.

Здесь Сулла проводил свои дни в размышлениях и писал «Воспоминания», которые собирался посвятить — и впоследствии действительно посвятил — Луцию Лицинию Лукуллу, известному богачу. Лукулл в это время вел успешные войны, а тремя годами позже был избран консулом и одержал победу над Митридатом в Армении и в Месопотамии; впоследствии он стал знаменит среди римлян, и память о нем дошла до потомков, хотя прославился он не столько своими победами, сколько утонченной роскошью, которой окружил себя, и неисчислимыми своими богатствами.

На вилле в окрестностях Кум Сулла проводил все ночи в шумных оргиях; солнце не раз заставало его еще возлежащим за столом, пьяным и сонным, среди еще более пьяных мимов, шутов и комедиантов, обычных участников его кутежей.

Время от времени он совершал прогулку в Кумы, а иной раз в Байи или Путеолы, хотя там он бывал значительно реже. И всюду граждане любого сословия выказывали ему знаки уважения и почтения, не столько за его великие деяния, сколько из страха перед его именем.

Три дня спустя после событий, описанных в конце предыдущей главы, Сулла вернулся в колеснице из Путеол, где он улаживал спор между патрициями и плебеями; в этот день он в качестве арбитра скрепил акт соглашения.

Вернувшись под вечер, Сулла приказал приготовить ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, самом обширном и великолепном из четырех триклиниев огромного мраморного дворца.

При свете факелов, горевших в каждом углу, среди благоуханных цветов, возвышавшихся пирамидами у стен, под веселые звуки флейт, лир и цитр пиршество вскоре превратилось в безобразную оргию.

В обширной зале вокруг трех столов было установлено девять обеденных лож; на них возлежали двадцать пять пирующих, не считая самого Суллы. Место любимца Суллы, Метробия, оставалось пустым.

Бывший диктатор, в белоснежной застольной одежде, в венке из роз, занимал место на среднем ложе у среднего стола, рядом с любимым своим другом Квинтом Росцием, который был царем этого пира.

Судя по веселому смеху Суллы, громким речам и частым возлияниям, можно было подумать, что бывший диктатор веселится от души и никакая печаль, никакая забота не терзают его.

Но внимательный наблюдатель легко заметил бы, как поста-

рел Сулла за эти четыре месяца и стал еще безобразнее и страшнее. Его лицо исхудало, кровоточащие нарывы, покрывавшие его, увеличились; волосы из седых, какими они были за год до этого, стали совсем белыми; на всем его облике лежал отпечаток усталости, слабости и страдания — последствия бессонницы, на которую он был обречен мучившим его страшным недугом.

Тем не менее в его проницательных серо-голубых глазах горела жизнь, сила, энергия. Усилием воли он старался скрыть от других свои нестерпимые муки и успешно добивался этого,— иногда, в особенности в часы оргий, он, казалось, даже сам забывал о своей болезни.

— А ну-ка, расскажи, расскажи, Понциан,— сказал Сулла, поворачиваясь к патрицию из Кум, возлежавшему на ложе за другим столом,— я хочу знать, что говорил Граний.

— Я не расслышал, что он говорил,— сказал Понциан, побледнев и в явном замешательстве не зная, что ответить.

— Ты ведь знаешь, Понциан, у меня тонкий слух,— промолвил Сулла спокойно, но брови его грозно нахмурились,— я ведь слышал то, что ты сейчас сказал Элию Луперку.

— Да нет же...— возразил в смущении патриций,— поверь мне... счастливый и всемогущий... диктатор...

— Ты вот что сказал: «Когда Грания, теперешнего эдила в Кумах, заставили уплатить в казну штраф, наложенный на него Суллой, он отказался сделать это, заявив...», но тут ты поднял на меня глаза и, заметив, что я слышу твой рассказ, вдруг замолчал. Предлагаю тебе повторить точно, слово в слово, все сказанное Гранием.

— Сделай милость, о Сулла, величайший из вождей римлян...

— Я не нуждаюсь в твоих похвалах! — вскричал Сулла хриплым от гнева голосом, и глаза его засверкали; приподнявшись на ложе, он с силой стукнул кулаком по столу.— Подлый льстец! Похвалы себе я сам начертал своими деяниями и подвигами, все они значатся в консульских фастах[1], и я не нуждаюсь, чтобы ты мне повторял их, болтливая сорока! Я хочу услышать слова Грания, я хочу их знать, и ты должен мне их повторить, иначе, клянусь арфой божественного Аполлона, моего покровителя,— да, Луций Сулла клянется тебе,— что ты живым отсюда не выйдешь и твой труп послужит удобрением для моих огородов!

Призывая Аполлона, которого Сулла уже много лет назад избрал особым своим покровителем, диктатор дотронулся правой рукой до золотой статуэтки этого бога, которую он захватил

---

[1] Консульские фасты — списки высших должностных лиц, которые велись из года в год.

в Дельфах и почти всегда носил на золотой цепочке тонкой работы.

При этих словах, при этом движении Суллы и его клятве все друзья его побледнели и умолкли, растерянно переглядываясь; утихла музыка, прекратились танцы; шумное веселье сменилось могильной тишиной.

Заикаясь от страха, незадачливый Понциан произнес наконец:

— Граний сказал: «Я сейчас платить не стану: Сулла скоро умрет, и я буду освобожден от уплаты».

— А! — произнес Сулла, и багровое его лицо вдруг стало белым как мел от гнева.— А!.. Граний с нетерпением ждет моей смерти?.. Браво, Граний! Он уже сделал свои расчеты.— Сулла весь дрожал, но пытался скрыть бешеную злобу, сверкавшую в его глазах.— Он уже все рассчитал!.. Какой предусмотрительный!.. Он все предвидит!..

Сулла умолк на миг, затем, щелкнув пальцами, крикнул:

— Хрисогон! — и тут же грозно добавил: — Посмотрим! Не промахнуться бы ему в своих расчетах!

Хрисогон, отпущенник Суллы и его доверенное лицо, приблизился к бывшему диктатору; Сулла мало-помалу пришел в себя и уже спокойно отдал какое-то приказание; отпущенник, наклонив голову, выслушал его и направился к двери.

Сулла крикнул ему вслед:

— Завтра!

Повернувшись к гостям и высоко подымая чашу с фалернским, он весело воскликнул:

— Ну, что же вы? Что с вами? Вы все словно онемели и одурели! Клянусь богами Олимпа, вы, кажется, думаете, трусливые овцы, что присутствуете на моем поминальном пире?

— Да избавят тебя боги от подобных мыслей!

— Да пошлет тебе Юпитер благополучие и да покровительствует тебе Аполлон!

— Много лет жизни могущественному Сулле! — в один голос закричали гости, поднимая чаши с пенистым фалернским.

— Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого! — воскликнул своим чистым и звучным голосом Квинт Росций, поднимая чашу.

Все провозглашали тосты, все пили, и Сулла, с виду будто веселый, обнимая, целуя и благодаря Росция, крикнул кифаристам и мимам:

— Эй, дураки, что вы там делаете? Умеете только пить мое фалернское и обкрадывать меня, проклятые бездельники! Пусть вас сейчас же охватит вечный сон смерти!

Едва лишь смолкла ругань Суллы — он всегда отличался

грубой речью и плоскими шутками,— музыканты снова заиграли и вместе с мимами и танцовщицами, которые подпевали им, принялись отплясывать танец сатиров. По окончании танцев на среднем столе, за которым возлежал Сулла и Росций, появилось невиданное жаркое: орел в полном оперении, точно живой; в клюве он держал лавровый венок с пурпуровой лентой, на которой золотыми буквами было написано «Sullae, Felici, Epafrodito», что означало: «Сулле Счастливому, любимцу Венеры». Прозвище «Любимец Венеры» особенно нравилось Сулле.

Под рукоплескания гостей Росций вынул венок из клюва орла и передал его Аттилии Ювентине, хорошенькой отпущеннице Суллы, сидевшей с ним рядом.

Аттилия Ювентина возложила поверх венка из роз, уже украшавшего голову Суллы, лавровый венок и нежным голосом сказала:

— Тебе, любимцу богов, тебе, непобедимому императору, эти лавры присудил восторг всего мира!

Сулла несколько раз поцеловал Аттилию, присутствующие зааплодировали, а Квинт Росций, встав с ложа, продекламировал своим чудесным голосом, с жестами, достойными великого актера:

. . . . Увидел он над Тибром,
Как повелитель жезл схватил, которым
Владел когда-то, в землю водрузил.
И вот дала побег верхушка жезла,
Оделась ветвь его листвою пышной
И землю всю квиритов осенила.

Искусно введенные в текст намеки показывали, что Росций был не только замечательным актером, но и человеком тонкого ума. И снова в триклинии раздались рукоплескания, еще более шумные.

Тем временем Сулла ножом надрезал туловище орла в том месте, где была зашита кожа птицы, и на блюдо выпало множество яиц, которые тут же были поданы гостям; в каждом яйце оказалось мясо жареного бекаса под острым соусом. Все смаковали изысканное кушанье, превознося щедрость Суллы и искусство его повара, а двенадцать красивых рабынь-гречанок в голубых туниках обходили стол, наливая в чаши чудесное фалернское.

Немного спустя была подана новая диковинка — огромный медовый пирог, на корке которого с изумительной точностью была вылеплена из теста круглая колоннада храма. Как только пирог был разрезан, оттуда вылетела стая воробьев — по числу гостей. У каждого воробья на шее была ленточка, а к ней был

прикреплен подарок с именем гостя, которому он предназначался.

Новые рукоплескания и новый взрыв восхищения встретили это поразительное произведение искуснейшего повара Суллы. Долго шла шумная погоня за птицами, тщетно пытавшимися улететь из наглухо запертого зала, наконец диктатор прекратил эту охоту. Оторвавшись на мгновение от беседы с Ювентиной, он воскликнул:

— О, нынче вечером я в веселом расположении духа, и мне хотелось бы потешить вас зрелищем, редким на пирах... Послушайте меня, любимые друзья мои... Хотите увидеть в этом зале бой гладиаторов?

— Хотим! Хотим! — закричало пятьдесят голосов со всех сторон, потому что такого рода зрелища любили не только гости Суллы, но и кифаристы и танцовщицы, которые с восторгом отвечали: «Хотим! Хотим!» — позабыв, что вопрос был предложен совсем не им.

— Да, да, гладиаторов, гладиаторов! Да здравствует Сулла, щедрейший Сулла!

Немедленно послали раба в школу гладиаторов, находившуюся здесь же при вилле, с приказом Спартаку привести в триклиний пять пар гладиаторов. Тем временем многочисленные рабы освободили часть зала, где должен был происходить бой, и перевели танцовщиц и музыкантов в другой конец комнаты, ближе к столам.

Хрисогон ввел в зал десять гладиаторов: пятерых в одежде фракийцев и пятерых в одежде самнитов.

— А где же Спартак? — спросил Сулла Хрисогона.

— Его нет в школе. Должно быть, он у сестры.

В эту минуту в триклиний вошел запыхавшийся Спартак. Приложив руку к губам, он приветствовал Суллу и его гостей.

— Спартак,— обратился Сулла к рудиарию,— я хочу оценить твое искусство в обучении фехтованию. Сейчас посмотрим, чему научились и что умеют делать твои гладиаторы.

— Они всего только два месяца упражняются в фехтовании и еще мало чему успели у меня научиться.

— Посмотрим, посмотрим,— сказал Сулла; затем, повернувшись к гостям, добавил: — Я не внес ничего нового в наши обычаи, устраивая бой гладиаторов во время пира; я только возродил обычай, который существовал два века назад у обитателей Кампаньи, ваших достойных предков, о сыны Кум, первых жителей этой области.

Спартак установил сражающихся; он был бледен, взволнован и, казалось, плохо соображал, что делает и что говорит.

Это утонченное варварство, эта умышленная жестокость, эта

отвратительная кровожадность, обнаруженная столь откровенно и с таким зверским спокойствием, возбудили ярый гнев в сердце рудиария. Невыносимо, мучительно было для него сознавать, что не злая воля толпы, не звериный инстинкт неразумной черни, а каприз одного свирепого и пьяного человека и подлая угодливость тридцати паразитов обрекли десять несчастных гладиаторов, честных и достойных, здоровых и сильных юношей, драться без какой-либо неприязни или вражды друг к другу и бесславно умереть гораздо раньше срока, назначенного им природой.

Кроме этих причин, было еще одно обстоятельство, усиливавшее гнев Спартака: на его глазах подвергался смертельной опасности его друг Арторикс, двадцатичетырехлетний галл необыкновенно благородной внешности, чудесно сложенный, с бледным лицом и светлыми вьющимися волосами. Спартак очень любил его, предпочитая всем гладиаторам из школы Акциана. Арторикс тоже был сильно привязан к Спартаку. И как только рудиарию предложено было перейти в школу Суллы, он попросил купить Арторикса, объясняя это тем, что галл необходим ему как помощник по управлению школой.

Расставляя бойцов друг против друга, Спартак в сильном волнении спросил шепотом молодого галла:

— Почему ты пришел?

— Несколько минут тому назад,— ответил Арторикс,— мы бросили кости, чтобы решить, кому идти последним навстречу смерти, и я оказался в числе проигравших: сама судьба хочет, чтобы я был среди первых десяти гладиаторов Суллы, которые должны сражаться друг с другом.

Рудиарий ничего не ответил, но через минуту, когда все было готово, подошел к Сулле и сказал:

— Великодушный Сулла, разреши послать в школу за другим гладиатором, чтобы поставить его на место вот этого,— и он указал на Арторикса,— он...

— Почему же он не может сражаться? — спросил бывший диктатор.

— Он много сильнее остальных, и отряд фракийцев, в котором он должен сражаться, будет значительно сильнее отряда самнитов.

— И ради этого ты хочешь заставить нас ждать еще? Нет, пусть сражается и этот, мы больше не желаем ждать. Тем хуже для самнитов!

Видя овладевшее всеми нетерпение, которое ясно можно было прочесть в глазах гостей, Сулла сам подал знак к началу сражения.

Борьба, как это можно было себе представить, длилась недолго: через несколько минут один фракиец и два самнита бы-

ли убиты, а двое других несчастных лежали на полу тяжело раненные, умоляя Суллу пощадить их жизнь, и им была дарована пощада.

Последний самнит отчаянно защищался против четырех нападавших на него фракийцев, но вскоре, весь израненный, поскользнулся в крови, растекшейся по мозаичному полу, и его друг Арторикс, глаза которого были полны слез, желая избавить умирающего от мучительной агонии, из сострадания пронзил его мечом.

Переполненный триклиний загремел единодушными рукоплесканиями.

Их прервал Сулла, закричав Спартаку хриплым, пьяным голосом.

— А ну-ка, Спартак, ты самый сильный, возьми щит одного из убитых, подыми меч этого фракийца и покажи свою силу и храбрость: сражайся один против четырех оставшихся в живых.

Предложение Суллы встретили шумным одобрением, а бедный рудиарий был ошеломлен, как будто его ударили дубиной по шлему. Ему показалось, что он потерял рассудок, ослышался, в ушах у него гудело, он застыл, устремив глаза на Суллу, и шевелил губами, тщетно пытаясь что-то сказать. Бледный, он стоял неподвижно и чувствовал, как по спине его катятся капли холодного пота.

Арторикс видел ужасное состояние Спартака и вполголоса сказал ему:

— Смелее!

Рудиарий вздрогнул при этих словах, огляделся вокруг несколько раз и опять пристально поглядел в глаза Сулле. Наконец, сделав над собой страшное усилие, он проговорил:

— Но... преславный и счастливый диктатор... Я позволю себе обратить твое внимание на то, что я ведь больше не гладиатор; я рудиарий и свободный человек, а у тебя я исполняю обязанности ланисты твоих гладиаторов.

— А-а! — закричал с пьяным сардоническим смехом Луций Корнелий Сулла.— Кто это говорит? Ты, храбрый Спартак? Ты боишься смерти! Вот она, презренная порода гладиаторов! Нет, погоди! Клянусь палицей Геркулеса Победителя, ты будешь сражаться! Будешь!..— повелительным тоном добавил Сулла и, сделав короткую паузу, ударил кулаком по столу.— Кто тебе даровал жизнь и свободу? Разве не Сулла? И Сулла приказывает тебе сражаться! Слышишь, трусливый варвар? Я приказываю — и ты будешь сражаться! Клянусь богами Олимпа, ты будешь сражаться!

Смятение и тревога, овладевшие чувствами и мыслями Спартака в эти мгновения, были ужасны, и как молнии в грозу то

вспыхивают, то гаснут на небе, мелькают и скрещиваются на тысячу ладов, так на лице его отражалась буря, бушевавшая в душе! Глаза его сверкали, по лицу то разливалась восковая бледность, то оно все чернело, то багровый румянец покрывал щеки и под кожей перекатывались желваки мускулов.

Уже несколько раз Спартаку приходила мысль схватить меч одного из мертвых гладиаторов, с быстротою молнии, с яростью тигра броситься на Суллу и изрубить его на куски, прежде чем пирующие успели бы подняться со своих мест. Но он каким-то чудом сдерживал себя. Всякое новое оскорбление, которое выкрикивал Сулла, вызывало у гладиатора негодование, и ему приходилось усилием воли подавлять неудержимое желание растерзать диктатора на части.

Наконец, изнемогая от долгих и нестерпимых душевных мук, Спартак стряхнул с себя оцепенение, и, глухо застонав,— стон этот похож был на рычание зверя,— он машинально, почти не сознавая, что делает, подобрал с полу щит, схватил меч и дрожащим от гнева голосом громко воскликнул:

— Я не трус и не варвар!.. Я буду сражаться, чтобы доставить тебе удовольствие, о Луций Корнелий Сулла. Но клянусь тебе всеми твоими богами, если, по несчастью, мне придется ранить Арторикса...

Вдруг пронзительный женский крик неожиданно и как нельзя более кстати прервал безумную речь гладиатора. Все повернулись туда, откуда он раздался.

В глубине залы в задней стене, спиной к которой возлежал Сулла и его гости, была дверь, скрытая зеленой портьерой, такой же, какие висели на остальных дверях триклиния, которые вели в различные покои дома. Сейчас на пороге этой двери неподвижно, как статуя, стояла мертвенно-бледная Валерия.

Когда раб пришел звать Спартака от имени Суллы, он был у Валерии. Этот вызов, да еще в такой час, удивил и смутил рудиария и сильно напугал Валерию, которая поняла, что Спартаку угрожает опасность более серьезная, чем та, которой он подвергался до сих пор. Движимая любовью к фракийцу, Валерия отбросила все приличия, все правила осторожности и предусмотрительности. Она велела рабыням одеть ее в одежду из белоснежной льняной ткани, усыпанную розами, и по длинному коридору дошла до той двери, которая вела из ее покоев в триклиний, где в этот вечер шел пир.

Валерия явилась на пир с твердым намерением казаться веселой, ищущей на этом пиру развлечений, но не могла совладать с собой: осунувшееся, бледное лицо ее выдавало мучительную тревогу и страх.

Спрятавшись за портьерой, она с отвращением и негодова-

нием следила за яростным сражением гладиаторов, и особенно за последующей сценой, разыгравшейся между Спартаком и Суллой. При каждом их слове, при каждом движении она вздрагивала и трепетала. Она чувствовала, что силы покидают ее, но все ждала и не входила, не теряя надежды на благополучный исход. Когда же она поняла, что Сулла принуждает Спартака сражаться с Арториксом, которого, как она знала, Спартак очень любил, когда увидела, что рудиарий, вне себя от гнева и отчаянья, готов уже начать бой, и услыхала его возбужденную речь, которая, несомненно, должна была закончиться угрозой и проклятием Сулле, она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак неминуемо погибнет!

Испустив крик, исходивший из самой глубины сердца, она, раздвинув портьеру, появилась на пороге и сразу привлекла к себе внимание всех гостей и Суллы.

— Валерия!..— удивленно воскликнул Сулла, стараясь приподняться с ложа, к которому, казалось, его пригвоздили обильные яства и возлияния фалернского.— Валерия!.. Ты здесь?.. В этот час?..

Все встали, вернее — пытались встать, так как не все могли сохранить равновесие и удержаться на ногах; но все более или менее почтительно приветствовали матрону.

Лицо вольноотпущенницы Ювентины сначала покрылось пурпуровой краской, под стать пурпуровой кайме ее туники, затем страшно побледнело; она не поднялась с ложа, а, стараясь сделаться как можно меньше, сжаться в комочек, незаметно сползла под стол и спряталась за складками скатерти.

— Привет всем,— сказала Валерия минуту спустя, окинув быстрым взглядом обширную залу и стараясь успокоиться.— Да покровительствуют боги непобедимому Сулле и его друзьям!

В то же время она обменялась взглядом взаимного понимания со Спартаком. Гладиатор еще не начинал боя и как зачарованный не мог отвести от Валерии глаз: ее появление в такую минуту казалось ему чудом.

От внимания Валерии не ускользнуло соседство Суллы с Ювентиной и исчезновение вольноотпущенницы. То, что она увидела, заставило ее покраснеть от негодования; тем не менее, сделав вид, будто ничего не заметила, она приблизилась к столу. Сулле в конце концов удалось подняться, но он шатался, с трудом держался на ногах, и видно было, что недолго сможет сохранить вертикальное положение.

Он все еще не мог прийти в себя от удивления, вызванного появлением Валерии в таком месте и в такой час; и хотя его глаза смотрели тускло, он несколько раз испытующе взглядывал на жену. Она же, улыбаясь, сказала:

— Ты столько раз приглашал меня, Сулла, на твои пиршества в триклиний... Сегодня вечером мне не спалось, а меж тем до меня долетал отдаленный шум веселья — и вот я решила облечься в застольную одежду и явиться сюда, чтобы выпить с вами чашу дружбы, а потом уговорить тебя ради твоего здоровья удалиться на покой. Но, придя сюда, я увидела сверкание мечей и трупы, лежащие на полу. Что же это наконец? — вскричала матрона с чувством беспредельного негодования.— Вам мало бесчисленных жертв в цирках и амфитеатрах! Вы с диким наслаждением воскрешаете запрещенные, давно забытые варварские обычаи, чтобы на пиру упиваться предсмертными муками гладиаторов, повторять губами, непослушными от вина, судорожные движения губ умирающих...

Все молчали, низко опустив голову. Сулла, пытавшийся связать несколько слов, пробормотал что-то нечленораздельное и кончил тем, что замолчал, подобно обвиняемому, стоящему лицом к лицу со своим обвинителем.

Только гладиаторы, особенно Спартак и Арторикс, смотрели на Валерию глазами, полными благодарности и любви.

После минутного молчания жена Суллы приказала рабам:

— Немедленно уберите трупы и предайте их погребению. Вымойте здесь пол, обрызгайте благовониями, налейте в мурринскую чашу Суллы фалернского и обнесите ее вкруговую гостям в знак дружбы.

Пока рабы исполняли приказания Валерии, гладиаторы удалились. Среди гробового молчания чаша дружбы, в которую лишь немногие из гостей кинули лепестки роз из своих венков, обошла круг пирующих, после чего все встали из-за стола и, пошатываясь, вышли из триклиния; одни удалились в покои, отведенные для гостей в этом обширнейшем дворце, другие отправились в находившиеся неподалеку Кумы.

Сулла молча опустился на ложе; казалось, он был погружен в глубокое раздумье, в действительности же попросту отупел от вина, как это часто бывает в хмельном угаре. Тряхнув его за плечо, Валерия сказала:

— Ну, что же! Ночь миновала, приближается час рассвета. Не пора ли тебе наконец удалиться к себе в спальню?

При этих словах Сулла протер глаза, медленно поднял голову и, глядя на жену, произнес, с трудом ворочая языком:

— Ты... поставила все вверх дном... в триклинии... ты лишила меня... удовольствия... Клянусь Юпитером Статором, это ни на что не похоже! Ты вознамерилась умалить всемогущество... Суллы Счастливого... любимца Венеры... диктатора... Клянусь великими богами, я владычествую в Риме и во всем мире и не желаю, чтобы кто-нибудь мною командовал... Не желаю!..

Его остекленевшие зрачки расширились: чувствовалось, что он пытается обрести власть над своими словами, над силами ума, побежденными опьянением, но голова его снова тяжело упала на грудь.

Валерия молча смотрела на него с жалостью и презрением.

Сулла, снова подняв голову, сказал:

— Метробий!.. Где ты, любимый мой Метробий! Приди, помоги мне... я хочу прогнать... хочу отвергнуть эту... вот эту...

Искра гнева вспыхнула в черных глазах Валерии, с угрожающим видом сделала она шаг к ложу, но вдруг остановилась и с отвращением воскликнула:

— Хрисогон, позови рабов и перенеси твоего господина в спальню. Он пьян, как грязный могильщик!

В то время как Хрисогон с помощью двух рабов скорее тащил, чем вел грубо ругавшегося и бормотавшего проклятья Суллу в его покои, Валерия, вполне владея собой, устремила пристальный взгляд на скатерть, покрывавшую стол, под которой все еще пряталась Ювентина, затем с презрительной гримасой отвернулась и, выйдя из залы, возвратилась к себе.

Сулла, которого уложили в постель, проспал весь остаток ночи и все утренние часы следующего дня, а Валерия, как об этом можно легко догадаться, не сомкнула глаз.

Около полудня Сулла, особенно сильно страдавший в последние дни от своей болезни, которая вызывала нестерпимый зуд во всем теле, поднялся с постели, накинул на себя поверх нижней рубашки широкую тогу и в сопровождении рабов, приставленных к его особе, опираясь на плечо своего любимого Хрисогона, направился в баню, примыкавшую к дому. Туда надо было идти через обширный атрий, украшенный великолепной колоннадой в дорическом стиле.

Войдя в термы и миновав залу ожидания, Сулла направился в комнату для раздевания — изящную залу с мраморными стенами и мозаичным полом. Из этой комнаты три двери вели в душевую комнату, в залу с бассейном теплой воды и в парильню.

Сулла сел в мраморное кресло, покрытое подушками и пурпуровым покрывалом, разделся с помощью рабов и вошел в парильню.

Эта комната также была облицована мрамором; через отверстия в полу в нее нагнетался горячий воздух, проходивший по трубам из котла, который нагревали под комнатой. Направо от входа находился полукруглый мраморный альков, а напротив него — небольшой бассейн с горячей водой.

Как только Сулла очутился в парильне, он вошел в альков и стал подымать гири, выбрав сначала из множества гирь разного веса две самые маленькие. Гири служили для того, чтобы

купающиеся, проделывая гимнастические упражнения, вызывали таким способом пот. Постепенно переходя к более тяжелым гирям, Сулла вскоре почувствовал, что тело у него покрывается испариной, и бросился в бассейн с горячей водой.

Сев на мраморную ступеньку, он ощутил приятное успокоение — тепло приносило облегчение его страданиям; об этом можно было судить по выражению блаженства, появившемуся на его лице.

— Ах, как хорошо! Сколько часов я ждал этого счастья... Скорее, скорее, Диодор!..— обратился он к одному из рабов, который обычно умащивал его.— Возьми поскорее скребницу и потри мне больные места. Зуд нестерпимый!

Диодор взял бронзовую скребницу, с помощью которой обычно после бани растирал диктатора, перед тем как умастить его благовонными маслами, и стал осторожно тереть его измученное тело.

В это время Сулла обратился к Хрисогону:

— Завернул ли ты в пурпуровый пергамент двадцать вторую книгу моих «Воспоминаний», которую я позавчера закончил диктовать и вручил тебе?

— Да, господин; и не только твой экземпляр, но и все десять копий, сделанных рабами-переписчиками.

— Молодец, Хрисогон!.. Ты, значит, позаботился, чтобы сделали десять копий? — спросил с явным удовольствием Сулла.

— Да, конечно. И копии сняты не только с последнего тома, но и со всех предыдущих, для того чтобы один экземпляр оставался в библиотеке твоей виллы, другой — в библиотеке твоего римского дома и еще один — в моей библиотеке. А кроме того, по одной копии каждого тома подарим Лукуллу и Гортензию. Распределяя такое количество экземпляров по разным местам, я хотел, чтобы твои «Воспоминания» остались в целости и сохранности даже в случае пожара либо какого-нибудь другого бедствия, пока ты не решишь опубликовать их, или же до тех пор, пока смерть твоя — да отдалят ее великие боги! — даст это право Лукуллу, как об этом указано в твоем завещании.

— Да в моем завещании... В завещании я позаботился обо всех вас... о тех немногих, которые всегда оставались моими верными друзьями во всех превратностях жизни...

— О, не говори так, прошу тебя! — воскликнул Корнелий Хрисогон.— Постой, я слышу какой-то шум в раздевальной...— И отпущенник вышел.

Сулла, лицо которого — возможно, после ночного кутежа — казалось особенно постаревшим и бледным, жаловался на ужасные боли; в бане ему стало еще хуже, он чувствовал какое-то необычное стеснение в груди. Поэтому Диодор, закончив расти-

рание, вышел, чтобы позвать Сирмиона из Родоса, отпущенника и медика Суллы, неотлучно находившегося при нем.

Между тем Суллой овладела дремота, он опустил голову на край бассейна и, казалось, уснул; рабы, прислуживавшие в бане, неслышно ступая, отошли и стали в углу около алькова, в безмолвном страхе наблюдая за человеком, который даже легким движением бровей приводил их в трепет.

Несколько минут спустя Хрисогон вернулся. Сулла вздрогнул и повернул голову в его сторону.

— Что с тобой? — спросил отпущенник, в испуге подбежав к бассейну.

— Ничего!.. Сонливость какая-то!.. Знаешь, я сейчас видел сон...

— Что же тебе снилось?

— Я видел во сне любимую жену мою, Цецилию Метеллу, умершую в прошлом году; она звала меня к себе.

— Не обращай внимания, Сулла. Все это суеверие.

— Суеверие? Отчего ты такого мнения о снах, Хрисогон? Я всегда верил снам и постоянно делал то, что в них указывали мне боги. И мне не приходилось жалеть об этом.

— Всегда ты преуспевал благодаря своему уму и доблести, а не оттого, что тебе внушалось что-то в сновидениях.

— Больше, чем ум и доблесть, Хрисогон, мне помогала судьба, которая всегда была милостива ко мне, потому что зачастую я полагался только на нее. Верь мне, наилучшие мои деяния были те, которые я совершал безотчетно, не предаваясь раздумью.

Хотя Сулла сделал в своей жизни много гнусного, все же были у него за плечами и поистине высокие, славные подвиги; воспоминания о них вернули покой душе бывшего диктатора, и лицо его несколько просветлело. Тогда Хрисогон счел возможным доложить, что, по приказу, данному Суллой накануне, во время пира, Граний приехал из Кум и ждет его распоряжений.

Лицо Суллы сразу исказилось от ярости, глаза сверкнули, словно у дикого зверя, и он злобно крикнул хриплым голосом:

— Введи его... сюда... немедленно... ко мне... этого наглеца!.. Он единственный посмел издеваться над моими приказаниями!.. Он жаждет моей смерти!

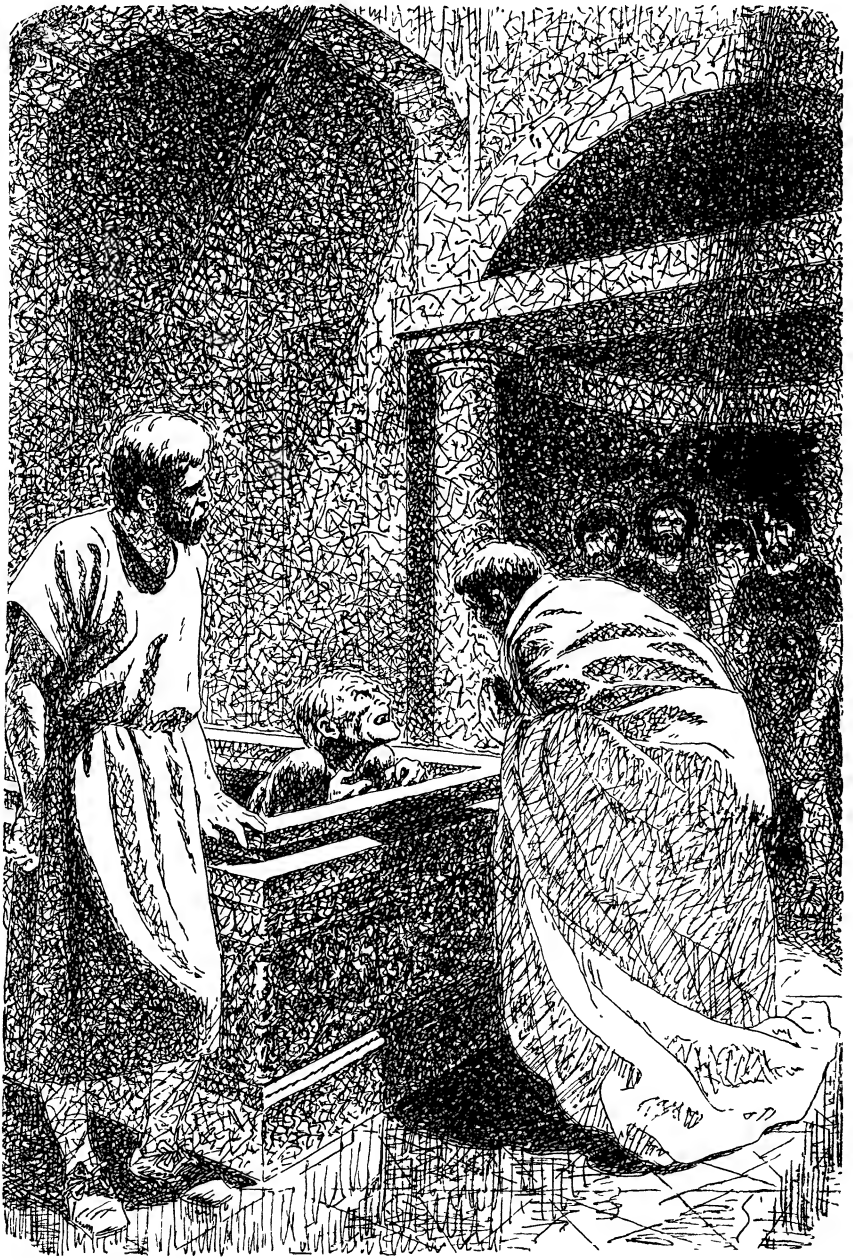
И Сулла судорожно ухватился худыми, костлявыми руками за края бассейна.

— Не подождешь ли ты до выхода из бани?..

— Нет, нет... сейчас же... сюда!.. Хочу... чтоб он был передо мной...

Хрисогон вышел и тотчас же вернулся вместе с эдилом Гранием.

Это был человек лет сорока, крепкого сложения; на его



заурядном, грубом лице отражались хитрость и лукавство. Но, войдя в баню Суллы, он побледнел, и ему никак не удавалось скрыть свой страх. Низко кланяясь и прижимая к губам руки, Граний произнес дрожащим от волнения голосом:

— Да хранят боги Суллу, счастливого и великодушного!

— А что ты говорил третьего дня, подлый негодяй? Ты высмеивал мой приговор, которым я справедливо присудил тебя к уплате штрафа в казну! Ты кричал, что не станешь платить, потому-де, что не сегодня-завтра я умру и с тебя сложат штраф!

— Нет, нет, никогда!.. Не верь такой клевете! — в ужасе бормотал Граний.

— Трус! Теперь ты трепещешь? Ты должен был трепетать тогда, когда оскорблял самого могущественного и счастливого из людей!.. Подлец!

Весь дрожа от злобы, Сулла ударил Грания по лицу. Несчастный простерся на полу около бассейна и, рыдая, молил о пощаде.

— Пощади! Смилостивись!.. Умоляю, прости меня!..— кричал он.

— Пощадить? — завопил Сулла, окончательно выйдя из себя.— Пощадить негодяя, оскорбившего меня... в то время как я мучаюсь от ужаснейшей боли? Нет, ты умрешь, презренный, здесь, сейчас же, на моих глазах!.. Я жажду насладиться твоими последними судорогами, твоим предсмертным хрипением...

Беснуясь и корчась как безумный, Сулла расчесывал обеими руками свое изъеденное болезнью тело и глухим от бешенства голосом кричал рабам:

— Эй, лентяи!.. Чего смотрите? Хватайте его, бейте!.. Забейте до смерти здесь, при мне... Задушите его...

И так как рабы, видимо, были в нерешительности, он напряг последние силы и закричал страшным голосом:

— Задушите его, или, клянусь факелами и змеями эриний, я всех вас прикажу распять!

Рабы бросились на несчастного эдила, повалили его на пол, начали бить и топтать ногами, а Сулла метался и бесновался, как дикий зверь, почуявший кровь:

— Так, так! Бейте, топчите! Душите негодяя! Ради богов ада, душите его!

Четыре раба, которые были сильнее Грания, движимые животным инстинктом самосохранения, избивали эдила. Он пытался защищаться: наносил им удары своими мощными кулаками, отчаянно отбивался и старался вырваться. Сначала рабы били его не очень сильно, только из боязни ослушаться своего господина, но постепенно, распалившись в драке, сдавили Грания с такой силой, что тот уже не в состоянии был пошевелиться.

Один из рабов стиснул ему горло обеими руками, изо всех сил нажал коленом на грудь и в несколько секунд задушил его.

Сулла, у которого глаза почти что вылезли из орбит и на губах выступила пена, наслаждался зрелищем избиения, упивался им и выкрикивал слабеющим голосом:

— Так... так... сильнее!.. Дави его... Души!

В смертную минуту Грания Сулла, изнуренный своей яростью, своими воплями и приступом бешенства, вдруг запрокинул голову и угасшим, еле слышным голосом прохрипел:

— На помощь!.. Умираю! На помощь!..

Подбежал Хрисогон, а вслед за ним и другие рабы; они подняли Суллу и посадили, прислонив плечами к стенке бассейна. Лицо бывшего диктатора было безжизненно, веки закрылись, стиснутые зубы были оскалены, губы искривились, он весь дрожал.

Хрисогон и другие рабы хлопотали вокруг него, стараясь привести в чувство, но вдруг судорога прошла по всему телу Суллы, начался приступ сильнейшего кашля, затем изо рта хлынула кровь, и, издавая глухие стоны, не открывая глаз, он умер.

Так закончил свою жизнь в возрасте шестидесяти лет этот человек, столь же великий, сколь и свирепый: высокий ум и силы души подавлялись в нем жестокостью и необузданностью. Он совершил великие деяния, но навлек на свою родину немало несчастий и, будучи прославлен как выдающийся полководец, оставил по себе память в истории как о худшем гражданине; обозревая все совершенное им в жизни, трудно решить, чего было у него больше — мужества и энергии или же коварства и притворства. Консул Гней Папирий Карбон, сторонник Мария, долго и отважно сражавшийся против Суллы, говорил, что когда он боролся против льва и лисицы, живших в душе Суллы, то наибольшего труда стоила ему борьба с лисицей.

Лишь только Сулла испустил дух, в баню вошел раб Диодор с врачом Сирмионом и еще в дверях закричал:

— Из Рима прибыл гонец с чрезвычайно важным посланием от...

Но голос его замер на полуслове: он увидел смятение окружающих, потрясенных смертью Суллы.

Сирмион вбежал в комнату, велел вынуть тело умершего из ванны и положить на ложе из подушек, приготовленное тут же на полу. Он начал исследовать тело Суллы, пощупал пульс, выслушал сердце и, грустно покачав головой, промолвил:

— Все кончено... он умер!

Раб Эвтибиды, который привез письмо от нее, последовал за Диодором в баню; он долго стоял в углу, пораженный и испуганный случившимся, и наблюдал за происходящим. Потом, при-

няв Хрисогона за самое важное в доме лицо, гонец подошел к нему и, подавая письмо, сказал:

— Прекрасная Эвтибида, моя госпожа, велела мне отдать это письмо Сулле в собственные руки, но боги пожелали наказать меня, заставив явиться сюда лишь затем, чтобы увидеть мертвым величайшего из людей. Предназначенное ему письмо я вручаю тебе, ибо, судя по слезам на твоих глазах, ты один из самых близких ему людей.

Вне себя от горя, Хрисогон машинально взял письмо и, не обратив на него никакого внимания, спрятал между туникой и рубашкой; затем вновь принялся хлопотать около своего господина и благодетеля, тело которого в это время натирали благовониями.

Весть о смерти Суллы уже успела распространиться; в доме все были подняты на ноги. Рабы сбежались в баню, и оттуда доносились теперь стоны и громкий плач. В это время появился прибывший из Рима комедиант Метробий, еще не отдышавшийся от стремительной скачки; его платье было в беспорядке, по бледному лицу текли слезы.

— Нет, нет, не может этого быть!.. Нет, нет, неправда!..— кричал он.

Увидев окоченевший труп Суллы, он разразился рыданиями и, упав на пол у бездыханного тела, стал покрывать поцелуями лицо умершего, восклицая:

— Ты умер без меня, несравненный, любимый друг мой!.. О Сулла, мой любимый, дорогой мой Сулла!..

Глава восьмая

ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ СУЛЛЫ

Слух о смерти Суллы с быстротою молнии разнесся по всей Италии. Легче себе представить, чем описать волнение, поднявшееся повсюду, и в особенности в Риме.

На первых порах все были поражены, и весть о кончине Суллы приняли молча. Затем пошли толки, расспросы — как, почему и когда произошла эта внезапная смерть.

Партия олигархов, патрициат и богачи оплакивали смерть Суллы как народное бедствие и непоправимую утрату. Испуская громкие вопли, они требовали, чтобы при похоронах герою были оказаны императорские почести, воздвигнуты статуи и храмы, как спасителю республики и полубогу.

Им вторили десять тысяч освобожденных Суллой рабов. В честь Суллы, после победы его партии, они составили трибу

из десяти тысяч корнелиев [1], и Сулла наделил их частью имущества, конфискованного у жертв проскрипций.

Эти десять тысяч человек, всем обязанные Сулле, всегда стояли за него из благодарности, из боязни, что после его смерти у них будут отняты все его щедрые даяния.

В Италии еще было более ста двадцати тысяч легионеров, сражавшихся на стороне Суллы против Митридата, а затем в гражданской войне — против Мария. Множество этих легионеров осело в городах, поддерживавших Мария: Сулла во время борьбы с Марием истреблял или изгонял коренных жителей этих городов, а легионерам раздавал имущество побежденных. Эти сто двадцать тысяч солдат боготворили своего вождя и благодетеля и готовы были с оружием в руках защищать все дарованное им Суллой.

Итак, огромная и могущественная партия приверженцев Суллы скорбела о его смерти. Зато ликовали тысячи высланных, тысячи жертв его лютости, все многочисленные и сильные сторонники Мария, открыто проклинавшие убийцу их родственников и друзей, отнявшего все их достояние. Они жаждали перемен, волновались, взывали к мщению и надеялись отомстить. К ним присоединились плебеи, ибо Сулла отнял у них многие права и немаловажные привилегии, которые они жаждали вернуть. Словом, известие о смерти бывшего диктатора вызвало в Риме брожение, толки, оживленное движение на улицах, равного которому не замечалось уже много лет.

На Форуме, в базиликах, под портиками, в храмах, в лавках, на рынках — повсюду собирались люди всех возрастов и званий и сообщали друг другу новости. Кто громко оплакивал несчастье, а кто еще громче благословлял богов, пославших смерть тирану и освободивших наконец республику от порабощения. Поднимались ссоры, раздавались взаимные угрозы, вспыхивали затаенные обиды, скрытая ненависть, разгорались страсти, возникали противоречивые желания, опасения и надежды.

Волнения разрастались и становились все серьезнее. Поскольку консулы принадлежали к двум враждующим партиям и с давних пор вели скрытую борьбу между собой, теперь страсти забурлили, противники приготовились к бою. Обе партии имели вождей, равных по своему значению и влиянию. Таким образом, гражданская война была близка и неизбежна.

Пользовавшиеся авторитетом граждане, сенаторы и консу-

---

[1] К о р н е л и и (от родового имени Суллы — Корнелий) — так назывались отпущенные на волю и получившие права гражданства рабы осужденных и погибших во время сулланских проскрипций. Через них Сулла оказывал давление на народные собрания.

лары[1] старались унять волнение, обещая провести реформы, издать новые законы, возвратить плебеям старинные привилегии, но речи их имели мало успеха: страсти все разгорались.

Многие сенаторы, граждане и отпущенники из трибы Корнелиев в знак траура не брили бороды, надели темные тоги и ходили по городу с унылым видом; женщины, тоже в трауре, с распущенными волосами, бегали из одного храма в другой, призывая покровительство богов, как будто со смертью Суллы Риму угрожала небывалая опасность.

Их осыпали упреками и насмешками враги Суллы, которые весело прогуливались по Форуму и улицам Рима, радуясь смерти диктатора.

Через три дня после смерти Суллы в центральной части города на мраморных досках и преторских альбумах[2], где вывешивались разные распоряжения, появилась следующая эпиграмма:

Диктатор Сулла гордый
Намеревался править Римом твердо.
За это сей наглец
Наказан был богами наконец.
В мечтах высокомерных
Он видел павшим Рим к его стопам.
Для мук неимоверных
За то был отдан на съеденье вшам.

В других местах можно было прочесть: «Долой законы о расходах на роскошь!» — в этих законах особенно явно проявился ненавистный всем деспотизм Суллы. На стенах зданий было написано: «Мы требуем неприкосновенности трибунов!» — эта неприкосновенность была уничтожена Суллой. Иногда появлялась надпись: «Слава Гаю Марию!»

Все эти факты и дерзкие выходки доказывали, что настроение умов резко изменилось.

Вот почему Марк Эмилий Лепид, при жизни Суллы не скрывавший своей неприязни к нему, теперь стал действовать и говорить еще более открыто, хорошо зная, что за него партия Мария и народ.

В противоположность ему другой консул, Лутаций Катулл, человек, известный своим умом и добродетелями, хотя и был связан с партией олигархов, давал понять, не прибегая к дерзким выступлениям и подстрекательствам, что он будет твердо стоять на стороне сената и закона.

В смуту, конечно, впутался и Катилина: он поддерживал хорошие отношения с Суллой, но честолюбивые помыслы, долги и

[1] Консулары — бывшие консулы.

[2] Альбум — покрытая белым гипсом доска, на которую заносились преторские распоряжения.

страсти толкали его на поиски чего-то нового,— а тут он мог извлечь многие выгоды, сам ничего не теряя. Поэтому он и его молодые пылкие друзья суетились и возбуждали недовольных, подливая масло в огонь, разжигая ненависть к олигархии.

Курион и Лентул Сура, Цетег и Габиний, Веррес и Луций Бестия, Писон и Порций Лекка старались поднять народ и, распаляя его гнев, призывали к резне, обещали мщение, возмездие, восстановление в правах.

И только Гней Помпей и Марк Красс употребили свою огромную популярность и авторитет, чтобы всеми средствами внести мир и успокоение в умы, внушить гражданам уважение к законам, призывали пожалеть родину и республику, которой новая гражданская война принесла бы только урон.

Сенат собрался в курии Гостилия, чтобы обсудить, какие почести воздать умершему триумфатору, победителю Митридата. Курия Гостилия, воздвигнутая царем Тулом Гостилием примерно за пятьсот шестьдесят лет до того времени, когда произошли описываемые нами события, находилась у подножия Палатинского холма, вход в нее был обращен в сторону комиций. В этой курии обычно собирался сенат, и, хотя она не была храмом, на нее смотрели как на священное место. Вход устроен был под портиком, напоминающим преддверие храма, сама же курия состояла из большой квадратной залы, со всех четырех сторон украшенной колоннадой, над которой тянулась галерея. В важных случаях — таких, как описываемые нами события,— на галерею разрешался доступ гражданам.

Внизу находились три ряда мраморных скамей для сенаторов, расположенных полукругом; они были покрыты шелковыми тканями или звериными шкурами, и на них лежали подушки. Напротив входной двери стояли мраморный стол и два роскошных курульных кресла, предназначавшихся для консулов; в глубине мраморного полукруга, в середине верхнего ряда скамей, было отведено место старшему из сенаторов; напротив консулов, спиной к входной двери, сидели народные трибуны [1], которые только сто лет назад получили место в курии,— прежде их кресла стояли в портике перед входом в курию, где обсуждались постановления сената.

В тот день, когда сенат должен был обсуждать вопрос о почестях, которые следовало воздать умершему Сулле, галерея курии Гостилия была переполнена. Переполнены были и комиции,

[1] Народные трибуны первоначально не имели права выступать в сенате. Им разрешено было находиться только перед входом в комиций, где происходило заседание сената. С середины IV века до н. э. трибуны пользовались уже правом входа в сенат, участия в прениях и даже созыва сенатских заседаний.

где собралось четыре или пять тысяч человек из трибы Корнелиев, с небритыми бородами и в темных туниках; они шумно восхваляли Суллу, тогда как остальные семь или восемь тысяч граждан, по большей части неимущее простонародье, ругали и проклинали его.

На скамьях сенаторов царило необычайное оживление.

Председательствовал Публий Сервилий Ватий Исаврийский, бывший консул, известный своими доблестями и мудростью. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутацию Катуллу. В скромной и благожелательной речи, ничем не задевая противников Суллы, Катулл напомнил о славных деяниях, совершенных умершим,— о Югурте, взятом в плен в Африке, об Архелае, разбитом при Херонее, о Митридате, побежденном и отогнанном в глубь Азии, о взятии Афин, о прекращении гибельного пожара гражданской войны. Катулл обратился к сенату с просьбой, чтобы такому человеку были оказаны почести, достойные его и народа римского, вождем и полководцем которого он был. В заключение Катулл предложил перевезти останки Суллы из Кум в Рим с торжественной пышностью и похоронить его на Марсовом поле.

Краткая речь Катулла была встречена шумным одобрением почти на всех сенаторских скамьях и бурным порицанием на галерее.

Когда шум постепенно утих, выступил Лепид.

— Сожалею,— сказал он,— горько сожалею, отцы сенаторы, что должен сегодня разойтись во мнениях с моим именитым сотоварищем Катуллом, в котором я первый признаю и ценю доблесть и благородство души. Но я считаю, что только по своей бесконечной доброте, а не в интересах и не к чести нашей родины он предлагает дело не только неуместное, но даже пагубное и нарушающее справедливость. Только по своему великодушию счел он возможным привести именно те доводы в пользу умершего Луция Корнелия Суллы, которые могли бы побудить высокое собрание согласиться оказать праху усопшего императорские почести и устроить царские похороны на Марсовом поле. От избытка доброты своей мой сотоварищ напомнил нам только заслуги и благородные деяния Суллы, но он позабыл — вернее, пожелал забыть — обо всех несчастьях и бедствиях, причиненных этим диктатором нашей родине, обо всем горе, всех смертях, в которых он повинен, и — скажем откровенно, без боязливого притворства и смущения,— забыл о преступлениях и пороках, запятнавших имя Суллы, о таких злодействах, что даже одного из них было бы достаточно, чтобы навсегда изгнать из нашей памяти все его доблестные деяния и одержанные им победы.

На этот раз сенаторы отозвались сильным ропотом, а гале-

рея шумно рукоплескала. Ватий Исаврийский подал знак трубачам, и звук труб призвал народ к молчанию.

— Да, будем откровенны,— продолжал свою речь Эмилий Лепид,— имя Суллы звучит зловеще для Рима. Пороками и преступлениями он так запятнал свое имя, что стоит только произнести его, как всем вспоминаются попранные законы отечества, втоптанные в грязь авторитет трибунов и достоинство консулов, деспотизм, возведенный в принцип управления, беззаконные убийства тысяч и тысяч неповинных граждан, позорные, проклятые проскрипции, грабежи, насилия, хищения и прочие деяния, совершенные по его приказу и во имя его, во вред родине, в целях уничтожения республики. И такому человеку, имя которого каждому честному гражданину напоминает только о несчастьях, человеку, который любую свою прихоть, все свои страсти возводил в закон,— такому человеку мы сегодня хотим воздать торжественные почести, устроить почетное погребение и объявить всенародный траур по нем?

Как же так? Неужели мы похороним Луция Суллу, разрушителя республики, на Марсовом поле, где высится всеми почитаемая могила Публия Валерия Публиколы [1], одного из основателей республики? Возможно ли допустить, чтобы на Марсовом поле, где по особым постановлениям сената погребены останки наиболее знаменитых и выдающихся граждан прошлых времен, покоилось тело того, кто отправил в ссылку или убил самых благородных и выдающихся граждан нашего времени? Разве мы имеем право сегодня увенчать порок тем, чем наши отцы в прошлом вознаграждали добродетель? И почему, во имя чего мы станем совершать такое дело, низкое и противное достоинству нашему и совести нашей?

Может быть, из страха перед двадцатью семью легионами, сражавшимися за дело Суллы и готовыми сейчас выступить за него, потому что он расселил их в самых богатых местностях Италии — там, где больше всего и сильнее всего проявил свою жестокость? Или же мы поступим так, испугавшись десяти тысяч подлых рабов, освобожденных им по личному произволу и деспотическому капризу, вопреки нашим обычаям и законам, и возведенных в самое почетное, уважаемое звание — звание римских граждан? Я допускаю, что вследствие упадка духа нашего

---

[1] Публий Валерий Публикола — по преданию, содействовал изгнанию рода Тарквиниев, которые своими бесчинствами вызвали в Риме восстание. Одновременно с этим было положено основание республике (510 год до н. э.). Прозвище «Публикола» («Друг народа») он получил за то, что ограждал интересы народа, способствуя своими законами упрочению республики. Римский народ почтил его память торжественным погребением на Марсовом поле.

или страха, внушаемого роковым самоуправством Суллы, при жизни его никто не решался призвать народ и сенат к соблюдению законов нашей родины, но, во имя всех богов — покровителей Рима, спрашиваю я вас, отцы сенаторы, что же теперь принуждает нас признавать справедливым несправедливого и прославлять как человека высокой души того, кто был порочным и гнусным гражданином? Декретировать воздаяние почестей, которых достойны только великие и добродетельнейшие, самому худшему и мерзкому из сынов Рима?

О, дайте, дайте мне, отцы сенаторы, возможность не отчаиваться за судьбу нашей родины, дайте мне возможность питать надежду, что мужество, добродетель, чувство собственного достоинства и совесть еще присущи этому высокому собранию! Докажите мне, что не низкий страх, а высокое чувство собственного достоинства преобладает еще в душах римских сенаторов. Отклоните этот повод для новых гражданских смут, которые разгорятся, словно факел. Отклоните, как недостойное и бесчестное, предложение о погребении Луция Корнелия Суллы на Марсовом поле с почестями, подобающими великому гражданину и знаменитому императору.

Шумными рукоплесканиями были встречены слова Марка Эмилия Лепида. Аплодисментами воздали хвалу этой прочувствованной и смелой речи не только плебеи, сидевшие на галерее, но и многие сенаторы.

Действительно, слова Марка Эмилия произвели большое впечатление на собрание и вызвали волнение, которого никак не ожидали и не желали сторонники Суллы.

Поэтому, как только утих шум после речи консула, Гней Помпей Великий поднялся со своего места. Это был один из наиболее молодых, любимых и уважаемых государственных деятелей Рима и самый популярный из всех сенаторов. В своей речи, не столь плавной и изящной — он не был красноречив,— но полной чувств, словами, идущими прямо от сердца, воздал Помпей посмертную хвалу Луцию Корнелию Сулле. Он не превозносил его блестящие подвиги и благородные деяния, не защищал и не порицал позорные действия,— он обвинял в них не Суллу, а те ненормальные условия, в которых оказалась пришедшая в расстройство республика, когда Сулла стоял во главе государства: привычное нарушение законов, бешеный разгул страстей в делах общественных и развращенность нравов как простого народа, так и патрициев.

Откровенная, простая и проникновенная речь Помпея произвела на всех, а в особенности на сенаторов, сильное впечатление. После речи Помпея все выступления были излишни, но все же против предложения консула Квинтия Лутация Катулла блестя-

ще говорил Лентул Сура и очень неудачно Квинт Курион. Предложение Катулла было поставлено на голосование. За него голосовали четыре пятых присутствовавших сенаторов, среди них были Публий Ватий Исаврийский, Гней Помпей, Марк Красс, Гай Скрибониан Курион, Гней Корнелий Долабелла, Марк Аврелий Котта, Гай Аврелий Котта, Марк Туллий Декула, Корнелий Сципион Азиатский, Луций Лициний Лукулл, Аппий Клавдий Пульхр, Кассий Варр, Луций Геллий Попликола, Квинт Гортензий и множество других людей консульского звания, известных своими деяниями и добродетелями.

Среди голосовавших против предложения Катулла были Марк Эмилий Лепид, Сергий Катилина, Лентул Сура, Луций Кассий Лонгин, Цетег, Аутроний, Варгунтей, Ливий Анний, Порций Лекка и Квинт Курион. Все они впоследствии участвовали в заговоре Катилины.

По требованию некоторых сенаторов было произведено тайное голосование. Оно дало следующие результаты: триста двадцать семь голосов за предложение Катулла и девяносто три против.

Победу одержали сторонники Суллы. После этого собрание было закрыто. Весь народ охватило крайнее возбуждение; волнение распространилось повсюду: из курии Гостилия оно перебросилось в комиции, оно проявилось в бурных манифестациях различных партий. Одни аплодировали Лутацию Катуллу, Ватию Исаврийскому, Гнею Помпею, Марку Крассу — то были явные приверженцы Суллы. Другие еще более шумно и торжественно приветствовали Марка Эмилия Лепида, Сергия Катилину и Лентула Суру, о которых стало известно, что они настойчиво боролись против предложения Катулла.

Когда из курии вышли Помпей и Лепид, горячо обсуждая только что закончившиеся прения, в толпе возбужденных людей, теснившихся у портика, чуть не произошло столкновение, которое могло стать гибельным для республики, ибо оно грозило повлечь за собой гражданскую войну, последствия которой трудно было предвидеть.

Тысячи и тысячи голосов горячо приветствовали консула Лепида. Тысячи других граждан, главным образом корнелии, в знак протеста рукоплескали Помпею Великому. Начались взаимные угрозы, слышались проклятия, оскорбления. Все это, несомненно, окончилось бы кровопролитием, если бы Помпей и Лепид, проходя через толпу под руку, оба громко не уговаривали своих сторонников. Они призывали к порядку и спокойствию, просили мирно разойтись по домам.

Эти увещевания временно потушили вспышку, но все же не оградили Рим от волнений: в тавернах, харчевнях, на самых

оживленных перекрестках, на Форуме, в базиликах, под портиками возникали ожесточенные ссоры и кровопролитные драки В эту ночь многие оплакивали своих родных — убитых и раненных в уличных схватках; самые горячие головы из народной партии делали попытки поджечь дома видных приверженцев Суллы.

В то время как в Риме разыгрывалось все это, в Кумах произошли другие, не менее важные для нашего повествования события.

Спустя несколько часов после внезапной смерти Суллы, когда на вилле бывшего диктатора царили беспорядок и волнение, из Капуи приехал человек, судя по внешности и по одежде — гладиатор. Он сразу же спросил, где можно повидать Спартака: видно, ему не терпелось встретиться с ним.

Приезжий отличался громадным ростом, геркулесовским сложением и, несомненно, обладал незаурядной физической силой, которая угадывалась с первого взгляда. Он был некрасив, почти безобразен: лицо смуглое, темное, изрытое оспой, в грубых его чертах застыло угрюмое, малопривлекательное выражение. Что-то звериное было в его черных живых глазах, горевших, однако, огнем отваги; впечатление дикости довершала густая грива каштановых волос и запущенная борода.

И все же, несмотря на такую неблагодарную внешность, этот великан сразу располагал к себе: чувствовалось, что он человек бесстрашный, грубый, но искренний, дикий — и все же исполненный благородной гордости, сквозившей в каждом его движении. Пока посланный раб бегал за Спартаком в школу гладиаторов, помещавшуюся довольно далеко от главного здания, приезжий прогуливался по аллее, которая вела от дворца Суллы к гладиаторской школе, и рассматривал чудесные статуи, в изобилии украшавшие виллу.

Не прошло и четверти часа, как раб вернулся, вслед за ним шел быстрым шагом, почти бежал, Спартак. Приезжий бросился ему навстречу. Гладиаторы обнялись и несколько раз поцеловались. Спартак заговорил первым:

— Ну, Эномай, рассказывай новости!

— Новости все старые,— ответил гладиатор приятным, звучным голосом.— По-моему, кто не бодрствует, не действует и ничего не хочет делать — негодный лентяй. Спартак, дорогой друг, пора нам взять в руки меч и поднять знамя восстания!

— Замолчи, Эномай! Клянусь богами, покровителями германцев, ты хочешь погубить наше дело!

— Напротив, я хочу, чтобы оно увенчалось великой победой...

— Горячая голова! Разве криками окажешь помощь делу?

Надо действовать осторожно, благоразумно — только так мы добьемся успеха.

— Добьемся успеха? Но когда же — вот что мне надо знать. Я хочу, чтобы это произошло при моей жизни, на моих глазах.

— Мы поднимемся, когда заговор созреет.

— Созреет? Так, значит, со временем... когда-нибудь... А знаешь, что ускоряет созревание таких плодов, как заговор и планы восстания? Смелость, мужество, дерзость! Довольно медлить! Начнем, а там, вот увидишь, все пойдет само собой!

— Выслушай меня... Наберись терпения, нетерпеливейший из смертных. Сколько человек удалось тебе привлечь за эти три месяца в школе Лентула Батиата?

— Сто тридцать.

— Сто тридцать из десяти тысяч гладиаторов!.. И тебе уже кажется, что плод наших более чем годовых усилий созрел? Или, по крайней мере, семя проросло и пустило буйные ростки, и труды наши не пропали даром?

— Как только вспыхнет восстание, к нему примкнут все гладиаторы!

— Да как же они могут примкнуть к нам, не зная, кто мы, к чему стремимся, какими средствами располагаем для осуществления нашего плана? Победа будет тем вернее, чем глубже будет доверие к нам наших товарищей.

Неистовый Эномай ничего не ответил, он обдумывал эти слова. Спартак добавил:

— Например, ты, Эномай,— ты ведь самый сильный и смелый из всех десяти тысяч гладиаторов в школе Лентула Батиата, а что ты успел сделать за это время? Как ты употребил свое влияние на гладиаторов, которым ты обязан своей силой и мужеством? Сколько человек ты собрал и привлек в наш Союз? Многим ли известна суть задуманного нами дела? Разве нет таких, кто не особенно доверяет тебе и побаивается твоего необузданного нрава и твоего легкомыслия? А многие ли знают Крикса или меня, относятся к нам с уважением и ценят нас?

— Вот именно потому, что я не такой ученый, как ты, и не умею говорить так красно и убедительно, ты и должен быть среди нас. И я добился — правда, не без труда,— чтобы наш ланиста Батиат пригласил тебя преподавателем фехтования в свою школу. Смотри, вот его письмо. Он приглашает тебя в Капую.— Эномай вытащил из-за пояса тонкий свиток папируса и подал его Спартаку.

У Спартака загорелись глаза; он схватил свиток, сорвал печать дрожащей от волнения рукой и стал читать письмо, в котором ланиста Батиат писал, что, наслышавшись об искусстве и доблести Спартака, он, ланиста, приглашает его в свою школу

гладиаторов в Капую для занятий с учениками, а в вознаграждение предлагает превосходный стол и большое жалованье.

— Так почему же ты, безумный Эномай, не дал мне письмо сразу, как приехал, а столько времени потратил на разговоры? Ведь именно этого я и ждал, хотя боялся надеяться. Там, там, среди десяти тысяч товарищей по несчастью, мое место! — восклицал гладиатор, сияя от радости и полный энтузиазма.— Там я постепенно переговорю с каждым в отдельности и со всеми вместе, зажгу в них ту веру, которая согревает мою грудь. Оттуда в назначенный день по условному знаку выступит армия в десять тысяч бойцов! Десять тысяч рабов разобьют свои цепи и бросят звенья этих цепей в лицо угнетателям! Из железа позорных своих цепей десять тысяч рабов выкуют клинки непобедимых мечей!.. Ах, наконец-то, наконец-то я заберусь в гнездо и отточу зубы змеенышам, которые будут жалить крылья дерзких и гордых римских орлов!

И, не помня себя от радости, рудиарий еще раз перечитал письмо Батиата, а затем спрятал его на груди. Он то обнимал товарища, то быстрым шагом ходил по аллее, то возвращался к Эномаю и, словно помешанный, бормотал какие-то бессвязные слова.

Эномай смотрел на него, не зная, дивиться ему или радоваться, и, когда Спартак немного успокоился, сказал:

— Я счастлив, что ты так доволен. А как обрадуются сто тридцать наших товарищей, вступивших в Союз! Они с нетерпением ждут тебя и надеются, что ты совершишь великие дела.

— Это плохо, что они ждут слишком многого...

— Вот ты переедешь к нам и успокоишь наших буянов.

— Но ведь это самые твои близкие друзья и, значит, такие же неистовые, как и ты... Да, да, понимаю. Действительно, мое пребывание в Капуе будет полезно, а то они погубят все дело. Я удержу их от опрометчивых вспышек.

— Спартак, клянусь, я предан тебе всей душой, я буду слушаться тебя и во всем буду тебе верным помощником.

Оба умолкли.

Эномай пристально смотрел на Спартака, и обычно суровый взгляд его выражал нежность и любовь. Вдруг он воскликнул·

— А знаешь, Спартак, с тех пор как мы встретились впервые — больше месяца назад, на собрании в Путеолах,— ты стал красивее и как-то женственнее... Прости меня, я не то хотел сказать... просто ты стал мягче... слово «женственнее» к тебе не подходит...

И тут Эномай вдруг умолк, потому что Спартак сразу переменился в лице, побледнел и, проведя рукой по лбу, тихо сказал несколько слов — так тихо, что гигант Эномай не расслышал их:

— Великие боги! А как же она?..

И несчастный рудиарий, которого любовь к свободе и братская любовь к угнетенным, жажда возмездия и надежда на победу привели в необычайное волнение, вдруг угас, поник головой и стоял молча, отдавшись во власть воспоминаний.

Молчание длилось долго.

Спартак, погруженный в горестные мысли, не проронил ни слова; в душе у него шла мучительная борьба, грудь тяжко вздымалась. Эномай, не нарушая его размышлений, стоял, скрестив на груди руки, и с сочувствием смотрел на страдальческое лицо рудиария.

Наконец он не выдержал и, стараясь не задеть товарища, сказал мягко и сердечно:

— Значит, ты покидаешь нас, Спартак?

— Нет, нет, никогда! Никогда!..— воскликнул, весь дрожа, фракиец, подняв на Эномая свои ясные голубые глаза, на которых выступили слезы.— Скорее я покину сестру, скорее покину...— и, запнувшись, продолжал: — Все я брошу, все... но никогда не оставлю дела угнетенных, всеми покинутых рабов... Никогда!.. Никогда!..— И, помолчав, добавил: — Не обращай на меня внимания, Эномай... Иди за мной. Хотя сегодня в доме Суллы день глубочайшего траура, на кухне мы найдем, чем тебе подкрепиться. Но только смотри: ни слова о нашем Союзе, ни одной вспышки гнева, ни одного проклятия!..

Сказав это, Спартак повел гладиатора ко дворцу.

* * *

На тринадцатый день после опубликования решения сената о похоронах Луция Корнелия Суллы за счет государства и о воздании ему весьма торжественных почестей, похоронное шествие, сопровождавшее останки Суллы, двинулось от виллы диктатора по направлению к Риму, городу на семи холмах.

Почтить усопшего съехались люди со всех концов Италии. Когда погребальная колесница тронулась из Кум, впереди нее и за ней шли, кроме консула Лутация Катулла, двухсот сенаторов и такого же количества римских всадников, все патриции из Кум, Капуи, Байи, Геркуланума, Неаполя, Помпеи, Путеол, Литерна и других городов и деревень Кампаньи. В процессии участвовали представители всех муниципий и городов Италии, двадцать четыре ликтора, консульские знамена, орлы всех легионов, сражавшихся за Суллу, и свыше пятидесяти тысяч легионеров, добровольно явившихся в полном вооружении, чтобы отдать последний долг полководцу. Несколько тысяч отпущенников из трибы корнелиев, прибывших из Рима, шли за колесницей в

траурных одеждах, за ними — многочисленные отряды трубачей, флейтистов и кифаристов; тысячи матрон в серых стóлах и в строгом трауре; нескончаемые толпы людей, прибывших в Кумы из разных местностей Италии.

На роскошной колеснице, которую везли шесть словно выточенных из черного дерева коней, покоилось набальзамированное и умащенное благовониями тело диктатора, завернутое в золотисто-багряную императорскую мантию — палудамент [1]. Первыми шли за колесницей Фавст и Фавста, дети Суллы от Цецилии Метеллы, Валерия, Гортензий, Публий и Сервий Сулла, дети Сервия Суллы, брата усопшего; за ними — близкие родственники, одетые в темные тоги, отпущенники, великое множество друзей и знакомых,— все они старательно показывали свое безутешное горе и скорбь.

Десять дней медленно двигалось похоронное шествие. В каждом селении, в каждом городе к нему присоединялись люди и, умножая его ряды, придавали процессии еще большую торжественность и невиданную пышность.

Около десяти тысяч римлян вышли из Рима и двинулись по Аппиевой дороге навстречу похоронному шествию, провожавшему останки Суллы.

Когда кортеж достиг Капенских ворот, десигнатор — то есть распорядитель, которому, по указанию сената, была доверена организация похорон Суллы,— принялся наводить порядок в толпе, чтобы усилить великолепие церемонии. Часа два он размещал народ. И наконец шествие вступило в город.

Впереди всех шел распорядитель похорон в сопровождении двенадцати ликторов в темно-серых тогах. Затем шли музыканты, игравшие на длинных погребальных флейтах. За ними следовало свыше пятисот плакальщиц в траурных одеждах; они плакали и вопили за определенную почасовую плату, рвали на себе волосы и громко славили деяния и доблести усопшего.

Так как распорядитель предупредил плакальщиц, что труд их будет щедро оплачен за счет государственной казны, то слезы и плач по Сулле казались вполне искренними, исходившими от сердца, а добродетели бывшего диктатора Рима, если послушать плакальщиц, были так велики, что все достоинства Камилла и Цинцината, Фабриция и Фабия Максима, Катона и Сципиона, вместе взятые, не могли с ними сравниться.

За плакальщицами следовали музыканты, оглашая воздух печальными мелодиями. За музыкантами шла колонна, состоявшая более чем из двух тысяч легионеров, граждан и корнелиев, которые несли свыше двух тысяч спешно изготовленных золотых

[1] Палудамент — военный плащ полководца.

венков. Это были дары городов и легионов, сражавшихся на стороне Суллы, а также дары его друзей.

Затем следовал виктимарий[1], который должен был зарезать у погребального костра любимейших животных усопшего. За виктимарием шли рабы, неся восковые изображения предков Луция Корнелия Суллы, в том числе и изображение Руфина Суллы, прадеда диктатора; он дважды избирался консулом, во время нашествия Пирра[2] на Италию. Это был честный и храбрый человек, и тем не менее по решению цензора его изгнали из сената, так как, вопреки действовавшим тогда законам, он имел свыше десяти фунтов серебра в различных изделиях. Кроме изображений предков, приближенные Суллы несли трофеи его побед в Греции, в Азии, в италийских войнах — венки, ожерелья, боевые награды, заслуженные им.

За ними следовала другая группа музыкантов, а после них шел Метробий, загримированный так, чтобы возможно больше походить на своего умершего друга; на нем была одежда покойного, его знаки отличия. Актеру было поручено изображать Суллу таким, каким он был в жизни.

Сразу же за Метробием, на которого во все глаза смотрели толпы людей, живой изгородью стоявших вдоль дороги, самые молодые и сильные сенаторы попеременно несли на плечах золотые носилки, украшенные драгоценными камнями, на которых покоилось тело Луция Корнелия Суллы, все покрытое богатейшими императорскими знаками отличия. За носилками шли жена, дети, племянники и другие близкие родственники и друзья покойного, все в трауре и с виду глубоко удрученные скорбью.

Вслед за родственниками тело усопшего провожали все коллегии жрецов: сначала шли жрецы коллегии авгуров: в руках у каждого был загнутый посох — отличительный знак авгуров; за ними следовала коллегия фламинов; впереди всех шел диал — жрец Юпитера, затем марциал — жрец Марса, квиринал — жрец Ромула, фламины Флоры и Помоны и другие, все в торжественном облачении и в головных уборах, похожих на митру.

За фламинами шли двенадцать салиев[3] — жрецов «Марса, шествующего в бой», в расшитых туниках, стянутых в талии широким военным бронзовым поясом, поверх была накинута роскошная пурпуровая трабея[4], на левом боку висел меч, в левой руке они держали щит, в правой — железный жезл; время от

---

[1] Виктимарий — помощник жреца при жертвоприношении.

[2] Пирр — царь Эпира, одержавший победу над римлянами в 180 году до н. э., но потерпевший поражение от них при Беневенте в 275 году до н. э. и погибший при осаде Аргоса в 272 году до н. э.

[3] Салии — коллегия жрецов Марса, основанная в древности.

[4] Трабея — парадная одежда: белый плащ с пурпурными полосами.

времени они ударяли им по священным щитам, которые несли на шесте их служители.

Позади салиев шли гаруспики — гадатели по внутренностям животных; фециалы — жрецы, объявляющие войну и заключающие мир; арвалы [1] — жрецы богини Цереры; гадатели по внутренностям жертвы, которые несли ножи из слоновой кости — символ их действия во время жертвоприношения; благородная, высокочтимая коллегия целомудренных, непорочных весталок в коротких льняных туниках, поверх которых была надета стола, и в белых покрывалах с пурпуровой каймой, спускавшихся с головы на плечи; лоб украшала белая повязка, придерживающая собранные на затылке волосы.

За весталками следовало семь жрецов — эпулонов, приготовлявших жертвенные пиршества для двенадцати богов Согласия. В честь этих богов как во время всенародных празднеств, так и в дни общественных бедствий устраивались роскошные пиры. Изысканные кушанья съедались потом, как об этом легко догадаться, самими жрецами, так как статуи двенадцати богов Согласия вряд ли могли жевать пищу своими мраморными челюстями.

Затем следовали децемвиры сивиллинных книг и тридцать курионов — служителей культа, избранных по одному от каждой из тридцати курий. Кортеж жрецов замыкали двенадцать понтификов, блиставших пышностью своих латиклавий, во главе с верховным жрецом. Позади жрецов шел сенат, всадники, матроны, самые знатные патрицианки и горожанки, бесчисленная толпа граждан; за ними следовали слуги и рабы покойного; они вели его боевого коня, а также других его любимых коней и собак, которых полагалось принести в жертву во время сожжения останков.

В конце кортежа шли легионы, сражавшиеся под началом Суллы,— войско весьма внушительное, соблюдавшее строгий порядок и дисциплину. Это было приятное и вместе с тем устрашающее зрелище для бесконечного количества плебеев, заполнявших все улицы, по которым двигалась похоронная процессия; большинство из них были исполнены злобы и ненависти.

Миновав Капенские ворота, шествие проследовало по длинной и широкой улице того же названия, свернуло на улицу, ведущую к храму Юпитера Статора, и по Священной улице, пройдя арку, воздвигнутую в честь Фабия, победителя аллоброгов, вступило на Форум, где в курии, как раз напротив ростральной трибуны, был установлен саркофаг Суллы.

Сенат первым разразился горестными воплями, затем всад-

[1] Арвалы — «арвальские (пашенные) братья», коллегия из двенадцати жрецов, которые в середине мая совершали обход городской черты Рима, вознося моление богам об обильном урожае.

ники, потом войско и последним — народ. Так как Фавст не достиг еще зрелого возраста, не был облачен в тогу мужа и, согласно обычаю, не мог поэтому произнести похвальное надгробное слово, то первым говорил Публий Сервилий Ватий Исаврийский, потом консул Катулл, а последним — Помпей Великий. Все они вспоминали доблесть и высокие деяния усопшего и говорили о нем только самое похвальное под аккомпанемент плача и стенаний тех, кто по какой-либо причине при жизни Суллы был сторонником его самого и партии олигархов и опасался, что теперь, после смерти диктатора, эта партия придет в упадок.

Затем в прежнем порядке кортеж двинулся дальше, к Марсову полю: пройдя через Мамертинский переулок, вышел на Ратуменскую улицу, а затем по широкой и нескончаемой улице Лата, вдоль которой были специально воздвигнуты арки, увитые гирляндами из ветвей мирта и кипариса, дошел до середины обширного Марсова поля, где и должно было произойти сожжение останков Суллы.

Все было уже приготовлено для погребальной церемонии. Носилки опустили на землю рядом с костром. Подошла Валерия, закрыла покойнику глаза и, согласно обычаю, вложила ему в рот медную монету, которой он должен был уплатить Харону за перевоз через волны Ахерона; затем вдова поцеловала умершего в губы и, по обычаю, произнесла: «Прощай! В порядке, предначертанном природой, и мы все последуем за тобой». Музыканты заиграли печальные мелодии, и под звуки музыки виктимарии принесли в жертву множество животных, кровь которых, смешанную с молоком, медом и вином, разбрызгали по земле вокруг костра.

После всего этого провожавшие начали лить в костер благовонные масла, бросать различные ароматические вещества, неисчислимое количество венков из цветов и лавров, так что они покрыли весь костер и легли широким слоем вокруг него.

И тогда начался бой гладиаторов из школы Суллы; не участвовал в нем лишь один Арторикс: по просьбе Спартака Валерия приказала ему остаться в Кумах. Очень скоро все гладиаторы пали мертвыми, так как в погребальных сражениях нельзя было даровать жизнь ни одному из этих несчастных.

Когда погребальные обряды были закончены, Помпей Великий взял факел из рук либитинария и, чтобы воздать наивысшую почесть умершему другу, сам пожелал поджечь погребальный костер, на котором покоились останки Суллы, завернутые в асбестовую простыню, не поддающуюся действию огня.

Гул рукоплесканий прокатился по всему Марсову полю в ответ на эту дань уважения покойному, принесенную молодым триумфатором, покорителем Африки. Пламя вспыхнуло в одно

мгновение и, быстро распространившись, охватило костер извивающимися огненными языками, окутав его облаком густого благовонного дыма.

Полчаса спустя от тела того, кто на протяжении стольких лет приводил в трепет Рим и Италию и чье имя прогремело по всему миру, осталась лишь кучка костей и пепла. С горестными слезами и причитаниями плакальщицы тщательно собрали их и сложили в бронзовую урну с богатыми чеканными украшениями и чудесными инкрустациями.

Урна с прахом диктатора была временно установлена в храме, который Сулла несколько лет назад велел построить в том самом месте близ Эсквилинских ворот, где он победил сторонников Гая Мария. Он посвятил этот храм Геркулесу Победителю. Урна должна была находиться там впредь до перенесения ее в роскошную гробницу, сооруженную, согласно декрету сената, на государственный счет, в том месте Марсова поля, где был зажжен погребальный костер.

Пока плакальщицы собирали в урну прах Суллы, виктимарии набрали двести двадцать корзин ароматических веществ, оставшихся от огромного количества благовоний, принесенных женщинами на Марсово поле; и в память бывшего диктатора вылепили из душистых смол и воска две статуи: одна изображала Суллу, другая — ликтора.

Спартак как ланиста, находившийся на службе у Суллы, тоже должен был надеть серую тунику и серый плащ, чтобы участвовать в шествии и присутствовать при сражении гладиаторов. С трудом сдерживая негодование, смотрел он, как убивали друг друга его ученики, которых он не только обучил искусству фехтования, но и посвятил в тайны Союза угнетенных. Когда закончилась церемония похорон, он вздохнул с облегчением: теперь он мог идти, куда ему заблагорассудится. Пользуясь своей геркулесовой силой, он пробился сквозь толпу и двинулся прочь от Марсова поля. Это стоило ему немалого труда, так как на похоронах присутствовали сотни тысяч людей; словно волны морские, они шумели, ревели, вливались в улицу Лата и двигались к городу.

Солнце зашло, уже наступили сумерки, и над Вечным городом спускалась ночь, но на горизонте еще горели огнем багровые, точно раскаленные, облака, похожие на зарево чудовищного пожара, охватившего вершины холмов, обступивших Рим.

Многотысячная толпа двигалась медленно, более плотными рядами, чем воинский легион, шествовавший сомкнутым строем, и в гуще ее слышались самые разнообразные толки и отзывы о торжественных похоронах и о самом Сулле, которого почтили такими похоронами.

По сравнению с остальными Спартак шел очень быстро; на каждом шагу он оказывался рядом с новыми людьми и слышал все время самые противоречивые мнения по поводу событий, занимавших в этот день все умы.

— Как тебе кажется, долго простоит урна с его прахом в храме Геркулеса Победителя?

— Надеюсь, что, к чести Рима и народа нашего, разгневанная толпа вскоре разобьет вдребезги эту урну, а прах развеет по ветру.

— Наоборот, будем надеяться, что для блага Рима таких, как вы, головорезов-марианцев скоро передушат в Туллиане.

А в другом месте слышался такой разговор:

— Говорил я тебе — несчастный Рим, все мы несчастные! Горе нам! При жизни Суллы, даже в его отсутствие, никто не смел и помыслить о переменах.

— Зато теперь... Да не допустит этого Юпитер!.. Несчастные законы!..

— Законы? Какие законы?.. Послушай-ка, Вентудей, вот этот называет законами надругательство Суллы над всеми человеческими правами и повелениями богов!..

— Законы? Кто говорит о законах? А знаете ли вы, что такое закон?.. Паутина! В ее тенетах запутывается мошка, а осы разрывают их.

— Верно, Вентудей!

— Браво, Вентудей!

— Клянусь кузницей Вулкана! Я спрашиваю: если тому, кто ежедневно осквернял и грязнил свое имя, оказывают царские почести, что же будет, если вдруг завтра — да убережет нас от этого Юпитер! — умрет Помпей Великий?

— Послушай, как этот кузнец корчит из себя перипатетика!..

— Да он за Мария, этот поклонник Вулкана...

— Ну, а знаешь ли ты, что произошло бы, если б умер Помпей?

— Его сбросили бы с Гемоний.

— И правильно поступили бы!..

— Зачем же нас учат быть добродетельными и честными, если только пороку обеспечено богатство и могущество в жизни, а после смерти — обожествление?

— Ты прав! Добродетель пусть отправляется в питейный дом, там ей место!

— Справедливость надо сбросить с Тарпейской скалы!

— К старьевщику всю эту ветошь!

— В пропасть все эти достоинства и могущество!

— Да здравствует Сулла!

— Да здравствует свобода, сестра палача!

— Да здравствуют во веки веков незыблемые Законы двенадцати таблиц! Они теперь стали похожи на плащ Диогена: патрицианские мечи понаделали в них столько дыр, что теперь уж ничего не разберешь на этих скрижалях!

— Хороши законы! Понимай их и толкуй как кому вздумается,— не уступишь любому законоведу!

Остроты и злые насмешки, словно туча дротиков, непрерывно сыпались на олигархов. Спартак все время слышал их, пока не дошел до Ратуменских ворот, где столпились провожавшие; когда кортеж спускался к Марсову полю, они были в хвосте, а теперь, по возвращении в город, оказались впереди. В большинстве своем это были плебеи, пришедшие на похороны из любопытства. Они ненавидели Суллу.

Усердно работая локтями, Спартак одним из первых очутился у крепостного вала и вошел через заставу в город. Рим как будто вымер — так безлюдны, пустынны были улицы, обычно очень оживленные в этот час. Спартак быстро дошел до гладиаторской школы Юлия Рабеция, где он назначил свидание Криксу, с которым уже виделся мельком утром за Капенскими воротами.

Беседа между двумя рудиариями была задушевная, долгая и очень оживленная. Крикс, так же как и Спартак, возмущался убийством гладиаторов у костра Суллы; фракиец все еще не мог прийти в себя от этой бойни, на которой присутствовал поневоле.

Крикс торопил Спартака принять предложение Лентула Батиата и ехать в Капую, в его школу, для того чтобы в возможно более короткий срок завербовать как можно больше приверженцев их делу.

— Теперь успех нашего замысла,— сказал галл в заключение своей грубоватой, но горячей речи,— всецело зависит от тебя: все в твоих руках, Спартак; если душа твоя полна другим чувством, более сильным, чем желание освободить рабов, то вся надежда увидеть торжество нашего великого дела для нас погибнет навсегда.

При этих словах Спартак побледнел и, глубоко вздохнув, сказал:

— Каким бы сильным чувством ни была полна моя душа, Крикс, ничто, слышишь ты, ничто в мире не отвлечет меня от служения великому делу. Ничто даже на мгновение не заставит меня свернуть с пути, избранного мною, ничто и никто не заставит меня отказаться от моих намерений!

Они еще долго беседовали друг с другом. Договорившись обо всем, Спартак простился с Криксом и, выйдя из школы Юлия Рабеция, направился к дому наследников Суллы, быстро шагая

по улицам, которые уже заполняла толпа людей, возвращавшихся с похорон.

Спартак переступил порог дома, привратник сказал ему, что Мирца с нетерпением ждет его в комнате рядом с конклавом, куда вдова Суллы уединилась от непрошеных взглядов и назойливых соболезнований.

Сердце Спартака забилось, словно от предчувствия какого-то несчастья; он побежал в апартаменты Валерии и встретил там свою сестру, которая, завидев его, воскликнула:

— Наконец-то! Госпожа ожидает тебя уже больше часа!

Она доложила о нем Валерии и по ее приказу ввела Спартака в конклав.

Валерия, очень бледная, грустная, в темной столе и серой вуали, была особенно прекрасна.

— Спартак!.. Спартак мой!..— произнесла она, вставая с ложа и сделав несколько шагов к нему.— Любишь ли ты меня? Все ли еще ты любишь меня больше всего на свете?

Спартак, поглощенный иными, мучительными мыслями, которые в последние дни тревожили его, раздираемый борьбой противоречивых чувств, был поражен этим неожиданным вопросом и ответил не сразу.

— Почему, Валерия, ты спрашиваешь меня? Я чем-нибудь огорчил тебя? Дал тебе повод усомниться в моей нежности, в моем благоговении, в моей преданности тебе? Ведь ты заменила мне мать, которой больше нет в живых, мою несчастную жену, погибшую в неволе под плетью надсмотрщика. Ты мне дороже всего в мире. Ты единственная любовь моя; в моем сердце я воздвиг тебе алтарь.

— Ах! — радостно воскликнула Валерия, и глаза ее засияли.— Вот так я всегда мечтала быть любимой. Так долго и тщетно мечтала. И это правда? Спартак, ты любишь меня так, как говоришь? Но всегда ли ты будешь меня любить?

— Да, да! Всегда! — произнес дрожащим от волнения голосом фракиец. Потом, опустившись на колени, он сжал руки Валерии в своих руках и, покрывая их поцелуями, говорил: — Всегда буду поклоняться тебе, моя богиня, если даже... когда даже...

Он больше не мог произнести ни слова и разрыдался.

— Что с тобой? Что случилось? Почему ты плачешь?.. Спартак... скажи мне... скажи мне,— прерывающимся от тревоги голосом повторяла Валерия, всматриваясь в глаза рудиария, и целовала его в лоб, прижимала к своему сердцу.

В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.

— Встань,— шепнула ему Валерия; и, подавив, насколько могла, свое волнение и придав твердость голосу, спросила: — Что тебе, Мирца?

— Пришел Гортензий, он спрашивает тебя,— ответила из-за двери рабыня.

— Уже? — воскликнула Валерия и тут же прибавила: — Пусть он подождет минутку, попроси его подождать немного...

— Хорошо, госпожа...

Валерия прислушалась и, как только затихли шаги Мирцы, торопливо произнесла:

— Вот он уже пришел... поэтому-то я так тревожилась, ожидая тебя... поэтому я и спросила, готов ли ты всем пожертвовать ради меня... Ведь ему... Гортензию... все известно... Он знает, что мы любим друг друга...

— Не может быть!.. Как же?.. Откуда?..— взволнованно воскликнул Спартак.

— Молчи!.. Я ничего не знаю... Сегодня он обронил только несколько слов об этом... обещал прийти вечером... Спрячься... здесь, в этой комнате,— указала Валерия, приподняв занавес на одной из дверей,— тебя никто не увидит, а ты все услышишь... и тогда ты узнаешь, как любит тебя Валерия.

Спрятав рудиария в соседней комнате, она прибавила шепотом:

— Что бы ни случилось — ни слова, ни движения. Слышишь? Не выдай себя, пока я не позову.

Опустив портьеру, она приложила обе руки к сердцу, как будто хотела заглушить его биение, и села на ложе; минуту спустя, овладев собою, она непринужденно и спокойно, своим обычным голосом позвала рабыню:

— Мирца!

Девушка показалась на пороге.

— Я велела тебе,— обратилась к ней матрона,— передать Гортензию, что я одна в своем конклаве. Ты это исполнила?

— Я все передала, как ты приказала.

— Хорошо, позови его.

Через минуту знаменитый оратор с небритой пятнадцать дней бородой, в серой тунике и темного цвета тоге, нахмурив брови, важно вошел в конклав своей сестры.

— Привет тебе, милый Гортензий,— сказала Валерия.

— Привет тебе, сестра,— ответил Гортензий с явным неудовольствием. И, оборвав свою речь, он надолго погрузился в унылое молчание.

— Садись и не гневайся, дорогой брат, говори со мной искренне и откровенно.

— Меня постигло огромное горе — смерть нашего любимого Суллы, но, видимо, этого было мало: на меня обрушилось еще другое, неожиданное, незаслуженное несчастье — мне пришлось узнать, что дочь моей матери, забыв уважение к себе са-

мой, к роду Мессала, покрыла себя позором, полюбив презренного гладиатора. О Валерия, сестра моя, что ты наделала!..

— Ты порицаешь меня, Гортензий, и слова твои очень обидны. Но прежде чем защищаться, я хочу спросить тебя, ибо имею право это знать: откуда исходит обвинение?

Гортензий поднял голову, потер лоб рукой и отрывисто ответил:

— Из многих мест... Через шесть или семь дней после смерти Суллы Хрисогон передал мне вот это письмо.

Гортензий подал Валерии измятый папирус. Она тотчас развернула его и прочла:

Луцию Корнелию Сулле,

Императору, Диктатору, Счастливому, Любимцу Венеры, дружеский привет.

Теперь вместо обычных слов: «Берегись собаки!» — ты мог бы написать на двери твоего дома: «Берегись змеи!», вернее: «Берегись змей!» — так как не одна, а две змеи устроили себе гнездо под твоей крышей: Валерия и Спартак.

Не поддавайся первому порыву гнева, проследи за ними, и в ночное время, в час пения петухов, ты убедишься в том, что твое имя оскверняют и позорят, издеваются над самым могущественным в мире человеком, внушающим всем страх и трепет.

Да сохранят тебя боги на долгие годы и избавят от подобных несчастий.

Вся кровь хлынула в лицо Валерии при первых же строчках письма; когда же она прочла его до конца, восковая бледность разлилась по ее лицу.

— От кого Хрисогон получил это письмо? — спросила она глухим голосом и стиснула зубы.

— К сожалению, он никак не мог вспомнить, кто ему передал это письмо и от кого оно было. Помнит только, что раб, доставивший письмо, прибыл в Кумы через несколько минут после смерти Суллы. Хрисогон был тогда в таком отчаянии и так взволнован, что, получив письмо, машинально взял его и только через шесть дней прочел. Он решительно не помнит, как и от кого получил письмо.

— Я не стану убеждать тебя,— после минутного молчания спокойно сказала Валерия,— что безыменный донос не доказательство и на основании его ты, Гортензий, брат мой, не можешь обвинять меня, Валерию Мессалу, вдову Суллы...

— Есть еще иное доказательство: Метробий, безутешно горюя о смерти своего друга и считая священным долгом отомстить за поруганную его честь, через десять или двенадцать дней после смерти Луция пришел ко мне и рассказал о твоей любви к Спартаку. Он привел рабыню, которая спрятала Метробия в комнате, смежной с твоим конклавом во дворце в Кумах, и там Метробий собственными своими глазами видел, как Спартак входил к тебе поздно ночью...

— Довольно, довольно! — вскрикнула Валерия, меняясь в лице при мысли, что тайна ее любви стала известна такому низкому существу, как Метробий.— Довольно, Гортензий! И так как ты уже высказал свое порицание, то теперь выслушай, буду говорить я.

Она встала, скрестила руки на груди и, глядя сверкающими глазами на брата и гордо подняв голову, сказала:

— Да, я люблю Спартака, ну и что же? Да, люблю, люблю его страстно!.. Ну и что же?

— О великие боги, великие боги! — воскликнул совсем растерявшийся Гортензий и, вскочив, схватился в отчаянии за голову.

— Оставь в покое богов, они тебя не слышат. Лучше выслушай то, что буду говорить я.

— Говори...

— Да, я любила, люблю и буду любить Спартака.

— Валерия, замолчи! — прервал ее Гортензий, гневно глядя на нее.

— Да, люблю, люблю его и буду вечно любить,— настойчиво и вызывающе повторяла Валерия.— И я спрашиваю тебя: что ж из этого?

— Да защитит тебя Юпитер, мне просто страшно за тебя, Валерия, ты совсем обезумела!..

— Нет, я всего лишь женщина, которая решилась нарушить и нарушит ваши деспотические законы, отбросит все ваши бессмысленные предрассудки, сорвет все нестерпимые золотые цепи, в которые вы, победители мира, заковали женщин! Вот чего я хочу и уверяю тебя, брат мой, что стремление к этому вовсе не свидетельствует о потере разума, о помрачении рассудка, а может быть, как раз наоборот: это признак просветления разума. Ах, так, значит, меня обвиняет Метробий, этот мерзкий шут и паяц! Он меня обвиняет! Воистину изумительно! Я не понимаю, как ты, Гортензий, придавая такой вес обвинениям Метробия, не предложишь сенату избрать его цензором нравов. Он был бы цензором, вполне достойным римских нравов. Метробий, охраняющий целомудренных весталок! Волк, сопровождающий ягнят на пастбище! Только этого недостает вашему гнусному Риму, где Сулле, осквернившему город убийствами, воздвигают статуи

и храмы и где под сенью Законов двенадцати таблиц ему было дозволено на моих глазах, рядом с моими покоями проводить все ночи в безобразных оргиях. О, законы нашего отечества! Как вы справедливы и как широко можно вас толковать!.. Эти законы мне тоже кое-что разрешали: мне предоставлялось право оставаться беспомощной свидетельницей всего происходящего и даже проливать слезы, но тайком, в подушки вдовьего ложа, и, наконец, право быть отвергнутой в любой день по той единственной причине, что я не дала наследника своему господину и повелителю!

Лицо Валерии горело от возбуждения, она говорила с возрастающим жаром и наконец, умолкнув на минуту, повернулась к Гортензию, изумленно смотревшему на нее широко раскрытыми, неподвижными глазами. Затем она продолжала:

— Да, конечно, перед лицом таких законов я нарушила свой долг... Я знаю... признаю это... Но я не собираюсь ни защищаться, ни просить прощения: я нарушила свой долг тем, что не имела мужества уйти из дома Суллы со Спартаком. Я не могу считать себя преступной за то, что полюбила этого человека, я горжусь моей любовью. У него благородное и великодушное сердце и ум, достойный великих дел; если бы он победил во Фракии римские легионы, им восхищались бы больше, чем Суллой и Марием, боялись бы больше Ганнибала и Митридата!.. Но он был побежден, и вы сделали из него гладиатора, потому что вы в течение многих веков привыкли обращаться с побежденными народами по правилу «горе побежденным»! Вы считаете, что боги создали людей для вашей забавы. И только потому, что вы сделали из Спартака гладиатора, потому, что вы так назвали его, вы думаете, что изменили его природу. Напрасно вы полагаете, что достаточно вашего повеления, чтобы вселить отвагу и смелость в душу труса и разум — в голову безумца, а человека с высокой душой и умом обратить в безмозглого барана!..

— Итак, ты восстаешь против законов нашей родины, против наших обычаев, против всякой благопристойности и приличия? — изумленно и грустно спросил великий оратор.

— Да, да, да... Восстаю, восстаю... отказываюсь от римского гражданства, от своего имени, от своего рода... Я ничего ни от кого не требую... Уеду жить на уединенную виллу, в какую-нибудь далекую провинцию, или же во Фракию, в Родопские горы, со Спартаком, и вы, все мои родственники, больше не услышите обо мне... Только бы быть свободной, быть самой собою, свободно распоряжаться своим сердцем, своими привязанностями.

Обессилев от волнения, от наплыва бурных чувств, изливавшихся в гневных словах, Валерия побледнела и упала на ложе в полном изнеможении.

Гортензий долго смотрел с состраданием на сестру, а затем ласково сказал ей:

— Я вижу, дорогая Валерия, что ты сейчас себя плохо чувствуешь.

— Я? — воскликнула матрона, быстро поднявшись.— Нет, нет, я чувствую себя совсем хорошо, я...

— Нет, Валерия, поверь мне, ты нездорова, право, нездорова... Ты так взволнована, возбуждена. Это лишает тебя трезвой ясности ума, необходимой при разговоре о таких серьезных вещах.

— Но я...

— Отложим нашу беседу до завтра, до послезавтра, до более подходящего момента.

— Но предупреждаю тебя, я все решила бесповоротно.

— Хорошо, хорошо... Мы еще об этом поговорим... когда увидимся... А пока я молю богов, чтобы они не лишили тебя своего покровительства, и прощаюсь с тобой. Привет тебе, Валерия, привет!

— Привет тебе, Гортензий.

Оратор вышел из конклава. Валерия осталась одна, погруженная в глубокое, печальное раздумье. От этих грустных мыслей ее отвлек Спартак. Войдя в конклав, он бросился к ногам Валерии и в бессвязных словах благодарил ее за любовь к нему и за выраженные ею чувства.

Вдруг он вздрогнул, вырвался из объятий Валерии и, сразу побледнев, насторожился, как будто сосредоточенно, всеми силами души прислушивался к чему-то.

— Что с тобой? — взволнованно спросила Валерия.

— Молчи, молчи,— прошептал Спартак.

В эту минуту в глубокой тишине оба ясно услышали хор чистых и звучных молодых голосов, хотя до конклава Валерии долетало только слабое, отдаленное его эхо. Хор пел где-то далеко, на одной из четырех улиц, которые вели к дому Суллы, стоявшему очень уединенно, как и все патрицианские дома; пели песню, сложенную на полуварварском языке — смеси греческого с фракийским:

Сестра богинь Свобода, зажигай
На подвиг благородный
Сердца твоих сынов,
Сестра богинь Свобода, гнев народный
Ты окрыли, святая,
В огне освободительных боев!
В мечи, в мечи оковы
Перекуют рабы;
Долг их призвал суровый,
И даже робкий храбр в пылу борьбы.

Сестра богинь Свобода, в свете славы
Ты искрою одною
Священного огня
Зажги пожар везде, где пот кровавый
Течет и где страдает раб, стеня,
Чтобы тиран за чашей круговою
Мог нежиться в чертогах!
Свобода, сердце каждого борца
Ты воодушевляй на всех дорогах!
Отвагу влей в сердца,
В синеющие жилы
Влей кровь свою, удвой наш гнев и силы!..

Сестра богинь Свобода, за тобой
С напевом грубым ринемся мы в бой.

Широко раскрыв глаза, Спартак замер и весь обратился в слух, как будто вся его жизнь зависела от этой песни. Валерия могла уловить и понять только немногие греческие слова. Она молчала, и на ее бледном, как алебастр, лице отражалось страдание, написанное на лице рудиария, хотя она и не понимала причину его душевной муки.

Оба не произнесли ни слова; когда же стихло пение гладиаторов, Спартак схватил руки Валерии и, целуя их с лихорадочной горячностью, произнес прерывающимся от слез голосом:

— Не могу... не могу... Валерия... моя Валерия... прости меня... Я не могу всецело принадлежать тебе... потому что сам не принадлежу себе...

Валерия вскочила, приняв эти бессвязные слова за намек на какую-то прежнюю любовь рудиария. В волнении она воскликнула:

— Спартак!.. Что ты говоришь!.. Что ты сказал? Какая женщина может отнять у меня твое сердце?

— Не женщина... нет,— ответил гладиатор, печально качая головой.— Не женщина запрещает мне быть счастливым... самым счастливым из людей... Нет! Это... это... Нет, не могу сказать... не могу говорить... Я связан священной и нерушимой клятвой... Я больше не принадлежу себе... И достаточно этого... потому что, повторяю тебе, я не могу, не должен говорить... Знай только одно,— добавил он дрожащим голосом: — вдали от тебя, лишенный твоих божественных взглядов... я буду несчастлив... очень несчастлив...— И голосом, в котором звучало глубокое горе, он сказал: — Самый несчастный из всех людей.

— Что с тобой? Ты сошел с ума? — испуганно произнесла Валерия и, схватив своими маленькими руками голову Спартака, сдвинув брови, пристально посмотрела черными сверкающими глазами в его глаза, как бы желая понять, не лишился ли он действительно рассудка.— Ты сходишь с ума?.. Что ты

говоришь? Что ты мне говоришь? Кто запрещает тебе принадлежать мне, одной мне?.. Говори же! Рассей мои сомнения, избавь меня от мук, скажи мне — кто?.. Кто тебе запрещает?..

— Выслушай, выслушай меня, моя божественная, обожаемая Валерия,— сказал дрожащим голосом Спартак; на его искаженном лице можно было прочесть жестокую борьбу противоречивых чувств, бушевавших в его груди.— Выслушай меня... Я не смею говорить... не в моей власти сказать тебе, что отдаляет меня от тебя... знай только, что никакая другая женщина не может... не могла бы заставить меня забыть твои чары. Ты должна это понять. Ты для меня выше, чем богиня. Ты должна знать, что не может в моей душе зародиться чувство к какой-нибудь другой женщине... будь в этом уверена. Клянусь тебе своей жизнью, своей честью, клянусь твоей честью и жизнью, я говорю искренне, честно и даю клятву: вблизи или вдали я всегда буду твоим, только твоим, твой образ, память о тебе всегда будет в моем сердце. Тебе одной я буду поклоняться и только тебя боготворить...

— Но что же с тобой? Если ты так любишь меня, почему говоришь мне о твоих страданиях? — спрашивала бедная женщина, едва сдерживая рыдания.— Почему ты не можешь доверить мне свою тайну? Разве ты сомневаешься в моей любви, в моей преданности тебе? Разве я мало дала тебе доказательств? Хочешь еще других?.. Говори... говори... приказывай... Чего ты хочешь?..

— Какая мука! — вне себя вскричал Спартак. Он рвал на себе волосы, в отчаянии ломал и кусал свои руки.— Любить, обожать, боготворить прекраснейшую из женщин, быть любимым ею и бежать от нее... не имея права сказать ей... не имея права ничего сказать... потому что... Я не могу... не могу...— прокричал он в отчаянии.— Несчастный я, я не смею говорить!

Валерия, рыдая, обнимала его; он вырвался из ее объятий.

— Но я вернусь, вернусь... когда получу разрешение нарушить свою клятву... вернусь завтра, послезавтра, скоро. Валерия, это не моя тайна. И ты простишь меня тогда и еще больше будешь любить... если ты можешь любить еще сильнее, если существует чувство более сильное, чем то, которое связывает нас... Прощай, прощай, моя обожаемая Валерия!

И сверхчеловеческим усилием воли он отстранил от себя любимую женщину, которая плакала, моля о сострадании. Шатаясь, как пьяный, Спартак вышел из конклава, а Валерия, лишившись чувств от пережитых волнений, упала на пол.

Глава девятая

О ТОМ, КАК НЕКИЙ ПЬЯНИЦА ВООБРАЗИЛ СЕБЯ СПАСИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКИ

За пятнадцать дней до мартовских календ (15 февраля), в 680 году от основания Рима, почти через четыре года после похорон Луция Корнелия Суллы, квириты праздновали луперкалии. Этот праздник был установлен Ромулом и Ремом в честь основания Рима, а также в честь их кормилицы Луперки и бога Пана, покровителя полей, а кроме того, в память чудесного детства Ромула и Рема.

Луперкалием называлась пещера или грот, находившийся в роще, посвященной богу Пану и украшавшей тот склон Палатинского холма, который был обращен в сторону римского Форума, точнее, находился между Новой улицей и священным Палатинским скатом, напротив руминальной смоковницы.

Эти пастушеские празднества восходят, как считали тогда, да и теперь многие историки считают, еще ко временам существования Аркадии. Когда аркадийцы переселились в эти края и жили здесь под властью Эвандра, они устраивали на этом месте празднества в честь бога Пана наподобие тех игр, какие происходили на горе Ликии в Аркадии.

Как бы то ни было, происхождение этих игр не вполне достоверно известно; несомненно только, что такие празднества устраивались всегда и не считались устаревшими даже в последние годы республики; Цезарь-диктатор издал специальный декрет о праздновании луперкалий.

Руминальная смоковница, стоявшая перед луперкалием, была священным древом богов, потому что, по преданию, волчица вскормила Ромула и Рема именно под смоковницей, росшей как раз в этом месте; поэтому смоковница стала называться руминальной, то есть смоковницей-кормилицей; когда первая смоковница отжила свой век, ее заменили другой, посаженной жрецами с торжественными обрядами, и всякий раз, когда дерево, одряхлев, погибало, его заменяли с той же торжественностью другим. Среди римлян было распространено поверье, что, пока смоковница-кормилица зеленеет, Рим будет процветать.

Итак, луперкалии приходились на 15 февраля и в 680 году праздновались, согласно традиции, со всей подобающей торжественностью.

Рано утром в луперкальный грот собрались луперки — жрецы, выбранные среди наиболее выдающихся юношей патрицианских семей; они ожидали начала жертвоприношения.

Среди луперков можно было увидеть Луция Домиция Агено-

барба, красивого белокурого юношу двадцати одного года, который в 700 году римской эры стал консулом; Луция Корнелия Лентула, Квинта Фурия Калена, обоим было по двадцать четыре года, впоследствии они также стали консулами: первый — в 705 году, второй — в 706 году; Вибия Панса, которому в это время едва исполнилось двадцать пять лет, в 710 году вместе с Аттилием Гирцием он был избран консулом; Вибий Панса сражался под Мутиной против Марка Антония, но ему не довелось увидеть победу своих легионов, так как он пал вместе со своим сотоварищем Гирцием на поле брани.

В то время как молодые патриции, принадлежащие к коллегии луперков, стояли в луперкальной пещере в жреческих одеяниях, туда явилась целая толпа патрицианской молодежи; они привели с собой Марка Клавдия Марцелла и Сервия Сульпиция Руфа — юношей двадцати одного года; отцы их были консулами, впоследствии и сыновья стали консулами. Оба пришли в белых тогах и в венках из плюща, потому что им предстояло выполнять важную роль в предстоящих жертвоприношениях.

Как только собралась вся эта молодежь, виктимарии взяли ножи и предали закланию двенадцать козлов и столько же щенят. Затем один из луперков принял из рук другого приготовленный меч и, обмакнув его в жертвенную кровь, дотронулся до лба Клавдия Марцелла и Сульпиция Руфа. Другие луперки стали вытирать пятна крови, оставшиеся на лбу двух молодых патрициев, намоченной в молоке шерстью. Как только кровь была удалена, Марцелл и Руф, согласно обычаю, разразились громким хохотом. Эта церемония, по традиции, символизировала очищение пастухов.

Вслед за этим в особом отделении пещеры был совершен обряд омовения. А затем луперки вместе с очистившимися юношами и их друзьями сели за стол, где их ожидали вкусные яства и самые лучшие вина.

Пока жрецы-луперки пировали, пещера стала наполняться народом; в роще, посвященной Пану, где находилась пещера, на дороге к священному склону Палатинского холма и на всех прилегающих улицах толпился народ. Особенно много было тут женщин и среди них немало патрицианок — как замужних, так и девушек, явившихся в сопровождении рабов, слуг и гладиаторов, принадлежащих их семьям.

Чего ожидала вся эта толпа, стало ясно, как только веселые и хмельные луперки вышли из-за стола; они надели поверх туник широкие полосы из шкур жертвенных животных, взяли в руки ремни и плети, сделанные из тех же шкур, шумной толпой выбежали из грота и, промчавшись по улицам, принялись хлестать плетью всех, кто попадался им на пути.

Так как девушки верили, что удары плети, освященной богами, помогут им выйти замуж, а бездетные замужние женщины были проникнуты верой в исцеляющую силу этих плетей, то по всем улицам навстречу луперкам бежали матроны и девушки, сами подставляя под удары свои руки. Царило буйное веселье. Толпа встречала луперков криками и веселыми возгласами, и так они пробежали по всем главным улицам Рима. Часть молодых жрецов направилась к цирку, оттуда, по улице храма Беллоны, на Триумфальную улицу, затем, свернув направо, они понеслись по предместью Януса, еще раз свернули направо и двинулись по улице Флументаль к Тибрскому острову. Другая часть луперков прошла по Новой улице и по улице Табернола и повернула по Африканскому переулку к Эсквилинским воротам. Здесь луперков ждали присланные их семьями запряженные четверкой лошадей колесницы, раззолоченные или украшенные бронзовой чеканкой; молодые жрецы сели в эти колесницы и в сопровождении многочисленной свиты из римских граждан, также ехавших на лошадях, направились по дороге, ведущей к Тиволи, за несколько миль от города в Альбунейскую рощу — в то место, где и до сих пор бьет знаменитый серный источник. Ежегодно в день праздника луперкалиев, после жертвоприношения, совершались поездки в эту рощу, где, по преданию, обитали фавны, потомки Фавна, мифического царя Латия. В уединенных уголках зеленой чащи луперки занимались прорицаниями.

Другая группа луперков направилась, как мы уже говорили, к Тибрскому острову; пройдя до половины улицы Флументаль, шествие свернуло налево и по короткому Тибрскому переулку быстро добралось до деревянного моста; одиннадцать лет спустя, то есть в 691 году, по декрету сената тут был заложен каменный мост, названный именем Фабриция, куратора дорог.

На Тибрском острове, в то время еще мало населенном, находилось три известных памятника: храм Эскулапия, храм Юпитера и храм Фавна. Храм Эскулапия, самый большой и самый великолепный из них, воздвигли в 462 году римской эры по случаю ужасной эпидемии чумы, унесшей тысячи жертв. Это произошло во время консульства Квинта Фабия Гургита и Юлия Брута Сцевы. Из Рима направили послов в Эпидавр, греческий город, посвященный культу Асклепия, бога медицины. Когда римские послы находились в храме бога-целителя, к ним подползла одна из живших в храме священных змей — прирученная безвредная змейка желто-коричневой окраски. Послы приняли ее появление за божественное знамение: змея, посвященная богу врачевания, по своей доброй воле приблизилась к ним. Они отправились к своим кораблям, следом за ними поползла и змея; ее взяли на корабль и привезли в Остию, здесь корабль вошел

в устье Тибра и поплыл вверх по течению; когда он достиг Тройных дорог, змея вдруг выползла и, бросившись с судна в реку, скрылась на Тибрском острове. Авгуры истолковали этот каприз змеи как волю бога Эскулапия, пожелавшего, чтобы в этом месте ему был воздвигнут храм, что и было сделано.

В 552 году от основания Рима, по обету претора Фурия Пурпореона, рядом с большим храмом Эскулапия был построен другой храм, меньших размеров, но не уступавший первому в роскоши,— храм Юпитера.

А в 558 году, то есть шесть лет спустя, народные эдилы Гней Домиций Агенобарб и Гай Скрибоний Курион наложили денежные взыскания на трех крупных торговцев скотом и на эти деньги построили рядом с храмом Эскулапия, почти напротив храма Юпитера, третий храм — в честь бога Фавна.

Итак, на маленьком Тибрском острове было три храма, а это с очевидностью доказывает, что еще до сооружения каменных мостов Фабриция и Цестия сообщение между городом и островом поддерживалось не только при помощи лодок и паромов, но и через деревянные мосты, подобные Сублицийскому мосту, построенному на сваях.

Пройдя по деревянному мосту, луперки и сопровождавшая их толпа вступили на остров, чтобы принести здесь жертву богу Фавну, который был, согласно мифам, связан родственными узами с богом Паном. Завершился же праздник новым пиршеством, уже подготовленным в харчевне, открытой рядом с храмом Эскулапия и известной своей прекрасной кухней и тонкими винами.

Не менее весело, чем луперки, решили закончить свой день и те, что вышли через Эсквилинские ворота и отправились посетить Фавна в его гротах и рощах близ серного источника.

Как в древних, так и в современных религиях таинственные обряды культа часто служили предлогом для веселого времяпрепровождения и совершались хитрецами, пользовавшимися легковерием толпы. Луперки из тщеславия устраивали празднества за свой счет; жреческие обязанности считались весьма почетными, и, кроме того, веселым жрецам доставляло немалое удовольствие без стеснения хлестать своей плетью красивых девушек, пленительных матрон и получать за это в награду нежные улыбки и любезные слова.

У храма Фавна, прислонившись к одной из колонн портика, стоял человек лет двадцати пяти, равнодушно наблюдая за движением толпы и беготней луперков; он был высок ростом, прекрасно сложен и, несомненно, обладал большой физической силой; все в нем было красиво: крепкая, словно изваянная скульптором шея, гордая посадка головы, благородная осанка. Завитые и надушенные волосы, блестящие, как черное дерево, отте-

няли белизну высокого и широкого лба. Взгляд выразительных, проницательных и властных глаз очень красивого разреза был полон благожелательности. Он привлекал сердца и покорял всех железной воле этого человека, которая временами сквозила в его огненном взоре, в морщине, перерезавшей лоб, в густых и черных, почти сросшихся бровях. Нос был прямой, четко и красиво очерченный, рот скорее маленький; в складке довольно толстых, оттопыренных губ запечатлелись две страсти — властолюбие и чувственность. Едва заметный оливковый оттенок матовой белизны лица придавал еще больше привлекательности этому высокому и величественному, сильному и красивому человеку.

Это был Гай Юлий Цезарь [1].

Он был одет с непревзойденным аттическим [2] изяществом. Поверх туники из белой льняной ткани, отороченной пурпуром и перехваченной в талии пурпуровым шерстяным шнуром, была наброшена тоже белая тога из тончайшей шерсти, отделанная широкой голубой каймой. Обдуманная гармония ниспадающих складок туники и тоги выгодно выделяла прекрасную фигуру этого необыкновенно красивого человека. Юлию Цезарю к тому времени исполнилось двадцать шесть лет — он родился 12 июня 654 года римской эры. Он уже пользовался в Риме безграничной популярностью благодаря своей образованности, красноречию, приветливости, храбрости, энергии и изысканному вкусу.

Гай Юлий Цезарь, приходившийся со стороны своей тетки Юлии племянником Гаю Марию, по своим связям, дружбе и личным симпатиям был марианцем; восемнадцати лет он женился на Корнелии, дочери Луция Корнелия Цинны, который четыре раза избирался консулом и тоже был ярым сторонником победи-

---

[1] Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до н. э., занимал последовательно ряд должностей: в 68 году — квестор в Испании, в 65 году — эдил, в 63 году — верховный жрец, в 62 году — претор, в 61 году — пропретор в Испании; в 60 году заключил союз с Помпеем и Крассом (первый триумвират) и в 59 году достиг консульства. Получил по окончании консульства в управление Цизальпийскую Галлию с Иллирией. На исходе наместничества Цезаря (около 50 года до н. э.) сенат, подчинившийся влиянию Помпея, приказал Цезарю оставить провинцию и распустить войско. В ответ на это Цезарь в 49 году перешел реку Рубикон, быстро овладел Италией, в 48 году разбил помпеянцев при Фарсале в Фессалии и отправился в Египет, преследуя Помпея. Возвратившись в Рим, Цезарь получил пожизненное диктаторство и цензорство, был избран 15 марта 44 года до н. э. консулом на десять лет. Убит в Риме заговорщиками-сенаторами. Цезарь был замечательным писателем древнего Рима. Самый значительный труд его — «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне».

[2] Аттический — свойственный жителям Аттики. Аттика (область в Древней Греции с главным городом Афины) была известна высоким развитием науки, философии и искусства. Отсюда проявление тонкого вкуса, остроумия называют аттическим.

теля тевтонов и кимвров. Как только Сулла, уничтожив своих врагов, стал диктатором, он приказал убить двух членов семьи Юлиев, расположенных к Марию, и потребовал от молодого Гая Юлия Цезаря, чтобы тот отверг свою жену Корнелию. Цезарь, однако, проявил непреклонную твердость характера и не захотел подчиниться. За это он был присужден Суллой к смертной казни, и только заступничество некоторых влиятельных сторонников Суллы и коллегии весталок спасло его от гибели в числе других жертв проскрипций.

Но все же Цезарь не чувствовал себя на улицах Рима в безопасности, пока там властвовал человек, который в ответ на просьбы многих о даровании Цезарю жизни сказал: «Вы ничего не понимаете, а я предвижу, что этот юный Юлий стоит многих Мариев!» Цезарь удалился в Сабинскую область; там он скрывался в горах Латия и Тибертина до тех пор, пока не умер Сулла. Вернувшись в Рим, он тотчас же отправился в поход под начальством претора Минуция Терма и участвовал в осаде Митилен. Он отличался большой храбростью, лучше всех владел оружием, и про него говорили: «Храбрости у него больше, чем это допускает человеческая природа и воображение». Действительно, не раз он проявлял исключительную отвагу; однажды, рискуя своей жизнью, спас в бою жизнь одного солдата; за это ему был присужден гражданский венок.

Когда Публию Сервилию Ватию было поручено выступить во главе римского войска против пиратов Киликии [1], которые избрали центром своих действий город Исавр, Цезарь отправился вместе с ним и, участвуя во многих сражениях, показал себя доблестным воином.

По окончании похода он уехал в Грецию, намереваясь слушать там знаменитых философов и посещать школы самых известных ораторов. Но близ Яссайского залива и Формакуссы, одного из Спорадских островов Архипелага, корабль, на котором плыл Юлий Цезарь со своими слугами, был захвачен пиратами, и все они стали пленниками морских разбойников. Цезарь и здесь проявил не только необычайное мужество, но и врожденную способность повелевать, которая впоследствии дала ему власть над миром. На вопрос Цезаря, какой выкуп требуют за него, пираты назвали большую сумму — двадцать талантов; на это последовал высокомерный ответ: «Я стою дороже, и вам уплатят за меня пятьдесят талантов», и тут же Цезарь добавил, что, лишь только ему возвратят свободу, он отправится в погоню за разбойниками, захватит их и велит распять. Этот смелый

[1] Пираты Киликии.— Со времени войны с Митридатом на Средиземном море усилилось пиратство. Опорой его были приморские города Киликии и острова Крита.

ответ, достойный гордых сыновей Рима, свидетельствовал о стойком характере и сознании собственного достоинства. Цезарь не сомневался, что человеку из рода Юлиев поверят на слово и он быстро достанет даже такую значительную сумму. Он отправил своих слуг в Эфес и Самос и другие ближние города, чтобы собрать там пятьдесят талантов; деньги были вскоре присланы ему, и он вручил пиратам выкуп. Но лишь только пленника отпустили на свободу, он снарядил в соседних портах несколько трирем [1] и отправился в погоню за пиратами, напал на них, разбил, взял в плен и передал претору, с тем чтобы тот их распял. Узнав, что вместо казни претор намерен продать пиратов в рабство, Цезарь самовольно приказал их всех распять, объявив, что за свой поступок он готов отвечать перед сенатом и римским народом.

Все это доставило Юлию Цезарю широкую популярность, которая возросла еще больше, когда он открыто и смело выступил против Гнея Корнелия Долабеллы, сторонника Суллы, обвиняя его в преступных действиях при управлении вверенной ему провинцией Македонией. Он поддержал свое обвинение с твердостью и с таким красноречием, что даже красноречивейшему Цицерону с трудом удалось добиться оправдания Долабеллы, использовав огромные богатства своего подзащитного, его влияние и связи.

Цезарь, славившийся как самый изысканный щеголь, как самый ловкий, искусный фехтовальщик и гимнаст, как неизменный победитель на ристалищах в цирке, снискал большую популярность в Риме и пользовался всеобщей симпатией. Поэтому не удивительно, что в начале 680 года, после смерти Аврелия Котты, одного из членов коллегии понтификов, Цезарь был возведен в этот высокий сан.

Таков был человек, который стоял у входа в храм Фавна и смотрел на толпу, двигавшуюся взад и вперед по острову, перед храмами бога медицины и Фавна.

— Привет Гаю Юлию Цезарю, понтифику! — воскликнул, проходя мимо него, Тит Лукреций Кар.

— Приветствую тебя, Кар,— ответил Цезарь, пожимая руку будущего творца поэмы «О природе вещей».

Вместе с Лукрецием шли, собираясь повеселиться, молодые патриции, и каждый из них обратился к будущему покорителю Галлии с ласковым приветственным словом.

— Честь и хвала божественному Юлию,— сказал, низко кланяясь, мим [2] Метробий, выйдя из храма Эскулапия в обществе других комедиантов и акробатов.

---

[1] Трире́ма — судно с тремя рядами весел.

[2] Мим — актер-комедиант.

— А, Метробий! — воскликнул с иронической улыбкой Юлий Цезарь.— Ты, я вижу, не теряешь зря времени, не так ли? Не пропускаешь ни одного праздника, ни одного, даже самого ничтожного повода повеселиться.

— Что поделаешь, божественный Юлий!.. Будем наслаждаться жизнью, дарованной нам богами... Ведь Эпикур предупреждает нас...

— Знаю, знаю,— прервал его Цезарь, избавляя актера от труда приводить цитату.

И через минуту, почесав голову мизинцем левой руки, чтобы не испортить прическу, он указательным пальцем правой поманил к себе Метробия.

— Послушай...— произнес он.

Метробий тотчас покинул своих товарищей по искусству и торопливо подошел к Цезарю; один из мимов крикнул ему вдогонку:

— Мы будем ждать тебя в харчевне Эскулапия!

— Сейчас приду,— ответил Метробий и, приблизившись к Цезарю, вкрадчиво, с медоточивой улыбкой произнес: — Очевидно, какой-то бог покровительствует мне сегодня, раз он предоставляет мне случай оказать тебе услугу, божественный Гай, украшение рода Юлиев.

Цезарь улыбнулся своей обычной, чуть презрительной улыбкой и ответил:

— Услуга, о которой я хочу просить тебя, добрейший Метробий, невелика. Ты ведь бываешь в доме Гнея Юлия Норбана?

— Еще бы! — с хвастливой фамильярностью воскликнул Метробий.— Милейший Норбан расположен ко мне... очень расположен... и с давних пор... еще когда был жив мой знаменитый друг, бессмертный Луций Корнелий Сулла...

На лице Цезаря промелькнула еле заметная гримаса отвращения, но он тут же ответил с притворным добродушием:

— Ну, так вот, знаешь ли...— На миг он задумался, а затем сказал: — Приходи ко мне сегодня вечером на ужин, Метробий. На досуге я расскажу тебе, в чем дело.

— Какое счастье!.. Какая честь!.. Как я признателен тебе, о добросердечнейший Юлий!..

— Ну, довольно, довольно благодарностей! Иди, тебя ждут приятели. Вечером увидимся.

И величественным жестом Цезарь простился с Метробием. Актер, рассыпаясь в благодарностях и низко кланяясь, направился в близлежащую харчевню Эскулапия.

В приветственном жесте, исполненном важности и достоинства, в пренебрежительном тоне, которым говорил Цезарь с Метробием, сказался властный его характер. Так как человек, к ко-

тором он обратился, отличался низкой угодливостью, а Цезарь славился своими победами над женскими сердцами, то вполне возможно было, что сведения, которые он хотел получить от Метробия, касались каких-нибудь любовных дел.

Пока народ толпился вокруг трех храмов, оглашая воздух громким говором, Метробий, сияя от радости, что ему выпала великая честь побывать гостем в доме Юлия, явился в харчевню Эскулапия и принялся хвастливо рассказывать своим друзьям, уже сидевшим за столом, о приглашении Цезаря. Несмотря на предстоящий роскошный ужин, мим на радостях усердно ел и еще усерднее пил превосходное велитернское, которое хозяин харчевни держал для своих посетителей. А посетителей в этот день набралось великое множество, все были в хорошем расположении духа, все запаслись хорошим аппетитом, и в харчевне стоял гул от возбужденных голосов, звяканья посуды и чаш, наполненных вином.

Шутки, остроты, хохот и оживление, царившие за тем столом, где сидел Метробий, вскружили ему голову, и он не замечал, как быстро бежало время и какое множество чаш велитернского он успел осушить. Два часа спустя бедняга уже еле ворочал языком от чересчур обильных возлияний, однако соображал еще кое-что и скоро понял, что оказался в тяжелом положении: через час он совсем потеряет способность двигаться и, стало быть, не попадет на ужин к Цезарю. Приняв решение покинуть сотрапезников, он оперся обеими ладонями о стол, с трудом поднялся, попрощался с обществом, стараясь говорить развязно, и объяснил, что должен уйти, так как его ждут — он ужинает у Це... це... разя...

Обмолвка комедианта была встречена взрывом хохота, градом острот, и, когда Метробий, пошатываясь, двинулся к выходу, его до самого порога провожали насмешками и язвительными замечаниями.

— Хорош ты будешь у «Церазя»! — кричал ему вдогонку сосед.

— Бедный Метробий, у него язык отнялся! — кричал другой.

— Нет, не язык, а ноги — гляди, как шатается!

— Метробий, не танцуй, ведь ты не на сцене!

— Держись прямо, Метробий, ты все стены вытер!

— Зря стараешься, Метробий,— хозяин не заплатит!

— Ну и походка! Петляет, как змея!

Меж тем Метробий уже вышел на улицу, бормоча про себя:

— Смей... тесь... смей... тесь, оборванцы! А я... иду ужинать к Цезарю... Он человек порядочный... замечательный человек...

Цезарь... он любит ар...ар...артистов!.. Клянусь Юпитером Капи... Капи...толийским! Никак не пойму... как это... как это случилось... Это велитернское... туда подмешали... оно коварно... как душа Эв... Эв...битиды!..

Пройдя шагов двадцать по направлению к мосту, ведущему в город, старый пьяница остановился; его шатало из стороны в сторону. Так он простоял несколько минут в раздумье; наконец его осенила блестящая мысль; он не без усилия повернулся и пошел, подпрыгивая, в другую сторону. Шатаясь, переходя то на одну, то на другую сторону улицы, он направился ко второму деревянному мосту, соединявшему Тибрский остров с Яникульским холмом. Перебравшись по мосту через Тибр, Метробий побрел по дороге, которая вела к вершине холма, пересек дорогу к Катуларским воротам и продолжал взбираться по склону холма, пока не дошел до перекрестка, где дорога разветвлялась: направо она подымалась к вершине, а налево сворачивала к Сублицийскому мосту и, следовательно, приводила к Тригеминским воротам и в центр города.

На перекрестке зигзагообразное передвижение Метробия прервалось: комедиант остановился в замешательстве, не зная, какой путь предпочесть для своей уединенной прогулки. Было ясно, что Метробий решил воспользоваться двумя часами, оставшимися в его распоряжении до ужина в доме Юлия Цезаря, для того, чтобы воздух и движение помогли ему прийти в себя от чересчур усердных возлияний. Мысль была недурна и доказывала, что Метробий не лишился окончательно здравого смысла. Остановившись на перекрестке и покачиваясь на ослабевших, нетвердых ногах, он бормотал, приставив указательный палец правой руки ко лбу:

— Куда бы лучше пойти? На вершину? Там, конечно, воздух свежее... а мне так жарко... так жарко... а календарь будет меня уверять... что февраль... зимний месяц... Ах, февраль бывает зимой?.. Пусть зимний... для того, у кого нет ни цекубского, ни фалернского вина... Но, клянусь Бахусом Дионисием, воздух здесь чистый... я взберусь... туда наверх... А что я увижу там?.. Гробницу этого доброго царя Нумы... хотя... я-то... я ничуть не уважаю этого Нуму... потому что он не любил вина... Вино ему, видите ли, не нравилось... А я не верю, что не нравилось... Я готов поклясться двенадцатью богами Согласия... что он с нимфой Эгерией... беседовал не только о государственных делах... Как бы не так!.. Не хочу взбираться туда... надоело... Пойду-ка я по ровному месту... да вот, пойду...

Так болтал пьяный Метробий, искренне возмущенный равнодушием к вину Нумы Помпилия. Он свернул с дороги, которая привела бы его к гробнице этого царя, открытой свыше

ста лет назад у подошвы Яникульского холма, и двинулся по дороге, которая шла к Тройным воротам.

Метробий по-прежнему двигался зигзагами, хотя в голове у него уже не так шумело и винные пары немного рассеялись; выписывая ногами замысловатые фигуры, он продолжал свои словесные нападки на трезвость и на трезвенников, в особенности на бедного царя Нуму. Вскоре он дошел до рощи Фурины, богини бурь, находившейся на полпути между мостами Цестия и Сублициийским.

Войдя в зеленую тень рощи, Метробий удовлетворенно вздохнул полной грудью и углубился в чащу поискать покойного прохладного уголка, в котором он так нуждался. Блуждая по тропинкам, он вдруг увидел небольшую круглую поляну в самой середине рощи, а на поляне — развесистое дерево. Он сел на траву, прислонившись к толстому стволу этого дерева.

— Вот чудеса! — бормотал он.— Никак не думал, что найду успокоение от бури, бушующей во мне, именно в священной роще богини бурь!.. А надо сказать, хорошо на лоне природы! Право же, привлекательность пастушеской жизни не только поэтический вымысел. Великолепная штука — пастушеская жизнь! Вдали от городского шума... среди величавого покоя полей... в приятном уединении на нежной мураве... козочки скачут, ягнята блеют... ручейки шумят... соловьи поют... Ах, какая прекрасная жизнь!.. Пастушеская идиллия!..— Веки у Метробия стали тяжелыми, его одолевала дремота. Но, пораженный какой-то новой мыслью, он вдруг сразу пришел в себя; щелкнув пальцами, он пробормотал, как будто разговаривая с кем-то: — Да... прекрасная жизнь, вот только бы в ручейке вместо чистой и холодной воды текло фалернское... О, вода!.. Я не мог бы примириться с этим... Нет, нет, никогда!.. Пить воду?.. Да я бы умер через несколько дней от тоски!.. Вода!.. Какая скука!.. Безвкусный напиток!

Ведя эти рассуждения, Метробий то открывал, то закрывал глаза, мысли его путались, сонливость затемняла рассудок, а он все бормотал заплетающимся языком:

— Фалернское, да... Но обязательно хорошее... А то в харчевне Эскулапия подают предательское велитернское... От него... у меня голова кругом идет... до сих пор... в ушах шумит... как будто я попал... в улей... и...

И тут Метробий заснул. Снились ему беспорядочные и странные сны, похожие на те обрывки мыслей, под впечатлением которых он уснул.

Ему снилось, что он находится на высохшем, бесплодном поле, под лучами палящего солнца. Как сильно жгло это солнце! Метробий обливался по́том, в горле у него пересохло, его томила

жажда, мучительная жажда... и он чувствовал стеснение в груди... Какое-то беспокойство, тревогу... И вот — какое счастье! Он услышал журчание ручейка... и побежал к нему... но он хотел бежать быстро, а ноги как будто прирастали к земле, а ручеек еще был далеко. Метробий никак не мог понять, каким образом это случилось, но он знал, что в ручье струится фалернское... и странно, шум ручейка напоминал собой людские голоса. Метробий умирал от жажды, ему хотелось пить, он все бежал, бежал и наконец добежал до ручья, но только он припал к ручью, чтобы насладиться фалернским, как перед ним вырос Нума Помпилий и не дал ему пить. У Нумы Помпилия была длинная-длинная белая борода и грозный вид; он сурово глядел на Метробия, осыпал его бранью и упреками. Какой звучный, металлический голос был у этого Нумы Помпилия! Нума Помпилий говорил сердитые слова, а Метробий слышал гул голосов, как будто исходивших из ручья... И вдруг вода в ручье стала совсем не похожей на фалернское, она обратилась в кровь. А Нума еще пуще упрекал бедного Метробия, грозно наступал на него и кричал:

«У тебя жажда! Ты крови жаждешь, тиран? Пей кровь твоих братьев, негодяй!»

Сон становился все более страшным, у Метробия сжималось сердце, суровый голос неумолимого старца приводил его в ужас; он бросился бежать, споткнулся о корни, упал и наконец проснулся...

В первую минуту Метробий никак не мог понять, где он, спит ли он еще или бодрствует; он протер глаза, осмотрелся вокруг и увидел, что находится в лесу, что кругом уже темно и лишь лучи месяца, пробиваясь кое-где меж густых ветвей, рассеивают мрак. Он попытался собраться с мыслями, привести их в порядок, но никак не мог. Ему все еще слышался голос Нумы Помпилия, произносивший гневные слова точь-в-точь как это было во сне, и в первую минуту Метробий подумал, что он еще спит и все это ему грезится. Но вскоре он убедился, что уже проснулся, начал смутно припоминать, как он попал сюда, и наконец понял, что голос, который он слышал во сне, был голосом живого человека, находившегося неподалеку от него, на полянке.

— Смерть за смерть! Лучше умереть за наше счастье и благо, чем на потеху наших поработителей! — говорил кто-то горячо и страстно, должно быть продолжая начатый разговор.— Эти бешеные звери в образе человеческом жаждут крови, как тигры Ливийской пустыни, вид крови угнетенных радует их; так пусть же они сами выступят со своими мечами против наших мечей, пусть потечет и их кровь, смешиваясь с нашей, пусть они поймут, что у рабов, у гладиаторов, у обездоленных бьется в груди

человеческое сердце. Клянусь всеми богами, обитающими на Олимпе, они убедятся, что великий Юпитер создал всех равными, что солнце сияет для всех, а земля приносит плоды всем людям без изъятья и что все люди без исключения имеют право на счастье и радость в жизни.

Мощный, но приглушенный рокот одобрения был ответом на эту страстную речь, раздававшуюся в ночной тишине.

Метробий сразу сообразил, что тут собрались люди, очевидно замышлявшие что-то против республики. Звучный голос невидимого оратора показался ему знакомым.

Но чей это был голос? Где Метробий слышал его? Когда? Этого он никак не мог припомнить, хотя и старался с вернувшейся к нему быстротой сообразительности перебрать свои воспоминания. Во всяком случае, комедиант понял, что надо остаться незамеченным, иначе ему предстоит провести несколько весьма неприятных минут.

Передвигаясь ползком, он спрятался за толстый ствол дерева, у которого сидел, и, затаив дыхание, напрягал все силы, стараясь как можно лучше все расслышать.

— Можем ли мы сказать, что после четырех лет тайной, упорной и настойчивой работы взошла наконец заря избавления? — спросил кто-то хриплым и низким голосом, коверкая латынь.

— Можем ли мы начать бой? — спросил другой, у которого голос был еще более хриплым и низким, чем у первого.

— Можем! — ответил тот же голос, который услышал Метробий, как только проснулся.— Арторикс поедет завтра...

Услышав это имя, Метробий сразу узнал по голосу говорившего: несомненно, это был Спартак; и тогда Метробий сообразил наконец, что тут происходит.

— Завтра Арторикс поедет в Равенну,— сказал Спартак.— Он предупредит Граника, чтобы тот держал наготове свои пять тысяч двести гладиаторов — первый легион нашего войска. Вторым легионом будешь командовать ты, Крикс,— он состоит из семи тысяч семисот пятидесяти членов нашего Союза, живущих в Риме. Третьим и четвертым будем командовать я и Эномай; в них войдут десять тысяч гладиаторов, находящихся в школе Лентула Батиата в Капуе.

— Двадцать тысяч собранных в легионы гладиаторов! — громко, с дикой радостью воскликнул Эномай.— Двадцать тысяч!.. Отлично!.. Клянусь богами ада, хорошо!.. Бьюсь об заклад, что мы увидим, как застегиваются доспехи на спинах гордых легионеров Суллы и Мария!

— А теперь, когда мы обо всем договорились, прошу вас: помните каждый о своей угнетенной отчизне и во имя ее

страданий, во имя священной верности, соединяющей нас,— сказал Спартак,— будьте осторожны и благоразумны. Ведь каким-нибудь безрассудством можно поставить под удар все наше дело. Мы отдали ему четыре года неустанного, большого труда. Любая несвоевременная вспышка, смелый, но необдуманный шаг был бы сейчас непростительным преступлением. Через пять дней вы услышите о наших первых действиях и узнаете, что Капуя — в руках восставших. Хотя Эномай и я выведем наши отряды в открытое поле, при первой же возможности мы попытаемся нанести смелый удар столице Кампаньи; а тогда вы, кто в Равенне, кто в Риме, собирайте все свои силы и идите на соединение с нами. Но пока Капуя не восстанет, пусть внешне среди вас по-прежнему царят мир и спокойствие.

Затем, когда Спартак умолк, последовала оживленная и беспорядочная беседа, в которой приняли участие почти все гладиаторы, собравшиеся здесь; их было не более двадцати пяти, это было главное руководство Союза угнетенных.

Обменявшись друг с другом советами, словами ободрения и надежды, воспоминаниями, братскими приветствиями, гладиаторы стали расходиться. Оживленно беседуя, они направились как раз в ту сторону, где спрятался Метробий, но вдруг Спартак окликнул их:

— Братья, зачем же всем идти в одну сторону? Идите по двое, по трое и на расстоянии пятисот, шестисот шагов друг от друга. В город возвращайтесь кто через Цестиев мост, кто через Сублицийский или через Эмилиев мост.

В то время как гладиаторы, повинуясь приказу, выбирались из рощи разными дорогами, Спартак, проходя мимо дерева, за которым притаился дрожащий Метробий, сказал Криксу, сжимая его руку в своей:

— С тобой мы увидимся позже, у Лутации Одноглазой; там ты расскажешь мне, можно ли рассчитывать на прибытие в ближайшие пять дней обещанного груза с доспехами.

— Я как раз иду повидаться с погонщиком мулов; он обещал мне переправить этот груз как можно скорее.

— Да ну! — воскликнул презрительно Эномай.— К чему нам эти доспехи? Наша вера — наши мечи, наша храбрость — вот наши доспехи.

Крикс ушел, быстро шагая по направлению к Цестиеву мосту; Спартак, Эномай и Арторикс повернули к Сублицийскому мосту.

«Вот так так! — подумал наш доблестный Метробий, становясь все храбрее и храбрее, по мере того как удалялись гладиаторы.— Черт возьми! Какие тучи собираются на горизонте нашей республики! Двадцать тысяч вооруженных гладиаторов!

Этого вполне достаточно, чтобы вспыхнула новая гражданская война, как это было в Сицилии!.. Тем более, что Спартак по храбрости и предприимчивости стоит куда выше Эвноя, сирийского раба, который возглавлял восстание рабов в Сицилии. Да, конечно, само провидение привело меня в эту рощу. Великие боги, несомненно, избрали меня своим орудием, чтобы спасти республику и Рим от гибели... Именно так, а не иначе. Разве не пригодились некогда для такого же дела гуси?.. Почему же я не гожусь?.. Гуси!.. Ну и взбредет же спьяну на ум такое сравнение!»

И Метробий, крайне оскорбленный выводом, к которому его привело собственное сравнение, поднялся и стал прислушиваться, потом сделал несколько нерешительных шагов по роще, желая убедиться, все ли гладиаторы ушли, не оставили ли кого-нибудь на страже.

Он вспомнил, что Цезарь ждал его к ужину в сумерки, а теперь уже около полуночи, и это очень огорчило его; но он тотчас же утешился, подумав, что, лишь только выйдет из рощи богини Фурины, он поспешит к Цезарю, расскажет ему о случайно раскрытом им заговоре, и Цезарь простит его.

Убедившись в том, что все гладиаторы удалились, Метробий вышел из рощи и быстрым шагом направился к Цестиеву мосту, рассуждая про себя, что, не будь он пьян, ему не пришлось бы очутиться в роще Фурины во время собрания гладиаторов; он должен благословлять и свое опьянение и свое пристрастие к вину; даже то самое велитернское из харчевни Эскулапия, которое он еще недавно проклинал, теперь казалось ему божественным. Из всего этого он вывел заключение, что Бахусу следует воздвигнуть новый храм как особому покровителю Рима и что пути богов неисповедимы, если такой простой случай, как опьянение Метробия, мог повести к спасению республики.

Рассуждая таким образом, он дошел до дома Цезаря и, войдя, попросил передать хозяину, что просит его тотчас же прийти в библиотеку, где он, Метробий, сообщит ему сведения огромной важности, от которых, быть может, зависят судьбы Рима.

Цезарь сначала не придал значения словам Метробия, так как считал его пьяницей и сумасбродом. Но, подумав, все же решил выслушать его. Извинившись перед гостями, он вышел из триклиния и направился в библиотеку, где взволнованный Метробий кратко рассказал ему о заговоре гладиаторов.

Сообщение это показалось Цезарю странным. Он задал несколько вопросов комедианту, чтобы удостовериться в том, что рассказ его не галлюцинации пьяного человека. Убедившись в противном, он сдвинул брови и простоял несколько мгновений в

глубоком раздумье. Затем, очевидно приняв какое-то решение, он с улыбкой недоверия обратился к Метробию:

— Я не подвергаю сомнению сообщенные тобой факты, но, право, все это скорее похоже на сказку. Не сложилась ли она в твоем возбужденном воображении от возлияний велитернского, которым ты усиленно предавался в харчевне Эскулапия?

— О божественный Юлий, я не отрицаю, что очень люблю велитернское, в особенности хорошее,— с обиженным видом ответил Метробий,— я не стану отрицать, что и сегодня вечером голова моя была не совсем в порядке, но что касается слов, которые я слышал в роще Фурины, могу поклясться, о божественный Юлий, что я действительно слышал их и все передал тебе в точности. Крепкий сон и свежий воздух у подножия Яникульского холма отрезвили меня, и я окончательно пришел в себя. Неужели ты намерен оставить республику в такой серьезной опасности и не предупредишь консулов и сенат?

Цезарь, склонив голову, думал о чем-то.

— С каждым мгновением опасность растет.

Цезарь молчал.

Замолчал и Метробий, но по его позе и судорожным движениям было видно, что его терзает нетерпение. Не выдержав, он спросил Цезаря:

— Так как же?

Цезарь поднял голову и ответил:

— Насколько серьезна опасность, угрожающая родине, я хотел бы, Метробий, судить сам!

— А как же можешь ты...— начал было комедиант.

Но Цезарь прервал его:

— Я сам хочу судить, если ты мне позволишь...

— О, что ты говоришь, божественный Юлий!.. Я пришел к тебе посоветоваться. Если ты пожелаешь, я охотно уступлю тебе честь раскрытия этого заговора, потому что знаю и твердо верю, что Гай Юлий Цезарь великодушен и не забывает оказанных ему услуг.

— Благодарю тебя, Метробий, за твои чувства ко мне, благодарю за предложение, которое ты мне сделал. Но не для того, чтобы извлечь выгоду из тайны, которую случай открыл тебе, я хочу проверить и точно узнать положение дела,— нет, я должен это сделать для того, чтобы правильно рассудить, как тут следует поступить.

Метробий знаком показал, что он согласен с Цезарем, и тот добавил:

— Иди в триклиний и жди меня там. Но смотри, Метробий, никому ни слова о том, что ты слышал в роще Фурины, о нашем с тобой разговоре и о том, что я сейчас выйду из дому.

Через час я вернусь, и тогда мы обсудим, что надо сделать для блага родины.

— Я выполню твое приказание, Цезарь.

— И ты останешься доволен: я умею быть признательным, а в книге судеб не написано, что Гаю Цезарю суждено умереть увенчанным всего лишь лаврами побед на ристалищах в цирке.

Сказав это, Гай Юлий вышел в соседнюю с библиотекой комнату, предоставив Метробию размышлять над этими многозначительными словами. Минуту спустя он вернулся; через правую руку у него была перекинута плотная темная пенула, несомненно принадлежащая кому-нибудь из слуг, и пурпуровая перевязь, на которой висел его меч. Цезарь снял белую пиршественную одежду, надел через плечо перевязь, закутался в пенулу, на голову натянул капюшон и простился с Метробием, еще раз повторив ему, чтобы он шел в триклиний и ждал его там, но никому не проболтался о заговоре гладиаторов. Затем Цезарь вышел из дому в сопровождении раба и поспешно направился в переулок, куда выходила таверна Венеры Либитины.

Кроме дома на Палатине, у Цезаря был еще другой дом, в самом центре Субуры; в то время он даже чаще жил в Субуре, надеясь таким образом завоевать симпатии бедняков, населявших этот район Рима. Не раз, надев грубую тунику вместо нарядной латиклавы, Цезарь обходил грязные, темные переулки Субуры и Эсквилина и с беспримерной щедростью оказывал помощь обездоленным. Цезарь знал как свои пять пальцев все самые глухие и грязные закоулки этой трущобы.

Таверна Венеры Либитины находилась неподалеку от маленького, но со вкусом устроенного дома Цезаря, и он быстро дошел до грязного переулка, где глубокую ночную тишину нарушали возгласы, доносившиеся из заведения Лутации Одноглазой.

Войдя в таверну в сопровождении раба, Цезарь окинул беглым взглядом большую комнату, где, по обыкновению, шумно кутили простолюдины, могильщики, бездельники, нищие, притворявшиеся калеками, и прочие подонки римского общества. Посмотрев на этих людей, Цезарь прошел во вторую комнату и сразу же увидел там человек десять рудиариев и гладиаторов, сидевших за столом. Цезарь обратился к ним с обычным приветствием и сел вместе с рабом на скамью в углу комнаты, приказав рабыне-эфиопке принести две чаши цекубского вина; приняв равнодушный вид, он обменивался со своим спутником короткими общими фразами, а в то же время зорко следил за тем, что делается в компании гладиаторов, и прислушивался к их разговору.

Спартак сидел между Эномаем и Криксом, бледный, грустный, задумчивый. За четыре года, истекшие со дня смерти Сул-

лы, внешность фракийца изменилась, и теперь в его облике появилась черта суровости, которой раньше не было в нем; широкий лоб пересекала глубокая морщина, свидетельствовавшая о тревогах и тяжких думах.

Когда товарищи назвали Спартака по имени, Цезарь, не знавший фракийца в лицо, убедился, что догадка, сразу же возникшая у него, была верна и Спартаком мог быть только этот рослый, красивый человек, выделявшийся своей полной достоинства осанкой, своим энергичным и умным лицом.

Гай Юлий Цезарь вглядывался в рудиария со все возраставшей симпатией, которую почувствовал к нему с первого взгляда. С прозорливостью гениального человека Цезарь угадал величие души Спартака, его одаренность и понял, что судьба предназначала его для великих дел и высоких подвигов.

Рабыня Азур принесла вино, и Цезарь, взяв одну чашу, указал рабу на вторую:

— Пей.

Раб отпил из своей чаши, а Цезарь сделал вид, что пьет; вино даже не коснулось его губ. Цезарь не пил ничего, кроме воды. Через несколько минут он поднялся и подошел к столу гладиаторов.

— Привет тебе, храбрый Спартак! — сказал он.— Пусть всегда улыбается тебе судьба, как ты того заслуживаешь. Не уделишь ли ты мне некоторое время? Я хочу побеседовать с тобой.

Все обернулись, послышались удивленные возгласы:

— Гай Юлий Цезарь!

— Юлий Цезарь? — промолвил, вставая, Спартак, удивленный не менее своих товарищей; он еще никогда не видел Цезаря и поэтому не знал его в лицо.

— Молчите! — остановил гладиаторов будущий диктатор.— Иначе завтра весь Рим узнает, что один из понтификов ночами шатается по кабакам Субуры и Эсквилина!

Спартак с изумлением смотрел на нежданного гостя. Цезарь еще не был прославлен великими деяниями, но имя его уже гремело в Риме и во всей Италии. Вглядываясь в его черты, носившие отпечаток необыкновенной энергии и отваги, рудиарий дивился красоте его лица, орлиному взору, совершенной гармонии телосложения, величавому спокойствию и мощи всего его облика. Некоторое время он молча смотрел на потомка рода Юлиев, а затем ответил:

— Я буду счастлив, Гай Юлий Цезарь, если чем-либо могу быть тебе полезен.

— Тебе придется ненадолго покинуть общество твоих храбрых товарищей; я хотел пройтись с тобою до вала.

Пораженные гладиаторы переглянулись. Спартак ответил:

— Большая честь для бедного и безвестного рудиария совершить прогулку с одним из самых знаменитых и благородных граждан Рима.

— Храбрый никогда не бывает бедным,— ответил Цезарь, направляясь к выходу и сделав знак рабу ожидать его в таверне.

— Ах,— вздохнув, сказал Спартак, следуя за Цезарем,— зачем льву сила, когда он в цепях!

Два этих необыкновенных человека прошли через главную комнату таверны и, выйдя в переулок, направились в молчании к валу — как раз к тому месту, где четыре года назад гладиаторами был казнен отпущенник Гая Верреса.

В небе светила полная луна, заливая грустным своим сиянием сады, огороды и виноградники, пышно зеленевшие за городской стеной, широкие просторы полей, тянувшихся до самой гряды холмов Тускула и Латия, черневших вдали, как тени гигантов.

На пустынном поле, расположенном между последними домами города и валом Сервия Туллия, в ночной тишине Цезарь и Спартак, освещенные бледными лучами луны, издали могли показаться какими-то белыми призраками. Они остановились друг против друга, молчаливые и неподвижные, словно старались понять и изучить друг друга; оба сознавали, что они олицетворяют собой два противоположных начала, два знамени, два мира: деспотизм и свободу.

Цезарь первый нарушил молчание, обратившись к Спартаку:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать три,— ответил фракиец и внимательно посмотрел на Цезаря, как бы стараясь угадать его мысли.

— Ты фракиец?

— Да.

— Фракийцы — храбрый народ, такими я знавал их в сражениях и в опасности. Ты же можешь похвалиться еще и учтивостью и образованием.

— Откуда ты это знаешь?

— От одной женщины. Но сейчас не время говорить об этом, ибо тебе и делу, которому ты посвятил себя, грозит величайшая опасность.

— О какой опасности ты говоришь? — встревоженно спросил Спартак, отпрянув от него.

— Мне все известно, и я пришел сюда не для того, чтобы причинить тебе вред, Спартак. Напротив, я хочу спасти тебя. Некто, сидя под деревом в роще Фурины, невольно слышал вашу беседу этой ночью.

— О проклятье богам! — с отчаянием вскричал Спартак и, сжав кулаки, погрозил небу.

— Он еще ничего не сообщил консулам: я задержал его, насколько было возможно, но он это непременно сделает сегодня же ночью или завтра утром, и все твои четыре легиона будут рассеяны, прежде чем успеют собраться.

Спартак был в страшном отчаянии. Вперив как безумный неподвижные, широко открытые глаза в ствол дерева, освещенного луной, он шептал голосом, прерывавшимся от рыданий, как будто разговаривал сам с собой:

— Пять лет веры, труда, надежд, борьбы, и все погибнет в мгновение ока!.. Всему конец, у угнетенных не останется никакой надежды... Рабами, рабами будем мы влачить эту подлую жизнь!..

На одухотворенном лице Спартака отражались глубокие душевные муки, и Цезарь с участием, с состраданием и почти с уважением смотрел на этого большого, сильного человека, пораженного горем. Полководец, исполненный безмерной гордости от сознания своей гениальности, Цезарь считал, что в мире нет человека, достойного его преклонения; теперь же почти против воли он восхищался этим гладиатором, который, почерпнув силы в святой любви к свободе, задумал совершить подвиг, достойный греческих или римских героев, и, вооружившись упорством и предусмотрительностью, рожденной высоким умом, окрыленный верой в свое дело, полный отваги и бьющей через край энергии, сумел создать регулярное войско из двадцати тысяч гладиаторов.

При мысли об этих легионах взгляд Цезаря загорелся алчным огнем властолюбия, у него закружилась голова, дрожь пробежала по всему телу; он устремил широко раскрытые глаза на вершины Албанских холмов и погрузился мыслью в беспредельный мир мечтаний. О, если бы ему дали четыре легиона — двадцать тысяч воинов, которых он мог бы повести в бой! Через несколько лет он покорил бы мир, стал бы владыкой Рима, но не как Сулла, которого боялись и ненавидели, а как любимый властелин, гроза патрициев с их мелкой борьбой самолюбий и кумир плебеев!

Оба молчали: один — удрученный, другой — предаваясь честолюбивым мечтам.

Первым нарушил молчание Спартак. Он пришел в себя и, грозно нахмурив брови, в приливе суровой энергии сказал с твердостью:

— Нет, клянусь молниями Юпитера, этого не будет!

— Что же ты сделаешь? — спросил Цезарь, словно очнувшись при этом восклицании.

Спартак устремил горящий взгляд в глаза Цезаря, вновь ставшие ясными, и через минуту спросил:

— Но ты, Цезарь, кто ты — друг наш или враг?

— Хотел бы быть другом и, уж во всяком случае, никогда не буду врагом.

— Ты можешь все сделать для нас!

— Каким образом?

— Выдай нам человека, владеющего нашей тайной!

— Как! Ты хочешь, чтобы я, римлянин, допустил восстание всех рабов, грозящее Риму гибелью? Чтобы я допустил это восстание, имея возможность его предотвратить?

— Ты прав. Я позабыл, что ты римлянин.

— И я желаю, чтобы весь мир был подвластен Риму.

— Ну конечно. Ты — олицетворение тирании Рима над всеми народами земли. Ты лелеешь мечту, которая превосходит безмерные замыслы Александра Македонского. Когда римские орлы раскинут крылья над народами всей земли, ты думаешь заковать эти народы в цепи, зажать их в железный кулак. Рим — властитель народов, ты — владыка Рима?

В глазах Цезаря блеснула радость, но тут же он принял свой обычный спокойный вид и, улыбаясь, сказал Спартаку:

— О чем я мечтаю, никому не дано знать. Может быть, я и сам этого не знаю. Да и мне еще надо набраться сил, чтобы вылететь из гнезда на поиски своего счастья. А вот ты, Спартак... Ты с удивительной энергией и мудростью великого полководца собрал армию рабов, создал из них стройные легионы и готов вести их в бой. Скажи же мне, что ты задумал, Спартак?.. На что ты надеешься?

— Я надеюсь,—отвечал Спартак, охваченный страстной убежденностью,— я надеюсь сокрушить ваш развращенный римский мир и увидеть, как на его развалинах расцветет независимость народов. Я надеюсь уничтожить постыдные законы, принуждающие человека простираться ниц перед другим человеком, законы, повелевающие, чтобы из двух людей, рожденных женщиной и наделенных одинаковой силой, одинаковым умом, один трудился в поте лица, возделывая землю, не ему принадлежащую, и кормил другого, коснеющего в пороках, лени и праздности. Я надеюсь заплатить кровью угнетателей за стоны угнетенных, разбить цепи несчастных, прикованных к колеснице римских побед. Я надеюсь перековать цепи порабощения в мечи, чтобы с помощью этих мечей каждый народ мог прогнать вас назад, в пределы Италии, которая дана вам великими богами и границы которой вы не должны переступать. Я надеюсь сжечь все амфитеатры, где народ-зверь, называющий нас варварами, упивается убийствами несчастных людей, рожденных для счастья, для ду-

ховных наслаждений, для любви и вместо этого вынужденных убивать друг друга на потеху тиранам мира. Клянусь молниями всемогущего Юпитера, я надеюсь увидеть, как воссияет солнце свободы и исчезнет позор рабства на земле! Свободы я добиваюсь, свободы жажду, свободу призываю, свободу для каждого отдельного человека и для народов, великих и малых, могущественных и слабых. А со свободой придут мир, благоденствие, справедливость и все то высшее счастье, которым бессмертные боги дают человеку возможность наслаждаться на земле!

Цезарь стоял не двигаясь и слушал; на губах его мелькала улыбка сострадания. Когда же Спартак умолк, он покачал головой и спросил:

— А потом, благородный мечтатель, а потом?

— Потом придет власть права над грубой силой, власть разума над страстями,— ответил рудиарий, и на вдохновенном лице его отражались высокие чувства, горевшие в его сердце.— Потом наступит равенство между людьми, братство между народами, торжество добра во всем мире.

— Бедный мечтатель! И ты веришь, что все эти фантазии могут воплотиться в жизнь? — сказал Юлий Цезарь с насмешливой жалостью.— Бедный мечтатель! — И, помолчав минуту, он продолжал: — Выслушай меня, Спартак, и обдумай хорошенько мои слова; они продиктованы добрым чувством. Расположение мое к тебе гораздо сильнее и прочнее, чем ты думаешь. Помни, что я не принадлежу к числу людей, которые легко дарят свою приязнь и тем более свое уважение. Осуществить то, что ты задумал, более чем невозможно: это фантастическая мечта, химера как по целям, что ты себе поставил, так и по средствам, которыми ты располагаешь.

Спартак хотел было возразить, но Цезарь остановил его:

— Не прерывай меня и выслушай; ведь я пришел поговорить с тобой для твоего же блага. Ты, конечно, и сам не считаешь, что твои двадцать тысяч гладиаторов повергнут Рим в трепет. Разумеется, ты этого не думаешь. Ты рассчитываешь на то, что слово «свобода» привлечет под твои знамена огромную массу рабов. Но пусть число этих рабов достигнет ста, ста пятидесяти тысяч (а этого никогда не будет), пусть они благодаря тебе будут спаяны железной дисциплиной, пусть они будут доблестно сражаться, воодушевленные мужеством отчаяния. Пусть будет так! Но неужели ты веришь, что они победят четыреста тысяч легионеров, покоривших владык Азии и Африки, и что эти легионеры, свободные граждане, живущие по всей Италии на своем клочке земли, в своем доме, не будут с величайшим ожесточением драться с рабами, лишенными всякого имущества, с людьми, победа которых грозит им разорением? Вы будете сражать-

ся, движимые отчаянием, они — инстинктом самосохранения, вы — за то, чтобы получить права, они — за сохранение своей собственности. Кому достанется победа, угадать нетрудно. Численно они превосходят вас, а кроме того, в каждом городе, в каждой муниципии у них окажутся союзники, а у вас — враги. К их услугам — все богатства государственной казны и, что еще важнее, крупные состояния патрициев, на их стороне авторитет римского имени, искусство опытных полководцев, интересы всех городов и всех римских граждан, несчетное количество судов республики, вспомогательные войска, собранные со всех концов мира. Достаточно ли будет твоей доблести, твердости и твоего великого ума, чтобы внести порядок и дисциплину в толпы упрямых, диких варваров, пришельцев из разных стран, не связанных благородными традициями или иными, материальными узами и даже не вполне понимающих те цели, к которым ты стремишься? Я поверил было на минуту, что это тебе удастся, но нет, это решительно невозможно... Ты наделен крепкой волей и умом и вполне способен командовать войсками — я это признаю. Но добьешься ты только того, что скроешь на время недостатки своего войска, как скрывают язвы на теле. Ты можешь поколебать у противника надежду на победу, но, совершив чудеса мудрости и доблести, одержишь ли ты победу?

— Ну так что ж! — воскликнул Спартак с величественным равнодушием.— Я умру славной смертью за правое дело, и кровь, пролитая нами, оплодотворит древо свободы, выжжет новое клеймо позора на лбу угнетателей, породит бесчисленных мстителей. Пример для подражания — вот лучшее наследство, которое мы можем оставить потомкам.

— Великое самопожертвование, но бесплодная и напрасная жертва. Я показал тебе, что средства, которыми ты располагаешь, недостаточны для достижения цели, и я докажу тебе, что и сама твоя цель — плод возбужденного воображения, манящая мечта, неуловимый для человечества призрак: издали он кажется живым, влечет, но убегает от тебя тем дальше, чем упорнее ты гонишься за ним. Когда ж тебе кажется, что ты уже настиг его, он вдруг исчезает у тебя на глазах. С тех пор как люди стали жить совместно, исчезла свобода и возникло рабство, ибо каждый закон, ограничивая и сужая права одного в пользу всех, тем самым посягает на свободу отдельного человека. Повсюду и всегда самый сильный и самый хитрый будет господствовать над толпой, и всегда найдется простой народ, готовый повиноваться. Даже самые лучшие, разумнее всего устроенные республики не могут избегнуть этого закона, источник которого — в самой природе человека; тому свидетельство бесславный конец Фив, Спарты и Афин. В самой нашей Римской республике, основанной на

принципе верховной власти народа, всю власть, как ты видишь, зажала в кулак кучка патрициев,— они владеют всеми богатствами, а следовательно, на их стороне и сила; они устроили так, что власть над республикой стала передаваться по наследству в их касте. Можно ли считать свободными четыреста тысяч римских граждан, у которых нет хлеба и крова, нет одежды, чтобы укрыться от зимней стужи? Они — жалкие рабы первого встречного, кто пожелает купить их голос; право голоса — вот единственное достояние, единственное богатство этих нищих повелителей мира. Поэтому слово «свобода» лишено у нас смысла. Это струна, которая всегда будет находить отзвук в сердцах масс, но иной раз именно тираны прекрасно умеют играть на этой струне. Спартак, я страдаю от наглого высокомерия патрициев, сочувствую горю и мукам плебеев и вижу, что только на гибели первых может быть основано благополучие последних; чтобы уничтожить господство касты олигархов, надо поощрять страсти плебеев, но держать их в узде и руководить ими властно, с железной твердостью. И так как человек человеку волк, так как род человеческий разделен на волков и ягнят, коршунов и голубков, на пожирающих и пожираемых, то я уже сделал выбор и поставил себе определенную цель. Не знаю, удастся ли мне разрешить такую трудную задачу, но я задумал захватить власть и в корне изменить судьбы обеих сторон: сделать угнетателей — угнетенными, пожирающих — пожираемыми.

— Стало быть, ты, Цезарь, отчасти разделяешь мои взгляды?

— Да, я жалею рабов и всегда был к ним снисходителен, я сочувствую гладиаторам и, если устраивал зрелища для народа, никогда не допускал, чтобы гладиаторы варварски убивали друг друга ради удовлетворения необузданных инстинктов толпы. А чтобы достигнуть цели, которую я поставил перед собой (если только мне когда-нибудь удастся достигнуть ее), понадобится гораздо больше искусства, чем насилия, больше ловкости, чем силы, понадобятся и смелость и осторожность — неразлучные спутники при всяком опасном начинании. Я чувствую, что мне предназначено достигнуть высшей власти, я должен, я хочу ее достигнуть и достигну. Мне надо обращать себе на пользу всякую силу, встречающуюся на моем пути, подобно тому как ручей собирает в свое лоно все притоки и вливается в море бурной, могучей рекой И вот я обращаюсь к тебе, доблестный Спартак, как к человеку, которому судьбой предначертаны великие деяния. Скажи, согласен ли ты оставить безумную мысль о невозможном восстании и вместо этого стать помощником и спутником счастья Цезаря? У меня есть своя звезда — Венера, моя прародительница, она ведет меня по тропе жизни и предрекает

мне высокое назначение. Рано или поздно я получу управление какой-либо провинцией и командование легионами, буду побеждать и получать триумфы, стану консулом, буду низвергать троны, покорять народы, завоевывать царства...

Возбужденная речь Цезаря, его решительное лицо, сверкающие глаза, взволнованный голос, глубокая убежденность, звучавшая в его речи,— все это придавало его облику такую величавость и значительность, что Спартак на мгновение был как бы околдован.

Цезарь остановился на минуту, и Спартак, словно освободившись от власти собеседника, спросил суровым и проникновенным голосом:

— А что будет потом?

В глазах Цезаря вспыхнуло пламя. Побледнев от волнения, он дрожащим голосом, но твердо произнес:

— А потом... власть над всем миром!

Короткое молчание последовало за этими словами, в которых сказалась вся душа будущего диктатора. С юных лет в нем жила только одна эта мысль; к этой цели были направлены все его стремления, каждое слово, весь его необычайный ум, всепокоряющая воля.

— Откажись от своего замысла, оставь его,— сказал Цезарь, вновь обретая спокойствие.— Оставь его, дело твое обречено на гибель в самом зародыше: Метробий не замедлит сделать консулам донос. Убеди своих товарищей по несчастью претерпеть все для того, чтобы у них осталась некоторая надежда завоевать свои права законным путем, а не с оружием в руках. Будь моим другом, ты последуешь за мной в походах, которые мне будет поручено совершить, ты возглавишь храбрых воинов и проявишь в полном блеске необыкновенные воинские способности, которыми тебя наградила природа.

— Невозможно, невозможно!..— воскликнул Спартак.— Благодарю тебя от всей души, Гай Юлий, за твое уважение ко мне и за твои лестные предложения, но я должен идти по пути, указанному мне судьбой. Я не могу и не хочу покинуть моих братьев по рабству. Если бессмертные боги на Олимпе озабочены судьбами людей, если там, наверху, еще существует справедливость, которой здесь больше нет, наше дело не погибнет. Если же люди и боги будут сражаться против меня, я не покорюсь и, как Аякс, сумею пасть мужественно, со спокойной душой.

Цезарь вновь почувствовал невольное восхищение и, крепко пожав руку Спартаку, сказал:

— Да будет так! Если ты столь бесстрашен, я предсказываю тебе счастливый удел — я знаю, насколько бесстрашие помогает избегать несчастий. Тем искренней я желаю, чтобы тебе сопут-

ствовало счастье, ибо знаю, что счастье играет во всяком деле большую роль, особенно в делах военных. Нынче вечером ты готов считать свое дело погибшим, а завтра вмешательство судьбы может привести его к успеху. Я не могу, я не имею права помешать Метробию; он отправится к консулам и раскроет ваш заговор. Ты же постарайся попасть в Капую раньше гонцов сената, и, может быть, счастье будет на твоей стороне... Прощай.

— Да покровительствуют тебе боги, Гай Юлий... Прощай.

Понтифик и рудиарий еще раз обменялись крепким рукопожатием и, так же как прежде, в молчании, но совсем в ином расположении духа спустились по пустынному переулку к таверне Венеры Либитины. Цезарь расплатился с хозяйкой и направился домой в сопровождении раба. Спартак, созвав своих товарищей, стал с лихорадочной поспешностью отдавать им срочные приказы, которые считал в данном случае наилучшими: Криксу он приказал уничтожить все следы заговора среди римских гладиаторов; Арторикcу — мчаться в Равенну к Гранику. Затем вместе с Эномаем Спартак оседлал двух сильных коней и, взяв с собой пять талантов из кассы Союза угнетенных, чтобы иметь возможность в пути раздобыть новых лошадей, во весь опор поскакал через Капенские ворота в Капую.

Когда Цезарь возвратился и прошел в триклиний, он узнал, что от новых возлияний фалернского Метробий вновь загорелся пламенной любовью к родине и, обеспокоенный долгим отсутствием Цезаря, боясь, как бы с ним не случилось несчастья, отправился к консулу спасать республику. «Пойду прямехонько к консулу»,— заявил он привратнику, но, по словам последнего, шатался из стороны в сторону.

Цезарь долго стоял, погрузившись в глубокое раздумье; потом, придя в спальню, сказал про себя:

«Теперь гладиаторы и гонцы сената будут состязаться в скорости. Как знать, кто придет первым!»

И после короткого раздумья добавил:

«Как часто от самых ничтожных причин зависят важнейшие события! Вот сейчас все зависит от коня!»

Глава десятая

ВОССТАНИЕ

Веселая, богатая, привыкшая к жизни, полной удовольствий, Капуя, столица Кампаньи, самой плодородной, самой цветущей, самой прекрасной провинции во всей Италии, в те времена, о которых мы повествуем, уже находилась в упадке по сравнению с

прежним великолепием и могуществом, которым, до похода Ганнибала в Италию, завидовали ее богатые соперники — Карфаген и Рим.

Капуя, как предполагают, была основана осками [1] примерно за два столетия до основания Рима на чудесных берегах Вултурна и сначала, вероятно, тоже называлась Вултурном. В течение трех столетий она была столицей Союза двенадцати городов, основанных в этом краю, который этруски завоевали у осков, авзонов и аурумов; от этих народов, уже обладавших высокой культурой, Италия заимствовала начала цивилизации гораздо раньше, чем от греков.

Три столетия спустя, а именно в 332 году со дня основания Рима, этруски, теперь уже изнеженные, утратившие энергию под влиянием мягкого климата и щедрой природы, не могли отразить набеги своих соседей — суровых горцев самнитов — и подпали под власть Самния. Самниты заняли их территорию и стали господствовать в покоренных этрусских городах; вероятно, они и назвали город Вултурн Капуей по имени какого-нибудь выдающегося своего вождя. Самниты, получившие господство в Кампанье, но тоже со временем потерявшие свою былую силу, вели постоянные войны с дикими пастушескими племенами близлежащих Апеннин, и через сто лет эти войны привлекли победоносных римских орлов, покоривших к тому времени большую часть Италии. Жители Кампаньи призвали римлян в качестве союзников, и они осели в этой прекрасной провинции, которая получила лишь номинальную независимость и слабое подобие муниципальных прав, фактически же она принадлежала Риму. В Капую стекались в большом числе римские граждане и патрицианские семьи, привлеченные красотой природы и теплой зимой, и в короткое время она возродилась, расцвела, стала богатым, многолюдным городом.

После победы Ганнибала над римлянами у Требии и Тразименского озера и окончательного поражения их при Каннах Капуя перешла на сторону победителя, и он сделал из этого очаровательного города базу для своих дальнейших военных действий. Но вскоре Ганнибал потерпел поражение, и вслед за этим звезда Капуи закатилась. Город вновь подпал под власть римлян; часть его жителей перебили, часть изгнали или же продали в рабство, а Капую заселили колонистами — горцами и землепашцами из окрестностей. Колонисты были сторонниками римлян и оставались верными Риму, когда он попадал в трудное положение.

---

[1] О с к и — древнее италийское племя, первоначально населявшее одну из областей Южной Италии.

Прошло сто тридцать восемь лет. Всемогущее покровительство Суллы и созданные им вокруг Капуи колонии легионеров помогли ей вернуть свое былое благоденствие. Теперь в городе было около ста тысяч жителей; его опоясывали прочные стены, общая протяженность которых достигала шести миль; в городе были прекрасные улицы, а на них — богатейшие храмы, грандиозные портики, дворцы, бани, амфитеатры. Своим внешним видом Капуя не только соперничала с Римом, но даже превосходила его, тем более что над ней всегда сияло солнце; природа, одарившая ее чудесным мягким климатом, была далеко не столь щедра к семи холмам, на которых гордо возвышался прославленный вечный город Ромула.

Итак, 20 февраля 680 года от основания Рима, на исходе дня, когда солнце, окруженное воздушной грядой розовых, белоснежных, багряных облаков, светившихся фосфорическим блеском, медленно закатывалось за вершины холмов, спускавшихся за Литерном к морю, на улицах Капуи царили обычные в этот час оживление, суета, толкотня. Ремесленники заканчивали свою работу, закрывались лавки, горожане выходили из дому, другие возвращались домой; на смену кипучей дневной деятельности близились наконец тишина и покой ночи.

Граждане всех возрастов и положения, проходившие по широкой и красивой Албанской улице, которая тянулась от Флувиальских до Беневентских ворот и делила город почти пополам, на мгновение останавливались, изумленно глядя вслед отряду из десяти всадников с декурионом во главе, летевшему во весь опор со стороны Аппиевой дороги; лошади были все в грязи и пыли, из ноздрей их валил пар, удила были в пене — все свидетельствовало о том, что всадники мчались с каким-то особо важным поручением.

— Клянусь скипетром Юпитера Тифатского,— сказал один пожилой гражданин своему молодому спутнику,— мне довелось видеть такую скачку много лет назад, когда гонцы привезли вести о победе, одержанной Суллой в окрестностях нашего города, у храма Дианы Тифатской, над консулом Норбаном, сторонником Мария.

— Любопытно, какие вести везут вот эти всадники! — сказал юноша.

— Едут, должно быть, из Рима,— высказал предположение кузнец, снимая с себя кожаный прожженный фартук, который испокон веков носят все кузнецы.

— Везут, верно, какую-нибудь новость.

— Может, какая опасность нам грозит?

— Или раскрыли наш заговор? — побледнев, сказал вполголоса своему товарищу молодой гладиатор.

Тем временем декурион и десять всадников, усталые, измученные долгой дорогой, проехав по Албанской улице, свернули на улицу Сепласия — другую очень красивую улицу, где находились многочисленные лавки парфюмерных товаров: благовоний и притираний, помад и эссенций, которыми Капуя снабжала всю Италию, и особенно Рим, к удовольствию матрон, раскупавших все эти товары. На середине улицы Сепласия стоял дом Меттия Либеона, римского префекта, управлявшего городом.

Всадники остановились у этого дома, декурион спешился, вошел в портик и потребовал, чтобы о нем тотчас же доложили, так как он должен передать префекту срочные письма от римского сената.

Вокруг собралась толпа любопытных. Одних удивлял жалкий вид всадников и лошадей, измученных скачкой; другие строили догадки, зачем приехал отряд и почему он так спешил; третьи пытались завязать разговор с солдатами, тщетно пробуя что-нибудь выведать у них.

Все попытки и догадки праздных капуанцев не привели ни к чему. Из скупых, отрывистых слов, которые им с трудом удалось вытянуть у солдат, они узнали только то, что отряд прибыл из Рима; это известие разожгло любопытство толпы, но нисколько не разъяснило таинственного события.

Вдруг несколько рабов вышли из дома префекта и быстро направились в разные стороны по улице Сепласия.

— Ого! — воскликнул кто-то из толпы.— Дело-то, выходит, нешуточное!

— Какое дело?

— Да кто же его знает...

— Глядите, как бегут рабы префекта!.. Будто олени спасаются от борзых в лесу на Тифатской горе!

— Стало быть, случилось что-то важное.

— Ну понятно. Куда ж это помчались рабы?

— Вот тут-то и загвоздка! Попробуй угадай!

— Эх, кабы узнать! С охотой отдал бы за это десять банок самых лучших своих румян,— сказал толстый, краснощекий торговец благовониями и косметикой, вышедший из соседней лавки; он пробрался вперед, горя желанием что-нибудь выведать.

— Ты прав, Кальмис,— заметил какой-то капуанец,— ты прав: произошло что-то очень серьезное, это несомненно. А вот мы ничего не можем узнать, хотя нам-то нужно знать, что случилось. Просто невыносимо!

— Ты думаешь, грозит какая-нибудь опасность?

— А как же! Разве сенат отправил бы ни с того ни с сего целый отряд всадников да приказал им лететь во весь дух? Наверное, немало лошадей они загнали в дороге.

— Клянусь крыльями Ириды, вестницы богов, я что-то вижу вон там...

— Где, где видишь?

— Вон там, на углу Албанской улицы...

— Да помогут нам великие боги! — воскликнул, побледнев, торговец благовониями.— Ведь это военный трибун!

— Да, да... Это он! Тит Сервилиан!..

— Посмотри, как он спешит вслед за рабом префекта!

— Что-то будет!

— Да покровительствует нам Диана!

Когда военный трибун Тит Сервилиан вошел в дом префекта, улицу Сепласия уже запрудила толпа, и всю Капую охватило волнение.

А в это время вдоль акведука, который доставлял в Капую воду с близлежащих холмов и на довольно большом расстоянии тянулся у самых городских стен, ехали верхом два человека могучего сложения; оба они тяжело дышали, были бледны, испачканы грязью и пылью; по одежде и оружию в них легко было признать гладиаторов.

Это были Спартак и Эномай; они выехали из Рима в ночь на шестнадцатое того же месяца, скакали во весь опор, меняя лошадей на каждом привале, и довольно скоро прибыли в Суэссу-Пемпетию, но здесь их опередил декурион с десятью всадниками — он мчался в Капую предупредить префекта о готовившемся восстании. Гладиаторам пришлось не только отказаться от мысли сменить лошадей, но вдобавок время от времени они должны были сворачивать с Аппиевой дороги на боковые проселки.

В одном месте им удалось купить двух лошадей, и благодаря силе воли и сверхчеловеческой твердости характера они продолжали путь, то сворачивая на проселки, то блуждая, то наверстывая потерянное время скачкой напрямик — там, где Аппиева дорога делала повороты и петли, удлинявшие путь солдатам,— и наконец выехали на дорогу, ведущую из Ателлы в Капую.

Они надеялись, что опередили гонцов сената на час — это было бы победой и великой удачей! Но вдруг в шести милях от скал, где берет начало Кланий, примерно в семи милях от Капуи, лошадь, на которой скакал Спартак, обессилев, упала, увлекая за собой седока. Желая поддержать лошадь, Спартак обхватил ее шею, но несчастное животное опрокинулось, придавив ему руку, и плечо у него оказалось вывихнутым.

Несмотря на сильную боль, Спартак ничем не выдал своих страданий, и только легкие подергивания его бледного лица сказали бы внимательному взгляду, как он мучается. Однако физическая боль была ничто в сравнении с душевными муками, терзавшими этого человека железной воли. Неожиданная неудача

привела его в отчаяние: он надеялся добраться до школы Лентула Батиата на полчаса раньше своих врагов, теперь же он приедет после них, и на его глазах будет разрушено, уничтожено здание, над сооружением которого он упорно работал пять лет.

Вскочив на ноги, Спартак, ни минуты не думая о вывихнутой руке, испустил вопль отчаяния, похожий на рев смертельно раненного льва, и мрачно произнес:

— Клянусь Эребом, все, все кончено!..

Эномай слез с лошади, подошел к Спартаку и заботливо ощупал его плечо, желая удостовериться, что ничего серьезного не случилось.

— Что ты!.. Что ты говоришь!.. Как это может быть, чтобы все было кончено, когда наши руки свободны от цепей и в руках у нас мечи? — пытался он успокоить Спартака.

Спартак молчал; потом, бросив взгляд на коня Эномая, воскликнул:

— Семь миль! Осталось всего семь миль, а мы — да будут прокляты враждебные нам боги! — должны отказаться от надежды приехать вовремя! Если бы твой конь был в силах нести нас обоих еще три-четыре мили, остальной путь мы быстро прошли бы пешком. Ведь мы и так выиграли у наших врагов один час, да после прибытия гонцов им понадобится по крайней мере еще час, чтобы отдать всякие приказы и попытаться сокрушить наши планы.

— Ты рассчитал верно,— ответил германец, потом, повернувшись к своей лошади, заметил: — Но сможет ли это бедное животное нести нас обоих рысью хотя бы две мили?

Гладиаторы осмотрели несчастную лошадь и убедились, что она едва жива... Она тяжело дышала, судорожно поводя боками, от нее шел пар. Ясно было, что и вторая лошадь скоро последует за первой; ехать на ней — значило подвергаться опасности сломать не только руку, но и голову. Посоветовавшись, гладиаторы решили бросить лошадь и идти в Капую пешком.

Изнуренные, ослабевшие от долгой скачки и от голода (они почти ничего не ели несколько дней), гладиаторы с лихорадочной поспешностью пустились в путь, чтобы поскорее преодолеть расстояние, отделявшее их от Капуи. Они шли молча, оба были бледны, с обоих лил пот, но воля их не ослабевала; они шли со стремительной быстротой и меньше чем в полтора часа добрались до городских ворот. Тут они ненадолго остановились: им надо было перевести дух и немного прийти в себя, чтобы не привлекать внимания стоявшей у ворот стражи, которая, возможно, уже получила распоряжение наблюдать за входящими в город и задерживать людей, подозрительных по виду и поведению. Затем они снова пустились в путь, и, входя в ворота, оба старались казаться

самыми обыкновенными голодными оборванцами, но сердце у них колотилось, по лбу стекали капли холодного пота от томившей их невыразимой тревоги.

В ту минуту, когда они вошли под арку ворот, Спартак в предвидении возможного ареста уже имел наготове план действий: надо в мгновение ока схватить мечи и кинуться на стражу — убить, ранить, но любой ценой проложить себе дорогу и добежать до школы гладиаторов. Зная силу Эномая и свою собственную, рудиарий не сомневался в успехе своего замысла. А двенадцать легионеров, стоявших у заставы, почти все старые инвалиды, вряд ли могли бы оказать достаточное сопротивление мощным ударам мечей двух искусных гладиаторов. Однако эта отчаянная мера была не очень-то желательна. Когда Спартак подошел к воротам, его неукротимое сердце, еще не знавшее страха, хотя он много раз смотрел смерти в глаза, его отважное сердце, никогда не трепетавшее в минуту грозной опасности, билось с такой силой, что казалось, вот-вот разорвется.

Два стража спали, растянувшись на деревянных скамьях; трое играли в кости, присев на мраморных ступенях, которые вели к крепостному валу, а двое других — один, развалившись на скамье, другой стоя — болтали между собой и зубоскалили, глядя на прохожих, входивших в город или выходивших оттуда.

Впереди гладиаторов, в двух шагах, шла бедная старуха крестьянка и несла несколько головок мягкого сыра, уложенных в круглые плетеные корзиночки. Один из легионеров сказал, ухмыляясь:

— Рано ты идешь на рынок, старая колдунья!

— Да благословят вас боги! — смиренно ответила старуха, продолжая свой путь.

— Посмотри-ка на нее! — насмешливо воскликнул другой легионер.— Вот красавица! Ни дать ни взять Атропос, самая старая и самая уродливая из трех парок!

— А какая у нее морщинистая кожа, будто из старого пергамента, да еще такого, что покоробился на огне.

— Подумать только — она продает сыр! Да я бы его в рот не взял, хоть озолоти меня!

— Ну ее к Эребу, эту мерзкую старуху, вестницу несчастья! — воскликнул один из игравших и с досадой бросил на ступеньку деревянный стакан, в котором лежали игральные кости; кости высыпались и покатились на землю.— Зловредная старуха! Все это из-за нее!.. Вот уже третий раз выходят одинаковые цифры. Проклятая «собака»!

В эту минуту Спартак и Эномай, едва дыша от волнения, мертвенно-бледные, стараясь стать незаметными, проходили под сводом ворот.

— А вот и почетный конвой старухи парки! — закричал, указывая на них, один из стражей.— Да, клянусь Юпитером Охраняющим, эти двое бродяг гладиаторов до того грязны и худы, словно только что вылезли из Стикса!

— Хоть бы вас поскорее дикие звери растерзали, проклятый убойный скот! — воскликнул легионер, проигравший в кости, и энергично встряхнул стакан, решив снова попытать счастья.

Спартак и Эномай, ничего не ответив на обидные слова, прошли мимо стражей и уже миновали первую арку, где на особых цепях была подвешена подъемная решетка, затем миновали проход, где начиналась лестница, поднимавшаяся к валу, и уже намеревались пройти вторую арку, в которой, собственно, и находились ворота в город, как вдруг увидели, что со стороны города навстречу им спешит центурион в сопровождении тринадцати легионеров в полном вооружении — в шлемах, в латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, шагавший впереди, также был в боевом вооружении и держал в руке жезл, знак своего звания; войдя под арку ворот, он скомандовал:

— К оружию!

Сторожевые легионеры вскочили; и, хотя среди них произошло некоторое замешательство, они выстроились в шеренгу с быстротой, которую трудно было от них ожидать.

По знаку центуриона Спартак и Эномай остановились; сердце у них сжалось от отчаяния. Отступив на несколько шагов, они переглянулись, и рудиарий успел удержать германца, уже схватившегося за рукоять меча.

— Разве так несут охранную службу, негодяи? — гулко разнесся под сводом строгий голос центуриона среди воцарившегося глубокого молчания.— Разве так несут охрану, бездельники? — И он ударил жезлом одного из двух спавших на скамье легионеров, которые с опозданием заняли свое место в строю.— А ты,— добавил он, повернувшись к декану, стоявшему с весьма смущенным видом на левом фланге,— ты, Ливий, очень плохо исполняешь свои обязанности и не следишь за дисциплиной. Лишаю тебя звания начальника поста. Будешь теперь подчиняться Луцию Мединию, декану второго отряда, который я привел для усиления охраны этих ворот.— И, помолчав, он сказал: — Гладиаторы угрожают восстанием. Сенатские гонцы сообщили, что дело может оказаться очень серьезным. Поэтому надо опустить решетку, запереть ворота, держаться начеку, как во время войны, расставить часовых и вообще действовать, как положено, когда угрожает опасность.

Пока новый начальник поста Луций Мединий выстраивал весь отряд в две шеренги, центурион, насупив брови, принялся допрашивать Спартака и Эномая:

— Вы кто такие? Гладиаторы?

— Гладиаторы,— твердым тоном ответил Спартак, с трудом скрывая мучительную тревогу.

— И, конечно, из школы Лентула?

— Ошибаешься, доблестный Попилий,— ответил Спартак, и проблеск надежды засветился в его глазах.— Мы на службе у префекта Меттия Либеона.

— Ты меня знаешь? — удивленно спросил центурион.

— Я много раз видел тебя в доме нашего господина.

— В самом деле...— заметил Попилий, пристально вглядываясь в гладиаторов. Однако наступившая темнота скрывала их черты, и он мог различить только гигантские фигуры.— В самом деле, мне кажется...

— Мы германцы, приставленные для услуг к благородной матроне Лелии Домиции, супруге Меттия, мы постоянно сопровождаем ее носилки.

За четыре года службы в школе Лентула Батиата Спартак успел привлечь в Союз угнетенных нескольких гладиаторов, принадлежащих семьям патрициев в Капуе, и поэтому он хорошо знал двух гигантского роста гладиаторов-германцев, рабов Меттия Либеона; они рассказывали ему о порядках и обычаях в доме префекта. Легко понять, с какой радостью Спартак, пользуясь темнотой, ухватился теперь за эту хитрость,— это был единственный путь к спасению дела, близкого к гибели.

— Верно! — подтвердил центурион.— Ты говоришь правду. Теперь я вас узнаю.

— Даже, представь себе... я помню, что встречал тебя,— добавил Спартак с деланным простодушием,— в самый тихий час ночи у входа в дом трибуна Тита Сервилиана. Я с товарищем сопровождал туда носилки Домиции. Да уж наша госпожа так часто совершает таинственные ночные прогулки, что...

— Замолчи ты, ради твоих варварских богов, мерзкий кимвр! — закричал Попилий, не желая допустить, чтобы в присутствии легионеров сплетничали о не слишком добродетельном поведении жены префекта.

Минуту спустя центурион спросил Спартака:

— А откуда вы сейчас идете?

Спартак замялся было, но тотчас ответил самым естественным тоном:

— С куманской виллы нашего господина: сопровождали груз драгоценной утвари. Возим ее туда со вчерашнего дня.

— Хорошо,— ответил Попилий после некоторого раздумья.

Вновь наступило молчание, и опять его нарушил центурион, спросив гладиаторов:

— А вам ничего не известно о восстании? Ну, о том, что затеяли в школе Лентула?

— А что же мы можем знать? — самым наивным тоном ответил Спартак, словно услышал совершенно непонятный для него вопрос.— Если буйные и дерзкие ученики Лентула и решились на какое-нибудь сумасбродство, они, конечно, не станут нам рассказывать об этом — ведь они завидуют нашему счастью. Нам-то очень хорошо живется у нашего доброго господина.

Ответ был правдоподобен, и Спартак говорил так непринужденно, что центурион перестал колебаться. Однако он тут же добавил:

— Но если сегодня вечером нам действительно угрожает столь дерзкое восстание... Мне просто смешна мысль о восстании гладиаторов, но если это правда, мой прямой долг принять все зависящие от меня меры предосторожности. Приказываю вам сдать ваши мечи... Хотя добрейший Меттий обращается со своими рабами очень хорошо, гораздо лучше, чем того заслуживает этот сброд, особенно вы, гладиаторы, подлые люди, способные на что угодно... Отдайте сейчас же мечи!..

Услышав этот приказ, вспыльчивый и неосторожный Эномай чуть было не погубил все дело.

Он в ярости схватился за обнаженный уже меч, но Спартак спокойно взял правой рукой клинок Эномая, левой извлек из ножен свой и с болью в душе почтительно подал центуриону оба меча. Чтобы не дать времени Эномаю выдать их каким-нибудь возгласом, он поспешно заговорил с Попилием:

— Нехорошо ты поступаешь, Попилий! Зачем сомневаешься в нас? Я думаю, префект, наш господин, будет недоволен таким недоверием. Ну, это дело твое. Вот наши мечи, дай нам дозволенье вернуться в дом Меттия.

— Как и что я сделал, презренный гладиатор, я дам отчет не тебе, а твоему господину. Убирайтесь отсюда!

Спартак сжал руку дрожащего от гнева Эномая и, поклонившись центуриону, направился вместе с германцем в город; они шли быстрым шагом, стараясь, однако, не возбуждать никаких подозрений.

Еле переводя дух после всех пережитых волнений и опасностей, которых им чудом удалось избежать, оба гладиатора вышли на Албанскую улицу, и тут их внимание привлекло необычное движение, шум, беготня и волнение, царившие в городе; они поняли, что заговор раскрыт и, несмотря на все свои усилия, они придут в школу Батиата слишком поздно.

Отойдя от ворот на выстрел из лука, Спартак с Эномаем свернули влево, на широкую и прямую улицу, на которой стояли великолепные дворцы. Стремительно пройдя ее всю, они сверну-

ли направо, в уединенную тихую улицу, а оттуда — в запутанный лабиринт переулков; чем дальше они углублялись в него, тем переулки становились темнее, грязнее и у́же. Наконец они добрались до школы Лентула Батиата. Школа помещалась на окраине Капуи, близ крепостной стены, как раз в центре переплетающихся друг с другом переулков, о которых мы только что говорили.

На первых порах в этой школе было всего несколько сот учеников, но мало-помалу она разрослась, быстро увеличивая благосостояние владельца. Помещалась школа в многочисленных строениях, мало чем отличавшихся друг от друга и внешним своим видом и внутренним устройством. Каждое из этих строений, предназначенных для одной и той же цели, состояло из четырех корпусов, окружавших широкий внутренний двор, в центре которого гладиаторы упражнялись, когда не было дождя; в ненастную погоду они занимались гимнастикой и фехтованием в больших залах, отведенных для подобных занятий.

В четырех флигелях, замыкавших двор со всех четырех сторон, как в верхних, так и в нижних этажах вдоль длиннейшего коридора шел нескончаемый ряд комнатушек. В каждой из них мог с трудом поместиться один человек; в этих клетушках на подстилках из сухих листьев или соломы спали гладиаторы.

Во всех строениях, кроме зала для фехтования, имелась еще одна большая комната, служившая складом оружия. Ключи от этих складов, снабженных железной решеткой и прочными дубовыми дверями, ланиста держал при себе; в складах хранились щиты, мечи, ножи, трезубцы и другие виды оружия, которым ланиста обязан был снабжать гладиаторов, посылая их сражаться в амфитеатрах.

В больших залах, где размещалось по триста пятьдесят — четыреста человек, поддержание порядка возлагалось на рудиария или на ланисту, которого Лентул нанимал вне школы или назначал из среды гладиаторов. Обязанности стражи несли обычно старые солдаты, назначаемые на эту должность префектом, а для черной работы имелось определенное количество доверенных рабов Лентула.

Восемнадцать или двадцать домов, построенных для школы без всякой заботы о красоте архитектуры, сообщались друг с другом посредством узких улочек и переулочков, которые некогда находились в черте города. Но после попытки к восстанию, происшедшей за двадцать восемь лет до тех событий, о которых мы повествуем (вдохновителем восстания был римский всадник, называвший себя Вецием или Минуцием), все эти дома, по требованию римского префекта и сената, обнесли высокой стеной. Таким образом, школа Лентула с ее двумя десятками строений,

огороженных стенами высотою в двадцать восемь, а местами в тридцать футов, была своего рода крепостью, особым городком внутри большого города. Все улицы, которые вели к школе гладиаторов, были предместьем городка гладиаторов, и мирные граждане избегали их, как зачумленных.

Вечером 20 февраля произошел совершенно небывалый до этого случай: все гладиаторы остались в своих помещениях внутри школы. Одни находились в фехтовальном зале и, упражняясь в искусстве нападения и защиты, сражались деревянными мечами — единственным безобидным оружием, которым им было разрешено пользоваться во время обучения; другие бродили по двору, собираясь то тут, то там в большие отряды. Они занимались гимнастикой или же пели свои родные таинственные песни, слова и смысл которых сторожа не понимали; иные прогуливались по переулкам, соединявшим строения школы, а некоторые толпились в коридорах или же спали в своих комнатушках.

Все эти несчастные, привыкшие страдать и скрывать свои чувства, старались казаться равнодушными, однако достаточно было пристально всмотреться в их лица, чтобы понять, что все они чем-то взволнованы, о чем-то тревожатся, на что-то надеются и ждут каких-то важных и необычайных событий.

— Разве гладиаторы сегодня не выйдут на прогулку? — спросил одноглазый и безрукий сторож, старый легионер Суллы, другого ветерана, у которого все лицо было обезображено шрамами.

— А кто их знает!.. Как будто собираются провести вечер в школе. Вот чудеса!

— Странно! Клянусь могуществом Суллы, это странно!

— Даже очень странно, и, признаться, я беспокоюсь.

— Что? Неужели опасаешься бунта?

— Да как тебе сказать... Не то чтобы настоящего восстания или бунта — полагаю, что настоящего восстания не может быть,— но какие-нибудь беспорядки, смута... Сказать по правде, я не только опасаюсь, но даже жду, что так и будет.

— Пусть попробуют! Клянусь фуриями ада, у меня руки так и чешутся! И если...

Но тут легионер, прервав разговор, сделал знак своему сотоварищу, чтобы тот замолчал, так как к ним подходил руководитель и владелец школы Лентул Батиат.

Лентулу Батиату шел тридцать первый год. Он был высок ростом, худощав и бледен; взгляд его маленьких черных глазок был хитрым и недобрым; на всем облике лежал отпечаток расчетливости и жестокости. Свое заведение Лентул Батиат унаследовал от отца, сумевшего благодаря стечению счастливых обстоятельств превратить небольшую школу с несколькими сотнями

гладиаторов в первоклассную гладиаторскую школу, славившуюся по всей Италии. Торгуя кровью и жизнью человеческой, он нажил большое состояние.

После смерти отца, умершего несколько лет назад, сын стал владельцем школы; не удовлетворившись богатым отцовским наследством, он решил удвоить капитал, успешно продолжая «честный» промысел своего родителя.

Когда Лентул подошел, оба легионера почтительно поклонились ему; ответив на их приветствия, он спросил:

— Не знает ли кто-нибудь из вас, по какой такой причине гладиаторы, против обыкновения, почти все остались в школе? В этот час школа всегда пустеет.

— Не... не знаю...— пробормотал один из легионеров.

— Да мы не меньше тебя удивляемся этому,— ответил более откровенно другой.

— Что такое происходит? — спросил Батиат, насупив брови, с мрачным и свирепым выражением лица.— Не готовится ли что-нибудь?

Легионеры молчали. Ответом на вопрос торговца гладиаторами было появление одного из его рабов — бледный, с выражением ужаса на лице он шел впереди отпущенника префекта, тоже крайне взволнованного.

Отпущенник был послан своим господином к Лентулу с приказанием немедленно предупредить ланисту об опасности, грозившей не только школе, но и городу и республике. Префект советовал Лентулу строго пресекать всякую попытку нападения на склады оружия, закрыть все ворота школы, а сам в свою очередь обещал прислать Батиату не позже чем через полчаса трибуна Тита Сервилиана с двумя когортами солдат и отрядом капуанской городской стражи.

Услышав такие вести, которые гонец префекта сообщил дрожащим от страха голосом, Лентул Батиат остолбенел и не мог выговорить ни слова, как будто был в беспамятстве... Неизвестно, сколько времени он пребывал бы в оцепенении, если б окружающие не заставили его опомниться, торопя принять энергичные меры против грозящей опасности.

Придя в себя, Лентул немедленно приказал вооружить двести пятьдесят легионеров и двести пятьдесят рабов, обслуживавших школу, стараясь сделать все это незаметно для гладиаторов. Все они поспешили к Фортунатским воротам, служившим для сообщения школы с той частью города, где находился храм Фортуны Кампанской; здесь Лентул должен был дать дальнейшие распоряжения.

Бледный, перепуганный Батиат побежал за оружием и первым примчался к Фортунатским воротам. Постепенно туда подходили

вооруженные рабы и легионеры; он разбивал их на отряды по двадцать — тридцать человек в каждом, поручая командование отрядами своим храбрым ветеранам, и отправлял их охранять склады оружия и выходы из школы.

Лентул принимал все эти меры предосторожности, но в голове у него был полный сумбур, сердце трепетало, потому что никто лучше его не понимал, что представляют собой десять тысяч гладиаторов, на что они способны, как велика и страшна опасность. Прибыл трибун Тит Сервилиан, молодой человек лет двадцати восьми, крепкого сложения; он презирал опасности, отличался большой самонадеянностью и легкомыслием. Чтобы доставить удовольствие префекту и исполнить его просьбу, он сам явился в школу во главе одной из двух когорт, которые находились в его распоряжении в Капуе.

— Ну, что у вас тут происходит? — спросил он.

— Ох! — воскликнул Лентул, испустив глубокий вздох облегчения.— Да защитит тебя Юпитер и да поможет тебе Марс!.. Добро пожаловать!

— Расскажи мне наконец, что здесь произошло... Где бунтовщики?

— Да пока еще ничего не случилось, нет никаких признаков мятежа.

— А что ты сделал? Какие дал распоряжения?

Вкратце рассказав трибуну о своих распоряжениях, Лентул прибавил, что целиком полагается на его мудрость и будет слепо подчиняться его приказам.

Тит Сервилиан, обдумав, что надо предпринять, усилил двадцатью легионерами из своих когорт каждый из отрядов, посланных Лентулом охранять склады оружия и выходы, и приказал запереть все ворота, за исключением Фортунатских — здесь он остался сам с главными силами, состоявшими из двухсот шестидесяти легионеров, готовых прийти на помощь там, где бы они понадобились.

Пока исполнялись все эти распоряжения, стало совсем темно. Гладиаторами овладело сильное волнение; они собирались группами во дворах и переулках, к ним присоединялись всё новые и новые гладиаторы, все они громко разговаривали между собой.

— Запирают склады оружия!

— Значит, нас предали!

— Им все известно!

— Мы пропали! Вот если бы с нами был Спартак!

— Ни он, ни Эномай не приехали — их, наверное, распяли в Риме!

— Беда! Беда!

— Да будут прокляты несправедливые боги!

— Запирают двери!
— А у нас нет оружия!
— Оружия!.. Оружия!..
— Кто даст нам оружие?..

Все возраставший гул голосов десяти тысяч человек, выкрикивавших слова проклятий и брани, вскоре уж напоминал раскаты грома или рев моря в грозу и бурю. Только благодаря трибунам и центурионам (Спартак мудро организовал десять тысяч своих товарищей по несчастью в легионы и когорты, назначив везде начальников) гладиаторы успокоились и разошлись по своим когортам. Когда мрак спустился на землю, в двадцати громадных дворах, где недавно царили беспорядок, шум и отчаяние, наступили тишина и спокойствие.

В каждом из дворов собралась когорта гладиаторов; из-за ограниченности места они построились походной сомкнутой колонной — по шестнадцати человек в глубину и тридцать два в ширину. Они стояли молча, с трепетом ожидая решения трибунов и центурионов, собравшихся на совет в одной из фехтовальных зал. Решалась судьба святого дела, во имя которого все объединились и дали торжественную клятву.

Все это происходило как раз в те минуты, когда Спартак и Эномай, преодолев столько препятствий и опасностей, добрались до школы Лентула. Им пришлось остановиться, так как неподалеку при свете факелов, зажженных неопытными легионерами, опасавшимися заблудиться в лабиринте переулков, вдруг блеснули пики, копья, мечи и шлемы.

— Это легионеры,— вполголоса сказал Эномай Спартаку.

— Да,— ответил рудиарий, у которого сердце сжалось при виде этой картины.

— Значит, опоздали... Школа окружена. Что нам делать?

— Подожди!

И Спартак, напрягая слух, пытался уловить, не донесется ли издали хоть малейший звук голоса или шум, и, широко раскрыв глаза, тревожно следил за движением факелов, которые перемещались по переулкам с востока на запад, постепенно удалялись и наконец совсем исчезли.

Тогда Спартак сказал Эномаю:

— Стой и молчи.

С величайшими предосторожностями, неслышно ступая, он двинулся по переулку к тому месту, где только что прошли римские легионеры; сделав шесть-семь шагов, фракиец остановился; его внимание привлек едва уловимый шорох; он приложил руку щитком ко лбу и, напрягая зрение, через минуту различил какую-то черную массу, двигавшуюся в конце переулка. Тогда наконец он вздохнул с облегчением, осторожно возвратился к Эномаю и,

взяв его за руку, пошел вместе с ним вниз по переулку, повернул налево и, пройдя десять шагов по новой тропинке, остановился и тихо сказал германцу:

— Они еще только начали окружение школы. Сейчас они расставляют отряды солдат на всех перекрестках, но мы лучше их знаем здешние переулки и будем на десять минут раньше их у стены, окружающей школу. С этой стороны стена немного обвалилась, и высота ее не больше двадцати восьми футов. Отсюда мы проберемся в школу.

Так, со спокойствием, которое редко встретишь даже у храбрейших, этот необыкновенный человек отчаянно боролся с превратностями судьбы и каждую минуту черпал в своей мудрости и энергии всё новые и новые силы для спасения дела, которому угрожала такая большая опасность.

Все произошло так, как и предвидел фракиец. Быстро и неслышно пробираясь по темным извилистым переулкам, они с Эномаем достигли стены в намеченном месте. Здесь Эномай с ловкостью, которой трудно было ожидать от такого гиганта, стал взбираться по стене, пользуясь выступами и выбоинами в старой каменной кладке, лишенной штукатурки. Вскоре он добрался до ее гребня и начал спускаться по другой стороне стены, что оказалось труднее подъема. Как только германец скрылся из глаз, Спартак оперся правой рукой о выступающий из стены камень и стал подыматься по этому подобию лестницы. Он забыл о своей вывихнутой левой руке, оперся на нее и, вдруг вскрикнув от острой боли, упал навзничь на землю.

— Что случилось, Спартак? — спросил приглушенным голосом Эномай, уже соскочивший со стены во двор школы.

— Ничего,— ответил рудиарий, усилием воли заставил себя подняться и, не обращая внимания на сильнейшую боль в распухшей руке, снова с ловкостью дикой козы стал подыматься по стене.— Ничего... вывихнутая рука...

— Ах, клянусь всеми змеями ада! — воскликнул, с трудом приглушив свой голос, Эномай.— Ты прав... об этом мы не подумали... Подожди меня... Я сейчас подымусь наверх и помогу тебе.

И он стал уже подыматься, но услышал голос Спартака:

— Ничего... ничего... Говорю тебе, ничего не случилось!.. Не трогайся с места... Я сейчас доберусь к тебе сам... Мне помощь не нужна.

И действительно, едва смолкли эти слова, как над гребнем стены показалась фигура мужественного фракийца, а вслед за этим германец увидел, как Спартак спускается по щербатой стене, точно по лестнице. Наконец одним прыжком фракиец очутился на земле и подошел к Эномаю.

Эномай хотел было спросить у Спартака о руке, но, увидев,

что лицо рудиария бледно до синевы, глаза точно остекленели и он скорее похож на привидение, чем на человека,— только произнес вполголоса:

— Спартак! Спартак! — В этом восклицании прозвучала такая нежность, на какую, казалось, не был способен этот гигант.— Спартак, ты так страдаешь!.. Это выше человеческих сил... Спартак... тебе плохо... сядь вот тут...

Ласково обняв Спартака, германец усадил его на большой камень и прислонил к стене.

Спартак действительно лишился сознания, его доконала жестокая боль в вывихнутой руке, прибавившаяся ко всем физическим и моральным мучениям, которые ему пришлось вынести за последние пять дней. Лицо у него было как у покойника, но холодный, словно мрамор, лоб покрылся каплями пота, побелевшие губы судорожно подергивались от боли, он бессознательно скрипел зубами. Едва лишь Эномай прислонил его к стене, он склонил на плечо голову и застыл неподвижно.

Эномай, суровый германец, волею случая превратившийся в заботливую сиделку, не знал, что делать, и растерянно смотрел на своего друга. Осторожным, мягким движением, не вязавшимся с его мощным торсом, он взял руку Спартака и, тихонько приподняв ее, откинул рукав туники. Оказалось, что рука сильно вздулась, опухла, и Эномай подумал, что сейчас нужно было бы подвесить кисть на перевязи. Он тотчас же приступил к делу и, опустив руку товарища, стал отрывать край своего коричневого плаща. Но, когда вывихнутая рука соскользнула с колена, Спартак, вздрогнув, застонал и открыл глаза; мало-помалу сознание вернулось к нему.

От боли он лишился чувств и от боли пришел в себя. И как только пришел в себя, он посмотрел вокруг и, собравшись с мыслями, насмешливо воскликнул:

— Ну и герой!.. Клянусь Юпитером Олимпийским, Спартак превратился в жалкую бабу! Наших братьев убивают, наше дело гибнет, а я, как трус, падаю в обморок!

С трудом Эномай убедил фракийца, что все вокруг спокойно и они придут вовремя, чтобы вооружить гладиаторов; обморок длился не больше двух минут, но рука была в плохом состоянии.

Крепко забинтовав руку Спартака, германец обвязал длинный конец повязки вокруг шеи фракийца и придал руке горизонтальное положение на уровне груди.

— Вот теперь тебе будет не так больно. А Спартаку хватит одной правой руки, чтобы быть непобедимым!

— Лишь бы нам удалось достать мечи! — ответил фракиец, быстро направляясь к ближайшему дому.

Вскоре оба гладиатора вошли туда: передний зал оказался пустым. Пройдя через него, они вышли во двор.

Там стояли молча, разделенные на когорты, пятьсот гладиаторов. При неожиданном появлении Спартака и Эномая раздался дружный крик радости и надежды.

— Тише! — крикнул Спартак своим могучим голосом.

— Тише! — повторил за ним Эномай.

— Молчите и стойте в порядке; сейчас не время для восторгов,— добавил фракиец.

И, как только настала тишина, он спросил:

— А где трибуны, центурионы, руководители?

— Рядом, в школе Авроры, совещаются, как действовать дальше,— ответил декан, выходя из рядов.— Школа окружена римскими когортами, а склады оружия охраняются многочисленными отрядами легионеров.

— Знаю,— ответил Спартак и, повернувшись к Эномаю, сказал: — Идем в школу Авроры.

Затем, обращаясь к пятистам гладиаторам, собравшимся во дворе, он произнес громко, так, чтобы все слышали:

— Ради всех богов неба и ада, приказываю вам соблюдать порядок и тишину!

Выйдя из Старой школы (так называлось здание, в котором они пробыли несколько минут), Спартак отправился в другую, носившую название «школа Авроры», налево от которой находилась школа Геркулеса; до школы Авроры он дошел очень скоро, по-прежнему в сопровождении Эномая.

Они вошли в фехтовальный зал, где собралось около двухсот предводителей гладиаторов, считая трибунов, центурионов и руководителей Союза угнетенных; при свете немногих факелов они обсуждали план действий, который следовало принять при таком опасном положении.

— Спартак! — воскликнули тридцать голосов при появлении бледного, измученного фракийца.

— Спартак! — повторили остальные, и в голосах их звучали изумление и радость.

— Мы погибли! — сказал председательствовавший на собрании гладиатор.

— Нет еще,— ответил Спартак,— если нам удастся захватить хотя бы один склад оружия.

— Да разве мы сможем?

— Мы безоружны!

— И скоро римские когорты нападут на нас!

— Изрубят всех в куски!

— Есть ли у вас факелы? — спросил Спартак.

— Есть триста пятьдесят или четыреста факелов.

— Вот наше оружие! — воскликнул Спартак, и глаза его засияли от радости.

Через минуту он добавил:

— Среди всех десяти тысяч гладиаторов, собранных в этой школе, вы, несомненно, самые смелые, доблестные воины, и ваши товарищи по несчастью не ошиблись, избрав вас начальниками. Сегодня вечером вы должны доказать это своей отвагой и мужеством. Готовы ли вы ко всему?

— Да, готовы,— единодушно и твердо ответили все двести гладиаторов.

— Готовы ли вы сражаться даже безоружными против вооруженных и пасть в сражении?

— Мы готовы ко всему, мы готовы на все,— повторили с еще большим подъемом гладиаторы.

— Тогда скорей... все факелы сюда. Удвоим, утроим их число, если это возможно. Зажжем их и вооружимся ими. Мы бросимся на стражу ближайшего склада оружия, обратим ее в бегство, подожжем дверь этого склада и получим столько оружия, сколько нам понадобится, чтобы одержать верную и окончательную победу. Нет, клянусь священными богами Олимпа, не все потеряно, когда остается вера; не все потеряно, пока есть мужество; напротив, победа обеспечена, если мы все решили победить или умереть!

И бледное лицо Спартака в этот момент как будто озарил сверхъестественный свет: так сверкали его глаза, так прекрасно было его лицо; вера и энтузиазм воодушевляли этого человека, чьи физические силы как будто уже истощились. Его энтузиазм, словно электрическая искра, проник в сердца собравшихся тут гладиаторов; в мгновение ока все бросились в комнатку, в которой предусмотрительный Спартак посоветовал собрать факелы, имевшиеся не только в школе Авроры, но и в остальных семи школах. Там были факелы из пакли, пропитанной смолой и салом, пучки смолистой драни, вставленные в трубки с воспламеняющимся веществом, факелы из скрученных веревок, пропитанных смолой, и восковые факелы. Гладиаторы размахивали этими факелами, как мечами, затем зажгли их и, полные ярости, решили при помощи такого, казалось бы, жалкого оружия добиться спасения.

А в это время центурион Попилий, усилив все сторожевые посты у ворот города, привел к школе гладиаторов триста легионеров и передал их под начало трибуна Тита Сервилиана. Одновременно к Фортунатским воротам подошло около семисот солдат капуанской городской стражи, находившихся под командой своих центурионов и непосредственно подчиненных префекту Меттию Либеону.

Меттий Либеон был высокий, тучный человек лет пятидесяти; на его свежем, румяном лице запечатлелось желание покоя и мира, стремление к непрерывным эпикурейским наслаждениям в триклинии за чашей и трапезой.

Уже много лет Меттий состоял префектом Капуи и широко пользовался привилегиями, предоставляемыми его высоким и завидным постом. В спокойное время круг его обязанностей был крайне ограничен и не доставлял ему особых хлопот. Гроза застигла префекта врасплох, поразила как человека, еще не вполне пробудившегося от приятнейшего сна: растерявшийся чиновник запутался в событиях, как цыпленок в куче пакли.

Но серьезность положения, чреватого опасностями, необходимость принять безотлагательные решения, страх перед наказанием, энергичные настояния жены, честолюбивой и решительной матроны Домиции, и, наконец, советы отважного трибуна Сервилиана взяли верх, и Меттий, еще не вполне сознавая, что происходит, решился наконец кое-что предпринять, сделать кое-какие распоряжения, совершенно не представляя себе, к чему все это может привести.

В конце концов непредвиденным последствием всех его действий было то, что спешно собравшиеся и плохо вооруженные семьсот солдат городской милиции Капуи потребовали, чтобы их повел в бой сам префект, которому они доверяют как высшему начальнику города. Перепуганный Меттий, обуреваемый страхом, энергично отказывался удовлетворить просьбу отряда, выдвигая различные извиняющие его обстоятельства и придумывая отговорки: твердил, что он человек тоги, а не меча, что он не был с детства обучен искусству владеть оружием и заниматься военным делом, уверял, что его присутствие необходимо во дворце префектуры, чтобы все предусмотреть, обо всем позаботиться и распорядиться. Но под давлением просьб капуанских сенаторов, требований солдат и упреков жены несчастный принужден был покориться, надеть шлем, латы, перевязь с мечом и двинуться с солдатами по направлению к гладиаторской школе, но не как военачальник, который, возглавляя войско, идет сразиться с неприятелем, а как жертва, влекомая на заклание.

Когда отряд капуанской стражи подошел к Фортунатским воротам, навстречу префекту вышел трибун Сервилиан в сопровождении Попилия, Лентула Батиата и другого центуриона, Гая Элпидия Солония, и заявил, что необходимо созвать совет и скорее обсудить план действий.

— Да... совещание, совещание... Легко сказать — совещание... Нужно заранее удостовериться, все ли знают... все ли могут,— бормотал, совсем запутавшись, Меттий; его смущение все больше возрастало от желания скрыть овладевший им страх.

— Потому что... в конце концов...— продолжал он после минутного молчания, делая вид, будто он что-то обдумывает.— Я знаю все законы республики и при случае сумею владеть и мечом... и, если родине понадобится... когда понадобится... могу отдать свою жизнь... но руководить солдатами... вот так... с места в карьер... не зная даже против кого... Как?.. Где?.. Потому что... если бы речь шла о враге, которого видишь... в открытом поле... я знал бы, что делать... я сумел бы сделать... но...

Тут его путаное красноречие иссякло, и, сколько Меттий ни старался, почесывая то ухо, то нос, подыскать слова, чтобы закончить фразу, он не сумел ничего придумать. Так, вопреки всем правилам грамматики, этим словом «но» бедный префект и завершил свою речь.

Трибун Сервилиан улыбнулся; он прекрасно знал характер префекта, видел, в какое затруднительное положение попал Меттий, и, чтобы выручить его и в то же время исполнить все, что наметил сам, сказал:

— Я считаю, что есть только одна возможность избавиться от опасности заговора этой черни, а именно: стеречь и защищать склады оружия; запереть все ворота школы и охранять их, чтобы помешать бегству гладиаторов; загородить все улицы и запереть все городские ворота. Обо всем этом я уже позаботился.

— Ты прекрасно сделал, доблестный Сервилиан, предусмотрев все это,— заметил с важным видом префект, очень довольный, что его избавили от хлопотной обязанности давать распоряжения, а также и от ответственности за них.

— Теперь,— добавил Сервилиан,— у меня остается около ста пятидесяти легионеров. Соединив их с твоими храбрыми солдатами, я мог бы решительно выступить против бунтовщиков, заставить их разойтись, рассеяться и вернуться в свои клетки.

— Прекрасно! Превосходно задумано! Именно это я и хотел предложить!—воскликнул Меттий Либеон, никак не ожидавший, что Сервилиан возьмет на себя руководство всей операцией.

— Что касается тебя, мудрый Либеон, то раз ты из усердия к службе желаешь принять прямое участие в действиях...

— О... когда ты здесь... человек храбрый, испытанный в боях... и еще хочешь, чтобы я домогался... о нет!.. Никогда не будет, чтобы я...

— Так как тебе это желательно,— продолжал трибун, прерывая префекта,— то можешь остаться с сотней капуанских солдат у ворот школы Геркулеса, она отсюда не дальше чем на два выстрела из лука. Вместе с уже поставленными там легионерами вы будете охранять выход...

— Но... ты же понимаешь, что... в общем, я ведь человек тоги... но тем не менее... если ты думаешь, что...

— А-а, понимаю: ты желал бы принять участие в схватке с этой чернью, с которой нам, может быть, придется столкнуться... но все же охрана ворот Геркулеса — дело очень важное, и поэтому я прошу тебя принять на себя выполнение этой задачи.

Затем вполголоса, скороговоркой сказал на ухо Либеону:

— Ты не подвергнешься ни малейшей опасности!

И уже громко продолжал:

— Впрочем, если ты намерен распорядиться иначе...

— Да нет... нет...— произнес, несколько осмелев, Меттий Либеон.— Ступай разгонять бунтовщиков, храбрый и прозорливый юноша, а я пойду с сотней воинов к указанному мне посту, и если кто попытается выйти через эти ворота... если пойдут на меня в атаку... если... то увидите... они увидят... Плохо им придется... хотя... в конце концов... я человек тоги... но я еще помню свои юношеские военные подвиги... и горе этим несчастным... если...

Бормоча и храбрясь, он пожал руку Сервилиану и в сопровождении центуриона и капуанских солдат, переданных в его распоряжение, направился к своему посту, оплакивая в глубине души прискорбное положение, в которое его поставили дурацкие бредни десяти тысяч мятежников, и страстно мечтая о возврате безмятежного прошлого.

А тем временем гладиаторы, то увлекаемые надеждой, то терзаясь отчаянием, все еще стояли во дворах, ожидая приказаний своих начальников, вооруженных факелами и приготовившихся во что бы то ни стало овладеть складом оружия в школе Геркулеса, вход в которую охранялся пятьюдесятью легионерами и рабами, решившими биться насмерть.

Но в ту минуту, когда Спартак, Эномай и их товарищи готовы были ворваться в коридор, ведший к складу оружия, звук сигнала нарушил ночную тишину и печальным эхом отозвался во дворах, где собрались гладиаторы.

— Тише! — воскликнул Спартак, внимательно прислушиваясь и останавливая движением правой руки своих соратников, вооруженных факелами.

Действительно, вслед за звуками фанфары раздался голос глашатая. От имени римского сената он предлагал мятежникам разойтись и вернуться в свои конуры, предупреждая, что в случае неповиновения они после второго сигнала будут рассеяны военными силами республики.

Ответом на это требование был мощный и долгий рев, но объявление глашатая, словно эхо в горах, повторилось многократно у входа во все дворы, где стояли строем гладиаторы.

Спартак несколько минут колебался, собираясь с мыслями. Мрачным и страшным было его лицо, глаза устремлены в землю, как у человека, который советуется с самим собой. Затем он

повернулся к товарищам и громко, так, чтобы все могли его слышать, сказал:

— Если атака, которую мы сейчас предпримем, закончится удачно, мы получим мечи, и они помогут нам завладеть другими складами в школе и одержать победу. Если же нас постигнет неудача, у нас останется только один выход для спасения дела свободы от окончательной гибели. Старшие центурионы обоих легионов выйдут отсюда и возвратятся к нашим товарищам; в случае, если через четверть часа они не услышат нашего гимна свободы, пусть предложат всем молча вернуться в свои комнаты: это будет знаком того, что нам не удалось захватить оружие. Мы же свалим на землю или подожжем калитку, находящуюся на расстоянии половины выстрела из лука от ворот Геркулеса, и, проникнув в харчевню Ганимеда, вооружимся тем, что попадется под руку, преодолеем все препятствия на своем пути и, сколько бы нас ни осталось в живых — сто, шестьдесят, тридцать,— разобьем лагерь на горе Везувий и там поднимем знамя свободы. Пусть наши братья проберутся туда самым коротким путем, безоружные или вооруженные, группами или поодиночке. Оттуда начнется война угнетенных против угнетателей.

После очень короткой паузы, видя, что старшие центурионы колеблются, не решаясь оставить место, где в данную минуту угрожала наибольшая опасность, он прибавил:

— Армодий, Клувиан! Именем верховного руководства приказываю вам идти!

Юноши, склонив голову, скрепя сердце отправились в разные стороны.

Тогда Спартак, обернувшись к своим товарищам, сказал:

— А теперь... вперед!

Он первый вошел в коридор, где находился склад оружия, и вместе с Эномаем, как вихрь, бросился на легионеров, начальник которых, одноглазый и однорукий ветеран, ожидая атаки, кричал:

— Вперед!.. Вперед!.. Ну-ка, гнусные гладиаторы... Впе...

Но он не успел докончить: протянув во всю длину руку, вооруженную толстым и длинным пылающим факелом, Спартак ударил его по лицу.

Старый легионер вскрикнул и отступил, в то время как солдаты делали тщетные попытки поразить мечами Эномая и Спартака, которые с отчаянной дерзостью боролись этим невиданным оружием, сделавшимся страшным в их руках. Они наступали на стражу, теснили ее и наконец отбросили ее от дверей склада.

Тем временем легионеры под предводительством Тита Сервилиана и капуанские солдаты, разделенные на два отряда, которые возглавляли центурионы Попилий и Элпидий Солоний,

после того как снова прозвучали трубы, двинулись одновременно к трем дворам и стали метать дротики в столпившихся там безоружных гладиаторов.

Это была страшная минута. Под густым дождем смертоносных дротиков безоружные гладиаторы с диким воем, проклятиями, ревом отступали к разным выходам из двора и в один голос кричали:

— Оружия!.. Оружия!.. Оружия!..

Ливень из дротиков не утихал. Скоро отступление гладиаторов превратилось в паническое бегство. Началась давка у входов, толкотня в коридорах, гладиаторы мчались к своим конурам, падали, давили, топтали друг друга. Во все концы школы Лентула доносились их ругательства, крики, вопли, просьбы, мольбы, стоны раненых и умирающих.

Избиение гладиаторов в первых трех дворах и их бегство вызвали панику и упадок духа в когортах, находившихся в других дворах; ряды гладиаторов пришли в беспорядок, стали быстро редеть и вскоре совсем расстроились. Будь у этих людей оружие, они могли бы сражаться и умерли бы все до одного или одержали бы полную победу даже над двумя римскими легионами. Но, безоружные, обреченные на избиение, гладиаторы не могли оставаться вместе даже и четверти часа,— каждый думал только о своем спасении.

В это время Спартак и Эномай бок о бок с двумя другими товарищами дрались как львы. Теснота коридора не позволяла сражаться более чем четверым в ряд, и в короткое время им удалось отогнать легионеров от двери; энергично преследуя их, они очень скоро оттеснили легионеров в атрий, где собралось более сотни гладиаторов с факелами. Одних легионеров они окружили, обезоружили и убили, а другие, с обожженными лицами, ослепленные, обратились в бегство; в это время гладиаторы, ворвавшиеся в коридор, свалили факелы в кучу перед дверью оружейного склада, пытаясь поджечь ее и таким образом открыть туда доступ.

Легионеры, воя от боли, разбегались как безумные в разные стороны; некоторые из них оказались в толпе преследуемых гладиаторов и, попав под ноги бегущих, были затоптаны ими, другие же очутились в середине когорт Сервилиана, Попилия и Солония, которые шли сомкнутым строем, преследуя отступавших гладиаторов. Трибун и центурион уже были предупреждены об угрожавшей им опасности, которая могла вырвать из их рук так легко доставшуюся победу. Поэтому Попилий поспешил к школе Геркулеса, бросился в коридор, где уже загорелась дверь оружейного склада, и, сообразив, что действовать мечом против факелов невозможно, приказал своему арьергарду метать

в неприятеля дротики. Это оружие и здесь оказалось столь убийственным, что быстро принесло победу над мужеством восставших. Отряд Спартака отступил, но так как здесь были самые храбрые и сильные гладиаторы, то он отступал в полном порядке, кидая в римлян факелы. Гладиаторы вынимали дротики из тел раненых и убитых товарищей и уносили это оружие с собой; отойдя в глубь коридора к атрию, действуя дротиками, как мечами, они яростно дрались с легионерами за выход из коридора.

Оказавшись вместе с Эномаем и с сотней гладиаторов во дворе, Спартак увидел беспорядочно бегущих гладиаторов. По крикам, воплям и возгласам он понял, что внутри дворов все кончено; оставался лишь один путь к спасению: вырваться из школы и искать убежища на Везувии.

Вернувшись в атрий, он крикнул громовым голосом, который покрыл на мгновение шум боя:

— У кого есть меч, стойте здесь и защищайте выход от легионеров!

Несколько гладиаторов, вооружившись мечами и копьями, отнятыми у сторожей оружейного склада, стали живой стеной у выхода, которым тщетно пытался овладеть отряд Попилия; сам Попилий, раненный в правую руку и в голову, храбро сражался в первом ряду.

— Следуйте за мной! — кричал Спартак и, размахивая высоко в воздухе факелом, подавал этим знак другим гладиаторам.

Быстрым шагом он вместе с Эномаем направился к стене, окружавшей школу,— к тому самому месту, где была узкая и низкая калитка, заколоченная много лет назад. Она могла стать теперь единственным путем к спасению.

Но, чтобы поджечь калитку, потребовалось бы не менее получаса, между тем победители, продвигаясь по всем проходам и переулкам, не дали бы восставшим возможности использовать драгоценные минуты, а у гладиаторов не было ни секир, ни молотков, чтобы выломать калитку. Что же делать? Как открыть возможно скорее этот выход?

В волнении и тревоге все оглядывались по сторонам, ища подходящее орудие.

Вдруг Эномай заметил мраморную колонну, лежавшую неподалеку, и крикнул товарищам:

— Самые сильные, вперед!

И тотчас семь или восемь самых рослых и сильных гладиаторов вышли вперед и стали перед Эномаем; окинув их опытным взглядом, он нагнулся над колонной и, подложив руки под один ее конец, сказал высокому, могучему самниту, почти такому же гиганту, как и он сам:

— А ну-ка, покажи свою силу. Бери эту колонну за другой конец.

Все поняли намерение Эномая. Гладиаторы освободили место перед калиткой, а германец и самнит без труда подняли и перенесли колонну ближе к калитке. Затем, раскачав огромную глыбу, они обрушили ее на калитку, и та затрещала под страшным ударом.

Гладиаторы еще раз таранили дверь, а на третий раз она раскололась и рухнула на землю. Погасив и бросив факелы, они в молчании вышли через этот проход вслед за Спартаком и по темным, узким улицам города направились в харчевню Ганимеда.

Харчевня эта была самой близкой к школе Лентула и наиболее посещаемой, потому что хозяином ее был рудиарий, большой друг Спартака. Он принимал участие в заговоре и оказал немало услуг Союзу угнетенных.

Над входом в харчевню висела безобразная вывеска с изображением отвратительного Ганимеда, наливающего красный, как свернувшаяся кровь, нектар в чашу такого же уродливого Юпитера. Находилась харчевня на расстоянии выстрела из лука от тех ворот, где стояли на посту капуанские солдаты, возглавляемые толстым и благодушным префектом Меттием Либеоном.

Спартак и двести гладиаторов продвигались в глубоком молчании со всевозможными предосторожностями. Они неслышно шли друг за другом, и по данному вполголоса приказу все остановились.

Фракиец, германец и еще семь или восемь человек вошли в харчевню. Владелец ее был в страшной тревоге за исход борьбы, о которой догадывался по крикам и шуму, доносившимся сюда из школы. Он вышел навстречу гладиаторам и взволнованно спросил:

— Ну как? Какие вести?.. Как идет сражение?

Но Спартак, прервав расспросы, сказал:

— Вибиний, давай нам все оружие, какое только у тебя есть. Дай нам все, что в руках отчаявшегося человека может стать оружием!

И, подбежав к очагу, Спартак схватил огромный вертел, а Эномай — топор, висевший на стене. Собрав в охапку вертела, ножи и косы, они вышли из трактира и распределили это оружие между гладиаторами. Их примеру последовали остальные, и вскоре все были вооружены; они захватили с собой также три небольшие лестницы, которые нашлись в кабаке, и несколько веревок.

Первым двинулся Спартак; остальные молча шли следом за ним по направлению к той улице, где стояли римские солдаты. Не успели легионеры подать сигнал тревоги, как гладиаторы с

яростью бросились на них, нанося страшные удары, убивая на месте с быстротой и неистовством.

Сражение длилось всего несколько минут; отчаянный напор гладиаторов быстро завершился разгромом многочисленного отряда легионеров и городских солдат.

Молодой центурион Квинт Волузий старался воодушевить солдат и кричал:

— Вперед, капуанцы!.. Смелее, во имя Юпитера Тифатского!.. Меттий... доблестный Меттий!.. Ободряй солдат!

Внезапный натиск гладиаторов привел Меттия Либеона в замешательство, и он поспешил укрыться позади своего небольшого отряда. Когда он услышал, что его настойчиво призывают к выполнению долга, он начал кричать, сам не понимая, что он говорит:

— Конечно... несомненно. Капуанцы, смелее! Вперед! Доблестные капуанцы... Я буду командовать... вы будете сражаться! Не бойтесь ничего... Бейте!.. Убивайте!..

И при каждом слове он пятился все дальше.

Бесстрашный Квинт Волузий пал, пронзенный насквозь страшным ударом вертела, которым был вооружен Спартак, а гладиаторы, прорвавшись, опрокидывая все вокруг, промчались мимо несчастного префекта, который, став как будто меньше ростом, рухнул на колени и принялся молить дрожащим, прерывающимся от рыданий голосом:

— Я человек тоги... я ничего не сделал... ничего плохого... Милосердия... милосердия... о доблестные!.. Пощады!..

Его хныканье быстро прекратилось, потому что Эномай, пробегавший в эту минуту мимо, дал ему пинка с такой силой, что толстяк отлетел на несколько шагов и, упав на землю, лишился сознания.

Когда гладиаторы пробежали шагов триста, Спартак остановился и, задыхаясь, сказал Эномаю:

— Половина из нас должна остаться здесь, надо хотя бы на полчаса задержать наших преследователей, чтобы дать возможность другой половине перебраться через городскую стену.

— Я останусь,— сказал Эномай.

— Нет, ты поведешь их к Везувию, а я останусь.

— Нет, нет, ни в коем случае! Если я умру, ты будешь продолжать войну, а погибнешь ты — все будет конечно.

— Беги, беги ты, Спартак,— воскликнули восемь или десять гладиаторов,— мы останемся с Эномаем!

Слезы показались на глазах Спартака при этом благородном соревновании в самоотверженности и братской любви; пожав руку германцу, он сказал:

— Прощайте!.. Я жду вас на Везувии!

В сопровождении части гладиаторов, к которым, по приказу Эномая, присоединились те, что несли лестницы, Спартак исчез, углубившись в лабиринт тропинок, которые вели к городской стене, в то время как Эномай приказал оставшимся гладиаторам войти в соседние дома и выбрасывать из окон скамейки, кровати и другую мебель, чтобы забаррикадировать улицу, готовясь к длительному и упорному сопротивлению приближавшимся римским когортам.

Глава одиннадцатая

ОТ КАПУИ ДО ВЕЗУВИЯ

Через два часа после событий, описанных в предыдущей главе, небольшой отряд гладиаторов, бежавших из школы Лентула, после быстрого марша остановился около великолепной виллы Гнея Корнелия Долабеллы, расположенной на живописном холме между Ателланской и Куманской дорогами, примерно в восьми милях от Капуи.

Пока Эномай, укрывшись за баррикадами, которыми были перегорожены улицы, отражал яростный натиск римских легионеров, Спартак и его товарищи при помощи трех связанных между собой лестниц под прикрытием темноты взобрались на крепостной вал; затем с большим трудом, подвергаясь немалой опасности, они втащили лестницу наверх, приставили ее к наружной стороне стены и благополучно спустились вниз. Здесь они развязали все три лестницы, положили их одна на другую и перекинули через глубокий ров, наполненный водой и тиной, через который иначе не могли бы перейти. Сбросив лестницы в ров, они быстрым маршем двинулись напрямик через открытое поле, простиравшееся между двумя дорогами — Ателланской и Куманской.

Дойдя до железной решетки виллы Долабеллы, Спартак несколько раз позвонил; в ответ раздался лай собак, который разбудил задремавшего привратника, старого раба-фессалийца. Прикрывая левой рукой медный светильник, который он нес в правой руке, старик подошел к калитке, бормоча по-гречески:

— Вот нахалы, полуночники! Кто это шатается без спросу по ночам? Нет, погоди, я тебя жалеть не буду! Завтра же донесу управителю.

Старик подошел к самой калитке; за ним, оскалив клыки и неистово лая, бежали две молосские собаки.

— Да будет к тебе благосклонен Юпитер Олимпийский и пусть тебе всегда помогает Аполлон Пегасский,— сказал Спар-

так по-гречески.— Мы греки, рабы, такие же несчастные, как и ты. Мы бежали из Капуи. Открой поскорее, не вынуждай нас применять насилие, а то тебе придется плохо.

Легко себе представить, как перепугался старый фессалиец, услышав эти слова и увидев отряд измученных, странно вооруженных людей.

Застыв от ужаса, он стоял с поднятым вверх светильником и больше был похож на статую, чем на живого человека. После минутного молчания, прерываемого только лаем молосских собак, Спартак вывел старика из оцепенения своим мощным голосом:

— Ну что ж, во имя вековых лесов Оссы и Пелиона, решишься ли ты наконец открыть нам добровольно? Уймешь ли ты своих надоедливых псов? Или ты хочешь, чтобы мы взялись за топоры?

Эти слова положили конец колебаниям привратника. Он вытащил ключи и, отпирая калитку и отодвигая засов, покрикивал на собак:

— Замолчи, Пирр!.. Тихо, Алкид!.. Да помогут вам боги, мужественные люди!.. Сейчас отопру... Тише вы, проклятые... Располагайтесь, как вам будет удобно!.. Сейчас выйдет управитель... Он тоже грек.. Очень достойный человек... Вы здесь найдете чем подкрепиться.

Как только гладиаторы вышли на главную аллею виллы, Спартак велел запереть калитку и поставил там стражу из пяти человек, затем в сопровождении остальных в несколько минут дошел до большой площадки, обсаженной деревьями различных пород и кустами душистых роз, мирт и можжевельника, которые росли перед виллой патриция Гнея Корнелия Долабеллы, уже ставшего консулом.

Здесь Спартак произвел смотр своим соратникам: всего в отряде было семьдесят восемь человек, включая и его самого.

Рудиарий на минуту задумался, опустил голову, затем, вздохнув, сказал стоявшему рядом с ним галлу, высокому юноше хрупкого телосложения, белолицему, рыжеволосому, с голубыми глазами, горевшими огнем отваги и энергии:

— Да, Борторикс!.. Если счастье будет сопутствовать нашей храбрости, то вот этот наш маленький отряд в семьдесят восемь человек сможет положить начало великой войне и благородному делу!..

И тут же добавил:

— История, к сожалению, судит о благородстве деяний по их удачному завершению. А впрочем, как знать, не оставлено ли на страницах истории этим семидесяти восьми место рядом с тремястами защитниками Фермопил? Кто знает!..

Прервав свои размышления, он распорядился поставить стражу у всех выходов, затем вызвал к себе управителя Долабеллы. Явился грек-управитель Теодофил, уроженец Эпира.

Спартак его успокоил, сказав, что на вилле они возьмут только пищу, некоторые необходимые им вещи, а также все оружие, которое здесь найдется; ни он, ни его товарищи не причинят никакого убытка хозяину виллы; не будет допущено ни воровства, ни грабежа. Спартак убедил управителя добровольно снабдить отряд всем, что ему понадобится, если хочет избежать насилия.

Таким образом, гладиаторы вскоре получили пищу и вино для подкрепления своих сил и по приказу Спартака запаслись продовольствием на три дня. Сам же он почти не притронулся к яствам и вину, хотя уже много дней не знал отдыха и более тридцати часов ничего не ел. Зато на вилле римского патриция он неожиданно для себя среди девяноста рабов, выполнявших здесь домашние и полевые работы, нашел врача-грека, по имени Дионисий Эвдней. Этот раб занимался врачеванием, лечил заболевших рабов и самого владельца виллы, когда тот жил здесь. Врач с большим старанием принялся лечить руку рудиария. Он вправил кость, обложил руку лубками, скрепил их особой повязкой и при помощи повязки, обхватившей шею, подвесил ее горизонтально у груди. Закончив все это, он посоветовал своему пациенту хоть немного подкрепить свои силы сном и отдыхом, предупредив его, что в противном случае он рискует заболеть горячкой, так как у него была лихорадка, вызванная усталостью и тревогами последних семи-восьми дней.

Отдав самые подробные и точные распоряжения Борториксу, Спартак лег в удобную кровать и заснул крепким сном. Он проспал до утра, хотя и велел галлу разбудить его на заре; однако тот, по совету Дионисия Эвднея, не будил его, пока он сам не проснулся.

Сон подкрепил фракийца, он встал полный бодрости, уверенности и надежды. Солнце уже больше трех часов заливало светом роскошную виллу и окрестные холмы. С одной стороны зеленели лесистые, крутые склоны Апеннин, с другой — открывалась ласкающая глаз панорама города и видны были красивые виллы, спускавшиеся до самого моря.

Спартак тотчас же созвал всех рабов Долабеллы на площадку перед виллой и в сопровождении управителя дома и надзирателя за рабами направился к тюрьме, составлявшей непременную принадлежность всех римских вилл. Там находились закованные в цепи рабы; их заставляли работать в железных наручниках и ножных кандалах.

Спартак освободил этих несчастных — их было свыше два-

дцати человек — и присоединил ко всем остальным, стоявшим на площадке.

В горячей и понятной всем речи он объяснил этой толпе рабов, почти целиком состоявшей из греков, причины побега гладиаторов из Капуи и сущность задуманного им дела, которому он решил посвятить всю свою жизнь. Яркими красками он обрисовал святую цель, за которую решили бороться восставшие. Отвоевать у тиранов-угнетателей права для угнетенных, уничтожить рабство, освободить все человечество — такова была благороднейшая цель войны, к которой они все готовились.

— Кто из вас хочет быть свободным и предпочитает почетную смерть с мечом в руках на поле брани жалкой жизни раба, кто чувствует себя смелым и сильным, готовым вынести все тяготы и опасности войны против поработителей всех народов, кто чувствует весь позор ненавистных цепей, пусть берет в руки любое оружие и следует за нами!

Проникновенные слова Спартака произвели сильное впечатление на всех обездоленных, еще не ослабевших духом, не отупевших в рабстве. Послышались восторженные восклицания, слезы радости заблестели на глазах у рабов; свыше восьмидесяти невольников Долабеллы вооружились топорами, косами, трезубцами и тут же вступили в Союз угнетенных, принеся клятву, объединявшую всех братьев Союза.

Спартак, Борторикс и храбрейшие из гладиаторов вооружились мечами и копьями, найденными на вилле. Фракиец предусмотрительно разместил рабов Долабеллы среди испытанных своих соратников, для того чтобы они поддерживали бодрость духа у новичков, и построил в строгом порядке свою маленькую когорту, в которой было уже более ста пятидесяти человек. За два часа до полудня он оставил виллу Долабеллы и по глухим тропинкам, через поля и виноградники, направился в сторону Неаполя.

После быстрого перехода, не отмеченного какими-либо важными событиями, отряд гладиаторов в сумерках подошел к Неаполю и по приказу Спартака сделал остановку в нескольких милях от города, возле виллы одного патриция. Приказав своим товарищам запастись провизией на следующие три дня и забрать все оружие, которое они найдут, фракиец строго запретил чинить насилия и грабежи.

Через два часа отряд ушел оттуда, получив пополнение в количестве пятидесяти гладиаторов и рабов, сбросивших свои цепи, чтобы начать благородную борьбу за свободу, к которой призывал их Спартак.

Всю ночь Спартак продолжал свой поход с осторожностью искуснейшего полководца; он вел свою когорту по извилистым

дорогам, через благоухающие поля и живописные холмы, тянувшиеся между Неаполем и Ателлой. Он останавливался у каждой виллы, каждого дворца, встречавшегося по пути, но лишь на столько времени, сколько ему требовалось, чтобы запастись оружием и призвать рабов к восстанию. Таким образом он на рассвете добрался до подножия Везувия и вышел на дорогу, которая тянулась по склону этой горы от Помпеи к виллам и местам увеселительных прогулок патрициев, туда, где леса и обрывы делают горный хребет диким и мрачным.

Спартак остановился приблизительно в двух милях от Помпеи и, заняв несколько садов, находившихся у самой дороги, разместил за живой благоухающей изгородью из акаций, миртов и розмарина своих товарищей, число которых возросло за сутки до трехсот человек; здесь он приказал им оставаться до восхода солнца.

Вскоре на вершине горы, которая в ночной темноте будто упиралась в темно-синий свод небес, стали появляться то сероватые, то белые облака; постепенно светлея, они походили на легчайшие клубы дыма, предвестника пожара, казалось неожиданно возникшего и разгоравшегося на склонах соседних Апеннин и на самом Везувии.

Облака из белых превращались в розовые, из розовых — в пурпурные; вскоре они засверкали золотыми блестками, и по склонам горы, которая до этого казалась черной и грозной гранитной громадой, вдруг разлились потоки яркого солнечного света, обрисовавшего ее величественные очертания, вершины близких хребтов, покрытых мрачной густой растительностью, страшные пропасти, зиявшие меж пепельно-серых пластов застывшей лавы, и цветущие холмы, которые тянулись на несколько миль окрест, словно чудесный ковер, сотканный из зелени и цветов.

В те времена Везувий имел совсем иной вид, чем теперь; он не был, как в наше время, бушующим и страшным чудовищем. Вулканические извержения из его недр происходили в столь отдаленные времена, что даже память о них едва сохранилась к началу нашего повествования. Следами этих извержений остались на много миль тянувшиеся вокруг горы слоистые отложения лавы, на которых осками были воздвигнуты города Стабии, Геркуланум и Помпея. Огонь, клокочущий в жерле вулкана, уже много веков не нарушал покоя этих чудесных холмов, где под сапфировым небом, согретые нежащим теплом, вдыхая напоенный благоуханиями чистый воздух, освежаемые прохладой голубых тирренских вод, жили счастливейшие народы, воспетые поэтами как обитатели преддверия элисия. Да, ни в одном уголке земного шара поэты не могли бы найти такую красоту и даже

во вдохновенном полете фантазии создать более чарующие картины, действительно напоминающие сказания о преддверии блаженной страны усопших.

Счастье жителей Кампаньи нарушали временами лишь подземные толчки и раскаты грома, пугавшие население. Но толчки эти повторялись так часто, не принося никому вреда, что к ним здесь все уже привыкли и не обращали на них внимания. Поэтому все нижние склоны Везувия были покрыты сплошным ковром оливковых рощ, плодовых садов и виноградников, застроены роскошными виллами и дворцами и казались издали единым цветущим садом, одним огромным городом.

Везувий и весь Байский, или Неаполитанский, залив, озаренные лучами восходящего солнца, являли в это утро такую грандиозную, такую прекрасную и величественную картину, что она вызвала возгласы удивления и восторга у гладиаторов и их предводителей. Они умолкли и в изумлении предались созерцанию чудесного зрелища.

Они увидели Помпею, богатую, царственную Помпею, лишенную крепостных стен, что напоминало об участии ее обитателей в гражданской войне против римлян восемнадцать лет назад. Город тогда был взят войсками Суллы, и, оказав ему милосердие, победитель разрушил только стены. А неподалеку от Помпеи находились разрушенные и сожженные Стабии, на развалинах которых только еще начали возводить новые дома,— по всему видно было, как жестоко поступил с их обитателями все тот же Сулла.

Как ни прекрасна была эта величественная картина восхода солнца, пленявшая душу любого человека, Спартак быстро освободился от ее чар. Он окинул взглядом вершину горы, стараясь определить, как далеко вверх тянется мощенная лавой дорога, у которой он находился со своими товарищами, и доходит ли она до самой верхушки Везувия. Но густые леса, покрывавшие вершину, не давали возможности проследить, где оканчивалась дорога.

После недолгого раздумья Спартак решил послать Борторикса с тридцатью наиболее ловкими товарищами разведать дорогу, а сам с главной частью отряда намеревался обойти соседние виллы и дворцы, чтобы поискать оружия и освободить рабов. Ядро отряда из шестидесяти гладиаторов должно было оставаться на прежнем месте, скрываясь за живой изгородью; здесь же Борторикс и Спартак уговорились встретиться после разведки.

Все было сделано, как приказал Спартак. Борторикс возвратился через три часа. Спартак уже был на месте; он раздобыл еще некоторое количество оружия и пополнил свой отряд, в ко-

торый влились двести гладиаторов и рабов, освобожденных на соседних виллах. Рудиарий составил из своих пятисот воинов когорту в пять манипул. В один из манипул, во главе которого был поставлен Борторикс, вошли восемьдесят самых молодых и храбрых гладиаторов. Спартак вооружил их пиками и копьями и назвал, согласно римскому строю, гастатами, то есть копьеносцами. Остальные четыре манипула, по сто человек каждый, назывались так: фальгиферы — бойцы, вооруженные косами; ретиарии — вооруженные трезубцами и вертелами; первый и второй манипулы фракийцев — гладиаторы, вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием. Во главе каждой группы в десять человек он поставил декана, а во главе каждого манипула — по два центуриона, младшего и старшего. И тех и других он выбрал из числа семидесяти восьми гладиаторов, бежавших вместе с ним из Капуи, так как знал их мужество и отвагу и мог вполне на них положиться.

Борторикс сообщил Спартаку, что дорога, близ которой они находятся, примерно на две мили пролегает по склону горы, затем переходит в узкую тропинку, которая ведет через леса к вершине, но, достигнув определенной высоты, теряется среди недоступных скал и обрывов.

— О, наконец-то после стольких испытаний великие боги начинают нам покровительствовать! — ликуя, воскликнул Спартак.— Там, наверху, в этой лесной глуши, где гнездятся орлы и устраивают свое логово дикие звери, в местах, недоступных для человека, мы водрузим наше знамя свободы. Лучшего места судьба не могла бы нам предоставить... Идемте!

И как только когорта гладиаторов двинулась по направлению к вершине Везувия, Спартак вызвал к себе девять гладиаторов из школы Лентула и, щедро снабдив их деньгами, приказал немедленно по разным дорогам отправиться троим в Рим, троим в Равенну и троим в Капую, чтобы предупредить товарищей по несчастью, живших в школах этих трех городов, о том, что Спартак с пятьюстами гладиаторами расположился лагерем на Везувии, и те, кто готов бороться за свободу в одиночку ли, манипулами или легионами, должны поскорее явиться к нему.

Посылая трех гонцов в каждый из указанных городов, Спартак рассудил, что даже в худшем случае, если некоторые будут схвачены в дороге, по крайней мере трое из девяти доберутся до назначенного места. Спартак простился с этими девятью гладиаторами и посоветовал им соблюдать величайшую осторожность. В то время как они спускались к подошве горы, рудиарий догнал головной отряд колонны, быстрым маршем поднимавшейся к вершине.

Вскоре когорта гладиаторов оставила дорогу, по обе стороны

которой тянулись сады, домики и виноградники, и добралась до лесистой части горы. Чем круче делался подъем, тем уединеннее становились места, тем глуше была тишина, царившая в этих лесах. Постепенно кустарники и низкорослые деревья сменились терновником, падубами, вязами, вековыми дубами и высокими тополями.

В начале подъема гладиаторы встречали по дороге много земледельцев и крестьян, которые несли в корзинках или везли на осликах зелень и фрукты для продажи на рынке в Помпее, Неаполе и Геркулануме. На отряд вооруженных людей они смотрели с изумлением и страхом. Но когда гладиаторы углубились в леса, им попадались только одинокие пастухи с маленькими стадами овец и коз, которые паслись среди кустарников, скал и круч.

Время от времени эхо грустно повторяло блеяние этих жалких стад.

Через два часа трудного подъема когорта Спартака добралась до большой площадки, расположенной на вулканической скале, на несколько сот шагов ниже главной вершины Везувия, покрытой, точно огромной пеленой, глубоким слоем вечного снега. Здесь Спартак решил сделать привал и, пока солдаты отдыхали, обошел всю площадку; с одной стороны от нее шла вниз крутая, скалистая тропинка, по ней поднялись сюда гладиаторы; с другой стороны высились неприступные скалы; с третьей открывался вид на противоположный склон горы, у подножия которой ниже лесистых обрывов расстилались залитые солнцем поля, виноградники, оливковые рощи и луга; это были обширные цветущие области Нолы и Нуцерии, тянувшиеся до склонов Апеннин, видневшихся на горизонте. Всходить и спускаться здесь было еще труднее, чем со стороны Помпеи, и, следовательно, с этой стороны площадка была защищена от нападения.

Место, выбранное Спартаком для лагеря, было также неприступно и с юга, со стороны Салерна. Площадка обрывалась тут на краю пропасти с такими отвесными стенками, что она напоминала скорее колодец; взобраться по этим стенкам вверх не сумели бы даже горные козы.

Пропасть, в которую свет проникал только через расщелины скал, заканчивалась пещерой, а из нее неожиданно открывался выход на цветущую часть горного склона, тянувшегося на много миль, вплоть до равнины.

Тщательно исследовав площадку, Спартак убедился, что место, выбранное для лагеря, очень удачно: здесь можно было продержаться, пока подойдут подкрепления из Капуи, Рима и Равенны. Он приказал манипулу фракийцев, вооруженных топорами и секирами, нарубить в ближайшем лесу дров и зажечь

костры, которые должны были защитить гладиаторов от ночных заморозков, весьма ощутимых в феврале на такой высоте.

Он поставил охрану у почти неприступного края площадки, выходившего на восточный склон горы, а другой отряд, численностью в полуманипул, нес охрану со стороны Помпеи, откуда они поднялись к вершине; с тех пор площадка стала именоваться лагерем гладиаторов и сохранила это название надолго.

В сумерки вернулся манипул, отправленный за дровами; фракийцы принесли не только дрова для костров, но и ветви и хворост, чтобы сделать шалаши и заграждения, насколько это позволяла каменистая почва. Гладиаторы под руководством Спартака перегородили тропинку, по которой они пришли, завалив ее деревьями и каменистыми глыбами, вырыли поперек тропинки широкий ров и забросали деревья и камни землей, так что за короткое время здесь выросла земляная насыпь, укрепившая лагерь с единственно уязвимой стороны. За этим заграждением расположилась половина манипула, выделенного для несения охраны, а впереди нее, на некотором расстоянии друг от друга, расставлены были часовые таким образом, что самый отдаленный пост находился на расстоянии полумили от лагеря.

Вскоре гладиаторы, утомленные заботами и трудами последних дней, уснули, и уже в час первого факела на площадке царили тишина и спокойствие. Догоравшие костры освещали неподвижные фигуры спящих и черные скалы, служившие фоном этой фантастической картины.

Бодрствовал один только Спартак; его высокая атлетическая фигура, освещенная угасающими огнями костров, четко выделялась в полумраке, словно призрак одного из тех гигантов, которые, согласно мифическим сказаниям, объявили войну Юпитеру и разбили лагерь на Флегрейских полях возле Везувия, решив взгромоздить здесь горы на горы, чтобы штурмовать небо.

Среди величавой всеобъемлющей тишины Спартак долго стоял неподвижно и, подложив правую руку под левую, висевшую на перевязи, смотрел на море, расстилавшееся внизу у подножия Везувия, не отрывая взгляда от огонька, сиявшего на одном из кораблей, которые стояли в гавани Помпеи.

Но в то время как взгляд его был устремлен на этот огонек, сам он погрузился в думы и размышления, которые увели его далеко-далеко. Мысль его витала над горами родной Фракии, ему вспомнились годы беспечного детства и юности, счастливые годы, которые пронеслись, как легкое дуновение нежного ветерка. Внезапно лицо его, ставшее было таким спокойным и ясным, опять омрачилось: он вспомнил нашествие римлян, кровопролитные битвы, поражение фракийцев, их уничтоженные стада, разрушенные дома, рабство близких и...

Вдруг Спартак, уже более двух часов погруженный в эти воспоминания и мысли, вздрогнул и прислушался, повернув голову к тропинке, идущей со стороны Помпеи, по которой сюда пришли гладиаторы. Ему почудился какой-то шум. Но повсюду было тихо, только легкий ветерок порой шевелил листву в лесу.

Спартак уже собирался прилечь под навесом, который, несмотря на все протесты, товарищи соорудили для него из ветвей деревьев, покрыв их козлиными шкурами и шкурами овец, взятыми из дворцов и вилл, где они побывали за последние дни. Но, сделав несколько шагов, он снова остановился, опять прислушался и сказал про себя: «Нет, так и есть... Там солдаты взбираются на гору!»

Он повернул к насыпи, сооруженной накануне вечером, и прошептал, как будто говорил с самим собой:

— Так скоро? Не верится!

Он не дошел еще до того места, где стояла на страже половина манипула гладиаторов, как оттуда до него долетел неясный говор приглушенных голосов, и в тишине ночи он ясно услышал громкий окрик стоявшего впереди часового:

— Кто идет?..

И сейчас же, еще громче:

— К оружию!

За валом на мгновение произошло некоторое замешательство: гладиаторы вооружались и выстраивались в боевом порядке позади прикрытия.

В эту минуту к сторожевому посту подошел Спартак с мечом в руке и очень спокойно сказал:

— На нас готовится нападение... Но с этой стороны никто не проберется.

— Никто! — единодушно воскликнули гладиаторы.

— Пусть один из вас пойдет в лагерь, подаст сигнал тревоги и от моего имени потребует соблюдения порядка и тишины.

Тем временем часовой услышал от подходивших условный пароль: «Постоянство и победа!» — и, пока декан побежал с восемью или десятью солдатами посмотреть, кто идет, весь лагерь уже проснулся. В несколько секунд, без шума, без смятения, все гладиаторы были вооружены, каждый занял свое место в манипуле, и когорта выстроилась, как будто она состояла из старых легионеров Мария или Суллы, готовая мужественно отразить любую атаку.

В то время как декан, соблюдая всевозможные предосторожности, разузнавал, что за отряд приближается к лагерю, Спартак с половиной сторожевого манипула молча стояли за насыпью, повернувшись в сторону тропинки; они прислушивались,

стараясь узнать, что там происходит. Вдруг раздался радостный голос декана:

— Это Эномай!

И сейчас же все следовавшие за ним гладиаторы повторили:

— Эномай!

Через секунду послышался громоподобный голос германца:

— «Постоянство и победа!» Да, это я, а со мной девяносто наших товарищей, поодиночке бежавших из Капуи.

Легко себе представить радость Спартака. Он бросился через насыпь навстречу Эномаю. Они обняли друг друга крепко, по-братски, причем Эномай всячески старался не задеть больной руки рудиария.

— О Эномай, дорогой мой! — воскликнул фракиец в порыве глубокой радости.— Я не надеялся так скоро увидеть тебя!

— Я тоже,— ответил германец, поглаживая своими ручищами светловолосую голову Спартака и время от времени целуя его в лоб.

Когда окончились приветствия, Эномай принялся рассказывать Спартаку все по порядку. Его отряд больше часа отбивался от римских когорт; римляне разделились на две части, одна вступила в рукопашную схватку с восставшими, а другая направилась по улицам Капуи в обход, намереваясь ударить с тыла. Эномай разгадал их план. Бросив защиту заграждений, сооруженных поперек дороги, и зная, что скрывшимся со Спартаком товарищам достаточно было одного часа, чтобы уйти от опасности, он решил отступить, приказав гладиаторам, сражавшимся вместе с ним, рассыпаться, спрятаться где-нибудь, а завтра, сменив одежду, выйти поодиночке из города. Встреча была назначена под арками акведука; Эномай должен был ждать товарищей до вечера, а затем отправиться в путь. Он рассказал также о том, как более двадцати товарищей по несчастью погибли в ночном сражении около школы Лентула, как из ста двадцати гладиаторов, сражавшихся с ним против римлян и потом, по его совету, рассыпавшихся поодиночке, к акведуку пришло только девяносто человек. Выступив в прошлую ночь, они обходными путями дошли до Помпеи, где встретили одного из гонцов Спартака, посланного в Капую. От него они получили самые точные сведения о том месте, где расположились лагерем беглецы из школы Лентула.

Приход этого шестого манипула вызвал в лагере огромную радость. В костры подбросили дров, приготовили вновь прибывшим скромное угощение: хлеб, сухари, сыр, фрукты и орехи. В общем шуме голосов нельзя было разобрать, кто встречал и кого встречали. Все смешалось: восклицания, вопросы, ответы, рассказы. «О, ты здесь?» — «Как поживаешь?»—«Как шли?»—

«Как добрались сюда?» — «Место удобное, здесь можно защищаться...» — «Да, мы счастливы!» — «А как было в Капуе?» — «А как товарищи?» — «Как Тимандр?» — «Бедняга!» — «Умер?..» — «Смертью храбрых!» — «А Помпедий?» — «С нами!» — «С нами?» — «Эй, Помпедий!» — «А как школа Лентула?» — «Растает, как снег на солнце».— «Все придут?» — «Все». Вопросы и восклицания слышались со всех сторон.

В шумных разговорах, полных надежд и чаяний, воскресших в душах гладиаторов с приходом товарищей, прошло немало времени. Соратники Спартака еще долго не спали, и только глубокой ночью тишина и покой воцарились в лагере восставших.

На рассвете, по приказу Спартака, десять человек рабов и гладиаторов затрубили в рожок, заиграли на свирелях и флейтах, чтобы разбудить спавших товарищей. Построив восставших в боевом порядке, Спартак и Эномай сделали им смотр, отдавая новые приказания, внося необходимые изменения в те, что были даны раньше, воодушевляя и ободряя каждого бойца, стараясь вооружить всех как можно лучше. Затем была произведена смена караула и отправлены из лагеря два манипула: один — на поиски продовольствия, другой — в лес за дровами.

Гладиаторы, оставшиеся в лагере, следуя примеру Спартака и Эномая, взяли топоры и разные земледельческие орудия, которых оказалось немало, и принялись вытаскивать из скал камни, которые могли быть использованы для метания в неприятеля с помощью пращей, изготовленных из веревок. Камни эти гладиаторы предусмотрительно заостряли с одной стороны и складывали в огромные кучи по всему лагерю. Особенно много камней было заготовлено и сложено в той части лагеря, которая была обращена к Помпее, так как отсюда следовало прежде всего ожидать нападения.

Эта работа заняла у гладиаторов весь день и всю ночь. На третий день весь лагерь разбудили на рассвете крики часовых: «К оружию!» Две когорты римлян численностью около тысячи человек во главе с трибуном Титом Сервилианом карабкались по горе со стороны Помпеи, намереваясь напасть на гладиаторов в их убежище.

Через два дня после той бурной ночи, когда Сервилиану удалось помешать восстанию десяти тысяч гладиаторов школы Лентула, ему сообщили, что Спартак и Эномай с несколькими сотнями восставших ушли по направлению к Везувию и якобы грабят виллы, мимо которых проходят (это была заведомая ложь, кем-то распространявшаяся клевета), что Спартак освобождает рабов и призывает их всех браться за оружие (это было верно). Трибун помчался в капуанский сенат и в сенат республики. Перепуганные, дрожащие от страха сенаторы собра-

лись в храме Юпитера Тифатского. Рассказав обо всем происшедшем и о том, что он предпринял для спасения Капуи и республики, Сервилиан испросил у сената разрешения высказать свое мнение и предложить меры, которые, как он полагал, позволят подавить восстание в самом зародыше.

Получив такое разрешение, отважный юноша, надеявшийся заслужить великие почести и повышение за подавление восстания, принялся доказывать, насколько опасно было бы оставить Спартака и Эномая в живых и дать им возможность свободно передвигаться по полям хотя бы в течение нескольких дней, так как к восставшим ежечасно присоединяются рабы и гладиаторы и опасность все увеличивается. Сервилиан утверждал, что необходимо идти вслед за бежавшими, настигнуть их и уничтожить, а головы их для устрашения всех десяти тысяч гладиаторов насадить на копья и выставить в школе Лентула Батиата.

Этот совет понравился капуанским сенаторам, пережившим немало тревожных часов. Они страшились мятежа гладиаторов; тревога и беспокойство отравляли их мирное, беззаботное и праздное существование. Сенаторы одобрили предложение Тита Сервилиана и опубликовали декрет, в котором за головы Спартака и Эномая была назначена награда в два таланта. Вместе с товарищами их заочно приговорили к распятию на крестах, как людей подлых, а теперь ставших еще более подлыми, ибо они превратились в разбойников с большой дороги. Всем жителям Кампаньи, как свободным, так и рабам, под угрозой самых строгих наказаний воспрещалось оказывать им какую-либо помощь. Вторым декретом капуанский сенат поручал трибуну Титу Сервилиану командование одной из двух когорт легионеров, находившихся в Капуе, другой же когорте совместно с городскими солдатами, под началом центуриона Попилия, приказано было остаться для наблюдения за школой Лентула и для защиты города. Сервилиану также было предоставлено право взять в соседнем городе Ателле еще одну когорту и с этими силами отправиться для подавления «безумного восстания».

Декреты были переданы на утверждение префекту Меттию Либеону, который все еще не мог прийти в себя после мощного пинка Эномая. Либеон с ума сходил от страха, его трясла лихорадка; два дня он не вставал с постели и готов был подписать не два, а десять тысяч декретов, только бы не переживать еще раз такие страсти, как в ту памятную ночь.

Тит Сервилиан выступил в тот же день; в Ателле он получил вторую когорту и во главе тысячи двухсот воинов, совершив переход по самой короткой дороге, появился у Везувия. Жители окрестных деревень показали ему, где укрылись гладиаторы.

Ночь Тит Сервилиан простоял у подошвы горы, а на заре, произнеся краткую пылкую речь перед своими солдатами, двинулся на штурм вершины. Когда солнце стало всходить, он уже находился вблизи лагеря гладиаторов.

Хотя римские когорты и продвигались молча, соблюдая осторожность, стоявший впереди часовой гладиаторов заметил их на расстоянии выстрела из самострела. Прежде чем они приблизились к часовому, он подал сигнал тревоги и отступил к соседнему часовому, и так, передавая сигнал один другому, они подняли на ноги всех в лагере и отступили за насыпь, где находились гладиаторы сторожевого полуманипула. Вооружившись пращами и метательными снарядами, часовые приготовились обрушить на римских легионеров град камней.

Когда прозвучал среди горных скал сигнал тревоги и эхо повторило его в недоступных пещерах, гладиаторы поспешно выстроились в боевом порядке.

Тем временем трибун Сервилиан первым бросился вперед, и его яростный боевой клич повторили ряд за рядом тысяча двести легионеров. Этот крик вскоре перешел в страшный рев, похожий на рев бушующего моря, протяжный, дикий и оглушительный клич атаки — подражание крику слона — «барра», с которым римские легионеры обычно бросались на врагов.

Но едва только Сервилиан и передние ряды когорты приблизились к насыпи, как пятьдесят гладиаторов, стоявших позади нее, обрушили на римлян град камней.

— Вперед!.. Вперед во имя Юпитера Статора! Смелее! Смелее! — восклицал отважный трибун.— В один миг мы ворвемся в лагерь этих грабителей и всех изрубим в куски!

Град камней становился все гуще, но римляне, несмотря на ушибы и раны, продолжали бежать к валу, а достигнув его, пустили в ход свое оружие и принялись что было силы метать дротики в тех гладиаторов, которые не были защищены насыпью.

Крики усиливались, схватка переходила в ожесточенное кровопролитное сражение.

Спартак следил за всем происходившим с вершины скалы, на которой стояло в боевом порядке его войско. С проницательностью, достойной Ганнибала или Александра Македонского, он сразу заметил, к какой серьезной ошибке привели римского начальника юношеская опрометчивость и самоуверенность. Солдаты Сервилиана вынуждены были сражаться сомкнутым строем на узкой тропинке. Там их фронт не мог быть шире, чем десять человек в ряд. Вследствие этого глубокая и плотная колонна римлян очутилась под градом камней, которыми их осыпали гладиаторы, и ни один камень не падал бесцельно. Спартак понял эту ошибку и воспользовался ею так, как это ему

позволяла обстановка. Он выдвинул своих воинов вперед и, расположив их в два ряда во всю ширину площадки на той стороне, откуда началась атака, приказал метать в неприятеля камни непрерывно и изо всех сил.

— Не пройдет и четверти часа,— воскликнул Спартак, заняв первое место на краю площадки и бросая камни в легионеров,— как римляне обратятся в бегство, а затем, следуя за ними по пятам, мы мечами довершим свое дело!

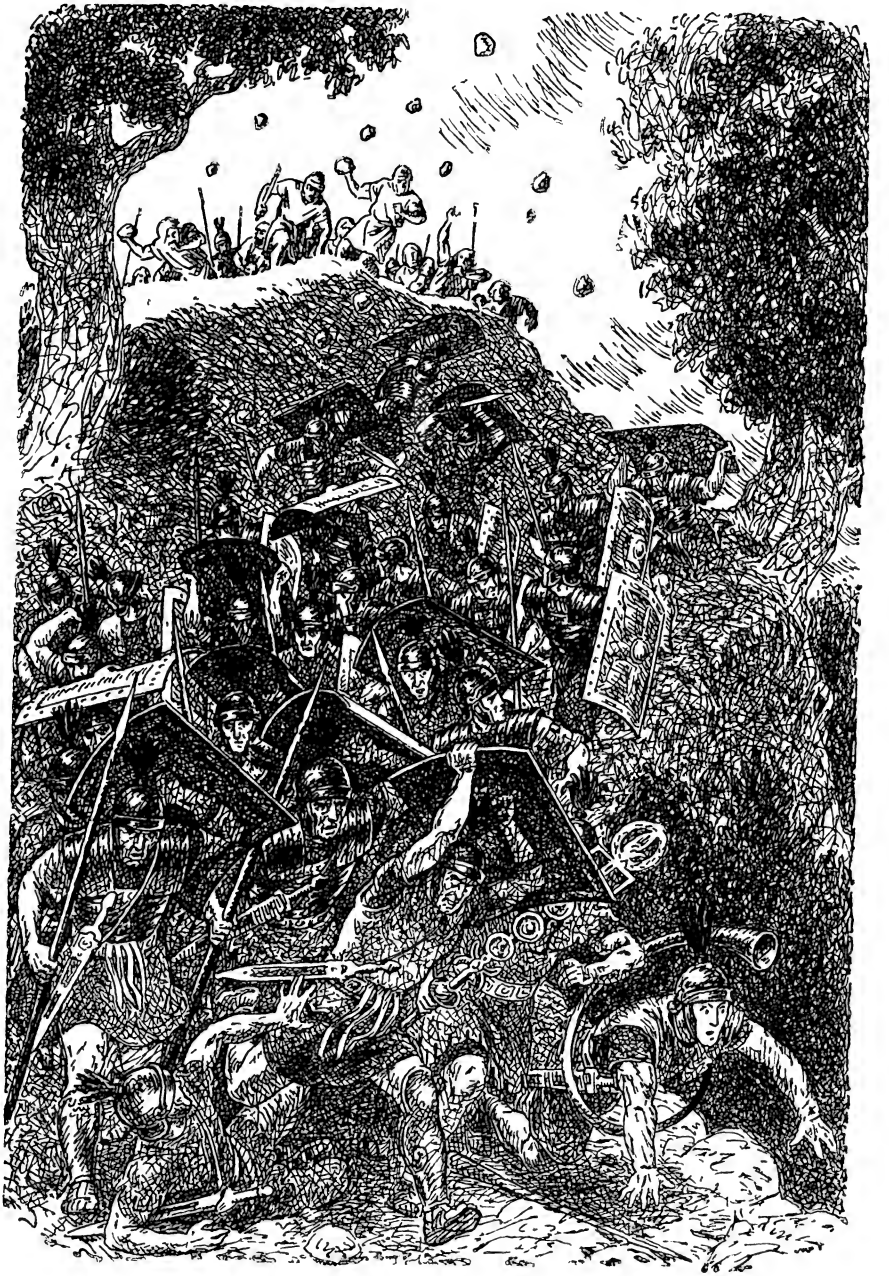
Все произошло так, как предвидел Спартак. Невзирая на то что отважный трибун Сервилиан и многие храбрые легионеры достигли насыпи и, поражая копьями гладиаторов, старались проникнуть на вал, им было оказано мощное сопротивление. Легионеры, двигавшиеся в хвосте колонны, даже не имели возможности воспользоваться копьями и мечами, а между тем град камней усиливался с каждой минутой. Камни дробили шлемы и латы, попадали в голову, оглушали, валили с ног. Вскоре колонна нападавших дрогнула, подалась назад и пришла в расстройство. Напрасно Сервилиан, надрывая и без того охрипший голос, требовал от своих солдат невозможного — чтобы они выдерживали страшный каменный дождь. Наступавшие в задних рядах, сильнее страдавшие от метательных снарядов гладиаторов, все энергичнее напирали на передних, и это вызывало общий беспорядок. Началась давка, легионеры опрокидывали друг друга и топтали упавших.

Римляне обратились в бегство; те, что были сзади, очутились теперь впереди. Гладиаторы, пылая жаждой мести, преследовали нападавших, и вся эта длинная вереница людей, бежавших от насыпи вниз, издали могла показаться огромной змеей, ползущей и извивающейся по склону горы.

Тогда гладиаторы выскочили за насыпь и бросились преследовать римлян. Легионеры были разбиты наголову.

Короткое сражение, неожиданно окончившееся полным поражением римлян, отличалось одной особенностью: свыше двух тысяч его участников, одни убегая, другие преследуя, не могли сражаться. Римляне даже при желании не могли бы остановиться, оттого что бежавших впереди теснили бежавшие сзади. По той же причине не могли остановиться и гладиаторы. Узкая тропинка, замкнутая скалами, и крутизна каменного склона придавали этому людскому потоку роковую быстроту; подобно сорвавшейся лавине, он мог остановиться лишь у подножия горы.

И действительно, только там, где тропинка переходила в широкую дорогу, а склон горы стал более отлогим, убегавшие могли рассыпаться по соседним полям и ближайшим садам. Только там гладиаторы смогли развернуться и, окружив легионеров, рубить их направо и налево.



Сервилиан остановился около нарядной виллы; напрягая все силы, он звал к себе своих солдат, продолжая оказывать гладиаторам упорное сопротивление. Но лишь немногие из легионеров откликнулись на его призыв и попытались отбросить неприятеля. Центуриону Гаю Элпидию Солонию удалось собрать человек пятьдесят легионеров, и этот отряд, яростно отбиваясь, приостановил преследование. То тут, то там какой-нибудь оптион или декан, побеждавшие когда-то тевтонов и кимвров в легионах Мария, греков и Митридата под началом Суллы, пытался собрать горсточку храбрецов, все еще надеясь, что боевое счастье улыбнется им. Но их усилия были напрасны. Основная масса легионеров пришла в смятение, охваченные паникой легионеры разбежались в разные стороны; каждый думал только о собственном спасении.

Спартак с манипулом гладиаторов теснил Сервилиана и сотню его храбрецов. Схватка была жестокой и кровопролитной. Сервилиан пал от руки Спартака. Число гладиаторов, окруживших отряд, росло с каждой минутой, и вскоре римляне были перебиты. А в это время Эномай, ударом меча раскроив череп отважному центуриону Солонию, преследовал уцелевших легионеров его отряда.

Обе когорты римлян потерпели полное поражение: более четырехсот легионеров были убиты, свыше трехсот ранены; пленных обезоружили и по приказу Спартака отпустили на волю. Победители потеряли тридцать человек убитыми и около пятидесяти — ранеными.

Немного позже полудня гладиаторы, захватив добычу, надев взятые у врага шлемы и латы, вооружившись их копьями и стрелами, опоясавшись их мечами, вернулись на Везувий, в свой лагерь. Они принесли с собой огромное количество оружия, которым теперь могли снабдить товарищей, в большом числе стекавшихся к ним на помощь.

Глава двенадцатая

О ТОМ, КАК БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ПРОЗОРЛИВОСТИ И ЛОВКОСТИ СПАРТАК ДОВЕЛ ЧИСЛО СВОИХ СТОРОННИКОВ С ШЕСТИСОТ ЧЕЛОВЕК ДО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ

Как только весть о поражении когорт Сервилиана, отправленных для преследования бежавших из Капуи гладиаторов, облетела соседние города, по всей Кампанье поднялась сильная

тревога; все были ошеломлены, узнав подробности разгрома легионеров.

Нола, Нуцерия, Геркуланум, Байи, Неаполь, Мизены, Кумы, Капуя и другие города этой плодороднейшей провинции спешно готовились к обороне; вооруженные граждане дни и ночи стояли на страже у городских ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были снесены, не дерзнула оказать сопротивление гладиаторам, не раз появлявшимся в городе с целью запастись продовольствием. К удивлению жителей, они вели себя не как враги или толпа дикарей, а как самое дисциплинированное войско.

Тем временем префекты городов слали гонца за гонцом к Меттию Либеону, префекту всей провинции, требуя принять безотлагательные меры против растущей опасности. Растерявшийся и перепуганный Меттий в свою очередь посылал гонцов в римский сенат, заклиная его поскорее направить подкрепление.

В Риме, по-видимому, не были склонны серьезно считаться с бунтом гладиаторов. Только Сергий Катилина и Юлий Цезарь понимали, насколько значительно и опасно это восстание рабов; им были известны его корни, все его нити и размах; они знали и храбрейшего вождя гладиаторов. Кроме них, никто и не думал о когортах, наголову разбитых гладиаторами, тем более что солдаты, спасшиеся бегством, рассказывая подробности сражения, с некоторым основанием обвиняли во всем самонадеянного и невежественного трибуна Сервилиана, прозванного ими в насмешку «маленьким Варроном». С другой стороны, Рим в это время вынужден был вести войны с более серьезными и опасными врагами: против его владычества восстала почти вся Испания во главе с бесстрашным и осторожным Серторием.

Храбрость юного Помпея и тактика старого, опытного Метелла пасовали перед его умом и смелостью. Одновременно против римлян выступил и могущественный Митридат; он разбил Марка Аврелия Котту, бывшего в том году консулом вместе с Луцием Лицинием Лукуллом.

Хотя консул Лукулл находился еще в Риме, все его помыслы были направлены на то, чтобы собрать назначенные для похода легионы и выступить против Митридата, победы которого тревожили Рим и сенат. С одобрения сената Лукулл послал в Кампанью против гладиаторов храброго и опытного трибуна Клодия Глабра, дав ему для борьбы с восставшими шесть когорт, то есть около трех тысяч легионеров.

Пока Клодий Глабр снаряжал отданные в его распоряжение когорты, чтобы выступить против гладиаторов, последние умело воспользовались плодами своих побед: за двадцать дней число

их с шестисот, каким оно было в день сражения с Титом Сервилианом, возросло до тысячи двухсот теперь уже хорошо вооруженных воинов, готовых отдать свою жизнь за дело свободы.

Спартак, прекрасно зная боевые порядки греческих фаланг, фракийского войска, армий Митридата, а также латинских легионов, в рядах которых он сражался, был страстным приверженцем римского строя и полагал, что нет лучшей и более разумной тактики, чем тактика римлян, этого поистине народа-воина. Бесчисленные победы латинян над презирающими смерть и отлично владеющими оружием народами он приписывал прежде всего дисциплине, боевому порядку и структуре римских легионов, а завоевание Римом почти всего мира — военной доблести латинян.

Спартак, как уже было сказано, старался создать и сформировать войско гладиаторов, следуя принципам боевого строя и порядкам римского войска.

Когда после победы над Титом Сервилианом Спартак вступил в Помпею, он заказал значок для первого легиона гладиаторов. На древке, там, где у римлян был укреплен орел, Спартак велел прикрепить красную шапку — головной убор рабов, которых господа собирались отпустить на свободу; под шапкой он велел прибить небольшое бронзовое изображение кошки, потому что кошку — самое свободолюбивое животное, согласно мифологии,— помещали как символ у ног статуи Свободы. Кроме того, по римскому же обычаю, он назначил значки и центуриям; к древку были прикреплены две соединенные руки, тоже из бронзы, а под ними — маленькая шапка с двумя номерами когорты и легиона. Располагая лишь небольшим вооруженным отрядом, Спартак нисколько не сомневался, что к нему вскоре присоединятся все гладиаторы Италии и со временем возглавляемая им армия будет иметь много легионов и много когорт.

Обосновавшись на Везувии и прилегающих к нему равнинах, Спартак ежедневно и подолгу заставлял свои отряды упражняться и изучать тактические приемы римских легионов: раздвигать и смыкать ряды, сходиться в намеченном пункте, делать обходные маневры, поворачиваться направо и налево, строиться в колонну и в три боевые линии, из третьей, перейдя через вторую, занимать место в первой линии и т. д. Собрав трубы и букцины [1], отнятые у легионеров Сервилиана, Спартак составил оркестр трубачей и научил их трубить утреннюю зорю, сбор и сигнал к атаке.

Таким образом, Спартак с прозорливостью истинного полководца с пользой употребил время, поневоле данное ему про-

[1] Букцины — римский духовой инструмент.

тивником, и занялся обучением своих солдат военному мастерству, тактике ведения боя: он готовился оказать упорное сопротивление врагу, нападения которого ожидал со дня на день.

Действительно, Клодий Глабр не замедлил явиться. Собрав свои когорты, он ускоренным маршем двинулся против гладиаторов.

Энергично поддерживая строжайшую дисциплину среди своих воинов, Спартак в короткое время завоевал симпатии местных пастухов и дровосеков; поэтому еще за сутки до появления Клодия он уже знал, что враг подходит и у него трехтысячное войско. Спартак понимал, что тысяча двести воинов — сила недостаточная для сражения в открытом поле против трех с лишним тысяч римских легионеров. Он отступил в свой лагерь на Везувий и здесь стал ожидать неприятеля.

Атака, по всей видимости, должна была начаться после полудня, в двадцатый день пребывания гладиаторов на Везувии. Примерно около этого часа манипул легко вооруженных пехотинцев, рассыпавшись цепью по лесу, тянувшемуся по обеим сторонам тропинки, и медленно взбираясь вверх, приблизился к лагерю гладиаторов и стал осыпать его стрелами. Но расстояние, отделявшее стрелков от лагеря, было значительным, и стрелы существенного вреда не причиняли; несколько гладиаторов, в том числе и Борторикс, были ранены. Самому неприятелю почти не причинил вреда град камней, которые метали в римлян гладиаторы,— легионеры укрывались за деревьями. А в тот момент, когда Спартак приготовился выйти из лагеря и атаковать пращников, они вдруг быстро отошли, совершенно прекратив наступление. Фракиец понял, что поражение Сервилиана послужило хорошим уроком новому полководцу римлян, научив его считаться как с местоположением, так и с тактикой неприятеля. Спартаку было ясно, что Клодий прибегнет к иному маневру: он постарается выманить гладиаторов с площадки, для того чтобы сразиться с ними в выгодных для римлян условиях.

Именно с этой целью Клодий послал легкую пехоту наверх разведать, все ли еще гладиаторы находятся в своем лагере. Удостоверившись в этом, Клодий, прекрасно знавший эти края — во время гражданской войны он сражался здесь под начальством Суллы и прошел всю Кампанью,—потирая себе руки с улыбкой удовлетворения, которая редко появлялась на его толстых строгих губах и так не шла к его загорелой сердитой физиономии, воскликнул:

— Значит, мышь в западне!.. Через пять дней все они сдадутся на милость победителя.

Окружавшие его центурионы и оптионы недоуменно смотрели друг на друга, не понимая слов трибуна; но вскоре все

стало ясно: Клодий взял с собою две тысячи человек; третью тысячу он оставил на широкой консульской дороге у подошвы горы под начальством центуриона Марка Валерия Мессалы Нигера; своим четырем когортам Клодий приказал следовать дальше вверх по склону Везувия, до того места, где начинались леса и вместо дороги шла извилистая тропинка, по которой только и можно было проникнуть в лагерь гладиаторов. Там он остановил свое войско и, выбрав удобное место, приказал разбить лагерь. Вслед за этим он немедленно послал одного из помощников центуриона к Валерию Мессале Нигеру с приказанием точно осуществить заранее условленный маневр.

Марку Валерию Мессале Нигеру, которому предстояло через девять лет после описываемых нами событий стать консулом, было тогда не более тридцати трех лет; он отличался смелостью, честолюбием и жаждал военных отличий. Во время гражданской войны Мессала сражался в войсках Суллы и проявил себя как доблестный воин. За четыре года до выступления гладиаторов он отправился с Аппием Клавдием Пульхром в Македонию сражаться против недовольных Римом провинций, которые поднялись на борьбу с невыносимым гнетом римлян.

За храбрость, проявленную Валерием Мессалой в сражении на Родопских горах, он был награжден гражданским венком и званием центуриона. Немного времени спустя хилый Аппий Клавдий Пульхр умер, война прекратилась, и молодой Мессала вернулся в Рим. В тот день, когда в Рим прибыли вести о восстании гладиаторов, Мессала готовился следовать за консулом Лукуллом к Черному морю. Но так как Лукулл собирался отправиться в эту экспедицию не раньше весны, Мессала испросил разрешения сопровождать Клодия Глабра и принять участие в карательной экспедиции против гладиаторов. Надменный Валерий Мессала принадлежал к числу тех патрициев, у которых одна лишь мысль о войне с гладиаторами вызывала улыбку жалостливого презрения.

К жажде славы у Мессалы Нигера в данном случае примешивалась безудержная ненависть к Спартаку. Он был родственником Валерии Мессалы, вдовы Суллы, и, когда до него дошли вести о ее любви к Спартаку, он воспылал безумным гневом, считая эту любовь позором; он не пожелал больше видеть свою родственницу, а Спартака возненавидел всеми фибрами души, считая, что подлый гладиатор осквернил имя Мессалы.

Получив приказ трибуна Клодия Глабра, Мессала двинулся со своими двумя когортами вдоль подножия Везувия, огибая гору. Через несколько часов он достиг склона, обращенного в сторону Нолы и Нуцерии, затем вышел на плохую горную дорогу, по которой его войска шли до тех пор, пока она не оборва-

лась среди пропастей, скал и осыпей. Здесь Мессала остановил когорты и приказал разбить лагерь.

Мы не станем описывать, как оба римских отряда, один по одну сторону горы, другой по другую, за два часа с небольшим соорудили лагеря, как обычно, квадратной формы, окружили их рвом, а с внутренней стороны — земляным валом, защищенным вверху густым частоколом. Быстрота, с которой римляне строили свои прекрасно укрепленные лагеря, всем известна по хвалебным описаниям историков и военных специалистов, и нам осталось бы только повторять эти восхваления.

Итак, Клодий Глабр с одной стороны Везувия, а Мессала Нигер — с другой к вечеру расположились со своими войсками и заперли оба имевшихся в распоряжении гладиаторов выхода из их лагеря.

Теперь римские когорты поняли план своего предводителя; они ликовали при мысли, что мышь действительно оказалась запертой в мышеловке.

Предусмотрительный и осторожный Клодий послал только одну тысячу человек охранять тропинку, ведущую к Ноле; он знал, что почти отвесный склон горы с этой стороны был очень серьезным препятствием для спуска гладиаторов. Главные же силы Клодий сосредоточил у дороги со стороны Помпеи; здесь спуск был несравненно удобнее, и, вероятнее всего, именно здесь следовало ожидать атаку.

На заре следующего дня Спартак, обходя, по своему обыкновению, площадку, увидел под скалами, обращенными к Ноле, лагерь врагов и, хотя еще не заметил лагеря Клодия — его закрывали леса,— все же заподозрил что-то недоброе. Решив выяснить положение, он во главе двух манипулов стал спускаться по тропинке, ведущей к Помпее. Не прошел он и двух миль, как его авангард обнаружил часовых римского лагеря. Спартак остановил свой отряд, а сам направился к тому месту, где находился его авангард, и тут перед глазами пораженного гладиатора предстал римский лагерь во всей его грозной мощи.

Спартак побледнел и, не произнеся ни слова, устремил глаза на подымающийся перед ним вал, который произвел на него такое впечатление, какое на заживо погребенного при пробуждении произвело бы прикосновение к холодной и тяжелой крышке его гроба.

Римские часовые при первом появлении авангарда гладиаторов подали сигнал тревоги, тотчас же из лагеря выступила одна центурия и двинулась вперед, пуская стрелы в Спартака. Фракиец, поняв, что гладиаторы заперты врагом и обречены на верную гибель, не двигался, не замечал дротиков, падавших со свистом вокруг него, хотя любой из них мог его поразить.

Его пробудил от оцепенения декан авангарда, сказав:

— Спартак, что же нам делать? Идти вперед и сразиться или отступать?

— Ты прав, Алкест,— печально ответил фракиец,— надо отступать.

Авангард возвращался быстрым шагом к двум ожидавшим его манипулам; вслед за ним медленно шел Спартак.

В глубокой задумчивости он повел их обратно.

Римская центурия некоторое время преследовала гладиаторов, осыпая их стрелами, но вскоре получила приказ вернуться в лагерь.

Взойдя на площадку, Спартак призвал к себе Эномая и Борторикса, который хотя и был ранен, но не утратил уверенности и рвения; были приглашены и другие наиболее опытные и храбрые командиры. Фракиец повел их всех на край площадки, обращенный к Ноле. Он показал им раскинувшийся внизу неприятельский лагерь, объяснил, в каком критическом положении они оказались, и спросил, что, по их мнению, следовало бы предпринять в таких трудных обстоятельствах.

Мужественный, презирающий смерть и безрассудно горячий Эномай крикнул:

— Клянусь эриниями, что же нам еще остается делать, как не обрушиться с яростью диких зверей на тот или другой римский лагерь! Тысяча погибнет, а двести пробьются!

— Если бы это было возможно! — произнес Спартак.

— А почему это невозможно? — спросил полный решимости германец.

— Подобная же мысль промелькнула и у меня. Но принял ли ты в расчет, что вражеские лагеря расположены как раз там, где крутые и обрывистые тропинки, ведущие из нашего лагеря, выходят на свободную, открытую местность? Подумал ли ты, что ни с той, ни с другой стороны мы не можем развернуть фронт больше чем в десять бойцов? Нас тысяча двести человек, а участвовать в сражении смогут не больше двадцати воинов.

Довод Спартака был настолько убедителен и все его соображения так правильны, что Эномай опустил голову на грудь и глубоко вздохнул. Вокруг них, безмолвные, подавленные, стояли гладиаторы.

— Да и продовольствия у нас хватит всего лишь на пять, на шесть дней,— продолжал Спартак.— Ну... а потом?

Вопрос, заданный Спартаком печальным и мрачным тоном, встал перед его соратниками во всей своей неоспоримой и угрожающей силе, гнетущий, неумолимый, страшный вопрос.

Вывод был слишком ясен. Семь, восемь, десять дней еще можно было бы продержаться здесь... А потом?..

Выхода не было... Либо сдаться, либо умереть...

Долго длилось скорбное молчание двадцати мужественных человек, для которых было горько и мучительно сознавать крушение всех надежд, поддерживавших их существование в течение пяти лет, согревавших кровь в их жилах, одухотворявших их жизнь. Как ужасно было видеть такой жалкий конец их дела в тот момент, когда, казалось, победа была близка, торжество обеспечено! Что значила смерть в сравнении с таким страшным несчастьем?

Спартак первый прервал это мрачное молчание:

— Пойдемте со мной, обойдем еще раз площадку и внимательно посмотрим, не найдется ли какой-нибудь путь к спасению, нет ли еще какого-нибудь средства, каким бы трудным и опасным оно ни было, выйти живыми из этой могилы, даже если только сотне из нас удастся избежать смерти, а все остальные погибнут ради торжества нашего святого дела.

В сопровождении своих соратников Спартак, безмолвный, сосредоточенный, начал обход лагеря. Время от времени фракиец останавливался; он походил в эти минуты на льва, запертого в железной клетке, когда он, рыча и фыркая, ищет способа сломать решетку своей темницы.

Гладиаторы подошли к тому месту, где стеной высились отвесные скалы, отделявшие площадку от вершины горы. Спартак посмотрел на эту страшную крутизну и прошептал:

— Белка и та не поднялась бы! — И, подумав минуту, добавил: — А если бы даже мы поднялись?.. Мы только усугубили бы опасность положения.

Наконец предводители гладиаторов дошли до южного конца площадки и остановились у края глубокой пропасти, пытаясь определить на глаз ее глубину. Но тотчас почти все в ужасе отвели глаза от этой головокружительной бездны.

— Тут только камни могут достигнуть дна,— сказал один из начальников манипул.

Неподалеку сидели на земле десятка два гладиаторов-галлов и с большой ловкостью плели из лоз дикого винограда щиты, которые они затем обтягивали кусками твердой кожи. Блуждающий взгляд Спартака, все еще погруженного в свои мысли, случайно упал на эти примитивные изделия товарищей по несчастью.

Сначала глаза его машинально задержались на самодельных щитах, и он бесцельно рассматривал их.

Видя, что Спартак пристально смотрит на щиты, один из галлов, улыбаясь, сказал:

— Кожаных и металлических щитов у нас в лагере наберется не больше семисот, и, чтобы снабдить остальных пятьсот

воинов щитами, мы и решили сделать ну хотя бы такие... Мы их будем делать, пока у нас хватит кожи.

— Гез и Тетуан щедро вознаградят вас в будущей жизни!— воскликнул Спартак, тронутый любовной заботой бедных галлов: они отдавали делу освобождения угнетенных даже в минуты отдыха все свои силы и способности.

После короткого молчания, когда Спартак, как будто позабыв о своих заботах, ласково смотрел на молодых галлов и их работу, он спросил:

— А много ли у вас осталось кожи?

— Нет, немного, десятка на два щитов.

— Вот эту кожу мы достали в Помпее, когда в последний раз ходили туда.

— Жаль, что воловьи шкуры не растут в лесах, как виноградные лозы!

Глаза Спартака снова устремились на эти толстые, крепкие ветви; небольшие кучки их лежали там и сям около импровизированных оружейников.

Фракийца поразили последние слова галла; он встрепенулся и, точно готовясь к прыжку, нагнулся к земле и поднял несколько веток. И вдруг, просияв от радости, он во всю мощь своего голоса крикнул:

— О, клянусь Юпитером, всеблагим и величайшим Освободителем, мы спасены!

Эномай, Борторикс и другие центурионы, оптионы и деканы, ошеломленные этим возгласом, повернулись к Спартаку.

— Что ты сказал? — спросил Эномай.

— Мы спасены? — переспросил Борторикс.

— Кто же нас спасет? — задал вопрос еще кто-то.

— Кто это сказал?

— Каким образом?

Спартак молчал, внимательно рассматривая лозы дикого винограда. Наконец он повернулся к товарищам и сказал:

— Вы видите эти лозы? Мы сплетем из них длинную лестницу, верхний конец ее прикрепим к этой скале и спустимся по одному вот в это глубокое ущелье, а из него выйдем внезапно в тыл римлянам и изрубим их в куски.

Грустная улыбка сомнения скользнула по лицам почти всех сопровождавших Спартака товарищей, а Эномай, безнадежно покачав головой, сказал:

— Спартак, ты бредишь!

— Сплести лестницу в восемьсот — девятьсот футов длиной? — недоверчиво спросил Борторикс.

— Для того, кто сильно желает,— твердо и уверенно возразил Спартак,— нет ничего невозможного. Напрасно вас приво-

дит в смущение мысль об этой лестнице: нас тысяча двести человек, и мы сплетем ее за три часа.

Вселяя своей горячей верой и убежденностью энергию и бодрость в остальных товарищей, рудиарий послал четыре манипула гладиаторов, вооруженных топорами, в соседние леса заготовить побольше лоз дикого винограда, выбирая самые толстые и прочные. Остальным он приказал разместиться на площадке по манипулам, в два ряда, захватив с собой все имеющиеся в лагере веревки, повязки, ремни, пригодные для связывания отдельных частей той необыкновенной лестницы, которую предполагалось соорудить.

Меньше чем через час посланные за лозами дикого винограда гладиаторы стали возвращаться группами по восемь, по десять, по двадцать человек. Они приносили громадные вязанки, и Спартак первый стал сплетать толстые стебли дикого винограда, приказав всем принять участие в этой работе Одни подготовляли материал, другие связывали, третьи складывали готовые части чудесной лестницы, которая должна была принести им спасение.

Все работали с величайшим усердием, вполне сознавая всю опасность положения. На площадке, где одновременно работали тысяча двести воинов, царили порядок и тишина. Лишь изредка раздавались вполголоса просьбы о помощи или совете: все старались как можно лучше выполнить общее дело.

За два часа до захода солнца лестница длиною почти в девятьсот футов была наконец готова. Тогда Спартак приказал четырем гладиаторам развернуть ее: он хотел сам осмотреть каждое звено лестницы, проверить прочность и правильность соединения.

По мере того как Спартак просматривал и ощупывал одно за другим все звенья лестницы, четыре гладиатора сматывали ее.

Когда наступили сумерки, Спартак приказал лагерю сняться, соблюдая полную тишину; каждый полуманипул должен был связать вместе всё свое оружие, потому что людей во время предстоящего спуска нельзя было обременять никакой лишней тяжестью. Затем, приказав скрутить из полос различных тканей прочную веревку, Спартак прикрепил к одному концу ее связку оружия первого полуманипула и велел спустить ее в пропасть после того, как все воины этого полуманипула достигнут дна ущелья.

К нижнему концу лестницы Спартак приказал прикрепить два огромных камня и спустить потихоньку лестницу вдоль отвесных обрывов, являвшихся стенами пропасти. Фракиец разумно рассудил, что такой мерой предосторожности он добьется двух вещей, одинаково важных для того, чтобы этот бесконечно

трудный спуск закончился удачно. Во-первых, вес двух больших камней был больше, чем вес любого атлета, и, если бы лестница, к которой привязали эти камни, дошла без разрывов до дна пропасти, это гарантировало бы благополучный спуск людей. Во-вторых, камни должны были прочно держать лестницу на дне бездны и ослабить опасное колебание, неизбежное вследствие гибкости хрупкого и легкого сооружения, которое под тяжестью людей стало бы качаться.

Когда все было сделано и тьма вокруг горы стала сгущаться, Эномай первым начал готовиться к опасному спуску.

Гигант-германец ухватился руками за верхушку скалы, к которой был прочно привязан один конец лестницы; он был немного бледен: этот спуск был таким родом опасности, которой ему еще никогда не приходилось подвергаться. Против бездонной скалистой пропасти ничего не могли сделать ни сила рук, ни неукротимая энергия духа. Мужественный великан пошутил при этом:

— Клянусь всеведением и всемогуществом Вотана, я думаю, что даже Геллия, самая легкая из валькирий, не чувствовала бы себя в полной безопасности при этаком необыкновенном спуске!

Пока он произносил эти слова, его гигантская фигура постепенно скрывалась за скалами, окружавшими пропасть; вскоре исчезла и его голова. Спартак, согнувшись, следил за ним, и при каждом колебании, при каждом покачивании лестницы по всему его телу пробегала дрожь. Он был очень бледен; казалось, что всем своим существом он прикован к этой хрупкой, подвижной лестнице.

Гладиаторы столпились у края площадки, точно их притягивала мрачная бездна. Те, что стояли позади, поднимались на носки и смотрели на скалу, к которой была привязана лестница; все стояли неподвижно и безмолвно, и в ночной тишине слышалось лишь тяжелое дыхание тысячи двухсот человек, чья жизнь и судьба в этот миг зависели от непрочного сооружения из ивовых прутьев.

Сильное, размеренное колыхание и вздрагивание лестницы отмечало все увеличивающееся число ступеней, преодолеваемых Эномаем, и гладиаторы в тревоге считали их.

Волнообразное колебание лестницы длилось не больше трех минут, но гладиаторам эти три минуты показались тремя веками.

Наконец колебание прекратилось, и тогда на площадке тысяча людей, движимых единым порывом, единой мыслью, повернулись в сторону пропасти и напрягли слух,— неописуемые чувства отражались на их лицах.

Прошло несколько мгновений; у тысячи гладиаторов замерло

в груди дыхание, и вдруг послышался глухой голос — сперва он казался неясным, далеким, но, постепенно усиливаясь, становился звонким, как будто бы человек, которому он принадлежал, быстро приближался. Он кричал:

— Слушай!.. Слушай!..

Из тысячи грудей вырвался мощный, как завывание бури, вздох облегчения, ибо донесшийся до них крик был условным сигналом: Эномай благополучно спустился на дно пропасти.

Тогда гладиаторы с лихорадочной поспешностью начали один за другим спускаться по удивительной лестнице, которая — теперь это всем было ясно — спасала их от смерти и возвращала к жизни, вела от позорного поражения к славной победе.

Спуск длился целых тридцать шесть часов, и лишь на рассвете второго дня все оказались внизу, на равнине. На горе остался только Борторикс; он спустил вниз оружие последнего манипула и связки с косами, топорами, трезубцами, которые Спартак приказал взять с собой и хранить: ими можно было временно вооружать товарищей, присоединявшихся к восставшим. Наконец спустился и Борторикс.

Невозможно описать, как велика была благодарность гладиаторов и как бурно изъявляли они свою любовь и преданность Спартаку, чьей мудрой догадливости они были обязаны жизнью.

Но Спартак просил всех соблюдать тишину и каждому манипулу велел укрыться в окружающих ущельях и скалах и ждать там наступления ночи.

Бесконечно долгими показались эти часы нетерпеливым бойцам; но вот солнце склонилось к западу, и, едва лишь стали меркнуть лазурные краски небосвода, две когорты гладиаторов вышли из своих укромных убежищ, построились и, двигаясь с величайшими предосторожностями, молча направились — одна, под начальством Эномая, к морскому берегу, другая, под командой Спартака, по направлению к Ноле.

Расстояние, которое должны были пройти обе когорты гладиаторов, было примерно одинаковым, и они оба зашли в тыл двух римских лагерей почти одновременно — за час до полуночи.

Подойдя совсем близко к лагерю Мессалы Нигера, Спартак приказал своей когорте остановиться и, соблюдая осторожность, один направился к валу римского лагеря.

— Кто идет? — окликнул часовой, которому послышался шум в соседнем винограднике, откуда пробирался к лагерю Спартак.

Фракиец остановился и замер. Кругом царила тишина; часовой римского лагеря напрягал слух, но все как будто было спокойно.

Вскоре Спартак услышал звук мерных шагов патруля, совершавшего вместе с деканом обход часовых. Услышав оклик «кто идет», патруль поспешил к часовому, чтобы узнать, что происходит.

Была уже глубокая ночь, и стояла такая тишина, что фракиец мог расслышать следующий разговор, хотя он и велся вполголоса.

— Что случилось? — спросил кто-то, вероятно декан.

— Мне послышался шорох в кустах...

— А после оклика «кто идет» ты еще что-нибудь слышал?

— Нет, сколько я ни прислушивался.

— Должно быть, лисица бежала по следам куропатки.

— Я тоже подумал, что листья зашуршали под ногами какого-то зверька. О гладиаторах нечего и говорить. Сидят наверху, им уже не выбраться...

— Правильно. Центурион сказал, что мышь в мышеловке.

— Да уж, будь спокоен, Клодий Глабр — старый кот, ему справиться с таким мышонком, как этот Спартак,— детская игрушка.

— Ну еще бы, клянусь Юпитером Охраняющим!

Последовала недолгая пауза. Спартак насмешливо улыбнулся, а декан продолжал:

— Стереги получше, Септимий, и не принимай лисиц за гладиаторов.

— Чересчур много чести для гладиаторов,— сострил в ответ солдат Септимий.

И снова все затихло.

Тем временем глаза Спартака уже привыкли к темноте, и он начал различать то, что его интересовало: форму рва и вала римского лагеря. Ему надо было узнать, какие из четырех ворот находятся ближе.

Как раз в это время патруль, возвратившись на свой пост, развел почти погасший костер, и вскоре красные, сверкающие языки ожившего пламени осветили частокол на валу; теперь Спартаку нетрудно было рассмотреть, где находились декуманские ворота, то есть ворота, которые в римских лагерях были дальше всего от позиций, занятых неприятелем. В лагере Мессалы Нигера эти ворота были обращены в сторону Нолы.

Как только Спартак ознакомился с расположением вала, он повернул обратно, добрался до своей когорты и со всевозможными предосторожностями повел ее в обход к декуманским воротам. Отряд шагал безмолвно и чуть слышно, пока не подошел к римскому лагерю настолько близко, что шум шагов уже невозможно было скрыть от часовых.

— Кто идет? — раздался голос легионера Септимия.

По тону оклика Спартак понял, что на этот раз легионер не сделал ошибки, приняв гладиаторов за лисицу, а хорошо различил топот идущего войска.

Не получив ответа, бдительный Септимий несколько раз дал сигнал тревоги.

Но гладиаторы, бросившись бегом, спустились в ров, с неслыханной быстротой перебрались через него, влезая на плечи один другому, и в мгновение ока очутились на верху вала; Спартак, рука которого совсем зажила, благодаря своей необыкновенной ловкости первым появился наверху; с присущей ему стремительностью он напал на легионера Септимия, который с большим трудом защищался от ударов Спартака, крикнувшего ему своим громоподобным голосом:

— Эй ты, насмешник Септимий! Твоей милости куда было бы лучше, если бы тебе пришлось отбиваться не от меня, а от лисицы! Ты ведь почитаешь ее больше, чем гладиаторов!

Не успев договорить эти слова, фракиец насквозь пронзил мечом легионера. А тем временем гладиаторы группами по три, по четыре, по восемь, по десять человек врывались в лагерь,— и началась резня, как это обычно бывает при внезапных ночных нападениях.

Римляне спали крепким сном, как люди, которым нечего опасаться; они не боялись врага, полагая, что он крепко заперт в своем стане. Теперь же все их усилия и попытки оказать сопротивление яростному натиску гладиаторов были безуспешны. Число нападавших все возрастало, они уже овладели декуманскими воротами, врывались в палатки, кидались на сонных, безоружных легионеров, рубили, душили их.

По всему римскому лагерю слышны были страшные крики, проклятия, мольбы; там царили паника, смятение, смерть. Это была даже не кровопролитная битва, а истребление, уничтожение врагов; за полчаса с небольшим погибло свыше четырехсот легионеров, остальные опрометью бежали куда глаза глядят.

Лишь человек сорок самых храбрых воинов под начальством Валерия Мессалы Нигера, наскоро вооружившись мечами, пиками и дротиками, но без лат и щитов, собрались у преторских ворот, то есть у главных ворот лагеря, расположенных против декуманских. Они упорно сопротивлялись, стараясь сдержать натиск гладиаторов, в надежде, что это даст время беглецам собраться и снова вступить в бой. Среди этих храбрецов особенно выделялся Мессала Нигер; доблестно сражаясь, он ободрял римлян и время от времени призывал Спартака, крови которого он жаждал, помериться с ним силами.

— Эй! Спартак!..— кричал он.— Подлый вождь гнуснейших разбойников!.. Где ты?.. Подлый раб, поди сюда, грабитель!

Встань лицом к лицу со мной! Скрести свой меч с мечом свободного гражданина... Спартак, разбойник, где ты?

Несмотря на крики, стоны, звон оружия и страшный шум, стоявший в лагере, фракиец услышал наконец дерзкие слова римлянина; могучими руками он проложил себе дорогу среди своих воинов, столпившихся вокруг легионеров, и, разыскивая человека, вызывавшего его на бой, в свою очередь звал его:

— Эй, римский разбойник! Почему ты поносишь меня за глаза? Грабитель и сын грабителя, оставь для себя свои прозвища, они твое единственное, действительно тебе принадлежащее достояние! Римлянин, вот я... Чего тебе надо?

И с этими словами он вступил в бой с Мессалой, который, яростно нападая на него и тяжело дыша, прерывистым голосом кричал:

— Я хочу пронзить тебя своим клинком... осквернить честный меч Валерия Мессалы... твоею кровью...

Оскорбительные выкрики центуриона вызвали гнев Спартака; он отбил бешеную атаку римлянина и, сам перейдя в нападение, одним ударом разбил щит Мессалы в щепки, другим, пробив его кольчугу, серьезно ранил в бок, а затем, как раз когда Мессала произносил последние из приведенных здесь слов, Спартак с такой неистовой силой нанес ему удар по гребню шлема, что несчастный центурион, совершенно оглушенный, зашатался и рухнул наземь. Но счастье сопутствовало ему: имя Валерия Мессалы воскресило воспоминания, и любовь, возгоревшаяся в душе гладиатора, смирила его гнев и удержала руку, готовую поразить врага насмерть.

Мессала не был бахвалом, способным только на вызов, он был действительно силен и храбр; но как ни велики были его силы, умение владеть оружием и мужество, он не мог устоять против Спартака, бесспорно заслужившего наименование самой сильной руки и самого мощного меча тех суровых времен.

Фракиец остановил свой меч в тот миг, когда он был на расстоянии всего лишь нескольких дюймов от груди упавшего центуриона, и, повернувшись в сторону двух оптионов, прибежавших на помощь Мессале, несколькими стремительными ударами выбил меч из рук одного, ранил в живот другого, крикнув:

— Иди, юноша, и скажи своим римлянам, что подлый гладиатор подарил тебе жизнь!

Расправившись с обоими оптионами, он вернулся к Мессале, помог ему встать и поручил двум гладиаторам охранять его от гнева вновь прибывающих бойцов.

Вскоре кучка храбрецов, пытавшихся сдержать натиск гладиаторов, была почти полностью уничтожена, и римский лагерь оказался во власти восставших.

То же самое произошло и в лагере Клодия Глабра. Эномай очень скоро наголову разбил когорты Глабра и, обратив их в стремительное бегство, овладел лагерем.

Так, благодаря мужеству, проницательности и предусмотрительности Спартака тысяча с небольшим гладиаторов одержала блестящую победу над тремя с лишним тысячами римлян; более тысячи римлян было убито, а их оружие, значки, имущество и лагерь достались восставшим.

На следующий день оба отряда гладиаторов соединились в лагере Клодия Глабра; победители не скупились на насмешки и шутки над ним, называли Глабра кошкой, сбежавшей от мыши, и сочинили песенку приблизительно такого содержания:

Жил-был кот один когда-то,
Серой мышки враг заклятый,
Он ее подстерегал
И, прикидываясь сонным,
С огоньком в глазах зеленым
Неподвижно поджидал.

Только мышь была ученой,
Хитрой, жизнью умудренной:
Взобралась коту на хвост
И, перехитрив бахвала,
Торжествуя, ликовала.
План у этой мышки прост.

Радуясь затее ловкой,
К кончику хвоста бечевкой
Привязала вмиг звонок.
Перепуганный трезвоном,
Кот под смех мышей со стоном
Убежал, не чуя ног.

Можно себе представить, какой дружный хохот стоял в лагере, превратившемся из римского в гладиаторский, когда сочинители этих куплетов переложили их на очень популярный в то время мотив и распевали по всему лагерю.

Между тем в лагерь на Везувии сотнями стекались гладиаторы школы Лентулы Батиата; они убегали из Капуи толпами не то что ежедневно, а, можно сказать, ежечасно; меньше чем через двадцать дней, прошедших после победы Спартака над Клодием Глабром, к нему явилось свыше четырех тысяч гладиаторов. Они были вооружены копьями, мечами и щитами, отнятыми у римлян. Присоединив к ним тысячу двести человек, уже сражавшихся под знаменем восставших, Спартак образовал первый легион армии угнетенных. В недалеком будущем эта армия должна была стать грозной и опасной силой.

Хотя в Риме были заняты более важными и неотложными

военными делами, все же поражение, нанесенное Клодию Глабру, вызвало тревогу: как сенату, так и народу римскому казалось позором для имени римлян, что легионеры, победители мира, были разбиты и изрублены толпами подлых гладиаторов.

Тем временем эти подлые — а их было уже свыше пяти тысяч человек,— построенные в манипулы, когорты и легион, возглавляемые таким мужественным и дальновидным человеком, каким был Спартак, в один прекрасный день появились у Нолы, цветущего, богатого и многолюдного города Кампаньи, и, прежде чем начать штурм города, предложили гражданам предоставить гладиаторам право свободного входа в город, обещая сохранить за это жизнь и имущество жителей.

Перепуганные жители Нолы собрались на Форуме. Стоял невообразимый шум, слышались противоречивые восклицания: одни кричали, что город надо сдать, другие хотели защищаться.

Наконец верх одержали более храбрые: ворота города заперли, горожане поспешили к стенам отражать нападение; в Неаполь, Брундизий и Рим были посланы гонцы с просьбой о подкреплении.

Но все эти посланцы попали в руки Спартака, так как он приказал следить не только за дорогами, но и за тропинками, и оборона Нолы свелась к бессильной, тщетной попытке жителей удержать город. Обитатели его были плохо вооружены и мало сведущи в военном деле. Борьба продолжалась не больше двух часов: гладиаторы, имевшие теперь много лестниц, быстро и с ничтожными для себя потерями овладели городскими стенами, проникли в город и, раздраженные его сопротивлением, стали избивать и грабить жителей.

Хотя Спартак и насаждал в своих легионах самую строгую дисциплину, хотя солдаты любили и уважали его, они поддались опьянению кровью, их обуяла жажда разрушения, охватывающая солдат против воли, когда они, ворвавшись в захваченный город, вынуждены сражаться, рисковать жизнью и видеть, как гибнут их товарищи по оружию.

Спартак побежал по улицам города, чтобы остановить гладиаторов, прекратить грабежи и убийства. Благодаря его громадной силе воли и энергии он с помощью своих командиров через несколько часов добился прекращения резни и грабежей.

Вскоре букцины протрубили сбор, и со всех сторон на призыв послушно стали стекаться гладиаторы. Распространился слух, что по приказу Спартака легион должен в полном составе явиться на грандиозный Форум Нолы, славившийся великолепными старинными храмами, базиликами и портиками.

Меньше чем через час легион гладиаторов выстроился на площади в полном боевом порядке в три ряда. Спартак появился

на ступеньках храма Цереры; он был бледен, брови грозно нахмурены. Несколько мгновений он стоял среди глубокой тишины с опущенной на грудь головой, в скорбном раздумье. Наконец он поднял голову и, гневно сверкая глазами, воскликнул своим могучим голосом, прозвучавшим на всю площадь:

— Вы что же, дикие и преступные люди, желаете добиться, клянусь всеми богами ада, имени грабителей и славы разбойников и убийц? — И он умолк.

Несколько минут никто не проронил ни слова, затем Спартак продолжал:

— Неужели это та свобода, которую мы несем рабам, та дисциплина, при помощи которой мы стараемся стать людьми, достойными отнятых у нас прав? Это ли благородные поступки, которыми мы привлечем к себе расположение итальянцев, это ли добродетель, пример которой мы должны показывать? Разве вам мало того, что против нас — величие и могущество римского имени, вы еще желаете, чтобы на вас обрушились проклятия и месть всех народов Италии? Видно, вам мало той печальной славы, которую создали нам наши угнетатели,— она идет впереди нас и поддерживает утвердившееся с их легкой руки мнение, что мы — варвары, грабители и самые подлые люди! Всего этого вам мало, и, вместо того чтобы славными деяниями, строжайшей дисциплиной, образцовым поведением опровергнуть клевету, жертвой которой мы являемся, вы хотите подкрепить ее и еще усилить мерзким поведением, позорными и подлыми поступками!..

Все в Италии глядят на нас с опаской, подозрительно, недоверчиво; кто нам не явный враг, уж, наверное, и не друг; наше святое дело и знамя, за которое мы сражаемся, самое высокое из всех когда-либо развевавшихся под солнцем на полях сражений от края и до края полуострова, не пользуются никакой симпатией. Чтобы завоевать расположение к себе, у нас есть только одно средство: дисциплина.

Железная дисциплина — это непроницаемая и непобедимая броня римских легионов; они не сильнее и не храбрее всех солдат на свете,— существуют народы, не уступающие им ни в отваге, ни в силе, но среди всех армий нет более дисциплинированной, чем римская, и вот почему римляне побеждают всегда своих врагов.

Не помогут вам ни необычайная сила ваших мускулов, ни ваше беспримерное мужество, если вы не изучите и не примените на деле римскую дисциплину. Как переняли вы от римлян их боевой порядок, так должны вы перенять и дисциплину.

Если вы хотите, чтобы я был вашим вождем, я требую от вас умения повиноваться, быть сдержанными и умеренными, по-

тому что сила войска — в порядке, в повиновении, в сдержанности. Каждый должен поклясться своими богами, и все вы должны поклясться мне своей честью, что с этого часа никогда не совершите даже самого незначительного проступка, никогда не дадите мне основания упрекнуть вас в распущенности и неподчинении.

Для обеспечения победы необходимо, чтобы я нашел в себе силу поступать подобно консулу Манлию Торквату, который приказал сыну отрубить голову своему другу, ежели тот окажется виновным в малейшем нарушении установленных законов и порядков. Восхищенные историки рассказывают о римских легионах, что однажды они разбили лагерь возле яблони; когда же сняли палатки, оказалось, что с яблони не было сорвано ни одного плода. Я хочу, чтобы и о вас могли сказать то же самое! Лишь при этом условии мы будем достойны свободы, которой мы добиваемся, лишь при этом условии мы можем одержать победу над самым сильным и самым храбрым войском в мире.

Гул одобрения сопровождал пламенную речь Спартака. Гладиаторы были покорены грубоватой, но страстной и прочувствованной речью своего вождя; а когда он кончил говорить, долго не смолкали единодушные возгласы одобрения и рукоплескания.

Спартак вывел свою армию из Нолы и приказал разбить лагерь вблизи нее, на одном из холмов. Две когорты, которые он сменял ежедневно, стояли на страже у города. В Ноле он добыл большое количество оружия, лат, щитов и сложил их все в своем лагере, чтобы вооружить рабов и гладиаторов, стекавшихся под знамя восстания.

Близ Нолы Спартак провел больше двух месяцев, неустанно совершенствуя боевое мастерство своих солдат, число которых все возрастало и достигло восьми тысяч; вскоре он уже мог составить из них два легиона. Порядок и дисциплина, которые насаждал в своей армии доблестный фракиец, поражали жителей Кампаньи: их собственность и жизнь не подвергались никакой опасности, гладиаторы ничем и никогда не беспокоили их.

В Риме меж тем было решено отправить против взбунтовавшихся рабов и гладиаторов претора Публия Вариния с легионом, в большинстве своем состоявшем из добровольцев и молодых новобранцев,— ветераны и легионеры, уже испытанные в боевых походах, были посланы против Сертория и Митридата.

Но за несколько дней до выступления из Рима Публия Вариния с шеститысячным войском, к которому был присоединен отряд всадников численностью свыше трехсот копий, сформированный союзниками-италийцами, из Эпицинийского леса, рас-

положенного между Сутри и Суэссой-Пометией, неподалеку от Аппиевой дороги, вечером вышло свыше двух тысяч человек; многие из них были вооружены чем попало: косами, трезубцами, топорами и серпами, а иные просто-напросто заостренными кольями, и лишь немногие имели копья и мечи.

Это были гладиаторы из школ Акциана, Юлия Рабеция и других римских ланист; по приказу, полученному от Крикса, они собрались поодиночке и, став под его команду, были разделены на четыре когорты и двадцать манипул. Теперь они двигались по направлению к Везувию, на соединение с легионами Спартака.

Утром 15 февраля, после того как Метробий отправился с доносом о заговоре гладиаторов к консулам Котте и Лукуллу, Крикс обошел школу за школой, предупреждая гладиаторов о случившемся и призывая их к спокойствию и осторожности.

В одной из школ его арестовали и препроводили в Мамертинскую тюрьму; его держали там свыше двух месяцев, секли розгами, и, несмотря на то что он твердо и решительно отрицал свое участие в заговоре Спартака, пожалуй, присудили бы к распятию, если бы не гладиаторы, которые умолили своих ланист ходатайствовать за Крикса перед Цетегом, Лентулом, Юлием Цезарем и Катилиной и добились наконец его освобождения.

Крикса выпустили из тюрьмы, но он понимал, что за ним строго следят и что все школы и все гладиаторы, без сомнения, находятся под наблюдением. Он решил притвориться ничего не знающим, ко всему совершенно безучастным и тем самым если не уничтожить, то хотя бы уменьшить подозрения ланист и властей.

Поэтому-то бедный галл, несмотря на все настояния Спартака, был принужден смирить тревогу, гнев и желания, кипевшие в его душе, и не мог ни сам двинуться на Везувий, ни послать или повести туда хотя бы один манипул.

После всяческих ухищрений и уловок, пережив серьезнейшие опасности и тревоги, Криксу удалось наконец через четыре с лишним месяца после начала восстания и двух побед, одержанных армией Спартака над римлянами, бежать из Рима и укрыться в Эпицинийском лесу; он был уверен, что если не все гладиаторы, которым он здесь назначил свидание, то, во всяком случае, очень многие из них придут сюда.

Так и случилось. Два дня галл скрывался в тенистых уголках леса, поджидая товарищей, а затем отправился на Везувий. Проделав четырехдневный тяжелый переход, он прибыл туда во главе двадцати манипул.

Радость, торжество, ликование гладиаторов по поводу прибытия новых товарищей по оружию трудно описать. Спартак

встретил Крикса действительно по-братски — он любил и ценил его больше всех.

Две тысячи гладиаторов, приведенных Криксом, были немедленно вооружены и распределены по двум легионам, из которых первым командовал Эномай, а вторым — Крикс. Спартак под единодушные приветствия восставших был провозглашен верховным вождем войска гладиаторов.

Два дня спустя после прибытия Крикса разведчики доложили Спартаку, что по Аппиевой дороге ускоренным маршем идет против него претор Публий Вариний. Вождь гладиаторов приказал войску тихо сняться с лагеря и ночью быстро двинулся навстречу неприятелю.

Глава тринадцатая

ОТ КАЗИЛИНСКОГО ДО АКВИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Публию Варинию было сорок пять лет. Он происходил из плебеев, был крепкого телосложения, неукротимого, гордого нрава и обладал всеми лучшими качествами римского воина, представляя собой его ярко выраженный тип. Как в пище, так и в питье был воздержан и неприхотлив; привычен к холоду, жаре, большим переходам, бессонным ночам и иным военным тяготам; был угрюм, молчалив и храбр до дерзости. Если бы при этих ценнейших качествах Вариний еще отличался острым умом, если бы шире был его кругозор, а образование не столь поверхностным и односторонним, у него имелись бы все основания стать консулом, полководцем, триумфатором. Но, к несчастью для него, он не обладал высоким умом, равным благородству его души, и за двадцать восемь лет боевой службы добился всего лишь звания претора, да и то присвоили ему это звание из уважения к его суровой беспристрастности, испытанной храбрости, превосходному знанию военного дела и соблюдению предписаний уставов. Римские воины, сражавшиеся с ним бок о бок, и полководцы, под началом которых он служил, восхищались его усердием, доблестью, духовной и физической силой.

Семнадцати лет от роду он под начальством Гая Мария впервые участвовал в войне с тевтонами и кимврами, отличился и был награжден гражданским венком и званием декана; затем он сражался под знаменами Помпея Страбона, отца Помпея Великого, в гражданской войне, несколько раз был ранен и награжден вторым гражданским венком. Под началом Суллы он участвовал в войне против Митридата, получил несколько ранений,

а при осаде Афин был награжден крепостным венком[1] и удостоен звания младшего центуриона. Он сопутствовал Сулле во всех перипетиях гражданской войны и за новые доблестные деяния получил звание сначала старшего центуриона, а потом трибуна. Затем он последовал за Помпеем Великим в Африку, где сражался в его армии против Домиция и Ярбы; в эту войну он получил звание квестора, в котором оставался и при Аппии Клавдии, воевал против восставших фракийцев и македонян. После смерти Клавдия, когда военные действия во Фракии были закончены, Вариний вернулся в Рим, надеясь получить от консула Аврелия Котты, собиравшего легионы для борьбы с Митридатом, звание наместника или, по крайней мере, утверждение в звании квестора. Однако к тому времени, как Вариний прибыл в Рим, Котта уехал в Азию, а другой консул, Луций Лициний Лукулл, уже сформировал свое войско, но, желая воспользоваться опытом Вариния, которого он высоко ценил, добился избрания его претором Сицилии, поручив ему ликвидировать позорящую Рим войну с гладиаторами.

Вот что представлял собою человек, выступивший из Рима через Капенские ворота в восемнадцатый день до июльских календ (14 июня) 680 года от основания Рима и направившийся по Аппиевой дороге в поход против гладиаторов, возглавляемых Спартаком. У Публия Вариния было шесть тысяч легионеров, триста всадников, тысяча велитов[2] и шестьсот пращников, приданных легиону по настоянию претора и Лукулла, ибо в такой войне необходимо было иметь в своем распоряжении легко вооруженные части,— всего восемь тысяч молодых, сильных, отлично вооруженных воинов. Квестором у Публия Вариния состоял тридцатипятилетний Гней Фурий, человек мужественный, умный и отлично знающий военное дело, но кутила, буян и скандалист. Среди шести трибунов, находившихся под началом Вариния, были и выходцы из знатных патрицианских семей: Кальпурний Бибул, который в 695 году стал консулом совместно с Гаем Юлием Цезарем; совсем юный Квинт Фабий Максим, который во время диктатуры Цезаря был консулом в 709 году от основания Рима; самым старшим между трибунами был Лелий Коссиний, грубый и недалекий человек лет пятидесяти. Он участвовал в пятидесяти семи сражениях, одиннадцати осадах и ста двадцати схватках, получил двадцать две раны и заслужил два гражданских венка, но за тридцать два года военной

[1] Крепостной венок — венок с изображением стен и башен; давался в награду римскому воину, который первым во время штурма взбирался на стену осажденного города.— *Примеч. автора.*

[2] Ве́лит — легко вооруженный солдат. Его вооружение состояло из небольшого щита, меча и дротиков; голова была защищена кожаным шлемом.

службы из-за своего невежества и тупости дослужился только до звания трибуна, в котором и оставался в продолжение одиннадцати лет.

Быстрым маршем, в три дня, Публий Вариний дошел до Кайеты. Разбив здесь лагерь, он вызвал к себе Павла Гардения Тибуртина, префекта конницы, и приказал ему немедленно пробраться в Капую, собрать там точные и подробные сведения о месте расположения восставших, об их числе, вооружении и, по возможности, об их планах.

Молодой Тибуртин добросовестно и осмотрительно выполнил данное ему поручение и побывал не только в Капуе, но и в Кумах, в Байях, в Путеолах, в Геркуланум и Неаполе, и даже в Помпее и Ателле; повсюду он собирал сведения о неприятеле у римских властей, а также у местных жителей и пастухов. Через четыре дня он вернулся в лагерь Вариния. Кони его были все в мыле, он почти загнал их, но привез весьма важные сведения о продвижении гладиаторов и общем их положении. Тибуртин доложил претору, что число восставших доходит до десяти тысяч, что они хорошо вооружены и обучены римской тактике ведения боя, что их лагерь находится близ Нолы, откуда они делают вылазки по окрестностям и как будто не предполагают менять место своего лагеря; судя по основательным лагерным укреплениям, они, очевидно, будут здесь ожидать наступления римлян.

Получив все эти сведения, Вариний, сидя в своей палатке, долго обдумывал план действий; наконец он решил разделить свои силы и наступать на лагерь гладиаторов по двум почти параллельным направлениям, с тем чтобы напасть на них одновременно с двух сторон. Таким тактическим маневром он надеялся добиться сразу решительной победы.

Вариний поручил квестору Гнею Фурию командование четырьмя когортами легионеров, тремястами велитов, двумястами пращников и сотней всадников и приказал ему идти по Аппиевой дороге до Суэссы; здесь ему надлежало свернуть с Аппиевой дороги на Домициеву, которая от этого города шла берегом моря через Литерн, Кумы, Байи и Неаполь к Сурренту. Дойдя до Байи, Фурий должен был тут на неделю остановиться, а затем двинуться в Ателлу и там ожидать дальнейших распоряжений Вариния. Сам же Вариний, в то время как Фурий будет в походе, подымется по реке Лирис до Интерамны, там он перейдет на Латинскую дорогу — она вела от Рима через Тускул, Норбу, Интерамну, Теан и Аллифы до Беневента; у Аллиф он, перейдя с консульской Латинской дороги на преторскую, которая тянулась от Аллиф вдоль Кавдинского ущелья и вела в город Кавдий, зайдет таким образом в тыл гладиаторам. Здесь

он задержится на один день, а затем отдаст приказ своему квестору Фурию двинуться из Ателлы и атаковать мятежников; последние, увидя, что они числом превосходят Фурия, бросят ему навстречу все свои силы; тут-то Вариний нападет на врага с тыла и уничтожит его.

Таков был план Публия Вариния, и, надо сказать, план сам по себе неплохой, но его успешное выполнение было бы возможно только в том случае, если бы гладиаторы оставались на месте, ожидая римлян у Нолы, а в этом Вариний, считавший Спартака чем-то вроде нечистого животного, но отнюдь не разумным человеком, нисколько не сомневался.

Тем временем фракиец, разведав, что претор выступил против него, и узнав, что тот уже в Кайете, тут же двинулся по Домициевой дороге в Литерн и прибыл туда, совершив два утомительных, но быстрых перехода.

Квестор Гней Фурий, продвигавшийся по той же Домициевой дороге, но с другой стороны, дошел до Тиферна. Здесь его разведчики доложили ему, что Спартак со всем своим войском неожиданно пришел в Литерн и теперь находится на расстоянии не более одного дня пути от римского войска.

Гней Фурий как солдат не прочь был бы помериться силами с каждым гладиатором в отдельности, в том числе и со Спартаком, но как предводитель войска, имеющий определенное задание, он не счел возможным вступать в бой с неприятелем, численностью превосходящим его, ибо не надеялся на победу. Бегство же он считал низостью и малодушием, которого не могут оправдать даже соображения благоразумия, так как отступление римлян к Латию дало бы возможность Спартаку легко настигнуть их и уничтожить. Поэтому Гней Фурий решил оставить консульскую дорогу, свернуть налево и подняться до Кал, откуда он мог в несколько часов дойти до Капуи; две тысячи восемьсот его солдат, быстро соединившись с капуанским гарнизоном, получившим за это время подкрепление, могли бы отразить нападение гладиаторов. Если бы Спартак вздумал продвигаться в сторону Латия, у Гнея Фурия хватило бы времени призвать на помощь Вариния, соединиться с ним и, обрушившись на дерзкого мятежника с тыла, разгромить его. Если бы Спартак отступил, Фурий надеялся выполнить данный ему приказ: либо опять вернуться на Домициеву дорогу, либо из Капуи по преторской дороге прийти в назначенный день в Ателлу.

Все эти мудрые рассуждения и принятое в результате их не менее мудрое решение свидетельствовали об уме и способностях Фурия; будь на его месте сам Помпей Великий, и тот не мог бы поступить иначе.

Фурий решил сняться с лагеря за два часа до рассвета и,

соблюдая полную тишину, направиться в Калы, послав предварительно по консульской дороге трех разведчиков, переодетых в крестьянское платье. Они должны были, невзирая на риск и опасности, сообщить врагу неправильные сведения о продвижении Гнея Фурия и попытаться уверить гладиаторов, что он отправился в Кайету, то есть повернул назад.

Но Спартак уже знал от своих разведчиков, что часть неприятельских сил расположилась лагерем в Тиферне; он сразу понял, какую ошибку совершил претор Вариний, разделив свои силы пополам с целью поймать Спартака в мешок; фракиец полностью разгадал планы квестора и с прозорливостью, свойственной только гениальным умам, тотчас же сообразил, как следует поступить: стремительным броском врезаться между вражескими войсками и разбить каждое из них в отдельности, обрушив все силы сначала на одну часть, а затем на другую.

Одним из наиболее выдающихся качеств Спартака как полководца, столь прославивших его во время этой войны, была быстрота, с которой он умел оценивать, анализировать обстановку, предвидеть, вырабатывать план действия и тут же приводить его в исполнение. Военный талант Наполеона во многом был схож с талантом Спартака. Фракиец восхищался тактикой и обученностью римского войска, тщательно изучал их сам и обучал свои легионы, отвергая, однако, педантизм римских полководцев, запрещавший отходить от некоторых установленных правил, норм, навыков. Спартак сообразовывал свои действия— передвижение войска, маневры, переходы — с местностью, с обстоятельствами, с позицией неприятеля; он усовершенствовал и применял на практике самую простую, но вместе с тем самую логичную и выгодную тактику — тактику стремительных действий, введенную Гаем Марием; впоследствии она помогла Юлию Цезарю покорить мир. Все большие сражения, выигранные Спартаком и справедливо поставившие его в ряды самых блестящих полководцев того времени[1], были выиграны не только

[1] Следует заметить раз и навсегда: восстание или война гладиаторов, являющаяся сюжетом нашего повествования, римлянами и их историками расценивалась как война, позорящая, бесчестящая Рим. Поэтому историки, щадя римскую гордость, очень скупо сообщают о ней и упоминают вскользь как о печальном факте, о котором горько вспоминать, стараются снизить ее значение и величие. Но все же им пришлось рассказать об этом событии достаточно, чтобы прославить обездоленных гладиаторов, а в особенности Спартака, которого как полководца мы не колеблясь ставим рядом с Марием и Цезарем. Сам Луций Флор, который нетерпимее всех историков относился к этой войне и, повествуя обо всем этом историческом периоде, не жалел презрительных эпитетов как в отношении гладиаторов, так и их вождя, все же принужден был признаться: «*Спартак, храбро сражаясь в первых рядах, пал в венце славы почти что достойнейшего полководца*».— *Примеч. автора.*

благодаря мужеству и отваге его солдат, грудью защищавших свободу, но и благодаря стремительности передвижения его войска.

Возвратимся к нашему повествованию. Приняв решение, Спартак обратился с краткой речью к своему войску, чтобы ободрить и воодушевить уставших солдат, которым для блага их общего дела предстояло проделать новый утомительный переход. Отдав приказ сняться с лагеря, Спартак оставил Домициеву дорогу и по трудному пути, пролегавшему меж холмов, которые тянутся от Капуи через Казилин, а затем спускаются к самому морю, пробрался до Вултурна, с шумом несущего меж крутых берегов свои бурные воды.

Этот переход дал возможность Спартаку быстро, до наступления зари, перебросить свои войска к Капуе; в трех милях от города он приказал раскинуть палатки и разрешил своему войску отдохнуть в течение нескольких часов, а в это время квестор Фурий тронулся в путь по направлению к Калам. В полдень Спартак снова велел трубить поход; посмеиваясь над страхом, объявшим защитников Капуи, которые заперли все ворота, спустили решетки и взобрались на вал, с трепетом ожидая неминуемого штурма, он прошел мимо города парфюмеров [1], оставшегося по правую руку, и направился в сторону Казилина, куда пришел к вечеру, в тот самый час, когда квестор Фурий явился в Калы.

Казилин, небольшой, оживленный и густо населенный город, был расположен на правом берегу Вултурна, омывавшего его стены; он находился на расстоянии семи миль от Капуи, одиннадцати — от Кал и почти в двадцати двух милях от устья Вултурна. При таком расположении сил сражающихся Казилин становился самым важным стратегическим пунктом предстоящих военных операций. Овладев этим пунктом, Спартак получал возможность господствовать над обоими берегами и долиной Вултурна. Расположившись здесь лагерем со своими легионами, он не только окончательно разъединил бы оба вражеских войска, но и не дал бы им возможности получить подкрепление из Капуи или укрыться в ее стенах и мог бы разбить эти войска одно за другим. Так как жители Казилина, испуганные неожиданным появлением гладиаторов, послали навстречу Спартаку представителей власти, почтительно просивших его смилостивиться над жителями, то ему незачем было применять силу, чтобы войти в город. Приказав расставить стражу у ворот и оставив в городе одну когорту, фракиец ушел оттуда со своими легионами

---

[1] Город парфюмеров — то есть Капуя, центр производства и сбыта парфюмерных изделий.

и расположился лагерем в удобной возвышенной местности, за Римскими воротами, откуда дорога шла прямо к Калам.

За время, истекшее с момента поражения Клодия Глабра, до того, как Публий Вариний был послан против гладиаторов, Спартак мог свободно передвигаться почти по всей Кампанье; он велел наиболее ловким и искусным конникам объездить большое число молодых лошадей, которых гладиаторы изловили на плодородных пастбищах этой провинции. Таким образом, он составил отряд в шестьсот конников, префектом которого Спартак предложил поставить храброго и достойного Борторикса, передавшего Криксу командование вторым легионом.

Как только лагерь был разбит, Спартак разрешил своим уставшим солдатам отдых на несколько дней, чтобы они могли восстановить силы, пока квестор Фурий — Спартак предполагал, что тот продолжает двигаться по Домициевой дороге,—дойдет до Литерна; тогда фракиец рассчитывал ударить ему в тыл и уничтожить его когорты.

Все же Спартак, будучи чрезвычайно предусмотрительным, призвал к себе Борторикса и приказал ему после шестичасового отдыха, около полуночи, разделить своих конников на два отряда — один отправить по Домициевой дороге почти до Тиферна, чтобы получить сведения о вражеском войске, другой же отряд ради осторожности повести по Аппиевой дороге до Кал и обследовать местность. На заре оба отряда должны были возвратиться в лагерь и сообщить о результатах разведки.

За час до восхода солнца первыми, к немалому удивлению Спартака, вернулись конники, отправленные к Калам; они сообщили, что враг продвигается со стороны Казилина. Сначала Спартак не поверил этим сведениям, но, расспросив подробно начальника разведчиков и поразмыслив, он понял, что произошло: гладиаторы отошли с Домициевой дороги вправо, чтобы дать проход Фурию, а потом зайти ему в тыл, но в этот же момент и римлянин свернул влево, чтобы избежать встречи с гладиаторами и укрыться в Капуе; таким образом, оба войска, желая избегнуть столкновения, ушли с консульской дороги и теперь должны были встретиться на преторской дороге.

Спартак тотчас велел трубить подъем; не снимая с лагеря всего войска, он приказал выступить первому легиону и построил его в боевой порядок. По фронту он поставил две тысячи велитов и пращников, предназначенных для атаки врага в расчлененном строю, как только он покажется; позади этой первой линии он расположил весь остальной состав легиона, вооруженный пиками и дротиками.

Второй легион он разделил на две части и направил через поля и виноградники — одних в левую сторону, других в правую,

приказав им отойти подальше и укрыться, а как только завяжется бой, не давая римлянам опомниться, окружить их и атаковать с флангов и тыла.

Солнце уже взошло, и лучи его золотили окрестные долины, ярко-зеленые виноградники, нивы с налитыми колосьями, цветущие луга. В этот момент показался авангард римлян. Навстречу ему двинулась цепь легко вооруженных гладиаторов, осыпая врагов градом камней и свинцовых шариков. Римляне тотчас же повернули обратно, с целью предупредить квестора Фурия о приближении неприятеля. Тогда Спартак, который во время переходов всегда шел в пешем строю вместе со своими товарищами, вскочил на могучего вороного коня, которого постоянно держали наготове на случай боя. Мужественная фигура Спартака красиво выделялась на статной лошади; он велел протрубить сигнал к атаке ускоренным маршем, чтобы напасть на врага, пока тот не успел построиться в боевой порядок.

Получив известие о неожиданном для него появлении гладиаторов, Гней Фурий тотчас же дал приказ своей колонне легионеров остановиться и с самообладанием, никогда не покидающим людей действительно храбрых, велел пращникам и велитам рассыпаться цепью. Удлиняя свой фронт, он хотел избежать, насколько это зависело от него, окружения своего войска превосходящими силами противника. Легионерам он приказал занять позиции на близлежащем холме, рассчитывая, что, в то время как велиты и пращники примут на себя первый удар гладиаторов, когорты построятся в боевую линию.

Несмотря на сумятицу и беспорядок, всегда сопровождающие внезапное нападение, все приказания Гнея Фурия были выполнены быстро и точно.

Едва римляне выполнили распоряжения квестора, как гладиаторы атаковали фронт пращников; те мужественно приняли удар, но под натиском превосходящих сил принуждены были отступить до подножия холма, где Гней Фурий успел уже расположить в боевом порядке свои четыре когорты. Римляне протрубили атаку, и легионеры под началом Фурия так стремительно обрушились на вражеских велитов, что тем, в свою очередь, пришлось остановиться. Спартак приказал подать сигнал к отступлению, и две тысячи легко вооруженных гладиаторов, бросив последние дротики в неприятеля, скрылись в промежутках между колоннами надвигавшихся гладиаторов, которые с громовым криком «барра», гулко разнесшимся по окрестным холмам и долинам, бросились на римлян. Вскоре слышен был только страшный гул от ударов по щитам, лязг мечей и дикие вопли сражающихся.

Сражение длилось около получаса с равным ожесточением

и равным мужеством, но римлян было значительно меньше, чем гладиаторов, и они не в силах были долго противостоять страшному натиску восставших. Вскоре легионеры Фурия, теснимые со всех сторон, стали отступать. В этот момент из засады появился Крикс со своим вторым легионом. В одно мгновение римляне были окружены, атакованы с тыла и флангов, ряды их смешались, они дрогнули и в беспорядке бросились бежать. Немногим удалось спастись, большая часть римлян оказалась замкнутой в кольцо и погибла смертью храбрых; одним из первых среди них пал Фурий. Так менее чем за два часа закончилась эта битва, которую с бóльшим основанием можно было бы назвать резней под Казилином.

На следующий день после этой новой победы, которую гладиаторы одержали, понеся незначительные потери по сравнению с римлянами, ибо те почти все погибли, Спартак, не теряя времени, свернул свой лагерь у Казилина и труднейшими переходами, преодолев отроги Апеннин, пройдя через Калы, направился к Теану Сидицинскому и под вечер прибыл туда. Его легионы были утомлены долгим переходом. Расположившись лагерем немного выше Теана, в нескольких милях от него, он отправил туда кавалерию с целью получить сведения о преторе Публии Варинии, который, по расчетам Спартака, должен был пройти здесь дня два-три назад, направляясь в Аллифы.

Из сообщений возвратившихся разведчиков Спартак заключил, что он не ошибся в своих расчетах: Публий Вариний вышел из Теана в Аллифы только накануне.

После длительного размышления, взвесив все преимущества, которые давала ему одержанная накануне победа, а также учитывая выгоды своих позиций в районе Теана Сидицинского, Спартак предпочел пойти наперерез претору Варинию и вступить с ним в бой до того, как к римлянам подойдут подкрепления от городов и союзников, потому что тогда победа над когортами претора далась бы труднее. Итак, на следующий день фракиец оставил Теан Сидицинский и двинулся по правому берегу Вултурна к Кавдинскому ущелью; он прибыл туда через восемь часов и расположился лагерем на берегу реки. На следующее утро он приказал срубить множество толстых деревьев и перебросить бревна через речку, которая в это время года всегда мелела; по этому мосту он переправил своих воинов на левый берег, занял неподалеку от Кавдинских гор ключевую позицию, господствовавшую над Латинской дорогой, и стал поджидать врага.

Римляне не замедлили явиться; в полдень следующего дня со стороны Аллиф, на возвышенностях, обрамлявших долину Вултурна, напротив Кавдинских гор, показались когорты Пуб-

лия Вариния. Спартак уже успел расположить свои войска для атаки, и вскоре началось сражение. Жестокий и кровопролитный бой длился до самого вечера. Римляне сражались храбро и делали все, что могли, но на закате солнца они потерпели полное поражение и отступили в беспорядке. Первой бросилась их преследовать пехота гладиаторов, которая, врубаясь в ряды бегущих римлян, уничтожала их; пехота гналась за отступающими, пока римляне, у которых от страха как будто выросли крылья, не оставили своих преследователей далеко позади. Тогда Спартак приказал трубить отбой, и едва только пехота покинула поле битвы, как кавалерия гладиаторов кинулась во весь опор за толпами беглецов и принялась уничтожать их.

Свыше двух тысяч легионеров погибло в этой роковой для римлян битве при Кавдинском ущелье. Более тысячи пятисот было ранено, в том числе сам Вариний и его трибуны: Коссиний, Фабий Максим и Бибул. Большая часть раненых попала в руки победителей, но Спартак, разоружив их, отпустил на свободу; он решил, пока на его стороне не окажется большого количества городов, не брать пленных, ибо присутствие их в лагере при известных обстоятельствах могло оказаться опасным. Гладиаторы в этом сражении тоже понесли немалые потери: погибло свыше двухсот пятидесяти человек; ранено было чуть ли не вдвое больше.

В великом унынии и отчаянии явился Публий Вариний в Аллифы и за ночь собрал там, сколько мог, бежавших; здесь же он услышал роковую весть о гибели своего квестора. Опасаясь нового нападения победителя, которому он не мог бы противостоять, проклиная всех богов неба и ада, свою злосчастную судьбу и ненавистного гладиатора, Вариний быстрым маршем двинулся по труднопроходимым дорогам среди ущелий Апеннин, ушел из Кампаньи и, вступив в Самний, поспешил укрыться в Бовиане.

Две блестящие победы, одержанные Спартаком за три дня, прославили его войско. Имя его сделалось еще более грозным и прогремело по всей Южной Италии.

Не теряя напрасно времени, фракиец спустился из Кавдинского ущелья до Кавдия и встретился там с Брезовиром — гладиатором-галлом, с которым читатели уже познакомились в связи с событиями, происшедшими в таверне Венеры Либитины в Риме в тот самый день, когда Союз угнетенных присудил к смерти отпущенника Гая Верреса, шпионившего за гладиаторами. Брезовир с пятьюдесятью товарищами бежал из Капуи в лагерь Спартака.

По совету Брезовира фракиец решил осуществить смелый маневр, рассчитывая таким способом беспрепятственно вывести

из Капуи пять тысяч гладиаторов, еще остававшихся в школе Лентула Батиата.

Через три дня после сражения у Кавдинского ущелья Спартак во главе своих десяти тысяч воинов появился у стен Капуи; он отправил в город глашатая, требуя, чтобы префект и сенат беспрепятственно выпустили из города пять тысяч гладиаторов, находящихся в школе Лентула; в случае же, если власти откажутся выполнить это требование, Спартак угрожал, что начнет штурм города, завладеет им силой, предаст его огню и мечу и уничтожит всех жителей города, невзирая на возраст и пол.

Весть о победах Спартака, приукрашенная молвой, уже дошла до Капуи и повергла ее жителей в страх. Появление грозного врага у ворот города вселило ужас в души капуанцев; требования и угрозы Спартака довершили дело — всех охватила паника.

Сенат совещался в храме Дианы, а около храма, на Форуме, собралась огромная толпа народа. Все лавки в течение какого-нибудь получаса были заперты, женщины, распустив волосы, бросились в храмы молить богов о помощи, на улицах раздавались возгласы плебеев, которые настаивали, чтобы требования гладиаторов выполнили и тем самым избавили город от угрозы ужасной резни.

Меттий Либеон, бледный, с искаженным от страха лицом, заикаясь от волнения, изложил сенату требование Спартака. Сенаторы, бледные, как и префект, в ужасе смотрели друг на друга; никто не решался высказаться и посоветовать что-либо в такую опасную минуту.

Воспользовавшись молчанием и замешательством сенаторов, военный трибун, храбрый солдат, весьма опытный в военных делах, командовавший четырьмя когортами, присланными несколько месяцев назад римским сенатом для защиты Капуи, попросил разрешения высказать свое мнение.

Нисколько не поддавшись панике, он грубо, но красноречиво и весьма убедительно доказывал, что все требования Спартака не что иное, как дерзкие угрозы, имеющие целью запугать жителей города, а затем воспользоваться их страхом; что гладиатор не может и не станет штурмовать Капую и осаждать ее, так как город хорошо защищен прочными укреплениями, а войско, у которого нет ни скорпионов, ни таранов, ни катапульт, ни баллист, ни пробоев с серповидным концом, ни других осадных машин, не отважится на штурм города.

Страх, обуявший трусливых, расслабленных капуанских сенаторов, тот страх, который за минуту до этого лишил их дара речи, заставил их прийти в себя; они вскочили со своих скамей,

точно укушенные тарантулом, и все хором завопили, что трибун сошел с ума; ведь гладиаторы овладели Нолой за каких-нибудь два часа, а тогда их было куда меньше, чем сейчас, и вооружены они были гораздо хуже. В Ноле победители разрушили все дома, убили всех жителей; они, сенаторы, не желают жертвовать собой в угоду честолюбию трибуна; выслать из Капуи пять тысяч гладиаторов было бы мерой весьма благоразумной и осторожной. Это избавит город от опасности мятежа и резни. Приводились и другие подобного рода соображения. К этому присоединились и настояния собравшегося на площади народа, шумно требовавшего, чтобы предложение Спартака было принято и таким образом город был бы спасен. Меттию Либеону, не помнившему себя от радости, пришлось поставить на голосование поддержанное многими сенаторами предложение — согласиться на требования Спартака; это предложение было принято почти единогласно.

Таким образом, пять тысяч гладиаторов, запертых в школе Лентула, были выпущены из города и направились к Спартаку, который расположился лагерем у подножия близлежащей горы Тифаты.

Они были встречены радостными криками товарищей, сейчас же получили оружие и составили третий легион, командование которым было поручено Борториксу, а Брезовира назначили префектом конницы.

Вскоре Спартак возвратился в Нолу, расположился лагерем и пробыл там около тридцати дней, ежедневно с увлечением обучая новый легион. В это время фракиец получил сведения, что претор Вариний пополняет солдатами свои легионы, намереваясь напасть на гладиаторов.

Спартак решил опередить Вариния. Он оставил Крикса с двумя легионами в Ноле, взял с собой первый легион, которым командовал Эномай, перешел Апеннины и, выступив в Самний, появился под Бовианом.

Вариний сообщил римскому сенату о злоключениях и неудачах, постигших его на этой войне, внушавшей отныне серьезные опасения. Чтобы положить ей конец, требовалось подкрепление численностью не менее двух легионов. Напоминая о своих прежних заслугах перед отечеством, честный солдат просил сенат оказать ему, ветерану многих сражений, милость — дать возможность смыть со своей совести позор понесенного поражения и довести войну до конца.

Сенат внял справедливым просьбам храброго Вариния и прислал ему восемь когорт, в составе которых было свыше четырех тысяч ветеранов, а также разрешил ему набрать среди марсов, самнитов и пицентов еще шестнадцать когорт, с тем

чтобы он имел возможность сформировать два легиона, необходимых ему для подавления мятежа гладиаторов.

Претор, который считал, что старшинство чина и продолжительность службы в армии дают человеку неоспоримые преимущества, назначил на место, оставшееся свободным после смерти Фурия, Лелия Коссиния, хотя среди бывших у него в подчинении трибунов многие были и умнее и дальновиднее этого человека. Вариний доверил ему командование восемью когортами, только что присланными из Рима, приказав Коссинию остаться в Бовиане, чтобы помешать Спартаку продвинуться в глубь Самния, сам же с двумя тысячами легионеров, уцелевших после поражения у Кавдинского ущелья, отправился в страну марсов и пицентов набирать там солдат.

Когда Спартак подошел к Бовиану, намереваясь навязать Коссинию бой, тот, действуя согласно полученным им распоряжениям, заперся в городе; негодуя на то, что ему запрещено выступить, он, однако, терпеливо переносил все оскорбления и вызовы гладиаторов.

Но Спартак разгадал план Вариния и решил не дать ему времени набрать солдат в Самнии и Пицену ме. Оставив под Бовианом Эномая с одним легионом, который расположился лагерем близ города, сам он с отрядом конников возвратился в Нолу.

Здесь его ожидали хорошие вести. Первой и самой приятной был приход гладиатора Граника, который привел с собою свыше пяти тысяч человек: галлов, германцев и фракийцев из нескольких школ Равенны. С таким подкреплением войско гладиаторов, разделенное на четыре легиона, доходило до двадцати тысяч человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второй неожиданной и не менее приятной новостью был приезд Мирцы. Спартак обнял сестру, покрывая лицо ее горячими поцелуями. А девушка целовала то лицо, то руки брата, то его одежду и прерывающимся от рыданий голосом говорила:

— Спартак!.. Ах, Спартак!.. Любимый брат мой! Как я боялась, как трепетала за тебя... Я думала обо всех опасностях, которым ты подвергаешься в этой кровопролитной войне!.. Я не знала ни минуты покоя... просто жить не могла... все думала: «Может быть, он ранен и ему нужна моя помощь!» Ведь никто, дорогой Спартак, никто не мог бы так ухаживать за тобой, как я... если бы... когда... да спасут тебя великие боги! И я плакала по целым дням и все просила Валерию, милую мою госпожу... чтобы она разрешила мне поехать к тебе... и она, бедняжка, исполнила мою просьбу. Да окажет ей покровительство Юнона за ее доброту... Она отпустила меня к тебе... И, знаешь, она даровала мне свободу!.. Я теперь свободная... я тоже свободная... И я теперь навсегда останусь с тобой.

Она щебетала и ласкалась к брату, как ребенок, а из глаз ее лились слезы, но бедная девушка улыбалась брату, и во всех ее движениях сквозила радость, переполнявшая ее сердце.

Недалеко от них молча стоял, наблюдая эту сцену, белокурый красавец Арторикс. Лицо его то озарялось радостью, то затуманивалось печалью. Он тоже всего несколько дней назад прибыл с Граником из Равенны. Приблизившись к Спартаку, он застенчиво сказал:

— А меня, дорогой Спартак, непобедимый наш вождь, меня ты разве не обнимешь и не поцелуешь?..

Говоря это, Арторикс окинул беглым взглядом девушку, как бы прося у нее прощения за то, что похищает у нее поцелуй брата.

— Арторикс! — воскликнул Спартак и, крепко обняв его, прижал к своей груди.— Любимый мой друг!.. Дай я тебя поцелую, благородный юноша!

Так в дополнение ко всем радостям, которые изведал Спартак за последние месяцы, к счастью блестящих побед и замечательных успехов, которых он добился с первых дней ужасной войны, судьбе угодно было послать ему еще одну радость: он мог обнять сестру и Арторикса, самых дорогих его сердцу людей.

Но вскоре лицо Спартака, сиявшее счастьем, затуманилось. Склонив голову на грудь, он глубоко вздохнул и погрузился в скорбные мысли.

Простившись с друзьями, он вместе с сестрой ушел в свою палатку. Спартаку очень хотелось расспросить Мирцу о Валерии, но какое-то чувство стыдливости мешало ему заговорить об этом с сестрой. К счастью для Спартака, девушка щебетала о том о сем, и фракийцу не пришлось расспрашивать ее, так как Мирца сама завела разговор о Валерии: ей никогда и в голову не приходило, что между ее бывшей госпожой и горячо любимым братом существовали иные отношения, кроме дружеских.

— О, поверь, поверь мне, Спартак,— повторяла девушка, приготовляя для брата скромный ужин на пне, который в палатке фракийца служил столом,— если бы все римские матроны были похожи на Валерию... Верь мне, я на себе испытала всю ее доброту, благородство ее чувств... рабство давно было бы отменено законом... потому что дети, родившиеся от подобных женщин, не могли бы, не пожелали бы терпеть существование тюрем, наказаний розгами, распятий на крестах, не допустили бы, чтобы с гладиаторами обращались, как с убойной скотиной...

— О, я это знаю! — взволнованно воскликнул Спартак.

И тут же, спохватившись, добавил:

— Да, да, я верю тебе.

— И ты должен этому верить... потому что, видишь ли, она

уважает тебя... гораздо больше, чем любая другая матрона на ее месте уважала бы ланисту своих гладиаторов. Она часто разговаривала со мной о тебе... восхищалась тобой, в особенности с тех пор, как ты расположился лагерем на Везувии, при каждом известии о тебе... Когда мы услыхали, что ты победил и разбил трибуна Сервилиана... когда узнали о твоей победе над Клодием Глабром, она часто говорила: «Да, природа щедро наградила его всеми достоинствами великого полководца!»

— Она так говорила? — нетерпеливо переспросил Спартак, на лице которого отражались воскресшие в душе чувства и воспоминания.

— Да, да, она так говорила!..— ответила Мирца, продолжая готовить ужин.— Мы долго здесь останемся? Я хочу позаботиться о твоей палатке... Эта совсем не подходит для доблестного вождя гладиаторов... В ней такой беспорядок... и нет самого необходимого... У любого солдата жилье лучше... Ну да, она так говорила... И как-то раз она спорила со своим братом, оратором Гортензием, ты ведь знаешь его? Так вот, она защищала тебя от его нападок, говорила, что война, которую ты начал,— справедливая война, и если боги пекутся о делах людских, то ты победишь.

— О божественная Валерия! — чуть слышно произнес Спартак, бледнея от волнения.

— И она, бедняжка, так несчастлива,— продолжала девушка,— так, знаешь ли, несчастлива!

— Несчастлива?.. Несчастлива?.. Почему?..— живо спросил фракиец.

— Она несчастлива, я это знаю... Я не раз заставала ее в слезах... часто глаза ее бывали красными от слез... часто я слышала, как она глубоко вздыхала, очень часто. Но почему она плачет и вздыхает, я не знаю, не могу догадаться. Может быть, из-за неприятностей с ее родственниками из рода Мессалы... А может быть, горюет о муже... Хотя едва ли... нет, не знаю... Единственное ее утешение — ее дочка, Постумия. Такая милочка, такая прелестная крошка!..

Спартак глубоко вздохнул, смахнул рукой несколько слезинок, скатившихся из глаз, резко повернулся и, обойдя кругом палатку, спросил у Мирцы, чтобы переменить тему разговора:

— Скажи, сестра... ты ничего не слышала о Марке Валерии Мессале Нигере... двоюродном брате Валерии?.. Я с ним встретился... мы с ним бились... я его ранил... и пощадил его... Не знаешь ли ты случайно... выздоровел ли он?

— Конечно, выздоровел!.. И об этом твоем великодушном поступке мы тоже слышали!.. Валерия со слезами благословляла тебя. Нам все рассказал Гортензий, когда приехал на тускулан-

скую виллу... После смерти Суллы Валерия почти круглый год живет там.

В эту минуту на пороге палатки появился один из деканов гладиаторов и доложил, что молодой солдат, только что прибывший из Рима, настойчиво просит разрешения поговорить со Спартаком.

Спартак вышел из палатки на преторскую площадку: лагерь гладиаторов был построен в точности по образцу римских лагерей. Палатка Спартака была разбита на самом возвышенном месте, и перед ней было отведено место для военного суда. Эта площадка у римлян называлась преторской. За палаткой Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена; возле нее стоял караул из десяти солдат во главе с деканом. Выйдя из палатки, Спартак увидел идущего к нему навстречу юношу в богатом военном одеянии, о котором ему только что доложили; юноше этому на вид было не более четырнадцати лет.

На нем была кольчуга, облегавшая плечи и тонкий, гибкий стан; она была сделана из блестящих серебряных колец и треугольников, соединенных между собой в частую сеть, и доходила почти до колен. Панцирь был стянут в талии кожаным ремешком, отделанным серебряными насечками с золотыми гвоздиками. Ноги были защищены железными наколенниками, затянутыми позади икр кожаными ремнями; правую руку закрывал железный нарукавник, а в левой юноша держал небольшой бронзовый щит, украшенный чеканными фигурками тонкой работы. С правого плеча вместо перевязи спускалась к левому боку массивная золотая цепь, на которой висел изящный короткий меч. Голову юноши покрывал серебряный шлем, на котором вместо шишака была укреплена золотая змейка, а из-под шлема выбивались золотистые кудри, обрамлявшие прекрасное юношеское лицо — нежное, словно выточенное из мрамора. Большие миндалевидные лучистые глаза цвета морской волны придавали этому милому, женственному лицу выражение отваги и решимости, что никак не соответствовало всему хрупкому, нежному облику юноши.

Спартак недоуменно взглянул на юношу, затем повернулся к декану, вызвавшему его из палатки, как бы спрашивая его, этот ли воин желал с ним говорить, и, когда декан утвердительно кивнул головой, Спартак подошел к юноше и спросил его удивленным тоном:

— Так это ты хотел меня видеть? Кто ты? Что тебе нужно?

Лицо юноши вспыхнуло, затем вдруг сразу побледнело, и после минутного колебания он твердо ответил:

— Да, Спартак, я.

И после короткой паузы добавил:

— Ты не узнаешь меня?

Спартак пристально вглядывался в тонкие черты юноши, словно отыскивая в памяти какие-то стершиеся воспоминания, какой-то отдаленный отзвук. Затем он ответил, не сводя глаз со своего собеседника:

— В самом деле... Мне кажется, я где-то видел тебя... Но где?.. Когда?..

Затем снова наступило молчание, и гладиатор, первым прервав его, спросил:

— Ты римлянин?

Юноша покачал головой и, улыбнувшись печальной, какой-то вымученной улыбкой, как будто ему хотелось заплакать, ответил.

— Память твоя, доблестный Спартак, не так сильна, как твоя рука.

При этой улыбке и этих словах точно молния осветила сознание фракийца: он широко открыл глаза, со все возрастающим удивлением вперил их в юного солдата и неуверенным тоном воскликнул:

— Неужели!.. Может ли быть?.. Юпитер Олимпиец! Да неужели это ты?

— Да, это я, Эвтибида. Да, да, Эвтибида,— ответил юноша, вернее, девушка, так как перед Спартаком действительно стояла переодетая Эвтибида.

Он смотрел на нее и никак не мог прийти в себя от удивления. Тогда гречанка сказала:

— Разве я не была рабыней? Разве я не видела, как родных моих обратили в рабство?.. Разве я не утратила отечества?..

Девушка говорила, еле сдерживая гнев, а последние слова произнесла со страстным негодованием.

— Я понимаю, понимаю тебя...— задумчиво и грустно сказал Спартак. Минуту он молчал, затем, подняв голову, добавил с глубоким, печальным вздохом:— Ты слабая, изнеженная женщина, привыкшая к роскоши и удобствам... Что станешь ты здесь делать?

— О! — гневно воскликнула девушка. Никто не подумал бы, что она способна на такую вспышку.— О Аполлон Дельфийский, просвети его разум! Он ничего не понимает! Во имя фурий-мстительниц, говорю тебе, что я хочу отомстить за своего отца, за братьев, за порабощенную отчизну, за мою молодость, за мою загубленную жизнь, а ты еще спрашиваешь, что я собираюсь делать в этом лагере!

Лицо девушки и прекрасные ее глаза горели гневом. Спартак был растроган этой дикой энергией и силой и, протянув руку гречанке, сказал:

— Да будет так! Оставайся в лагере... шагай бок о бок с нами, если ты можешь... сражайся вместе с нами, если ты в силах.

— Я все смогу, если захочу,— нахмурив брови, ответила отважная девушка. Она судорожно сжала протянутую ей руку Спартака.

Но от этого прикосновения вся энергия, вся жизненная сила как будто ослабела в ней. Эвтибида вздрогнула, побледнела, ноги у нее подкосились, она была близка к обмороку. Заметив это, фракиец подхватил ее левой рукой и поддержал, чтобы она не упала.

От этого невольного объятия дрожь пробежала по всему ее телу. Фракиец заботливо спросил:

— Что с тобой? Чего ты хочешь?

— Поцеловать твои могучие руки, покрывшие тебя славой, о доблестный Спартак! — прошептала она и, склонясь к рукам гладиатора, приникла к ним жарким поцелуем.

Точно туманом заволокло глаза великого полководца, кровь закипела в жилах и огненной струей ударила в голову. На миг у него возникло желание сжать девушку в своих объятиях, но он быстро овладел собой и, отдернув свои руки, отодвинулся от нее и сдержанно сказал:

— Благодарю тебя... достойная женщина... за участие в судьбе угнетенных... Благодарю за выраженное тобой восхищение, но ведь мы хотим уничтожить рабство и поэтому должны устранять любое его проявление.

Эвтибида стояла молча, с опущенной головой, не двигаясь, точно пристыженная. Гладиатор спросил:

— В какую часть нашего войска ты желаешь вступить?

— С того дня, как ты поднял знамя восстания, и до вчерашнего дня я с утра до вечера училась фехтовать и ездить верхом... Я привела с собой трех великолепных коней,— ответила гречанка, мало-помалу приходя в себя, и, наконец окончательно овладев собой, подняла глаза на Спартака.— Желаешь ли ты, чтобы я была твоим контуберналом? [1]

— У меня нет контуберналов,— ответил вождь гладиаторов.

— Но если ты ввел в войсках рабов, борющихся за свободу, римский боевой строй, то теперь, когда твоя армия выросла до четырех легионов, необходимо, чтобы и ты, их вождь, имел, по римским обычаям, подобающую твоему званию свиту и поднял этим свой престиж. Контуберналы будут необходимы тебе уже с завтрашнего дня, так как, командуя армией в двадцать тысяч

---

[1] Контубернал — буквально: товарищ по палатке. В каждой палатке в лагере обыкновенно помещалось десять человек, которые составляли товарищество (контуберний). Здесь: ординарец.

человек, ты не можешь попасть в одно и то же время в различные места; у тебя должны быть ординарцы для передачи твоих распоряжений начальникам легионов.

Спартак с удивлением смотрел на девушку и, когда она умолкла, тихо произнес:

— Ты необыкновенная женщина!

— Скажи лучше — пылкая и твердая душа в слабом женском теле,— гордо ответила гречанка.

И через минуту продолжала:

— У меня сильный характер и пытливый ум, я одинаково хорошо владею латынью и греческим языком, я могу оказать серьезные услуги нашему общему делу, на которое я отдала все свое достояние... около шестисот талантов, а с этого дня я посвящаю ему всю свою жизнь.

С этими словами она обернулась к проходившей в нескольких шагах от претория главной дороге лагеря, по которой сновали взад и вперед гладиаторы, и позвала кого-то резким долгим свистом. Тотчас на дороге появился раб, подгонявший лошадь; на спине ее в двух небольших мешках было сложено золото Эвтибиды, которое она приносила в дар восставшим. Лошадь остановилась перед Спартаком.

Фракиец был ошеломлен смелостью и широтой души молодой гречанки; несколько секунд он был в смущении и не знал, что ей ответить; затем сказал, что так как это лагерь рабов, объединившихся для завоевания свободы, то он, конечно, открыт для тех, кто хочет примкнуть к ним; следовательно, и Эвтибиду охотно примут в лагерь гладиаторов; вечером он соберет руководителей Союза, чтобы поговорить о ее щедром даре армии гладиаторов. Что же касается желания Эвтибиды быть его контуберналом, то он ничего не может обещать ей: если будет постановлено, что при вожде гладиаторов должны состоять контуберналы, он о ней не забудет.

Спартак прибавил несколько слов благодарности, согласно правилам греческой учтивости, но произнес эти ласковые слова признательности строгим, почти мрачным тоном; потом, простившись с Эвтибидой, он вернулся в свою палатку.

Застыв неподвижно, словно статуя, девушка следила взглядом за Спартаком и, когда он скрылся в палатке, еще долго смотрела ему вслед. Потом, тяжело вздохнув, она сделала над собой усилие и, опустив голову, медленно пошла в тот конец лагеря, который, по римскому обычаю, отводился для союзников и где ее рабы, которых она привезла с собой, разбили для нее палатку. Она тихо шептала:

— И все же я люблю, люблю его!..

Тем временем Спартак велел позвать в свою палатку Крик-

са, Граника, Борторикса, Арторикса, Брезовира и других военачальников Союза и до поздней ночи держал с ними совет.

На этом совете были приняты следующие решения: взять деньги, принесенные в дар гречанкой Эвтибидой, и бóльшую часть их употребить на приобретение оружия, щитов и панцирей у всех оружейников окрестных городов; гречанку удостоить просимой ею должности контубернала и в этом чине, совместно с девятью юношами, которых Спартак выберет в гладиаторских легионах, приписать к главному штабу. Всеми было признано, что теперь вождя гладиаторов должны сопровождать контуберналы для передачи его приказаний. Было решено также двести талантов истратить на покупку уже объезженных лошадей, для того чтобы возможно скорее создать кавалерийский корпус и теснее сочетать его действия с действиями многочисленной пехоты, основной силы войска гладиаторов.

Относительно военных операций было решено, что Крикс останется с двумя легионами в Ноле и совместно с Граником будет руководить обучением равеннского легиона, прибывшего в лагерь два дня назад; Спартак с легионом, которым командовал Борторикс, соединится в Бовиане с Эномаем и нападет на Коссиния и Вариния, прежде чем те закончат комплектование своей новой армии.

И вот на рассвете следующего дня Спартак во главе легиона вышел из лагеря и через Кавдинские горы направился в Аллифы. Сколько Эвтибида и Мирца ни просили его взять их с собой, он не согласился, заявив им, что идет не на войну, а только в разведку и скоро вернется; он просил их оставаться в лагере и ждать его возвращения.

Когда Спартак прибыл в Бовиан, он уже не застал там Эномая, которому надоело без дела сидеть в лагере. Два дня назад он снялся с лагеря и, предоставив Коссинию сидеть за стенами Бовиана, направился в Сульмон, где, по донесениям разведчиков и шпионов, находился Вариний, набиравший солдат. Эномай надеялся напасть на него и разбить.

Но случилось то, чего ограниченный ум Эномая не мог предвидеть: Коссиний, на следующий же день после ухода германца, тайно оставил Бовиан и направился по следам гладиаторов с намерением атаковать их с тыла, как только они встретятся с Варинием.

Спартак сразу понял всю опасность положения Эномая; он дал своему легиону только несколько часов для отдыха, а затем отправился по следам Коссиния, который опередил его уже на два дня. Коссиний, старый солдат, но бесталанный полководец, слепо благоговел перед старинными правилами; он двигался, как это обычно полагалось, переходами по двадцать миль в день,

а Спартак, совершив два перехода по тридцать, догнал его через два дня у Ауфидены и напал с тыла. Нанеся Коссинию жестокое поражение, Спартак стал преследовать бегущих римлян. Коссиний со стыда и отчаяния бросился в гущу гладиаторов и погиб.

Продолжая продвигаться все с той же скоростью, Спартак вовремя подоспел на помощь Эномаю и неминуемое его поражение превратил в победу. Германец вступил в бой с Варинием между Марруви́ем и озером Фуцин. У Вариния было около восьми тысяч человек. Под натиском римлян ряды гладиаторов заколебались, но в этот момент явился Спартак и сразу изменил ход сражения. Вариний, потерпев поражение и понеся тяжелый урон, быстро отступил к Корфинию.

После этого Спартак дал своим легионам трехдневный отдых, а затем снова двинулся в поход, вновь перешел Апеннины близ Ауфидены и овладел Сорой, которая сдалась без сопротивления. Не чиня здесь никаких насилий, он только освободил рабов и гладиаторов и вооружил их.

За два месяца он исходил вдоль и поперек весь Латий, побывал в Анагнии, Арпине, Ферентине, Казине, Фрегеллах и, перейдя через Лирис, овладел Норбой, Суэссой-Пометией и Приверном, внушив сильную тревогу Риму, которому чудилось, что гладиатор уже стоит у его ворот.

Во время этих набегов Спартак набрал столько рабов и гладиаторов, что за два месяца составил два новых легиона и полностью вооружил их. Но предусмотрительного Спартака не соблазняла мысль об осаде Рима. Он понимал, что двадцати и даже тридцати тысяч солдат, которыми он мог располагать, вызвав легионы, находившиеся в Кампанье, было бы недостаточно для такой операции.

Тем временем Публий Вариний набрал с разрешения сената огромное количество солдат среди пицентов, получил подкрепления из Рима и, желая смыть позор поражения, в конце августа выступил из Аскула во главе восемнадцати тысяч солдат и большими переходами двинулся на Спартака. Спартак, отошедший за эти дни к Таррацине, узнав о приближении Вариния, пошел ему навстречу и обнаружил его лагерь близ Аквина. Накануне сентябрьских ид (19 сентября) войска сошлись, и завязалось сражение.

Сражение это было долгим и кровопролитным, но к вечеру римляне дрогнули, заколебались и вскоре под натиском бешеной атаки гладиаторов обратились в бегство. Эта последняя атака была столь стремительной и сильной, что легионы Вариния были разбиты наголову.

Сам Вариний, стремясь поддержать честь Рима, сражался

с отчаянной храбростью и большим упорством, но, раненный Спартаком, принужден был оставить в его руках своего коня и благодарить богов за спасение собственной жизни. Свыше четырех тысяч римлян погибло в этом кровопролитном бою. Гладиаторы завладели их оружием, обозом, лагерным оборудованием и знаменами, взяли в плен даже ликторов [1] из свиты претора.

Глава четырнадцатая,

В КОТОРОЙ СРЕДИ МНОГИХ РАЗЛИЧНЫХ ЧУВСТВ ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ОКАЗАЛАСЬ ГОРДОСТЬ ЛИКТОРА СИМПЛИЦИАНА

После поражения под Аквином претор Публий Вариний с десятью тысячами воинов — остатками своих разбитых легионов — отступил в Норбу; там он укрепился, намереваясь защищать одновременно и Аппиеву и Латинскую дороги на тот случай, если бы ненавистный гладиатор, вопреки всем правилам тактики, традициям и указаниям самых опытных полководцев, дерзнул, невзирая на надвигающуюся зиму, двинуться к стенам Рима.

В свою очередь Спартак после блестящей победы под Аквином послал в лагерь под Нолой гонцов с извещением об этой победе, а своим легионам разрешил отдых в лагере, оставленном римлянами. Там он вызвал в свою палатку Эномая и передал ему командование четырьмя легионами, взяв с германца клятву, что до возвращения Спартака он ни в коем случае не оставит аквинский лагерь. Эномай дал клятвенное обещание. В два часа пополуночи Спартак тайно покинул лагерь гладиаторов и во главе трехсот конников отправился в поход, цель которого была известна только ему одному.

За два месяца, проведенных Спартаком в походах по Самнию и Латию, в лагерь под Нолой прибыло со всех концов Италии такое количество рабов и гладиаторов, что Крикс сформировал три новых легиона, численностью свыше пяти тысяч человек каждый, и отдал их под начало Арторикса, Брезовира и одного старого атлета-кимвра, который еще юношей был взят в плен Марием в сражении при Верцеллах. Кимвра звали Вильмиром; несмотря на свой буйный нрав, он пользовался большим уважением среди гладиаторов за геркулесовскую силу и исключительную честность.

---

[1] Ликторы — почетная стража высших должностных лиц в Риме. Они шли впереди должностных лиц, расчищая перед ними путь.

Легионы, выполняя приказ Спартака, ежедневно упражнялись в обращении с оружием, в тактическом маневрировании; солдаты занимались этим охотно и с большим прилежанием. Надежда обрести свободу и увидеть торжество своего правого дела воодушевляла этих несчастных, насильственно отторгнутых Римом от отчизны, от семей, от родных и близких. Сознание, что они солдаты, борющиеся под святым знаменем свободы, повышало в них чувство человеческого достоинства, поверженное в прах угнетателями, и подымало их в собственных глазах; жажда мести за все перенесенные обиды зажигала в их груди желание с оружием в руках помериться силами с угнетателями. В лагере под Нолой на лицах воинов и во всех их поступках сквозили отвага, сила, мужество, вера в непобедимость своей только что созданной армии. Это воодушевление подкреплялось доверием гладиаторов к своему вождю, к которому они питали беспредельное уважение и любовь.

Когда в лагерь пришло известие о победе Спартака над легионами Публия Вариния под Аквином, гладиаторов охватила радость. Всюду слышны были веселые песни, победные возгласы и оживленные разговоры. Среди суматохи, которая царила в лагере, напоминавшем в эти дни волнующееся море, быть может, одна только Мирца не знала причины этого всеобщего веселья. Она выглянула из палатки, где сидела в одиночестве целыми днями, и спросила у солдат, чем вызвано столь бурное ликование.

— Спартак опять победил!

— Он наголову разбил римлян!

— Да так, что они надолго запомнят!

— Где? Как? Когда? — с жадным нетерпением расспрашивала их девушка.

— Под Аквином.

— Три дня назад.

— Он разбил претора, захватил его коня, ликторов и знамена!

В эту минуту у главной палатки на преторской площадке показался Арторикс; он шел к Мирце по вполне основательному поводу: сообщить ей подробности о победе, одержанной ее братом над римлянами. Но, подойдя к девушке, галл покраснел от смущения и не знал, как начать разговор.

— Вот в чем дело... Здравствуй, Мирца,— бормотал юноша, боясь взглянуть на нее и теребя перевязь, спускавшуюся с левого плеча к правому боку.— Ты уж, верно, знаешь... Это было под Аквином... Как ты поживаешь, Мирца?

И после короткой паузы прибавил:

— Так вот, значит, Спартак победил.

Арторикс понимал, что он смешон, и это еще больше смущало его; язык словно прилипал к гортани, и он, запинаясь, произносил какие-то бессвязные слова. Он предпочел бы в эту минуту оказаться в самом пекле сражения, лицом к лицу с опасным противником, чем оставаться с глазу на глаз с Мирцей.

А все дело было в том, что Арторикс, человек нежной и кристально чистой души, боготворивший Спартака, с некоторого времени начал испытывать еще не знакомое ему смятение чувств.

Завидев Мирцу, он приходил в смущение, голос ее вызывал в нем необъяснимый трепет, а ее речи казались нежнейшими звуками сапфической арфы, которые помимо воли уносили его в неведомые блаженные края.

На первых порах он безотчетно предавался этим сладостным восторгам, не думая о причине, их порождавшей; он убаюкивал себя этими таинственными гармоническими звуками, которые опьяняли его; он находился во власти неясных грез и сладостных переживаний, не понимая и даже не стараясь понять, что с ним происходит.

С того дня, как Спартак отправился в Самний, молодому гладиатору не раз случалось подходить к палатке полководца, где жила теперь Мирца, и он сам не знал, каким образом и для чего он тут очутился; нередко бывало и так, что, сам того не замечая, он вдруг оказывался где-то среди поля или в винограднике за несколько миль от лагеря и не мог сообразить, как он попал туда и зачем пришел.

Но через месяц после отъезда Спартака случилось нечто такое, что заставило молодого галла поразмыслить над опасностью своих сладких мечтаний и призвать на помощь разум, чтобы внести порядок в хаос взбудораженных чувств.

А произошло вот что. На первых порах Мирца не придавала особого значения частым посещениям Арторикса и доверчиво болтала с ним, радуясь его дружбе; но по мере того как их встречи учащались, она, завидев его, то краснела, то бледнела, становилась задумчивой, смущенной. Все это заставило юношу внимательнее разобраться в своих чувствах, и вскоре он убедился, что полюбил сестру Спартака.

Странное, непонятное поведение Мирцы он истолковывал как проявление презрения к нему; ему и в голову не приходило, что Мирца сама испытывала такие же чувства, какие переполняли его сердце Он не осмеливался надеяться на то, что девушка тоже любит его, и совсем не думал, что именно любовью и объясняется ее смущение при встречах с ним Оба вынуждали себя подавлять свои чувства, с трудом скрывая друг от друга волнение души; они старались даже избегать друг друга, хотя лелеяли мечту о встрече; пытались отдалиться друг от друга,

а видались все чаще; желая говорить, молчали; встретившись друг с другом, стремились поскорее разлучиться и, не в силах расстаться, стояли, опустив глаза, время от времени украдкой бросая друг на друга быстрый взгляд, словно считали его преступлением.

Поэтому Арторикс с радостью воспользовался случаем повидать Мирцу и отправился сообщить ей о новой победе Спартака, по пути рассуждая с самим собою о том, что более удачного повода для встречи с любимой ему не могло представиться. Он пытался уверить себя, что вовсе не придрался к случаю,— не пойти к ней и не сообщить такую приятную новость из-за какой-то глупой стеснительности и робости было бы не только ребячеством, но и попросту дурным поступком!

И молодой галл поспешил к Мирце; сердце его билось от радости и надежды. Он шел к девушке, твердо решив побороть свое смущение и непонятную тревогу, овладевавшую им при встрече с Мирцей. Он решил поговорить с ней откровенно, с решимостью, подобающей мужчине и воину, и смело открыть ей свою душу. «Так как положение создалось очень странное,— думал он, направляясь к палатке Спартака,— то надо с ним покончить раз навсегда,— давно уже пора принять какое-нибудь решение и избавиться от невыразимой мучительной тоски».

Но как только Арторикс очутился перед Мирцей, все его планы рассеялись, как дым; он стоял перед ней, словно школьник, пойманный учителем на месте преступления; поток красноречивых излияний внезапно иссяк, не излившись, и Ариториксу с трудом удалось произнести лишь несколько бессвязных слов. Горячая волна крови прихлынула к лицу девушки; после минутной паузы, усилием воли подавив смущение, она постаралась овладеть собой и наконец сказала Ариториксу слегка дрожащим голосом:

— Что же ты, Арторикс? Разве так рассказывают сестре о бранных подвигах ее брата?

Юноша покраснел при этом укоре и, призвав на помощь свое утраченное было мужество, подробно передал девушке все, что гонцы сообщили о сражении под Аквином.

— А Спартак не ранен? — спросила Мирца, взволнованно слушавшая рассказ гладиатора.— Это правда, что он не ранен? Ничего с ним не случилось?

— Нет. Жив и невредим, как всегда, невзирая на все опасности, которые угрожали ему.

— О, эта его сверхчеловеческая отвага!— воскликнула Мирца голосом, в котором звучало уныние.— Из-за нее-то я ежечасно и ежеминутно тревожусь!

— Не страшись, не бойся, благороднейшая из девушек: до

тех пор, пока в руке Спартака меч, нет такого оружия, которое могло бы пронзить его грудь.

— О, я верю,— воскликнула, вздохнув, Мирца,— что он непобедим, как Аякс, но я знаю и то, что он так же уязвим, как Ахилл!

— Великие боги явно покровительствуют нашему правому делу и сохранят драгоценную жизнь нашего вождя!

Оба умолкли.

Арторикс влюбленными глазами смотрел на белокурую девушку, любуясь правильными чертами ее лица и стройным станом.

Мирца не подымала глаз, но чувствовала устремленный на нее пристальный взгляд юноши, и этот взгляд, полный пламенной любви, вызывал у нее радость и тревогу, был ей приятен и беспокоил ее.

Тягостное для Мирцы молчание длилось не более минуты, но оно показалось ей вечностью. Сделав над собой усилие, она решительно подняла голову и посмотрела прямо в лицо Арториксу.

— Разве ты не собираешься сегодня проводить учение с твоим легионом?

— О Мирца, неужели я так надоел тебе!— воскликнул огорченный ее вопросом юноша.

— Нет, Арторикс, нет! — опрометчиво ответила девушка, но тут же спохватилась и, покраснев, добавила, заикаясь: — Потому что... да потому... ты ведь всегда с такой точностью исполняешь свои обязанности!

— В честь одержанной Спартаком победы Крикс приказал дать отдых всем легионам.

Разговор снова прервался.

Наконец Мирца сделала решительное движение, собираясь вернуться в палатку, и сказала, не глядя на гладиатора:

— Прощай, Арторикс!

— Нет, нет, выслушай меня, Мирца, не уходи, пока я не скажу тебе того, что уже много дней собираюсь сказать... и сегодня должен сказать... обязательно,— торопливо промолвил Арторикс, опасаясь, как бы Мирца не ушла.

— Что ты хочешь сказать мне?.. О чем ты хочешь говорить со мной?..— спросила сестра Спартака, более встревоженная, чем удивленная словами галла. Она уже стояла у входа в палатку, но лицо ее было обращено к Арториксу.

— Вот видишь ли... выслушай меня... и прости... Я хотел сказать тебе... я должен сказать... но ты не обижайся... на мои слова .. потому что... я не виноват... и притом... вот уже два месяца, как...

Пролепетав еще несколько бессвязных фраз, он замолчал. Но вдруг речь его полилась порывисто и быстро, словно поток, вырвавшийся из теснины.

— Почему я должен скрывать это от тебя? Ради чего должен я стараться скрыть любовь, которую больше не в силах заглушить в себе и которую выдает каждое мое движение, каждое слово, взгляд, каждый вздох? До сих пор я не открывал тебе своей души, боясь оскорбить тебя или быть отвергнутым, опротиветь тебе... Но я больше не могу, не могу противиться очарованию твоих глаз, твоего голоса; не могу бороться с непреодолимой силой, влекущей меня к тебе. Верь мне, эта тревога, эта борьба истерзали меня, я не могу, не хочу больше жить в таких мучениях... Я люблю тебя, Мирца, красавица моя! Люблю, как люблю наше знамя, как люблю Спартака, гораздо больше, чем люблю самого себя. Если я оскорбил тебя своей любовью, прости меня; какая-то таинственная могучая сила покорила мою волю, мою душу, и, верь мне, я не могу освободиться от ее власти.

Голос Арторикса дрожал от волнения. Наконец он умолк и, склонив голову, покорно, с трепещущим сердцем ждал ее приговора.

Юноша говорил со все более возрастающим жаром, порожденным глубоким чувством, и Мирца слушала его с нескрываемым волнением: глаза ее стали огромными, и в них стояли слезы; она с трудом сдерживала рыдания, подступавшие к горлу. Когда Арторикс умолк, девушка от волнения вздохнула порывисто. Она стояла неподвижно, не чувствуя, что по лицу ее текут слезы, и полным нежности взглядом смотрела на склоненную перед ней белокурую голову юноши. Спустя минуту она промолвила еле слышно голосом, прерывающимся от рыданий:

— Ах, Арторикс, лучше бы ты никогда не думал обо мне! Еще лучше было бы, если бы ты никогда не говорил мне о своей любви...

— Значит, ты равнодушна ко мне, я противен тебе? — печально спросил галл, обратив к ней побледневшее лицо.

— Ты мне не безразличен и не противен, честный и благородный юноша. Любая девушка, богатая и прекрасная, могла бы гордиться твоей любовью... Но эту любовь... ты должен вырвать из своей души... мужественно и навеки...

— Почему же? Почему?..— спросил с тоскою бедный гладиатор, с мольбой протягивая к ней руки.

— Потому что ты не можешь любить меня,— ответила Мирца, и голос ее был еле слышен сквозь рыдания.— Любовь между нами невозможна...

— Что?.. Что ты сказала? — прервал ее юноша, сделав к ней

несколько шагов, как бы желая схватить ее за руку.— Что ты сказала?.. Невозможна?.. Почему невозможна? — горестно воскликнул он.

— Невозможна! — повторила она твердо и сурово.— Я уже сказала тебе, невозможна!

И она повернулась, чтобы войти в палатку. Но так как Арторикс сделал движение, словно желая последовать за ней, она остановилась и, решительно подняв правую руку, сказала прерывающимся голосом:

— Во имя гостеприимства прошу тебя никогда не входить в эту палатку!.. Приказываю это тебе именем Спартака!

Услышав имя любимого вождя, Арторикс остановился на пороге, склонив голову. А Мирца, мертвенно-бледная, подавленная горем, с трудом сдерживая слезы, скрылась в палатке.

Галл долго не мог прийти в себя. Изредка он шептал почти беззвучно:

— Не-воз-мож-на!.. Не-воз-мож-на!..

Из этого состояния его вывели оглушительные звуки военных фанфар: в лагере праздновали победу Спартака. Охваченный страстью, юноша, сжимая кулаки, посылал проклятия небу:

— Пусть ослепит меня своими молниями, пусть испепелит меня Таран, прежде чем я потеряю рассудок!

И, схватившись руками за голову, он покинул преторскую площадку; в висках у него стучало, он шатался, как пьяный. Из палаток гладиаторов доносились песни, гимны и радостные возгласы в честь победы под Аквином, одержанной Спартаком.

А Спартак тем временем во главе своих трехсот конников скакал во весь опор по римской дороге. Хотя последняя победа гладиатора навела страх на жителей латинских городов, Спартак считал опасным появляться днем на Аппиевой дороге и прилегающих к ней преторских дорогах с немногочисленным отрядом в триста человек; поэтому фракиец пускался в путь, только когда сгущались сумерки, а с наступлением рассвета укрывался в лесу, или на какой-нибудь патрицианской вилле, расположенной вдали от дороги, или в таком месте, где можно было укрепиться в случае неожиданного нападения. Так, быстро продвигаясь, он на третьи сутки после выступления из аквинского лагеря в полночь достиг Лабика, города, находившегося на равном расстоянии от Тускула и Пренесты, между Аппиевой и Латинской дорогами. Расположившись со своими всадниками лагерем в укромном и безопасном месте, вождь гладиаторов вызвал к себе командовавшего отрядом самнита и приказал дожидаться его тут в течение двадцати четырех часов. В случае, если Спартак по истечении этого срока не вернется, самнит должен был

возвратиться в Аквин со всеми тремястами конниками той же дорогой и тем же порядком, как они шли сюда.

И Спартак один поскакал по преторской дороге, которая от Пренесты вела через Лабик в Тускул.

На очаровательных холмах, окружавших этот старинный город, расположены были многочисленные виллы римских патрициев, которые в летние месяцы приезжали сюда подышать целительным воздухом Латия и часто оставались здесь до глубокой осени.

Когда Спартак находился в двух милях от города, уже начинало светать. Он спросил у какого-то крестьянина, направлявшегося с мотыгой в поле, как проехать на виллу Валерии Мессалы, вдовы Луция Суллы. Крестьянин подробно рассказал. Спартак поблагодарил его, пришпорил своего вороного скакуна и, свернув на указанную тропинку, вскоре подъехал к вилле. Спешившись, он опустил на лицо забрало шлема, позвонил и стал ждать, когда привратник впустит его.

Тот, однако, не торопился, и когда наконец вынужден был открыть калитку, то ни за что не соглашался разбудить домоправителя и сообщить ему, что из Фракии, из когорты Марка Валерия Мессалы Нигера, который находится в этих краях на зимних квартирах в армии консула Лукулла, прибыл солдат и просит допустить его к Валерии, чтобы передать ей важные вести от двоюродного брата.

Спартаку удалось наконец уговорить привратника, но, очутившись перед домоправителем, он столкнулся с еще большими трудностями: старик домоправитель оказался еще более упрямым и несговорчивым, чем привратник, и ни за что не соглашался разбудить свою госпожу в столь ранний час.

— Вот что,— сказал наконец Спартак, решивший пуститься на хитрость, чтобы добиться желаемого,— ты, добрый человек, знаешь греческое письмо?

— Не только греческие, я и латинские-то буквы плохо разбираю...

— Да неужели на вилле не найдется ни одного раба-грека, который мог бы прочесть рекомендательное письмо, с которым трибун Мессала направил меня к своей двоюродной сестре?

Ожидая с некоторой тревогой ответа домоправителя, он делал вид, будто ищет пергамент за панцирем; если бы на вилле действительно оказался раб, умеющий читать по-гречески, Спартак заявил бы, что потерял письмо.

Но расчеты его оправдались: домоправитель, вздохнув, покачал головой и горько усмехнулся.

— Все рабы бежали с этой виллы, и греки и не греки, в лагерь Спартака...— И, понизив голос, угрюмо добавил:— Да испе-

пелит Юпитер своими молниями этого гнусного, проклятого гладиатора!

Спартака обуял гнев, и, хотя перед ним был старик, он с удовольствием стукнул бы его кулаком, но, одолев это искушение, спросил домоправителя виллы Валерии:

— Почему же ты говоришь так тихо, когда ругаешь гладиатора?

— Потому... потому...— бормотал смущенный домоправитель,— потому что Спартак принадлежал к челяди Валерии и ее супруга, великого Суллы; он был ланистой их гладиаторов, и Валерия, моя добрейшая госпожа,— да покровительствуют ей на многие лета великие боги! — проявляет слабость к этому Спартаку, считает его великим человеком... и решительно запрещает дурно говорить о нем...

— Вот злодейка! — воскликнул Спартак с веселой иронией.

— Эй ты, солдат! — вскричал домоправитель и, попятившись от Спартака, смерил его с ног до головы суровым взглядом.— Мне кажется, ты дерзко говоришь о моей превосходнейшей госпоже!..

— Да нет же!.. Я не хочу сказать ничего дурного, но, если благородная римская матрона сочувственно относится к гладиатору...

— Да я ведь сказал тебе... это ее слабость...

— Ага, понимаю! Но если ты, раб, не желаешь и не можешь порицать эту слабость, мне, свободному, надеюсь, ты это разрешишь!

— Да ведь во всем виноват Спартак!

— Ну конечно, клянусь скипетром Плутона!.. Я тоже говорю: во всем виноват Спартак... клянусь Геркулесом! Подумать только, осмелился внушить к себе симпатию великодушной матроны!

— Да, внушил. Этакий мерзкий гладиатор!

— Вот именно — мерзкий!

Но тут, прервав свою речь, фракиец спросил совсем другим тоном:

— Скажи мне все-таки, что тебе сделал дурного Спартак? За что ты так сильно ненавидишь его?

— И ты еще спрашиваешь, что плохого мне сделал Спартак?

— Да, спрашиваю. Говорят, этот плут провозгласил свободу рабам, а ведь ты тоже раб, и, мне кажется, тебе, наоборот, следовало бы питать добрые чувства к этому проходимцу.

И, не дав старику времени ответить, тут же добавил:

— Если только ты не притворяешься!

— Я притворяюсь?! Это я-то притворяюсь?.. О, пусть Минос будет милостив к тебе в день суда над тобою... Да и к чему

мне притворяться? Из-за безумной затеи этого негодяя Спартака я стал самым несчастным человеком. Хотя я и был рабом у добрейшей Валерии, при мне были мои сыновья, и я был счастливейшим из смертных!.. Двое красавцев! Если бы ты их видел!.. Если бы ты их знал! Они близнецы! Да хранят их боги. Такие красавцы и так похожи друг на друга, как Кастор и Поллукс!..

— Но что же случилось с ними?

— Оба бежали в лагерь гладиатора, и вот уже три месяца, как нет от них никаких вестей... Кто знает, живы ли они еще!.. О великий Сатурн, покровитель самнитов, сохрани жизнь моим дорогим, моим прекрасным, моим горячо любимым детям!

Старик горько заплакал, и его слезы растрогали Спартака. Помолчав немного, он сказал домоправителю:

— Ты, значит, считаешь, что Спартак поступил плохо, решив дать свободу рабам? Ты думаешь, что твои сыновья поступили дурно, присоединившись к нему?

— Клянусь всеми богами, покровителями самнитов! Конечно, они нехорошо поступили, восстав против Рима. О какой такой свободе болтает этот сумасброд гладиатор? Я родился свободным в горах Самния. Началась гражданская война... Наши вожди кричали: «Мы хотим добиться прав гражданства, которыми пользуются латиняне, как для нас, так и для всех италийцев!» И мы подняли восстание, мы дрались, рисковали жизнью... Ну, а потом? А потом я, свободный пастух-самнит, стал рабом Мессалы. Хорошо еще, что я попал к таким благородным и великодушным хозяевам. Рабыней также стала и жена свободного самнита и родила детей в рабстве, и...— Старик на минуту умолк, затем продолжал:— Бредни! Мечты! Выдумки! Мир был и всегда будет делиться на господ и рабов, богатых и бедных, благородных и плебеев... и так он всегда будет разделен... Выдумки! Мечты! Бредни!.. В погоне за ними льется драгоценная кровь, кровь наших детей... И все это ради чего? Что мне до того, что в будущем рабы будут свободны, если ради этого погибнут мои дети? Зачем мне тогда свобода? Для того, чтобы оплакивать моих сыновей? О, я тогда буду богат и счастлив... и смогу проливать слезы, сколько мне будет угодно! Ну, а если дети мои останутся живы... и все пойдет как нельзя лучше, и завтра мы все будем свободны?.. Что же тогда? Что мы будем делать с нашей свободой, раз у нас ничего нет? Сейчас мы живем у доброй госпожи, живем у нее в достатке, есть у нас все необходимое и даже больше того. Если мы станем свободными, то пойдем работать на чужих полях за такую скудную плату, на которую не купишь даже самого необходимого... Вот мы будем

счастливы, когда получим свободу... умирать с голоду!.. То-то будем счастливы!..

Старый домоправитель закончил свою речь, вначале грубую и бессвязную, но приобретавшую силу и энергию по мере того, как он говорил.

Выводы, которые он сделал, произвели на Спартака глубокое впечатление; фракиец склонил голову, погрузившись в глубокие и скорбные думы.

Наконец он встрепенулся и спросил домоправителя:

— Значит, здесь на вилле никто не знает греческого языка?

— Никто.

— Дай-ка мне палочку и дощечку.

Разыскав то и другое, домоправитель подал их солдату. Тогда Спартак на слое воска, покрывавшем дощечку, написал по-гречески две строки из поэмы Гомера:

Я пришел издалека, о женщина, милая сердцу,
Чтобы пылко обнять твои, о царица, колени.

Протянув домоправителю дощечку, Спартак сказал:

— Отдай это сейчас же служанке твоей госпожи. Пускай она разбудит матрону и передаст ей эту дощечку, не то и тебе и рабыне плохо придется.

Домоправитель внимательно рассмотрел дощечку с начертанными на ней непонятными значками, поглядел на Спартака, который в задумчивости медленно прогуливался по дорожке, и, решив, по-видимому, исполнить приказание, направился к вилле.

Спартак продолжал прохаживаться по дорожке и, то убыстряя, то замедляя шаги, дошел до площадки, расположенной перед самой виллой. Слова старого самнита смутили фракийца.

«Да ведь он прав, клянусь всеми богами Олимпа!.. Если погибнут в боях за свободу сыновья, что же будет радовать его на старости лет? — думал Спартак.— Мы победим, но ему-то что даст свобода, которая придет рука об руку с нищетой, голодом и холодом?.. Он прав!.. Да... Но тогда... Чего же я хочу, к чему стремлюсь?.. Кто я?.. Чего добиваюсь?..»

Он остановился на мгновение, словно испугавшись заданных самому себе вопросов; потом опять медленно зашагал, склонив на грудь голову под бременем гнетущих мыслей.

«Следовательно, то, чего я добиваюсь,— лишь химера, пленившая меня обманчивым обликом правды, и я гоняюсь за призраком, которого мне никогда не догнать? Если я и настигну его, он рассеется, словно туман, а мне будет казаться, что я крепко держу его. Что же это? Только сновидение, греза, пустая фантазия? И ради своих бредней я проливаю потоки человеческой крови?..»

Подавленный этими мыслями, он остановился, потом сделал несколько шагов назад, как человек, на которого наступал невидимый, но грозный враг — раскаяние. Но тотчас же придя в себя, он высоко поднял голову и зашагал твердо и уверенно.

— Клянусь молниями всемогущего Юпитера Олимпийского,— прошептал он,— где же это сказано, что свобода неразлучна с голодом и человеческое достоинство может быть облачено только в жалкие лохмотья самой грязной нищеты? Кто это сказал? В каких божественных скрижалях это начертано?

Поступь Спартака вновь стала твердой и решительной; видно было, что к нему возвращалась обычная бодрость.

«О,— размышлял он,— теперь ты явилась ко мне, божественная истина, сбросив с себя маску софизмов, теперь ты передо мной в сиянии твоей целомудренной наготы, ты вновь укрепила мои силы, успокоила мою совесть, придала мне бодрость в моих святых начинаниях! Кто, кто установил различия между людьми? Разве мы не рождаемся равными друг другу? Разве не у всех у нас то же тело, те же потребности, те же желания?.. Разве не одни и те же у всех у нас чувства, восприятие, ум, совесть?.. Разве жизненные потребности не являются общими для всех? Разве не все мы вдыхаем один и тот же воздух, не питаемся одинаково хлебом, не утоляем жажду из одних и тех же источников? Может ли быть, чтобы природа установила различия между людьми, населяющими землю?.. Может ли быть, чтобы она освещала и согревала теплыми лучами солнца одних, а других обрекала на вечный мрак?.. Разве роса, падающая с неба, для одних полезна, а для других пагубна? Разве не родятся все люди одинаково через девять месяцев после зачатия, будь то дети царей или дети рабов? Разве боги избавляют царицу от родовых мук, которые испытывает несчастная рабыня?.. Разве патриции наслаждаются бессмертием и умирают по-иному — не так, как плебеи?.. Разве тела великих мира сего не подвергаются тлену так же, как и тела рабов?.. Или, может быть, кости и прах богачей отличаются чем-либо от праха и костей бедняков?.. Кто же, кто установил это различие между одним человеком и другим, кто первый сказал: «Это — твое, а это — мое» — и присвоил себе права своего родного брата?.. Это, конечно, был насильник, который, пользуясь своей физической силой, придавил своим могучим кулаком выю слабого и угнетенного!..

Но если грубая сила послужила для совершения первой несправедливости, насильственного присвоения чужих прав и установления рабства, отчего же мы не можем воспользоваться своей силой для того, чтобы восстановить равенство, справедливость, свободу? И если мы проливаем пот на чужой земле, чтобы вырастить и прокормить наших сыновей, отчего же мы не

можем проливать нашу кровь для того, чтобы освободить их и добиться для них прав?..»

Спартак остановился и, вздохнув, с глубоким удовлетворением закончил свои размышления:

«Да ну его!.. Что он сказал?.. Бессильный, малодушный, закосневший в рабстве, он совсем забыл, что он человек, и, подобно волу, бессознательно влачит тяжесть своего ярма, забыв о достоинстве и разуме!»

В эту минуту вернулся домоправитель и сказал Спартаку, что Валерия поднялась и ждет его в своих покоях.

С сильно бьющимся сердцем Спартак поспешил на зов; его ввели в конклав Валерии. Матрона сидела на маленьком диванчике. Спартак запер дверь изнутри, поднял забрало и бросился к ногам Валерии.

Не проронив ни звука, она обвила руками его шею, и уста их слились в горячем поцелуе; они словно застыли, прильнув друг к другу, безмолвные и неподвижные, охваченные безмерной радостью.

Наконец они освободились от объятий и, откинувшись назад, стали созерцать друг друга, бледные, взволнованные и потрясенные.

Валерия была одета в белоснежную столу; ее черные густые волосы распустились по плечам, глаза сияли, и все же на ресницах дрожали крупные слезы. Она первая прервала молчание.

— О Спартак! Мой Спартак!.. Как я счастлива, как счастлива, что снова вижу тебя! — тихо произнесла она.

А затем опять обняла его и, целуя, говорила прерывающимся голосом:

— Как я боялась за тебя!.. Как я страдала!.. Сколько слез пролила, все думала об опасностях, которые угрожают тебе, и так за тебя боялась... Ведь только ты один владеешь всеми моими помыслами; каждое биение моего сердца, верь мне, посвящено одному тебе... ты первая и последняя... единственная... настоящая любовь в моей жизни!

И, продолжая ласкать его, она засыпала его бесчисленными вопросами:

— Скажи мне, мой дивный Аполлон, скажи мне, как ты решился явиться сюда?.. Ты, может быть, идешь со своим войском на Рим? Не грозит ли тебе какая-нибудь опасность, пока ты находишься тут? Ты расскажешь мне подробно о последнем сражении? Я слышала, что под Аквином ты разбил восемнадцать тысяч легионеров... Когда же окончится эта война, которая заставляет меня каждый час дрожать от страха за тебя? Ты ведь добьешься свободы? А тогда ты сможешь вернуться в свою Фракию, в счастливые края, где некогда обитали боги...

Она умолкла, а потом продолжала еще более нежным и проникновенным голосом:

— Туда... последую за тобой и я... буду жить там вдали от всех, от этого шума, рядом с тобой... и буду всегда любить тебя, доблестного, как Марс, и прекрасного, как Аполлон, я буду любить тебя всеми силами души, возлюбленный мой Спартак!

Гладиатор грустно улыбнулся: то были только прекрасные, несбыточные мечты, которыми влюбленная женщина старалась расцветить их будущее, и, лаская ее черные волосы, целуя ее в лоб и прижимая к своему сердцу, он тихо произнес:

— Война будет долгой и суровой... И я почту за счастье для себя, если мне удастся увести освобожденных рабов в их родные страны... А для того чтобы установить справедливость и равенство на земле, понадобится война народов, которые восстанут не только против Рима, властителя мира, но и против хищных волков, против ненасытных патрициев, против касты привилегированных в их собственных странах!

Эти последние слова гладиатор произнес с такой горечью и так печально покачал головой, что было ясно, как мало он верил в возможность дожить до победы великого начинания.

Поцелуями и ласками Валерия старалась успокоить вождя гладиаторов; ей удалось развеять печаль, омрачавшую его чело.

Присутствие маленькой Постумии, ее милые шалости, улыбки, детское щебетанье увеличивали их счастье. Милое личико девочки освещалось живым блеском больших черных глаз, которые так гармонировали с густыми белокурыми локонами, украшавшими ее головку.

Надвигались сумерки, и тихая печаль закралась в ту радость, что на краткие часы посетила уединенный конклав Валерии; вместе с солнечным светом из этого дома, казалось, уходило и счастье.

Спартак поведал своей любимой, как ему удалось пробраться к ней, и прибавил, что как предводитель восстания, которому до сих пор сопутствует счастье, он считает своим непреложным, священным долгом вернуться этой же ночью в Лабик, где его ждет отряд конницы.

Слова Спартака повергли Валерию в отчаяние; она не переставала твердить голосом, прерывающимся от рыданий, что ее сердце сжимается от тяжкого предчувствия; если она теперь отпустит Спартака, то больше никогда уж не увидит его, что она в последний раз слышит его голос, голос человека, пробудившего в ее душе истинное, глубокое чувство.

Спартак старался успокоить Валерию, осушить ее слезы; горячо целуя ее, шептал нежнейшие слова, ободрял и утешал, смеясь над ее предчувствиями и страхами. Но страх, по-видимо-

му, закрался также и в сердце Спартака; улыбка его была вымученной, печальной; слова не шли с языка, в них не было огня, не было жизни. Он чувствовал, как помимо его воли им овладевают мрачные мысли и в душу закрадывается уныние, от которого он никак не может освободиться.

В таком состоянии оба пребывали до того мгновения, когда вода, капавшая в стеклянный шар клепсидры [1], стоявшей на поставце у стены, не поднялась до шестой черты, обозначавшей шестой час утра. Тогда Спартак, который часто тайком от Валерии поглядывал на клепсидру, освободился из объятий возлюбленной и стал надевать латы, шлем и меч.

Дочь Мессалы, нежно обвив руками шею Спартака, прижалась бледным лицом к его груди, подняв на гладиатора свои блестящие черные глаза, выражавшие глубокую нежность. В этот миг она была так прекрасна, что превосходила красотою греческих богинь. Дрожащим голосом, подавленная горем, она говорила:

— Нет, Спартак, нет, нет... не уезжай, не уезжай... ради всех твоих богов... ради дорогих твоему сердцу... умоляю тебя... заклинаю... Дело гладиаторов на верном пути... у них храбрые военачальники... Крикс... Граник... Эномай... Они поведут их, не ты... нет... нет!.. Спартак, ты останешься здесь... моя нежность... безграничная преданность... безмерная любовь... окружат лаской... радостью... твое существование...

— Валерия, дорогая Валерия... ты не можешь желать, чтобы я сделал подлость... чтобы я совершил позорный поступок,— говорил Спартак, стараясь высвободиться из объятий любимой подруги.— Я не могу... не могу... не имею права... Да разве я могу изменить тем, кого я призвал к оружию... тем, кто доверился мне... кто ждет меня... кто зовет меня к себе?.. Валерия, я боготворю тебя, но не могу изменить своим товарищам по несчастью... Не требуй от меня, чтобы я стал недостойным тебя... не вынуждай меня стать существом презренным в глазах людей и самого себя... Не старайся властью своих чар лишить меня мужества, лучше поддержи меня... подыми мой дух... отпусти... отпусти меня, любимая моя Валерия!

Валерия в отчаянии прильнула к возлюбленному, а он старался освободиться из ее объятий. В конклаве слышались то звуки поцелуев, то слова горячей мольбы.

Наконец Спартак, бледный, с набегающими на глаза слезами, призвав на помощь все свое мужество и пересиливая самого себя, разжал руки Валерии, отнес ее, обессилевшую от горя, на

---

[1] Клепсидра — употреблявшиеся в древности водяные часы, устроенные наподобие песочных.

ложе; она, закрыв лицо руками, разразилась громкими рыданиями.

Тем временем фракиец, бессвязно бормоча слова надежды и утешения, надел латы, шлем и опоясался мечом, собираясь проститься и в последний раз поцеловать любимую женщину. Но, когда он уже был готов покинуть ее, Валерия вдруг порывисто поднялась и, сделав шаг, в отчаянии упала у двери; обняв колени своего возлюбленного, она шептала, задыхаясь от рыданий:

— Спартак, дорогой Спартак... я чувствую вот здесь,— и она указывала на свое сердце,— что я больше не увижу тебя... Если уедешь, ты больше не увидишь меня... я знаю это... я это чувствую... Не уезжай... нет... не сегодня... не сегодня... умоляю тебя... ты уедешь завтра... но не сегодня... нет... заклинаю тебя... не сегодня... не сегодня... молю тебя!

— Я не могу, я не могу... я должен ехать.

— Спартак... Спартак,— говорила она слабеющим голосом, с мольбой простирая к нему руки,— умоляю тебя... ради нашей дочери... ради до...

Она не успела договорить — фракиец поднял ее с пола, судорожно прижал к груди, прервав ее речь и рыдания.

Несколько мгновений они не двигались, прижавшись друг к другу, слышно было только их дыхание, слившееся воедино.

Овладев собой, Спартак тихим и нежным голосом сказал Валерии:

— Валерия, дивная Валерия!.. В моем сердце я воздвиг тебе алтарь, ты — единственная богиня, которой я поклоняюсь, перед которой благоговею. В минуты самой грозной опасности ты внушаешь мне мужество и стойкость, мысли о тебе вызывают у меня благородные помыслы и вдохновляют меня на великие дела. Так неужели ты хочешь, Валерия, чтобы я обесчестил себя, чтобы меня презирали и современники и потомство!

— Нет, нет... я не хочу твоего бесчестия... хочу, чтобы имя твое было великим и славным,— шептала она,— но ведь я только бедная женщина... пожалей меня... уезжай завтра... не сегодня... не сейчас... не так скоро...

Бледное, заплаканное лицо ее покоилось на груди Спартака; печально и нежно улыбнувшись, она прошептала:

— Не отнимай у меня этого изголовья... Мне здесь так хорошо... так хорошо!

И она закрыла глаза, как бы желая еще больше насладиться прекрасным мгновением; по ее лицу блуждала улыбка, но оно походило скорее на лицо умершей, чем живой женщины.

Склонившись к Валерии, Спартак смотрел на нее взглядом, полным глубокого сострадания, нежности, любви, и голубые

глаза великого полководца, презиравшего опасности и смерть, наполнились сейчас слезами; они катились по его лицу, падали на латы... Валерия, не открывая глаз, шептала:

— Смотри, смотри на меня, Спартак... вот так, с нежностью... с любовью... Я ведь вижу, даже не открывая глаз... я вижу тебя... Какое ясное чело... какие глаза, сияющие и добрые! О мой Спартак, как ты прекрасен!

Так прошло еще несколько минут. Но стоило только Спартаку сделать легкое движение — он хотел поднять Валерию и отнести ее на ложе,— как она, не открывая глаз, еще сильнее обвив руками шею гладиатора, прошептала:

— Нет... нет... не двигайся!..

— Мне пора. Прощай, моя Валерия!..— шептал ей на ухо дрожащим от волнения голосом бедный рудиарий.

— Нет, нет!.. Подожди!..— произнесла Валерия, испуганно открывая глаза.

Спартак не ответил ей. Взяв в руки ее голову, он покрывал горячими поцелуями ее лоб; а она, ласкаясь к нему, как ребенок, говорила:

— Ведь ты не уедешь этой ночью?.. Ты уедешь завтра... Ночью... в поле так пустынно; ты ведь знаешь, так темно... такая мрачная тишина... так страшно ехать ночью... когда я подумаю об этом, меня охватывает озноб... я вся дрожу...

Бедная женщина действительно задрожала всем телом и теснее прижалась к возлюбленному.

— Завтра!.. На рассвете!.. Когда взойдет солнце и вся природа начнет оживать... на тысячу ладов весело запоют птицы... после того, как ты обнимешь меня... после того, как покроешь поцелуями головку Постумии... после того, как наденешь на шею под тунику вот эту цепочку с медальоном...

И она показала ему осыпанный драгоценными камнями медальон, который на тоненькой золотой цепочке висел на ее белой шее.

— Внутри этого медальона, Спартак, находится драгоценный амулет, который спасет тебя от любой опасности... Угадай же, угадай... что там внутри, что это за амулет.

И так как гладиатор не отвечал, а только смотрел не отрываясь на красавицу, она, улыбнувшись сквозь слезы, произнесла с нежным укором:

— Неблагодарный! Ты не догадываешься, что там может быть?

Сняв с шеи цепочку и открыв медальон, Валерия сказала:

— В нем черный локон матери и белокурый локон дочери!

И показала рудиарию две прядки волос внутри медальона.

Спартак схватил его, поднес к губам и покрыл горячими поцелуями.

Взяв медальон у Спартака, Валерия, в свою очередь, поцеловала его и, надев цепочку на шею гладиатора, сказала:

— Носи его под панцирем, под туникой, на груди — вот где он должен быть!

У Спартака сердце щемило от невыносимой тоски, говорить он не мог, только прижимал к груди свою любимую, и крупные слезы тихо катились по его лицу.

Вдруг послышался звон оружия и чьи-то громкие голоса; этот шум, раздававшийся на площадке перед виллой, достиг уединенного конклава, где находились Спартак и Валерия.

Оба они, сдерживая дыхание, напрягли слух.

— Мы не откроем ворот таким разбойникам, как вы! — кричал кто-то на ломаном латинском языке.

— А мы подожжем дом,— слышались озлобленные голоса.

— Клянусь Кастором и Поллуксом, мы будем метать в вас стрелы! — отвечал первый голос.

— Что? Что там могло случиться?..— в сильном волнении спросила Валерия, подняв испуганные глаза на Спартака.

— Может быть, разузнали, что я здесь,— ответил фракиец, стараясь освободиться из объятий Валерии, которая при первой же угрозе еще теснее прижалась к Спартаку.

— Не выходи... не двигайся... умоляю... Спартак... умоляю!..— взволнованно шептала несчастная женщина, и на мертвенно-бледном лице ее отражались мучительный страх и тревога.

— Значит, ты хочешь, чтобы я отдался живым в руки врагов?..— произнес тихим, но гневным голосом вождь гладиаторов.— Ты хочешь видеть меня распятым на кресте?..

— О нет, нет!.. Клянусь всеми богами ада!..— в ужасе вскрикнула Валерия и, выпустив из объятий возлюбленного, отступила от него в смятении.

Решительным движением она выхватила из ножен тяжелый испанский меч, висевший у Спартака на поясе, и, с трудом подняв его двумя руками, подала гладиатору, сказав чуть слышно и стараясь придать своему голосу твердость:

— Спасайся, если это возможно... а если суждено тебе умереть — умри с мечом в руке!

— Благодарю тебя!.. Благодарю, моя Валерия! — сказал Спартак, приняв от нее меч; глаза его сверкали, он шагнул к дверям.

— Прощай, Спартак! — произнесла дрожащим голосом бедная женщина, обняв гладиатора.

— Прощай! — ответил он, сжав ее в объятиях.

Но губы Валерии вдруг побелели, и рудиарий почувствовал, что ее тело как мертвое повисло у него на руках, а голова бессильно упала на его плечо.

— Валерия!.. Валерия!.. Дорогая Валерия!..— восклицал фракиец прерывающимся голосом и с невыразимой тревогой всматривался в любимую женщину. Лицо его, еще недавно пылавшее гневом, теперь покрылось восковой бледностью.— Что с тобой?.. Да поможет нам Юнона!.. Валерия... Красавица моя, что с тобой? Мужайся! Умоляю тебя!

Бросив на пол меч, он поднял любимую, осторожно отнес на ложе и, став перед ней на колени, ласкал, ободрял, согревал ее своим дыханием и поцелуями.

Валерия лежала неподвижная, бесчувственная ко всем его словам, как будто не обморок, а смерть поразила ее. Страшная мысль пронизала мозг Спартака. Быстро вскочив, он всматривался в лицо любимой расширившимися от страха глазами. Бледная, недвижимая, она была еще прекраснее; дрожа всем телом, он глядел на ее бледные уста, стараясь уловить признаки дыхания; приложив руку к ее груди, он почувствовал, что сердце медленно и слабо бьется. Вздохнув с облегчением, Спартак бросился к маленькой двери, которая вела в другие покои Валерии, и, подняв занавес, крикнул несколько раз:

— Софрония!.. Софрония!.. Скорее сюда!.. Софрония!

В эту минуту послышался осторожный стук в дверь, в которую он собирался выйти. Спартак прислушался: сильный шум и крики, долетавшие снаружи, прекратились, но тотчас же снова раздался стук и мужской голос произнес:

— Великодушная Валерия!.. Госпожа моя!

В мгновение ока Спартак поднял меч и, слегка приоткрыв дверь, спросил:

— Что тебе нужно?

— Пятьдесят всадников... сюда... прискакали...— ответил, дрожа и заикаясь, старик домоправитель; глаза у него, казалось, готовы были выскочить из орбит; при свете факела, дрожавшего в его руках, он разглядывал Спартака.— Они говорят... и кричат... требуют, чтобы им вернули... их... вождя... и уверяют, что ты — Спартак!..

— Иди и передай, что через минуту я выйду к ним.

И фракиец захлопнул дверь перед самым носом старого домоправителя, превратившегося в статую от удивления и ужаса.

Когда Спартак подошел к ложу, на котором все так же неподвижно лежала Валерия, в другую дверь вошла рабыня.

— Ступай принеси эссенции,— сказал ей Спартак,— и приведи еще одну рабыню, чтобы оказать помощь твоей госпоже, она в обмороке.

— О моя добрейшая, о моя бедная госпожа! — запричитала рабыня, всплеснув руками.

— Скорее! Беги и не болтай! — прикрикнул на нее Спартак.

Софрония убежала и вскоре вернулась с двумя другими рабынями; они принесли всевозможные крепкие, ароматные эссенции. Рабыни окружили лежавшую в обмороке Валерию нежными заботами, и несколько минут спустя на ее бледном лице выступил легкий румянец, а дыхание стало более ровным и глубоким.

Спартак все время стоял неподвижно, скрестив на груди руки, и не отрываясь смотрел на возлюбленную. Увидев, что к ней возвращается жизнь, он глубоко вздохнул и поднял к небу глаза, как бы желая возблагодарить богов; потом, отпустив рабынь, он стал на колени, поцеловал белую руку Валерии, бессильно свисавшую с дивана, поднялся, запечатлел долгий поцелуй на ее лбу и быстро вышел из конклава.

В одну минуту он добежал до площадки, где расположились пятьдесят конников, державших лошадей в поводу.

— Ну? — спросил он строгим голосом.— Что вы тут делаете? Что вам нужно?

— По приказу начальника Мамилия,— отвечал командовавший отрядом декурион,— мы в отдалении следовали за тобой, боясь...

— На коней! — крикнул Спартак.

В один миг все пятьдесят всадников, ухватившись левой рукой за гривы лошадей, вскочили на своих скакунов, покрытых простыми чепраками.

Немногочисленные рабы, оставшиеся на вилле, преимущественно старики, в страхе молча столпились у входа; факелы в их руках освещали эту сцену. Спартак повернулся к ним и приказал:

— Приведите моего коня!

Трое или четверо рабов поспешили в соседние конюшни, вывели оттуда вороного и подвели к Спартаку. Он вскочил на коня и, обращаясь к старому домоправителю, спросил:

— Как зовут твоих сыновей?

— О великий Спартак,— со слезами в голосе ответил старик,— не наказывай моих детей за необдуманные слова, сказанные мною вчера утром!

— Низкая, рабская душа! — воскликнул в негодовании Спартак.— Ты, стало быть, считаешь меня таким же подлым трусом, как ты? Если я спросил, как зовут доблестных юношей, отцом которых ты не достоин быть, то лишь для того, чтобы позаботиться о них!

— Прости меня, славный Спартак... Аквилий и Атилий — вот как зовут их... сыновья Либедия... Позаботься о них, о великий военачальник, и да покровительствуют тебе боги и Юпитер!..

— В ад низких льстецов! — вскричал гладиатор. И, пришпорив коня, приказал своим конникам: — Галопом марш!

И весь отряд, следуя за Спартаком, пустил коней галопом по дорожке, которая вела к воротам виллы.

Старые слуги Мессалы стояли на площадке, словно онемев. Они пришли в себя только через несколько минут, когда цокот копыт, становившийся все глуше и глуше, наконец совсем затих вдалеке.

Невозможно описать горе Валерии, ее отчаяние и слезы, когда она благодаря заботам рабынь пришла в себя и узнала об отъезде Спартака.

Спартак же замкнулся в себе; на лице его отражались только что пережитые страдания, морщины перерезали лоб, и он все пришпоривал коня, как будто хотел унестись прочь от терзавшей его тревоги и горя, гнавшегося за ним. И конь его несся как вихрь, опередив почти на расстояние двух выстрелов из лука весь отряд, скакавший во весь опор.

Спартак думал о Валерии, о том, как будет она горевать и лить слезы, когда придет в себя. Невольным судорожным движением он снова пришпорил коня, и тот мчался, распустив по ветру гриву, тяжело дыша и раздувая ноздри, из которых валил пар.

Образ Валерии неотступно стоял перед глазами Спартака, он пытался отогнать его, но тогда перед ним возникало личико Постумии, прелестной белокурой девочки, живой, смышленой, которая во всем, кроме черных глаз, унаследованных от матери, была точной копией отца. Какая она очаровательная! И такая ласковая! Такая милая! Вот она тут, перед ним, весело протягивает к нему свои пухлые ручонки... И Спартак с тоскою думал, что, может быть, никогда больше не увидит ее. И снова безотчетно вонзал шпоры в окровавленные бока своего злосчастного скакуна.

Неизвестно, что сталось бы с конем и всадником, если бы, к счастью для обоих, в голову Спартаку не пришли другие мысли.

А вдруг Валерия так и не очнулась? Или, быть может, при вести о его неожиданном отъезде ее опять сразил обморок, еще более продолжительный и опасный, чем первый? А может быть, она больна, и больна серьезно? А вдруг — но это невероятно, этого не может, не должно быть — любимая женщина, к величайшему несчастью...

При этой мысли он изо всей силы стиснул коленями бока лошади, сильно дернул повод и сразу остановил благородное животное.

Вскоре Спартака догнали его товарищи и остановились позади него.

— Мне нужно вернуться на виллу Мессалы,— мрачно произнес Спартак,— а вы следуйте в Лабик.

— Нет!..

— Ни за что! — ответили в один голос конники.

— Почему же? Кто может мне это запретить?

— Мы! — раздались голоса.

— Наша любовь к тебе! — крикнул кто-то.

— Твоя честь! — добавил третий.

— Твои клятвы! — вскричали другие.

— Наше дело, которое без тебя погибнет!

— Долг! Твой долг!

Послышался ропот, нестройные возгласы, почти единодушные просьбы.

— Но вы не понимаете, клянусь всемогуществом Юпитера, что там осталась женщина, которую я боготворю. Быть может, она сейчас умирает от горя... и я не могу...

— Если, к несчастью,— да не допустят этого боги! — она умерла, ты себя погубишь, а ее не спасешь; если же твои опасения напрасны, то для твоего и ее спокойствия достаточно будет послать туда гонца,— сказал декурион, и в голосе его звучали уважение к горю Спартака и трогательная преданность.

— Стало быть, чтобы избежать опасности, которая может угрожать мне, я вместо себя подвергну ей другого? Нет, призываю в свидетели всех богов Олимпа, никто не скажет, что я способен на такую низость!

— Я, ничем не рискуя, вернусь на виллу Мессалы,— громко и решительно произнес один из конников.

— Каким образом? Кто ты?

— Я один из преданных тебе людей и готов отдать за тебя жизнь,— отвечал конник, подъехав на своем скакуне к Спартаку.— Я не рискую ничем, потому что я латинянин, хорошо знаю эти края и язык страны. В первой же крестьянской хижине я переоденусь в крестьянское платье и отправлюсь на виллу Валерии Мессалы. Прежде чем ты доедешь до Нолы, я привезу тебе самые подробные вести о Валерии.

— Если я не ошибаюсь,— сказал Спартак,— ты свободнорожденный Рутилий.

— Да,— ответил всадник,— я Рутилий. Я рад и горжусь, Спартак, что ты, прославленный наш военачальник, узнал меня среди десяти тысяч гладиаторов!

Рутилий был храбрый и благоразумный юноша; на него можно было положиться, поэтому Спартак уступил просьбам своих солдат и согласился на предложение латинянина. Продолжая путь во главе отряда, фракиец вскоре очутился у небольшой виллы. Пока Рутилий переодевался, Спартак на дощечке, которую дал ему владелец виллы, написал по-гречески нежное письмо Валерии и передал его юноше. Рутилий пообещал отдать письмо Валерии в собственные руки.

Немного успокоившись, Спартак пустил своего коня рысью и в сопровождении гладиаторов поскакал по дороге, которая вела из Тускула в Лабик

На рассвете они прибыли туда, где их с нетерпением ждал Мамилий с двумястами пятьюдесятью всадниками. Начальник отряда конницы доложил вождю, что жители были сильно напуганы набегом на Лабик, поэтому он считает более благоразумным, не дожидаясь наступления вечера, немедленно покинуть эти места и ускоренным маршем идти к Аквину.

Спартак согласился с разумными доводами Мамилия. Не теряя времени, отряд выступил из маленького лагеря у Лабика и поскакал по преторской дороге к Пренесте. Город остался по левую руку, а конники повернули направо и выехали на Латинскую дорогу. Они мчались весь день и всю следующую ночь и только на рассвете, совсем загнав своих лошадей, прибыли в Алетрий, где Спартак велел отряду сделать привал и отдыхать весь день.

На следующую ночь он направился быстрым маршем в Ферентин, прибыл туда через два часа после восхода солнца и тотчас двинулся дальше, в Фрегеллы, так как узнал от римских легионеров, дезертировавших в лагерь гладиаторов из войска Вариния, стоявшего в Норбе, что многие из жителей Лабика приходили к Варинию и рассказывали ему об отряде гладиаторских конников, замеченном около Тускула. Тогда претор разделил свою кавалерию на два отряда, по пятьсот человек в каждом; один отправил в погоню за врагом до самого Тускула, а другой с минуты на минуту мог появиться в Ферентине, куда его направил Вариний для того, чтобы преградить дорогу гладиаторам, возвращавшимся после набега, и отрезать им путь к спасению, лишив их возможности вернуться в аквинский лагерь.

Спартак немедленно оставил Ферентин и не дал отдыха своим конникам до тех пор, пока они не добрались до Фрегелл; оттуда в полночь он двинулся в Аквин, куда и прибыл на рассвете.

Вечером приехал Рутилий и привез фракийцу утешительные вести о здоровье Валерии, а также письмо от нее, очень нежное,

хотя и полное упреков, в ответ на несколько страстных строк Спартака.

В письме Валерия сообщала возлюбленному, что теперь она будет посылать ему в лагерь письма через Либедия, старика домоправителя, и настойчиво просила, чтобы Спартак писал ей и пересылал письма тем же путем. Что касается Либедия, то он всегда готов был с радостью исполнить любое желание своей госпожи, и нетрудно себе представить, с каким восторгом он принял предложение ездить в лагерь гладиаторов, где он будет иметь возможность повидать и обнять своих сыновей.

На следующий день, посоветовавшись с Эномаем, Борториксом и другими начальниками легионов, Спартак, как это и было решено раньше, оставил Аквин и во главе двадцати тысяч гладиаторов направился в Нолу, куда прибыл после пятидневного перехода. Трудно описать, с какою радостью двадцать пять тысяч гладиаторов, стоявших лагерем под Нолой, встретили своих собратьев, покрывших себя славою побед в сражении под Аквином.

В продолжение трех дней весь лагерь в Ноле пел и веселился Совет военных руководителей Союза угнетенных решил оставить здесь армию гладиаторов на зиму, зная, что с наступлением холодов, дождей и снегопада можно не опасаться Вариния, даже если бы войско у него было многочисленнее и сильнее и не пришло бы в расстройство после поражения под Аквином. Но гладиаторы понимали также, что было бы безумием мечтать о походе на Рим, против которого даже в дни поражения при Каннах, когда Рим был в полном упадке, а карфагеняне действовали в более благоприятных условиях, чем теперь гладиаторы ничего не мог сделать сам Ганнибал, величайший полководец того времени Спартак ставил его много выше Кира и Александра Македонского.

Гладиаторы покинули прежний лагерь и разбили новый, более обширный, с глубокими рвами и высоким частоколом.

Как только гладиаторы расположились в своем новом лагере, Спартак решил произвести давно уже задуманную им реорганизацию своих легионов: сформировать их по племенному признаку, то есть распределить гладиаторов с таким расчетом, чтобы одни легионы состояли только из германцев, другие — только из галлов, третьи — из фракийцев, греков или самнитов. Хотя этот новый порядок представлял некоторые неудобства, так как мог вызывать соперничество и распри между отдельными легионами, но он имел и огромное преимущество — более тесную сплоченность воинов каждого легиона Вождь гладиаторов преследовал при этом и другую, не менее важную цель· разбив свое войско на отдельные корпуса по национальностям, он хотел, чтобы во гла-

ве каждого корпуса стоял военачальник той же национальности, чтобы солдаты больше доверяли ему.

Ежедневно в лагерь прибывали все новые группы гладиаторов, и войско восставших уже насчитывало пятьдесят тысяч человек. Спартак сформировал из них десять легионов, по пяти тысяч человек в каждом, подразделив свою армию следующим образом: два первых легиона, состоявших из германцев и подчиненных Вильмиру и Мероведу, образовали первый корпус под началом Эномая; третий, четвертый, пятый и шестой легионы, в состав которых входили галлы, подчиненные Арториксу, Борториксу, Арвинию и Брезовиру, образовали второй корпус, во главе которого был поставлен Крикс; седьмой легион, состоявший из греков, возглавлял храбрый Фессалоний, родом из Эпира; начальником восьмого легиона, состоявшего из гладиаторов и пастухов-самнитов, был назначен латинянин Рутилий; в девятом и десятом легионах были собраны фракийцы, и командование над ними Спартак поручил двум начальникам, их соотечественникам, отличавшимся мужеством, большой силой воли, образованностью и острым умом Один из них, начальник девятого легиона, пятидесятилетний Мессембрий, был беспредельно предан Спартаку, исполнителен и усерден; десятый легион возглавлял юный Артак, которого фракийцы считали самым отважным гладиатором после Спартака. Эти последние четыре легиона образовали третий корпус под началом Граника, родом из Иллирии; этот тридцатипятилетний иллириец, высокий, смуглый и черноволосый красавец, всегда был серьезен, спокоен, молчалив и пользовался славой храбрейшего из десяти тысяч гладиаторов равенских школ.

Конницу, насчитывавшую до трех тысяч всадников, Спартак разбил на шесть отрядов. Командование ею он поручил Мамилию. Верховным военачальником под единодушные восторженные клики пятидесяти трех тысяч гладиаторов был снова избран Спартак, доказавший свою доблесть и полководческое искусство.

Через неделю после такого переустройства армии фракиец решил произвести смотр своему войску.

Когда Спартак, в обычных своих доспехах, верхом на коне под скромным чепраком, с простой уздечкой и поводьями, показался на равнине, где три корпуса были построены в три линии, из груди пятидесяти трех тысяч гладиаторов вырвалось единодушное приветствие, подобное раскатам грома:

— Слава Спартаку!..

Возглас этот гремел многократно с неистовой силой; когда же стихли приветственные клики и отзвучал исполненный на фанфарах гимн свободы, который стал боевым гимном гладиа-

торов, появился Эномай на высоком гнедом апулийском коне и, остановившись перед первой линией войск, крикнул громовым голосом:

— Гладиаторы! Слушайте меня!

Во всех рядах воцарилась глубокая тишина. Германец, сделав краткую паузу, сказал:

— Если наша армия во всем, до самых мелочей, создана по римскому образцу, отчего же наш верховный вождь не имеет ни знаков отличия, ни почестей, которые воздают римским консулам в их войсках?

— Императорские знаки отличия Спартаку! — вскричал Крикс.

— Императорские знаки отличия Спартаку! — в один голос воскликнули все пятьдесят три тысячи воинов.

Наконец шум утих, и Спартак, лицо которого побледнело от сильного волнения, подал знак, что хочет говорить.

— От всего сердца благодарю вас, мои соратники и дорогие мои братья по несчастью,— сказал он,— но я решительно отказываюсь от знаков отличия и почестей. Мы взялись за мечи не для того, чтобы утверждать чье-то превосходство, устанавливать преимущества и почести, а для того, чтобы завоевать свободу, права и равенство.

— Ты наш император,— вскричал Рутилий,— ты стал императором благодаря своей мудрости, своей храбрости, своим достоинствам и необычайным качествам своей души и своего ума; ты наш император, в это звание тебя возвели твои победы; ты наш император — таково наше единодушное желание. Если ты отказываешься от почестей, то мы требуем, чтобы почести эти были оказаны нам, нашим знаменам, во имя этого ты должен надеть палудамент, тебя должны сопровождать контуберналы и ликторы.

— Палудамент Спартаку! — требовали гладиаторы.

— Контуберналов и ликторов! — воскликнул Эномай, а за ним все легионы.

И через минуту Крикс воскликнул своим мощным голосом:

— Пусть римские ликторы, которых он взял в плен под Аквином, шествуют впереди него с фасциями!

Требование это вызвало такой неистовый взрыв восторга и гром рукоплесканий, что, казалось, от них заколебалась земля, и тысячеголосый этот гул еще долго повторяло эхо в далеких горах.

И действительно, эта мысль, естественно зародившаяся у бесхитростного Крикса, была так велика в своей простоте, что справедливо вызвала всеобщий энтузиазм. Заставить римских ликторов, ранее шествовавших впереди самых знаменитых рим-

ских консулов, таких, как Гай Марий и Луций Сулла, идти впереди презренного в глазах римлян гладиатора было не только унижением римской гордыни, не только признанием человеческого достоинства за бедными рабами,— это знаменовало собою самую блестящую из всех побед, одержанную гладиаторами над гордыми легионами надменных завоевателей мира. И хотя Спартак, всегда скромный [1], всегда верный самому себе как в дни несчастья, так и в дни своих побед и величия, противился желаниям своих легионов, ему, однако, пришлось покориться их решению и надеть на себя дорогой блестящий панцирь из серебра, специально заказанный Криксом знаменитому мастеру в Помпее, серебряный шлем тонкой работы и испанский меч, золотая рукоять которого была осыпана драгоценными камнями, и набросить на плечо пурпурный плащ из тончайшей шерсти, с золотой каймой шириною в три пальца.

Когда вождь гладиаторов облекся в императорское одеяние и появился перед войском верхом на своем вороном коне, у которого простую кожаную сбрую заменили красивыми поводьями и серебряной уздечкой и покрыли его чудесным голубым чепраком с серебряной оторочкой, раздался взрыв рукоплесканий, и все гладиаторы в один голос воскликнули:

— Приветствуем тебя, Спартак — император!

Две присутствовавшие при этом женщины плакали. Но слезы были не только на глазах у женщин — у Спартака, у Арторикса, у тысяч гладиаторов увлажнились глаза от пережитого волнения. Две женщины пристально, не отрываясь смотрели на фракийца, и несказанную любовь выражали их взгляды, обращенные на вождя этих бесстрашных воинов. То были Мирца и Эвтибида.

Сестра гладиатора смотрела на него своими голубыми спокойными, ясными глазами, и в этом взгляде отразилась вся чистота ее любви к брату; гречанка же впилась в него своими мрачными, сверкающими глазами — ее взгляд горел огнем страсти.

Но вот перед Спартаком появились шесть ликторов претора Публия Вариния, плененные в сражении под Аквином; их держали под стражей в особой палатке. Декан подвел ликторов к Спартаку — отныне они будут шествовать с фасциями впереди

---

[1] Действительно, у этого необыкновенного человека душа была настолько благородной и чистой, что могущество, которого он достиг, ни на одно мгновение не помрачило его рассудка и не заставило разыграться воображение. Спартака не ослепляли и не опьяняли ни победы, ни фимиам почестей. У Плутарха определенно сказано (в «Жизнеописании Марка Красса»), что, несмотря на одержанные им победы, он всегда оставался скромным и умеренным в своих желаниях.— *Примеч. автора.*

него всякий раз, когда верховный вождь будет выходить пешком или выезжать на коне; такой же почет оказывали только римским консулам и преторам.

Все шесть ликторов были высокого роста, носили длинные волосы и отличались воинственной, полной достоинства осанкой. Поверх панцирей на них были короткие плащи из грубой шерсти, скреплявшиеся пряжкой на левом плече и доходившие до колен; в левой руке каждый держал, прижав к плечу, пучок фасций, в которые во время войны вкладывался топорик, а в правой руке нес розгу. При виде ликторов у гладиаторов вырвался крик дикой радости; он становился все громче и, не смолкая, длился до тех пор, пока Спартак не приказал трубачам призвать легионы к порядку и спокойствию.

Вождь гладиаторов сошел с коня и с ликторами впереди, в сопровождении Крикса, Граника и Эномая стал обходить фронт двух германских легионов, образовавших первый корпус. Закончив смотр первой линии воинов, Спартак похвалил их за бережное хранение оружия, за точное соблюдение распорядка и боевую выправку.

Ликторы смиренно шли, опустив голову, но лица их то бледнели, то краснели от стыда и еле сдерживаемого гнева.

— Какой позор!.. Какой позор!..— восклицал один из них дрожащим голосом, но так тихо, что расслышать эти слова мог только его сотоварищ, шагавший рядом с ним.

— Лучше бы мне умереть под Аквином, чем пережить такой позор! — отозвался тот.

Первый из ликторов был человек лет сорока пяти, рослый, крупного сложения, лицо у него было загорелое, вид решительный; звали его Оттацилий; другой был седовласый старик, лет шестидесяти, высокий, сухощавый, с худым и строгим лицом, лоб его пересекал широкий шрам, нос был с горбинкой, во взгляде серых живых глаз, как и во всем его облике, чувствовалась мужественная энергия; его звали Симплициан.

Когда ликторы, вынужденные шествовать перед Спартаком, решились бросить взгляд на легионы гладиаторов, свидетелей их унижения, они увидели на лицах своих врагов радость, а на устах — торжествующую улыбку победителей, попирающих достоинство побежденного.

— Повергнуто в прах величие Рима! — прошептал Оттацилий после долгого молчания, украдкой обратив к Симплициану лицо, по которому катились слезы.

— Боги, покровители Рима, скоро избавят меня от такой муки,— мрачно ответил старик Симплициан. Но нервные подергивания его сурового лица ясно говорили о его душевных страданиях.

За три часа Спартак обошел фронт всех своих легионов. Он поднимал дух своих воинов, хвалил их, говорил о необходимости соблюдать самую строгую дисциплину — основу каждой армии и залог желанной победы.

Закончив смотр, он вскочил на коня и, вынув меч из ножен, подал знак; фанфары протрубили сигнал. По приказу Спартака легионы гладиаторов с безукоризненной точностью выполнили несколько упражнений, потом три корпуса поочередно пошли в атаку — сначала беглым шагом, затем в едином неудержимом натиске, оглашая воздух воинственным кличем «барра», напоминавшим рев слона. Как только закончилась учебная атака третьей линии, легионы построились на холме, а затем продефилировали в образцовом порядке перед верховным вождем, вновь с энтузиазмом приветствуя его как своего императора, и возвратились один за другим в лагерь.

Спартак вступил туда последним; его сопровождали Эномай, Крикс, Граник и все остальные начальники легионов; ликторы все так же шествовали впереди.

При сооружении нового лагеря гладиаторы втайне от Спартака разбили для него палатку, достойную вождя. В столь торжественный для восставших день решено было устроить в этой палатке чествование Спартака; на празднестве должны были присутствовать десять начальников легионов, три помощника вождя и начальник конницы.

Чествование должно было быть скромным, чтобы не вызвать неудовольствия Спартака, который всю жизнь, с самых юных лет, был умерен в пище и воздержан в питье и до сих пор чуждался шумных и пышных пиров, но не из-за того, что хотел поддержать свою славу знаменитого полководца, а просто потому, что по своему характеру и привычкам не был расположен к кутежам и бражничеству.

Приглашенные воздержались поэтому от обильных яств и чрезмерных возлияний, хотя это шло вразрез с аппетитами большинства гостей,— Эномай, Борторикс, Вильмир, Брезовир, Рутилий и многие другие охотно попировали бы без всяких запретов. Однако за столом царило сердечное, дружеское веселье, шла искренняя и задушевная беседа.

В конце трапезы поднялся Рутилий, держа в руке чашу пенящегося цекубского вина. Приглашая товарищей последовать его примеру, он высоко поднял чашу и громко воскликнул:

— За свободу рабов, за победу угнетенных, за храбрейшего и непобедимого императора нашего — Спартака!

И он осушил чашу до дна под рукоплескания и возгласы товарищей, последовавших его примеру; один только Спартак едва пригубил вино.

Когда утих шум рукоплесканий, Спартак тоже высоко поднял чашу и выразительным, сильным голосом произнес:

— В честь Юпитера Освободителя! За чистую, непорочную богиню Свободы! Да обратит она на нас свои божественные очи, да просветит нас и окажет нам покровительство. Пусть будет она нашей заступницей перед всеми богами, обитающими на Олимпе!

Хотя галлы и германцы не верили ни в Юпитера, ни в других греческих и римских богов, они все же осушили свои чаши. Эномай произнес тост, испрашивая помощи Одина, а Крикс — благоволения Геза к войску и святому делу гладиаторов. Наконец уроженец Эпира, Фессалоний, который был эпикурейцем и не верил ни в каких богов, поднявшись в свою очередь, сказал:

— Я отношусь к вашим верованиям с уважением... и завидую вам... Но не разделяю их, потому что боги — это вымысел, порожденный страхом черни,— так гласит учение божественного Эпикура. Когда нас постигают великие невзгоды, неплохо прибегнуть к вере в сверхъестественную силу и черпать в этой вере бодрость и утешение!.. Но когда вы убедитесь, что природа сама все творит и уничтожает, во всем обходясь только своими собственными силами, не всегда нам известными, то разве возможно верить в так называемых богов? Разрешите же мне, друзья, восславить наше святое дело, согласно с моими представлениями и убеждениями.

И, помолчав с минуту, он сказал:

— За содружество душ, за неустрашимость сердец, за мощь мечей в лагере гладиаторов!

Все присоединились к тосту эпикурейца и осушили свои чаши; затем снова сели, продолжая веселую, оживленную беседу.

Мирца распоряжалась приготовлениями к празднеству, но с гостями не садилась. Она стояла в стороне, закутавшись в пеплум из голубой полотняной ткани с узкими серебряными полосками, и не сводила любящего, полного нежности взгляда со Спартака, славные победы которого праздновались в этот день. Ее бледное и обычно печальное лицо, на котором скорее можно было увидеть слезы, чем улыбку, в тот день светилось искренней радостью; но нетрудно было понять, что счастье ее мимолетно и что она скрывает какую-то тайную боль и страдания.

Арторикс не спускал с Мирцы влюбленных глаз. Казалось, он преследовал ее своими нежными взглядами; она украдкой, как будто против воли, время от времени поднимала глаза на достойного юношу; он побледнел и похудел за последние дни, страдая от неразделенной любви, заполонившей его душу, не дававшей ему ни минуты отдыха и покоя. Любовь эта, словно недуг, подтачивала его цветущее здоровье.

Уже давно Арторикс не обращал ни на кого внимания и не

принимал участия в веселой беседе гостей Спартака; безмолвный и неподвижный, он смотрел на Мирцу, а она, не отрываясь, смотрела на брата. Своей преданностью Спартаку и безграничным восхищением им Мирца становилась еще дороже Арториксу, еще прекраснее в его глазах; он долго глядел на девушку и вдруг в порыве восторга вскочил со скамьи и неожиданно, позабыв про свою робость, высоко поднял чашу:

— Выпьем, друзья, за счастье Мирцы, любимой сестры нашего дорогого вождя.

Все выпили, и никто, кроме Мирцы, не заметил в пылу возлияний румянца, вспыхнувшего на лице юноши; девушка вздрогнула, когда Арторикс произнес ее имя, быстро повернулась в его сторону и почти бессознательно бросила на него благодарный и вместе с тем укоризненный взгляд. Затем, поняв, что она перешла границу сдержанности, которую решила всегда соблюдать в своих отношениях с Арториксом, она тоже сильно покраснела и стыдливо опустила голову. Больше она не подымала глаз ни на кого из гостей и стояла неподвижно на своем месте, не произнося ни слова.

Пир продолжался еще с час, время протекало в оживленной беседе, веселых шутках и остротах, как это всегда бывает у людей, которых связывает между собою искренняя дружба.

Когда друзья Спартака простились с ним, солнце уже клонилось к западу. По натуре склонный к задумчивости и мечтательности, Спартак, проводив своих гостей, еще долго стоял у входа в палатку. Он окинул взором огромный лагерь гладиаторов и залюбовался закатом.

В голове его бродили разные мысли; он думал о могуществе волшебного слова «свобода», которое менее чем за один год подняло на борьбу пятьдесят тысяч угнетенных, лишенных всех прав, всякого будущего, всякой надежды, огрубевших от своего униженного состояния, утративших человеческий облик. Слово «свобода» подняло их, сделало лучшими солдатами в мире, вселило в их души беззаветную храбрость, самоотверженность, сознание своего достоинства. Спартак думал о чудесном, магическом свойстве этого слова — оно превратило его, бедного, презренного гладиатора, в отважного, грозного для врагов вождя доблестного войска. Оно так закалило его волю, что он смог победить в себе все страсти, даже то всеобъемлющее и великое чувство, что соединяло его с Валерией,— он любил ее в тысячу раз более, чем самого себя, но не сильнее того святого дела, которому посвятил всю свою жизнь.

Валерия! Эта благородная женщина бросила вызов всем предрассудкам своей касты, пренебрегла своей знатностью, обрекла себя на презрение сограждан и ненависть родных; в порыве

непобедимой любви она отдала ему свое сердце, свою любовь, все свое существо!

Полюбив его, Валерия навсегда отказалась от всякой надежды на блестящее будущее, а может быть, и на счастье, ибо Спартак не обманывался и понимал, что, если даже он будет и в дальнейшем одерживать победы над римскими легионами и останется жив и невредим вопреки опасностям, которые еще долго будут угрожать ему, если даже он достигнет поставленной себе цели и закрепит победу при помощи почетного мира, самым счастливым будущим для него окажется возможность укрыться от ненависти. А там Валерия, властительница его мыслей и чувств, будет обречена на жизнь в бедности и безвестности. А разве вынесет это испытание римская матрона, рожденная в богатстве, привыкшая к пышности и роскоши, принадлежащая к самому избранному кругу патрицианских семейств?

Отдавшись таким размышлениям, вождь гладиаторов почувствовал, что сердце его ноет от непривычной тоски; стойкий, непоколебимый воин пал духом. Он думал о том, что, может быть, больше никогда не увидит Валерию, не увидит Постумию... У него как-то странно сжалось горло, и, проведя рукой по глазам, он заметил, что она стала мокрой от слез, которые лились незаметно для него. Рассердившись на себя за такую слабость, простительную только женщинам, он опомнился и быстро зашагал по направлению к ближайшему квесторию [1]. Все так же в волнении он пересек квесторий и отправился в обширную и пустынную часть лагеря, находившуюся, как и у римлян, в стороне от претория, квестория и Форума; это место, тянувшееся до декуманских ворот, предназначалось для палаток союзников и случайных подкреплений.

В обширном лагере под Нолой на этом месте сооружались палатки для гладиаторов и рабов, бежавших от своих господ в лагерь восставших,— здесь они жили, пока их не зачисляли в какой-нибудь из манипулов одной из когорт того или иного легиона. Тут находилась и палатка Эвтибиды; а в другой палатке жили под стражей шесть ликторов, взятых в плен под Аквином.

Здесь Спартак, наедине с самим собой, укрытый от посторонних глаз сумраком ночи, уже спускавшейся на землю, долго ходил взад и вперед быстрым шагом, как будто его подгоняла внутренняя тревога; он шел, шумно вздыхая, из груди его вырывались стоны, похожие на глухое рычание зверя; казалось, от этой стремительной прогулки ему становилось легче, и мало-помалу

---

[1] Квесторий — так называлось место, предназначенное для квестора (войскового интенданта и казначея) и интендантских складов, близ палатки главнокомандующего.— *Примеч. автора.*

он пришел в себя. Походка его стала более ровной, спокойной, и он погрузился в иные, менее мрачные размышления.

Он долго шагал, все так же углубившись в свои думы. Тишина воцарилась на всем пространстве огромного лагеря, где до наступления темноты пятьдесят тысяч беспечных, жизнерадостных, полных сил юношей непрестанно сновали взад и вперед, ели, пили, шумно веселились, праздновали свои победы.

Когда шум начал постепенно стихать, до слуха Спартака стало ясно доноситься звучание каких-то непонятных слов; кто-то вполголоса вел разговор в одной из палаток, предназначенных для рабов и гладиаторов, ежедневно прибывавших в лагерь. В тишине слова были слышны более отчетливо и привлекли внимание Спартака. Вождь гладиаторов остановился у этой палатки; вход в нее находился в противоположной стороне от той, где стоял он; напрягая слух, Спартак услышал, как кто-то резким, сильным голосом произнес на превосходной латыни:

— Ты прав, Симплициан, позорна и незаслуженна судьба, на которую мы обречены. Но разве мы повинны в столь великом несчастье? Разве мы не дрались храбро, презирая опасность, чтобы спасти претора Вариния от яростных ударов Спартака?.. Он опрокинул тебя... А я был ранен... Мы попали в плен, нас осилило великое множество врагов! Что могли мы сделать? Если великие боги покинули римлян и допустили позорное их бегство от презренного гладиатора, тогда как до сей поры они охраняли славных римских орлов от всех превратностей судьбы, то что могли, что можем сделать мы, ничтожные смертные?

— Будь осторожен, думай о том, что ты говоришь, Оттацилий,— тихо сказал кто-то сиплым голосом, в котором чувствовался страх.— Тебя может услышать часовой, и нам из-за твоего языка плохо придется.

— Ах, да замолчи ты наконец! — ответил ему кто-то сурово и строго, но это не был голос говорившего прежде.— Молчи, Меммий, забудь свой постыдный страх.

— К тому же,— заметил тот, кого назвали Оттацилием,— часовой ни слова не понимает по-латыни... Это грубый варвар-галл. Я думаю, он даже своего-то языка не знает...

— Ты не так говоришь,— строгим и суровым тоном прервал его последний из трех говоривших.— Если даже этот низкий гладиатор понимает наш язык, что же, по-твоему, мы не смеем говорить так, как это подобает римским гражданам? Что за подлая трусость! Клянусь Кастором и Поллуксом, покровителями Рима, которые за нас сражались против латинян на Регильском озере [1],

[1] Регильское озеро.— Согласно римской легенде, Кастор и Поллукс во время битвы на Регильском озере в 257 году римской эры сражались за римлян, против латинян.— *Примеч. автора.*

разве ты по меньшей мере пятьдесят раз не стоял лицом к лицу со смертью на поле сражения? Разве для тебя не лучше было бы умереть, чем пережить такой позор — быть обязанным шествовать впереди низкого гладиатора с консульскими фасциями!

Говоривший умолк, и Спартак приблизился к палатке, в которой, как он понял, находились под стражей шесть пленных ликторов Публия Вариния.

— Ах, клянусь двенадцатью богами Согласия, клянусь Юпитером Освободителем, клянусь Марсом, покровителем народа Квирина,— опять послышался после минутного молчания голос ликтора Симплициана,— я никогда не думал, что мне в шестьдесят два года доведется стать соучастником такого позора! Когда мне было только шестнадцать лет, в шестьсот тридцать пятом году римской эры, я сражался под началом консула Луция Цецилия Метеллы, победителя далматов; потом я сражался в Африке против Югурты, сперва под началом Квинта Цецилия Метеллы Нумидийского, а затем славного Гая Мария; я участвовал в разгроме тевтонов и кимвров, шел за триумфальной колесницей непобедимого уроженца Арпина, за которой следовали, закованные в цепи, два царя: Югурта и Бокх; я был восемь раз ранен и за это получил два гражданских венка; в награду за оказанные родине услуги я был приписан к корпусу ликторов; в течение двадцати шести лет я шествовал перед всеми римскими консулами, начиная от Гая Мария, который семь раз был удостоен чести избрания его консулом, и кончая Луцием Лицинием Лукуллом и Марком Аврелием Коттой, которые избраны консулами на текущий год. Клянусь Геркулесом! Неужели же я должен теперь шествовать впереди гладиатора, которого я собственными глазами видел на арене цирка участником позорного зрелища? Нет, клянусь всеми богами, это выше моих сил... слишком жестокий жребий... Я не могу подчиниться судьбе... не могу перенести...

В голосе ликтора слышалось такое глубокое отчаяние, что Спартак был почти растроган. Он считал, что в горе старого и неизвестного солдата было столько достоинства, благородной гордости, сурового величия, что он заслуживал сочувствия и уважения.

— Ну и что ж? Что ты хочешь и что можешь ты сделать против воли богов? Как будешь бороться с превратностями несчастливой судьбы? — спросил после минутного молчания у Симплициана ликтор Оттацилий.— Придется тебе, как и нам, примириться с незаслуженным несчастьем и позором, посланным судьбой...

— Клянусь всеми богами неба и ада,— гордо ответил Симплициан,— я не склоню благородного чела римлянина перед

таким непереносимым позором и не подчинюсь несправедливой судьбе! Я римлянин, и смерть избавит меня от поступков, недостойных того, кому боги ниспослали счастье родиться на берегах Тибра...

Из палатки до Спартака донесся крик. Это в ужасе кричали пять ликторов; слышен был топот сбегавшихся людей, голоса, восклицания:

— О, что ты сделал?

— Несчастный Симплициан!

— Да, это настоящий римлянин!

— Помогите, помогите ему!

— На помощь, на помощь!

— Подними его! Берись с этой стороны!

— Положи здесь!

В одну секунду Спартак обошел вокруг палатки и оказался у ее входа, куда, привлеченные криками, сбежались жившие в соседней палатке гладиаторы, сторожившие пленных.

— Пропустите меня! — крикнул фракиец.

Гладиаторы с уважением расступились и дали дорогу своему вождю, перед глазами которого предстало ужасное зрелище.

Старый Симплициан лежал на куче соломы, его окружили и поддерживали остальные пять ликторов; белая туника его была разорвана и покрыта пятнами крови; она лилась из глубокой раны в груди, которую он только что нанес себе. Один из ликторов поднял с земли и держал в руке тонкий и острый кинжал — его Симплициан с силой вонзил себе в грудь по рукоятку.

Кровь текла из раны непрерывной струей, а по загорелому лицу неустрашимого старого ликтора быстро разливалась смертельная бледность; но ни один мускул не дрогнул на этом суровом, спокойном лице, ни одно движение не обличало раскаяния или муки.

— Что ты сделал, мужественный старик! — сказал умирающему Спартак дрожащим от волнения голосом, с почтительным удивлением глядя на это зрелище. — Почему ты не попросил, чтобы я избавил тебя от обязанности шествовать передо мной с фасциями, раз тебе это было так тяжело?.. Сильный всегда поймет сильного, я понял бы тебя и...

— Рабы не могут понять свободных,— торжественно произнес слабеющим голосом умирающий.

Спартак покачал головой и, горько улыбнувшись, сказал сочувственно:

— О душа, рожденная великой, но измельчавшая от предрассудков и чванства, в которых ты был воспитан... Кто же установил на земле два рода людей, разделив их на рабов и свободных?

До завоевания Фракии разве не был я свободным, а разве ты не стал бы таким же рабом, как я, после поражения при Аквине?

— Варвар... ты не ведаешь, что бессмертные боги... дали римлянам власть над всеми народами... не омрачай мои последние минуты своим присутствием...

И Симплициан обеими руками отстранял своих товарищей, которые старались перевязать ему рану лоскутами, оторванными от туник.

— Бесполезно...— произнес он, задыхаясь от предсмертного хрипа.— Удар был... точно рассчитан... а если бы меня постигла тут неудача, завтра же я повторил бы... Римский ликтор... шествовавший впереди Мария и Суллы... не станет позорить... свои фасции... шествуя впереди гладиатора... бесполезно... беспо...

Он упал, откинув назад голову, и испустил дух.

— Эх, старый глупец! — произнес вполголоса один из гладиаторов.

— Нет, он старик, достойный уважения,— строго сказал Спартак, лицо которого побледнело, стало серьезным и задумчивым.

Глава пятнадцатая

СПАРТАК РАЗБИВАЕТ НАГОЛОВУ ДРУГОГО ПРЕТОРА И ПРЕОДОЛЕВАЕТ БОЛЬШИЕ ИСКУШЕНИЯ

Между тем поворот дел в Кампанье после разгрома претора Публия Вариния под Аквином несколько напугал спесивых победителей Африки и Азии, и, несмотря на заботы, связанные с ведением войны против Митридата и Сертория, Рим стал серьезно и настороженно следить за восстанием гладиаторов. Пятьдесят тысяч вооруженных рабов, возглавляемых человеком, которого теперь уже все, хотя и краснея от стыда, были вынуждены признать отважным, доблестным и даже до некоторой степени опытным полководцем, были полными хозяевами провинции Кампаньи, где, за исключением нескольких незначительных городов, господство и влияние римлян было подорвано; пятьдесят тысяч вооруженных гладиаторов, угрожавших Самнию и Латию—этим, можно сказать, подступам к Риму,— представляли весьма серьезную силу, и в дальнейшем борьбу с ними нельзя было считать делом незначительным и относиться к ней с недопустимым легкомыслием.

В комициях, собравшихся в этом году, римский сенат единодушно доверил управление провинцией Сицилией и подавление позорящего Рим восстания гладиаторов патрицию Гаю Анфидию Оресту вместо претора Публия Вариния.

Гай Анфидий Орест, человек лет сорока пяти, весьма опытный в военном деле, много лет был трибуном, три года квестором и во время диктатуры Суллы уже избирался претором. Его храбрость, ум и прозорливость снискали ему широкую известность и расположение как среди плебеев, так и в сенате.

В первые месяцы 681 года, следующего за тем, в котором произошли события, рассказанные в пяти предыдущих главах, Гай Анфидий Орест с согласия новых консулов Теренция Варрона Лукулла и Гая Кассия Вара собрал сильное войско, состоявшее из трех легионов: в одном были римляне, в другом — только италийцы, в третьем — союзники: далматы и иллирийцы.

Численность этих трех легионов достигала двадцати тысяч человек; к ним претор присоединил десять тысяч солдат, спасшихся после поражения под Аквином, и у него образовалась армия в тридцать тысяч воинов, обучением которых он и занялся в Латии. С этой армией он надеялся разбить наголову Спартака наступающей весной.

Пришла весна и принесла с собой тепло, щедро разливаемое вокруг солнцем, прозрачную синеву неба, опьяняющее благоухание цветов, роскошный ковер душистых трав. Во славу ее запели птицы свои гимны. В эту пору двинулись одновременно войска римлян и гладиаторов — одно из Латия, другое из Кампаньи, чтобы оросить человеческой кровью зазеленевшие поля Италии.

Претор Анфидий Орест выступил из Норбы и пошел по Аппиевой дороге до Фунди; он проведал, что навстречу ему по Домициевой дороге из Литерна продвигается Спартак.

Тогда претор расположился лагерем в Фунди, заняв позиции, дававшие ему возможность сразу ввести в сражение свою многочисленную кавалерию, численностью в шесть тысяч человек.

Через несколько дней Спартак прибыл в Формии и расположился лагерем на двух холмах, заняв таким образом господствующее положение на Аппиевой дороге; затем со своими тремястами конниками он приблизился к вражескому лагерю, чтобы изучить позиции и выяснить намерения врага.

Но претор Анфидий Орест, более сведущий в военном деле, чем полководцы, с которыми до сего времени приходилось сражаться Спартаку, тотчас же напал на него, пустив в ход свою грозную кавалерию; после короткой, не имевшей решающего значения схватки, в которой гладиаторы все же потеряли около сотни человек, Спартаку пришлось поспешно отступить к Формиям.

Здесь он решил подождать врага, полагая, что претор, воодушевленный столь легко достигнутым успехом, предпримет новую

попытку нападения на гладиаторов. Однако Спартак напрасно потерял пятнадцать дней; Анфидия не так-то легко было завлечь в западню.

Тогда Спартак совершил один из тех военных маневров, которые под силу только выдающимся полководцам.

С наступлением ночи, соблюдая полнейшую тишину, он вышел с восемью легионами из лагеря, оставив там Эномая с двумя легионами и кавалерией. Всю ночь Спартак шел вдоль берега и забирал с собой в качестве заложников всех встречавшихся по пути крестьян, колонов и рыбаков любого возраста и пола, чтобы вести о его продвижении не дошли до врага. Быстрым маршем он прошел через лес, который и ныне окружает Таррацину, расспрашивая о дороге дровосеков и угольщиков, и расположился лагерем на его опушке, в тылу врага.

Орест был немало удивлен, узнав, что его сумели обойти, но, действуя благоразумно и осторожно, он всячески сдерживал пыл своих легионеров, которые рвались в бой при виде пращников-гладиаторов, подходивших почти к самому частоколу лагеря римлян.

В продолжение восьми дней Спартак тщетно вызывал на бой врага: тот не двигался с места и не скрывал, что не желает сражаться в невыгодных для себя условиях.

Тогда изобретательный вождь гладиаторов решил воспользоваться создавшимся положением и выгодными условиями местности; в один прекрасный день Анфидий Орест, к своему великому удивлению и немалому огорчению, узнал от своих разведчиков, что, кроме лагеря в лесу под Таррациной, гладиаторы раскинули еще один лагерь, в хорошо укрепленном месте между Фунди и Интерамной, и другой — между Фунди и Пиверном, завладев таким образом ключевыми позициями над Аппиевой дорогой.

Действительно, Спартак в несколько ночных переходов перебросил четыре легиона под началом Граника от Интерамны и, приказав им расположиться лагерем на возвышенном месте, велел обнести лагерь высоким частоколом и окружить широким рвом; два дня и две ночи эту работу прилежно выполняли двадцать тысяч гладиаторов; одновременно Крикс с двумя своими легионами занимал и укреплял место, определенное Спартаком для лагеря между Фунди и Пиверном.

Таким образом, Спартак полностью окружил лагерь Анфидия Ореста, и претор вынужден был либо принять бой, либо через восемь дней сдаться на милость врагу, понуждаемый голодом.

Претор попал в тяжелое положение. Необходимость заставляла его напасть на один из лагерей гладиаторов, чтобы выйти из затруднения; у него не было ни малейшей надежды победить

неприятеля, уничтожить его, так как ему было известно, что придется иметь дело еще с тремя частями вражеского войска.

Как бы ни было кратковременно сопротивление легионов Крикса и Граника, оно, во всяком случае, продлится не менее трех часов, поскольку их будет воодушевлять вера в то, что скоро подойдут подкрепления; а через три часа Крикс придет на помощь Гранику или Граник — Криксу; тогда Спартак обрушится на тыл претора, потом к месту сражения подойдет Эномай, и римское войско будет разгромлено.

Орест, печальный и озабоченный, дни и ночи думал и не находил выхода из такого крайне опасного положения. Легионеры впали в уныние; на первых порах они только шепотом ругали претора, а потом стали во всеуслышание называть его неумелым и малодушным полководцем, который в то время, когда была надежда на победу, уклонялся от боя, теперь же они обречены на поражение и верную смерть; с ужасом вспоминали они позорный разгром близ Кавдинского ущелья и громко сетовали, что Анфидий Орест еще невежественнее консулов Постумия и Ветурия[1]. Ведь те оказались в безвыходном положении вследствие крайне невыгодных условий местности, а Анфидий из-за своего недомыслия допустил, чтобы враг на открытом месте преградил ему путь.

Таким было положение, когда претор решил прибегнуть к обману, обратившись к жрецам, к чему, к сожалению, прибегают люди, слабые духом и умом, а также хитрецы, которые стараются подчинить себе большинство людей, пользуясь в своих личных темных целях их суеверием и страхом перед сверхъестественными силами.

По всему римскому лагерю было объявлено о больших жертвоприношениях Юпитеру, Марсу и Квирину, чтобы они вдохновили авгуров, а те возвестили бы, как спасти римское войско от поражения.

Направо от претория в римском лагере находилось место, предназначенное для жертвоприношений. Там стоял жертвенник — земляная глыба круглой формы с углублением наверху, где зажигали огонь; с одной стороны в жертвеннике находилось отверстие, через которое должно было стекать вино жертвенных возлияний, а вокруг высились шесты, украшенные фестонами и розами. Сюда сошлись жрецы трех божеств: Юпитера, Марса и Квирина. На всех жрецах были длинные плащи из белой ткани, застегнутые на шее булавкой, на голове остроконечные шапки, также из белой шерстяной ткани.

[1] Консулы Спирий Постумий Альбин и Тит Ветурий Калвин (IV век до н. э.) потерпели в сражении при Кавдинском ущелье постыдное поражение и вынуждены были заключить бесславный мир с самнитами.

Позади жрецов стояли авгуры, одетые в свои жреческие одеяния, в руках они держали загнутый авгурский жезл, похожий на теперешние пастушеские посохи; то был их знак отличия. За ними следовал помощник жреца, который подводил животных к жертвеннику и убивал их, и другой помощник, который закалывал малые жертвы и выпускал кровь из жил. Оба они были в длинных передниках, спускавшихся до ступней и отороченных внизу пурпуром. Первый поддерживал правой рукой секиру, лежавшую у него на плече, второй держал широкий отточенный кинжал с ручкой из слоновой кости; у обоих, а также у жрецов и авгуров на голове были венки из цветов; шею обвивала украшенная кисточками из белой и красной шерсти лента, спускавшаяся по одежде. Такими же венками, лентами и кисточками украшались голова и шея быка, овцы или свиньи, приносимых в жертву. Затем шествовали служители жрецов, несшие деревянный молот, которым помощник жреца должен был сначала оглушить быка, поразив его в затылок, жертвенный пирог, серебряный ларчик для благовоний, где хранился фимиам, серебряную жертвенную чашу для курений, из которой наполняли кадильницу, амфору с вином и патеру — особую чашу для жертвенных возлияний. Последним шел цыплятник, хранитель священных кур; он нес в клетке жертвенных птиц. Шествие замыкали флейтисты, сопровождавшие музыкой пение во время жертвоприношений.

За жертвенной процессией шло все римское войско, за исключением солдат, оставленных для охраны лагеря. Когда вся толпа во главе с претором Гаем Анфидием Орестом расположилась вокруг жертвенника, жрецы приступили к совершению установленного обрядом омовения, положили фимиам в кадильницы, посыпали жертвенных животных мукой, совершили жертвоприношение жертвенными пирогами и возлиянием вина. Затем помощник жреца, приподняв голову быка — так как только в том случае, когда приносили жертвы подземным богам, голова жертвенного животного должна была быть обращена вниз, к земле,— ударил молотком животного в лоб, а затем прикончил его топором, в то время как служители разрезали горло малым жертвам и выпускали кровь из их жил; кровью этой вскоре был обрызган весь жертвенник, а часть мяса тут же была положена на огонь, горевший в углублении в середине жертвенника. Внутренности жертв осторожно собрали на специально для этого предназначенную, немного вогнутую посредине бронзовую доску, стоявшую на четырех бронзовых подставках.

Когда все эти обряды были закончены, внутренности жертвенных животных передали авгурам, которые с серьезным и важным видом принялись определять по ним будущее.

Хотя знакомство с греческой философией [1] и быстрое распространение учения Эпикура помогло большей части римской молодежи избавиться от нелепой веры в богов и открыло ей глаза на недостойное поведение лицемерных жрецов, все же среди народных масс, людей непросвещенных и темных, преданность богам была еще так сильна, что из тридцати тысяч человек, стоявших вокруг жертвенника в лагере под Фунди,— а это были доблестные солдаты, испытанные в боях,— не нашлось ни одного, который чем-либо нарушил так долго длившийся священный обряд. Только через полтора часа авгуры объявили, что знамения, согласно их наблюдениям над внутренностями животных, благоприятны для римлян: они не увидели ни малейшего пятнышка, которое могло бы быть истолковано как плохое предзнаменование.

Наконец пришла очередь кормления священных кур; должно быть, их долго мучили голодом, потому что, как только им бросили зерно, они тут же стали жадно клевать его под шумные рукоплескания обрадованных солдат, увидевших в хорошем аппетите кур явное предзнаменование высокого покровительства Юпитера, Марса и Квирина, готовых помочь римскому войску.

Эти благоприятные предсказания вселили храбрость в души суеверных римлян; прекратились жалобы и проклятия, укрепилась дисциплина и вера в полководца. Анфидий Орест не преминул воспользоваться этим улучшением настроения у солдат, чтобы осуществить задуманный им план и с наименьшими потерями выйти из тяжелого положения, в которое поставил его Спартак.

На следующий день после кормления священных кур и гадания авгуров, предсказавших по внутренностям жертвенных животных победу римлянам, пять дезертиров из римского лагеря явились к Спартаку. Когда их привели к вождю гладиаторов, все они, каждый на свой лад, рассказали ему одно и то же: претор намеревается тайно выйти из лагеря этой ночью, напасть на гладиаторов, расположившихся близ Формий, разбить их, а затем быстрым маршем двинуться в направлении Кал, чтобы укрыться за стенами Капуи. Дезертиры объясняли свое бегство из римского лагеря тем, что не хотели идти на верную гибель, так как на победу никак нельзя надеяться; они утверждали, что план

---

[1] К концу республики круг лиц, получавших образование, значительно расширился. С двенадцати до шестнадцати лет римские юноши посещали школы грамматиков, организованные по греческим образцам. Вместе с греческим языком в Рим проникает и греческая образованность. Молодые римляне из аристократических семей предпринимают поездки в Афины или на Родос с целью изучения главным образом греческой философии. В самом Риме растет число греческих риторов и философов.

Ореста не может увенчаться успехом, потому что Спартак, окружив римские легионы, поставил их в безвыходное положение.

Спартак внимательно выслушал дезертиров, задавая им различные вопросы, всматриваясь в их лица своими голубыми глазами, строгими и испытующими. Взгляд Спартака, пронизывающий, словно острый клинок, приводил в смущение дезертиров; они не раз путались в своих ответах Спартаку, противоречили себе. После длительного молчания, во время которого фракиец погрузился в глубокое раздумье, он поднял наконец голову и произнес, как бы рассуждая с самим собой:

— Понимаю... да, так и есть...

Затем, обратившись к одному из контуберналов, который находился у преторской палатки, добавил:

— Флавий, отведи их в палатку и прикажи страже наблюдать за ними.

Контубернал увел дезертиров.

Спартак молча постоял несколько минут, затем позвал начальника легиона Артака, отвел его в сторону и сказал вполголоса:

— Эти дезертиры — шпионы...

— Да ну! — удивленно воскликнул молодой фракиец.

— Они подосланы сюда Анфидием Орестом, чтобы ввести меня в заблуждение.

— Неужели?

— Он хочет, чтобы я поверил в россказни дезертиров, в то время как он сам поступит как раз наоборот.

— А как именно?

— Вот как. Естественнее и логичнее всего не только для Ореста, но и для всякого, оказавшегося в его положении, было бы попытаться прорвать наш фронт со стороны Рима, но никак не со стороны Капуи. Ведь, если он прорвется через фронт наших мечей с неизбежно расстроенным, ослабленным потерями войском и укроется в Капуе, нам будет открыт путь в Латий, по которому мы можем свободно дойти до самых ворот Рима. Он должен двинуться к Риму, чтобы защитить его от нас; Рим — его база, и, если Рим будет у него в тылу, он даже с меньшим войском, чем то, которым он располагает сейчас, будет для нас весьма серьезной угрозой. Поэтому именно с этой стороны он отважится на отчаянную попытку, а не со стороны Формий, как он желал меня убедить через подосланных дезертиров.

— Клянусь Меркурием, ты правильно рассудил!

— Поэтому сегодня вечером мы оставим наш лагерь, так хорошо защищенный лесом, и двинемся по той стороне Аппиевой дороги; там мы расположимся лагерем в наиболее безопасном месте. Благодаря этому маневру мы приблизимся к Криксу, на

которого, если я не ошибаюсь, завтра утром римляне направят свои основные силы. Эномай сегодня вечером покинет свой лагерь близ Формий и продвинется поближе к вражескому.

— Таким образом ты еще туже затянешь петлю на шее врага,— воскликнул с искренним восхищением молодой фракиец, которому теперь стал ясен весь план вождя,— и...

— ...и,— прервал его Спартак,— по какой бы дороге он ни пошел, я займу такую позицию, которая обеспечит мне победу. Потому что, если претор двинет свои легионы против Эномая, он подойдет ближе к Фунди, а следовательно, и к нам, поэтому мы сможем тут же оказать помощь германским легионам.

Он призвал к себе трех контуберналов, приказав им оседлать коней и скакать во весь опор в лагерь под Формиями, так чтобы между ними было полчаса расстояния, и передать Эномаю распоряжение приблизиться на шесть-семь миль к Фунди; кроме того, контуберналы должны были предупредить Крикса о возможности вражеского нападения на него.

Гонцы Спартака прибыли к Эномаю под вечер, и через два часа после их прибытия войска германца с авангардом в три тысячи конников двинулись по направлению к Фунди, соблюдая всяческие предосторожности. В полночь, в полной тишине, Эномай велел своим легионам остановиться у холма, поросшего кустами ежевики, и разбить лагерь; несмотря на мелкий, пронизывающий до костей дождь, начавшийся с наступлением ночи и не прекращавшийся в течение нескольких часов, германец приказал рыть рвы и ставить частокол для нового лагеря и сам работал наравне со всеми.

Все произошло именно так, как предвидел Спартак. На рассвете часовые перед лагерем Крикса — некоторые из них стояли почти что на Аппиевой дороге — сообщили о приближении врага.

Два легиона — третий и четвертый,— находившиеся при нем, вооруженные, в полной готовности, Крикс вывел из лагеря и построил в боевом порядке, приказав пращникам быстро продвинуться вперед и метать в римлян дротики и камни.

Как только были пущены первые дротики, Орест повел свои легионы в наступление. Он приказал римским велитам и пращникам выйти за интервалы главных линий расположения легионов; растянувшись цепью, они двинулись на гладиаторов.

Легкая римская пехота, пустив несколько дротиков, тотчас же отступила к главной линии, освободив место трем тысячам кавалеристов, которые в неудержимом порыве бросились на вражеских пращников. Крикс тотчас же приказал трубить сбор, но пехота не сумела быстро отступить, и римская кавалерия настигла пращников, внося в их ряды беспорядок и панику. Гладиаторы понесли большие потери. В одно мгновение было убито более

четырехсот человек; по счастью, широкий полноводный ручей преградил путь римлянам, и гладиаторы укрылись на противоположном берегу.

Тогда Крикс двинул первый легион к ручью, на берегу которого находилась римская кавалерия. Туча дротиков полетела в римлян, и они принуждены были в беспорядке отступить.

Орест отозвал кавалерию и стремительно направил свои легионы против легионов Крикса, ибо ему необходимо было не только победить, но победить быстро, без промедления. Каждые лишние четверть часа давали возможность врагу подвести подкрепление, а это погубило бы его.

Поэтому римляне обрушились на гладиаторов с такой силой, что третий легион восставших дрогнул и едва не пришел в расстройство. Гладиаторов воодушевлял пример мужественного Арторикса и необычайная храбрость Крикса, который, сражаясь в первых рядах, каждым ударом меча поражал врага. Гладиаторы противопоставили натиску римлян свою беспримерную отвагу; бой был необычайно кровопролитным.

Мрачные серые тучи закрывали небо; мелкий пронизывающий дождь лил беспрестанно; лязг оружия и крики сражающихся разносились по окрестностям.

Еще один римский легион направился в обход справа, чтобы ударить во фланг гладиаторов. Против него выступил четвертый легион, во главе с Борториксом, но едва лишь он вступил в сражение с врагом, как последний легион из войска Ореста также двинулся в обход гладиаторов с другого фланга. Теперь не мужество, не бесстрашие, а численность решали судьбу сражения; Крикс понимал, что через полчаса он будет замкнут в кольцо, разбит наголову и его десять тысяч воинов погибнут.

Успеет ли Спартак через полчаса подоспеть ему на помощь?

Этого Крикс не знал, поэтому он велел Борториксу отступать, сохраняя порядок и продолжая сражаться; такое же приказание он дал третьему легиону.

Хотя гладиаторы и проявили невиданную доблесть, отступление все же было не совсем организованным и связано с большими потерями. Гладиаторы вынуждены были отойти в лагерь под прикрытием двух галльских когорт, которыми пришлось пожертвовать ради спасения остального войска.

Эта тысяча галлов проявила чудеса храбрости, они умирали не только бесстрашно, но даже с радостью; за короткое время пало более четырехсот человек: почти все они были ранены в грудь. Чтобы спасти остальных от верной смерти, гладиаторы, вернувшиеся в лагерь, взобрались на частокол и стали метать в римлян дротики и камни в таком количестве, что те принуждены были отступить и прекратить сражение.

Тогда Орест подал знак трубить сбор и, стараясь всеми силами привести в порядок свои легионы, сильно пострадавшие от жестокого боя, длившегося почти два часа, приказал им, соблюдая предосторожность, идти к Пиверну. Он поздравлял себя за примененную им военную хитрость и считал, что этот маневр заставил Спартака отойти от Таррацины и приблизиться к Формиям.

Но не успел еще авангард римского войска пройти две мили по Аппиевой дороге, как пращники из легионов Спартака напали на левый фланг легионов претора, шедших в направлении к Пиверну и Риму.

Увидев это, Орест пал духом; тем не менее он приказал своим войскам остановиться, бросил часть кавалерии против пращников Спартака и одновременно выстроил четыре свои легиона таким образом, чтобы они были повернуты фронтом к Спартаку, а два других опирались на тыл первых, с тем чтобы быть готовыми отразить атаку Крикса, так как Орест понимал, что тот обязательно предпримет подобную попытку.

И действительно, как только пятый и шестой легионы гладиаторов вступили в бой с римлянами, Крикс построил свои сильно поредевшие легионы (гладиаторы понесли большие потери, было много раненых и убитых), вышел из своего лагеря и атаковал легионы претора.

Бой был жестоким и кровопролитным. Он длился около получаса, но ни одной из сторон не удалось добиться преимущества. Вдруг на вершинах холмов, скрывавших Фунди от взоров сражавшихся, появился авангард войска Эномая; завидев сражение, происходившее внизу, в долине, легионы Эномая с громовым криком «барра» устремились на римлян; те, окруженные с трех сторон, с трудом сдерживали все возраставший натиск численно превосходящих сил гладиаторов; вскоре они дрогнули и обратились в беспорядочное бегство по Аппиевой дороге в направлении к Пиверну.

Гладиаторы начали преследование бегущих; Спартак приказал ни на минуту не прекращать погони, с тем чтобы сковать действия вражеской кавалерии, которая не могла атаковать рассыпавшихся в разные стороны гладиаторов, не уничтожая одновременно и спасавшихся бегством римлян.

Последним вместе со своим войском на поле битвы прибыл Граник, так как он стоял дальше всех. Его приход ускорил приближение полной победы гладиаторов. Граник, умный, рассудительный и опытный в военном деле человек, получив уведомление от Крикса, направился к Аппиевой дороге и проделал трудный переход между Фунди и Пиверном, взяв направление по диагонали, приведшей его ближе к Пиверну, чем к Фунди. Он предви-

дел, что, придя на поле сражения последним, он застанет римлян уже разбитыми и атакует правый фланг войск претора как раз в момент их бегства. Так оно и произошло.

Побоище было беспримерным: свыше семи тысяч римлян было убито и около четырех тысяч взято в плен.

Только римская кавалерия, почти вся уцелевшая после сражения, укрылась в Пиверне, куда за ночь сошлись остатки разбитых легионов Анфидия Ореста.

Потери гладиаторов тоже были велики. Они потеряли свыше двух тысяч убитыми и столько же ранеными.

На рассвете следующего дня, когда гладиаторы с почетом предавали земле своих павших в бою товарищей, претор Анфидий Орест, покинув с остатками своего войска Пиверн, стремительно отступил к Норбе.

Так через полтора месяца закончился этот едва начавшийся второй поход римлян против Спартака. Вождь гладиаторов приобрел славу грозного, непобедимого полководца; его имя приводило в трепет римлян и заставило сенат серьезно задуматься.

Через несколько дней после сражения при Фунди Спартак собрал начальников гладиаторов на военный совет. Они единодушно признали, что бессмысленно предпринимать что-либо против Рима, так как там каждый житель был солдатом, и поэтому Рим за несколько дней смог противопоставить гладиаторам армию в сто десять тысяч человек. Было решено направиться в Самний, а оттуда в Апулию, пройти через эти области, где гладиаторам теперь ничто не угрожало, с тем чтобы собрать там всех рабов, восставших против своих угнетателей.

Осуществляя этот план, Спартак во главе своего войска беспрепятственно прошел через Бовиан, вступил в Самний и оттуда короткими дневными переходами направился в Апулию.

Тем временем распространившиеся в Риме вести о поражении претора Ореста под Фунди повергли в страх римских жителей. Сенат, собравшись на секретное заседание, стал обсуждать вопрос о том, как покончить с этим восстанием, которое сначала представлялось смехотворным мятежом, а в действительности превратилось в серьезную войну, запятнавшую позором римское войско.

Решение сенаторов осталось тайной. Известно только, что ночью того дня, когда состоялось заседание сената, консул Марк Теренций Варрон Лукулл в сопровождении немногих слуг, без знаков отличия и ликторов, как частное лицо, выехал верхом через Эсквилинские ворота и поскакал по Пренестинской дороге.

Через месяц после сражения под Фунди Спартак со своим войском расположился близ Венусия и занялся обучением двух

новых легионов: один состоял из фракийцев, а другой — из галлов. Свыше десяти тысяч рабов этих двух национальностей стеклось за месяц из апулийских городов в лагерь гладиаторов.

Около полудня Спартаку доложили о прибытии в лагерь посла римского сената.

— О, клянусь молниями Юпитера,— воскликнул Спартак, и глаза его засияли радостью,— неужели так низко пала латинская надменность, что римский сенат решился вступить в переговоры с презренным гладиатором?

И через минуту добавил:

— О, клянусь великими богами Олимпа, видимо, я человек достойный и совершил в своей жизни немало важных и доблестных дел, если они удостоили меня такой чести и дали возможность испытать такое удовлетворение!

И он накинул на плечи свой плащ темного цвета — императорские знаки отличия он надевал только в торжественные дни, чтобы доставить удовольствие своим легионам,— сел на скамейку, стоявшую у входа в его палатку, перед преторской площадкой, и, повернувшись к Арториксу, Эвтибиде и другим пяти или шести своим контуберналам, которые сопровождали его во время прогулок, стал дружески беседовать с ними. В это время его оповестили о прибытии посла от сената. Тогда Спартак, улыбаясь, сказал своим собеседникам:

— Простите меня, я должен вас покинуть. Хотя ваше общество мне гораздо приятнее, чем встреча с послом из Рима, но мне необходимо выслушать его.

Попрощавшись со своими товарищами дружеским жестом руки, он, улыбнувшись, обратился к декану, доложившему о прибытии посла от сената:

— А теперь вели проводить сюда этого римского посла.

Посол прибыл на преторскую площадку в сопровождении четырех своих слуг. Согласно обычаю, на глазах у них были повязки, за ними шли гладиаторы, указывавшие им дорогу.

— Теперь, римлянин, ты находишься на претории нашего лагеря, перед нашим вождем,— сказал декан, обращаясь к человеку, назвавшему себя послом.

— Привет тебе, Спартак,— тотчас же внушительно и уверенно произнес римлянин. Он сделал приветственный жест, полный достоинства и направленный в ту сторону, куда он был обращен лицом и где, как он предполагал, находился Спартак.

— Привет и тебе,— ответил Спартак.

— Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз,— добавил посол.

— Мы останемся с тобой наедине,— ответил Спартак.

И, обратившись к декану и солдатам, которые сопровождали пятерых римлян, сказал:

— Отведите слуг посла в соседнюю палатку, снимите повязки с глаз и накормите.

Когда декан, гладиаторы и спутники посла удалились, Спартак подошел к римлянину, развязал повязку, закрывавшую ему глаза, и, указывая рукой на деревянную скамью, стоявшую напротив той, на которой сидел он сам, спокойно произнес:

— Садись, ты можешь теперь беспрепятственно рассматривать и изучать лагерь презренных и ничтожных гладиаторов.

Спартак снова сел. Он не спускал испытующего взгляда с присланного к нему из Рима патриция. О том, что это был патриций, свидетельствовала его отороченная пурпурной полосой ангустиклавия.

Посол был человек лет пятидесяти, высокого роста, крепкий и несколько тучный; волосы у него были седые, коротко подстриженные, черты лица благородные и выразительные; осанка величественная и даже надменная. Ему, как видно, хотелось скрыть эту надменность изысканной любезностью, проявлявшейся в улыбке, жестах, в том, как он склонял голову, когда отвечал Спартаку. Как только фракиец снял с его глаз повязку, он стал внимательно всматриваться в лицо вождя гладиаторов.

Оба молчали, рассматривая друг друга. Спартак заговорил первым:

— Садись же. Правда, эта скамья ничуть не похожа на курульное кресло, к которому ты привычен, но сидеть на ней тебе будет все же удобнее, чем стоять.

— Благодарю тебя от всего сердца, о Спартак, за твою любезность,— ответил патриций, садясь напротив гладиатора.

Римлянин смотрел на огромный лагерь, расстилавшийся перед его глазами; с возвышенности, на которой был расположен преторий, лагерь был виден весь как на ладони. Посол не мог сдержать вырвавшееся у него восклицание удивления и восторга:

— Клянусь двенадцатью богами Согласия, я никогда еще не видал такого лагеря! Только лагерь Гая Мария под Акве Секстиле, возможно, мог с ним сравниться!

— О,— ответил с горькой иронией Спартак,— то был римский лагерь, а мы всего лишь презренные гладиаторы.

— Я пришел к тебе не для того, чтобы ссориться с тобой, не для того, чтобы оскорблять тебя и выслушивать от тебя оскорбления,— с достоинством ответил римлянин.— Оставь, о Спартак, иронию, я действительно восхищен.— И он умолк.

Долго и внимательно опытный, старый солдат рассматривал устройство лагеря. Затем, повернувшись к Спартаку, сказал:

— Клянусь Геркулесом, Спартак, ты не был рожден для того, чтобы быть гладиатором.

— Ни я, ни шестьдесят тысяч обездоленных, находящихся в этом лагере, ни миллионы равных вам людей, которых вы с помощью грубой силы обратили в рабство, не были рождены, чтобы стать рабами себе подобных.

— Рабы были всегда,— ответил посол-и, как бы в знак сочувствия, покачал головой,— с того самого дня, как человек поднял меч, чтобы поразить своего ближнего. Человек человеку зверь по своей природе, по своему характеру. Верь мне, Спартак, твои мечты — несбыточные мечтания благородной души. Таков закон человеческой природы: должны существовать господа и рабы; так было, так есть и так будет всегда.

— Нет, не всегда существовало это постыдное различие,— с жаром произнес Спартак.— Оно началось с того дня, когда земля перестала приносить плоды своим обитателям; с того дня, когда земледелец перестал возделывать землю, на которой родился и которая должна кормить его; с того дня, когда справедливость, жившая среди сельских жителей, покинула поля, это свое последнее убежище, и удалилась на Олимп. Тогда-то и родились неумеренные аппетиты, неудержимые страсти, роскошь, бражничество, раздоры, войны, истребление...

— Ты хочешь вернуть людей в их первобытное состояние. И ты надеешься, что сможешь достигнуть этого?

Спартак молчал. Он был потрясен, он пришел в ужас от этого страшного в своей простоте вопроса, который как будто раскрыл ему неосуществимость его благородных мечтаний. Патриций продолжал:

— Если бы к тебе присоединился даже всемогущий римский сенат, то и тогда не восторжествовало бы задуманное тобой дело. Только богам дано изменить человеческую природу.

— Но если,— возразил Спартак после нескольких минут раздумья,— на земле неизбежно существование богатых и бедных, то разве так же неизбежно и существование рабства? Разве необходимо, чтобы победители потешались и ликовали при виде того, как несчастные гладиаторы истребляют друг друга? Неужели этот кровожадный и жестокий животный инстинкт является неотъемлемым свойством человеческой природы? Разве он неизбежный элемент человеческого счастья?

Теперь умолк и римлянин. Он был поражен справедливостью вопросов гладиатора. Склонив голову на грудь, он погрузился в глубокое размышление.

Спартак первым нарушил молчание, обратившись к собеседнику:

— Какова цель твоего приезда?

Патриций пришел в себя и ответил:

— Имя мое Гай Руф Ралла, я принадлежу к сословию всадников и прислан к тебе консулом Марком Теренцием Варроном Лукуллом с двумя поручениями.

Спартак улыбнулся; улыбка его выражала насмешку и недоверие. Он тотчас же спросил римского всадника:

— Первое?

— Предложить тебе достигнуть соглашения о возвращении нам римлян, взятых тобою в плен в сражении при Фунди.

— А второе?

Посол, казалось, смутился; он открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но колебался и наконец промолвил:

— Я желал бы, чтобы ты сначала ответил на мое первое предложение.

— Я верну вам четыре тысячи пленных в обмен на десять тысяч испанских мечей, десять тысяч щитов, десять тысяч панцирей и сто тысяч дротиков, отлично сделанных вашими лучшими оружейниками.

— Как? — переспросил Гай Руф Ралла, и в его голосе послышалось одновременно и изумление и негодование.— Ты требуешь... ты желаешь, чтобы мы сами снабдили тебя оружием для продолжения войны с нами?

— И повторяю тебе, я требую, чтобы это было самое лучшее оружие. Оно должно быть доставлено в мой лагерь через двадцать дней, в противном случае эти четыре тысячи пленных не будут вам возвращены.

Помолчав минуту, Спартак добавил:

— Я мог бы заказать это оружие в соседних городах, но на это уйдет слишком много времени, а мне необходимо как можно скорее полностью вооружить еще два легиона рабов, пришедших за последние дни, и...

— ...и именно поэтому,— ответил разгневанный посол,— пленные останутся у тебя, а оружия ты не получишь. Мы римляне, и Геркулес Мусагет и Аттилий Регул научили нас своими деяниями, что даже ценою любых жертв никогда не следует делать того, что может принести пользу врагу и вред родине.

— Хорошо,— спокойно ответил Спартак,— через двадцать дней вы мне пришлете требуемое оружие.

— Клянусь Юпитером Феретрийским,— с трудом сдерживая гнев, воскликнул Руф Ралла,— ты, верно, не понял того, что я тебе сказал! Ты не получишь необходимого тебе оружия, повторяю тебе: не получишь! А пленные пусть останутся у тебя.

— Так, так,— нетерпеливо сказал Спартак,— посмотрим. Изложи мне второе предложение консула Варрона Лукулла.— И он снова иронически улыбнулся.

Римлянин несколько минут молчал, затем спокойно, почти мягко и вкрадчиво, произнес:

— Консул поручил мне предложить тебе прекратить военные действия.

— О! — невольно вырвалось у Спартака.— Интересно, на каких же условиях?

— Ты любишь и любим одной знатной матроной прославленного рода, ибо род Валериев происходит от сабинянина Волузия, пришедшего в Рим с Тацием в царствование Ромула, основателя Рима, а Волузий Валерий Публикола был первым консулом Римской республики.

При первых словах Руфа Раллы Спартак вскочил. Лицо его пылало, глаза горели гневом; затем он понемногу успокоился, хотя и побледнел, снова сел и спросил у римского посланника:

— Кто это сказал?.. Что об этом может быть известно консулу? Какое дело вам до моих личных дел? Какое они имеют отношение к переговорам о мире, который вы мне предлагаете?..

Услышав эти вопросы, посол смутился; в нерешительности он произнес несколько односложных слов; наконец, приняв твердое решение, он быстро и уверенно продолжал:

— Ты любишь Валерию Мессалу, вдову Суллы, и любим ею, и сенат, чтобы избавить ее от порицания, которое она могла бы навлечь на себя этой любовью, готов сам просить Валерию стать твоей женой; когда ты будешь женат на любимой женщине, консул Варрон Лукулл предложит тебе право выбора: пожелаешь ты проявить свою доблесть на поле брани — ты отправишься в Испанию в звании квестора под началом Помпея; предпочтешь спокойную жизнь под сенью домашних лар[1] — ты будешь назначен префектом в один из городов Африки, по своему выбору. Туда ты сможешь взять с собой и Постумию, дитя твоей греховной связи с женой Суллы; в ином случае ребенок будет поручен опекунам Фавста и Фавсты, других детей диктатора, и ты потеряешь не только право называть ее дочерью, но и всякую надежду на то, что когда-нибудь сможешь обнять ее.

Спартак встал; левую руку он поднял на уровень подбородка, а правой приглаживал бороду; на губах его играла насмешливая улыбка, глаза горели гневом и презрением, он не сводил их с посла, внимательно слушая все, что тот говорил. Даже когда римлянин умолк, гладиатор продолжал смотреть на него в упор, временами покачивая головой и постукивая правой ногой.

---

[1] Лары.— Римляне верили, что душа человека не умирает вместе с телом, а продолжает жить в доме, принимая участие в судьбе семьи. Эти души умерших предков назывались ларами, или манами, а также пенатами. Лары считались гениями — покровителями семьи. Не только каждая семья, но и каждая местность имела своего лара.

Молчание длилось долго, наконец Спартак спокойно и тихо спросил:

— А мои товарищи?

— Войско гладиаторов должно быть распущено: рабы должны вернуться в эргастулы [1], а гладиаторы в свои школы.

— И... всему конец? — произнес Спартак, медленно выговаривая каждое слово.

— Сенат забудет и простит.

— Покорно благодарю! — насмешливо воскликнул Спартак.— Как добр, как великодушен и милостив сенат!

— А разве не так? — надменно ответил Руф Ралла.— Сенат должен был бы приказать распять всех мятежных рабов, а он прощает их; неужели этого недостаточно?

— О! Даже слишком... Сенат прощает врага вооруженного, и к тому же победителя... Действительно достойный и невиданный пример несравненного великодушия!

Он умолк на мгновение, потом с горечью произнес:

— Итак, восемь лет моей жизни, все мои способности, все душевные силы я отдал святому, правому и благородному делу; я бесстрашно шел навстречу всем опасностям; я призвал к оружию шестьдесят тысяч моих товарищей по несчастью, я вел их к победе, а теперь в одно прекрасное утро я скажу им: «То, что вам казалось победой,— не что иное, как поражение, свободы нам не завоевать; возвращайтесь к своим господам и снова протяните руки, чтобы их заковали в привычные цепи». Но почему же, почему?

— Значит, ты не ценишь чести, которую оказывают тебе, варвару; из низкого рудиария ты превратишься в римского квестора или префекта; кроме того, тебе будет дозволено жениться на знатной римской матроне.

— Так велико могущество сената римского? Он распоряжается не только всей землей, но даже чувствами людей, живущих на ней?

Оба умолкли; затем Спартак спокойно спросил Руфа Раллу:

— А если гладиаторы, несмотря на мои советы и уговоры, не пожелают разойтись?

— Тогда...— медленно и нерешительно произнес римский патриций, опустив глаза и перебирая руками конец своей тоги,— тогда... такому опытному полководцу, как ты... который, в конце концов, только для блага этих несчастных... не может не представиться... ему всегда представится случай... отвести войска... в места...

---

[1] Эргастул, или эргастерий,— ремесленная мастерская, где использовался труд рабов.

— ...где консул Марк Теренций Варрон Лукулл,— продолжал Спартак, вдруг страшно побледнев; его гневные и полные ненависти глаза придавали лицу выражение жестокости, но говорил он сдержанно и спокойно,— будет ждать их со своими легионами; он окружит их, они неизбежно сдадутся ему без всякого шума, и консул даже сможет приписать себе честь этой легкой, заранее устроенной победы. Не правда ли?

Римлянин еще ниже опустил голову и не произносил ни слова.

— Не правда ли? — воскликнул Спартак громким голосом, который вызвал дрожь у Руфа Раллы.

Посол окинул взглядом Спартака. Вождь гладиаторов был так гневен, в его глазах сверкала такая ненависть, что римлянин невольно отступил на шаг.

— О, клянусь всеми богами Олимпа,— произнес фракиец гордо и с угрозой,— благодари богов, покровительствующих тебе, за то, что низкий и презренный гладиатор умеет уважать права другого, что гнев, охвативший меня, не затемнил моего рассудка и я не позабыл, что ты явился ко мне в качестве посла... Ты пришел предложить мне измену, низкую и бесчестную, как твой сенат, как твой народ, измену самую позорную и гнусную!.. Ты старался коснуться самых сокровенных тайников души моей!.. Ты пытался прельстить человека, возлюбленного, отца, чтобы обманом добиться своей цели там, где ты не мог одержать победу силой своего оружия.

— О варвар,— воскликнул с негодованием Руф Ралла, отступая на несколько шагов и не сводя глаз со Спартака,— ты, кажется, забыл, с кем говоришь!

— Это ты, римский консул Марк Теренций Варрон Лукулл, бесчестный и низкий,— это ты позабыл, где находишься и с кем говоришь! О, ты думал, что я не узнал тебя? Ты пришел сюда под вымышленным именем, тайком, обманом, чтобы попытаться совратить меня, ты судил по себе, а поэтому считал и меня способным на те низости, на которые способен ты, о подлейший из людей! Уходи... возвращайся в Рим... собери новые легионы и приходи сражаться со мной в открытом поле; там, если ты посмеешь стать со мной лицом к лицу, как стоишь сейчас, я дам тебе достойный ответ на твои подлые предложения.

— И ты надеялся или еще надеешься, бедный глупец,— произнес с величайшим презрением консул Варрон Лукулл,— что долгое время сможешь противостоять натиску наших легионов, ты льстишь себя надеждой одержать полную победу над могущественным Римом, которому всегда сопутствует счастье?

— Я надеюсь вывести эти толпы несчастных рабов на их родину, и там, в наших краях, я хочу поднять восстание всех угне-

тенных народов против их угнетателей и надеюсь положить конец вашему проклятому господству.

Повелительным жестом правой руки Спартак приказал консулу удалиться.

Консул Варрон Лукулл с достоинством завернулся в свою тогу и, уходя, сказал:

— Увидимся на поле брани.

— Да устроят так боги... только не верю я этому...

И когда Теренций направился по дороге, которая шла ниже претория, Спартак окликнул его и сказал:

— Выслушай меня, римский консул... Так как мне известно, что те немногие из моих солдат, которые попали в ваши руки во время этой войны, были все распяты, и так как я вижу, что вы, римляне, не признаете за нами, гладиаторами, человеческих прав, то я предупреждаю тебя: если через двадцать дней я не получу вот здесь, в моем лагере, оружие и доспехи, которые мне требуются, четыре тысячи ваших солдат, попавших ко мне в плен под Фунди, также будут распяты нами.

— Как!.. Ты посмеешь?..— произнес консул, побледнев от гнева.

— Все дозволено по отношению к таким людям, как вы, для которых нет ничего святого, нет ничего, к чему бы они питали уважение... Бесчестье за бесчестье, убийство за убийство, резня за резню, кровь за кровь — вот как с вами надо поступать. Иди!

И он приказал консулу удалиться.

На призыв Спартака прибежали декан и гладиаторы, ранее сопровождавшие посла и его слуг; фракиец приказал им проводить их всех до ворот лагеря.

Оставшись один, Спартак долго ходил взад и вперед перед своей палаткой, то ускоряя, то замедляя шаги, погруженный в самые мрачные и скорбные думы.

Некоторое время спустя он призвал к себе Крикса, Граника и Эномая и сообщил им о посещении лагеря Теренцием Варроном Лукуллом, о предложениях, сделанных ему, за исключением тех, которые касались его сокровенной тайны — любви к Валерии. Товарищи одобрили действия своего вождя, они восхищались благородством души Спартака и его великодушным самоотречением. Они ушли от него, преисполненные еще большей любовью и уважением к своему доблестному другу и верховному вождю.

Спартак направился в свою палатку, когда уже стало темнеть; он поговорил с Мирцей, которая, видя, что брат задумчив и хмур, начала хлопотать вокруг него, желая отвлечь от мрачных мыслей. Потом он удалился в ту часть своей огромной палатки, построенной для него солдатами, где находилось его

ложе из свежей соломы, покрытое несколькими бараньими шкурами.

Сняв с себя панцирь и оружие, которые носил весь день, не снимая, Спартак лег и долго ворочался с боку на бок, тяжело вздыхая; уснул он очень поздно, забыв потушить светильник из обожженной глины, в котором еще горел фитиль.

Он проспал, вероятно, часа два, сжимая во сне медальон, подаренный ему Валерией, который всегда носил на шее, как вдруг его разбудил длительный, горячий поцелуй в губы. Он проснулся, сел на постели и, повернув голову в ту сторону, откуда ему послышалось прерывистое дыхание, воскликнул:

— Кто это?.. Кто здесь?..

У его ложа стояла на коленях красавица Эвтибида; ее густые рыжие косы были распущены по плечам, она умоляюще сложила свои маленькие руки, прошептав:

— Пожалей, пожалей меня... Спартак, я умираю от любви к тебе!

— Эвтибида! — воскликнул пораженный вождь гладиаторов, сжимая в руке медальон.— Ты... ты здесь?.. Зачем?..

— Уже много-много ночей,— произнесла тихо девушка, дрожавшая словно лист,— вот в этом углу,— и она указала рукой на угол,— я жду, пока ты уснешь, потом становлюсь на колени у твоего ложа, созерцая лицо твое, такое величественно прекрасное. Я поклоняюсь тебе и плачу в тишине, ибо я боготворю тебя, Спартак, поклоняюсь тебе, как поклоняются богам; уже более пяти лет, пять долгих, как вечность, лет я люблю тебя без всякой надежды, как безумная, как одержимая, отвергнутая тобой. Напрасно старалась я изгнать твой образ из моей памяти... он врезался в нее огненными письменами; напрасно старалась я предать забвению свою великую страсть. Я напрасно искала душевного покоя, избегая тех мест, где я узнала тебя, но и в Греции ты был передо мной, как и в Риме; даже места, где я родилась, даже воспоминания невинной юности моей, звук родной мне речи — ничто, ничто не могло изгнать тебя из моего сердца... Я люблю тебя, я люблю тебя, Спартак, и любовь мою не в силах выразить человеческая речь... Сила моей любви так велика, что она бросила к твоим ногам такую женщину, как я, у ног которой были знаменитейшие мужи Рима! О, сжалься надо мной, не отталкивай меня, я буду твоей служанкой, рабыней... только не отталкивай меня, молю тебя. Если ты снова отвергнешь меня, то заставишь меня решиться на все... даже на самые ужасные, самые страшные преступления!

Так в волнении молила влюбленная девушка. Она схватила руку Спартака и покрывала ее горячими поцелуями. От этого неудержимого потока слов и поцелуев лицо Спартака то вспыхи-

вало, то становилось белее полотна, и тогда он сжимал в руке медальон, в котором были волосы Валерии и Постумии.

Он сделал над собой усилие и, мягко освободив свою руку из сжимавшей ее руки Эвтибиды, ласково, стараясь быть спокойным, почти отечески сказал ей:

— Успокойся... успокойся... безумная ты девушка... Я люблю другую... божественно прекрасную женщину... она мать моего ребенка... Знай, что у Спартака только одна вера, и так же как вся душа моя отдана делу угнетенных и я живу для него и умру за него, так и люблю я только одну женщину и никогда не полюблю другую... Прогони всякую мысль обо мне из своей разгоряченной головы... не высказывай мне чувств, которых я не разделяю, не говори мне о любви, которую я не могу питать к тебе...

— Ах, клянусь божественными эриниями,— воскликнула Эвтибида, которую при последних словах Спартак слегка отстранил от себя,— это Валерия, проклятая Валерия, это она неизменно похищает у меня твою любовь!

— Женщина! — воскликнул возмущенный Спартак, и лицо его стало мрачным и грозным.

Эвтибида замолчала, ломая руки. Вождь гладиаторов, сдержав гнев, произнес через минуту более спокойно, но не менее строго:

— Уходи из моей палатки и никогда больше не появляйся здесь. Завтра ты отправишься с другими контуберналами в штаб Эномая: моим контуберналом ты больше не будешь.

Гречанка, опустив голову и с трудом сдерживая рыдания, медленно вышла из палатки, в то время как Спартак, открыв медальон, поднес его к губам и покрыл поцелуями хранившиеся в нем пряди волос.

Глава шестнадцатая

ЛЕВ У НОГ ДЕВУШКИ.— ПОСОЛ, ПОНЕСШИЙ НАКАЗАНИЕ

Эвтибида была женщиной незаурядной. Но ум ее всегда был подчинен порывам страсти, а страсти всегда были неумеренными, и нередко все доводы рассудка уничтожались бурным полетом ее безудержной фантазии. Одаренная необычайной энергией, так не соответствовавшей ее хрупкому и изящному сложению, гречанка была скорее похожа на юную девушку, чем на женщину. Читатель уже знает, что с самого раннего возраста она утратила два самых лучших качества женщины: стыдливость и способность отличать добро от зла.

Она не умела сдерживать свои желания и добивалась того, чего хотела, любыми средствами: для нее главным было достижение желаемого. С непоколебимым упорством шла она к намеченной цели, и благодаря невероятной силе воли ей всегда удавалось удовлетворять свои желания.

Богатая, избалованная поклонением наиболее знаменитых щеголей и богатых патрициев, она увидела Спартака во всем блеске его красоты, храбрости, отваги, победителем в кровопролитной схватке на арене цирка, как раз в тот момент, когда ничто в жизни уже не прельщало ее и она изверилась в возможности счастья. Эвтибида увидела Спартака и увлеклась им; ей казалось, что она без особого труда сможет удовлетворить свой каприз. А может быть, это была и любовь — Эвтибида на первых порах сама не знала и не понимала того чувства, которое почти помимо воли влекло ее к этому храброму гладиатору.

Когда же возникли непредвиденные препятствия, когда она убедилась, что Спартак равнодушен к ее чарам, которые покорили столько сердец, когда она узнала, что другая женщина оспаривает у нее власть над любимым человеком, безумная ревность воспламенила воображение гречанки, кровь забурлила в ее жилах, сердце затрепетало, как еще никогда не трепетало, и, как мы уже видели, ее каприз превратился в безудержную страсть; страсть этой испорченной, полной энергии и решительной женщины вскоре достигла наивысшей своей точки.

Она хотела забыть этого человека, но ничто не могло вытеснить Спартака из ее сердца. Эвтибида отправилась путешествовать, побывала в родной Греции, поразила своей красотой Коринф и Афины, но неразделенная страсть сопутствовала ей повсюду, мешала жить. Тогда она решила снова попытаться овладеть душой гладиатора, ставшего теперь грозной силой, исполином, поднявшим знамя борьбы угнетенных против владычества Рима.

Прошло четыре года. Спартак мог забыть Валерию. И Эвтибида подумала, что теперь пришло время, когда она может всецело предаться своей любви к фракийцу. Гречанка продала все свои драгоценности, собрала все свои богатства и отправилась в лагерь гладиаторов. Она решила с безграничной преданностью восточной рабыни посвятить себя служению человеку, который зажег в ее душе такую сильную любовь.

Если бы Спартак ответил на ее чувство, она была бы счастлива и — кто знает? — может быть, стала бы добродетельной женщиной. Она чувствовала себя способной на любой честный и смелый поступок, лишь бы снискать любовь человека, который в ее глазах принял теперь блистательный образ полубога.

Она ждала, она надеялась, и она обманулась в своих ожида-

ниях... Второй раз Спартак отверг ее. Эвтибида вышла из палатки вождя гладиаторов с искаженным лицом, в слезах; глаза ее сверкали гневом, лицо залил румянец стыда от пережитого унижения.

Сначала она шла, ничего не замечая, по затихшему лагерю, охваченная глубоким волнением. Она шла словно ощупью, спотыкаясь о подпорки палаток и ударяясь о столбы веревочных загородок для лошадей, и наконец, сама не зная почему, очутилась у частокола. Мысли Эвтибиды текли беспорядочно, в воспаленном мозгу не было ни ясного представления о собственных переживаниях, ни правильного восприятия внешнего мира. Она сознавала лишь, что страдания ее ужасны и она жаждет мести, мести беспощадной и кровавой.

Утренний ветерок, свежий и чистый, пронизывал тело Эвтибиды, холодил руки и плечи и постепенно вывел ее из состояния какого-то оцепенения, призвав к действительности. Эвтибида завернулась в свой пеплум, осмотрелась кругом, как будто придя в себя после бреда или обморока, пытаясь собрать мысли и понять, где она находится. Наконец она сообразила, что стоит среди палаток восьмого легиона, и постаралась попасть самым коротким путем на Квинтанскую улицу, а оттуда, идя по дороге, которая отделяла расположения шестого легиона от пятого, вышла к своей палатке.

Эвтибида остановилась, подняв свои зеленые, искрившиеся гневом глаза к небу, и мысленно с глубокой ненавистью в душе поклялась всеми богами неба и ада отомстить за оскорбление и унижение, перенесенные ею, и дала обет принести в жертву фуриям-мстительницам и подземным богам голову Спартака.

На следующий день Спартак, который с того момента, как окружил под Фунди лагерь претора Анфидия Ореста, постановил, чтобы у Граника, Крикса и Эномая было по четыре контубернала для связи между ними, сообщил Эномаю, что посылает ему для услуг одного из своих контуберналов.

Эномай этому не удивился, но как велико было его изумление, когда он увидел перед собой Эвтибиду. Он не раз любовался красотой ее лица и стройностью стана, но никогда не разговаривал с ней, считая гречанку возлюбленной Спартака.

— Как!.. Ты?..— воскликнул пораженный германец.— Это тебя Спартак направляет ко мне контуберналом?

— Да, именно меня! — ответила девушка; на ее бледном лице отражались забота и глубокая печаль.— Почему ты так удивлен?

— Почему... почему... Я думал, что ты Спартаку очень дорога...

— О! — ответила с горькой усмешкой девушка.— Спартак человек добродетельный и думает только о нашей победе.

— Ну, это не могло помешать ему разглядеть, что ты красивая девушка, самая прекрасная из тех, которые вдохновляли резец скульпторов, самая прекрасная из всех родившихся под солнцем Греции.

Красота Эвтибиды настолько поразила Эномая, что медведь сразу стал ручным и грубый дикарь вдруг превратился в учтивого человека.

— Надеюсь, ты не вздумаешь объясняться мне в любви! Я пришла сюда бороться с нашими угнетателями; во имя этого святого дела я пренебрегла богатством, жизнью в роскоши и удовольствии. Учись у Спартака быть воздержанным и скромным.

Надменно произнеся эти слова, она повернулась спиной к Эномаю и направилась к стоявшей рядом палатке, в которой жили его контуберналы.

— Клянусь божественной красотой Фреи, матери всего сущего, эта девушка не менее прекрасна и горда, чем самая гордая и прекрасная из валькирий! — воскликнул Эномай, пораженный красотой и поведением гречанки; неожиданно для самого себя он стал думать с несвойственной ему нежностью о прелестной фигурке и очаровательном личике девушки.

Нетрудно догадаться о том, что задумала Эвтибида: она решила увлечь сурового германца. Кто бы мог сказать, какую цель она преследовала? Очевидно, любовь германца к Эвтибиде должна была иметь какое-то отношение к планам мести, замышляемой гречанкой.

Как бы то ни было, такой женщине, как Эвтибида, красивой и обаятельной, владеющей всеми тайнами обольщения, нетрудно было в короткое время полностью завлечь в свои сети грубого и простодушного Эномая. Вскоре она безраздельно властвовала над ним.

Тем временем в лагере под Венусией Спартак неутомимо обучал военному искусству два новых легиона. Ровно через восемнадцать дней после свидания и беседы с консулом Марком Теренцием Варроном Лукуллом для этих легионов были доставлены в лагерь гладиаторов десять тысяч панцирей, щиты, мечи и дротики, затребованные в обмен на четыре тысячи пленных, которые были полностью разоружены и отправлены в Рим.

Как только два последних легиона получили оружие, один из них, одиннадцатый, состоявший из галлов, был придан к четырем, которыми командовал Крикс, а другой, состоявший из фракийцев, был отдан под командование Граника. Спартак оставил лагерь в Венусии и малыми переходами двинулся в Апулию. Сначала он отправился в Барий, а затем подошел к стенам Брун-

дизия, самого значительного и важного военного порта римлян на Адриатическом море. Во время этого перехода, длившегося два месяца, не произошло ни одной сколько-нибудь значительной стычки между римлянами и гладиаторами, так как стычками никак нельзя было назвать слабое, легко преодолеваемое сопротивление, которое оказывали армии Спартака некоторые города.

В конце августа Спартак, отойдя от превосходно укрепленного Брундизия, в который он даже не пытался вступить, расположился лагерем близ Гнатии, в хорошо укрепленном месте, которое он, по своему обыкновению, укрепил еще более, окружив его широкими рвами. Фракиец решил перезимовать в этой провинции, где плодородная почва, прекрасные пастбища и обилие скота обеспечивали его войско продовольствием.

В то же время вождь гладиаторов подолгу обдумывал, что́ следовало бы сделать, чтобы начатая им война приняла более решительный характер. После зрелых размышлений он созвал своих военачальников на секретное военное совещание; там долго обсуждался вопрос о том, что надо предпринять; по всей вероятности, были приняты важные решения, но в лагере гладиаторов никому не удалось узнать эту тайну.

Ночью, после совещания, закончившегося поздно, Эвтибида сняла с себя доспехи, завернулась в пеплум и села на скамью внутри своей палатки.

Небольшой медный светильник опускался со столба, поддерживавшего палатку, и слабо освещал ее.

Эвтибида была бледна, ее мрачный и злой взгляд был устремлен на вход в палатку; она как будто машинально направила туда свое внимание, тогда как голову ее наполняли совсем иные, глубокие размышления. Внезапно она вскочила и, напрягая слух, стала прислушиваться. Глаза ее вдруг загорелись от радости: шум шагов доносился все явственнее и, казалось, подтверждал приход того, кого она ждала и желала видеть.

Вскоре на пороге палатки показалась огромная фигура Эномая, которому пришлось наклонить голову, чтобы проникнуть в храм Венеры, как он в шутку называл палатку Эвтибиды.

Приблизившись к гречанке, гигант стал перед ней на колени и, взяв обе ее руки, поднес их к губам.

— О моя божественная Эвтибида! — произнес он.

Стоя на коленях, Эномай все же был на голову выше девушки, сидевшей на скамье; только присев на корточки, он мог взглянуть своими маленькими черными глазками в лицо красавицы.

Две эти головы являли необычайный контраст: правильные черты лица и белизна кожи Эвтибиды еще сильнее подчеркивали грубость черт и землисто-смуглый цвет лица Эномая, а его

всклокоченные волосы и взъерошенная каштанового цвета борода еще сильнее оттеняли красоту рыжих кос красавицы гречанки.

— Долго продолжалось совещание?— спросила Эвтибида, глядя доброжелательно и ласково на огромного германца, простертого у ее ног.

— Да, долго... к сожалению, чересчур долго,— ответил Эномай.— Уверяю тебя, мне так наскучили эти совещания! Я солдат, и, клянусь молниями Тора, не по душе мне эти собрания.

— Но ведь и Спартак тоже человек действия, и если к его храбрости прибавить осторожность, то это будет только способствовать торжеству нашего дела.

— Так-то оно так... я не отрицаю этого... но я предпочел бы идти прямо на Рим.

— Безумная мысль! Только когда у нас будет армия в двести тысяч, мы сможем сделать такую смелую попытку.

Оба умолкли. Эномай смотрел на гречанку с выражением такой преданности и нежности, на которую, казалось, не был способен этот неуклюжий человек с огромными руками и ногами. Эвтибида старалась выказать пылкие чувства, которые она, конечно, не могла испытывать, и притворно нежным взглядом смотрела на простодушного германца.

— И вы обсуждали серьезные и важные дела на сегодняшнем совещании? — как бы между прочим, рассеянно спросила гречанка.

— Да... серьезные и важные... так они говорят... Спартак, и Крикс, и Граник...

— Да, вы, наверное, говорили о планах предстоящих военных действий?..

— Не совсем так... но то, о чем мы совещались, почти непосредственно относится к этому. Мы обсуждали... ах да,— воскликнул он, сразу спохватившись,— мы ведь связали друг друга священной клятвой не разглашать того, что там обсуждалось. А я-то, даже сам того не замечая, чуть все не выболтал.

— Ведь не врагу же ты сообщаешь о своих планах... я надеюсь.

— О моя обожаемая Венера!.. Неужели ты могла подумать, что если я не рассказываю тебе о наших решениях, то только потому, что не доверяю тебе!

— Этого бы еще не хватало! — воскликнула возмущенная гречанка.— Клянусь Аполлоном Дельфийским, этого еще не хватало! Неужели после того, как я отдала делу угнетенных все мои богатства, принесла в жертву все преимущества жизни среди роскоши и из слабой девушки превратилась в борца за свободу, ты или кто-либо другой осмелится усомниться в моей преданности?

— Да избавит меня Один!.. Верь мне, что я не только боготворю твою красоту, но и высоко чту благородство и твердость твоего духа... Я настолько уважаю тебя, что, несмотря на данную клятву, я хочу сообщить тебе о...

— Нет, нет, ни за что! — сказала девушка, делая вид, что она еще больше рассержена.— Какое мне дело до ваших тайн? Я о них ничего не хочу знать...

— Ну вот, ты опять, по обыкновению, сердишься на меня... За что ты на меня обиделась?.. О моя обожаемая!..— смиренно произнес Эномай, и в его голосе чувствовались слезы.— Выслушай меня, прошу тебя... Знай, что...

— Замолчи, замолчи! Я не хочу, чтобы ты нарушил клятву и поставил под угрозу наше дело,— с иронией сказала гречанка.— Если бы ты верил мне... уважал меня... любил, как говоришь... если бы я была для тебя, как ты для меня, частью меня самой... ты понял бы, что твоя клятва обязывала тебя держать все, что говорили, в тайне от всех, но не от меня... если я, по твоим словам, душа твоей души и все помыслы твои обращены ко мне... Но ты не любишь меня любовью чистой, преданной, безграничной, делающей человека рабом любимого... ты любишь во мне только мою проклятую красоту, а любви искренней, глубокой у тебя нет... Я разочаровалась... это было только мечтой...

В голосе Эвтибиды слышались дрожь, волнение, слезы, и наконец девушка разразилась «безудержными» притворными рыданиями.

Впечатление, произведенное кокетством и всеми ухищрениями Эвтибиды, было как раз то, какого она и ожидала; за последние два месяца она не раз испытывала на Эномае силу своих чар.

Гигант был вне себя. Встревоженный, бормоча бессвязные слова, он бросился целовать ноги девушки, стал просить у нее прощения, клялся, что никогда ни в чем не мог подозревать ее; горячо и искренне уверял ее в том, что, с тех пор как он узнал ее, он любит и обожает ее как нечто для него священное, боготворит, как боготворят богов. И, так как гречанка продолжала сердиться, говоря, что она не желает знать никаких чужих секретов, германец стал заклинать ее всеми богами своей религии и начал горячо просить девушку выслушать его, уверяя, что теперь и впредь, какой бы клятвой он ни был связан, он всегда будет поверять ей все, так как она душа души его и жизнь его жизни.

И он вкратце рассказал девушке все, что обсуждали начальники гладиаторов. Он сообщил, что после высказанных соображений о необходимости иметь на своей стороне часть патрициев и римской молодежи, обремененной долгами, жаждущей пере-

мен и мятежно настроенной, было решено завтра же отправить надежного гонца к Катилине с просьбой принять командование над войском гладиаторов; выполнить это поручение взялся Рутилий.

Несмотря на то что германец поведал все тайны Эвтибиде, что и было целью всех ухищрений и уловок гречанки, она продолжала еще некоторое время хмуриться и притворяться недовольной, но вскоре повеселела и стала улыбаться Эномаю, который простерся на полу и, поставив маленькие ножки гречанки себе на голову, сказал:

— Вот, Эвтибида... разве я не раб твой?.. Топчи меня своими ножками... я повержен в прах... голова моя служит скамьей для ног твоих...

— Встань... встань, о мой возлюбленный Эномай,— произнесла гречанка, голос ее звучал тревожно и робко, между тем как лицо сияло от радости, а глаза мрачно блестели при виде колосса, распростертого у ее ног.— Встань, не твое это место. Встань... и иди сюда, ко мне... ближе, к моему сердцу.

С этими словами она схватила гладиатора за руку и нежно притянула к себе. Тот вскочил и, обняв девушку, поднял ее на руки и едва не задушил своими бешеными поцелуями.

Когда Эвтибида могла наконец произнести несколько слов, она сказала:

— Теперь оставь меня... я должна пойти к моим лошадям, каждый день я проверяю, задал ли им корму и позаботился ли о них Зенократ... Увидимся позже... когда все в лагере утихнет. Помни, никто не должен знать о нашей любви, никто... в особенности Спартак!

Германец послушно опустил ее на землю и, в последний раз крепко и горячо поцеловав, вышел первым и направился к своей палатке, расположенной недалеко от палатки Эвтибиды.

Через несколько минут вышла и гречанка. Она направилась в палатку, где рядом с ее лошадьми находились двое ее верных слуг, безгранично ей преданных. Она размышляла про себя:

«Да, да!.. Задумано недурно... недурно: призвать Катилину, чтобы он возглавил шестьдесят тысяч рабов!.. Это значило бы облагородить армию и самое восстание... За Катилиной пошли бы все самые знатные и отважные римские патриции... возможно, восстали бы и тибрские плебеи... и восстание рабов, которое неминуемо будет подавлено, превратилось бы в серьезную гражданскую войну, следствием которой явилось бы, по всей вероятности, полное изменение государственного строя... Нечего надеяться на то, что влияние Спартака поколеблется, если Катилина станет вождем: Катилина слишком умен, он поймет, что без

Спартака ему не справиться с этими дикими толпами гладиаторов... О нет, нет, это в мои планы не входит... и доблестный и добродетельный Спартак ничего этим не добьется!»

Так размышляя, Эвтибида дошла до палатки своих верных слуг; там, отозвав Зенократа в сторону, она вполголоса по-гречески долго и оживленно разговаривала с ним.

Ранним утром следующего дня тот, кто находился бы на консульской дороге Гнатии, которая ведет от Брундизия к Беневенту, увидел бы стройного и сильного юношу в обыкновенной тунике из простой и грубой шерсти; на его плечи была накинута широкая темная пенула, на голове надета меховая шапка. Юноша ехал верхом на гнедом апулийском коне, который шел рысью по дороге от Гнатии в сторону Бария. И если бы кто-нибудь встретился с ним и обратил внимание на открытое смуглое лицо юноши, на его довольный, спокойный и непринужденный вид, то по одежде и внешности принял бы его за местного зажиточного земледельца, направляющегося по своим делам на рынок в Барий.

Три часа спустя путник прибыл на почтовую станцию, расположенную примерно на полпути между Гнатией и Барием; там он остановился, чтобы дать передышку своему коню и немного подкрепиться самому.

— Привет тебе, друг мой,— обратился он к слуге хозяина станции, пришедшему принять его коня.

Юноша соскочил с лошади и добавил, обращаясь к толстому краснощекому мужчине, появившемуся в этот момент на пороге дома:

— Да покровительствуют боги тебе и твоему семейству!

— Да хранит тебя Меркурий во время твоего путешествия! Ты желаешь отдохнуть и подкрепиться после долгого пути? Судя по усталости твоего благородного красавца апулийца, ты издалека.

— Он уже шесть часов в пути,— ответил путешественник и тут же добавил: — Тебе нравится мой апулиец? Не правда ли, хороший конь?

— Клянусь крыльями божественного Пегаса, такого красавца не часто увидишь!

— Эх, бедняга! Кто знает, каким он будет через месяц! — произнес со вздохом путешественник, входя в дом хозяина станции.

— Почему же? — спросил тот, следуя за своим гостем.

Он тотчас же предложил путешественнику сесть на скамью за один из трех столиков, стоявших вдоль стен зала.

— Не желаешь ли чего-нибудь поесть? — предложил хозяин станции.— А почему это бедное животное... Не хочешь ли ты

старого формианского, оно может поспорить своим изысканным вкусом с нектаром Юпитера... А почему твой конь через месяц будет в таком плохом состоянии?.. Не желаешь ли жареной баранины?.. Барашек нежный и сладкий, как молоко, которым его кормила мать. Могу тебе предложить также вкусного масла... свежего сыра, со слезой, похожей на росу на нежной траве, где паслись коровы, из молока которых он приготовлен... А этот бедный конь, о котором ты только что говорил...

Путешественник поднял голову и посмотрел с легкой насмешкой на толстого и краснощекого хозяина станции, суетившегося, хлопотавшего и болтавшего без умолку, не поспевая даже взглянуть на своего гостя. Болтовня хозяина была прервана приездом нового гостя, соскочившего в этот момент с сильного и горячего коня, у которого раздувались ноздри, пена покрыла удила, а бока вздымались от частого, прерывистого дыхания: вероятно, коню пришлось пробежать немалое расстояние.

Новый гость был человек высокий и плотный, с сильно развитыми мускулами, у него было смышленое загорелое безбородое лицо; по одежде его можно было принять за раба или отпущенника, служившего в какой-нибудь богатой родовитой семье.

— Да сопутствуют тебе боги! — произнес хозяин, обращаясь к входившему путешественнику.— Да ниспошлют они силы твоему крепкому коню; он, по-видимому, очень сильный, но если ты заставишь его бежать так и дальше, то он долго не протянет. Издалека ли едешь?.. Не желаешь ли присесть и подкрепиться? Не угодно ли тебе отведать жареного барашка? Барашек такой нежный, как травка, на которой паслась его мать... Путь твой был такой длинный и ты так мчался... ты, видно, едешь издалека... Могу предложить тебе старого формианского, его не превзойдет нектар, который подается на трапезе самого Юпитера. Что может быть лучше чаши крепкого вина после такого долгого пути, а ты ведь проехал много миль, не правда ли? Потом я дам тебе чудесного масла и сыру... А запах-то у него какой!.. Да садись же, ты, вероятно, очень устал...

— От твоей болтовни!.. Да, признаюсь, она мне надоела, клянусь Сатурном! — в нетерпении резко ответил новый путник.

— Было бы гораздо лучше, если бы ты, вместо того чтобы набивать наш желудок твоими дурацкими вопросами и восхвалениями яств, которыми собираешься нас потчевать, подал сразу к столу этого жареного барашка, масло, сыр, вино...— сказал путешественник, прибывший первым, и, обращаясь к вновь приехавшему, спросил его: — Не правда ли?

— Привет тебе,— произнес раб или отпущенник; приветствуя апулийца, он с уважением поднес руки к губам.— Конечно.

С этими словами он сел за средний из трех столов, в то время как хозяин почтовой станции, закончив приготовления, сказал:

— Сейчас подам!.. И через минуту вы сами сможете судить, был ли я прав, расхваливая свои кушанья.

И он ушел.

— Хвала Юпитеру всеблагому, великому освободителю,— сказал апулиец,— за то, что он избавил нас от глупой болтовни этой плакальщицы.

— Скучнейший человек! — ответил отпущенник.

И разговор двух путешественников на этом прекратился.

В то время как отпущенник, казалось, был погружен в свои мысли, апулиец разглядывал его проницательными глазами, играя ножом, лежавшим на столе.

Вернулся хозяин и принес каждому на небольшом блюде обещанного жареного барашка, и оба путешественника стали есть с большим аппетитом. Тем временем хозяин поставил перед каждым сосуд с пресловутым формианским, и хотя его и не нашли достойным трапезы Юпитера, но все же признали недурным, чтобы как-нибудь оправдать преувеличенные похвалы красноречивого хозяина.

— Итак,— сказал апулиец после недолгого молчания, когда он покончил с жарким,— я вижу, что тебе нравится моя лошадь, не так ли?

— Клянусь Геркулесом, нравится ли мне она?.. Конечно, нравится... Настоящий апулиец... стройный, горячий... с слегка приподнятыми боками... а ноги у него тонкие, нервные; шея такого изящного изгиба... Он обладает всеми достоинствами этой породы. Я больше двадцати лет состою хозяином этой почтовой станции и, согласитесь сами, должен кое-что понимать в лошадях, и я знаю в них толк; кроме того, я сам родом из Апулии, мне досконально известны все преимущества и все недостатки наших лошадей. Представьте себе...

— Дашь ты мне,— спросил, потеряв терпение, апулиец,— в обмен на мою одну из твоих двадцати лошадей?

— Из сорока, гражданин, из сорока, потому что моя станция первого, а не последнего разряда, знаешь...

— Ну, так даешь мне одну из твоих сорока, из ста, из тысячи, которые стоят у тебя на конюшнях? — раздраженно крикнул апулиец.— Да пошлет тебе Эскулапий нарыв на язык!

— Э... вот... скажу я тебе, поменяешь лошадь, которую хорошо знаешь... на другую... хотя и красивую... она как будто и молодая... да, но я-то ее не знаю...— ответил с плохо скрытым смущением, почесывая за ухом, хозяин станции, не обращая внимания на ругательства апулийца.— Меня это не очень-то прель-

щает... потому что, должен тебе сказать, лет пять назад со мной приключился как раз такой случай...

— Я вовсе не желаю уступать тебе лошадь, не променяю я ее на самую лучшую из твоих: я хочу оставить ее у тебя в залог... Ты дашь мне одну из своих, чтобы доехать до ближайшей станции: там я оставлю твою, и возьму другую, и так далее, пока не доеду до...

Тут апулиец остановился и бросил недоверчивый взгляд не на болтливого хозяина почты, а на молчаливого и почтительного отпущенника или раба. Затем закончил свою речь:

— Пока не доеду, куда мне надо... Когда я поеду обратно, я проделаю то же самое и, приехав к тебе, заберу своего Аякса; моего гнедого зовут Аяксом.

— Ну, уж о нем ты не беспокойся. Ты его найдешь упитанным, сильным; я знаю, как надо ухаживать за лошадьми... Ты не сомневайся. Но, вот видишь, я сразу догадался, что ты спешишь и что ехать тебе далеко... Наверное, в Беневент?

— Может быть,— улыбаясь, ответил апулиец.

— Или, может быть, даже в Капую?

— Может быть.

— Кто знает, может быть, тебе надо ехать даже и в Рим?

— Может быть.

Оба замолчали.

Апулиец, оказывавший честь маслу и сыру, принесенным хозяином, продолжал улыбаться, глядя на добродушного болтуна, который был разочарован и недоволен, потому что остался в дураках от всех этих «может быть», ничуть не удовлетворявших его любопытство.

— Ну, что же ты молчишь? — спросил путешественник.— Может быть, я еду в Корфиний, Аскул, Камерин, в Сену галльских сенонов, в Равенну?.. А отчего бы мне не поехать также в Фалерии, Сполетий, Хиос, Кортону, Арретий, Флоренцию? В страну галльских боийев или к лигурийцам? Почему бы мне не...

— Да сопутствует тебе великий Юпитер! Не смеешься ли ты надо мной? — спросил сконфуженный хозяин станции.

— Я пошутил,— ответил апулиец, добродушно улыбаясь и подавая хозяину чашу, наполненную формианским вином.— Выпей из чаши дружбы, не обижайся на меня, когда я шучу и разжигаю твое любопытство. Ты, по всей видимости, человек хороший... только болтун и излишне любопытен...

— Но не ради дурного,— ответил добродушный хозяин,— и, клянусь всеми богами неба и преисподней, человек я благочестивый и честный, а если я лгу, пусть погибнут от чумы моя жена и дети!

— Да ты не накликай бедствий, я тебе верю. Пей!

— Желаю тебе счастливого путешествия и благополучия,— сказал хозяин станции и, отпив из чаши два-три глотка формианского, передал ее затем апулийцу.

Апулиец чаши не взял, сказав:

— Передай ее теперь другому гостю и выпей сначала за его здоровье.

И, обратившись к отпущеннику, апулиец добавил:

— Ты, кажется, отпущенник?

— Да, я вольноотпущенный,— почтительно ответил этот могучего сложения человек,— я из рода Манлия Империозы...

— Знаменитый и древний род,— заметил хозяин станции.— Один из предков, Марк Манлий Вулсон, был консулом в двести восьмидесятом году римской эры, а другой...

— Я еду в Рим известить Тита Манлия об убытках, причиненных его вилле близ Брундизия мятежными гладиаторами, явившимися в наши края.

— А, гладиаторы! — вполголоса произнес хозяин станции, невольно вздрогнув.— Не говорите о них, во имя Юпитера Статора! Я вспоминаю, какой страх я испытал два месяца назад, когда они проходили здесь, направляясь в Брундизий...

— Да будут прокляты они и их презренный вождь! — с жаром воскликнул апулиец, сильно стукнув по столу кулаком.

Затем он спросил у хозяина станции:

— Они причинили тебе большой ущерб?

— По правде говоря, нет... надо сказать правду... они с уважением отнеслись ко мне и к моей семье... взяли у меня сорок лошадей... но заплатили за них золотом... Они, правда, не дали того, что стоили лошади... но ведь... могло быть и хуже...

— В конце концов,— сказал отпущенник, прерывая хозяина станции,— они могли увести лошадей, не дав тебе ни гроша.

— Конечно! Надо признаться, что эта война, ставшая такой ужасной, унизительна для римлян,— сказал хозяин станции все так же испуганно и вполголоса.— О, видели бы вы их, когда они здесь проходили!.. Неисчислимое войско... Конца не было видно. А в каком порядке шли легионы!.. Если бы не было кощунством сравнивать наших славных солдат с этими разбойниками, я бы сказал, что их легионы ничем не отличались от наших...

— Говори без обиняков,— прервал его отпущенник,— пусть это будет даже позорным, но надо быть справедливым: Спартак великий полководец,— из шестидесяти тысяч рабов и гладиаторов он сумел создать войско в шестьдесят тысяч храбрых и дисциплинированных солдат.

— Клянусь римскими богами Согласия! — с негодованием

воскликнул удивленный апулиец, обращаясь к вольноотпущеннику.— Как! Низкий гладиатор опустошил виллу твоего хозяина и благодетеля, а ты, негодный, осмеливаешься защищать этого гладиатора и превозносить его добродетели?

— Во имя великого Юпитера, не думай так! — почтительно и смиренно возразил вольноотпущенник.— Я этого не говорил!.. Но я должен сказать тебе, что гладиаторские легионы вовсе не разорили виллу моего господина...

— Почему же ты только что рассказывал, что едешь в Рим сообщить Титу Манлию Империозе, владельцу виллы, об ущербе, понесенном им из-за появления в этих местах гладиаторов?

— Но ущерб, о котором я упомянул, гладиаторы нанесли не самой вилле и не землям моего господина... Речь идет о пятидесяти четырех рабах из шестидесяти, обслуживающих виллу: все они были освобождены гладиаторами, которые предоставили им право решать, желают ли они следовать за мятежниками и бороться под их знаменами. И из шестидесяти только шестеро остались на вилле — это были старики и инвалиды; а все остальные ушли в лагерь Спартака. Ну что ты теперь скажешь? Разве это малый ущерб? Кто будет теперь работать, кто будет пахать, сеять, подрезать виноградники, собирать урожай в поместьях моего хозяина?

— К Эребу Спартака и гладиаторов! — гордо и презрительно произнес апулиец.— Выпьем за то, чтобы их уничтожили, и за наше процветание!

И, после того как хозяин станции снова выпил за здоровье вольноотпущенника, последний выпил за благополучие своих собеседников и передал чашу апулийцу, который в свою очередь выпил за благополучие хозяина и вольноотпущенника.

Затем апулиец, уплатив по счету, поднялся, собираясь отправиться в конюшни и выбрать там лошадь.

— Подожди минуточку, уважаемый гражданин,— сказал хозяин станции.— Я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил, что добропорядочный человек побывал на станции у Азеллиона и не получил от него гостевой таблички.

И он вышел из комнаты, где остались апулиец и отпущенник.

— Видно, он действительно человек порядочный,— заметил отпущенник.

— Конечно,— ответил апулиец.

Он стал в дверях, расставив ноги и заложив за спину руки, и запел излюбленную пастухами и крестьянами Самния, Кампаньи и Апулии песенку в честь бога Пана.

Вскоре вернулся хозяин почтовой станции и принес деревянную табличку, на которой стояло его имя — Азеллион. Он раз-

делил ее пополам и одну половинку, на которой был написано: «лион», отдал апулийцу.

— Эта половинка таблички поможет тебе: предъявляй ее хозяевам других почтовых станций, и они будут оказывать тебе всевозможные услуги, дадут тебе лучших лошадей и прочее, как это всегда бывало со всеми, у кого была такая половинка моей гостевой таблички. Я помню, как семь лет назад здесь проезжал Корнелий Хрисогон, отпущенник знаменитого Суллы...

— От всей души благодарю тебя,— сказал апулиец, прерывая Азеллиона,— за твою любезность, и будь уверен, что, несмотря на твою беспрерывную болтовню, Порций Мутилий, гражданин Гнатии, не забудет твоей доброты и сохранит к тебе чувство искренней дружбы.

— Порций Мутилий!..— повторил Азеллион.— Хорошо... Чтобы не забыть твоего имени, я запишу его в дневник моих воспоминаний, написанный на папирусе... ведь здесь ежедневно проезжает столько народу... столько разных имен, столько дел... нетрудно и...

Он ушел, но вскоре снова вернулся, чтобы проводить в конюшни Порция Мутилия, который должен был там выбрать лошадь.

В эту минуту прибыл еще один путешественник. По его одежде видно было, что он чей-то слуга; он сам отвел свою лошадь на конюшню, где в это время находился Порций Мутилий, наблюдавший за тем, как конюх седлал выбранного им коня. Только что прибывший слуга обратился с обычным приветствием «привет тебе» к Порцию и Азеллиону и сам поставил своего коня у одного из отделений мраморных яслей, расположенных вдоль стены конюшни, снял с него уздечку и сбрую и положил перед ним мешок с овсом.

В то время как слуга был занят всеми этими хлопотами, в конюшне появился отпущенник Манлия Империозы; он пришел посмотреть свою лошадь, стал ласкать ее и незаметно для Порция Мутилия и Азеллиона обменялся быстрым взглядом с вновь прибывшим слугой.

Последний, закончив уход за своей лошадью, направился к выходу, но, проходя мимо отпущенника, сделал вид, будто только что заметил и узнал его, и воскликнул:

— Клянусь Кастором,— Лафрений!..

— Кто это? — спросил тот, быстро обернувшись.— Кребрик?.. Какими судьбами?.. Откуда едешь?

— А ты куда?.. Я еду из Рима в Брундизий.

— А я из Брундизия в Рим.

Эта встреча и восклицания привлекли внимание Порция Мутилия, и он стал незаметно наблюдать за слугой и отпущен-

ником. Однако те заметили, что Мутилий украдкой поглядывает на них и прислушивается к их разговорам. Они стали говорить вполголоса и вскоре разошлись, пожав друг другу руку и что-то шепнув один другому, но недостаточно тихо, так что Порций, сделав вид, будто собирается уходить, приблизился к ним, как бы не обращая на них никакого внимания, и услышал следующее:

— У колодца!

Слуга вышел из конюшни, а отпущенник продолжал ласкать свою лошадь. Вышел и Порций, тихонько напевая песенку гладиаторов:

Этот кот, весьма ученый,
Хитрый, жизнью умудренный ..
Мигом мышь поймал за хвост.

Вольноотпущенник Лафрений тоже напевал какую-то песенку, но на греческом языке. Как только Порций Мутилий вышел из конюшни, он сказал Азеллиону:

— Подожди меня здесь минутку... я скоро вернусь.

И, обойдя дом хозяина станции, он очутился во дворе. Там действительно оказался колодец, из которого брали воду для поливки огорода; за круглой его стеной спрятался Порций, как раз с той стороны, которая выходила на огород.

Он не пробыл там и трех минут, как вдруг услышал шаги человека, приближавшегося с правой стороны дома; почти одновременно кто-то подошел и с левой стороны.

— Итак? — спросил Лафрений. (Порций сразу узнал его голос.)

— Мне стало известно, что мой брат Марбик,— быстро и тихо проговорил другой (Порций догадался, что говорил слуга),— ушел в лагерь наших братьев; я убежал от своего хозяина и направляюсь туда же.

— А я,— тихо сказал Лафрений,— под предлогом, что еду в Рим сообщить Титу Империозе о бегстве его рабов, на самом деле еду за своим любимым сыном Гнацием: я не хочу оставлять его в руках угнетателей; а потом вместе с ним я также отправлюсь в лагерь нашего доблестного вождя.

— Будь осторожен, нас могут заметить: этот апулиец посматривал на нас так подозрительно...

— Да, я боюсь, что он за нами наблюдает... Привет, желаю тебе счастья!

— Постоянство!

— И победа!

Порций Мутилий услышал, как слуга и отпущенник быстро удалились.

Тогда он вышел из своего укрытия и удивленно огляделся

вокруг. Ему показалось, что это был сон; он сам себя спросил, была ли это та великая тайна, которую он собирался раскрыть, были ли это враги, которых он хотел захватить врасплох. И, думая о происшедшем, он покачивал головой и улыбался. Затем он снова стал прощаться с Азеллионом. Хозяин без конца кланялся Порцию, желая ему счастливого пути и скорого возвращения, и обещал к тому времени приготовить великолепное массикское вино, которое затмит нектар Юпитера. Когда же Порций вскочил на коня и, пришпорив его, поскакал, направляясь к Барию, Азеллион пробежал за ним десять — двенадцать шагов и все кричал:

— Доброго пути! Пусть боги сопутствуют вам и хранят вас!.. Ах, как чудесно он скачет!.. Как великолепно он выглядит на моем Артаксеркce!.. Отличный конь мой Артаксеркс!.. Прощай, прощай, Порций Мутилий!.. Что и говорить, я полюбил его... и мне жаль, что он уезжает...

В эту минуту он потерял из виду своего гостя, исчезнувшего за поворотом дороги недалеко от станции.

Опечаленный Азеллион отправился домой, рассуждая про себя:

«Бесполезно... таков уж я... чересчур добрый».

И он тыльной стороной руки отер слезу, катившуюся по щеке.

А Порций Мутилий, в котором читатели, конечно, уже узнали свободнорожденного начальника легиона Рутилия, посланного в Рим гонцом от Спартака к Катилине, все время ехал рысью, размышляя о странном происшествии, и спустя час после наступления сумерек добрался до Бария, но даже не заехал туда, а остановился в трактире на дороге в Гнатию. Там он велел отвести на конюшню Артаксеркса, который действительно оказался резвым и сильным конем, а затем нашел для себя постель, чтобы отдохнуть до рассвета.

На следующий день, еще до восхода солнца, Рутилий уже мчался по дороге в Гнатию, которая вела к Бутунту; на эту станцию он прибыл после полудня, поменял Артаксеркса на вороную кобылу с кличкой Аганиппа и, немного подкрепившись, поскакал в Канузий.

Под вечер на полпути между Бутунтом и Канузием Рутилий заметил на дороге столб пыли; очевидно, впереди ехал какой-нибудь всадник. Осторожный и предусмотрительный Рутилий пришпорил свою Аганиппу и вскоре догнал всадника. Это был не кто иной, как вольноотпущенник Лафрений, которого Рутилий встретил на станции Азеллиона, близ Бария.

— Привет! — произнес отпущенник, даже не повернув головы, чтобы посмотреть, кто его обгоняет.

— Привет тебе, Лафрений Империоза! — ответил Рутилий.

— Кто это?— с удивлением спросил тот, быстро обернувшись.

Узнав Рутилия, он произнес, облегченно вздохнув:

— А, это ты, уважаемый гражданин!.. Да сопутствуют тебе боги!

Благородный и великодушный Рутилий был растроган, узнав бедного отпущенника, ехавшего в Рим, чтобы похитить своего сына и затем отправиться вместе с ним в лагерь гладиаторов. Он молча смотрел на него. Ему захотелось подшутить над отпущенником, и он сказал ему строгим голосом:

— Так ты едешь в Рим, чтобы украсть своего сына из дома твоих хозяев и благодетелей, а потом убежишь вместе с ним в лагерь низкого и подлого Спартака!

— Я? Что ты говоришь!..— пробормотал Лафрений в смущении; лицо его страшно побледнело, или это только показалось Рутилию.

— Я все слышал вчера, потому что стоял позади колодца на станции Азеллиона. Мне все известно, коварный и неблагодарный слуга!.. В первом же городе, как только мы приедем, я прикажу арестовать тебя, и ты должен будешь перед претором, под пыткой признаться в измене.

Лафрений остановил коня; Рутилий также.

— Я ни в чем не сознаюсь,— произнес мрачно и угрожающе вольноотпущенник Империоза,— потому что я не боюсь смерти.

— Не побоишься даже распятия на кресте?

— Даже распятия... потому что знаю, как освободиться от этого.

— А как? — спросил, будто бы удивившись, Рутилий.

— Убью такого доносчика, как ты! — воскликнул разъяренный Лафрений; вытащив короткую, но увесистую железную палицу, спрятанную под чепраком лошади, он пришпорил своего коня и бросился на Рутилия. Тот громко расхохотался и крикнул:

— Остановись, брат!.. Постоянство и...

Лафрений левой рукой остановил лошадь, а правую, которой он сжимал палицу, поднял вверх и удивленно произнес:

— О!..

— ...и?..— спросил Рутилий, ожидая в ответ от Лафрения второй части пароля.

— ...и победа! — пробормотал тот, еще не вполне придя в себя от изумления.

Тогда Рутилий протянул ему руку и три раза нажал указательным пальцем на ладонь левой руки отпущенника и этим окончательно успокоил его. Сам он теперь был уверен в своем

собеседнике и спутнике и не колеблясь признал в нем товарища, также состоявшего в Союзе угнетенных.

Стемнело. Всадники обнялись и поехали рядом, рассказывая друг другу о своих невзгодах.

— Ты действительно можешь удивляться, как это я, свободнорожденный, продался ланисте в гладиаторы. Знай же, я родился и вырос в богатстве, но как только надел претексту, тотчас же погряз в кутежах и расточительстве. А тем временем мой отец проиграл в кости почти все свое состояние. Мне было двадцать два года, когда он умер. Долги полностью поглотили все, что он оставил; моя мать и я впали в крайнюю нищету. Меня нужда не испугала, я был молод, силен и отважен, но моя бедная мать... Я собрал двенадцать или пятнадцать тысяч сестерциев — все, что осталось от нашего прежнего благосостояния,— присоединил сюда то, что выручил, продав себя ланисте, и таким образом обеспечил мою бедную родительницу до глубокой старости... Только во имя этого я продал свою свободу, которую теперь, через восемь лет, испытав бесчисленные страдания и опасности, теперь, когда умерла моя мать, получил возможность обрести снова.

Рутилий закончил свой рассказ дрожащим голосом, несколько слезинок скатилось по щекам, побледневшим от волнения.

Мрак сгущался. Братья ехали теперь по крутой дороге, по обе стороны которой тянулся лес; широкие рвы отделяли его от дороги.

Оба всадника продолжали молча путь еще с четверть часа, как вдруг лошадь Лафрения Империозы, то ли испугавшись тени дерева, отбрасываемой на дорогу, то ли по какой-то другой неизвестной причине, вздыбилась, сделала два-три безумных прыжка и свалилась в ров, тянувшийся вдоль обочины по левой стороне дороги, которая вела из Бутунта в Канузий.

Услышав крик Лафрения, звавшего на помощь, Рутилий сразу остановил своего коня, спешился, привязал его за повод к кустарнику и, спрыгнув в ров, хотел помочь новому другу.

Но не успел он сообразить, в чем дело, как вдруг почувствовал сильнейший удар в спину. От этого удара Рутилий свалился и, в то время как он пытался осмыслить, что происходит, получил второй удар, в плечо.

Рутилий понял, что попал в ловушку, расставленную ловко и хитро; он выхватил из-под туники кинжал, но в это время Лафрений молча нанес ему третий удар, в голову. Рутилию удалось приподняться. и он с криком бросился на своего убийцу, поражая его в грудь.

— Презренный, мерзкий предатель!.. Ты не посмел открыто напасть на меня!

Но тут Рутилий понял, что у убийцы под туникой был панцирь.

Произошла короткая отчаянная схватка между раненым и почти умирающим Рутилием и Лафрением, сильным и невредимым, который, казалось, растерялся, пораженный мужеством и душевным благородством своего противника. Слышны были только стоны, ругательства, глухие проклятия.

Вскоре послышался шум падающего тела и слабый голос Рутилия:

— О подлое предательство!..

Потом все затихло.

Лафрений наклонился над упавшим и прислушался, желая убедиться в том, что тот больше не дышит. Затем он поднялся и, вскарабкавшись на дорогу, стал что-то шептать, направляясь к лошади Рутилия.

— Клянусь Геркулесом,— вдруг воскликнул убийца, почувствовав, что теряет сознание,— я вижу... Что же это со мной?..

И он зашатался.

— Мне больно, вот здесь...— простонал он слабеющим голосом и поднес правую руку к шее, но тотчас отнял ее. Рука была в крови.

— О, клянусь богами, он поразил меня... как раз сюда... в единственное... незащищенное место.

Он зашатался и рухнул в лужу крови, которая била ключом из сонной артерии.

Здесь, на этой пустынной дороге, среди ночной тишины, тщетно пытаясь приподняться и призывая на помощь, умер в жестоких муках ужасной агонии человек, назвавшийся Лафрением Империозой, а в действительности бывший лишь рабом и низким орудием мести гречанки Эвтибиды. В нескольких шагах от него, во рву, лежал труп бедного Рутилия, погибшего от руки подлого убийцы, который нанес ему восемь ран.

Глава семнадцатая

АРТОРИКС — СТРАНСТВУЮЩИЙ ФОКУСНИК

Четырнадцатый день перед январскими календами 682 года со времени основания Рима (19 декабря 681 года) был днем шумного праздника и веселья у потомков Квирина. Веселые, ликующие толпы людей двигались по дорогам, заполняли Форум, храмы, базилики, главные улицы, винные лавки, таверны, харчевни и кабаки, предаваясь самому безудержному, бесшабашному разгулу.

В этот день начинались сатурналии, которые длились три дня. То был праздник в честь бога Сатурна, и по древнему обычаю, восходившему, по мнению одних, ко временам Януса, царя аборигенов, то есть существовавшему задолго до основания Рима, а по мнению других, ко временам пеласгов, спутников Геркулеса, или же, как думали иные, ко временам царя Туллия Гостилия[1], учредившего эти празднества после счастливого окончания войны с альбанцами и сабинянами, во время сатурналий рабам предоставлялось некоторое подобие свободы.

Смешавшись со свободными гражданами, с сенаторами, всадниками, плебеями обоего пола и разного возраста, они совершенно открыто сидели с ними вместе за столом и все эти три дня веселились как умели.

Надо, однако, признать более достоверным, что сатурналии ведут свое начало с незапамятных времен, но самый порядок их празднования был установлен двумя консулами — Авлом Семпронием Атратином и Марком Минуцием Авгурионом, которые воздвигали на улице, ведущей от Форума к Капитолию, у подножия Капитолийского холма, храм Сатурну; это было в 257 году от основания Рима, или в 13 году после изгнания царей.

По всей вероятности, именно к этой эпохе следует отнести первое регулярное празднование сатурналий, во время которых жрецы совершали жертвоприношения с непокрытой головой, тогда как жертвоприношения другим богам жрецы производили в жреческих головных уборах.

Празднества, посвященные Сатурну как богу земледелия, вначале были сельскими и пастушескими; свобода же, предоставлявшаяся рабам во время трехдневных оргий, давалась им в память о «золотом веке» Сатурна — о тех счастливых временах, когда, по преданию, не существовало рабства и все люди были свободны и равны друг другу.

Пусть читатель представит себе огромный город Рим, стены которого в те далекие времена имели свыше восьми миль в окружности и двадцать три входа с воротами; город, украшенный величественными храмами, грандиозными дворцами, изящными портиками, пышными базиликами. Представьте себе эту столицу, число жителей которой по последней переписи, сделанной за одиннадцать лет до восстания гладиаторов, во время третьего консульства Луция Корнелия Цинны и первого консульства Папирия Карбона, доходило до четырехсот шестидесяти трех тысяч человек, где жило, кроме того, не менее двух миллионов рабов; представьте себе этот город с несметным его населением, к

---

[1] Туллий Гостилий (672—540 гг. до н. э.) — третий римский царь.

которому надо добавить жителей окрестных деревень, окруженных плодородными полями, а также обитателей соседних городов, тысячами стекавшихся на празднование сатурналий; представьте себе эти три миллиона людей, празднично настроенных, которые сновали по улицам и как одержимые вопили: «Io, bona Saturnalia! Io, bona Saturnalia!» («Да здравствуют веселые сатурналии!») Но, даже вообразив все это, читатель получит очень бледное представление о том необычайном, величественном и внушительном зрелище, которое открылось перед глазами бродячего фокусника, попавшего в Рим 19 декабря 681 года.

Фокусника сопровождала собака; за спиной он нес маленькую лесенку, несколько свернутых веревок и железные обручи разной величины, а на левом плече у него сидела маленькая обезьянка. В таком виде он вступил в Рим через Эсквилинские ворота, выходившие на консульскую Пренестинскую дорогу.

Фокусник был красивый белокурый юноша, статный, гибкий и ловкий, с худощавым бледным лицом, которое озаряли умные голубые глаза; словом, он обладал привлекательной и располагающей к себе наружностью. На нем была меховая пенула, наброшенная на короткую тунику из грубой серой шерсти, а на голове — войлочная шляпа.

Этим фокусником был Арторикс.

Когда он вошел в город, улицы, примыкающие к воротам, были безлюдны, пустынны и тихи. Но даже до этой отдаленной окраины Рима доносился какой-то смутный гул, словно жужжал пчелиный рой в огромном улье: то был отголосок бесшабашного веселья, царившего в центре великого города. Арторикс углубился в лабиринт извилистых улиц Эсквилина; далекий шум становился все явственнее и отчетливее, а как только юноша попал в первые переулки Субуры, до него долетел многоголосый крик:

— Io, bona Saturnalia! Io, bona Saturnalia!

Когда же он очутился на улице Карин, перед ним оказалась толпа людей, самых разнообразных по своему облику и положению. Впереди шли певцы и кифаристы, они плясали как одержимые, распевая во все горло гимн в честь Сатурна. Пели и танцевали также и в толпе.

Арторикс, знакомый с римским укладом, вскоре начал различать в этой разношерстной толпе отдельных представителей смешавшихся между собою сословий: рядом с ангустиклавиями всадников он видел серые туники; матрона в белоснежной столе шла рядом с бедным рабом в красной одежде.

Фокусник отступил в сторону и прижался к стене, чтобы пропустить это беспорядочное шествие, которое двигалось с неистовыми криками. Он всячески силился не привлекать к себе вни-

мание, спрятать обезьянку, лестницу и обручи, выдававшие его профессию; у него не было ни малейшего желания показывать свое искусство этим бесноватым и прерывать свой путь.

Желание его, однако, не сбылось: его заметили из толпы и сразу признали в нем фокусника. Послышались громкие требования, чтобы шедшие впереди задержались; остановились и сами кричавшие, заставив таким образом остановиться тех, кто шел позади.

— Io, circulator! Io, circulator! (Да здравствует фокусник!) — кричали зеваки и весело хлопали в ладоши.

— Да здравствует, да здравствует фокусник! — закричали все хором.

— Покажи свои фокусы! — вопил один.

— Почти Сатурна! — кричал другой.

— А ну, посмотрим, что умеет делать твоя обезьянка! — восклицал третий.

— Пускай попрыгает собака!

— Нет, обезьянку, обезьянку!

— Собаку!.. Собаку!

— Шире, шире круг!

— Освободите для него место!

— Становитесь в круг!

— Расступитесь! Расступитесь!

Кругом кричали, требовали, чтобы все расступились и освободили место для фокусника; началась толкотня, давка, каждому хотелось пробраться вперед. Арторикса совсем прижали к стене, так что он не мог не только начать представление, но и сделать хотя бы шаг.

Те, что стояли поближе, принялись уговаривать, улещать фокусника, упрашивать его позабавить всех своими фокусами.

— Не бойся, бедняжка!

— Ты хорошо заработаешь!

— Набросаем тебе полную шапку терунций!

— Угостим тебя самым лучшим массикским!

— Какая славненькая обезьянка!

— А пес! Какой чудесный эпирский пес!

Одни ласкали собаку, другие — обезьянку; кто щупал лесенку, кто трогал веревки и железные обручи, высказывая самые невероятные догадки и предположения. Арториксу наконец надоел весь этот шум и толкотня, и он сказал:

— Хорошо, хорошо, я дам для вас представление! Я и мои артисты постараемся достойно почтить Сатурна, а вам доставить удовольствие. Но для этого, уважаемые квириты, дайте мне место.

— Правильно!

— Он верно говорит!
— Правильно, правильно!
— Сделаем пошире круг!
— Отойдите назад!
— Отступите!

Но все только кричали, и никто не двигался.

Вдруг кто-то громко крикнул:

— Пусть он идет вместе с нами в Каринскую курию!..

— Да, да, в Каринскую курию! — раздалось сначала десять, потом двадцать, потом сто голосов.

— В Каринскую курию! В Каринскую курию!

Но хотя все выражали горячее желание направиться в курию, никто не двигался с места, пока наконец зрители, стоявшие рядом с фокусником, работая локтями, не повернули вспять, в ту сторону, где была курия, а вслед за ними повалила и вся остальная толпа.

Таким образом, те, что находились в хвосте, теперь оказались во главе колонны, а музыканты и певцы, которые раньше шли впереди, очутились позади всех; это обстоятельство ничуть не помешало им петь и играть гимн в честь Сатурна, а тысячеголосый хор подхватывал припев каждой строфы:

— Io, bona Saturnalia!

Толпа все возрастала, в нее вливались все встречавшиеся по дороге; вскоре шествие достигло открытого места, где возвышалось здание третьей из тридцати курий, на которые делился город,— курии Карин, и толпа растеклась во все стороны площади, словно бурный поток. Она доставила немалое беспокойство тем, кто пришел сюда раньше и уже сидел за столами в наскоро сооруженных триклиниях: там люди всецело были заняты поглощением всевозможных яств и выпивкой, без конца шутили, неистово кричали и хохотали над разными забавными сценками.

Сначала на площади возник беспорядок, слышался смутный гул проклятий, угрозы и брань; но среди этих пререканий раздавались и примиряющие возгласы, увещания, призывы к спокойствию. Наконец распространился слух, что здесь, на площади, какой-то фокусник собирается дать представление. Все обрадовались, вновь началась давка, зрители проталкивались в первый ряд круга, образовавшегося на середине площади. Любопытные становились на цыпочки, взбирались на скамьи, на столы, на ступеньки, влезали на железные решетки, защищавшие окна в нижних этажах соседних домов. Вскоре наступила полная тишина, все замерли в напряженном ожидании, устремив глаза на Арторикса, который уже готовился к представлению.

Фокусник постоял несколько минут в раздумье, разложив на

земле различные предметы своего реквизита, потом подошел к одному из зрителей и, дав ему шарик из слоновой кости, сказал:

— Пусти его вкруговую.

Затем он дал еще один шарик подвыпившему рабу, который стоял в первом ряду круга; лицо раба раскраснелось и расплылось в улыбке, у него был вид счастливого человека, ожидающего еще больших радостей. Фокусник сказал ему:

— Пусти шарик по рукам.

Потом молодой галл вышел на середину освобожденного для него пространства и кликнул свою собаку; большой эпирский пес черной масти с белыми подпалинами сидел на задних лапах, устремив на хозяина умные глаза.

— Эндимион!

Собака вскочила, завиляла хвостом и пристально посмотрела на фокусника, как будто хотела сказать, что готова исполнить все его приказания.

— Ступай и сейчас же найди белый шарик!..

Собака тотчас побежала в ту сторону, где стоявшая в кругу публика передавала друг другу из рук в руки белый шарик.

— Нет, ищи красный,— сказал Арторикс.

Эндимион быстро повернул в ту сторону, где стоял раб, который держал красный шарик, успевший уже побывать в тридцати руках; собака хотела проскользнуть под ногами зрителей и подбежать к тому, у кого в эту минуту находился красный шарик, как вдруг Арторикс крикнул так, словно скомандовал манипулу солдат:

— Стой!

Собака остановилась как вкопанная. Затем, обратившись к толпе, фокусник сказал:

— Те, к кому попали в эту минуту шарики, пусть оставят их у себя и не передают дальше: моя собака подойдет и заберет их.

В толпе пробежал шепот не то любопытства, не то недоверия, и снова настала тишина. Тысячи глаз внимательно следили за собакой.

Арторикс, скрестив на груди руки, приказал:

— Найди и принеси мне белый шарик.

Эндимион постоял с минуту, подняв кверху морду, и затем решительно направился к одному определенному месту, быстро пролез под ногами зрителей, подошел к тому, кто спрятал белый шарик, и, положив обе лапы ему на грудь, как будто просил своими умными, выразительными глазами отдать ему шарик. Тот достал из-под тоги спрятанный там белый шарик. Судя по пурпуровой полосе, окаймлявшей тунику, этот зритель был патриций. Он протянул шарик, собака осторожно взяла его в пасть и помчалась к хозяину.

Раздались шумные возгласы одобрения, а затем оглушительные крики и рукоплескания, когда собака так же проворно нашла обладателя красного шарика.

Тогда Арторикс раздвинул принесенную им с собою лесенку, состоявшую из двух частей, вверху соединенных между собой, и укрепил ее на земле. Потом он привязал конец веревки, на которую надел три железных обруча, к верхней ступеньке лестницы, взял в руку другой конец и, отойдя на некоторое расстояние, натянул веревку на высоте четырех футов от земли. Поставив на веревку свою обезьянку, сидевшую у него на плече, он сказал ей:

— Психея, покажи всем этим славным сынам Квирина свою ловкость и уменье!

Обезьянка, став на задние лапки, довольно ловко пошла по веревке, а в это время Арторикс крикнул собаке, не спускавшей с него глаз:

— А ты, Эндимион, покажи-ка именитым гражданам города Марса, как ты умеешь взбираться на лестницу.

Пока обезьянка шла по канату, собака под аплодисменты толпы с немалым трудом и напряжением взбиралась со ступеньки на ступеньку; сначала хлопали довольно жидко, но, когда обезьянка дошла до первого железного обруча, забралась внутрь этого обруча и, сделав в нем несколько оборотов, снова поднялась на веревку, добралась до второго обруча и проделала в нем сальто-мортале, раздались бурные, единодушные рукоплескания.

Собака тем временем взобралась на верхушку лестницы. Тогда Арторикс, покачав головой, жалостливо сказал:

— Что ж ты теперь будешь делать, бедный Эндимион? Как ты отсюда спустишься?

Собака смотрела на хозяина, помахивая хвостом.

— Влезть-то ты влез сюда, хотя и с немалым трудом, а вот как ты спустишься, не знаю! — крикнул ему Арторикс, в то время как обезьянка кружилась в третьем, и последнем, обруче.

Собака по-прежнему помахивала хвостом, глядя на хозяина.

— Как же ты выйдешь из затруднительного положения? — опять спросил Арторикс Эндимиона.

Собака одним прыжком очутилась на земле и, с победоносным видом оглядев зрителей, уселась на задние лапы.

Толпа встретила долгими единодушными рукоплесканиями прыжок догадливого Эндимиона, придумавшего такой остроумный способ разрешения трудной проблемы, предложенной ему фокусником; а в это время обезьяна, дойдя до самой верхней ступеньки лестницы, уселась там на задние лапы, также стяжав одобрение зрителей.

— Дай мне твою шапку,— сказал Арториксу вышедший из

толпы всадник.— Я устрою сбор если не для тебя, то хотя бы для твоих чудесных животных.

Арторикс снял шапку и передал ее всаднику; тот первым бросил в нее сестерций и отправился по кругу собирать деньги; в шапку фокусника полетели ассы, семиссы и терунции [1].

Тем временем фокусник вытащил из-под туники два маленьких игральных кубика из слоновой кости, кружку и сказал, обращаясь к своим артистам:

— А теперь, Психея и Эндимион, сыграйте партию в кости. Покажите благородным и щедрым зрителям, кому из вас везет и кто умеет жульничать.

Под громкий смех столпившихся вокруг зевак собака и обезьяна, усевшись друг против друга, начали играть. Эндимион бросил кости первым, ударил лапой по кружке, поставленной перед ним хозяином, и перевернул ее так, что кости рассыпались и покатились очень далеко, к ногам некоторых зрителей. Все заинтересовались необыкновенной партией и, наклонясь, старались рассмотреть число очков, полученных Эндимионом. Многие, хлопая в ладоши, кричали:

— «Венера»!.. «Венера»!.. Молодец, Эндимион!

Собака весело помахивала хвостом, как будто понимала, что сделала удачный бросок.

Арторикс собрал кости, снова положил их в кружку и подал обезьянке.

Психея взяла кружку в свои лапки и с бесконечными ужимками и гримасами, вызвавшими общий восторг и веселье, встряхнула кружку и бросила кости на землю.

— «Венера»!.. «Венера»!.. И у нее «Венера»! — кричали в толпе.— Да здравствует Психея! Молодчина, Психея!

Обезьянка вскочила на задние лапки и в знак благодарности принялась посылать публике воздушные поцелуи под бурные аплодисменты и хохот толпы.

Римский всадник, который делал сбор в пользу фокусника, подошел к нему и подал ему шапку, наполненную мелкими монетами; Арторикс поблагодарил за благосклонное внимание и пересыпал деньги в кожаный мешочек, висевший у него на поясе.

Галл уже собирался заставить своих игроков еще раз бросить кости, как вдруг внимание толпы отвлекли громкие крики, раздававшиеся со стороны длинной улицы, которая начиналась от Капенской улицы, у Большого цирка, затем огибала Палатин и, пересекая две курии — Салиев и Цереры,— выходила на площадь, где стояла курия Карин и где Арторикс, окруженный зрителями, давал представление.

---

[1] Семисс, терунций — мелкие монеты.

Внимание толпы, любовавшейся фокусами собаки и обезьяны, было отвлечено громкими криками и шумом: на площади показались мимы и шуты, причудливо загримированные или же в необыкновенных, гротескных масках; они прыгали и плясали под аккомпанемент флейт и кифар, а за ними валила огромная толпа. Все двигались в направлении Каринской курии.

Зеваки, окружавшие Арторикса, бросились навстречу новому развлечению; музыканты, которых Арторикс встретил на улице Карин, налегли на свои инструменты, и вновь раздался оглушительный хор голосов, славивших Сатурна. Галл ненадолго остался один. Он сложил лесенку, собрал свои принадлежности для фокусов, посадил обезьянку на плечо и вошел в трактир неподалеку от здания курии, чтобы отделаться от назойливой толпы зрителей. В трактире он заказал чашу цекубского и залпом выпил ее.

Как он рассчитывал, так и вышло: вскоре площадь снова оказалась заполненной двумя толпами, слившимися в одну, и мимы, взобравшись на ступеньки курии, начали представление — забавную пантомиму, фарс самого низкого пошиба, вызывавший взрывы оглушительного хохота и одобрительные крики толпы, наводнившей площадь.

Арторикс воспользовался благоприятной минутой и, пробираясь вдоль стен, попытался украдкой уйти с площади. Это удалось ему с трудом — лишь через четверть часа он наконец попал на улицу, ведущую к Большому цирку.

Пока он идет по этой улице, переполненной празднично настроенной и шумно ликующей толпой, расскажем кратко нашим читателям, как и почему Арторикс, переодетый фокусником, попал в Рим.

На следующий день после убийства бедного Рутилия отряд гладиаторской конницы отправился за фуражом почти под самый Барий. Там гладиаторы узнали о таинственном преступлении, совершенном накануне на дороге к Гнатию: недалеко один от другого были найдены два трупа никому не известных людей. По виду один из убитых был зажиточный крестьянин из этой местности, а другой — вольноотпущенник, слуга богатой патрицианской семьи.

Начальник отряда воспользовался происшествием, чтобы навестить свою возлюбленную, хорошенькую крестьянку из Канузия, с которой он познакомился месяца два назад, когда войско повстанцев стояло лагерем близ Венусии. Теперь он повел туда свой отряд якобы с намерением расследовать преступление, совершенное на консульской дороге: его могли приписать гладиаторам, хозяевам этих краев, меж тем как они соблюдали строжайшую дисциплину и полное уважение к чужой собствен-

ности и к местным жителям. В действительности же начальник конного отряда просто хотел повидать свою милую.

К великому своему удивлению, конники опознали в одном из убитых начальника легиона их войска, храброго Рутилия, переодетого (они не могли понять зачем) апулийским крестьянином.

Вот каким образом Спартак получил эту печальную весть. Хотя у него и возникло подозрение, что какой-то предатель, решивший противодействовать осуществлению его замыслов и разрушить его планы, скрывается, быть может, в самом лагере гладиаторов, он все же не мог установить, погиб ли Рутилий оттого, что попал в расставленную ловушку, или же убийство его было непредвиденной случайностью, быть может результатом ссоры, возникшей по дороге между Рутилием и его противником.

Как бы то ни было, после торжественных похорон Рутилия пришлось подумать об отправке другого человека в Рим к Катилине. И так как советом начальников уже было принято решение послать гонца к Катилине, то Спартак полагал, что теперь незачем советоваться с кем бы то ни было о выборе кандидата для такого сложного и важного поручения, и остановил свой выбор на верном и дорогом друге своем Арториксе, о чем никто в лагере гладиаторов не должен был знать.

Во избежание всяческих препятствий и опасностей, которые могли ему грозить, Арторикс решил отправиться в Рим под видом фокусника. Еще в бытность свою в школе гладиаторов он любил на досуге заниматься фокусами — они с юношеских лет были его любимым развлечением.

Теперь Арторикс велел привести в лагерь фокусника из окрестностей и, соблюдая строжайшую тайну, обучался в своей палатке приемам его искусства; плоды своих трудов он показал в Риме на площади у Каринской курии; у этого же фокусника он купил собаку и обезьяну и с августа до ноября беспрестанно упражнялся в фокусах, стараясь приобрести необходимую ловкость. Затем он тайком ушел из лагеря гладиаторов, на третий день пути снял свои доспехи, переоделся в одежду фокусника и малыми переходами, останавливаясь почти в каждом городе и в каждой деревне, добрался до Рима, где ему предстояло выполнить поручение Спартака. Читатели видели, как ему пришлось неожиданно показать перед добрыми квиритами свое искусство. Теперь же последуем за отважным юношей.

Пройдя по той улице, что огибала Палатин и вела к Большому цирку, он довольно скоро достиг курии Салиев, где за столами сидело великое множество людей разных сословий и положения; оттуда неслись веселые восклицания, шум и гам.

Любимой пищей в дни сатурналий была свинина, из которой приготовлялись различные кушанья.

— Итак, да здравствует Сатурн! — кричал раб-каппадокиец огромного роста, сидевший за столом, около которого остановился Арторикс.— Да здравствует Сатурн и великолепные сосиски, приготовленные знаменитым трактирщиком Курионом! Никто не может с ним соперничать в приготовлении кушаний из свинины.

— Да избавят меня боги от тщеславия,— отвечал Курион, толстый, пухлый и кругленький человечек, принесший большое блюдо горячей колбасы, предназначенное для сидевших за соседним столом,— но могу сказать без хвастовства, что таких колбас, сосисок и потрохов, как в моем заведении, вы нигде не отведаете. Даже у самого Лукулла и Марка Красса так не едят, клянусь черными косами Юноны, покровительницы моего дома!

— Io, bona Saturnalia! — заорал какой-то захмелевший раб.

Как будто выполняя обязанности предводителя пира, он встал и поднял чашу, наполненную вином.

— Io, io, bona Saturnalia! — закричали все сотрапезники раба, тоже поднявшись с мест, и все залпом выпили вино.

— Да окажут нам свое благоволение великие боги! — воскликнул каппадокиец, когда шум утих; он один продолжал стоять, в то время как все остальные снова сели на свои места.— Пусть вернется золотой век Сатурна и исчезнет всякий след рабства на земле!

— Но тогда тебе уж не придется есть сосиски Куриона и пить это превосходное цекубское.

— Ну и что ж! — воскликнул с негодованием раб.— Разве цекубское и фалернское так уж необходимы для жизни? Разве ключевая вода в моих родных горах не утоляет жажду свободного человека?

— Отличная вода... для омовений и купанья,— ответил с насмешкой другой раб.— Мне милее цекубское.

— И розги тюремщика! — добавил каппадокиец.— Эх, Гинезий, эх ты, афинский выродок! Как тебя унизило долголетнее рабство!

Остановившись, чтобы выпить чашу тускуланского, Арторикс прислушивался к разговору каппадокийца и грека.

— Ого! — воскликнул какой-то гражданин, обращаясь к каппадокийцу.— Ты, милейший Эдиок, под защитой сатурналий, кажется, ведешь среди рабов пропаганду в пользу Спартака!

— К Эребу проклятого гладиатора! — крикнул с возмущением какой-то патриций, услышав страшное имя.

— Пусть Минос в аду даст ему в неразлучные спутники всех эриний! — воскликнул тут же один из граждан.

— Будь он проклят! — закричали остальные шесть или семь сотрапезников каппадокийца.

— О доблестные, о храбрые! — произнес каппадокиец со спокойной иронией.— Стоит ли вам метать дротики в низкого, презренного гладиатора, когда он находится так далеко от вас?

— Клянусь богами, покровителями Рима, ты, подлый раб, осмеливаешься оскорблять нас, римских граждан! Выступаешь защитником гнусного варвара!

— Потише вы там! — сказал Эдиок.— Никого я не оскорбляю, и меньше всего вас, уважаемые патриции и граждане, тем более что один из вас — мой господин. За Спартаком я не пойду, как не пошел до сих пор, потому что не верю в успех его дела, потому что против него — счастливая судьба Рима, любимого богами. Но хоть я и не последовал за ним, я все же не считаю себя обязанным ненавидеть его и проклинать по вашему примеру: Спартак надеется завоевать свободу для себя и для своих собратьев, он взялся за оружие и отважно сражается против римских легионов. Я имею право говорить что хочу — ведь священными обычаями сатурналий в эти три дня предоставлена полная свобода действий и слов.

В ответ на речи каппадокийца послышался громкий ропот неодобрения, а его господин сердито воскликнул:

— О, во имя богини целомудрия, что мне привелось услышать!.. Ты меньше обидел бы меня, безумный раб, если бы обругал меня, мою жену, оскорбил честь моего дома!.. Проси, моли своих богов, чтобы я не вспомнил твоих нелепых речей, когда пройдут дни сатурналий!

— Защищает гладиатора! Каково!

— Превозносит его подлые деяния!

— Восхваляет подлого разбойника!

— Клянусь Кастором и Поллуксом!..

— Клянусь Геркулесом, это просто наглость!

— И как раз сегодня, именно сегодня, когда мы как никогда испытываем гибельные последствия его восстания! — воскликнул хозяин Эдиока.— Как раз теперь, когда по милости этого Спартака в Риме не осталось даже сотни, даже десятка гладиаторов! Некого нынче зарезать в цирке в честь бога Сатурна!

— Неужели? — печально и с удивлением воскликнули семь или восемь его сотрапезников.

— Клянусь Венерой Эриципой, покровительницей дома Фабиев, моей повелительницей, в этом году сатурналии будут праздноваться без гладиаторских боев.

«Вот беда!» — насмешливо воскликнул про себя Арторикс, прихлебывая маленькими глотками тускуланское.

— А между тем, согласно древнему обычаю, всегда свято со-

блюдавшемуся,— сказал патриций,— Сатурну надо приносить человеческие жертвы: ведь Сатурн первоначально был божеством преисподней, а не тверди небесной, и его можно было умилостивить только человеческой кровью.

— Да испепелит Сатурн этого мерзкого гладиатора! Спартак — вот кто единственный виновник такого несчастья! — воскликнула свободнорожденная гражданка, сидевшая рядом с патрицием; лицо ее раскраснелось от возлияний цекубского.

— Нет, клянусь всеми богами, мы не допустим такого позора! — воскликнул патриций, вскочив с места.— Мы чтим бога Сатурна, и, раз ему полагаются человеческие жертвы, он их получит. Я первый подам пример и отведу к жрецам одного раба для заклания на алтаре бога. Найдутся и еще набожные люди, Рим недаром славится своим благочестием. Многие последуют моему примеру, и Сатурн, так же как и в прежние годы, получит человеческие жертвы.

— Да, но кто порадует нас любимым нашим зрелищем — боями гладиаторов?

— Кто, кто нас порадует? — воскликнула римлянка с глубоким сожалением и, подавив вздох, поспешила утешиться десятой чашей цекубского.

— Кто, кто нам предоставит любимое зрелище? — скорбно воскликнули все восемь сотрапезников.

На мгновение наступило молчание. Арторикс закрыл лицо рукой. Ему было стыдно при мысли, что и он также принадлежит к человеческой породе.

— Об этом позаботятся наши доблестные воины Луций Геллий Публикола и Гней Корнелий Лентул Клодиан, избранные консулами на будущий год. Весною они выступят против гладиатора,— сказал патриций, и глаза его сверкнули жестокой радостью.— У них будет две армии, почти тридцать тысяч солдат у каждого... Тогда посмотрим, клянусь Геркулесом Победителем, посмотрим, удастся ли этому варвару, похитителю скота, оказать сопротивление четырем консульским легионам, их вспомогательным частям и союзникам!

— Можно подумать,— с усмешкой произнес вполголоса каппадокиец,— что легионы, разбитые им под Фунди, не были консульскими легионами.

— О-о! Между преторским войском и двумя консульскими армиями большая разница. Тебе, варвару, этого не понять! Клянусь чудесным мечом бога Марса, гладиаторов быстро разгромят, и пленные попадут к нам в тюрьмы, а оттуда тысячами будут отправлены в цирки на уничтожение.

— Без пощады!..

— Никакой жалости к этим разбойникам!..

— Вот тогда уж мы вознаградим себя! А то что ж это такое! Нет и нет гладиаторских боев! Изволь-ка терпеть!..

— Да уж, клянусь Геркулесом Мусагетом, мы вознаградим себя!

— Устроим невиданные гладиаторские бои — такие, чтоб шли целый год.

— Вот-то будет праздник! Вот-то будет ликованье!..

— Потешимся! Повеселимся!

— Еще посмотрим,— пробормотал сквозь зубы Арторикс, побледнев и весь дрожа от гнева.

И в то время как эти звери в образе людей упивались мечтами о будущих кровавых побоищах, фокусник заплатил за выпитое вино и ушел. Он направился в сторону Палатина и свернул на верхнюю Священную улицу, по которой с неистовыми криками медленно двигалась толпа, сквозь которую он с трудом пробился, усердно работая локтями.

Толпа эта, пройдя верхнюю Священную улицу, наводнила затем все улицы вокруг Палатинского холма, по которым фокусник должен был пройти, чтобы добраться до верхушки северного склона холма, где стоял дом Катилины.

Арториксу до отвращения надоели толчея и давка, он чуть не оглох от неистового шума и гама. Наконец он дошел до портика, украшавшего дом патриция. В портике оказалось великое множество клиентов, отпущенников и рабов фамилии Сергия; рассевшись как попало, они пировали, предаваясь безудержному обжорству и пьянству. Весь дом высокомерного и неукротимого сенатора был полон гостей, судя по доносившимся оттуда крикам и песням.

Появление фокусника было встречено бешеными рукоплесканиями, и вскоре ему пришлось повторить перед этим сборищем пьяниц свои фокусы, которыми он три часа назад развлекал случайную публику на площади Карин. Как и тот раз, Эндимион и Психея отлично исполнили свои номера и вызвали нескончаемые рукоплескания, неистовый смех и восхищение зрителей.

Пока один из гостей Катилины собирал вознаграждение фокуснику, Арторикс, потешая публику, не переставал наблюдать за всем, что происходило вокруг него. Заметив в портике управителя дома, которого он узнал по одежде и по властному тону его приказаний рабам, приставленным к кухне, Арторикс подошел к нему и попросил доложить о себе, сказав, что принес Катилине важные сведения.

Домоправитель смерил его взглядом с ног до головы; затем небрежно и почти презрительно ответил:

— Господина нет дома,— и повернулся спиной к фокуснику, собираясь уйти.

— А что, если я пришел с Тускуланских холмов и у меня есть к нему поручение от Аврелии Орестиллы? — тихо сказал Арторикс.

Домоправитель остановился, повернулся к нему и вполголоса сказал:

— Ах... ты пришел?..

И с лукавой улыбкой добавил:

— Понимаю... Ремесло фокусника не мешает быть крылатым вестником богов... А-а-а... понимаю.

— Ты необычайно проницателен! — с тонкой иронией ответил Арторикс.

И тут же добродушно добавил:

— Что поделаешь! Стараюсь как могу!

— Да что ж, я ничего не имею против,— сказал домоправитель.— Если хочешь повидать Катилину, спустись к Форуму... Там ты наверняка найдешь его.

И он удалился.

Как только Арторикс удалось избавиться от своих новых поклонников, осыпавших его похвалами, он спустился с Палатина и со всей возможной поспешностью, которую только дозволяли переполненные народом улицы, направился к Форуму, где давка и шум были, разумеется, еще больше, чем в любой другой части города.

Здесь медленно двигался в двух противоположных направлениях трехтысячный поток людей обоего пола, всех возрастов и состояний: одни шли к храму Сатурна, другие возвращались оттуда.

Все портики вокруг Форума — портики храмов Согласия, Кастора и Поллукса, Весты, Грекостаза, Курии Гостилия и базилик Порции, Семпронии, Фульвии и Эмилии — были переполнены патрициями, всадниками, плебеями и в особенности самыми красивыми женщинами всех сословий. Отсюда, где зрителей меньше толкали и давили, они любовались внушительной картиной, которую представлял собою обширнейший Форум, переполненный ликующей праздничной толпой.

Почитатели Сатурна, желавшие поклониться богу, в честь которого установлен был этот праздник, сталкивались с богомольцами, выходившими из храма; впереди как той, так и другой толпы шли мимы, флейтисты, музыканты, кифаристы; все пели гимны в честь великого отца Сатурна и исступленно выкрикивали его имя.

Неописуемый, оглушительный шум еще больше усиливали разноголосые выкрики бесчисленных скоморохов, продавцов игрушек, всякой снеди и мелочных товаров.

Попав в людской поток, Арторикс поневоле должен был от-

даться его течению и, увлекаемый медлительной, но безостановочной волной, дошел до храма божества, чествуемого в тот день.

Толпа продвигалась на несколько шагов, останавливалась на минуту, снова двигалась дальше, и, шагая в тесных ее рядах, Арторикс бросал взгляд то направо, то налево, надеясь увидеть Катилину.

Собака бежала рядом с хозяином, и время от времени Арторикс слышал ее жалобные повизгивания: хотя бедное животное ловко и осторожно пробиралось под ногами людей, в этой страшной давке ей неизбежно наступали то на одну, то на другую лапу.

На несколько шагов впереди Арторикса шел какой-то старик и двое молодых людей. На старике была богатая, даже роскошная одежда, но Арторикс сразу распознал в нем мима; человеку этому, несомненно, уже перевалило за пятьдесят: густой слой белил и румян не мог скрыть глубоких морщин на его безбородом, женоподобном истасканном лице, отражавшем самые низменные страсти. Двое юношей, шедшие рядом с мимом, были патриции, о чем свидетельствовала пурпурная кайма на их белых туниках. Один из них, лет двадцати двух — двадцати трех, был выше среднего роста, хорошо сложен; густые черные кудри подчеркивали бледность его лица, полного тихой грусти; выразительные черные глаза искрились умом. Второй юноша, лет семнадцати, невысокий и хилый с виду, привлекал внимание своим прекрасным лицом; в четких, правильных его чертах запечатлелись чистота души, глубокие чувства, твердая воля и решительный характер. Старик был Метробий, а юноши — Тит Лукреций Кар и Гай Кассий Лонгин.

— Клянусь славой моего бессмертного друга Луция Корнелия Суллы! — говорил комедиант, обращаясь к своим спутникам и, видимо, продолжая начатый разговор.— Клянусь, я никогда не видел женщины красивее Клодии!

— Может быть, ты и встречал в своей жизни таких красавиц, но уж другой такой кокетки, конечно, не знавал! Верно, старый плут?

— Поэт, поэт, не дразни меня! — сказал комедиант, польщенный словами Лукреция.— Клянусь Геркулесом Мусагетом, мы и о тебе кое-что знаем.

— О, клянусь Мнемосиной, я без ума от Клодии! — воскликнул Кассий, устремив взгляд на портик храма Весты, около которого в эту минуту собралась толпа; там была и Клодия, и Кассий не сводил горящих глаз с красавицы, стоявшей рядом со своим братом, на вид еще мальчиком.— Как она хороша!.. Божественно прекрасна!

— Победа над Клодией — дело нетрудное, Кассий,— сказал,

улыбаясь, Лукреций,— если ты действительно решил добиться ее внимания.

— О, она не заставит тебя долго страдать, будь покоен,— прибавил Метробий.

— Ты заметил, как она похожа на своего брата?

— Они словно две миндалины в одной скорлупе... Если бы Клодия надела мужское платье, их невозможно было бы отличить друг от друга.

В эту минуту толпа, как это случалось через каждые десять шагов, остановилась, и Арторикс мог рассмотреть вблизи женщину, на которую Кассий бросал влюбленные взоры. Она стояла у колонны портика, высокая, стройная, молодая,— ей было не больше двадцати лет. Короткая белая туника из тончайшей шерсти, окаймленная пурпурной полосой и туго перехваченная в талии, обрисовывала ее гибкий стан. Как ни была ослепительна белизна ее рук и плеч, лицо ее казалось еще белее, и только нежный румянец, игравший на щеках, говорил, что это лицо, эта шея, эти плечи принадлежат живой женщине, а не статуе из прозрачного паросского мрамора, изваянной резцом бессмертного Фидия [1]. Лицо ее обрамляли густые и мягкие рыжие кудри и оживляли голубые сияющие глаза со смелым и даже дерзким выражением. Рядом с этой красавицей стоял поразительно похожий на нее брат, Клодий; ему едва исполнилось четырнадцать лет, и по детскому открытому лицу его никто не мог бы угадать в нем будущего мятежного народного трибуна, жестокосердного человека, которому суждено было в недалеком будущем навлечь на Рим бедствие раздоров, распрей и убийств.

— Венера или Диана, какими их представляет себе легковерный народ, не могли бы быть прекраснее ее! — воскликнул Кассий после минуты безмолвного экстаза.

— Венера, конечно, Венера,— сказал, улыбаясь, Тит Лукреций Кар.— Диану уж оставь в покое.

В этот момент толпа снова двинулась, и Кассий со своими друзьями оказался почти у самых ступенек лестницы портика храма Весты, недалеко от Клодии. Кассий приветствовал ее, приложив правую руку к губам, затем воскликнул:

— Привет тебе, о Клодия, прекраснейшая из всех прекрасных женщин Рима!

Клодия взглянула на него и ответила на поклон легким наклонением головы и нежной улыбкой, бросив юноше долгий огненный взгляд.

— Взгляд этот обещает многое,— улыбаясь, сказал Лукреций Кассию.

---

[1] Фидий (ум. в 431 году до н. э.) — афинский ваятель.

— Твой пыл вполне понятен, славный Кассий,— сказал Метробий.— Право, я никогда еще не видел женщины красивее, за исключением одной, такой же прекрасной, как Клодия,— гречанки Эвтибиды.

Лукреций вздрогнул при этом имени и, помолчав, сказал с легким вздохом:

— Красавица Эвтибида! Где-то она теперь?..

— Ты не поверил бы собственным глазам — ведь она в лагере гладиаторов!

— Напротив, я нахожу это вполне естественным,— ответил Лукреций.— Там для нее самое подходящее место!

— Но знай, что Эвтибида находится в лагере этих разбойников для того, чтобы добиться любви одного из них: она безумно влюблена в Спартака...

— Браво! Клянусь Геркулесом!.. Теперь наконец у нее возлюбленный, достойный ее!

— Ошибаешься, клянусь Юпитером Статором!.. Спартак с презрением отверг ее любовь!

Все трое на мгновение умолкли.

— А вот ты и не знаешь,— продолжал через минуту Метробий, обращаясь к Лукрецию,— что красавица Эвтибида не раз приглашала меня, звала приехать в лагерь гладиаторов.

— А что тебе там делать? — удивленно спросил Лукреций.

— Пьянствовать, что ли? — добавил Кассий.— Но этим ты вполне успешно занимаешься и в Риме...

— Вы все смеетесь, шутите... а я бы не прочь туда отправиться...

— Куда?

— Да в лагерь Спартака. Поехал бы туда переодетый и под вымышленным именем вошел бы к нему в доверие, приобрел его расположение, а тем временем разузнал бы все его планы и намерения, разведал бы, что он там подготовляет, и обо всем тайком сообщил бы консулам.

Оба патриция громко расхохотались. Метробий обиделся и сердито сказал:

— Ах, вы смеетесь? А разве не я предупредил консула Луция Лициния Лукулла два года назад о подготовлявшемся восстании гладиаторов? Разве не я открыл их заговор в роще богини Фурины?

«А-а, запомним!» — подумал Арторикс. Лицо его вспыхнуло, и он мрачно взглянул на Метробия, шедшего неподалеку от него.

В этот момент толпа подошла к подножию Капитолия и очутилась перед храмом Сатурна. Это было величественное и прочное сооружение, где, кроме жертвенника Сатурну, хранились

также утвержденные законы и государственная казна; тут теснилось великое множество народа, и движение замедлялось еще больше.

— Клянусь богами, покровителями Рима,— воскликнул Кассий,— здесь можно задохнуться!

— Да, это вполне возможно,— сказал Лукреций.

— Так оно и будет, клянусь венком из плюща Вакха Диониса! — воскликнул Метробий.

— Не понимаю, к чему нам было забираться в эту сутолоку! — сказал Лукреций.

Толпа все больше нажимала, толкотня и давка были невыносимые. Наконец через четверть часа, двигаясь черепашьим шагом, почти задохнувшись, Метробий, Лукреций и Кассий, а за ними и Арторикс попали в храм, где увидели бронзовую статую бога Сатурна с небольшим серпом в руке, как будто собравшегося на жатву. Статуя была окружена земледельческими орудиями и аллегорическими изображениями сельских работ и сцен из пастушеской жизни. Статуя Сатурна была полая и наполнялась оливковым маслом в знак изобилия.

— Смотри, смотри, вот божественный Цезарь, верховный жрец,— сказал Метробий.— Он только что совершил жертвоприношение в честь Сатурна и теперь, сняв жреческое облачение, выходит из храма.

— Как на него смотрит Семпрония, прекрасная и умная Семпрония!..

— Черноокая красавица! Клянусь двенадцатью богами Согласия, совершенный тип римской зрелой красоты!..

— Погляди, словно молния, сверкает пламя страсти в ее черных глазах! Какие улыбки шлет она красавцу Юлию!

— А сколько еще матрон и девушек нежно поглядывают на Цезаря!

— Посмотри на рыжую Фавсту.

— Дочь моего бессмертного друга Луция Корнелия Суллы Счастливого, диктатора.

— Что ты был другом этого чудовища, нам уже давно известно, и тебе незачем повторять это на каждом шагу.

— Что там опять за шум?

— Что за крики?

Все повернули головы ко входу в храм, откуда опять неслись громкие восхваления Сатурну.

Вскоре толпу, заполнявшую храм, оттеснила к колоннаде и к стенам новая толпа, явившаяся на поклонение Сатурну, и в ее числе человек пятьдесят мрачных и исхудалых богомольцев, словно в триумфальном шествии, несли городского претора; у каждого в руке была железная цепь.

— Ах да, понимаю! Это преступники, сидевшие в Мамертинской тюрьме в ожидании приговора; согласно обычаю, они помилованы,— сказал Лукреций.

— И как установлено обычаем, они принесли сюда свои кандалы, чтобы повесить их на алтарь божественного Сатурна,— добавил Метробий.

— Смотри, смотри, вон там страшный Катилина, гроза всего Рима! — воскликнул Кассий, указывая в сторону жертвенника бога, возле которого стоял гордый патриций, погрузившись в созерцание коллегии весталок.— Отрицать бесполезно — этот человек жесток даже в любви. Видите, с какой алчностью он глядит на сестру Теренция.

В то время как Лукреций и Метробий судачили с молодым Лонгином Кассием о кощунственной любви Катилины, Арторикс увидел патриция, и глаза его радостно засияли. Он начал осторожно проталкиваться через толпу, стараясь добраться до Катилины.

Но одно дело желать, другое — исполнить желание; только через полчаса, да и то лишь следуя движению толпы, направлявшейся к выходу из храма, молодой галл смог приблизиться к Луцию Сергию, по-прежнему погруженному в созерцание весталки. Арторикс тихо сказал ему на ухо:

— Свет и свобода.

Катилина вздрогнул, стремительно повернулся и, нахмурив брови, сурово, почти с угрозой спросил фокусника, пристально вглядываясь в него своими серыми глазами:

— Что это значит?

— Я от Спартака,— тихо ответил Арторикс.— Прибыл в таком вот виде из Апулии. Мне надо переговорить с тобою о важных делах, славный Катилина.

Патриций еще с минуту смотрел на фокусника, потом сказал:

— Хорошо... Иди рядом, пока нам не удастся выбраться из храма... Потом следуй за мной издали, пока мы не дойдем до уединенного места.

С презрением, отличающим сильных и дерзких самоуправцев,— а у Катилины оно доходило до грубости и полного пренебрежения к людям,— патриций принялся расталкивать толпу своими мощными руками и зычным голосом приказывал окружающим посторониться. Действуя таким способом, Катилина скорее других достиг выхода из храма; за ним неотступно, точно тень, следовал Арторикс.

Продвигаясь таким же точно образом, они прошли через портик и очутились на улице, а через полчаса, выбравшись из толпы, направились к Скотному рынку, где толпились продавцы и покупатели волов; на этой огромной площади, отведенной для

торговли скотом, народу оказалось не так много, и путникам не стоило большого труда добраться до круглого храма Геркулеса Триумфального; Арторикс следовал за Катилиной на некотором расстоянии.

Миновав храм Геркулеса, Катилина подошел к небольшому храму Целомудрия; там он остановился, поджидая фокусника, и Арторикс подошел к нему.

Как это и было поручено ему, Арторикс изложил Катилине предложение Спартака. Красочно, правдиво, убедительно описал он мощь гладиаторских легионов; доказал, что отвага этих шестидесяти тысяч рабов, уже испытанных во многих боях, удесятерилась бы, встань во главе их Луций Сергий Катилина, и за короткое время число их удвоилось бы; на основании всего этого, нисколько не преувеличивая, можно было с полной уверенностью рассчитывать на победы и через год подойти с непобедимым войском к воротам Рима.

При этих словах глаза Катилины налились кровью; на выразительном свирепом лице заходили желваки мускулов, время от времени он угрожающе сжимал мощные кулаки, из груди его вырывались вздохи удовлетворения, весьма похожие на звериный рык.

Когда Арторикс закончил свою речь, отрывисто и взволнованно заговорил Катилина:

— Ты искушаешь меня, о юноша... я, право, не знаю... Не хочу скрывать от тебя, что мне, патрицию и римлянину, противно даже подумать, что я могу стать во главе войска рабов... храбрых, отважных, пусть так... но все же мятежных рабов. Однако мысль о том, что в моем распоряжении будет такая мощная армия и я смогу вести ее к победе... Ведь я рожден для великих деяний, а между тем никогда не имел возможности получить управление какой-либо провинцией, где мне мог бы представиться случай совершить высокие дела. Чувствую, что эта мысль...

— Такая мысль пусть не опьянит тебя, не одурманит твоего разума настолько, чтобы ты мог забыть, что ты римлянин и рожден патрицием; что олигархия, господствующая над нами, должна быть уничтожена руками свободнорожденных и римским оружием, а не с преступной помощью варваров-рабов.

Слова эти произнес человек лет тридцати, высокого роста, с благородной осанкой и надменным лицом. Он шел следом за Катилиной и в эту минуту выступил из-за угла храма Целомудрия, около которого вели беседу Луций Сергий и Арторикс.

— Лентул Сура! — удивленно воскликнул Катилина.— Ты здесь?..

— Я пошел за тобою, потому что мне показался подозрительным человек, как будто преследовавший тебя. Я не раз

предсказывал тебе, что трем Корнелиям предначертано судьбой властвовать над Римом; Корнелий Цинна и Корнелий Сулла уже исполнили это предначертание, ты — третий, избранный судьбой быть властелином Рима. Я хочу помешать тебе совершить ошибку: ложный шаг, вместо того чтобы приблизить к цели, отдалит тебя от нее.

— Стало быть, Лентул, ты думаешь, что может представиться другой столь же благоприятный случай, как предложение Спартака? Значит, ты думаешь, что в дальнейшем нам удастся иметь под нашим началом легионы, подобные войску гладиаторов, и осуществить наши планы?

— Я думаю, что, если бы мы воспользовались предложением Спартака, мы не только навлекли бы на себя ненависть народа нашего и проклятие всей Италии, но это послужило бы не на благо римским плебеям, не на благо лишенным наследства, неимущим и обремененным долгами, а только на пользу варварам, врагам римского народа. Если благодаря влиянию и помощи друзей наших они станут господствовать в Риме, неужели ты думаешь, что они будут подчиняться каким-нибудь законам и мы чем-нибудь сможем обуздать их? Неужели ты думаешь, что они предоставят нам право управлять и властвовать? Каждый римский гражданин в их глазах будет врагом; они вовлекут нас в ужасную резню и убийства, а ведь мы, по своему чрезмерному простодушию, собирались сокрушить одних только оптиматов!

Лентул говорил твердо и спокойно, и постепенно возбуждение Катилины ослабевало, а когда Сура закончил свою речь, убийца Гратидиана устало склонил голову на грудь и с глубоким вздохом тихо сказал:

— Логика твоя убийственна, словно отточенный клинок испанского меча.

Арторикс что-то хотел сказать Лентулу, но тот, сделав повелительный жест, произнес твердым тоном:

— Иди, возвращайся к Спартаку. Передай ему, что мы восхищаемся вашим мужеством, но что мы прежде всего римляне. Все распри на Тибре утихают, когда нашей родине угрожает опасность. Скажи, чтобы он воспользовался благоприятствующей ему судьбой и повел вас по ту сторону Альп, каждого в его страну: дальнейшая война в Италии будет для вас роковой. Иди, и да сопутствуют тебе боги.

С этими словами Лентул Сура взял под руку мрачного и безмолвного Катилину, стоявшего в глубоком раздумье, и повел его в сторону Скотного рынка.

Арторикс еще долго провожал растерянным взглядом две удалявшиеся фигуры. Его вывел из задумчивости Эндимион,

который прыгнул на него и стал лизать ему руки; тогда мнимый фокусник решил уйти и медленно зашагал к Гермальской курии, по дороге к древним Мугионским воротам.

Когда галл подошел к курии, где также толпился веселившийся народ, солнце уже близилось к закату. Арторикс был погружен в свои печальные мысли, вызванные словами Суры, и даже не заметил, что за ним уже довольно давно следит Метробий — то идет позади, то забегает вперед и внимательно его разглядывает. Только выйдя на площадь, где находилась Гермальская курия, галл заметил мима и сразу же узнал его, так как долгое время жил на вилле Суллы в Кумах и знал комедианта, частого гостя в доме диктатора. При виде Метробия Арторикс взволновался, боясь, как бы тот не признал в нем гладиатора Суллы.

Поразмыслив немного, Арторикс ускорил шаг в надежде, что Метробий оказался здесь случайно и не узнал его; в худшем случае он надеялся, затерявшись в толпе, скрыться от глаз преследователя. Казалось, судьба покровительствовала Арториксу. У входа в дом какого-то патриция толпились его клиенты; каждый держал в руке по свече: по случаю праздника сатурналий они, согласно обычаю, принесли эти свечи в дар сенатору — хозяину дома и своему патрону.

Арторикс в одну минуту добежал до этой толпы клиентов, работая локтями, протиснулся внутрь и вместе с ними пробрался в дом патриция. Привратнику, спросившему у него, зачем и куда он идет, Арторикс ответил, что хочет предложить хозяину дома дать представление для его клиентов; таким способом сенатор отблагодарит их за принесенные ему дары.

Привратник пропустил фокусника вместе с клиентами своего господина из передней в атрий. Арторикс, хорошо знакомый с расположением домов богатых римлян, обычно построенных на один лад, тотчас же пробрался во внутренний двор, посредине которого стоял жертвенник с алтарем для ларов, и поискал, нет ли другого выхода, через сад; такой выход действительно оказался. Пользуясь суматохой, которая царила в доме из-за сатурналий и увеличилась с приходом толпы клиентов, он прокрался через имплувий в перистиль, оттуда — в парадный зал, потом прошел по длинному коридору в сад, а оттуда — до выхода, имевшегося на другой стороне дома; второму привратнику он рассказал, что дал представление в присутствии его господина и теперь спешит по своим делам, время ему дорого, его ждут в других местах, поэтому он очень просит выпустить его через садовую калитку, ибо у главного входа толпится уж очень много народу. Привратник счел эту просьбу уважительной и, отворив калитку, выпустил фокусника, провожая его самой приветливой

улыбкой. Арторикс очутился в переулке, выходившем на Новую улицу.

Уже начали сгущаться сумерки, и Арторикс решил как можно скорее выйти из города через ближайшие ворота. Он спустился кратчайшим проездом к Новой улице, которая вела от Большого цирка к реке, и очутился на великолепной набережной, проложенной по левому берегу Тибра, от Флументанских до Тройных ворот. Арторикс тотчас же повернул налево, направляясь к Тройным воротам, так как они были ближе других. Улица эта, удаленная от центра, была пустынна: фокусник шел быстро и встретил лишь нескольких граждан, спешивших в цирк и на Форум. Тишину и спокойствие улицы нарушало лишь журчание воды в реке, мутной и вздувшейся от прошедших дождей, да смутные отголоски шума, долетавшие из центра огромного города.

Не успел Арторикс пройти и трехсот шагов по этой улице, как услышал позади чьи-то торопливые шаги. Он остановился на минуту, прислушался — шаги становились все явственнее, они приближались. Тогда Арторикс засунул правую руку за пояс и, вытащив оттуда кинжал, быстро двинулся дальше.

Но тот, кто шел позади, видимо, старался догнать его; шум шагов слышался все ближе. Воспользовавшись поворотом, который делала улица, Арторикс остановился у одного из старых дубов, осенявших улицу, спрятался за толстый ствол его и затаил дыхание: *он хотел убедиться, был ли то Метробий или же* какой-нибудь гражданин, спешивший по своим делам.

Вскоре фокусник услышал тяжелое дыхание приближавшегося человека и увидел... Метробия.

Потеряв из виду Арторикса, Метробий остановился и, оглядевшись вокруг, удивленно пробормотал:

— Куда же он делся?

— Я здесь, милейший Метробий,—сказал Арторикс, выходя из укромного места, где он спрятался.

Галл решил прикончить комедианта, отомстить ему за все обиды, за предательство и за весь вред, причиненный делу гладиаторов, а вместе с тем избавиться от опасности, которая ему непосредственно угрожала.

Метробий отступил на несколько шагов к той стороне улицы, где низкая стена, высотой примерно в половину человеческого роста, ограждала берега реки, и, обращаясь к Арториксу, вкрадчиво заговорил сладеньким голосом:

— Ах, оказывается, это действительно ты, красавец гладиатор!.. Я узнал тебя... поэтому и шел за тобою... Мы познакомились с тобой на вилле Суллы в Кумах... Я хочу пригласить тебя поужинать со мной... выпьем доброго старого фалернского...

— Ты приглашаешь меня на ужин в Мамертинскую тюрьму, старый предатель,— тихо и с угрозой сказал Арторикс, приближаясь к миму.— Меня распяли бы на кресте, а тело мое пошло бы на ужин эсквилинскому воронью!..

— Да что ты! Что это пришло тебе в голову?— дрожащим голосом ответил Метробий, отступая по диагонали в ту сторону откуда он пришел.— Да испепелит меня Юпитер своими молниями, если я лгу! Я собирался угостить тебя отличнейшим фалернским!..

— Нет, проклятый пьяница, это я угощу тебя сегодня мутной водой Тибра,— пробормотал гладиатор и, отбросив далеко от себя лестницу, веревки и обезьянку, ринулся на старого комедианта.

— На помощь! Помогите... друзья... он убивает меня!.. Сюда! На помощь! — кричал комедиант, убегая по направлению к Новой улице, но он не успел закончить своего вопля: Арторикс, бежавший за ним с кинжалом в зубах, настиг его и схватил за горло. Голос Метробия пресекся.

Арторикс пробормотал сквозь зубы:

— Ах, негодяй, ты пригласил еще и приятелей своих к ужину, на который звал меня!.. Да, да, вот они... бегут сюда...

И он крепко сжал в правой руке кинжал, а Метробий вновь принялся звать на помощь рабов и клиентов из дома сенатора, где недавно нашел убежище Арторикс; по наущению Метробия, они бросились по следам фокусника. При свете факелов, которые пылали в руках преследующих, Метробий и Арторикс увидели, что с Новой улицы по набережной Тибра бежит целая толпа, спешившая на крики комедианта. Тогда Арторикс несколько раз вонзил кинжал в грудь Метробия и, задыхаясь от гнева, глухо произнес:

— Тебя они спасти не успеют, а меня им также не удастся схватить. Подлый негодяй!..— И, подняв обеими руками полумертвого мима, который стонал слабым голосом, истекая кровью, Арторикс бросил его в реку, крикнув: — Нынче вечером, старый пьяница, выпьешь воды — в первый и последний раз в жизни.

Вслед за этими словами послышался всплеск, отчаянный вопль, и Метробий исчез в мутных волнах бурной реки.

— Вот и мы!.. Метробий... Не бойся!.. Мы распнем подлого гладиатора! Не скроется он от нас! — кричали в один голос рабы и сбежавшиеся на шум граждане.

Преследователи были уже не более как в пятидесяти — шестидесяти шагах от Арторикса.

Гладиатор, сбросив с себя пенулу, схватил Эндимиона и кинул его в реку, потом вскочил на парапет и сам бросился в Тибр.

— Помогите!.. Умираю!.. Помо... — еще раз крикнул Метробий, показавшийся на поверхности реки, но мутные воды Тибра накрыли его и помчали к Тройным воротам.

Бежавшие на помощь достигли того места, где произошла кровавая драма. Запыхавшись, они метались у стены, кричали, но никто ничего не делал, чтобы спасти утопавшего.

Арторикс между тем быстро плыл наперерез течению, направляясь к другому берегу.

Собравшиеся на берегу слали ему проклятия и горевали о судьбе Метробия, который уже не появлялся больше из речной пучины. А гладиатор, переплыв на другой берег, быстро зашагал к Яникульскому холму, скрывшись во мраке, сгущавшемся над Вечным городом.

Глава восемнадцатая

КОНСУЛЫ НА ВОЙНЕ.— СРАЖЕНИЕ ПОД КАМЕРИНОМ.— СМЕРТЬ ЭНОМАЯ

Когда исчезла всякая надежда на то, что Луций Сергий Катилина возглавит армию гладиаторов, восставшие приняли предложение Спартака: двинуться весной к Альпам и после перехода через них распустить войско гладиаторов — каждый отправится в свою страну; там они постараются поднять ее население против Рима. Спартак обладал здравым умом и дальновидностью, что делало его одним из лучших полководцев своего времени, и он прекрасно отдавал себе отчет, что дальнейшая война с Римом на территории Италии может окончиться только победой квиритов.

И вот в конце февраля 682 года Спартак выступил из Апулии с двенадцатью легионами, по пяти тысяч человек в каждом; кроме того, у него было еще пять тысяч велитов и восемь тысяч конников,— в общей сложности свыше семидесяти тысяч солдат, отлично обученных и превосходно вооруженных. С этим войском он двинулся к Самнию, держась ближе к морю.

После десятидневного похода он дошел до области пелингов, где получил сведения, что консул Лентул Клодиан собирает в Умбрии армию в тридцать тысяч человек с целью перерезать гладиаторам дорогу к реке Паду, а из Латия идет другой консул, Геллий Публикола, с тремя легионами и вспомогательными войсками и собирается напасть на Спартака с тыла, чтобы отрезать ему путь к возвращению в Апулию, а следовательно, к спасению.

Раздражение, вызванное в сенате позором восстания и чувст-

вом оскорбленного достоинства, уступило место страху и сознанию опасности. Поэтому сенат отправил против восставших, как на одну из труднейших и опаснейших войн, двух консулов; им были даны две большие армии и поручено раз и навсегда покончить с гладиатором.

Через несколько дней после своего назначения оба консула собрали свои войска — один в Латии, а другой в Умбрии.

Однако опыт этой войны и поражения, которые потерпели претор Вариний, квестор Коссиний и сам Анфидий Орест, ничему не научили ни Лентула, ни Геллия, и они были далеки от мысли о совместном выступлении против Спартака то ли из чувства соперничества и жажды личной славы, то ли из-за неправильных тактических соображений.

Так или иначе, но они решили наступать на Спартака врозь, так что Спартак мог одолеть и разбить каждую армию в отдельности, как он это и делал в истекшие два года.

В Риме все же возлагали большие надежды на поход двух консулов и рассчитывали, что теперь навсегда будет покончено с этой позорящей Рим войной против рабов и гладиаторов.

Узнав о намерениях врагов, Спартак ускорил продвижение своего войска через Самний и решил сперва напасть на Геллия, который должен был наступать на него из Латия. Фракиец надеялся повстречаться с консулом на дороге между Корфинием и Амитерном.

Но, придя в эту местность, Спартак узнал от рабов окрестных городов — они не отваживались убежать в лагерь гладиаторов, но оказывали им большие услуги, сообщая важные сведения,— что Геллий еще находится в Анагнии, где ждет прибытия своей кавалерии, и двинется оттуда недели через две, не раньше.

Вождь гладиаторов решил идти дальше и направился в Пицентскую область, надеясь встретиться там с Лентулом, идущим из Умбрии, разбить его в сражении, вернуться затем назад и разбить Геллия, а потом направиться к Паду или же, не завязывая сражения ни с тем, ни с другим, идти прямо к Альпам.

Дойдя до Аскула на реке Труенте, Спартак узнал от своих многочисленных и преданных разведчиков, что Лентул вышел из Перузии с войском в тридцать с лишним тысяч человек, и двинулся навстречу ему в Камерин. Спартак выбрал для себя сильную позицию и, расположившись на ней лагерем, хорошо укрепил его; здесь он решил выждать четыре-пять дней, то есть столько времени, сколько требовалось консулу, чтобы прибыть в Камерин, где Спартак решил дать бой.

Итак, гладиаторы разбили лагерь близ Аскула. На следующее утро Спартак выехал во главе тысячи конников для осмотра окрестностей. Он ехал один впереди своего отряда, погружен-

ный в глубокое и невеселое раздумье, судя по его мрачному лицу.

О чем думал он?

С того дня, как Эвтибида сделалась возлюбленной Эномая, германец, подпав под власть гречанки, мало-помалу становился все угрюмее, мрачнее и не раз показывал, что у него больше нет прежней любви и уважения к Спартаку. На последнем совещании военачальников в лагере под Гнатией, после известия об отказе Катилины стать во главе войска гладиаторов, один только Эномай высказался против принятого решения отойти за Альпы и каждому вернуться в свою страну. Противореча предложениям Спартака, он употреблял по отношению к нему грубые и резкие выражения, произносил какие-то загадочные и угрожающие фразы, бормотал что-то бессвязное о несносном деспотизме, о надменности, злоупотреблении властью, которое невозможно больше терпеть, о равноправии, ради завоевания которого гладиаторы взялись за оружие; он заявлял, что это равноправие стало теперь пустым звуком из-за диктаторской власти, под которую подпали гладиаторы, что уже пришло время перестать ей подчиняться. Хвала богам, они уже не дети, которые страшатся розги наставника!

Спартак вскочил с места, разгневанный нелепой выходкой германца, затем снова сел и заговорил дружески и ласково, стараясь успокоить дорогого ему человека. Но Эномай, видя, что Крикс, Граник и другие военачальники на стороне Спартака, в бешенстве выбежал из палатки, не желая больше участвовать в совещании своих соратников.

Фракийца очень беспокоило поведение Эномая: в течение нескольких дней он избегал встреч со Спартаком, а если они случайно сталкивались, не заговаривал и смущенно молчал, уклоняясь от объяснений, которых Спартак хотел от него добиться.

А происходило вот что. Под влиянием Эвтибиды Эномай стал дерзким и раздражительным, но, когда оказывался лицом к лицу с фракийцем, весь гнев его угасал перед добротой, сердечностью и бесконечной простотой Спартака, не изменявшей ему и в дни его величия; честная совесть германца восставала против злобных вымыслов гречанки, и, встречаясь с великим вождем, он чувствовал стыд и поневоле бывал вынужден признать его душевное и умственное превосходство; он всегда любил и уважал Спартака и теперь не мог относиться к нему с неприязнью.

Спартак доискивался и никак не мог найти причины этой внезапной перемены в Эномае, к которому он питал искреннюю глубокую привязанность.

Эвтибида, превратив Эномая в кроткого, послушного ей

ягненка, сумела окружить глубокой тайной свою близость с военачальником-германцем, и Спартаку, по натуре честному и благородному, даже не приходила в голову мысль, что всему причиной коварные ухищрения и темные интриги гречанки, в которые она необычайно ловко вовлекла Эномая; он и подумать не мог, что в странном, необъяснимом поведении германца повинна Эвтибида; он о ней совершенно позабыл, а она избегала встреч с верховным вождем гладиаторов.

Как только Спартак, печальный и задумчивый, вернулся из поездки по окрестностям Аскула, он удалился в свою палатку и приказал одному из контуберналов позвать к нему Эномая.

Контубернал отправился выполнить приказание вождя, а Спартак, оставшись один, погрузился в свои думы. Контубернал очень скоро вернулся и доложил:

— Я встретил Эномая, он сам шел к тебе. Да вот он уже тут.

И контубернал отошел в сторону, чтобы пропустить Эномая. Тот, насупившись, подошел к Спартаку.

— Привет тебе, верховный вождь гладиаторов,— начал он.— Мне надо поговорить с тобой и...

— И я хотел поговорить с тобой,— прервал его Спартак, поднявшись со скамьи, и сделал знак контуберналу, чтобы тот удалился. Затем, обратившись к Эномаю, он сказал мягко и ласково:— Привет тебе! Добро пожаловать, брат мой Эномай, говори, что ты хотел сказать мне.

— Я хотел...— произнес с угрозой в голосе и с презрительным видом германец, все же опустив перед Спартаком глаза.— Я устал, и мне надоело быть игрушкой... твоих прихотей... Если быть рабом... то я предпочитаю быть в рабстве у римлян... я хочу воевать, а не прислуживать тебе...

— Ах, клянусь молниями Юпитера,— воскликнул Спартак, горестно всплеснув руками, и с сожалением поглядел на германца,— не иначе, как ты сошел с ума, Эномай, и...

— Клянусь чудесными косами Фреи,— прервал его германец и, подняв голову, посмотрел на Спартака своими маленькими сверкающими глазами,— я пока еще в своем уме!

— Да помогут тебе боги! О каких таких прихотях ты говоришь? Когда это я пытался тебя или кого другого из наших товарищей по несчастью и по оружию превратить в игрушку?

— Я этого не говорю... и не знаю, ты ли...— в замешательстве ответил Эномай, вновь опустив глаза.— Не знаю, ты ли... но только знаю, что, в конце концов, я тоже человек...

— Разумеется! Честный, мужественный и храбрый человек! Таким ты был всегда и таким можешь быть и в будущем,— сказал Спартак, устремив зоркий взгляд на Эномая, как бы желая

прочесть самые сокровенные его мысли. — Но какое отношение имеет все сказанное тобой к тому, о чем ты хотел поговорить со мной? Когда же это я ставил под сомнение твой авторитет в нашем лагере? Как могла прийти тебе в голову мысль, что я не то что презираю тебя, но хотя бы не отдаю тебе должного? Ведь твоя храбрость, твоя смелость внушают уважение каждому, кто тебя хоть сколько-нибудь знает! Как же ты мог так подумать обо мне? Откуда у тебя такие подозрения? Какая причина вызвала твое непонятное, необъяснимое отношение ко мне? Чем я обидел тебя?.. В чем я провинился перед тобой лично или перед нашим общим делом, которое я взялся осуществить и которому безраздельно посвятил всю свою жизнь?

— Обидел... провинился... да, собственно говоря... нет... по правде сказать, ты ничем не обидел меня... ни в чем не провинился перед всеми нами... Напротив, ты опытный, искусный полководец... ты это не раз доказывал... Тебе всегда сопутствовала удача, ты многократный победитель... Толпы гладиаторов, пришедшие к тебе, ты поднял до уровня дисциплинированного войска, которое внушает страх врагам... Что и говорить... мне не на что жаловаться...

Так отвечал Эномай, и речь его, вначале грубая и заносчивая, мало-помалу, незаметно для него самого, смягчилась, и закончил он ее совсем в другом тоне, ласковом и дружелюбном.

— Но почему же ты вдруг так изменил отношение ко мне? Почему так плохо говоришь обо мне? Ведь я всегда только и думаю о благе и о победе гладиаторов; я ничего не делал и не добивался звания верховного вождя, хотя меня не раз избирали; со всеми своими товарищами по несчастью, а с тобою в особенности, я всегда жил в дружбе и вел себя с ними как истинный друг их и соратник.

Так говорил Спартак, и его благородное лицо выражало печаль и огорчение. Он беседовал с Эномаем, стараясь проникнуть в тайники его души.

— Погоди, Спартак, не надо так говорить, не смотри на меня такими глазами! — сердито бормотал Эномай, однако по голосу чувствовалось, что он растроган и с большим трудом сдерживает свое волнение.— Я ведь не говорил... У меня и в мыслях не было... Я не хотел сказать...

— Если я отстаивал мысль о возвращении каждого в его страну, то только потому, что по долгом и зрелом размышлении я убедился, что, сражаясь в одной только Италии, мы никогда не одержим полной победы над Римом. Рим!.. Победить Рим, сокрушить его могущество, уничтожить его тираническую власть!.. Неужели же ты думаешь, что мысль об этом не нарушает ночью мой покой, не преследует меня в сновиденьях?.. Стать выше

Бренна[1], Пирра, Ганнибала!.. Свершить то, чего не могли достигнуть самые прославленные полководцы!.. Да разве это не было бы для меня великой честью? Но ведь Рим, с которым воюют в пределах Италии,— это Антей: побежденный и поверженный Геркулесом, он встает еще более сильным, чем прежде. Допустим, что мы разобьем с великим трудом римские легионы, прольем немало крови,— через несколько дней Рим выставит против нас новые и новые армии, двинет на нас еще шестьдесят, семьдесят легионов, пока не разобьет, не уничтожит нас окончательно. Чтобы победить Антея, божественный Геркулес не поверг его на землю, а задушил, подняв на воздух своими мощными руками; чтобы победить Рим, мы должны поднять против него одновременно все угнетенные народы, мы должны взять империю в кольцо и наступать со всех сторон на Италию, все теснее и теснее сжимать это кольцо вокруг стен Сервия Туллия[2] и с армией в шестьсот — семьсот тысяч воинов осилить, задушить этот роковой народ и роковой город. Это единственная возможность победить Рим, это единственный путь к уничтожению его могущества; если нам не удастся совершить задуманное, наши дети, наши внуки и правнуки этого добьются, но победа придет только так. Никакая иная война, никакая иная борьба с Римом невозможна; Митридат будет побежден так же, как были побеждены Ганнибал, народы Рейна, парфяне и карфагеняне, греки и иберийцы. Только единый союз всех угнетенных против единого угнетателя даст им победу над этим гигантским спрутом, который медленно, постепенно, но непреодолимо протягивает свои огромные щупальца по всей поверхности земли.

Спартак воодушевился и, весь горя, говорил со страстью вдохновения, глаза его сверкали. Слушая его, Эномай, честный, искренний человек и преданный друг Спартака, чувствовал, как его, почти помимо воли, влечет к фракийцу; он был околдован его красноречием и чувствовал, как в душе его утихает гнев, который Эвтибида разожгла с таким трудом своими хитроумными уловками. Когда же вождь гладиаторов умолк, германец, сам того не замечая, оказался совсем близко около него и, умоляюще протянув руки к прекрасному и величественному спасителю рабов, окруженному в эту минуту каким-то ореолом волшебного сияния, произнес дрожащим от волнения голосом:

— О, прости, Спартак, прости меня... Ты не человек, ты полубог!..

---

[1] Бренн — предводитель галлов, вторгшихся в Италию в 390 году до н. э. и разбивших римлян при Аллии (левый приток Тибра), к северу от Рима.

[2] Сервий Туллий (по преданию, V век до н. э.) — шестой легендарный римский царь.

— Нет, я самый счастливый из людей, потому что в тебе я вновь обрел своего брата! — воскликнул растроганный фракиец, открывая объятия Эномаю, который порывисто бросился к нему.

— Ах, Спартак, Спартак... я люблю тебя и почитаю еще больше, чем прежде!

Оба друга молчали, соединившись в братском объятии. Первым освободился из объятий Спартак и голосом, в котором еще чувствовалось пережитое волнение, спросил германца:

— Теперь скажи мне, Эномай, зачем ты пришел ко мне?

— Я?.. Но... да я уж и не знаю...— ответил германец сконфуженно.— К чему вспоминать?.. Не стоит и говорить об этом!

Он умолк на мгновение, а затем, подняв голову, с живостью добавил:

— Раз уж я пришел и ты, верно, считаешь, что пришел попросить тебя о чем-то, то я прошу тебя, чтобы я и мои германцы заняли самые опасные позиции в предстоящем сражении с консулом Лентулом.

Спартак поглядел на него ласково и воскликнул:

— Ты верен себе! Так же храбр, как и честен!.. Будешь сражаться на самом опасном участке.

— Ты твердо обещаешь это?

— Да,— ответил Спартак, протягивая Эномаю руку.— Ты ведь знаешь, что в моей душе нет места ни лжи, ни страху.

И, беседуя с другом, Эномай ушел с претория вместе со Спартаком, который хотел проводить его до палаток германцев.

Не успел Спартак отойти и на четверть стадии[1] от преторской площадки, как его догнал спешивший к нему Арторикс. Три дня назад вождь гладиаторов отправил его во главе тысячи конников на разведку в направлении Реаты собрать сведения о войске Геллия. Узнав, что Спартак только что ушел с Эномаем, Арторикс поспешил вслед за ними и догнал их у палаток германских легионов.

— Привет тебе, Спартак! — сказал он.— К Геллию пришла часть его кавалерии. Они уже выступили из Анагнии и идут в Карсеолы, а завтра вечером направятся оттуда в Реату и нападут на тебя не позже чем через пять дней.

Спартак стал размышлять над этим известием и после недолгого молчания сказал:

— Завтра вечером мы снимемся с лагеря и пойдем в направлении Камерина; придем мы туда послезавтра, за несколько часов до полудня после десятичасового перехода, который будет нелегким. По всей вероятности, Лентул прибудет туда послезавт-

[1] Стадий — греческая мера длины, равная 184,97 метра.

ра вечером, самое позднее — на четвертый день утром. Его войска придут усталыми, а мы к тому времени уже отдохнем и со свежими силами обрушимся на Геллия. Не может быть, чтобы мы не одержали над ним победу! После этого мы беспрепятственно продолжим свой путь до Альп. Что ты об этом думаешь, Эномай?

— Превосходный план, достойный великого полководца! — ответил Эномай.

Когда Спартак отпустил Арторикса, германец пригласил друга к себе в палатку и усадил за стол вместе со своими контуберналами, среди которых не хватало только Эвтибиды: у нее было слишком много оснований не показываться на глаза Спартаку.

В дружеской беседе, сопровождавшейся возлияниями терпкого, но превосходного вина, быстро проходили часы, и уже настала ночь, когда Спартак вышел из палатки Эномая. Германец, успевший к тому времени захмелеть, так как, по своему обыкновению, пил, не зная меры, хотел проводить Спартака, но фракиец не позволил ему этого, и, только уступая просьбам контуберналов Эномая, вождь гладиаторов разрешил им проводить его до преторской площадки.

Лишь только Спартак ушел и Эномай остался один, на пороге небольшого отделения, отведенного для него в палатке начальника германцев, появилась Эвтибида, бледная, с распущенными по плечам густыми рыжими косами. Скрестив на груди руки, она стала перед скамьей, на которой сидел Эномай, охваченный думами о фракийце.

— Так вот что...— начала Эвтибида, устремив на германца гневный и презрительный взгляд.— Значит, Спартак опять поведет тебя, куда ему вздумается, как ведет за собою свою лошадь, опять будет пользоваться твоей силой и храбростью, чтобы возвеличиться самому?

— Ах, ты опять? — глухо и с угрозой произнес Эномай, бросив на нее дикий взгляд.— Когда же ты наконец прекратишь свою подлую клевету? Когда перестанешь отравлять мне душу ядом своих измышлений? Ты злее волка Фенриса[1], проклятая женщина!

— Хорошо, хорошо!.. Клянусь всеми богами Олимпа, теперь ты, грубиян и дикарь, животное, лишенное разума, обрушиваешься на меня со всей злобой, а я, глупая, недостойная женщина, люблю тебя, вместо того чтобы презирать и не обращать на тебя никакого внимания... Поделом мне!

— Но почему же, если ты любишь меня, тебе непременно

---

[1] Волк Фенрис — в религии древних германцев один из самых злобных духов, который мучил людей в аду.— *Примеч. автора.*

надо внушать мне ненависть к Спартаку, благороднейшему человеку, человеку великой души и светлого ума? Я не обладаю ни одной из украшающих его высоких добродетелей.

— Ах, глупый человек, ведь и я тоже была введена в заблуждение его мнимыми высокими качествами и добродетелью, я тоже считала, что он не человек, а полубог, хотя я умом и образованностью выше тебя. Долгое время я верила, что в душе его живут самые возвышенные чувства, но, к великому своему сожалению, убедилась в том, что Спартак лжец, каждый его поступок, каждое слово — притворство, лицемерие и в сердце его горит одно-единственное чувство — честолюбие. Я узнала, я поняла, я убедилась в этом, а ты глупец, глупее барана...

— Эвтибида! — весь дрожа, произнес Эномай, и голос его был похож на глухое рычание льва.

— Глупее барана...— храбро продолжала Эвтибида, и глаза ее засверкали от гнева.— Ты ничего не увидел и не видишь. Ведь только что, среди неумеренных возлияний, ты простирался перед ним ниц, как самый жалкий раб, и пел ему гимны.

— Эвтибида! — еле сдерживаясь, повторил германец.

— Не боюсь я твоих угроз! — презрительно ответила гречанка.— Зачем я поверила твоим словам о любви? Теперь я могла бы ненавидеть тебя так же сильно, как я презираю тебя!

— Эвтибида!— громовым голосом воскликнул Эномай; он в ярости вскочил и, угрожающе подняв кулаки, подошел к девушке.

— Посмей только! — надменно произнесла Эвтибида и вызывающе топнула ногой, гордо глядя на гладиатора.— А ну-ка, смелей, ударь, бей, задуши бедную девушку своими звериными лапами... Это ведь куда почетнее, чем убивать своих соотечественников в цирке... Ну, смелее! Смелей!..

При этих словах Эвтибиды Эномай в ярости бросился к ней и готов был задушить ее, но, подойдя ближе, вдруг опомнился и, задыхаясь от гнева, глухо произнес, потрясая кулаками:

— Уходи, Эвтибида... уходи, ради богов твоих... пока я не потерял последнюю каплю рассудка!..

— И это все, что ты можешь ответить женщине, которая тебя любит, единственному на земле существу, любящему тебя? Так-то ты платишь мне за мою любовь? Вот она, благодарность за все заботы, которыми я окружила тебя, признательность за то, что вот уж сколько месяцев я думаю только о тебе, о твоей славе, о твоем добром имени! Хорошо же! Отлично! Этого следовало ожидать! Вот, делайте добро людям,— добавила она более мягко и нервно забегала взад и вперед по палатке, как только увидела, что Эномай опустился на скамью.— Думаешь о счастье и благополучии близкого человека — и вот награда! Как

я глупа! К чему мне было думать о тебе, заботиться о твоей славе? За что ты обрушил на меня свой зверский гнев и эти страшные проклятия, за что? Ведь я старалась спасти тебя от черных козней, которые замыслили против тебя!

И, помолчав, она добавила дрожащим, взволнованным голосом:

— Нет, напрасно я так поступала. Мне не надо было вмешиваться. Пусть бы тебя растоптали, пусть привели бы к гибели... О, если бы я только могла остаться к этому равнодушной! По крайней мере я избежала бы сегодня этих страданий, они для меня тяжелее смерти... Терпеть оскорбления от тебя, поношения от тебя... от человека, которого я так любила... который мне дороже жизни... О, это слишком!.. Я так страдаю!.. Как бы ни были велики грехи мои в прошлом, такого горя я не заслужила! — И Эвтибида зарыдала.

Этого было больше чем достаточно, чтобы сбить с толку бедного Эномая. Его ярость стихла и уступила место сомнению, неуверенности, затем в нем заговорила жалость, нежность и, наконец, любовь, и, когда Эвтибида, закрыв лицо руками, пошла к выходу, он вскочил и, загородив ей дорогу, произнес смиренно:

— Прости меня, Эвтибида... я сам не знаю, что говорю... что делаю... не покидай меня так... прошу тебя!

— Отойди, во имя богов, покровителей Афин! — сказала гречанка, гордо подняв голову и глядя на германца с презрением; глаза ее были еще влажны от пролитых слез.— Отойди, оставь меня в покое и дай мне вдали от тебя пережить свой позор, свое горе, предаться сладким воспоминаниям о своей отвергнутой, поруганной, разбитой любви.

— О нет... нет... Я не отпущу тебя, не позволю, чтобы ты так ушла...— говорил германец, схватив девушку за руки и ласково увлекая ее в глубь палатки.— Ты должна выслушать мои оправдания... Прости меня... прости меня, Эвтибида... прости, если я обидел тебя... Сам не знаю... как будто бы не я говорил... гнев обуял меня... Выслушай меня, молю тебя!

— Неужели я опять должна выслушивать поношения и оскорбления? Отпусти, отпусти меня, Эномай, я не хочу испытать самого ужасного горя: увидеть, как ты снова набросишься на меня. Я не хочу умереть от твоей руки со страшной мыслью, что ты — мой убийца!

— Нет, нет, Эвтибида, не считай меня способным на это, не пользуйся правом презирать меня, данным мною тебе сегодня, не пользуйся благоприятным положением, в какое тебя поставила моя звериная злоба... Не своди меня с ума! Выслушай меня, выслушай, Эвтибида, или, клянусь священной змеей Мид-

гард [1], я перережу себе горло на твоих глазах! — И он выхватил кинжал, висевший у него за поясом.

— Ах, нет, нет!.. Во имя молний Юпитера! — с притворным ужасом восклицала гречанка, умоляюще протягивая к великану руки.

И слабым голосом она произнесла печально:

— Твоя жизнь слишком дорога для меня... слишком драгоценна... о мой обожаемый Эномай, о любовь моя!

— О Эвтибида! О моя Эвтибида! — произнес он нежно, голосом, в котором звучала искренняя любовь.— Прости меня, прости меня!..

— Ах, золотое сердце, благородная душа! — растроганно проговорила девушка, улыбаясь, и обвила руками шею колосса, простершегося у ее ног.— Прости и ты меня за то, что я разгневала тебя и довела до ярости.

Крепко прижав Эвтибиду к груди, германец покрывал поцелуями ее лицо, а она шептала:

— Я так люблю тебя! Я не могла бы жить без тебя! Простим друг друга и забудем о случившемся.

— Добрая... великодушная моя Эвтибида!

И оба умолкли, обнявшись. Эномай стоял на коленях перед Эвтибидой.

Первой нарушив молчание, она вкрадчиво спросила:

— Веришь ли ты, что я люблю тебя?

— Верю, так же как верю во всемогущество бессмертного Одина и в то, что он разрешит мне в день, когда душа моя расстанется с телом, пройти по великому трехцветному мосту в священный град блаженных и отдохнуть под сенью исполинского ясеня Идразила.

— Тогда скажи, во имя золотых стрел Дианы, как же ты мог хотя бы одно мгновение усомниться в том, что я желаю тебе добра?

— Я никогда в этом не сомневался.

— А если ты в этом не сомневался и не сомневаешься, почему же ты отвергаешь мои советы, почему доверяешь вероломному другу, который предает тебя, а не женщине, которая тебя любит больше жизни и хочет, чтобы ты был великим и счастливым?

Эномай вздохнул и, ничего не ответив, поднялся и стал ходить взад и вперед по палатке.

Эвтибида украдкой наблюдала за ним. Она сидела на скамье, облокотившись на стол, и, подпирая голову правой рукой, левой

[1] Мидгард — в мифологии древних германцев огромной величины змея, погруженная Одином в море. Там она, кусая свой хвост, заполнила своим телом всю землю.— *Примеч. автора.*

играла серебряным браслетом, изображавшим змею, кусающую свой хвост; браслет этот она сняла с руки и положила на стол.

Так прошло две минуты. Оба молчали, потом Эвтибида, как будто говоря сама с собой, сказала:

— Может быть, я предупреждаю его из корысти? Предостерегаю его от чрезмерной откровенности его благородного сердца, от слепой доверчивости его честной натуры; указываю ему на все хитросплетения козней, которые самая черная измена готовит ему и бедным гладиаторам, восставшим в надежде на свободу, совершающим чудеса храбрости, меж тем как они обречены на участь во сто крат худшую, чем прежняя их судьба,— может быть, делая все это, я забочусь о своей выгоде, не так ли?

— Но кто же так говорил когда-нибудь? Ни у кого этого и в мыслях не было!—воскликнул Эномай, остановившись перед девушкой.

— Ты! — строго сказала Эвтибида.— Ты!

— Я?! — переспросил пораженный Эномай, приложив обе руки к груди.

— Да, ты. Одно из двух: либо ты веришь, что я люблю тебя и желаю тебе добра, и тогда ты должен поверить мне, что Спартак предает вас и изменяет вам; либо ты уверен, что Спартак— воплощение честности и всех добродетелей, а тогда ты должен считать, что я лживая притворщица и изменница.

— Да нет же, нет! — чуть не плача, восклицал бедный германец; он не был силен в логике и в спорах, и ему хотелось избежать разрешения такой мучительной дилеммы.

— Невозможно понять, по какой причине я могла бы предать тебя,— продолжала Эвтибида.

— Прости меня, моя божественная Эвтибида, я не только не понимаю, я и подумать не мог, что ты можешь или хочешь предать меня. Ведь ты дала мне столько доказательств своей любви... Но прости меня... я не вижу, не могу понять, по какой причине Спартак способен меня предать.

— По какой причине? По какой причине? — вскочив, спросила Эвтибида и подошла к Эномаю, который склонил голову, словно боясь ее ответа.

— О!..— воскликнула через минуту девушка, сложив свои маленькие ручки и подняв сверкающие глаза к небу.— И ты еще спрашиваешь? Слепой безумец!

И, помолчав, она добавила:

— Скажи мне, легковерный ты человек, разве после сражения у Фунди не говорил вам Спартак, что консул Варрон Лукулл явился к нему и предлагал ему высокие посты в испанской армии или же префектуру в Африке в том случае, если он согласится покинуть вас на произвол судьбы?

— Да, он это говорил. Но ты ведь знаешь, что́ Спартак ответил консулу...

— Ах ты, бедный глупец! Ты не понимаешь, почему он так ответил? Да потому, что ему предлагали слишком мало за услуги, которых от него требовали.

Эномай, не произнеся ни звука, ходил взад и вперед, склонив голову.

— Он считал недостаточным для себя чин квестора или должность префекта...

Эномай молчал, продолжая свою прогулку.

— Теперь ему сделали новые предложения, удвоили, утроили посулы, а он вам об этом ничего не сказал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Эномай, остановившись перед Эвтибидой.

— А как ты думаешь, зачем Рутилий, переодевшись апулийским крестьянином, отправился в Рим? Думаешь, для того, чтобы предложить Катилине принять командование над войском гладиаторов?

— Да, думаю...

— Спартак мог, конечно, уверить вас в этом — он хитрый и коварный человек,— но меня ему не обмануть, я прекрасно поняла,что гонец был послан в Рим для возобновления переговоров, начатых в Фунди консулом Варроном Лукуллом.

Эномай опять зашагал по палатке.

— А если это не так, то почему же был отправлен Рутилий, именно Рутилий — латинянин и свободнорожденный?

Эномай молчал.

— А почему же, когда Рутилий таинственно погиб, Спартак, не посоветовавшись ни с кем из вас, хотя вы такие же военачальники, как и он, и, может быть, более достойные и храбрые, чем Спартак, почему же он самовольно отправил в Рим преданного ему Арторикса, переодетого фокусником? Почему именно Арторикса, возлюбленного сестры его Мирцы? Почему именно его и никого другого?

Эвтибида сделала паузу и, глядя на Эномая, шагавшего по палатке из угла в угол, продолжала:

— И скажи, мой любимый, откуда такие перемены? Лишь только Арторикс вернулся из Рима, Спартак настоял на том, чтобы принято было решение покинуть Италию и вернуться во Фракию, в Галлию, Иллирию и Германию.

Эномай остановился и, опустив голову, устремил неподвижный, дикий взгляд на одно из железных колец, державших натянутое полотнище, прикрепленное к крюку, вбитому в землю; он грыз ногти пальцев правой руки, а левой уперся в бок.

— Разве все это естественно? Логично? Справедливо и чест-

но?..— сказала через минуту Эвтибида и, помолчав, добавила: — Как! Обессиленный Рим не знает, где набрать легионы, чтобы противопоставить их победоносным войскам Сертория в Испании, Митридата в Азии, а у нас в этот роковой для Рима час имеется семидесятитысячная армия, прекрасно дисциплинированная, отлично вооруженная, одержавшая столько побед, и, вместо того чтобы повести ее в наступление на вражеский город и без труда овладеть им, мы бежим от него! Разве это логично? Разве это естественно?

Эномай стоял, застыв на одном месте, и только время от времени медленно покачивал головой.

— Лентул, Геллий, две их армии... Да ведь это просто басни, выдуманные Спартаком для того, чтобы оправдать и чем-нибудь объяснить постыдное и непонятное бегство, скрыть от глаз обманутых людей страшное и слишком очевидное предательство! Геллий!.. Лентул!.. Их армии! — продолжала рассуждать Эвтибида, как будто говорила сама с собой.— Но почему же на разведку о движении пресловутого войска Лентула отправился он сам с тысячей всадников? Почему же наблюдать за воображаемым войском Геллия у Реаты он послал Арторикса? Почему этот Арторикс все время разъезжает то сюда, то туда? Почему он никого другого из вас не посылает?

— Ты права!.. К сожалению, ты права...— бормотал едва слышно Эномай.

— О, клянусь всеми богами небесных сфер! — вскричала Эвтибида.— Проснись же от роковой летаргии, в которую тебя ввергла измена, проснись во имя всех твоих богов, открой глаза, взгляни: тебя завлекли на край страшной бездны и хотят низвергнуть в нее. Вот куда тебя завела рука твоего друга... И если тебе нужны еще доказательства измены, если ты желаешь знать причины, которые могли толкнуть на нее этого человека, то вспомни, что он безумно любит римскую патрицианку Валерию Мессала, вдову Суллы, и ради нее и ради своей любви он всех вас предаст римскому сенату, а тот в награду за предательство даст ему в жены любимую патрицианку, а вдобавок виллы, богатства, почести и славу...

— Постой! Это правда! Правда!..— крикнул Эномай, пораженный этим последним доводом и окончательно побежденный роковым скоплением улик. Все, вместе взятые, они с полной очевидностью доказывали измену фракийца.— Спартак — проклятый предатель! Так пусть же чудовищный, мерзкий пес Манигармор [1] вечно терзает его в пропастях Нифльгейма!

[1] Манигармор.— Согласно древнегерманской мифологии, в аду (Нифльгейм) находится страшный пес по имени Манигармор, раздирающий тела осужденных.— *Примеч. автора*

При этих проклятиях германца глаза Эвтибиды загорелись злорадным огнем, она быстро подошла к Эномаю и, задыхаясь, зашептала торопливо:

— Чего же ты медлишь? Неужели ты хочешь, чтобы тебя и верных твоих германцев завели в какое-нибудь горное ущелье, где они лишены будут возможности сражаться и поневоле позорно сложат оружие? И вы все будете распяты или отданы на растерзание диким зверям на арене цирка!

— О нет, клянусь всеми молниями Тора!— громоподобным голосом воскликнул, не помня себя от гнева, германец.

Он поднял лежавшие в углу палатки гигантские латы и облекся в них. Надевая шлем, пристегивая к перевязи меч, надевая на руку щит, он выкрикивал:

— Нет... я не допущу, чтобы он предал меня... и мои легионы... Немедленно, сейчас же... я оставлю лагерь изменника.

— А завтра за тобой последуют все остальные: галлы, иллирийцы и самниты. С ним останутся только фракийцы и греки... Тебя провозгласят верховным вождем. Тебе, тебе одному достанется честь и слава завоевания Рима... Иди... иди... И пусть твои германцы подымутся тихо-тихо... Сделай так, чтобы бесшумно поднялись и все легионы галлов... И уходи... Уйдем этой же ночью... Послушайся моих советов. Ведь я так люблю, боготворю тебя и хочу, чтобы ты покрыл себя славой и был самым великим среди всех людей.

И, говоря так, Эвтибида тоже надевала на себя латы и шлем. Увидев, что Эномай выходит из палатки, она крикнула ему вслед:

— Иди, я прикажу седлать лошадей!

Через несколько минут букцины германских легионов протрубили сигнал, и менее чем через час десять тысяч солдат Эномая свернули палатки и, построившись в боевом порядке, приготовились выступить из лагеря.

Часть лагеря, занятая легионами германцев, была расположена у правых боковых ворот. Эномай сказал пароль начальнику стражи, стоявшему у этих ворот, и приказал своим легионам без шума выходить из лагеря. Букцины германцев разбудили и галлов, их соседей; некоторые решили, что всему войску приказано сняться с лагеря, другие — что к лагерю подошел враг. Все вскочили, наспех надели доспехи, вышли из своих палаток, и трубачи без всякого приказа затрубили подъем. Вскоре весь лагерь был на ногах, и все легионы взялись за оружие среди суматохи и беспорядка, которые всегда возникают даже в самом дисциплинированном войске при неожиданном появлении неприятеля.

Одним из первых вскочил Спартак и, выглянув из палатки, спросил у стражи, стоявшей на претории, что случилось.

— Как будто неприятель приближается,— ответили ему.

— Как так? Откуда? Какой неприятель? — спрашивал Спартак, удивленный таким ответом.

Но так как на войне нет ничего невозможного, то Спартак подумал — хотя это его чрезвычайно удивило,— что один из консулов мог прийти со стороны Аскула ускоренным маршем по какой-нибудь неизвестной дороге. Бросившись в палатку, фракиец поспешно надел доспехи и тотчас направился к центру лагеря.

Там он узнал, что Эномай со своими легионами выходит из лагеря через правые боковые ворота и что другие легионы, вооружившись, готовятся последовать его примеру в полной уверенности, что приказ исходит от Спартака.

— Да как же это? — воскликнул Спартак, ударив себя по лбу ладонью.— Да нет же, не может быть!

И при свете горевших там и сям факелов он быстрым шагом направился к указанным воротам.

Когда он пришел туда, второй германский легион уже выходил из лагеря.

Прокладывая себе путь своими мощными руками, Спартак успел обогнать последние ряды и очутился за воротами. Тогда он бросился вперед и, пробежав расстояние в четыреста — пятьсот шагов, достиг того места, где Эномай верхом на коне, окруженный своими контуберналами, ждал, пока закончится прохождение его второго легиона.

Какой-то человек, тоже в полном вооружении, обогнал Спартака; фракиец сразу узнал его: это был Крикс. Когда они оба добежали до Эномая, Спартак услышал, как Крикс своим звучным голосом, запыхавшись от бега, кричал:

— Эномай, что ты делаешь? Что случилось? Почему ты поднял на ноги весь лагерь? Куда ты направляешься?

— Подальше от лагеря изменника,— получил он ответ. Голос у Эномая был мощный, вид невозмутимый.— Советую и тебе сделать то же самое, если ты не хочешь стать жертвой подлого обмана и предательства со всеми твоими легионами. Уходи со мной. Пойдем на Рим сообща!

Крикс собирался ответить на эти поразившие его слова, но в это время подоспел Спартак и, тяжело переводя дыхание, спросил:

— О каких предателях ты говоришь, Эномай? На кого намекаешь?

— О тебе говорю, тебя имею в виду. Я воюю против Рима и пойду на Рим, не хочу я идти к Альпам, чтобы попасться

среди горных теснин в когти неприятелю, «по несчастной случайности», разумеется!

— Клянусь всеблагим и всесильным Юпитером,— вне себя от гнева воскликнул Спартак,— ты, верно, шутишь, но шутка твоя самая скверная из всех, до каких может додуматься только безумный человек.

— Я не шучу, клянусь Фреей... не шучу... Я говорю серьезно и в полном рассудке.

— Ты меня считаешь предателем? — крикнул Спартак, задыхаясь от гнева.

— Не только считаю, но совершенно уверен в этом и объявляю это во всеуслышанье.

— Ты лжешь, пьяный дикарь! — закричал Спартак громоподобным голосом и, вытащив из ножен огромный меч, бросился на Эномая.

Тот тоже выхватил меч и погнал лошадь на Спартака.

Но тотчас контуберналы Эномая уцепились за него, а Крикс, стоявший рядом с ним, схватил его лошадь под уздцы и, осадив назад, закричал:

— Эномай, если ты не сошел с ума, о чем свидетельствуют твои поступки, то я утверждаю, что предатель не он, а ты! Ты подкуплен римским золотом и действуешь по подсказке Рима...

— Что ты говоришь, Крикс?..— воскликнул, весь дрожа, германец.

— Ах, клянусь всемогущими лучами Белена,— произнес галл, кипя возмущением,— только какой-нибудь римский консул, если бы он был на твоем месте, мог действовать так, как действуешь ты!

Между тем Спартака окружили Граник, Арторикс, Борторикс, Фессалоний и двадцать других военачальников, но в порыве гнева, увеличившем силу и мощь его мускулов, он оттолкнул всех окружающих и добрался до Эномая.

Подойдя к нему, он спокойно вложил меч в ножны и устремил на германца глаза, за минуту перед тем горевшие возмущением и гневом, а теперь влажные от слез. Пристально глядя на Эномая, он произнес дрожащим голосом:

— Не иначе как одна из эриний говорит твоими устами. Да, да, не сомневаюсь... Эномай, товарищ мой, вместе со мною прошедший опасный путь от Рима до Капуи, товарищ всех пережитых тревог и радостей с самого начала восстания, не мог так говорить, как ты говорил сегодня. Я не знаю... не понимаю... Или, может быть, и ты и я — жертвы какого-то страшного заговора, нити которого тянутся из Рима, только не могу понять, каким образом он проник в наш лагерь... Но это неважно. Если бы кто-нибудь другой, а не ты, которого я всегда любил, как

брата, осмелился сказать то, что ты сказал сейчас, его уже не было бы в живых... А теперь уходи... покинь дело твоих братьев и твои знамена... здесь, перед лицом наших товарищей, я клянусь прахом моего отца, памятью матери, жизнью сестры, всеми богами небес и ада, что я не запятнал себя подлостями, которые ты мне приписывал, многого я даже уразуметь не могу. И если я хотя бы на мгновение, хотя бы малейшим образом нарушил какое-либо из своих обязательств как брата и вождя, пусть испепелят меня молнии Юпитера, пусть имя мое будет проклято из поколения в поколение и перейдет к самым отдаленным потомкам с неизгладимым позорным клеймом предательства и пусть тяготеет на нем во веки веков проклятие, еще страшнее, чем на именах братоубийцы Тиеста, детоубийцы Медеи и гнусного Долона!

Спартак был бледен, но полон спокойствия, уверенности в своей правоте, и клятва его, произнесенная твердо и торжественно, произвела глубокое впечатление на всех услышавших ее; по-видимому, она поколебала даже дикое упрямство Эномая. Но вдруг близ правых боковых ворот затрубили букцины третьего (первого галльского) легиона, ошеломив всех стоявших за валом.

— Что это такое? — спросил Борторикс.

— Что все это означает? — изумился Арторикс.

— Клянусь богами преисподней,— воскликнул Спартак, и бледное лицо его побагровело,— стало быть, и галлы уходят?

Все побежали к выходу из лагеря.

Эвтибида в шлеме с опущенным забралом, верхом на своей небольшой, изящной лошадке держалась возле Эномая; ее почти и не было видно за его грузной фигурой. Она взяла его лошадь за повод и быстро повлекла на дорогу, по которой уже успели пройти два легиона; а за германцем и гречанкой последовали и другие контуберналы Эномая.

В то время как Крикс и Спартак быстро шли обратно, к боковым воротам, из них выехал конный отряд из тридцати германцев-лучников, задержавшихся в лагере. Они скакали по дороге, чтобы догнать своих соотечественников, и, увидев Спартака и Крикса, шедших им навстречу, загудели возмущенно:

— Вот Спартак!

— Вот он, предатель!

— Убить его!

Каждый поднял свой лук, и отряд прицелился в обоих вождей. Декурион крикнул:

— Вот тебе, Спартак, и тебе, Крикс! Получайте, предатели!

И тридцать стрел, прожужжав, вылетели из луков, нацеленные в Спартака и Крикса.

Они едва успели защитить головы щитами, в которые впи-

лась не одна стрела; а Крикс, подняв щит и прикрыв своим телом Спартака, крикнул:

— Во имя любви к нашему делу прыгай через ров!

Спартак мгновенно перескочил через ров, тянувшийся вдоль дороги, и очутился на соседнем лугу; Крикс благоразумно последовал за ним, и оба таким образом спаслись от дезертиров, а те, больше не обращая на них внимания, поскакали дальше, догоняя легионы германцев.

— Проклятые дезертиры! — воскликнул Крикс.

— Пусть уничтожит вас консул Геллий,— добавил Спартак в порыве гнева.

Оба они продолжали свой путь по краю рва и вскоре дошли до ворот лагеря, где Арторикс и Борторикс с большим трудом, то просьбами, то бранью, старались задержать солдат третьего, галльского легиона, которые также хотели уйти из лагеря и последовать за двумя германскими.

Их удержал Крикс. Мощным голосом он принялся осыпать галлов бранью на их родном языке, угрожал им, называл негодным сбродом, сборищем разбойников, толпой предателей и вскоре заставил замолчать самых упорных; в заключение своей речи он поклялся Гезом, что, как только настанет день, он разыщет виновных, подкупленных предателей, зачинщиков бунта и предаст их распятию.

Галлы немедленно успокоились и тихо, послушно, словно ягнята, вернулись в лагерь.

Но, заканчивая свою речь, Крикс вдруг сильно побледнел, голос его, вначале сильный и звучный, стал хриплым, слабым, и, едва только первые ряды взбунтовавшегося легиона повернули назад, он вдруг зашатался, сильно побледнел и упал на руки Спартака, который стоял с ним рядом и, к счастью, успел его поддержать.

— О, клянусь богами,— горестно воскликнул фракиец,— тебя ранили, когда ты прикрывал меня от стрел!

Крикс действительно был ранен стрелой в бедро; другая, пробив петли кольчуги, вонзилась ему в бок между пятым и шестым ребром.

Крикса перенесли в палатку, стали заботливо ухаживать за ним, и, хотя он потерял много крови, все же врач успокоил Спартака, который стоял бледный и взволнованный у ложа друга: ни та, ни другая рана не представляла опасности.

Спартак всю ночь бодрствовал у постели больного, погруженный в печальные мысли, вызванные всем случившимся в этот день; он был возмущен Эномаем и его непонятным дезертирством и крайне встревожен, предвидя опасности, навстречу которым неизбежно шли десять тысяч германцев.

На заре следующего дня, согласно намеченному плану, Спартак, побуждаемый Криксом, велел своим легионам сняться с лагеря, и они отправились в путь в направлении Камерина, куда и пришли поздно ночью; а консул Лентул с тридцатью шестью тысячами человек явился почти на день позже.

Консул был не слишком опытен в ратном деле; зато, как истый патриций, преисполненный латинской спеси и высокомерия, считал невероятным, чтобы четыре римских легиона, в составе двадцати четырех тысяч бойцов и еще двенадцати тысяч вспомогательных сил, не могли бы в двадцать четыре часа разбить скопище из семидесяти тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, плохо дисциплинированных, без чести и веры; правда, они разгромили войска преторов, но это произошло не вследствие их доблести, а беспомощности преторов.

Поэтому, заняв выгодную позицию на склонах нескольких холмов и произнеся перед своими войсками напыщенную и пылкую речь для воодушевления легионеров, он на следующий день вступил в бой со Спартаком. Но тот с мудрой предусмотрительностью сумел извлечь выгоду из численного превосходства своего войска и менее чем за три часа почти полностью окружил врага, легионы которого, хотя и сражались с большим мужеством, все же вынуждены были отступить, опасаясь нападения с тыла.

Спартак искусно использовал замешательство неприятеля и, появляясь в различных местах поля битвы, примером своей необыкновенной храбрости поднял дух гладиаторов, и они с такой силой обрушились на римлян, что за несколько часов полностью разбили их и рассеяли, захватив лагерь и обоз.

Остатки легионов Лентула бежали — одни к сеннонам [1], другие в Этрурию, и среди них был сам консул.

Но несмотря на радость этой новой и блестящей победы, тем более славной, что она была одержана над одним из римских консулов, Спартака тревожила мысль о Геллии, другом консуле, который мог напасть на Эномая и перебить его войско.

Поэтому на следующий же день после сражения при Камерине он снялся с лагеря и повернул назад, в направлении Аскула, по своему обыкновению выслав вперед многочисленную конницу под командованием самых предусмотрительных военачальников; продвигаясь далеко вперед, они все время доставляли сведения о вражеском войске.

Отдохнув под Аскулом, Спартак и его войско пустились в путь по направлению к Требулу; под вечер они нагнали Мамилия, начальника всей конницы, и он сообщил им, что Эномай

---

[1] Сеннон ы — могущественное племя, жившее в Галлии на территории современных Иль-де-Франса и Шампани.

расположился лагерем близ гор у Нурсии, а Геллий, узнав, что отряд в десять тысяч германцев из-за несогласия и недоверия к Спартаку отделился от него, собирается напасть на них и уничтожить.

Дав своим воинам шестичасовой отдых, Спартак в полночь выступил из Требула и двинулся через суровые скалы каменистых Апеннин, направляясь к Нурсии.

Но в то время как Спартак продвигался к Нурсии, ночью явился туда консул Геллий Публикола с армией в двадцать восемь тысяч человек и, едва взошла заря, напал на Эномая. Германец необдуманно принял неравный бой.

Схватка была жестокой и кровопролитной. Два часа бой шел с переменным счастьем. Обе стороны сражались с одинаковой яростью и упорством. Но вскоре Геллий растянул фронт своего войска, и ему удалось окружить оба германских легиона. Для того чтобы сильнее сжать их в кольцо, он приказал отступить двум своим легионам, сражавшимся с гладиаторами лицом к лицу. Это едва не погубило римлян. Видя, что легионеры консула отступают, германцы, воодушевленные примером Эномая, бросились на врага с неудержимой силой, и ряды римлян несколько расстроились; из-за этого хитроумного маневра они принуждены были действительно отступить, и в войске Геллия произошло сильное замешательство.

Но тут на гладиаторов напала с флангов легкая пехота римлян, а вслед за ней обрушились с тыла далматские пращники, и вскоре германцы были стиснуты в этом кольце смерти. Убедившись, что спасение невозможно, они решили пасть смертью храбрых и сражались с невиданной яростью свыше двух часов; они все погибли, нанеся большой урон противнику.

Последним пал Эномай. Он собственноручно убил одного военного трибуна, одного центуриона, великое множество легионеров и с необычайной отвагой продолжал сражаться среди мертвых тел, лежавших грудами вокруг него. Весь израненный, он был наконец поражен в спину ударами нескольких мечей одновременно и рухнул, дико застонав, рядом с Эвтибидой, упавшей раньше его.

Так закончилось сражение, в котором Геллий уничтожил все десять тысяч германцев,— ни один из них не уцелел.

Но едва прекратился бой, раздался резкий звук букцин, предупреждавший победителей о нападении на них нового врага.

Это был Спартак, только что появившийся на поле сражения. Хотя его легионы устали от трудного перехода, он сразу расположил их в боевом порядке, призвал отомстить за гибель братьев, и гладиаторы лавиной обрушились на легионы консула Геллия, среди которых царило смятение.

Геллий сделал все возможное, чтобы привести свои войска в боевую готовность, быстро и в порядке произвести перегруппировку для сражения с новым врагом. Загорелся бой, еще более жестокий и яростный.

Умирающий Эномай стонал, время от времени произнося имя Эвтибиды.

Новое сражение отвлекло римлян в другую сторону, и прежнее поле битвы германцев было пустынным; на этом огромном поле, устланном трупами, слышны были только стоны и вопли раненых и умирающих, то громкие, то еле слышные.

Кровь лилась ручьями из бесчисленных ран, покрывавших исполинское тело Эномая, но сердце его еще билось; в свой смертный час он призывал любимую женщину, а в это время она поднялась с земли и, оторвав лоскут ткани от туники одного из погибших контуберналов, лежавших рядом с ней, обернула им свою левую руку; ее щит разлетелся в куски, и на руке у нее была довольно большая кровоточившая рана. Из-за неожиданного нападения Геллия Эвтибида не успела дезертировать в лагерь римлян или же удалиться с поля сражения, и ей поневоле пришлось принять участие в битве. Когда гречанка была ранена, она решила, что для нее безопаснее всего будет упасть среди восьми — десяти трупов, лежавших около Эномая, и представиться мертвой.

— О Эвтибида, обожаемая моя...— шептал Эномай слабеющим голосом; на бледное лицо его медленно надвигалась тень смерти.— Ты жива?.. Жива?.. Какое счастье! Я умру теперь спокойно... Эвтибида, Эвтибида!.. Жажда мучает меня... в горле пересохло... губы потрескались... дай мне глоток воды... и последний поцелуй!

Лицо Эвтибиды исказилось выражением свирепого злорадства, тем более жестокого, что вокруг простиралось необозримое поле, устланное человеческими трупами; зеленые глаза гречанки взирали с удовлетворением хищного зверя на это страшное зрелище. Она даже не обернулась на слова умирающего и, только вволю насладившись ужасной картиной, равнодушно повернула голову в ту сторону, где лежал Эномай.

Сквозь туман, застилавший глаза умирающего, Эномай разглядел гречанку в одежде, обагренной ее собственной кровью и кровью убитых, лежавших рядом с нею; он со страхом подумал, что и она при смерти, но по мрачному блеску ее глаз и силе движений, с которой она отшвыривала ногой трупы, усеявшие землю, он понял, что она только ранена, и, может быть, даже легко. Внезапно ужасная мысль мелькнула в его сознании, но он постарался отогнать ее и уже чуть слышным голосом произнес:

— О Эвтибида!.. Один только поцелуй... подари мне... Эвтибида!

— Мне некогда! — ответила гречанка, проходя мимо умирающего и бросив на него равнодушный взгляд.

— Ах! Да поразят ее... молнии Тора! — воскликнул Эномай. Сделав последнее усилие, он приподнялся и, широко раскрыв глаза, крикнул, насколько у него еще хватило голоса: — О, теперь я все понял!.. Подлая обманщица!.. Спартак ни в чем не виновен... Ты изверг... была и есть преступница... будь проклята... про...

Он рухнул на землю и больше уже не проронил ни слова, не сделал ни одного движения.

При первых же словах германца Эвтибида повернулась, взглянула на него гневно и угрожающе, даже сделала несколько шагов к нему, но, увидев, что он умирает, остановилась, протянула свою маленькую белую руку, залитую кровью, и с жестом проклятия крикнула:

— К Эребу!.. Наконец-то я увидела тебя умирающим в отчаянии! Да ниспошлют мне великие боги счастье увидеть такую же мучительную смерть проклятого Спартака!..

И она направилась в ту сторону, откуда доносился гул нового сражения.

Глава девятнадцатая

БИТВА ПРИ МУТИНЕ.— МЯТЕЖИ.— МАРК КРАСС ДЕЙСТВУЕТ

Исход сражения между Спартаком и Геллием нетрудно было предсказать. Пробираясь около полудня между трупами на поле битвы, Эвтибида уже издали увидела, что римляне оказывают лишь слабое сопротивление неукротимому натиску гладиаторских легионов, уже начавших охватывать справа и слева фронт консульских войск с явным намерением атаковать неприятеля с флангов.

В то время как храбрая женщина наблюдала за сражением, думая о том, что поражение римлян лишит ее возможности мести, о которой она так мечтала, мимо нее промчался белый конь под голубым чепраком и в чудесной сбруе; обезумев от страха, насторожив уши, с диким взглядом, он мчался как бешеный, бросаясь то туда, то сюда, спотыкался о трупы павших, пятился, перепрыгивал через убитых и снова наступал нечаянно копытом на другой труп.

Эвтибида узнала коня: он принадлежал Узильяку, юному

контуберналу Эномая, который на ее глазах пал утром одним из первых в кровавом бою. Среди ее лошадей одна тоже была белой масти. Эвтибида сразу сообразила, какую выгоду для своих коварных замыслов может она извлечь, завладев этой лошадью.

Она осторожно двинулась в ту сторону, где конь метался в испуге, стала звать его, прищелкивая языком и пальцами, всячески стараясь успокоить и подманить к себе.

Но благородное животное, охваченное страхом, как будто предчувствуя ожидавшую его судьбу, не только не успокаивалось и не приближалось к гречанке, но, чем больше та звала его, тем дальше в испуге отбегало от нее. Вдруг, споткнувшись о труп, конь упал и никак не мог подняться; Эвтибида подбежала и, схватив за уздечку, помогла ему встать.

Поднявшись на ноги, конь попытался освободиться от Эвтибиды. Он бешено тряс головой, дергая уздечку, за которую ухватилась Эвтибида, прыгал, становился на дыбы, бешено лягался, но гречанка крепко держала коня, стараясь успокоить его жестами и голосом. Наконец разгоряченный скакун покорился своей судьбе, перестал бояться, разрешил погладить себя по шее и по спине и отдался на волю гречанки, которая повела его за уздечку.

В это время войска консула Геллия, разбитые и окруженные численно превосходящими войсками гладиаторов, отступали в беспорядке к тому полю, где ими были уничтожены легионы германцев. Солдаты Спартака, оглашая воздух дикими криками «барра», бросились за отступающими и с ожесточением нападали на них с тыла, горя желанием отомстить в кровопролитной схватке за гибель десяти тысяч своих товарищей. Все ближе раздавался лязг щитов, звон мечей и страшные крики сражающихся; картина боя, вначале смутная, становилась все более ясной; Эвтибида, следившая за сражением ненавидящими, злыми глазами, стиснув в гневе свои белые зубы, мрачно воскликнула вполголоса, говоря сама с собой:

— Ах, клянусь величием Юпитера Олимпийского, где же справедливость? Я столько сделала, чтобы удалить из гладиаторского лагеря германцев, в надежде, что за ними последуют и галлы, а галлы остались в лагере; я все сделала для того, чтобы Геллий уничтожил эти десять тысяч германцев, в надежде, что два консула замкнут Спартака в железном кольце, а он тут как тут со своими войсками и бьет Геллия, после чего нападет на Лентула и разобьет его, а может быть, уже и разбил! Да что же это! Неужели он непобедим? О Юпитер Мститель, неужели он непобедим?

Римляне, окруженные со всех сторон, отбивались от напа-

дающих, все ближе подходя к полю, где утром шла такая ужасная резня. Эвтибида, бледная от бешенства, досады и гнева, ушла с того места, откуда наблюдала за ходом боя; ведя под уздцы белую лошадь контубернала, покорно следовавшую за ней, она направилась к тому месту, где лежал холодный, бездыханный Эномай. Остановившись там между телами погибших, она вынула из ножен короткий меч, который нашла на земле, когда лежала здесь, притворяясь мертвой, и вдруг всадила его в грудь бедного коня. Раненое животное, отпрянув назад с громким отчаянным ржанием, попыталось убежать, но Эвтибида крепко держала его за повод. Сделав два-три прыжка, конь упал на колени, затем простерся на земле, обагренный кровью, лившейся из двух широких и глубоких ран на его груди, и вскоре затих.

Тогда гречанка улеглась на земле рядом с мертвым конем, подложив под его шею свою ногу так, чтобы всякому, кто подойдет, было ясно, что всадник и конь упали вместе, поверженные рукой врага: хозяин — тяжело раненный, а лошадь — пораженная насмерть.

Шум битвы все возрастал и приближался к тому месту, где лежала Эвтибида; все явственнее слышны были проклятия, которые слали галлы латинянам, и жалобные вопли латинян. Эвтибида все более убеждалась в том, что римляне потерпели полное поражение.

Размышляя о столь неожиданном и несвоевременном появлении Спартака и о своих надеждах, утраченных из-за поражения римлян, о неудавшейся мести, о трудностях и опасностях, связанных с новыми вероломными кознями, которые она замышляла, чтобы окончательно погубить и Спартака и дело восставших, Эвтибида чувствовала какую-то растерянность; борьба противоречивых чувств подтачивала ее душевные и телесные силы, она была в изнеможении, какое-то непонятное недомогание, овладевшее ею, ослабляло ее ненависть и дерзкую смелость.

Вдруг ей показалось, будто солнце затуманилось, и в глазах у нее потемнело; она ощущала резкую боль в левой руке. Прикоснувшись к ней правой рукой, она почувствовала, что левая вся мокрая от крови. Тогда она приподнялась на локте и взглянула на раненую руку: повязка вся пропиталась кровью. Бледное лицо Эвтибиды стало восковым; взор помутился, она хотела позвать на помощь, но из побелевших уст вырвался только глухой стон; попробовала приподняться, но не могла этого сделать и, запрокинув голову, упала навзничь, застыв без единого слова, без единого движения.

Тем временем римляне обратились в беспорядочное бегство, яростно преследуемые гладиаторами, которые пришли в неистов-

ство, увидев трупы своих павших товарищей, жертв убийственной резни. Войско Геллия было разбито наголову, в страшной сече гладиаторы уничтожили свыше четырнадцати тысяч римлян. Сам Геллий, раненный, спасся только благодаря своему быстроногому коню. Остатки консульского войска бросились бежать во все стороны. Армия, казавшаяся могучей и грозной, пришла в такое расстройство, что не уберегла ни обоза, ни знамени, растеряла и воинский порядок, и боевую силу.

Радость новой блестящей победы была омрачена печалью; Спартак приказал считать этот день не праздником торжества, а, напротив, днем траура по погибшим.

На следующий день гладиаторы приступили к сожжению тел своих павших собратьев. Все окрестные поля покрылись погребальными кострами.

Вокруг костра, на котором покоилось тело Эномая, безмолвно стояли опечаленные вожди и построенные в каре четыре легиона.

На теле доблестного великана-германца было двадцать семь ран. Сперва его обмыли и умастили благовонными мазями и ароматическими веществами, присланными по требованию Спартака жителями соседнего города Нурсии, трепетавшими от страха. Затем труп завернули в белую плащаницу из тончайшего полотна и, осыпав цветами, возложили на костер; Спартак подошел к нему и много раз поцеловал. Очень бледный, с глубокой печалью в душе, он произнес речь, прерываемую рыданиями. Он восславил непоколебимую отвагу, честность, мужество Эномая, затем, взяв факел, первым поджег костер; вслед за ним подожгли костер сотнями других факелов, и он запылал тысячью багровых огненных языков, пронизывающих облака ароматного дыма.

Прах германца был собран в несгораемую ткань из волокон горного льна и пересыпан в бронзовую урну, также доставленную жителями Нурсии. Спартак взял ее с собой и хранил, как самую дорогую реликвию.

Из десяти тысяч германцев, сражавшихся с Эномаем, уцелело только пятьдесят семь человек; их нашли ранеными на поле битвы; девять из них выжили, и среди них — Эвтибида. Все считали, что она храбро сражалась и упала, тяжело раненная в левую руку; белый конь, придавивший ее своей тяжестью, несомненно, был убит под ней, когда Эвтибида спешила передать войскам какие-то приказания Эномая.

В легионах гладиаторов превозносили храбрость столь достойной девушки, все восхищались ее доблестью; сам Спартак, великодушный и благородный человек, всегда с уважением относившийся к благородным, высоким поступкам, оказал гречан-

ке высокую честь: через двадцать два дня после сражения под Нурсией он наградил ее гражданским венком на том же самом поле битвы под громкие рукоплескания всего войска гладиаторов.

Эвтибида приняла столь ценный знак отличия с видимым волнением, которое она всеми силами старалась побороть: она была бледна как полотно и дрожала всем телом. Гладиаторы сочли это волнение признаком скромности и смущения. Как знать, может быть, оно было вызвано раскаянием!

Получив награду «за самоотверженность и храбрость», Эвтибида, еще не вполне оправившаяся от раны — забинтованная рука ее еще висела на перевязи,— объявила о своем неизменном желании следовать и в будущем за армией угнетенных; она просила оказать ей честь, назначив ее контуберналом Крикса, и получила на это согласие Спартака и Крикса.

Дав воинам восстановить свои силы, Спартак через двадцать пять дней после сражения под Нурсией двинулся оттуда к Апеннинам и, перейдя через них, вновь направился по области пицентов к области сеннонов, намереваясь дойти по Эмилиевой дороге до Пада и, перейдя реку, проникнуть в Галлию.

Совершив двухдневный переход, он дошел до Равенны, где и расположился лагерем в нескольких милях от города, чтобы сформировать три новых легиона из пятнадцати тысяч рабов и гладиаторов, примкнувших к нему во время продвижения по области сеннонов.

Во главе этих новых легионов были поставлены три военачальника: свободнорожденный гладиатор Гай Канниций, галл Каст и фракиец Идумей, отличившийся исключительной доблестью в сражениях при Камерине и Нурсии.

Таким образом, у Спартака образовалась армия в семьдесят пять тысяч человек; с ней он и двинулся в направлении к Паду.

В это время Гай Кассий, который был консулом в прошлом году, а теперь получил место претора Цизальпинской Галлии, узнав о поражениях, понесенных консулами Лентулом и Геллием, и о грозном продвижении Спартака, собрал сколько мог отрядов римской милиции и вспомогательных войск; вскоре у него оказалось десять тысяч солдат милиции и столько же вспомогательных сил. С этим двадцатитысячным войском он перешел реку Пад у Плацентии, желая помешать дальнейшему продвижению гладиаторов.

Последние же в два перехода достигли Бононии и вечером, по своему обыкновению, расположились лагерем у города, который они и не собирались осаждать; Спартак хотел выждать здесь несколько дней, пока посланные им конные разведчики

разузнают о планах и намерениях врага, привезут точные сведения о его войске и действиях военачальников.

На рассвете следующего дня, когда гладиаторы занимались в лагере установленными упражнениями (каждый из пятнадцати тысяч новых солдат обучался у одного из гладиаторов школ Равенны или же Капуи, образовавших ядро ветеранов в войске Спартака), Эвтибида явилась в палатку верховного вождя и спросила Мирцу.

Мирца вышла к ней навстречу, приняла ее ласково и радушно, восхищаясь ею как необыкновенной женщиной, которую все войско почитало за храбрость и стойкость.

Началась беседа, и среди дружеских, искренних излияний простодушной сестры Спартака и притворных уверений в любви со стороны коварной гречанки Эвтибида сказала Мирце, что всегда питала к ней живейшую симпатию и, так как во всей армии их только две женщины, ей представляется вполне естественным, чтобы обеих связывала тесная и нежная дружба.

Мирца с доверчивостью, свойственной ее благородной душе, приняла слова Эвтибиды за чистую монету, и они поклялись во взаимной и вечной дружбе, скрепив этот союз на жизнь и на смерть горячим поцелуем. Они провели в задушевной беседе больше двух часов, поверяли друг другу свои тайны и болтали о всяких пустяках.

Наконец Эвтибида решилась расстаться с Мирцей и, обняв и поцеловав ее на прощание, пообещала прийти опять, если войско не отправится в поход. Она ушла, развеселив и очаровав свою новую приятельницу, ловко пустив в ход все свои чары, чтобы подчинить себе ничего не подозревавшую сестру фракийца.

Что за планы созрели в голове гречанки, для осуществления каких целей ей понадобилась дружба Мирцы, мы увидим из дальнейшего, а пока последуем за Эвтибидой в ту часть лагеря, где стояли палатки галлов.

В уличках, отделявших один ряд палаток от другого, обучались военному строю пять тысяч гладиаторов, из которых состоял сформированный в областях сеннонов четырнадцатый легион: к десяти легионам, которые первоначально составляли войско гладиаторов в Кампанье, добавлены были еще два в Апулии, а недавно, под Равенной,— еще три. Таким образом, в данный момент под Бононией у гладиаторов было тринадцать легионов, ибо первые два, состоявшие целиком из германцев, были уничтожены консулом Геллием.

Итак, в лагере шли занятия; против каждого солдата-новичка стоял ветеран, вооруженный деревянным мечом, и обучал его ударам и парированию по всем правилам фехтования. От воз-

гласов команды этих пяти тысяч преподавателей, раздававшихся одновременно в обширной части лагеря, в воздухе стоял непрерывный гул:

— В позицию!

— Выше щит!

— Ниже острие меча!

— Смотри мне в глаза!

— Голову выше!

— Смотри смелее!

— Отбей щитом удар в голову! Рази мечом!

— Побыстрее, именем Тарана!.. В руках у тебя меч, а не прялка!

— Шаг вперед!.. Шаг назад!.. Быстро! Живей, ради Геза!

— В позицию!

— Колю в голову, отведи удар!

— Прыжок направо!

— Бей!

— Полкруга мечом налево!

— В позицию!

— Прыжок назад!

— Живо! Вперед! Нападай на меня! Вперед!..

Пять тысяч решительных, воинственных голосов энергично выкрикивали слова команды, десять тысяч человек одновременно двигали двадцатью тысячами рук — это придавало лагерю галлов весьма оживленный вид. Глазам того, кто наблюдал издали, представлялось удивительное и внушительное зрелище.

Эвтибида дошла до Квинтанской улицы, отделявшей палатки третьего и четвертого легионов от палаток пятого и шестого; она остановилась посмотреть на эту необыкновенную картину, как вдруг ее внимание привлекли голоса, доносившиеся из соседней палатки, которая, судя по знамени пятого легиона, находившемуся около нее, принадлежала начальнику этого легиона, галлу Арвинию.

В палатке шла оживленная беседа, вернее, спор, насколько могла понять Эвтибида: несколько голосов раздавались одновременно, затем смолкали, и один голос, более сильный, заглушал остальные каскадом убедительных слов.

Почти все голоса были знакомы Эвтибиде; постепенно она все яснее и отчетливее различала их. Притворяясь увлеченной интересным зрелищем военных упражнений галлов, она с самым невинным видом все ближе подходила к палатке.

— В конце концов,— кричал кто-то хриплым голосом (Эвтибида узнала голос Орцила, начальника одиннадцатого легиона, состоявшего из нумидийцев и африканцев),— в конце концов, мы не стадо баранов, которое гонит пастух!

— А кем бы он был без нас? — послышался другой знакомый Эвтибиде голос (говорил свободнорожденный Гай Канниций, начальник тринадцатого легиона).— Кем бы он был?

— Самым обыкновенным человеком... и даже меньше... всеми презираемым низким гладиатором,— со злобой произнес Брезовир.

— Я и мои африканцы в Галлию не пойдем, клянусь величием бога Ваала!.. Клянусь, не пойдем! — добавил Орцил.

— Прав был Эномай...— кричал Каст, начальник четырнадцатого легиона, того самого, в котором состояли пять тысяч юных галлов, как раз в это время обучавшихся военному делу.

— Бедный Эномай!.. Жертва явного предательства Спартака. Теперь мы в этом убедились,— сказал самнит Онаций, назначенный после смерти Рутилия начальником восьмого легиона.

— О, во имя всемогущей силы естества! — гневно воскликнул мощным голосом эпирот Фессалоний, начальник седьмого легиона.— Спартак — предатель?.. Ну, это уж чересчур, чересчур!..

— Да, предатель, а заодно с ним Крикс и Граник. Они предают нас римскому сенату.

— Все вы предатели и изменники, все, кто хочет вести нас за реку Пад, подальше от Рима.

— В Рим! Мы хотим идти на Рим!

Семь или восемь голосов единодушно воскликнули:

— На Рим!.. На Рим!..

— Я верю Спартаку — он самый благородный, самый честный из всех людей. Я верю Криксу и Гранику — это люди благородной души, самые лучшие после Спартака в нашем лагере. И со своим легионом, который верит мне, я последую за ними, а не за вами!

— И я! — воскликнул Борторикс.

— Ну и ступайте с ними. А мы с нашими семью легионами,— произнес решительно Гай Канниций,— завтра утром выйдем на Равенскую дорогу и двинемся к Риму.

— К Риму! К Риму!

— О, без мудрости и опыта Спартака, который ведет нас, вы свершите великие, достойные деяния! — насмешливо произнес Борторикс.

— Вас изрубит в куски первый же претор, который наткнется на вас,— добавил Фессалоний.

— Вы восстали и взялись за оружие, чтобы получить свободу,— насмешливо воскликнул Гай Канниций,— а теперь стали рабами такого же раба, как вы сами, да еще этот ваш кумир Спартак, может быть, даже ниже вас.

— Если свободой вы считаете беспорядок, анархию, смуту,

такой свободы нам действительно не нужно! — крикнул Фессалоний.— Мы предпочитаем дисциплину и порядок и останемся с тем, кто за два с лишним года показал себя мудрым и доблестным полководцем.

В эту минуту резкий звук труб, призывавший к оружию гладиаторов третьего легиона, прервал спор и помешал Эвтибиде, воспрянувшей духом от этих изъявлений ненависти и недовольства Спартаком со стороны начальников легионов.

Гречанка, вздрогнув, повернулась в ту сторону лагеря, откуда доносился сигнал тревоги, и направилась туда в ту самую минуту, когда начальники легионов, собравшиеся в палатке Арвиния, заслышав неожиданный сигнал, вышли все вместе и поспешно отправились к стоянкам своих легионов.

Вскоре сигнал тревоги был повторен букцинами четвертого, затем пятого легионов и вскоре — всеми фанфарами лагеря гладиаторов.

Солдаты побежали в свои палатки, надели панцири и шлемы, захватили оружие и построились по манипулам и когортам.

Затем прозвучал новый сигнал, данный фанфарой третьего легиона и повторенный всеми остальными, сигнал, означавший приказ сниматься с лагеря.

Два часа спустя гладиаторы снялись с лагеря, и все легионы в полном порядке, соблюдая дисциплину, приготовились к походу. Тогда новый сигнал созвал начальников легионов к верховному вождю.

Пришпоривая лошадей, все поспешили на преторий, где Спартак сообщил им, что претор Гай Кассий идет на них с войском и прибудет в Мутину к вечеру этого дня и потому надо сейчас же выступить с целью напасть на него завтра, пока к нему еще не подошли остальные части его войска и не помешали переходу через реку Пад.

Когда Спартак закончил свою речь, никто не отозвался на нее. Гай Канниций, помявшись немного, нарушил молчание и, опустив глаза, в явном смущении сказал вполголоса:

— Против Кассия мы будем сражаться, а через Пад переходить не станем.

— Что такое? — воскликнул пораженный Спартак. И, словно бы не уразумев того, что сказал Гай Канниций, переспросил, вперив в самнита глаза, сверкавшие из-под насупленных бровей:— Что ты сказал?

— Он сказал, что мы не последуем за тобой на ту сторону Пада,— ответил нумидиец Орцил, дерзко глядя на Спартака.

— Семь легионов,— сказал Гай Канниций,— отказываются возвратиться в свои родные страны, они требуют, чтобы мы шли на Рим.

— Ах, так? — гневно и вместе с тем с грустью воскликнул Спартак.— Снова мятеж? Несчастные, вам недостаточно печального примера бедного Эномая?

Раздался ропот, но никто ничего не ответил.

— Клянусь всеми богами,— после минутного молчания твердо сказал Спартак,— вы или безумцы, или предатели!

Мятежные начальники молчали. После краткой паузы фракиец сказал:

— Сейчас на нас движется враг, и вы все будете мне повиноваться, пока мы не разгромим Кассия. После этого мы устроим совещание и решим, что лучше для нашего блага. А теперь ступайте.

И повелительным жестом он отпустил начальников легионов. Но в то время как они уже собирались пришпорить своих коней, он добавил своим мощным голосом:

— Смотрите же, чтобы не было ни малейшего неповиновения во время перехода и в бою, или, клянусь всевышним Юпитером, первый, кто позволит себе хотя бы слово или движение ослушания, погибнет от моего меча, никогда еще не дававшего промаха.

И снова он жестом отпустил начальников. Покорившись решимости Спартака, они молча отправились к своим легионам.

Войско гладиаторов выступило в направлении Мутины и после ночного перехода прибыло туда за час до рассвета. Кассий расположился здесь лагерем на двух высоких холмах, укрепив его крепким частоколом и широкими рвами.

Около полудня Спартак двинул свои шесть легионов против войска претора Цизальпинской Галлии, который, выведя свои легионы из лагеря, расположил их у подошвы холмов, на довольно выгодной для себя позиции. Но численное превосходство гладиаторов и пыл, с которым они бросились в атаку, вскоре пересилили мужество двадцати тысяч римлян, хотя в большинстве своем войско претора состояло из ветеранов Мария и Суллы, сражавшихся весьма отважно. Немногим более чем за два часа оно было разбито и окружено со всех сторон, обращено в бегство и уничтожено все возраставшим натиском гладиаторов.

В этом бою, длившемся несколько часов, полегло почти десять тысяч римлян, остальные были рассеяны и разбежались по окрестностям; под претором была убита лошадь, сам он спасся каким-то чудом. Палатки и обоз римлян попали в руки победителей, потери которых в сражении под Мутиной были невелики.

На следующий день после этой победы, третьей победы, одержанной Спартаком над римлянами в течение какого-нибудь месяца, легионы гладиаторов были собраны на равнине у берега реки Скультенны и построены там четырехугольником: их при-

звали для того, чтобы решить, идти ли вперед к переправе через Пад и возвратиться каждому в родную страну, или же повернуть назад, если будет решено идти на Рим.

Спартак говорил горячо, живо описывая гладиаторам пользу и преимущества первого предложения и гибельные последствия, неминуемые при втором решении; он напомнил об услугах, оказанных им святому делу угнетенных, которому он беззаветно служит уже десять лет. Спартак напомнил об этом не из тщеславия, но для того, чтобы лучше убедить своих братьев по несчастью, сотоварищей по войне, по горестям, радостям и победам, убедить их, что если он ратует за оставление Италии, то лишь потому, что считает эту страну могилой для восставших гладиаторов, как была она могилой для галлов Бренна, греков Пирра, для карфагенян, тевтонов и кимвров, для стольких чужестранцев, вторгавшихся в нее и желавших воевать на ее земле. Он дал торжественную клятву в том, что только благо гладиаторов заставляет его защищать этот план: пускай они решают сами, он подчинится воле большинства. Военачальником ли, простым ли солдатом, но всегда он будет биться бок о бок с ними и будет счастлив, если судьбой ему предначертано умереть вместе со своими братьями.

Гром рукоплесканий раздался в ответ на слова Спартака. Возможно, если бы тотчас же перешли к голосованию, его предложение было бы принято большинством. Но многочисленные блестящие победы, которые гладиаторы на протяжении двух лет одерживали над римлянами главным образом благодаря Спартаку, внушили им дерзкую самонадеянность; многие из них, хотя и были в глубине души приверженцами фракийца, противились железной дисциплине, которую он ввел в войсках,— дисциплина не допускала мародерства и хищений. Возникло недовольство и ропот, вначале у отдельных лиц, втайне, но малопомалу, словно зараза, распространилось, проникло в массы легионеров, и Эвтибиде уже казалось, что для нее пробил час мести и торжества; теперь можно будет извлечь пользу из этого недовольства, свившего себе гнездо в стольких душах, и снова поднять легионы против Спартака.

Пример германцев, разбитых наголову Геллием, отнюдь не подействовал на других гладиаторов отрезвляюще; у многих он только разжег желание идти на Рим. Одним хотелось отомстить за уничтоженные легионы, другие мечтали о грабежах, которые принесут им богатую добычу, и, наконец, многие думали, что, одобряя тот план, за который ратовал и погиб со своими германцами любимый всеми Эномай, они выражают ему свою любовь, совершают что-то приятное его душе и достойное его памяти.

Из всех этих бурливших в легионах страстей и мимолетных настроений Гай Канниций сумел извлечь выгоду. До того как он продался в гладиаторы, Канниций шатался по Форуму, заводя всевозможные знакомства, был краснобаем и умел говорить убедительно. Теперь он выступил с речью после Спартака, и, чтобы отвести от себя подозрения в недоброжелательном отношении к фракийцу, что снизило бы действие его слов, он сначала воздал хвалу его предусмотрительности и мужеству, затем яркими красками живописал печальное положение римлян, невозможность для них в данную минуту оказать должное сопротивление грозному войску гладиаторов, состоявшему из семидесяти тысяч доблестных меченосцев; он призывал легионы не терять счастливого случая, который, может быть, никогда больше не представится, и овладеть Римом; в заключение он предложил завтра же двинуть к Тибру всю армию угнетенных.

— На Рим! На Рим!..— раздался, словно раскаты грома, рев пятидесяти тысяч голосов, когда Канниций закончил свою речь.— На Рим! На Рим!

Голосование дало следующие результаты: семь легионов единогласно поддержали предложение Канниция, остальные шесть отклонили его незначительным большинством, и только кавалерия почти единогласно высказалась за предложение Спартака: следовательно, свыше пятидесяти тысяч гладиаторов выразили желание идти на Рим, а за предложение фракийца голосовало менее двадцати тысяч.

Легко понять, как был опечален Спартак непредвиденным исходом голосования, которое разрушало все его планы и, вместо того чтобы приблизить, отдаляло цель восстания — сокрушение тиранической власти Рима.

Долгое время он стоял мрачный, подавленный, безмолвный, наконец поднял голову и обратил побледневшее лицо к Криксу, Гранику и Арториксу, молча стоявшим возле него и потрясенным не менее своего вождя.

— О, клянусь богами Олимпа,— с горькой усмешкой произнес он,— не много же я завоевал сторонников среди гладиаторов после стольких трудов, опасностей, забот и испытаний, перенесенных мною ради них!.. Правду сказать, если бы меня не удерживало чувство долга и голос совести, мне следовало бы сейчас пожалеть, что я отказался от предложений консула Марка Теренция Варрона Лукулла! Так, хорошо... Отлично, клянусь Геркулесом!

Он снова задумался, потом, встрепенувшись, обвел глазами легионы, в молчании ожидавшие исхода совещания, и громко произнес:

— Пусть так, я подчиняюсь вашему решению: вы пойдете на Рим, но под руководством другого. Я отказываюсь от звания вашего верховного вождя, отказываюсь от чести, оказанной мне вами. Изберите себе другого, более достойного.

— Нет... во имя богов! — крикнул самнит Ливий Грандений, начальник двенадцатого легиона.— Ты всегда будешь нашим верховным вождем, ведь среди нас нет никого, равного тебе.

— Утвердим еще раз Спартака нашим верховным вождем!— крикнул Борторикс что было мочи.

— Спартак — наш верховный вождь! Спартак — верховный вождь! — кричали вокруг семьдесят тысяч гладиаторов, потрясая в воздухе щитами.

Когда возгласы, наконец, утихли, Спартак крикнул во всю силу своего голоса:

— Нет, никогда!.. Я против похода на Рим и не поведу вас туда!.. Изберите того, кто уверен в победе.

— Ты вождь!.. Ты вождь... Спартак!.. Ты вождь! — повторяли тридцать — сорок тысяч голосов.

Чтобы прекратить шум, Крикс подал знак, что хочет говорить. Настала тишина, и он сказал:

— Пусть нас будет сто тысяч гладиаторов с оружием в руках, пусть нас будет только сто, но лишь один достоин называться нашим вождем... Победитель под Аквином, под Фунди, Камерином, Нурсией и Мутиной — только он может и должен быть нашим вождем!.. Да здравствует император Спартак!

По всей долине Панара, на краю которой собрались гладиаторы, разнесся оглушительный крик:

— Да здравствует Спартак, император!

Возмущенный фракиец отказывался, протестовал, не желал принимать предлагаемого звания, делал все возможное, чтобы избавиться от настойчивых просьб своих друзей, но его уговаривали, понуждали, осаждали все начальники легионов, и в первую очередь Арвиний, Орцил и Гай Канниций, все шестьдесят пять военных трибунов, центурионы и деканы, которых манипулы и отряды послали к Спартаку, чтобы они настаивали и просили его оставить за собой верховное командование гладиаторскими легионами. Наконец Спартак, растроганный этим бурным проявлением любви и уважения к нему со стороны товарищей, хотя и несогласных с ним и воспротивившихся его планам, сказал:

— Вы этого хотите?.. Пусть будет по-вашему. Я принимаю командование, так как понимаю, что избрание кого-либо другого неизбежно повело бы к внутренним раздорам. Я согласен бороться бок о бок с вами и умереть, возглавляя вас.

И в то время как его благодарили, целовали его одежду и руки, восхваляли мужество и заслуги, он добавил с грустной улыбкой:

— Я не обещаю, что приведу вас к победе. В этой бессмысленной войне я не очень-то надеюсь на победу! Но как бы то ни было, пойдем на Рим. Завтра выступим в направлении Бононии.

Спартак был принужден взяться за дело, которое считал неосуществимым. На следующий день гладиаторы оставили лагерь и двинулись через Бононию к Аримину.

Однако в рядах войска гладиаторов все чаще стало проявляться неповиновение и нарушение дисциплины. Грозное войско, одержавшее под руководством прозорливого полководца Спартака столько побед над армиями первого народа мира, начало разлагаться и ослабевать, поддавшись страсти к грабежам.

Как ни старался Спартак воспрепятствовать этому, ничто не помогало: то один, то другой легион, а иногда даже несколько нападали на города сеннонов, через страну которых они шли, и грабили их. Вред был двоякий: необузданная страсть к грабежам лишила легионы гладиаторов заслуженной славы хорошо организованного войска, на них смотрели теперь как на банду разбойников, они возбуждали ненависть и проклятия обиженного ими населения, а постоянные остановки замедляли быстроту перехода, которая до тех пор была главным залогом побед Спартака.

Такой упадок дисциплины сильно огорчал Спартака. Сначала он сердился и осыпал бранью тринадцатый легион, которым командовал Гай Канниций, потому что его воины первыми подали дурной пример; он кричал на них, проклинал их; ему, правда, удалось немного утихомирить мародеров, но не уничтожить зло в корне. Через два дня, когда Спартак шел в Фавенцию, пятый и шестой легионы, двигавшиеся в хвосте колонны, вошли в Форум Корнелия и разграбили его; Спартаку и Криксу с тремя легионами фракийцев пришлось вернуться назад, чтобы призвать грабителей к порядку. А в то время как он исполнял эту печальную обязанность, одиннадцатый легион (африканский) выступил из лагеря под Фавенцией, ворвался в Бертинор, небольшой городок сеннонов, и разграбил его. Спартаку пришлось пойти и туда и там учинить суровую расправу над распущенными солдатами.

Между тем в Рим быстро донеслись вести о разгроме консулов, а затем и претора Цизальпинской Галлии. Сенат и римский народ обуяло великое смятение, а когда пришла весть о том, что гладиаторы приняли решение идти на Рим, всех охватил ужас.

Комиции для выборов консулов на будущий год еще не со-

бирались, а после разгрома Лентула и Геллия число желающих добиться избрания на эти высокие должности сильно уменьшилось. И все же как раз последние поражения римлян воодушевили Гая Анфидия Ореста и побудили его добиваться консульства. Он утверждал, что не следовало вменять ему в вину его неудачи под Фунди, когда он с малыми силами был разбит Спартаком, ведь та же судьба постигла и двух консулов с шестьюдесятьютысячной армией. Сражения под Камерином и Нурсией, по его словам, также служили ему оправданием, больше того — восстановлением его заслуг, которые несправедливо отрицались и не признавались, ибо, утверждал он, сражение под Фунди было для римлян менее сокрушительным, чем сражения под Камерином и Нурсией, в которых Спартак разбил наголову войска консулов.

Толкование Анфидия Ореста, несомненно, грешило против здравого смысла, ибо то обстоятельство, что он причинил Риму меньше ущерба, чем другие, еще не доказывало, что у него, Анфидия Ореста, все обстояло благополучно, но состояние умов в Риме в связи с войной против гладиаторов было таким подавленным, что рассуждения Анфидия Ореста сочли вполне логичными, да и кандидатов на консульские должности было очень мало. Вот почему на этот высокий пост избрали на следующий год упомянутого Анфидия Ореста и Публия Корнелия Лентула Фура, родственника консула Лентула Клодиана, которого Спартак разбил под Камерином.

Спартак меж тем не мог продолжать наступление на Рим из-за безобразного поведения и неповиновения тех самых легионов, которые так неистово требовали, чтобы их туда вели; пришлось на целый месяц задержаться в Аримине. Спартак отказался от командования и несколько дней не выходил из палатки, несмотря ни на какие просьбы, пока наконец все войско не пришло на преторий и, простершись перед палаткой Спартака, стало громко каяться в своих мерзких поступках и просить за них прощения.

Тогда Спартак вышел к войску, бледный, исхудавший, измученный; на его открытом, благородном лице лежала печать страданий, которые причинило ему поведение его солдат, глаза были красны, веки припухли от долгих горьких слез. При виде Спартака покаянные возгласы, крики, выражавшие любовь и уважение к нему, стали еще громче.

Он подал знак, что хочет говорить, и, когда воцарилось молчание, стал строго и сурово порицать поведение легионов, говорил, что из-за своих гнусных поступков они перестали быть людьми, стремящимися к свободе, превратились в самых подлых разбойников, совершающих мерзкие дела. Он остается непре-

клонным в своем решении и не пойдет с ними дальше, если только они не предоставят ему полное и неограниченное право подвергать любому наказанию подстрекателей к грабежу.

Лишь после того, как все легионы единодушно согласились на требование Спартака, он снова принял на себя командование и начал суровыми мерами возрождать в гладиаторах угасшее чувство долга и внушать им сознание необходимости строжайшей дисциплины.

Он приговорил к смерти нумидийца Орцила как самого дикого и непокорного из всех начальников легионов, запятнавшего себя в Бертиноре гнусными преступлениями. Затем он велел наказать розгами и изгнать из лагеря двух других начальников легионов: галла Арвиния и самнита Гая Канниция. Кроме того, он приказал распять двести двадцать гладиаторов, которые, как было засвидетельствовано их товарищами, отличались зверской жестокостью при налетах на поселения.

После этого он распустил все легионы и перестроил их, но уже не по племенному признаку. Теперь в каждый манипул, в каждую когорту входило соразмерное количество солдат различных национальностей; так, манипул в сто двадцать человек состоял теперь из сорока галлов, тридцати фракийцев, двадцати самнитов, десяти иллирийцев, десяти греков и десяти африканцев.

Перестроенное таким образом войско было подразделено на четырнадцать легионов, начальниками которых были назначены следующие гладиаторы:

Первый легион — Брезовир, галл.
Второй легион — Фессалоний, эпирот.
Третий легион — Каст, галл.
Четвертый легион — Онаций, самнит.
Пятый легион — Мессембрий, фракиец.
Шестой легион — Ливий Грандений, самнит.
Седьмой легион — Идомей, фракиец.
Восьмой легион — Борторикс, галл.
Девятый легион — Артак, фракиец.

Начальником 10-го легиона был назначен отважный македонянин Эростен; 11-го — нумидиец Висбальд, строгий и серьезный человек воинственного облика, презирающий опасности; 12-го — Элиал, пожилой бесстрашный гладиатор-галл, который на пятидесятом году своей жизни уже насчитывал на своем теле пятьдесят рубцов от ран. Во главе 13-го легиона стоял молодой иллириец двадцати пяти лет, по имени Теулопик; он был благородного происхождения, родился в Либурнии, в богатой семье, попал в рабство и был отдан в гладиаторы; этот иллириец, питавший глубокую привязанность к Гранику, отличался поразн-

тельной отвагой; начальником 14-го, и последнего, легиона был назначен огромный бородатый галл дикого вида; звали его Индутиомар. Он славился необычайной силой и храбростью, которые снискали ему большой авторитет среди соотечественников.

Из всех этих легионов Спартак образовал три корпуса: первый, в который входили первые шесть легионов, был отдан под начало Крикса; второй, состоявший из 7, 8, 9 и 10-го легионов, был передан Гранику; третий, из четырех последних легионов, был поручен Арториксу.

Начальником конницы, в которой было восемь тысяч человек, остался Мамилий.

Закончив переустройство своего войска, Спартак решил, что необходимо укрепить и сплотить новые легионы, перед тем как идти на Рим. От Аримина через Форум Семпрония и Арретий он малыми переходами двинулся к Умбрии, чтобы дать своим солдатам время познакомиться друг с другом, а также освоиться со своими новыми начальниками.

В Рим тем временем дошли вести о грабежах гладиаторов в стране сеннонов, вести, преувеличенные и приукрашенные, раздутые молвой и ненавистью к самому имени гладиаторов, а также страхом перед ними. Волнения и тревоги усилились, и народные трибуны стали громко говорить на Форуме, что пора наконец подумать о спасении родины, находящейся в опасности.

Собрался сенат. Одни выражали сожаление, что отцы-сенаторы по вине бездарных полководцев, которых до сего времени посылали против гладиаторов, вынуждены теперь серьезно заняться мятежом гладиаторов, казавшимся смехотворным, но превратившимся в настоящую войну, в угрозу самому Риму; другие кричали, что, «раз уж дошли до такого позора, наступило наконец время подняться и со всеми вооруженными силами республики идти на гладиаторов».

С другой стороны, сенат видел, что оба прошлогодних консула с позором разбиты Спартаком, а из двух консулов, избранных на будущий год, один тоже был разбит в свое время гладиаторами, второй же по неспособности к военному делу не внушал больших надежд. Учитывая все это, сенат вынес обязательное постановление («Senatus consultum»), запрещавшее консулам вмешиваться в эту войну; ведение ее предлагалось возложить на опытного полководца, предоставив в его распоряжение большую армию и дав ему неограниченные полномочия, чтобы он как можно скорее покончил с дерзким Спартаком, который, не удовлетворяясь одержанными победами, осмеливается угрожать священным стенам Рима.

Поэтому было решено поручить поход против Спартака претору Сицилии, избрание которого должно было состояться

в ближайшие дни. Но как только стало известно обязательное постановление сената, все претенденты на должность претора Сицилии тотчас же сняли свои кандидатуры, испугавшись предстоящей серьезной войны. День комиций приближался, все были в растерянности, никто не являлся для избрания.

Большинство граждан сожалело об отсутствии Метелла и Помпея: первый — благодаря своему опыту, а второй — благодаря своей отваге могли бы довести до благополучного конца это трудное дело. Некоторые предлагали отозвать из Азии Лукулла, слывшего доблестным и прозорливым полководцем, и поручить ему ведение войны.

Друзья Юлия Цезаря уговаривали его возглавить эту кампанию, обещая испросить для нее у сената и народа римского восемь легионов; они доказывали Юлию Цезарю, что, располагая армией из сорока восьми тысяч легионеров и двадцати или двадцати двух тысяч легко вооруженных пехотинцев и союзнической кавалерии, он без труда одержит победу над гладиаторами.

Однако Цезарь, которому не давали спать триумфы и победы Помпея, решительно отказался от вмешательства в эту войну. Она была не менее трудна, чем война с Марианом Домицием и царем Ярбой в Африке (как раз за африканскую войну Гней Помпей и получил триумф), но в то же время невыгодна в том отношении, что победитель не был бы награжден ни триумфом, ни даже овацией, ибо римская гордость не допускала, чтобы презренным гладиаторам была оказана честь признания их воюющей стороной.

— Нет, уж если я приму на себя ведение войны, то только такой, чтобы в случае победы я мог надеяться на триумф, который послужит мне ступенью к званию консула.

Так отвечал Цезарь своим друзьям. Возможно также, что в душе своей он таил другую причину, побуждавшую его отклонить предложение. Цезарь своим орлиным взором видел все язвы, подтачивавшие в то время Римскую республику, открыл их причины в прошлом и взвешивал их возможные последствия в будущем; он ясно видел, что гладиаторы, взявшиеся за оружие, несчастные рабы, примкнувшие к ним, нищие волопасы из Самния, ставшие под их знамена, как раз и представляли собой те три класса неимущих и угнетенных, стремления и силы которых он собирался использовать для того, чтобы навсегда сломить и уничтожить тиранию надменных олигархов; он понимал, что если он хочет привлечь симпатии и завоевать любовь этих обездоленных и намеревается предстать перед ними в качестве их спасителя, то ему не следует пятнать себя кровью гладиаторов. Поэтому в день комиций вместо Цезаря на Форум явился,

завернувшись в белоснежную тогу, Марк Лициний Красс и выставил свою кандидатуру в преторы Сицилии. Сделать это его уговорили самые влиятельные сенаторы и бесчисленные клиенты. Главной же причиной было его непомерное честолюбие, не дававшее ему покоя; ему уже было мало считаться первым в Риме по богатству и влиянию — его мучило ненасытное желание добиться военных лавров, которыми уже много лет как был увенчан Помпей.

Марку Лицинию Крассу в это время было около сорока лет, и, как мы уже говорили, он несколько лет сражался под начальством Суллы — сначала в гражданскую войну, потом во время мятежей — и успел дать доказательства не только стойкости и необычайного мужества, но и большого благоразумия, а также обнаружил задатки крупного полководца.

Когда Красс появился в одежде кандидата на должность претора, народ приветствовал его долгими, несмолкаемыми рукоплесканиями, показывая тем самым свое высокое доверие к нему в эту пору волнений и страха и великие надежды, которые римляне возлагали на его будущие действия против гладиаторов.

Наконец воцарилось молчание. Народный трибун Луций Аквилий Леннон взял слово и призвал сенат и народ единодушно голосовать за Красса, ибо в такое тяжелое время лучшего полководца в войне против Спартака нельзя и желать. Все же необходимо, добавил трибун, надлежащим образом обеспечить Красса вооруженными силами, которые дали бы ему возможность закончить эту позорную войну, длящуюся уже три года.

Все согласились со словами Аквилия, и Красс единогласно, под бурные рукоплескания, был избран претором Сицилии. Ему было предоставлено право набрать шесть легионов с соответствующими вспомогательными войсками, а также собрать и организовать разбитые легионы Лентула и Геллия. Из остатков этих легионов новый претор мог бы составить еще четыре легиона.

Таким образом у Красса образовалась армия в шестьдесят тысяч легионеров и двадцать четыре тысячи вспомогательных войск, а всего восемьдесят четыре тысячи человек; это была очень сильная армия; такой еще не бывало со времени возвращения Суллы в Италию после войны с Митридатом.

На следующий день после своего избрания Красс опубликовал эдикт, в котором призывал граждан к оружию — сражаться против Спартака. Особым решением сената были обещаны высокие награды ветеранам Суллы и Мария, которые пожелали бы принять участие в походе на гладиаторов.

Это решение и эдикт Красса подняли дух римских граждан, впавших в уныние; сердца зажглись воинственным пылом, возникло благородное соревнование между юношами самых знат-

ных семейств: все они явились к Крассу, требуя внесения их в списки легионеров.

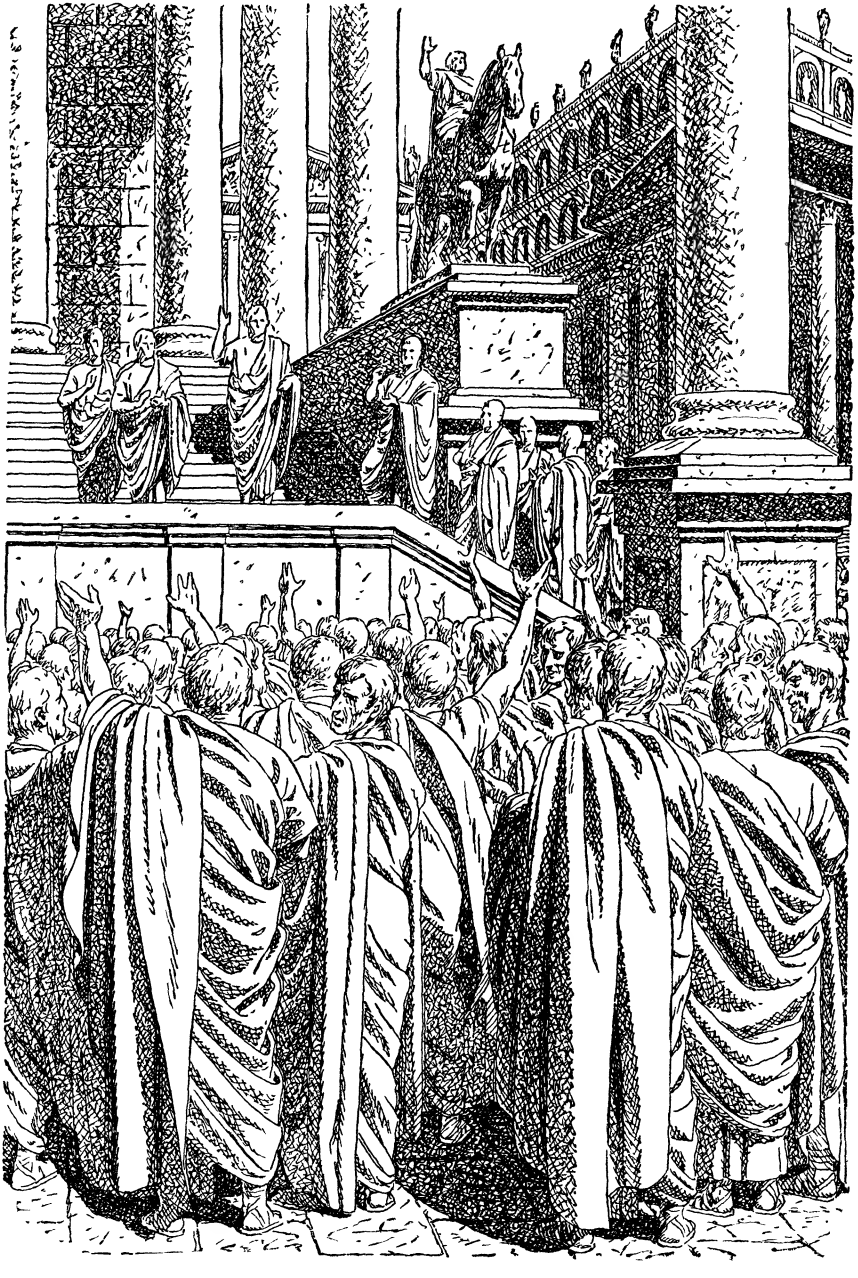
Красс с лихорадочной энергией занялся формированием своей армии; он выбрал квестора и трибунов среди самых известных в Риме военных людей, не считаясь с их общественным положением. Так, на должность квестора он назначил Публия Элия Скрофу, землевладельца из Тибуртина, ветерана, принимавшего участие в одиннадцати войнах и ста тридцати сражениях и стычках; у него было двадцать два шрама от ран, он получил много наград и венков и теперь жил на покое.

Красс не погнушался отправиться к нему лично и попросить заслуженного воина принять участие в войне, которая раз и навсегда покончит с гладиаторами. Скрофа был тронут посещением Красса и охотно согласился быть квестором в его войске. Расставшись с мирной жизнью и веселыми холмами Тибуртина, он последовал за Крассом в Рим, откуда через две недели после своего избрания претором Марк Лициний Красс выступил во главе четырех легионов, состоявших из старых солдат, набранных им в Риме и соседних областях. Он направился в Отрикул, город, находившийся на границе между владениями эквов и умбров, где один из его заместителей, Авл Муммий, собирал и организовывал два других легиона и вспомогательные отряды.

При выступлении из Рима Красса радостно приветствовал весь народ; все сбежались провожать его за Ратуменские ворота, где находился его лагерь. Претору сопутствовали не только добрые пожелания граждан всех сословий. По уверениям гаруспиков, гадавших на внутренностях жертвенных животных, ему было обеспечено также покровительство римских богов, благосклонных к нему и его предприятию.

В первом легионе были две когорты — около тысячи отборных воинов; это были юноши из богатых и знатных семейств, пожелавшие следовать за Крассом в качестве простых солдат. Среди них были: Марк Порций Катон, Тит Лукреций Кар, Гай Лонгин Кассий, Фавст, сын Суллы, Анний Милон, Корнелий Лентул Крус, Публий Ватиний, Коссиний Ребил, Вибий Панса, Марций Цензорин, Норбан Флакк, Гней Азиний Поллион и много других юношей из консульских семейств, которые в будущем и сами стали консулами, а также сотни молодых людей из семейств всадников.

Родственники, друзья и клиенты этих юношей провожали легионы Красса до Мильвийского моста, где войско перешло с Фламиниевой дороги на Кассиеву и двинулось в направлении к Ваккане. После четырехдневного перехода Красс пришел в Отрикул, где расположился лагерем; он решил провести здесь учения своим войскам, абсолютно уверенный в том, что в этом



месте он может защитить Рим от нападения гладиаторов, если Спартак пойдет прямо из Умбрии или же пройдет через область пицентов.

Почти целый месяц Красс в Отрикуле и Спартак в Арретии стояли в полном бездействии; оба были заняты только подготовкой к военным действиям, каждый придумывал новые планы, новые военные хитрости, новые ловушки для неприятеля.

Когда Спартак решил, что наступило время действовать, он в одну темную, грозовую ночь приказал своим легионам сняться с лагеря, соблюдая полную тишину. В лагере он оставил семь тысяч конников под началом Мамилия, а тысячу всадников выслал вперед в качестве разведчиков.

Под прикрытием непогоды он шел без остановки всю ночь и почти весь день и прибыл в Игувий, откуда намеревался двинуть войско через Камерин, Аскул, Сульмон, Фуцинское озеро и Сублаквей на Рим.

Конники, оставшиеся в лагере под Арретием, продолжали свои набеги и разведку и, по установившемуся порядку, делали в близлежащих городах запасы провианта, необходимые для шестидесятитысячной армии, внушая тем самым трепещущим от страха жителям убеждение, что войско гладиаторов находится еще под Арретием; Спартак рассчитывал, что об этом сообщат Крассу и таким образом претор будет введен в заблуждение.

А фракиец тем временем шел вдоль цепи Апеннин утомительными переходами: войско его делало не менее двадцати пяти — тридцати миль в день и, пересекая область пицентов, спешило к Риму, к стенам которого оно должно было подойти неожиданно, если только случай не откроет Марку Крассу стратегические планы Спартака.

Через три дня после ухода войска гладиаторов из-под Арретия Красс, убедившись в том, что враг не выходит из своих укреплений, задумал атаковать его и в решительном бою сразу положить конец войне.

Он двинулся из Отрикула самым ускоренным маршем — умный Красс понял, что Спартака надо бить его же приемами,— и через четыре дня подошел к лагерю под Арретием.

Мамилий, узнав о приближении римского войска, согласно приказу верховного вождя гладиаторов, удалился ночью из лагеря со всей конницей, соблюдая полную тишину. Когда разведчики Красса на рассвете следующего дня дошли до самого вала лагеря повстанцев, им пришлось убедиться, что войско Спартака покинуло лагерь.

Красс был поражен таким известием и, чтобы узнать, какой путь мог избрать Спартак, тотчас же отправил свою кавалерию

обследовать все дороги, тянувшиеся от Арретия, приказав вести разведку на тридцать миль в окружности.

Вскоре ему стало известно, что конница гладиаторов, ушедшая из Арретия при его приближении, направилась через Игувий к Камерину; через Игувий, как ему донесли, несколько дней назад прошел и Спартак со всем своим войском. Тогда Красс с дальновидностью выдающегося полководца придумал контрманевр. Спартак шел по дороге вдоль восточного склона Апеннин, Красс же решил немедленно вернуться к Риму, держась западного склона Апеннин. Таким образом, двигаясь параллельно Спартаку, Красс шел, однако, почти по прямой линии; путь его был гораздо короче, чем у Спартака: один переход Красса равнялся трем переходам фракийца. Такое преимущество было на руку Крассу, раз он хотел выиграть время и пространство, составлявшие до этого момента преимущество гладиаторов.

За пять дней очень трудных переходов, совершенных римскими легионами с похвальным рвением, Красс достиг Реаты, где он дал своим утомленным войскам один день отдыха.

Между тем Спартак, продвигаясь с большой скоростью, дошел до Клитерна близ Фуцинского озера, но, к несчастью, тут его задержала непредвиденная помеха — разлив реки Велин; из-за сильных дождей, которые не переставая лили несколько дней, ему пришлось остановиться на два дня, чтобы перебросить через реку плавучий мост, да еще сутки ушли у него на переправу войска.

Тем временем Красс, имевший десять тысяч человек кавалерии, которую он всегда высылал для разведки далеко за пределы лагеря, был предупрежден разведчиками о том, что Спартак приближается к Клитерну. Он приказал своему заместителю Авлу Муммию переправиться через Велин у Реаты с двумя легионами и шестью тысячами солдат из вспомогательных войск и двинуться ускоренным маршем по левому берегу к Альфабуцелу, перейти там на правый берег и идти дальше до Клитерна. Вместе с тем он велел Муммию ни в коем случае не вступать в бой со Спартаком, все время отходить, до тех пор пока Красс не догонит его и не атакует Спартака с тыла.

Муммий в точности выполнил все распоряжения Красса и на рассвете следующего дня прибыл в Альфабуцел, но не мог расположиться тут лагерем и вынужден был оставить это место, так как туда уже подходил Спартак.

Хотя солдаты были чрезвычайно утомлены переходом, Муммий провел их через ущелье Апеннин к Сублаквею, где занял очень сильную позицию на обрывистом, скалистом склоне горы, намереваясь уйти оттуда на следующий же день.

Но трибуны стали уговаривать его, что теперь не время от-

ступать перед врагом,— надо воспользоваться благоприятным случаем, который предоставляет ему судьба, и разбить Спартака без помощи Красса, ибо в тесных горных ущельях гладиатору не удастся воспользоваться численным превосходством своего войска; убеждая Муммия дождаться Спартака на этих сильных позициях, трибуны предрекали ему от имени своих легионов блестящую победу.

Муммия увлекала надежда на победу, которая казалась ему обеспеченной, и на следующий день, когда поблизости появился Спартак, он вступил с ним в бой. Фракиец же увидел, что на этой позиции его четырнадцать легионов не дадут ему никакого преимущества, и поэтому, пока тринадцатый и четырнадцатый легионы сражались с врагом, он собрал в один корпус всех велитов и пращников других легионов, приказал им взобраться на вершины окружающих гор и ударить по римлянам с тыла, сбрасывая на них огромные камни и поражая стрелами.

Легко вооруженные отряды гладиаторов с большим рвением исполнили приказ Спартака, и через три часа после начала битвы, в которой обе стороны сражались с одинаковым неослабевающим упорством, римляне с удивлением и даже испугом вдруг увидели, что все соседние вершины покрыты неприятельскими пращниками и велитами; на легионеров обрушились целые тучи разного рода метательных снарядов, а затем враги начали спускаться, заходя в тыл и с флангов. При виде этого римляне обратились в бегство, бросая по дороге оружие, щиты и все доспехи, чтобы легче было бежать.

Но тогда на беглецов стремительно бросились те два легиона, которые сражались с ними до тех пор, и легкая пехота, спускавшаяся со всех утесов, со всех скалистых вершин; сражение превратилось в кровавую бойню, в которой пало свыше семи тысяч римлян.

Глава двадцатая

ОТ БИТВЫ ПРИ ГОРЕ ГАРГАН ДО ПОХОРОН КРИКСА

Несмотря на то что сражение у Сублаквея было губительным для римлян и Крассу не удалось восстановить понесенный им урон, Спартак не мог извлечь из своей победы никакой существенной выгоды для себя. Обратив римлян в бегство, Спартак узнал от Мамилия, которому поручено было обследовать берега Велина, что главные силы Красса переправились в этот день через реку, из чего фракиец заключил, что, имея у себя в тылу Красса, ему не следует идти на Рим; поэтому вечером

того же дня он выступил из Сублаквея, перешел Лирис у его истоков и направился в Кампанью. Что касается Красса, то он пустился в путь лишь вечером того дня, когда гладиаторы оставили Сублаквей, так как вести о разгроме его заместителя дошли до него только к вечеру следующего дня.

Претор был вне себя от возмущения, вызванного поведением Муммия, а еще более его легионов, так как беглецы прибежали к самым стенам Рима и в городе началась страшная паника, когда там распространилась весть о новом поражении.

Успокоение наступило только после того, как явились гонцы Красса, которым удалось убедить перепуганных римлян, что сражение под Сублаквеем не имеет того значения, какое ему приписывает страх; они доложили сенату об истинном положении дела, предложив ему в то же время немедленно отправить обратно в лагерь претора всех беглецов из легионов Муммия.

Через несколько дней все беглецы вернулись в лагерь, и легко себе представить, как они были пристыжены и в каком угнетенном состоянии духа находились.

Красс собрал на преторской площадке все свои войска и построил их в каре, посреди которого поставил обезоруженных, посрамленных и подавленных беглецов из легионов Муммия. Красс, обладавший даром слова, выступил с красноречивым обвинением; резко и сурово укорял он беглецов за малодушие, которым они запятнали себя, обратившись в бегство, словно толпа трусливых баб, и побросав оружие, при помощи которого их предки, перенеся несравненно более тяжелые испытания, завоевали весь мир. Он сказал, что необходимо положить конец глупым страхам, благодаря которым в течение трех лет по всей Италии свободно бродят полчища гладиаторов, презренных рабов, которые кажутся сильными и доблестными не по заслугам своим, а вследствие трусости римских легионов, некогда стяжавших славу своей непобедимой мощью, а ныне ставших посмешищем всего мира.

Красс заявил, что больше не потерпит позорного бегства: пришло время доблестных дел и блестящих побед. И раз для этого недостаточно самолюбия, чувства собственного достоинства и чести римского имени, он добьется побед железной дисциплиной и спасительным страхом перед самыми жестокими наказаниями.

— Я снова введу в силу,— сказал в заключение Красс,— наказание децимацией, к которой в редчайших случаях прибегали наши предки; первым ее применил в своих легионах децемвир Аппий Клавдий в триста четвертом году римской эры. Уже почти два столетия не было печальной необходимости прибегать к такой мере, но раз вы только и делаете, что бежите от врагов,

да еще от каких врагов, и притом позорно бросаете свое оружие, клянусь богами Согласия, я применю к вам эту кару начиная с сегодняшнего дня и подвергну ей те девять тысяч трусов, которые стоят здесь перед нами, чувствуя всю тяжесть своего позора. Посмотрите на них: они стоят бледные, понурив от стыда голову, и из глаз у них катятся слезы позднего раскаяния.

Как ни упрашивали Красса самые почтенные трибуны и патриции, которых в лагере было очень много, он остался неумолим, не захотел отказаться от принятого им сурового решения и приказал привести его в исполнение до наступления вечера.

Бросили жребий, и из каждого десятка солдат один, отмеченный злополучным роком, передавался сперва ликторам, которые секли его розгами, а затем ему отрубали голову.

Эта ужасная кара, зачастую постигавшая как раз того, кто храбро сражался и вовсе не был повинен в бегстве товарищей, произвела в лагере римлян глубокое и чрезвычайно горестное впечатление.

Во время мрачной экзекуции, когда за несколько часов было обезглавлено девятьсот солдат, произошло четыре или пять тягостных эпизодов. За чужую трусость понесли наказание пятеро или шестеро доблестных легионеров Муммия, чья отвага была отмечена всеми под Сублаквеем.

Среди этих пятерых или шестерых храбрецов, оплакиваемых всеми, наибольшее сочувствие вызывал двадцатилетний юноша по имени Эмилий Глабрион, до последней минуты мужественно выдерживавший натиск гладиаторов; он получил две раны и не тронулся с места; раненого подхватило потоком всеобщего бегства и отнесло далеко от поля сражения. Это было известно всем, все это громогласно подтверждали, но его постигла неумолимая судьба,— жребий пал, и он должен был умереть.

Этот отважный юноша предстал перед претором среди всеобщих рыданий. Бледный как смерть, но полный спокойствия и стойкости, достойной Муция Сцеволы и Юния Брута [1], он громко сказал:

---

[1] Во время войны с Порсеной (509 год до н. э.) римский юноша Муций Корд, решив убить Порсену, проник в неприятельский лагерь, но вместо царя Порсены убил сидевшего рядом с ним писца. Угрожая Муцию жестокими пытками, Порсена потребовал от него выдачи сообщников, но Муций сам положил правую руку в огонь и не издал ни одного звука, пока тлела его рука. По преданию, мужество Муция заставило Порсену заключить с римлянами мир. За свой самоотверженный поступок Муций Корд получил прозвище «Сцевола» («Левша»).

Луций Юний Брут призвал римлян к свержению тирании царя Тарквиния Гордого. Избранный в 509 году до н. э. первым консулом, он открыл заговор молодых патрициев, пытавшихся восстановить царскую власть. Брут осудил на смерть своих собственных сыновей, замешанных в этом заговоре.

— Децимация, примененная тобою, не только полезна и необходима для блага республики, но и справедлива. Два наших легиона заслужили ее своим постыдным поведением в последнем сражении. Судьба не благоприятствует мне, и я должен умереть. Но поскольку ты, Марк Красс, знаешь, как знают и все мои товарищи по оружию, что я не был трусом и не бежал, а сражался, как подобает сражаться римлянину, мужественно и отважно, хотя я был ранен, как ты видишь,— и он указал на свою перевязанную левую руку и на окровавленную повязку, стягивавшую его грудь под одеждой,— я все же оказывал сопротивление натиску врага, и, если ты признаешь мою храбрость, прошу у тебя милости: да не коснется меня розга ликтора, пусть меня только обезглавят!

Плакали все собравшиеся около претора, который был бледен и расстроен. На слова юноши он ответил:

— Я согласен исполнить твою просьбу, доблестный Эмилий Глабрион. Сожалею, что строгий закон наших предков запрещает мне сохранить тебе жизнь, как ты того заслужил...

— Умереть ли на поле брани от руки врага или здесь на претории под топором ликтора — одно и то же, потому что жизнь моя принадлежит родине. Я рад, что все здесь знают и в Риме узнает мать моя, узнает сенат и римский народ, что я не был трусом... Смерть не страшна мне, раз я спас свою честь.

— Ты не умрешь, юноша-герой!— закричал один из солдат, выходя из рядов войска Муммия; он подбежал к претору и, проливая слезы, громко воскликнул дрожавшим от волнения голосом:

— Славный Красс, я — Валерий Аттал, римский гражданин и солдат третьей когорты третьего легиона, одного из двух, которые участвовали в бою и потерпели поражение под Сублаквеем. Я находился рядом с этим отважнейшим юношей и видел, как он, раненный, продолжал разить врагов, в то время как мы все обратились в бегство, в которое и он был вовлечен помимо своей воли. Так как топор ликтора должен поразить одного из десяти бежавших, пусть он поразит меня, бежавшего, но не его, потому что он, клянусь всеми богами, покровителями Рима, вел себя, как истый римлянин старого закала.

Поступок этого солдата, который в минуту паники обратился в бегство, а теперь проявил такое благородство, усилил всеобщее волнение; но, несмотря на волнующее соревнование между Атталом и Глабрионом, из которых каждый требовал кары для себя, Красс остался неумолимым и Глабрион был передан ликторам.

Стенания в обоих легионах, подвергнутых децимации, стали

еще громче; лица тысяч солдат других легионов выражали сострадание, глаза их были полны слез; тогда Глабрион, обратившись к своим соратникам, сказал:

— Если вы считаете смерть мою несправедливой и судьба моя вызывает у вас сострадание, если вы желаете, чтобы душа моя возрадовалась и обрела в тишине элисия сладостную надежду и утешение, поклянитесь богами Согласия, что вы все скорее умрете, чем обратитесь в бегство перед проклятыми гладиаторами.

— Клянемся!..

— Клянемся!..

— Именем богов клянемся!..— словно оглушительный раскат грома, загудели одновременно шестьдесят тысяч голосов.

— Да покровительствуют Риму великие боги! Я умираю счастливым! — воскликнул стоический юноша.

И он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и метким ударом отсек светлокудрую голову; орошая землю кровью, она покатилась среди общего крика ужаса и жалости.

Марк Красс отвернулся, чтобы скрыть слезы, катившиеся по его лицу.

Когда экзекуция была закончена, Марк Красс снова роздал оружие беглецам из легионов, сражавшихся под Сублаквеем, и в краткой речи выразил надежду, что они больше никогда в жизни не обратятся в бегство.

Приказав предать земле девятьсот убитых, претор на следующий день снялся с лагеря и принялся преследовать Спартака, который, убедившись в невозможности наступления на Рим, быстрым темпом пересек Кампанью и Самний и снова повел свои легионы в Апулию, желая увлечь Красса подальше от Рима, который мог бы ежечасно присылать ему подкрепления. Он намерен был сразиться с Крассом и, окончательно разгромив его легионы, идти на Тибр.

Спартак продвигался очень быстро, но не менее быстро шли и легионы Красса, которые после децимации терпеливо сносили все тяготы и жаждали новых боев.

Через пятнадцать дней претор догнал гладиаторов в Давнии, где Спартак расположился лагерем близ Сипонта. Красс прибыл сюда с намерением прижать гладиаторов к морю и поэтому выбрал для лагеря место между Арпами и Сипонтом и ждал благоприятного случая сразиться со Спартаком.

Уже минуло три дня с тех пор, как оба войска оказались друг против друга; в самый тихий час ночи, когда в римском лагере наступил полный покой, Красса разбудил его контубернал, вошедший в его палатку с сообщением, что явился гонец

от гладиаторов, заявивший, что он должен немедленно переговорить с претором о весьма важных делах.

Красс вскочил: он был чрезвычайно умерен и уделял сну очень мало времени; он приказал контуберналу привести к нему гладиатора.

Гонец был небольшого роста, в чудесных доспехах, в шлеме с опущенным забралом. Только когда он увидел перед собой Красса, он поднял забрало, и претор увидел бледное женственное лицо.

Это была Эвтибида, явившаяся к Крассу, чтобы предать своих собратьев по оружию.

— Ты не узнаешь меня, Марк Лициний Красс? — спросила она с усмешкой.

— Да... верно... лицо твое мне знакомо... да...— несвязно бормотал претор, стараясь вспомнить имя, воскресить образ.— Но ведь ты не юноша, клянусь всемогущими богами, ты женщина! Возможно ли? Клянусь Венерой Эриционой, ты...

— Так скоро ты позабыл Эвтибиду, которую не может забыть ни один мужчина?

— Эвтибида! — воскликнул пораженный Красс.— Клянусь молниями Юпитера, Эвтибида!.. Ты здесь! Откуда ты? В такой час? И в этих доспехах?..

Вдруг он отступил назад и, скрестив руки на груди, недоверчиво вперил в Эвтибиду свои серовато-желтые тусклые глаза, неожиданно загоревшиеся мрачным огнем.

— Если ты являешься, чтобы расставить мне сети,— сурово сказал он,— предупреждаю: ты ошиблась, я не Клодий, не Вариний и не Анфидий Орест...

— Это не мешает и тебе быть дурачком, бедный Марк Красс,— ответила гречанка с дерзкой усмешкой, кинув на претора быстрый и злобный взгляд.—Ты самый богатый,— продолжала она после минутного молчания,— но уж никак не самый умный римлянин.

— Чего ты хочешь?.. К чему клонишь?.. Говори поскорее.

Эвтибида с минуту молчала и, покачивая головой, с насмешливой улыбкой разглядывала римского претора, потом сказала:

— Клянусь славой Юпитера Олимпийского, я принесла тебе победу и никак не думала, что буду так принята! Вот, извольте делать добро людям!.. Уж они отблагодарят вас, клянусь богами!..

— Скажешь ты наконец, зачем пришла? — нетерпеливо произнес Красс, по-прежнему глядя на нее с недоверием.

Тогда Эвтибида красочно и пылко объяснила Крассу причину своей неугасимой ненависти к Спартаку, рассказала о разгроме при ее содействии десяти тысяч германцев, поведала претору,

как после этого сражения она, по милости эриний, приобрела среди гладиаторов славу доблестной воительницы и теперь они питают к ней безграничное доверие. Эвтибида заключила свою речь уверением, что и это доверие и свою должность контубернала Крикса она желает использовать для того, чтобы помочь римлянам захватить войско гладиаторов, разделенное теперь на две части, и доставить претору блестящую и решительную победу.

Красс выслушал Эвтибиду с большим вниманием, не спуская с нее пристального, испытующего взгляда, и, когда она кончила, медленно и спокойно сказал ей:

— А может быть, вся твоя болтовня — не что иное, как ловушка, и ты хочешь завлечь меня в сети, расставленные Спартаком. А? Что ты на это скажешь, красавица Эвтибида? Кто мне поручится за искренность твоих слов и намерений?

— Я сама. Отдаю свою жизнь в твои руки: вот залог правдивости моих обещаний.

Красс, казалось, раздумывал о чем-то и минуту спустя сказал:

— А может быть, и это тоже военная хитрость?.. Может быть, жизнь тебе не дорога и ты приносишь ее в жертву ради торжества дела этих нищих рабов?

— Клянусь твоими богами, Красс, ты слишком недоверчив. Это уж неразумно.

— А не думаешь ли ты,— медленно произнес претор Сицилии,— что лучше быть чересчур недоверчивым, чем слишком доверчивым?

Эвтибида ничего не ответила, только посмотрела на Красса, и во взгляде ее была не то насмешка, не то желание выведать что-то. Помолчав немного, она сказала:

— Да кто знает? Может быть, ты и прав. Как бы то ни было, выслушай меня, Марк Красс. Как я уже говорила тебе, я пользуюсь полным доверием Спартака, Крикса и остальных вождей гладиаторов. Я знаю, что злоумышляет против тебя проклятый фракиец в связи с твоим прибытием в Арпы.

— Ты правду говоришь? — спросил Красс полусерьезно, полуиронически.— Что же он замыслил? Послушаем.

— Завтра среди бела дня с самой широкой оглаской, так, чтобы до тебя возможно скорее дошла молва, два корпуса под началом Граника и Арторикса — восемь легионов и конница, всего сорок тысяч человек,— под общим руководством Спартака выйдут из Сипонта и двинутся к Барлетте якобы с намерением направиться в область пицентов. Крикс же со своим корпусом в тридцать тысяч человек останется в Сипонте, распустив среди окрестных жителей слух, что он отделился от Спартака

из-за непримиримых разногласий между ними. Как только тебе станет известно, что Спартак ушел, ты, конечно, нападешь на Крикса, но, лишь только между вами завяжется сражение, Спартак, который спрячется со своим войском в лесах, окаймляющих дороги от Сипонта до Барлетты, быстро вернется, нападет на тебя с тыла, и все твое доблестное войско будет разбито наголову...

— О-о! — воскликнул Красс.— Вот у них какой план!..

— Да.

— Увидим, попаду ли я в ловушку.

— Без моего предупреждения, поверь мне, Красс, ты попал бы обязательно. Хочешь ты сделать нечто большее, а не только избегнуть их ловушки? Хочешь ты поймать их в те самые сети, которые они расставят тебе? Хочешь разбить и окончательно уничтожить тридцать тысяч легионеров Крикса, а затем напасть на Спартака, имея почти вдвое больше сил, чем у него?

— А ну-ка! Что мне надо сделать для этого?

— Уйди отсюда завтра до рассвета и направляйся в Сипонт; ты придешь туда, когда Спартак будет на расстоянии пятнадцати — двадцати миль от города. Он будет ждать от меня сведений о твоем продвижении (это ответственное поручение будет доверено мне) и сообщений о том, что ты находишься в пути и скоро попадешь в расставленные тебе сети, а вместо этого я скажу ему, что ты и не думал сниматься с лагеря. Затем я возвращусь к Криксу и передам, что Спартак приказал ему отправиться к горе Гарган и, в случае если ты нападешь на него, защищаться там сколько хватит сил. Как только Крикс отойдет подальше от Сипонта и будет подходить к горе Гарган, ты нападешь на него и успеешь разбить наголову прежде, чем подоспеет Спартак, даже если бы он каким-либо образом узнал об опасности, угрожающей Криксу, и поспешил ему на помощь.

Красс с удивлением внимал тому, что говорила ему эта преступная женщина, с таким тонким искусством и глубокой прозорливостью излагавшая законченный план военных операций, быть может гораздо лучший, чем тот, который претор мог бы придумать сам.

Долго Красс смотрел на гречанку, щеки которой алели ярким румянцем от сильного возбуждения, и вдруг воскликнул:

— Клянусь Юпитером Освободителем, ты страшная женщина!

— Такой меня сделала жизнь,— с жаром ответила Эвтибида и, запнувшись, добавила с горькой усмешкой, но спокойным тоном: — Не стоит об этом говорить. Что ты скажешь о моих планах и расчетах?

— В самых страшных глубинах Эреба не придумали бы ничего более ужасного, кровавого и изощренного. Но только повторяю, я не верю тебе и не полагаюсь на тебя...

— Хорошо, выслушай меня. Выступи завтра из лагеря за два или за три часа до полудня, выслав вперед из предосторожности разведчиков, и направляйся к Сипонту,— чем ты рискуешь? Если я, допустим, предала тебя, в худшем случае ты очутишься перед всем войском Спартака. А разве ты не хотел бы вступить с ним в решительный бой? Что за беда, если я, допустим, солгала тебе и, вместо того чтобы встретиться только с Криксом, ты застанешь с ним вместе и Спартака?

Красс подумал еще немного, а затем сказал:

— Хорошо... Я верю тебе... вернее, хочу верить. Обещаю тебе, если все пойдет именно так, как ты ловко и умно задумала, я щедро вознагражу тебя, и еще большую награду ты получишь от сената, когда я сообщу о важных услугах, оказанных тобой ему и народу римскому.

— Что мне ваши награды! Что мне народ римский! — сказала гречанка возбужденным голосом, бросив на Красса злобный и презрительный взгляд; глаза ее блестели от негодования и гнева.— Я пришла предложить тебе победу, но не ради римлян и не ради тебя — это моя месть. Можешь ли ты понять эту божественную, невыразимую отраду, которую доставляет несчастье ненавистного врага? Его слезы, его кровь! Какое это упоенье, какой восторг! Лишь бы я смогла стать коленом на грудь умирающего Спартака среди погибших его сотоварищей, услышать его предсмертный хрип на поле, усеянном трупами! Что мне твои дары, что мне награда сената!

Эвтибида была бледна, глаза ее лихорадочно блестели, губы дрожали. Низким, мрачным голосом произносила она эти слова, в которых звучали ненависть и жажда крови; черты ее исказились, вид был ужасен; в Крассе она возбуждала почти что отвращение, по телу его пробежала дрожь, словно ему стало страшно.

Однако Красс, серьезно обеспокоенный исходом войны, решил не быть щепетильным в выборе средств, которые могли привести его к победе. Эвтибида вскочила на коня и тихонько выехала из римского лагеря; потом она пустила горячего коня крупной рысью и направилась в лагерь гладиаторов.

На рассвете Красс приказал сняться с лагеря и, выслав вперед пять тысяч конников, дал им указание осторожно продвигаться на расстоянии трех миль от колонны легионов и обследовать окрестности во избежание какой-нибудь неожиданной опасности или засады. Вскоре после восхода солнца он направился к Сипонту, передвигаясь медленно то ли во избежание ловушки, то

ли не желая утомлять свое войско на случай внезапной встречи с врагом.

Между тем Спартак, снявшись с лагеря, направился с восемью легионами и кавалерией к Барлетте. Крикс со своими шестью легионами остался в Сипонте, и в окрестностях его пошел слух, что войско восставших из-за несогласий и споров между Спартаком и Криксом разделилось на две части: одна часть задумала напасть на римские легионы, расположившиеся лагерем близ Арп, а другая решила идти через Беневент на Рим.

Такая молва действительно распространилась, и об этом разведчики тотчас же доложили Крассу.

«Пока что сообщения Эвтибиды точны. Обмана нет,— подумал про себя предводитель римлян.— Это хорошее предзнаменование».

Так все и было в действительности.

На следующую ночь, в то время как войска Красса неподвижно и безмолвно стояли в засаде среди лесистых ущелий Гарганских гор, в четырех милях от Сипонта, Эвтибида мчалась во весь опор к Барлетте с приказом Крикса передать Спартаку, что неприятель вышел из Арп и попал в засаду и что Спартаку следует немедленно идти обратно к Сипонту.

Гречанка явилась к Спартаку, который скрывался со всеми своими легионами в зарослях, шедших вдоль дороги от Сипонта до Барлетты. Он с тревогой спросил ее:

— Ну как?

— Красс еще не двинулся из Арп. Хотя он и отправил разведчиков до самого Сипонта, но наши лазутчики сообщили Криксу, что римские легионы и не думают сниматься с лагеря.

— Клянусь богами,— воскликнул фракиец,— этот Красс умнее и хитрее, чем я предполагал!

Он задумался, затем, повернувшись к Эвтибиде, сказал:

— Вернись к Криксу и передай ему, чтобы он не снимался с лагеря, что бы ни случилось; если же явится Красс и нападет на него, то, как только начнется бой, пусть Крикс отправит ко мне трех контуберналов, одного за другим, с промежутками в четверть часа, чтобы предупредить меня: один из трех доедет, что бы ни случилось. Странно. Мне кажется, что это нежелание Красса воспользоваться благоприятным случаем разбить меня и Крикса по отдельности — дурное предзнаменование для нас.— И фракиец несколько раз провел рукой по лбу, как бы желая отогнать печальные мысли; затем он спросил Эвтибиду.— Сколько времени ехала ты из нашего лагеря сюда?

— Менее двух часов.

— Ты мчалась во весь опор?

— Посмотри, в каком состоянии мой конь.

Спартак опять задумался, потом сказал:

— И назад скачи во весь опор.

Эвтибида простилась со Спартаком и, повернув лошадь, помчалась галопом в направлении Сипонта.

Приехав туда, она сказала Криксу, что Спартак приказал ему двинуться из Сипонта к подошве горы Гарган и постараться занять там крепкую позицию.

Эвтибида приехала в лагерь Крикса за два часа до рассвета. Галл отдал легионам приказ сняться с лагеря и в полной тишине еще до восхода солнца пустился в путь к горе Гарган.

Четыре часа спустя они уже дошли до подошвы высокой горы, откуда открывался широкий вид на прозрачное Адриатическое море, по волнам которого медленно скользили парусные лодки рыбаков с побережья. Когда Крикс, находившийся на последнем отроге цепи Гарганских гор, как раз у самого моря, в удобном и защищенном месте, приказал расположиться здесь лагерем, раздались крики легионеров:

— Римляне! Римляне!

Это были легионы Красса: они пришли, чтобы напасть на тридцатитысячное войско Крикса, находившееся на расстоянии семи часов пути от войск Спартака.

Крикс не растерялся при этой неожиданной атаке. Со спокойствием и твердостью мужественного полководца он расположил свои шесть легионов в боевом порядке, применительно к неровностям почвы; четыре легиона стояли разомкнутым строем перед неприятелем, и, для того чтобы противопоставить римлянам возможно более длинную линию фронта, он протянул ее направо до холма, на котором предполагал разбить лагерь и который охранялся пятым и шестым легионами, оставленными в резерве; левый фланг фронта он протянул к обрывистым и неприступным скалам, у подножия которых с легким шумом плескалось море.

Вскоре шесть римских легионов ринулись сомкнутым строем на гладиаторов. Дикие крики сражающихся, оглушительный звон от ударов мечей по щитам нарушали извечный покой пустынного лесистого берега; эхо от пещеры к пещере, от скалы к скале повторяло эти необычные здесь печальные и мрачные звуки. Крикс объезжал свои ряды, Красс — свои, оба воодушевляли войска. Бой был ужасен; ни та, ни другая сторона не отступали ни на шаг, дрались не на жизнь, а на смерть.

Так как римляне шли в атаку сплошным строем, то левое крыло легионов Крикса не подверглось нападению, поэтому свыше трех тысяч человек четвертого легиона, развернувшись в боевом порядке, стояли в бездействии и были пассивными зрителями боя, горя нетерпением принять в нем участие. Видя это, начальник

легиона самнит Онаций поспешил вперед и стал во главе этих трех тысяч солдат. Скомандовав: «Поворот направо!» — он двинул их против правого крыла римлян, и гладиаторы обрушились на врага с такой силой, сея смерть в его рядах, что легион, составлявший крайнее правое крыло римского войска, теснимый с фронта и фланга, вскоре пришел в полное расстройство. Но это была только кратковременная победа; начальник этого крыла, квестор Скрофа, пришпорил свою лошадь и, прискакав к тому месту, где стояла в резерве римская кавалерия, приказал командовавшему ею Гнею Квинтию с семью тысячами всадников атаковать левый фланг гладиаторов, оставшийся открытым и незащищенным, несмотря на благие намерения Онация обойти врага слева и зайти ему в тыл. Квинтий помчался исполнять приказ, и вскоре третий и четвертый легионы гладиаторов подверглись натиску римской кавалерии с тыла, в результате чего ряды их были расстроены, охвачены паникой.

Тем временем Красс направил два легиона и шесть тысяч пращников с приказом обойти правый фланг Крикса. С неописуемым пылом и быстротой они взобрались на вершину находившегося позади холма, где стоял резерв гладиаторов, и, спустившись вниз полукругом, стремительно обрушились на пятый и шестой легионы; но те, вытянув свой правый фланг, насколько позволяла местность, образовали новую боевую линию, так что оба фронта гладиаторов представляли две стороны треугольника, основанием которого было море, а вершиной — холм.

И тут также завязалось ожесточенное сражение.

Красс заметил искусный маневр начальников пятого и шестого легионов, Мессембрия и Ливия Грандения, и, убедившись в том, что ему так и не удастся окружить правый фланг гладиаторов, воспользовался промахом Онация, так ловко уже использованным Скрофой, и бросил сюда не только остаток своей кавалерии, но и два других легиона, приказав им напасть на гладиаторов с тыла.

И вот, несмотря на чудеса храбрости, проявленные в этом сражении тридцатью тысячами гладиаторов против восьмидесяти тысяч римлян, менее чем в три часа были уничтожены шесть легионов Крикса. Окруженные со всех сторон втрое превосходящими силами врага, они даже не пытались спастись и, сражаясь с мужеством отчаяния, пали с честью на этом огромном поле смерти.

Крикс бился с присущей ему отвагой и до самого конца все еще надеялся на приход Спартака; когда же он увидел, что пало большинство его товарищей, он остановил своего коня (третьего за этот день, так как две лошади были уже убиты под ним) и бросил взгляд, полный невыразимой муки, на открывшееся перед

ним ужасное побоище; по щекам его потекли горячие слезы, он взглянул в ту сторону, откуда должен был прийти Спартак, и с дрожью в голосе, в котором звучала вся его великая любовь к другу, воскликнул:

— О Спартак! Ты не поспеешь вовремя ни для того, чтобы помочь нам, ни для того, чтобы отомстить за нас!.. Каково будет у тебя на сердце, когда ты увидишь достойную жалости гибель тридцати тысяч твоих мужественных товарищей!

Он поднес левую руку к глазам, решительным жестом отер слезы и, обратившись к своим контуберналам, среди которых с самого начала сражения не было Эвтибиды, сказал своим спокойным, звучным голосом:

— Братья! Пришел наш черед умирать!

Схватив свой меч, обагренный кровью римлян, убитых им в сражении, он пришпорил коня и обрушился на манипул пеших римлян, окруживших восемь или десять гладиаторов, сплошь покрытых ранами, но все же еще сопротивлявшихся. Вращая своим мощным мечом, Крикс кричал громоподобным голосом:

— Эй вы, храбрые римляне, вы всегда смелы, когда вас трое против одного! Держитесь, иду на смерть!

Крикс и четверо его контуберналов валили на землю, топтали конями и разили мечами римлян, которые, несмотря на то что их было восемьдесят или девяносто, с трудом защищались от этого града могучих ударов. Ряды легионеров-латинян пришли даже в некоторое расстройство и отступили, но, по мере того как к ним подходили по два, по четыре, по десять новых сотоварищей, они все теснее и теснее замыкали в кольцо этих пятерых смельчаков, лошади которых уже пали, пронзенные мечами, а всадники с неслыханной яростью дрались теперь пешими. Римляне нападали спереди, с боков, сзади, и вскоре все было кончено. Пал и Крикс, все тело которого было покрыто ранами. Падая, он обернулся и пронзил своим мечом римлянина, ранившего его в спину. Но клинок остался в груди легионера: у Крикса уже не было сил извлечь его. Пораженный в грудь стрелой, пущенной в него на расстоянии пяти шагов, он тихо произнес:

— Пусть улыбнется тебе, Спартак, победа и...

Уста его сомкнулись, и в эту минуту другой легионер, метнув дротик в его израненную, окровавленную грудь, крикнул:

— А пока что довольствуйся поражением. Смерть тебе!

— Клянусь ларами и пенатами,— воскликнул один из ветеранов,— сколько я сражался под началом Суллы, а никогда не видел такого живучего человека!..

— Такого сильного и бесстрашного воина я не видел даже при Марии, когда мы сражались против тевтонов и кимвров,— добавил другой ветеран.

— Да разве вы не видите, клянусь Марсом! — сказал третий легионер, указывая на трупы римлян, грудами лежавшие вокруг Крикса.— Посмотрите, сколько он уничтожил наших, да поглотит его душу Эреб!

Так закончилось сражение у горы Гарган, длившееся три часа: римлян погибло десять тысяч, а гладиаторов истреблено было тридцать тысяч.

Только восемьсот из них, по большей части раненые, были взяты в плен. Красс приказал распять их на крестах вдоль дороги, по которой римляне собирались пройти ночью. Вскоре после полудня Красс распорядился трубить сбор и велел предать сожжению трупы римлян. Он приказал не спешить с устройством лагеря, предупредив трибунов и центурионов, чтобы легионы и когорты были готовы двинуться в путь еще до полуночи.

Весь день и всю ночь Спартак в невыразимой тревоге ждал контуберналов Крикса с известиями о передвижении римлян — никто не явился. На рассвете он послал двух своих контуберналов, каждого с сотней конников — одного за другим через полчаса,— в сторону Сипонта, приказав им незамедлительно привезти сведения о неприятеле и о Криксе, тем более что его солдаты, выступив из лагеря, захватили с собой продовольствия только на три дня и по истечении этого срока остались бы без пищи.

Когда первый контубернал Спартака прибыл в лагерь под Сипонтом, он, к своему великому изумлению, увидел, что гладиаторов там уже нет. Не зная, что делать, он решил дождаться прибытия второго контубернала и посоветоваться с ним, что предпринять. Однако оба они оставались в сомнении и нерешительности и вдруг увидели, что по направлению к лагерю на запыленных, тяжело дышащих конях мчатся всадники; это были контуберналы, посланные Криксом к Спартаку при первом же появлении римлян: основываясь на донесениях Эвтибиды, Крикс предполагал, что Спартак давно уже находится на пути в Сипонт, и хотел, чтобы фракиец ускорил переход.

Легко понять, в каком состоянии были контуберналы, когда они поняли предательский замысел Эвтибиды и то ужасное положение, в котором очутился Крикс. В этих тяжелых обстоятельствах им оставалось одно: мчаться во весь дух и предупредить Спартака.

Так они и сделали; но, когда они прибыли в то место, где гладиаторы Спартака стояли в засаде, битва у горы Гарган уже подходила к концу.

— О, во имя богов преисподней! — зарычал Спартак и побледнел как полотно, услышав злополучную весть о гнусной измене, страшные последствия которой мгновенно стали ему ясны.— В поход, немедленно в поход, к Сипонту!

Садясь на коня, он подозвал Граника и голосом, в котором слышались рыдания, сказал:

— Тебе я поручаю вести форсированным маршем все восемь легионов: пусть у каждого вырастут крылья на ногах... Это день великого для нас несчастья... пусть у каждого сердце будет твердым, как алмаз... Летите... летите... Крикс погибает!.. Братья наши гибнут тысячами... Я иду к ним на помощь; помчусь впереди вас с кавалерией... Во имя всего для вас святого летите, летите!..

Сказав так, он стал во главе восьми тысяч конников и во весь опор помчался по дороге к Сипонту.

За полтора часа всадники примчались туда на взмыленных, измученных лошадях. И когда Спартак оказался на том месте, где Крикс недавно стоял лагерем, он увидел семь или восемь окровавленных, еле живых гладиаторов, которые каким-то чудом спаслись из этого ада.

— Ради Юпитера Мстителя, скажите, что здесь произошло? — задыхаясь, спросил Спартак.

— Мы разбиты... мы уничтожены... от наших легионов осталось одно только название!

— О мои несчастные братья!.. О любимый мой Крикс!..— воскликнул Спартак и, закрыв лицо руками, зарыдал.

Начальники конницы и контуберналы молча стояли вокруг Спартака, разделяя его благородное, святое горе. Растерянность и тревога, отражавшиеся на всех лицах, усилились при виде слез их вождя, сильного духом и телом.

Долго длилось молчание, пока наконец Мамилий, стоявший рядом со Спартаком, не сказал ему голосом, полным любви и срывавшимся от волнения:

— Приди в себя, благородный Спартак... будь тверд в несчастье...

— О мой Крикс!.. Мой бедный Крикс!..— в отчаянии вскричал фракиец, обняв Мамилия за шею, и, положив голову ему на плечо, снова зарыдал.

Так он стоял несколько минут; затем поднял бледное, залитое слезами лицо и вытер глаза тыльной стороной руки. Мамилий говорил ему:

— Мужайся, Спартак!.. Нам надо подумать, как спасти остальные восемь легионов.

— Да, ты прав! Мы должны предотвратить грозящую нам гибель и сделать менее пагубными последствия мерзкого предательства этой гнусной фурии.

Он погрузился в размышления и долго молчал, пристально глядя на главные ворота, видневшиеся сквозь частокол соседнего лагеря.

Наконец, придя в себя, он сказал:

— Надо бежать!.. После кровопролитного боя, в котором они уничтожили наших братьев, легионы Красса будут в состоянии двинуться от горы Гарган не раньше чем через восемь — десять часов. Мы должны выиграть это время, поправить наше положение.

И, обратившись к одному из своих контуберналов, он добавил:

— Лети к Гранику и скажи ему, чтобы он не шел дальше, а вернулся со своими легионами назад, на пройденную уже им дорогу.

И, когда контубернал пустил галопом коня, он снова обратился к Мамилию:

— Через Минервий и Венусию, делая по тридцать миль в день по горным дорогам, мы за пять-шесть дней придем в Луканию [1]. Там присоединятся к нам новые рабы, и, если даже мы не будем еще в силах сразиться с Крассом, мы можем пройти в область бруттов, оттуда пробраться в Сицилию и разжечь там еще не совсем погасшее пламя восстания рабов.

После получасового отдыха, который они дали коням, уставшим от бешеной скачки, он приказал всадникам повернуть назад, захватив с собой восемь измученных, раненых гладиаторов, спасшихся после разгрома у горы Гарган, затем Спартак направился к восьми легионам, остановившимся на полпути.

Призвав к себе Граника, он уединился с ним и сообщил ему свой план, который иллириец нашел превосходным. Привести этот план в исполнение фракиец поручил Гранику, посоветовав в течение двенадцати часов идти без остановки до Гердония, а сам с тремястами конников решил отправиться к горе Гарган и подобрать на поле боя труп Крикса.

Граник пытался отговорить Спартака, указывая на опасности, которые его подстерегают; он мог презирать их как человек, но как вождь и душа великого, святого дела не имел права подвергать себя этим опасностям.

— Я не погибну и догоню вас не позже чем через три дня на Апеннинском хребте, я в этом уверен. Но даже если бы мне и пришлось погибнуть, у тебя, мой доблестный и храбрый Граник, хватит опыта, мудрости и авторитета, чтобы стойко и энергично продолжать войну против наших угнетателей.

Сколько Граник ни отговаривал Спартака, тот не отказался от своего намерения.

Он взял с собой отряд конников, обнял Граника и Арторикса, которому велел беспрекословно исполнять приказания добле-

---

[1] Лукания — область на западном побережье Южной Италии.

стного иллирийца, и, не простившись со своей сестрой Мирцей, лишь поручив ее заботам друзей, молчаливый и печальный, расстался со своими легионами. Послушные его приказу, они ушли с преторской дороги и отправились через поля и виноградники в направлении Гердония.

Вечером Спартак прибыл в окрестности Сипонта и выслал вперед на расстояние в несколько миль по направлению к горе Гарган отряд конников, чтобы разузнать о передвижении неприятеля. Получив успокоительные известия, он приказал своим конникам спешиться и, ведя коней в поводу, чему сам подал пример, войти в лес, окаймлявший дорогу, которая вела от Сипонта через гору Гарган к морю. Чтобы пробраться с лошадьми сквозь лесную чащу, пришлось мечами рубить ветки кустов и деревьев. Медленно продвигаясь этим трудным путем, они через два с лишним часа дошли до небольшой поляны, со всех сторон окруженной дубами и елями. На поляне стояли хижины нескольких дровосеков, проводивших большую часть года в лесу.

Первой заботой Спартака было задержать всех этих дровосеков и приставить к ним стражу, чтобы лишить их возможности донести римлянам о его пребывании в лесу; затем, уверив дровосеков в том, что он не собирается причинить им зло, он приказал потушить все костры, которые могли привлечь внимание врага, соблюдать полную тишину и прислушиваться к малейшему шороху.

Все произошло так, как предвидел Спартак. Немного позже часа первого факела Красс приказал своим легионам сняться с места и следовать по дороге, ведущей к Сипонту; и, когда чуть забрезжила заря, окоченевшие от ночного холода гладиаторы, прислушивавшиеся в глубине леса к шуму на преторской дороге, услышали тяжелые шаги пехоты, цокот лошадиных копыт и гул многих тысяч голосов: римское войско без особых предосторожностей следовало по указанной ему дороге; легионеры чувствовали себя победителями, знали, что неприятель бежал, и были уверены, что он находится далеко.

К счастью для гладиаторов, римляне, охмелев от радости победы, шли с большим шумом, иначе они легко могли бы обнаружить присутствие гладиаторов в лесу: кони, почуяв приближение коней римского войска, стали громко ржать.

Прохождение римлян, победителей в сражении у горы Гарган, закончилось после восхода солнца, и Спартак, бледный, подавленный, мог наконец выйти из лесу со своим отрядом в триста всадников. Пустив лошадей галопом, они через два часа оказались на поле битвы, которое тянулось от подножия горы Гарган до самого моря.

У Спартака сжалось сердце и потемнело в глазах при виде

ужасного зрелища: все поле, насколько мог охватить глаз, было усеяно тридцатью тысячами трупов гладиаторов; гигантские костры, которые еще дымились, распространяя острый запах горелого мяса, свидетельствовали, что на этом поле недавно лежали также многие тысячи трупов римских воинов. На этом мрачном и безмолвном поле, где еще так недавно кипела и бурлила жизнь, а теперь царила неумолимая немая смерть, Спартака охватило страшное сомнение: имел ли он право оторвать стольких людей от жизни, пусть тяжкой, лишенной достоинства, но все же жизни, и бросить их в объятия смерти? Имел ли он право на это? Правильно ли он поступал?

И в то время как его товарищи предавались скорбным, тяжелым думам, сердце его тисками сжимали жестокие сомнения, ему казалось, что он задыхается под их гнетом.

Он с силой пришпорил своего коня, стараясь освободиться от этих мучительных размышлений, и двинулся по полю сражения, вплоть до того места, где груды трупов мешали ехать дальше. Тут он сошел с коня, передал его одному из всадников и приказал половине отряда следовать за ним; остальные сто пятьдесят всадников стояли у края поля битвы и сторожили коней. Спартак с отчаянием в душе обходил это мрачное поле, где на каждом шагу он видел знакомые, но покрытые смертной бледностью, обезображенные лица друзей, и глаза его наполнялись слезами.

Он увидел бедного Фессалония, жизнерадостного, великодушного эпикурейца: обагренный кровью, излившейся из множества ран, он лежал на боку, и рука его еще сжимала меч.

Он с трудом узнал Брезовира, грудь которого пронзили восемь или десять мечей, а голова была растоптана лошадиными копытами. В другом месте он наткнулся на труп храброго самнита Ливия Грандения, начальника шестого легиона, почти погребенного под мертвыми телами убитых им врагов; затем он увидел труп Онация, а дальше лежал еще живой, но весь израненный Каст, начальник третьего легиона. Слабым голосом звал он на помощь. Каста подняли, перевязали как могли его раны и перенесли на руках в то место, где сто пятьдесят человек сторожили коней. Товарищи окружили его самыми сердечными заботами.

Побродив еще два часа с отчаянием в душе по этому полю, устланному мертвецами, Спартак наконец нашел окровавленный, в продырявленных доспехах труп Крикса; только лицо его оставалось нетронутым; даже безжизненное, оно хранило тот же отпечаток благородной гордости и отваги, отличавший его при жизни. При виде его у Спартака снова сжалось сердце от боли и нежности, он бросился на землю и, покрывая поцелуями лицо друга, говорил сквозь слезы и рыдания:

— Дорогой друг мой, ты пал жертвой самого гнусного предательства! Крикс, ты погибал, а я не мог прийти тебе на помощь! Ты пал неотомщенным, благородный, любимый мой Крикс!..

Он умолк, прижимая к груди руку доблестно погибшего гладиатора. И вдруг Спартак разразился проклятиями, лицо его запылало гневом, он крикнул мощным голосом:

— Здесь, на этом месте, я клянусь всевышними богами и богами преисподней, фуриями-мстительницами, подземной Гекатой, даю клятву над твоим бездыханным телом, что за твою смерть, брат мой, проклятую предательницу постигнет возмездие, даже если она скроется в глубоких пучинах океана или в неведомых безднах Тартара!.. Клянусь и призываю всех богов в свидетели моей клятвы: чтобы твоя душа обрела покой, я принесу в жертву у твоего костра триста римлян, самых знаменитых и славных!..

Он поднялся с земли, глаза его налились кровью и блестели от гнева. Подняв голову, он простер руки к небу. Затем он взял на руки труп Крикса и в сопровождении солдат принес его на берег моря. Там он с помощью своих соратников снял с него окровавленную одежду и изрубленные доспехи, погрузил тело в морские волны, омыл его и, сняв с себя темную тогу, закрывавшую его латы, завернул в нее труп умершего гладиатора и приказал отнести туда, где его ждали остальные конники со своими лошадьми.

Каста, который был в очень тяжелом состоянии, невозможно было везти на лошади по крутым горным дорогам, и Спартак поручил его управителю одной патрицианской виллы близ Сипонта. Управитель этот, весьма расположенный к гладиаторам, обещал позаботиться о Касте. Затем, тщательно завернув мертвое тело Крикса, гладиаторы положили его на лошадь, которую вел в поводу рядом со своей сам фракиец, и отряд конницы пустился в путь по дороге к Арпам и Гердонию.

Прибыв в Арпы, Спартак узнал, что Красс со своим войском направился к Каннам; тогда Спартак немедленно быстрым маршем пошел в Гердоний, но, когда он отошел на милю от Арп, перед ним открылось ужасное зрелище: на деревьях вдоль дороги висели трупы гладиаторов, взятых Крассом в плен при сражении у горы Гарган.

Бледный, с искаженным от гнева лицом, Спартак смотрел горящими глазами на эту новую позорную бойню. Ему пришлось убедиться, что на каждом придорожном дереве висел труп гладиатора: Красс повесил все восемьсот человек, взятых в плен.

В числе повешенных Спартак узнал своего соотечественника, мужественного фракийца Мессембрия, тело которого было обагрено кровью и покрыто ранами. Увидев его, Спартак прикрыл

глаза рукой и, заскрежетав зубами, издал стон, похожий на рычание льва. Пришпорив коня, чтобы поскорее скрылось из глаз страшное зрелище, он воскликнул:

— А, Марк Красс, ты вешаешь пленных? Браво, Марк Красс! Не желаешь обременять себя лишней обузой в походах!.. О, клянусь богами, вы, римляне,— мастера ратного дела, у вас есть чему поучиться, и я всему научился... Теперь вот научусь и этому!.. Я распну твоих легионеров, взятых мною в плен, дальновидный Красс!..

Он на минуту задумался и затем громоподобным голосом продолжал:

— А, стало быть, нас, гладиаторов, римляне ставят вне закона!.. Мы дикие звери, жалкие пресмыкающиеся, убойный скот! Для нас законов не существует, потому что мы не люди! Хорошо же, клянусь всепожирающим пламенем Тартара, так и будет! Мы, гладиаторы, тоже объявим римлян вне закона и будем с ними обращаться, как с нечистыми животными... Да будет так! Слезы за слезы, кровь за кровь, резня за резню!

Всю следующую ночь Спартак, не щадя лошадей, мчался по крутым тропинкам и, миновав Гердоний, где узнал, что легионы гладиаторов прошли здесь, не задерживаясь, направился в Аскул Апулийский, куда и прибыл в полдень на следующий день, совсем загнав лошадей двенадцатичасовой непрерывной скачкой.

Гладиаторы, расположившиеся лагерем за Аскулом Апулийским, радостно приветствовали своего верховного вождя.

А в полночь сорок тысяч гладиаторов снялись с лагеря и пошли на Минервий; тут они позволили себе отдохнуть только четыре часа и тотчас же направились к Венусии, куда прибыли в сумерки, усталые и измученные после долгого и трудного пути.

На следующий день Спартак приказал своим солдатам сняться с лагеря, который они устроили накануне вечером на хорошо защищенном холме, близ города; он повел их на вершины близлежащих гор. Там, говорил фракиец, придется терпеть холод и лишения, ради того чтобы Красс не мог достигнуть их и нанести поражение.

Тем временем римский полководец быстрыми переходами дошел до Арп, затем через Канны и Канузий добрался до Рубы, где находился его главный штаб; четыре легиона, десять тысяч человек из вспомогательных отрядов и пять тысяч лошадей он оставил в Андрии под начальством квестора Скрофы, который должен был, согласно плану Красса, направиться к Венусии по одной дороге, тогда как Красс должен был идти туда другим путем; в Барий, Брундизий и другие ближайшие города он послал набирать солдат, чтобы составить из них по меньшей мере еще

один легион и возместить потерю десяти тысяч солдат, погибших в сражении при горе Гарган.

В письме сенату он сообщил о своей победе, преувеличивая ее значение. Он уверял сенат, что гладиаторы пали духом и отступают в Луканию, где он намеревается окружить их двумя своими армиями и разбить наголову.

Спартак дал два дня отдыха своим войскам, затем послал конников собрать сведения о неприятеле и еще через два дня, получив точные данные, ночью вышел из Венусии и, передвигаясь день и ночь, неожиданно прибыл в Рубы, где, тщательно скрываясь в лесу, разрешил своим солдатам только шестичасовой отдых. В полдень он напал на Красса, полагавшего, что Спартак находится в Венусии. Фракиец яростно атаковал Красса, разбил в трехчасовом бою его легионы и заставил их в большом беспорядке отступить к Андрии; римляне потеряли убитыми шесть тысяч человек, в плен гладиаторы взяли три тысячи.

Восемь часов спустя Спартак двинулся к Гравине, направляясь в Метапонт. Он приказал повесить вдоль дороги две тысячи шестьсот римских легионеров, взятых в плен в сражении при Рубах; четыреста человек самых знаменитых патрициев он оставил в живых.

Одного из них он отпустил на свободу и отправил к Крассу рассказать ему о том, как Спартак поступил с пленными в подражание жестокому примеру римского полководца; он велел ему заверить Красса, что гладиаторы и впредь будут так поступать. Кроме того, он поручил этому молодому патрицию предложить Крассу от имени Спартака сто из четырехсот пленных легионеров, оставшихся в лагере гладиаторов, в обмен на гречанку Эвтибиду, которая, как он был уверен, скрывалась в лагере римлян.

Через четыре дня он прибыл в Метапонт и оттуда двинулся в город Турии, взял его приступом и укрепился в нем; здесь он решил задержаться на некоторое время, чтобы набрать и обучить новые легионы рабов.

Не прошло и недели, как к нему стеклось более шестнадцати тысяч рабов, которых он спешно принялся обучать военному делу. Затем, отобрав по две тысячи человек от каждого из своих восьми легионов, он образовал из них четыре новых легиона, доведя таким образом число легионов до двенадцати; а шестнадцать тысяч новичков распределил равномерно между всеми легионами. Таким образом, в каждом легионе оказалось по четыре тысячи семьсот солдат; общая численность воинов, собравшихся под его знаменами, снова поднялась до пятидесяти шести тысяч пеших солдат и восьми тысяч конников.

Как только Спартак перестроил таким образом свое войско,

он вывел его из Турий и, расположив кольцом около города в широкой долине, приказал воздвигнуть в середине круга очень высокий костер, на который велел возложить тело Крикса, умащенное мазями и благовониями.

Сюда Спартак приказал привести триста римских пленных; половина из них была в одежде фракийцев, а половина в одежде самнитов; он велел их выстроить перед собой. Сам же он, бледный, со сверкающими глазами, стоял на возвышенном месте рядом с костром, где покоилось тело Крикса.

Лица молодых римлян были бледны от стыда, все они стояли, склонив голову на грудь, и многие из них молча плакали от отчаяния и злобы.

— Итак, благородные юноши,— с горьким сарказмом сказал Спартак,— вы происходите из самых знатных римских семей, предки ваши прославили свое имя знаменитыми разбоями, благородным предательством, широкими грабежами, великолепными обманами, блестящими подлостями, высокими гнусностями, покоряя народы, сжигая города, совершая ограбления.

На слезах, на крови, на резне народов они возвеличили бессмертный город Рим. И вот, благородные юноши, вы отрешились от азиатской изнеженности вашего великого города, взяли в свои холеные руки мечи, слишком для них тяжелые, и отправились сражаться против гнусных и презренных гладиаторов, которых вы считаете по разуму не выше животных. Благородные юноши, в амфитеатрах и цирках вашей прекрасной родины вы наслаждались кровавыми боями, в которых поневоле участвовали мы, гладиаторы, бедные дикие звери в человеческом обличье; вы весело смеялись, вас забавляли смехотворные кровавые схватки слепых андабатов; опуская вниз большой палец, вы требовали громкими, неистовыми криками смерти ретиария, сраженного мечом мирмиллона; вы опьянялись зрелищем предсмертных судорог, упивались мучительными стонами сотен фракийцев и сотен самнитов, со звериной свирепостью сражавшихся друг с другом на залитой кровью арене единственно для того, чтобы доставить вам удовольствие. Теперь дайте и вы нам доказательство своей прославленной доблести, позабавьте хоть раз тех, кто забавляет вас уже столько лет: сражайтесь друг с другом, убивайте друг друга и умрите с достоинством у костра этого бедного и низкого гладиатора, гнусная и проклятая душа которого желает обрести мир и покой, а посему требует благородной и чистейшей крови римлян.

Спартак говорил со все возрастающей силой и энергией, страшный в гневе своем, кипя жаждой мести; казалось, пламя исходило из его горящих глаз.

Он предстал во всем блеске своей мужественной и гордой

красоты перед глазами шестидесяти тысяч гладиторов и многих тысяч граждан города Турии, приглашенных им на похороны.

Когда он кончил свою речь, из груди всех гладиаторов вырвался неистовый, мощный и дикий крик; глаза их сияли от радости, хотя и жестокой, но справедливой, потому что этой битвой они могли отомстить за все перенесенные унижения, за презрение, на которое они были обречены, за кровавые бои гладиаторов, устраиваемые в цирках на потеху римлян.

Намерение Спартака было величественно: поднять рабов из грязи, в которую они были незаслуженно ввергнуты; поднять восстание угнетенных против угнетателей, сделать слабых сильными и отважными; отомстить за попранное человеческое достоинство рабов, низведя их палачей до положения диких зверей; насладиться в продолжение часа в качестве зрителей картиной взаимного истребления тех, которые до этого времени упивались зрелищем взаимного уничтожения гладиаторов; поменяться ролями — из рабов стать повелителями, увидеть гордых и надменных патрициев в роли рабов; испытать высшее блаженство, глядя, как уничтожают друг друга те, кто придумал это безумное и жестокое развлечение; смотреть со ступеней своего амфитеатра на роковую арену, где оказались те, что всегда смотрели на них в цирке; присутствовать при их побоище, упиться их слезами, видеть, как течет их кровь, услышать их предсмертные стоны, крики отчаяния и боли... О, все это было для бедных гладиаторов почти непостижимо, чуть ли не божественно... Это была месть, достойная только всемогущих богов!

Невозможно описать те радостные крики, те рукоплескания, которыми гладиаторы отозвались на слова Спартака. Это была исступленная радость людей, которые праздновали самую блестящую свою победу над римлянами из всех одержанных гладиаторами за три года.

Триста римлян, из которых более тридцати принадлежали к сословию сенаторов и более ста — к сословию всадников, стояли, опустив глаза, безмолвные и неподвижные, посреди круга, образовавшегося на равнине.

— Итак, смелее, славные потомки, благородные отпрыски знаменитых родов Флавия, Фурия, Дуилия, Генуция, Фавния, Ливия, Муция, Процилия! — крикнул Спартак громоподобным голосом.— Смелее! Возьмите мечи в руки и сражайтесь!.. Я зажигаю костер!.. Сражайтесь!.. Клянусь богами, мы желаем развлекаться!

С этими словами Спартак взял зажженный факел из рук контубернала и поджег кучу дров. Тотчас же его примеру последовали все начальники, трибуны и центурионы.

Пока разгорались сухие смолистые дрова, из которых был

сложен костер, римляне неподвижно стояли в середине круга. Они не отказывались сражаться, но не желали добровольно подчиниться этому позорящему их приказу.

— Ах! — воскликнул Спартак.— Вам нравится только смотреть на гладиаторские игры, а самим быть на месте гладиаторов вам не по душе? Ну что ж! — И, обратившись к легионам, он крикнул: — Пусть выйдут вперед лорарии и силой заставят их сражаться!

По приказу Спартака девятьсот гладиаторов, вооруженных длинными пиками и железными раскаленными копьями, вышли из рядов легионов и, бросившись на римлян, принялись колоть их и жечь раскаленными копьями, подталкивая против их желания друг к другу.

Как ни противились римляне этому братоубийственному и позорному сражению, их теснили все больше и больше; раскаленное железо принудило их броситься друг на друга и начать между собой жестокую, кровопролитную схватку.

Вокруг стоял неописуемый гул от криков, смеха, громовых рукоплесканий, которые неслись из рядов гладиаторов. Вопли, хохот, возгласы восторга свидетельствовали о несказанной радости удовлетворенной мести:

— Поддай, поддай!

— Убей его!.. Убей!..

— Режь, коли, убивай!

Шестьдесят четыре тысячи голосов слились в единый страшный рев, в единый вопль, в единое невообразимое проклятие!

За полчаса костер обратился в пепел, триста родовитых римских юношей лежали изувеченные, мертвые или умирающие в лужах крови у догоревшего костра Крикса.

— Ах, как справедлива наша месть! — воскликнул с удовлетворением Спартак, не пропустивший ни одного движения во время этой кровопролитной схватки.— Невыразимо сладка радость мести!

Глава двадцать первая

СПАРТАК СРЕДИ ЛУКАНЦЕВ.— СЕТИ, В КОТОРЫЕ ПОПАЛ САМ ПТИЦЕЛОВ

— Мирца, ты должна мне рассказать, ты должна открыть мне эту прискорбную тайну, которую так упорно скрываешь от меня вот уже два года; ты должна поделиться со мной своим тайным горем — оно одинаково измучило и тебя и меня. О Мирца!.. Если в душе твоей есть хоть капля милосердия... Если ты

так же благородна и великодушна, как и божественно прекрасна, ты откроешь мне сегодня свою тайну, которая отдаляет от тебя мою любовь и преданность, похищает у тебя мои горячие поцелуи,— ведь я люблю тебя, Мирца, всей силой души моей, пламенно и нежно!

Так говорил Арторикс двадцать дней спустя после похорон Крикса. Он стоял у входа в палатку Спартака, повернувшись к преторию спиной и просунув голову в палатку, чтобы преградить путь Мирце.

Лагерь гладиаторов был перенесен из Турий в окрестности Грумента в Лукании. В лагерь пришло множество рабов, и теперь каждый легион насчитывал в своем составе по шести тысяч человек. Таким образом, пехота гладиаторов выросла до семидесяти двух тысяч воинов.

Спартак выехал из лагеря во главе двух тысяч конников, чтобы разведать дорогу до горы Вултур, откуда, по слухам, шел Красс с семьюдесятью тысячами римлян.

В течение двух лет Арторикс пытался подавить в себе любовь, но она становилась все сильнее и сильнее. Чтобы узнать тайну Мирцы, он много раз тщетно убеждал ее открыться. Мирца, так же как и он, была печальна, задумчива, держалась одиноко в стороне. В это утро Арторикс, видимо, решил во что бы то ни стало добиться объяснения с девушкой: поведение Мирцы огорчало его и тревожило.

С того дня как Мирца подружилась с Эвтибидой, она стала обучаться искусству владеть оружием; верховой езде ее обучил сам Спартак в первые же дни восстания гладиаторов, чтобы бедной девушке не нужно было идти пешком с войском, так как нередко приходилось совершать трудные многодневные переходы.

Когда войско восставших стояло лагерем под Равенной, Мирца получила от своего брата доспехи, специально для нее сделанные искусным мастером в Равенне; они были точно такие же, как у Эвтибиды. Надев доспехи, девушка с этого дня больше не снимала их, так как понимала, что опасности, угрожавшие ее брату, увеличились и стали гораздо серьезнее. Поэтому она решила всегда быть рядом с ним, даже в дни сражений, чтобы помогать ему, насколько это было в ее силах, а в худшем случае разделить его участь.

В тот момент, когда Арторикс преградил девушке дорогу у входа в палатку Спартака, на Мирце был суживавшийся в талии и спускавшийся почти до колен панцирь; он состоял из целого ряда петель или правильных треугольников из полированной стали, которая блестела, как серебро; на ногах — железные наколенники, правая рука была защищена железным наручником, в левой она держала легкий, изящно сделанный круглый бронзовый

щит; у левого бедра на красивой перевязи висел маленький легкий меч, а голову прикрывал серебряный шлем тонкой работы с нашлемником.

В этом одеянии четко вырисовывался стройный и гибкий стан девушки, а ее бледное личико, обрамленное белокурыми кудрями, под шлемом хранило выражение кроткой печали. В этих доспехах Мирца была прекрасна и выглядела гораздо энергичнее, чем в женском платье.

— Что все это значит, Арторикс? — спросила сестра Спартака у юноши, и в голосе ее прозвучало не то удивление, не то упрек.

— Ведь я уже говорил тебе,— мягко ответил галл, с любовью глядя на девушку.— Ты не можешь сказать, что я неприятен тебе, что ты ненавидишь меня или гнушаешься мною; ты отрицала это не только словами, но и поступками, взглядами, а они часто выдают движения души. Ты ведь говорила сама, что Спартак любит меня, как брата, что он был бы рад, если бы ты стала моей женой. Ты никого другого не любишь, в этом ты клялась мне не раз; почему, почему же ты так упорно отказываешься от моей горячей, сильной, непреодолимой любви?

— А ты,— взволнованно ответила девушка, устремив свои голубые глаза на юношу, и в них, помимо ее воли, так ясно видна была любовь к нему,— а ты почему приходишь искушать меня? Зачем подвергаешь ты меня этой пытке? Зачем обрекаешь на такую муку? Разве я не говорила тебе это? Я не могу, не могу быть твоей женой и никогда не буду...

— Но я хочу знать причину,— ответил Арторикс. Он побледнел больше прежнего, и его голубые глаза налились слезами, которые он с трудом сдерживал.— Я хочу знать причину, вот о чем я покорно, смиренно прошу тебя. Я хочу узнать причину... и ни о чем больше я не прошу тебя. Ведь имеет же право человек, который мог бы стать самым счастливым на свете, но вынужден жить, как самый обездоленный среди смертных,— имеет же этот человек, клянусь мечом всемогущего Геза, имеет же он, по крайней мере, право знать, почему с вершины счастья ему суждено быть низвергнутым в бездну отчаяния!

Слова Арторикса шли от самого сердца, и Мирца чувствовала себя побежденной, покоренной, очарованной. Любовь засияла в ее глазах... Она глядела на юношу с такой глубокой, всепокоряющей любовью, что Арторикс почти ощущал жар этих взглядов.

Оба они были охвачены дрожью, оба, устремив взгляд друг на друга, казалось, находились во власти одного и того же чувства. Так они простояли несколько минут молча, неподвижно, пока наконец Арторикс первый не прервал молчание. Дрожа-

щим, слабым, прерывающимся голосом, в то время как слезы, навернувшиеся на глаза его, медленно-медленно катились по бледным щекам, он произнес:

— Выслушай меня, Мирца! Я не труслив... не малодушен... Ты это знаешь... В бою я всегда среди первых, а при отступлении среди последних... Дух мой непоколебим, и мне несвойственны низменные, подлые чувства. В минуты опасности я не дорожу жизнью... Смерти я не боюсь, мать научила меня видеть в смерти настоящую жизнь душ наших, и это правда... Все это ты знаешь... и все же, видишь, сейчас я плачу, как ребенок...

Мирца сделала движение к Арториксу, как бы желая что-то сказать ему.

— Не прерывай меня, моя обожаемая, моя божественная Мирца, выслушай меня. Да, я плачу... и слезы эти дороги мне, они изливаются из моего сердца, от моей любви к тебе... Верь мне, эти слезы благостны для меня... я так счастлив... здесь, с тобой... я всматриваюсь в твои печальные голубые глаза — точное зеркало твоей возвышенной души, они глядят на меня с любовью и лаской...

Мирца почувствовала, как кровь прилила к ее щекам, и они сразу стали пурпурными; она опустила глаза.

— Нет, заклинаю тебя, Мирца,— взволнованно продолжал Арторикс, сложив руки перед девушкой, словно в молитве,— если живо в тебе чувство жалости, не лишай меня божественного сияния, что исходит из глаз твоих! Смотри, смотри на меня так, как смотрела только что!.. Этот нежный взгляд покоряет меня, влечет к себе, очаровывает, отрешает от всего на свете... дарит мне чистое, невыразимое наслаждение... восторг любви, который я не в силах передать тебе словами, но душа моя полна такой беспредельной нежности, что в это мгновение я молю и призываю смерть, ибо я чувствую, что умереть сейчас было бы божественным, упоительным счастьем!..

Он замолчал и, словно в каком-то исступлении, смотрел на девушку. Она же, охваченная нервной дрожью, произнесла несколько прерывистых слов:

— Почему ты... говоришь... о смерти?.. Ты должен жить... ты молодой... храбрый... жить... и стараться быть счастливым... и...

— Как же я могу быть счастлив? — в отчаянии воскликнул гладиатор.— Как... как я стану жить без тебя, без твоей любви?..

Минуту длилось молчание. Сестра Спартака, снова опустив глаза, стояла молча, в явном смущении. Юноша схватил ее за руку и, привлекая к себе на грудь, прерывающимся от волнения голосом произнес:

— Обожаемая, любимая, не лишай меня этой сладкой иллю-

зии... скажи мне, что ты любишь меня... позволь верить, что ты любишь меня... смотри на меня своим божественным взглядом... пусть отныне сияет перед моими глазами этот луч счастья, чтобы я мог думать, что мне дано мечтать о таком блаженстве...

И, произнося эти слова, Арторикс поднес руку Мирцы к губам и стал страстно ее целовать, а девушка дрожала, словно листок. Она прерывисто шептала:

— О, перестань... перестань, Арторикс... оставь меня... уходи... Если бы ты только знал, какую боль... причиняют мне твои слова... если бы ты знал, какая это мука...

— Но, может быть, это только мечта... может быть, твои нежные взгляды были обманчивы... Если это так, скажи мне... Будь искренной, будь сильной, скажи: «Напрасной была твоя надежда, Арторикс, я люблю другого...»

— Нет, я не люблю, никогда не любила,— горячо произнесла девушка,— и никогда не полюблю никого, кроме тебя!

— О! — воскликнул в невыразимом порыве радости Арторикс.— Быть любимым тобой... любимым тобой!.. О, моя обожаемая!.. Разве дано всемогущим богам испытывать радость, равную моей?

— О, боги!..— произнесла она, с усилием освобождаясь от объятий юноши.— О, боги не только познают любовь — они упиваются радостью, а мы обречены любить молча, не имея возможности излить непреоборимый пыл нашей любви, не...

— Но кто же, кто нам запрещает?— спросил Арторикс, глаза которого сияли радостью.

— Не пытайся узнать, кто наложил запрет,— печально ответила девушка.— Не желай узнать... Такова судьба наша. Мы не можем принадлежать друг другу... Тяжкая... жестокая... непреодолимая судьба... Оставь меня... уходи... не спрашивай больше.

И, горько рыдая, она добавила:

— Ты видишь, как я страдаю? Понимаешь ли ты, как я страдаю?.. О, знаешь ли ты, как бы гордилась я твоей любовью! Знаешь ли ты, что я считала бы себя самой счастливой из людей!.. Но... это невозможно. Я не могу быть счастливой... мне это запрещено навсегда... Уходи же, не надо бередить расспросами мою рану... Ступай, оставь меня одну с моим горем.

И, бросив в угол свой щит, она закрыла лицо руками и зарыдала.

Когда испуганный Арторикс подбежал к ней и стал целовать ее руки, она снова оттолкнула его, мягко, но в то же время настойчиво говоря ему:

— Беги от меня, Арторикс. Если ты честный человек и искренне любишь меня, уйди, беги возможно дальше отсюда, оставь меня.

Подняв глаза, она увидела через вход в палатку Цетуль, которая в эту минуту проходила по преторской площадке. Рабыня-нумидийка Цетуль двадцать дней назад прибежала в лагерь гладиаторов из Таранта, потому что ее госпожа, жена патриция из Япигии, велела отрезать ей язык за излишнюю болтливость. Мирца окликнула ее:

— Цетуль! Цетуль!

И, повернувшись к Арториксу, добавила:

— Она идет сюда... Надеюсь, Арторикс, теперь ты уйдешь!

Галл взял ее руку и, запечатлев на ней горячий поцелуй, сказал:

— Все же ты должна открыть мне свою тайну!

— Не надейся, этого никогда не будет!..

В эту минуту к палатке Спартака подошла Цетуль. Арторикс, радостно возбужденный и в то же время опечаленный, медленно удалился. Душа его была полна сладостными воспоминаниями, а в голове роились печальные мысли.

— Пойдем, Цетуль, принесем эту овечку в жертву статуе Марса Луканского,— сказала Мирца, указывая на белую овечку, привязанную в одном из углов палатки, и стараясь скрыть от рабыни волновавшие ее чувства.

Несчастная рабыня, лишенная языка своей бесчеловечной госпожой, кивком головы выразила свое согласие.

— Я как раз надевала доспехи, собираясь идти в храм бога войны, и искала тебя,— пояснила молодая женщина, подымая с полу брошенный щит и надевая его на руку.

Мирца направилась в угол, где стояла овечка, стараясь скрыть от нумидийки румянец, заливший ее лицо при этой лжи.

Она отвязала веревку и конец ее подала Цетуль, вышедшей из палатки. Рабыня вела за собой животное, рядом с ней шла Мирца.

Вскоре обе женщины вышли из лагеря через декуманские ворота, выходившие к реке Акри, так как преторские ворота были обращены в сторону Грумента.

Отойдя примерно на милю от лагеря, Мирца и Цетуль поднялись на небольшой холм, возвышавшийся неподалеку от реки; там был воздвигнут священный храм Марсу Луканскому. Здесь, следуя греческому, а не латинскому обряду, Мирца принесла в жертву богу войны овечку, чтобы он ниспослал милость войску гладиаторов и их верховному вождю.

В это время Спартак со своими конниками возвратился из разведки, куда он отправился утром. Он встретил вражеских разведчиков, напал на них и обратил в бегство, взяв семерых в плен. От них он узнал, что Красс со всем своим войском направляется в Грумент. Спартак подготовил все для сражения с Крассом, ко-

торый через два дня пополудни появился со своим войском, расположив его в боевом порядке против гладиаторов.

После сигналов как с той, так и с другой стороны начался рукопашный бой, перешедший вскоре в общую ужасающую резню. Сражение длилось четыре часа. Обе стороны бились с равным упорством и доблестью, но к закату солнца левое крыло войска гладиаторов, которым командовал Арторикс, дрогнуло. Солдаты-новички, находившиеся в гладиаторских легионах, были недостаточно обучены и не обладали опытом; они не могли противостоять натиску римлян, тем более что после децимации римские легионеры стали отважными и смелыми до дерзости. Беспорядок и суматоха возрастали с каждой минутой, вскоре дрогнул самый центр. Несмотря на чудеса храбрости, проявленные Арториксом,— спешившись, он боролся против наступающего врага, уже раненный в грудь и в голову, шлем его был разбит, кровь обагряла лицо, но он не выпускал из рук оружия,— его легионы все же продолжали отступать все в большем и большем беспорядке. В это время появился разгневанный Спартак. Громовым голосом, упрекая солдат, он крикнул:

— Клянусь вашими богами, поражения, которые вы до сей поры наносили римлянам, превратили их в мощных львов, а вас — в жалких кроликов! Остановитесь, во имя Марса Гиперборейского, и следуйте за мной! Сражаться будем вместе, мы обратим их в бегство, как это уже бывало не раз. Если только вы будете биться, как подобает храбрым, мы и теперь их осилим.

И, бросив свой щит в нападающих врагов, он выхватил меч у раненого гладиатора и устремился на римлян с двумя мечами, как обыкновенно сражались в школах гладиаторов. Он так быстро описывал ими круги, наносил удары с такой силой и быстротой, что вскоре великое множество легионеров лежало на земле: одни убитые, другие смертельно раненные. Римляне принуждены были отступить. Перед могучей силой этих ударов не могли устоять ни щит, ни панцирь, все разлеталось, разбитое вдребезги; оба меча Спартака сеяли вокруг него гибель и смерть.

При виде этого гладиаторы воспрянули духом и с новыми силами бесстрашно бросились в бой, а Спартак, проходя через ряды ближайшего легиона, творил такие же чудеса, приближая победу.

Но центр войска гладиаторов, на который были направлены все силы Красса, лично командовавшего своим любимым шестым легионом, состоявшим из ветеранов Мария и Суллы, не мог более противостоять страшному натиску ветеранов, заколебался и начал отступать.

Спартак был на левом крыле, когда его глазам представилось печальное зрелище бегства гладиаторов в центре. Он бросился к коннице, стоявшей в резерве как раз за центром, вскочил на сво-

его коня, которого держал под уздцы нумидиец, и велел трубить приказ кавалерии построиться в двенадцать рядов, с тем чтобы создать вторую боевую линию. Легионы, обращенные в бегство, теперь могли пройти через промежутки между боевыми рядами конницы, чтобы укрыться в лагере; фанфары протрубили им сбор.

Но все эти меры не могли спасти легионы центра и левого крыла: они отступали в беспорядке, неся огромные потери. Только правое крыло, которым командовал Граник, отходило, соблюдая порядок. Чтобы сдержать стремительный натиск римлян и спасти войско от полного поражения, двенадцать отрядов конницы под началом Спартака обрушились на римские когорты, ряды которых были смяты, и легионерам пришлось спешно отступить, построиться в круги, квадраты и треугольники, чтобы не быть уничтоженными конницей гладиаторов, которая теперь рубила застигнутых врасплох одиночек.

Красс хотел ввести в бой свою кавалерию, но не рискнул это сделать, потому что наступала ночь, все предметы стали невидимыми и в наступавших сумерках сливались в одну темную, неясную массу. Обе воюющие стороны протрубили сбор, и войска возвратились в свои лагери. Сражение прекратилось.

Римляне потеряли пять тысяч человек, а гладиаторы восемь тысяч убитыми; тысяча двести восставших были пленены врагом.

Вернувшись в лагерь, Спартак с помощью полководцев, трибунов и центурионов принялся приводить в порядок свои легионы и позаботился о лечении Арторикса, раны которого были признаны врачом неопасными. Вождь приказал зажечь в лагере обычные огни. До наступления полуночи, соблюдая тишину, Спартак со своим войском оставил Грумент и направился в Неруль. Гладиаторы пришли туда около полудня, пробыли всего четыре часа и ушли в Лавиний, где оставались до глубокой ночи, а на рассвете следующего дня двинулись в Пандосию. Оттуда фракиец намеревался отправиться в землю бруттов и пройти в Косенцию.

В Пандосии к нему явился гонец от Красса. Отказавшись в свое время обменять сто римских пленных на Эвтибиду, которая после измены и поражения при горе Гарган жила в лагере претора, Красс теперь через своего гонца предлагал обменять тысячу двести гладиаторов, взятых в плен при Грументе, на сто римских патрициев, находившихся в плену у фракийца.

Спартак, посоветовавшись с Граником и тремя другими начальниками легионов, принял предложение Красса. Он условился с гонцом, что передача пленных произойдет через три дня в Росциане.

Когда гонец Красса уехал, Спартак подумал, и не без осно-

вания, что римский полководец сделал это предложение в надежде приостановить продвижение гладиаторов и выиграть упущенное им время. Поэтому он решил послать в Росциан тысячу двести гладиаторов с двумя тысячами четырьмястами лошадей и сто римских пленных, дав Мамилию, которому был поручен обмен, точный приказ не передавать римских пленных до тех пор, пока он не получит тысячу двести гладиаторов. Как только гладиаторы будут переданы Мамилию, посадить их тотчас же на коней, которых он приведет с собой, и тут же галопом скакать в Темесу, от которой Спартак с войском будет находиться на расстоянии четырех дней пути; там он расположится лагерем и пробудет несколько дней. Если же Мамилий увидит, что римляне пытаются обмануть его, он должен уничтожить пленных римских патрициев и бежать к Спартаку, оставив тысячу двести пленных гладиаторов на волю судьбы.

Во время перехода из Пандосии в Темесу Спартак натолкнулся на вооруженный отряд, который разведчики фракийца приняли за римлян. Но то были пять тысяч рабов, собранных и организованных в отряд Гаем Канницием. Осознав свою неправоту перед Спартаком и раскаявшись в своем проступке, Канниций привел теперь свой отряд в лагерь восставших, поклявшись беспрекословно подчиняться и повиноваться Спартаку и строго соблюдать дисциплину.

Фракиец по-братски принял самнита и его солдат, которых тотчас же приказал наилучшим образом вооружить, и пополнил ими свои двенадцать легионов, один из которых отдал под начало Гая Канниция.

Через пять дней после этого возвратился Мамилий с тысячью двумястами пленных, к которым Спартак в присутствии всего войска обратился с краткой, но полной укоров речью, дав им понять, что не всегда найдутся в лагере сто пленных римских патрициев, которые спасли бы жизнь гладиаторов, сдавшихся живыми врагу. Не будь такой счастливой случайности, гладиаторы, все тысяча двести человек, висели бы теперь на деревьях по дороге, ведущей из Грумента в Росциан, и стали бы пищей ворон и ястребов апеннинских лесов. Лучше пасть на поле брани, чем отдаться живым в руки врага и быть потом позорно повешенным.

Красс явился в Темесу с опозданием более чем на двадцать дней. Все это время он слал письма муниципиям Лукании, Апулии, Калабрии и Япигии, требуя солдат. Первым двум провинциям он напоминал об ущербе, причиненном им гладиаторами Спартака, доказывал всю пользу уничтожения в корне мятежа этих разбойников, а двум последним провинциям, преувеличивая свои заслуги, намекал, что без его, Красса, помощи они, по всей вероятности, понесут немалый ущерб от войска гладиаторов.

В результате принятых Крассом мер к нему со всех сторон шли подкрепления, и за пятнадцать дней он собрал свыше четырех легионов. Когда же Красс выступил в поход против Спартака, армия его насчитывала около ста тысяч человек.

Фракиец между тем повел переговоры с некоторыми пиратами из Киликии, которые плавали вдоль берегов Тирренского моря. Он хотел, чтобы они перебросили его войска в Сицилию, обещая уплатить им за эту услугу тридцать талантов. Эта сумма составляла всю казну, которой располагали гладиаторы, хотя им и приписывали невиданные грабежи.

Но пираты, согласившись на предложение Спартака и даже получив от Граника, который вел с ними переговоры, десять талантов в задаток, в ночь перед посадкой войска Спартака на суда тайком ушли из Темесы, обманув таким образом фракийца. Возможно также, что они побоялись мести римлян за помощь их врагу.

В то время как вожди гладиаторов смотрели из своего лагеря на паруса пиратских кораблей, которые по мере удаления от берега все уменьшались и, наконец, исчезли совсем, манипул разведчиков, примчавшийся в лагерь, известил о приближении Марка Красса.

Гладиаторы взялись за оружие и, выстроившись в боевую линию, ожидали врага; но еще до того, как вражеские легионы приготовились к бою, первая линия войск Спартака, состоявшая из шести первых легионов, с ожесточением напала на римлян, внеся в их ряды большое смятение.

Во второй линии у фракийца было четыре легиона, а на правом и левом крыльях он расположил четыре тысячи кавалеристов.

Два легиона Спартак задержал в Темесе, куда в случае неудачи предполагал укрыться со всем войском, с тем чтобы выждать там благоприятного случая для отмщения. Может быть, он уже обдумывал план, который в случае необходимости помог бы гладиаторам выйти из затруднительного положения.

Перед тем как повести войска в бой, Спартак приказал начальникам шести легионов, из которых состояла первая линия, на случай отступления трубить в букцины и словесно приказать через трибунов, центурионов и деканов своим солдатам отходить за вторую линию через ее ряды.

Сражение длилось уже несколько часов с переменным успехом. Оба войска бились одинаково храбро и ожесточенно, но в час пополудни Красс бросил в бой свежие силы и растянул свою боевую линию; тогда Граник, командовавший гладиаторами в этом сражении, чтобы избежать окружения, решил отступить. Благодаря усердию воинов отход, осуществлявшийся через ряды второй линии, был совершен быстро и довольно организованно.

Поэтому, когда римские легионеры занесли мечи, решив покончить с бегущим войском, они натолкнулись на новую линию гладиаторов, которые мощным, стремительным ударом обратили римлян в бегство, нанеся им значительный урон.

Марк Красс был поэтому вынужден трубить сбор, чтобы ввести в бой еще восемь легионов и начать новое, еще более грозное сражение. Два других легиона он разместил на правом и левом крыльях своих боевых порядков, надеясь охватить гладиаторов с флангов, но конники Спартака растянули фронт гладиаторов вправо и влево, и опять римского полководца постигла неудача.

Тем временем Граник привел в боевую готовность шесть первых легионов; он выстроил их на склоне холмов, шедших вокруг стен Темесы, и, когда Красс решил ввести в бой кавалерию, Спартак отступил за боевые порядки первой линии, которой командовал Граник и которая снова была готова к сражению с римскими войсками.

Таким образом, сочетая атаки с отходными маневрами, гладиаторы к вечеру подошли к стенам Темесы, и численное превосходство не принесло Крассу желанного результата. Он приказал прекратить сражение и, стоя у подножия холмов, окружавших Темесу, сказал своему квестору Скрофе:

— Презренный гладиатор, низкий, если угодно, но надо признаться, что проклятый Спартак обладает многими качествами выдающегося полководца.

— Скажи прямо,— с горечью заметил Скрофа, понизив голос,— что Спартак бесстрашный, прозорливый, блестящий полководец.

Так закончилась эта битва, которая длилась более семи часов. Гладиаторы потеряли шесть тысяч убитыми, а римляне — семь.

Это, однако, не помешало Крассу, когда Спартак удалился в Темесу и укрылся там, объявить себя победителем и написать сенату, что он надеется закончить войну через двадцать или тридцать дней: гладиатор заперт и, уж конечно, не вырвется из его рук.

Спартак успел за это время окружить стены города широкими рвами, был все время начеку, заботился об обороне и молча обдумывал план маневра, который помог бы ему выйти из затруднительного положения.

Фракиец категорически запретил жителям отлучаться из города под каким бы то ни было предлогом; ночью и днем городские ворота и стены охранялись гладиаторами.

Наложенный Спартаком запрет испугал жителей Темесы; они решили, что эта мера повлечет за собой все опасности и беды

длительной осады, которую Красс не замедлит применить; они уже предвидели все ужасы голода.

Спартак воспользовался этим страхом и, когда представители городских властей пришли просить его вывести войска из города, предлагая за это оружие, съестные припасы и большое количество денег, фракиец ответил, что у жителей Темесы есть один-единственный способ избавиться от ужасов осады и голода: они должны собрать все имеющиеся в городе рыболовные лодки, челноки, небольшие суда и доставить их возможно скорее на берег, где стояли его кавалерия и три легиона. Кроме того, Спартак приказал прислать к нему всех, сколько есть в городе, искусных мастеров для постройки лодок и судов; передать ему весь строительный материал, которым располагает город, чтобы он мог построить флотилию для перевозки войск на сицилийский берег. Только это может спасти население от длительной осады и ужасов войны.

Городские власти, патриции Темесы и все население города согласились на предложение Спартака, и вскоре на берегу моря много сотен мастеров при содействии тысяч гладиаторов принялись за постройку флота — небольших, но многочисленных судов.

А в это время Красс, чтобы запереть врага, занял самые важные позиции, послал гонцов в Турии, Метапонт, Гераклею, Тарант и Брундизий с требованием немедленно в большом количестве прислать ему осадные орудия, катапульты и баллисты, так как он понимал, что без них война могла затянуться надолго.

В то время как один полководец готовил свое войско к жестокой осаде Темесы, а другой собирался переплыть в Сицилию и там поднять войну, еще более грозную, чем нынешняя, разъяренная и охваченная нетерпением Эвтибида, тая в душе месть, одиноко бродила по римскому лагерю. С присущей ее натуре отвагой и дерзостью она задумала обследовать окрестности города и подойти возможно ближе к аванпостам врага, чтобы выбрать пологий и наименее трудный доступ к стенам и попытаться неожиданно проникнуть в город. По ее приказанию две рабыни, привезенные ею из Таранта, приготовили мазь коричневого цвета, которой она в течение нескольких дней красила руки, лицо, шею. Эвтибида теперь стала неузнаваемой и в точности походила на эфиопку. Переодевшись в платье рабыни, она подобрала свои рыжие косы и обвязала их широкой повязкой, наполовину закрывавшей уши. В один прекрасный день, до рассвета, гречанка вышла из лагеря с глиняной амфорой в руках; она походила на рабыню, идущую за водой. Эвтибида направилась к холму, на вершине которого возвышалась стена Темесы. Окре-

стные землепашцы сказали ей, что источник находится на склоне холма.

Мнимая эфиопка, осторожно пробираясь в предрассветных сумерках, вскоре очутилась близ указанного источника. Вдруг она услышала приглушенный шепот и лязг мечей о щиты и догадалась, что, по всей вероятности, этот источник охраняет когорта гладиаторов.

Тогда она тихо свернула налево и пошла вдоль холма, чтобы разведать местность.

Пройдя примерно с полмили, Эвтибида очутилась в том месте, где холм, вокруг которого она бродила, соединялся с другим, более высоким холмом. Оттуда, слева от гречанки, виднелось море. Молодая женщина остановилась и при слабом свете зари стала осматриваться. Ей показалось, что перед ней среди темной массы деревьев возвышается какое-то здание. Она стала всматриваться пристальнее и убедилась, что это храм.

Минуту она постояла в раздумье, затем, сделав энергичный жест, говоривший о принятом решении, быстро направилась к храму, отстоявшему очень далеко от стен города. В этом месте городские стены шли по изгибу холма, который, как показалось гречанке, был занят гладиаторами.

Через несколько минут Эвтибида дошла до здания. Оно было небольшое, но очень красивое и изящное, построенное из мрамора в дорическом стиле. Гречанка быстро сообразила, что это священный храм Геркулеса Оливария. Гладиаторы его не охраняли; их аванпосты доходили только до небольшого дома, находившегося на расстоянии двух полетов стрелы от названного храма.

Храм был пуст, и, обойдя его кругом, Эвтибида собиралась уже уходить, как вдруг заметила старика. Судя по одеянию, это был жрец. Погруженный в свои мысли, он стоял, опершись на колонну храма, близ жертвенника, перед которым возвышалась чудесная мраморная статуя Геркулеса с оливковой палицей; отсюда и было его имя — Геркулес Оливарий.

Гречанка подошла к жрецу и рассказала ему на испорченной латыни, что она хотела наполнить свою амфору водой из источника при храме, что она рабыня одного из местных землепашцев; ее господин, узнав о приближении войск, бежал и укрылся в развалинах храма Януса, в глубине долины, а там совсем нет питьевой воды.

Жрец, принадлежавший к роду потитиев, провожая рабыню к источнику, где она должна была набрать воды в амфору, разговорился с Эвтибидой о печальных временах и дурных последствиях войны, тем более пагубных, что, по словам жреца, заброшена религия — единственный источник людского благополучия.

Эвтибида соглашалась с ним и хитрыми вопросами и восклицаниями, с виду простыми и незатейливыми, поощряла говорливого потития, утверждавшего, что древние италийцы искони отличались благоговейным отношением к великим богам и почитали их, а поэтому Сатурн, Юпитер, Марс, Юнона, Церера, Геркулес, Янус и другие боги щедро дарили им свои милости и пеклись о них; теперь же скептицизм и эпикуреизм все больше и больше проникают в души людей; культ великих богов заброшен, а жрецов предают осмеянию; боги, оскорбленные такой нечестивостью, ниспосылают справедливые кары. Для добрейшего потития, таким образом, все войны, резня, мятежи, которые в течение тридцати — сорока лет омрачали Италию, были не чем иным, как явным проявлением гнева небесного.

Старец жаловался, что вынужден был после занятия Темесы гладиаторами укрыться в этом храме вместе с двумя другими жрецами. Он оплакивал печальные последствия осады: Спартак запретил жителям Темесы выходить из города, и теперь уже больше никто, даже те, кто горит желанием, не может посетить храм, не может приносить богу жертвы и дары. Это больше всего огорчало добрейшего старца, ибо каждое жертвоприношение Геркулесу всегда заканчивалось пиром, а жертвы и дары доставались жрецам.

Как видно, священнослужители тех времен, так же как и в наше время и во все эпохи, являлись служителями лицемерия и суеверия.

О религиозном усердии людей забитых, грубых и обманутых они судили по количеству и качеству принесенных в храм даров — ведь эти дары тому или иному божеству питали ненасытное чрево жрецов культа.

— Вот уже двадцать дней, как никто не посещает храма Геркулеса Оливария, которого так почитали в этих обширных краях Лукании и Бруттия...— произнес, вздыхая, потитий.

— Скажу своему господину, что если он желает, чтобы его дом и владения остались неразграбленными, пусть приходит сюда сам или присылает дары великому Геркулесу Оливарию,— сказала с видом покорного и в то же время глубочайшего убеждения Эвтибида, коверкая латинскую речь.

— Да защитит тебя Геркулес, добрая девушка,— ответил потитий.

И, помолчав немного, он добавил:

— Да, это так... благочестия надо искать у женщин, чаще всего оно обитает в женском сердце. Я тебе только что сказал, что вот уже двадцать дней, как из наших краев никто не приходил сюда и не приносил жертв нашему богу... Это не совсем так. Два раза была и приносила жертвы девушка, кажется гречанка,

из лагеря гладиаторов... такая набожная, преданная богу и очень красивая!

Глаза Эвтибиды сверкнули от радости; дрожь пробежала по всему ее телу, и кровь сразу бросилась в лицо. К счастью, темная краска, покрывавшая ее лицо, помешала жрецу заметить румянец, совершенно изменивший ее облик, и узнать, что это была другая, а совсем не та женщина, какой ей хотелось казаться.

— Ах,— произнесла она, стараясь овладеть собой и подавить свое волнение,— ты говоришь, что какая-то молодая женщина приходила сюда из вражеского лагеря?

— Да, да, она была в военной одежде, на перевязи висел меч, и оба раза ее сопровождала черная женщина, вот как ты... Бедняжка немая — по приказу ее госпожи у нее когда-то отрезали язык.

Эвтибида сделала жест, выражавший ужас, затем сказала с напускной простотой и добродушием:

— Из вражеского лагеря... Мой господин говорит, что они наши враги... Даже враги и те поклоняются великим богам... Завтра же я приду сюда до рассвета... я так боюсь гладиаторов!.. И если я не смогу уговорить моего господина присылать дары славному Геркулесу Оливарию, тогда я сама принесу ему свой скромный дар.

Потитий похвалил ее и, поощряя ее благочестие, обещал ей покровительство Геркулеса, а на прощание указал тропинку, которая шла от храма к лощинке между двумя холмами: по ней было легче спускаться и подниматься незамеченной.

Трудно описать, с какой радостью возвращалась в лагерь коварная гречанка. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди. Она нашла такого союзника, о каком не могла даже мечтать: продажность и жадность жреца бросались в глаза, подкупить его не составляло труда, и, может быть, при его посредстве удастся найти какой-нибудь скрытый, потайной доступ к стенам! Во всяком случае — вот отчего трепетало ее сердце,— если ей не удастся пронзить грудь Спартака, то все равно, убив его сестру, она нанесет ему смертельный удар. Жрец и храм помогут ей в этом.

Вернувшись в лагерь, Эвтибида вошла в свою палатку и не выходила оттуда весь день. Ночью она отправилась к палатке претора; ее тотчас же пропустили к Крассу; она сообщила ему о своем открытии и о том, что в будущем надеется достичь большего. Гречанка сказала, что ей нужны деньги, и вождь римлян предоставил в ее распоряжение казну квестора. Но Эвтибида ответила, что ей нужны всего лишь пять талантов. Скрофа выдал ей эту сумму.

В час пополуночи Эвтибида снова вышла из лагеря; она вела ягненка, двух молочных поросят и несла четырех белоснежных голубей. Она поднялась по тропинке, указанной ей потитием, до храма Геркулеса и пришла туда за два часа до рассвета. Больше часа ждала она, пока потитий открыл ей двери храма. Вместе с двумя служителями он принял дары бедной рабыни и весьма одобрил их.

Разговаривая с потитием, которого звали Ай Стендий, Эвтибида сказала ему, что завтра ее господин собирается посетить храм с богатыми жертвоприношениями богу, если только не побоится выйти из-под развалин храма, где он спрятался. Если же он не пойдет сам, то она уговорит его это лестное поручение доверить ей.

На следующий день она действительно привела с собой рабочего вола, нагруженного вином и зерном; все это от имени своего господина она приносила в жертву богу.

В течение пяти или шести дней Эвтибида посещала храм Геркулеса. Она искусно разузнавала характер Айя Стендия и подготовляла его к кое-каким щекотливым предложениям, которые намеревалась ему сделать. Гречанка открыла жрецу, что она не та, какой ему вначале представлялась. Эвтибида предлагала ему быть с римлянами и за римлян; Красс готов широко вознаградить его и других жрецов, если они укажут место в стене, через которое можно было бы неожиданно ворваться в город.

Жрец был уже подготовлен к такого рода беседе, все же он счел нужным притворно удивиться и сказал:

— Значит, ты... И все же ты была так похожа... Значит, ты не рабыня-эфиопка?.. Гречанка ты... предана римлянам?.. Как же ловко ты притворялась!..

— Мое притворство было военной уловкой.

— Я не виню тебя. Великие боги справедливо покровительствуют римлянам... Они славятся своим благочестием. Жрецы Геркулеса на стороне римлян, которые всегда чтили нашего бога и воздвигли в его честь шесть великолепных храмов в своих городах.

— Будешь ли ты способствовать планам Красса? — спросила гречанка, глаза которой сияли от радости.

— Буду стараться, насколько смогу... что смогу...— ответил потитий.

Вскоре они пришли к соглашению. Жрец обещал, невзирая на опасность, подойти под каким-либо благовидным предлогом к городу, заручившись поддержкой Мирцы, когда она опять придет в храм; они отправятся туда вместе. Он добавил, что ему известна только одна тропинка, ведущая через крутые, обрывистые склоны к месту, где стены почти развалились, и если гла-

диаторы укрепили их не особенно прочно, то в этом месте легко можно было бы пробраться в город. В заключение он предложил Эвтибиде каждую ночь приходить к нему за сведениями, связанными с их военной хитростью — так благочестивый жрец называл замышленный Эвтибидой заговор. С часу на час могла прийти в храм сестра Спартака, и, стало быть, уже при следующем свидании с гречанкой он, возможно, сообщит ей результаты своей разведки.

Придя таким образом к соглашению, Эвтибида пообещала жрецу десять талантов в счет награды, которую он по завершении дела получит от Красса. На следующую ночь, с немалым трудом смыв с лица темную краску и восстановив свой естественный облик, Эвтибида надела военные доспехи, явилась в храм Геркулеса и передала десять талантов жрецу, который, однако, еще ничего не мог сообщить ей.

Эвтибида пришла на следующую ночь, но Айя Стендия не было в храме. От двух других потитиев она узнала, что Мирца приходила днем и принесла жертву Геркулесу; после этого Ай Стендий пошел вместе с ней в город.

Сердце Эвтибиды сильно билось, ее одолевали сомнения: она то надеялась на успех, то боялась неудачи. В ожидании потития она провела весь день в храме. Потитий возвратился под вечер и рассказал, что то место, где стена развалилась, заново укреплено Спартаком; предусмотрительный полководец уже давно обследовал все стены и укрепил слабые места.

Эвтибида была сильно огорчена сообщением жреца, ругала и проклинала предусмотрительность и прозорливость Спартака.

Долго сидела она, погруженная в свои мысли, и наконец спросила у жреца:

— А Мирца, сестра гладиатора, когда собирается снова прийти в этот храм?

— Не знаю,— нерешительно ответил жрец,— может быть... она придет... послезавтра... На этот день приходятся Антимахии, празднество в честь Геркулеса, в память его бегства в женском платье с острова Коо. В этот день полагается приносить в дар нашему богу женскую одежду. Мирца сказала, что она намерена прийти послезавтра и принести жертву, чтобы испросить у бога покровительства оружию восставших рабов и в особенности брату своему...

— Ох, Юпитер, ты справедлив!.. И ты, Геркулес, справедлив!.. Все вы, о великие боги Олимпа, справедливы! — воскликнула гречанка, подымая к небу глаза, горевшие звериной радостью; она с улыбкой эринии и с несказанной тревогой, отражавшейся на лице ее, выслушала слово за словом все, что говорил потитий, и произнесла: — Я отомщу еще ужаснее, чем я мсти-

ла ему до сих пор: наконец-то это будет настоящая кровавая месть!

— О какой мести говоришь ты? — с удивлением спросил жрец.— Ты ведь знаешь, что боги неохотно допускают и поощряют месть!

— Но если она возникла от незаслуженно полученной обиды, если желание мести вызвано оскорблением без причин... о, тогда не только боги ада, но и боги небес одобряют месть и покровительствуют ей,— сказала Эвтибида, снимая с плеча толстую золотую цепь, на которой висел ее маленький меч с рукоятко̀й, украшенной драгоценными камнями, и отдавая его Айю Стендию.— Разве это не так, о Стендий? — добавила она, в то время как жрец алчными глазами рассматривал полученный дар и прикидывал в уме его стоимость.— Разве не верно, что справедливая месть мила даже богам, обитающим в небесах?

— Конечно... несомненно... когда она справедлива и обида неоправданна,— ответил жрец,— тогда и боги Олимпа... Да и, кроме того, разве месть не зовется радостью богов?

— В самом деле? — добавила Эвтибида, снимая с головы свой серебряный шлем, украшенный золотой змейкой, у которой вместо глаз были вставлены ценнейшие рубины; подавая шлем потитию, она повторила: — В самом деле?

И когда глаза жадного жреца заблестели при виде драгоценностей, она продолжала:

— Досточтимому Геркулесу я приношу в дар эти скромные вещи; завтра я принесу еще десять талантов... почитаемому мною Геркулесу,— она подчеркнула три последних слова,— для того чтобы ты, его жрец, помог мне в моей мести.

— Во имя Кастора и Поллукса!— воскликнул жрец.— Если она справедлива, я должен тебе помочь... Клянусь жезлом Прозерпины, разве может жрец великих богов не покровительствовать тому, чему покровительствуют сами боги!

— Завтра в ночь ты должен будешь спрятать здесь двух храбрых и верных воинов.

— Здесь? В храме? Осквернить священное жилище божественного Геркулеса? Подвергнуться риску быть принятым гладиаторами за сообщника римлян? Ведь, если они найдут здесь двух твоих воинов, они, без сомнения, повесят меня! — произнес, отступая на два шага, жрец.

— А как же ты поможешь мне в моей мести? — спросила Эвтибида.— Ведь ты мне обещал это минуту назад!

— Да, но я не могу разрешить, чтобы они... чтобы Мирцу убили... когда она придет в храм моего бога... Для жреца это недопустимо! Если бы... ну, хотя бы речь шла о том, чтобы она попала в плен... и передать ее тебе...

Зеленые, с фосфорическим блеском глаза Эвтибиды метали молнии, странная улыбка искривила ее губы.

— Да, да! — вскричала она.— Пленница!.. В мои руки... потому что я... я хочу убить ее сама, если Спартак не попадет в мои руки, чтобы спасти ее.

— Что ты с ней сделаешь, я не должен... не желаю знать... я хочу только одного — быть непричастным к этому кровавому делу, не принимать участия в убийстве,— лицемерно произнес потитий.

— Правильно,— ответила Эвтибида,— правильно. Итак, завтра в ночь здесь, в храме,— добавила она, снимая со среднего пальца левой руки золотое кольцо, в котором блестел крупный топаз, и протягивая его жрецу.

— Не здесь, не в храме,— ответил потитий, поспешно принимая кольцо.— Я укажу твоим верным воинам место, где они будут находиться... неподалеку отсюда... в роще падубов... что прилегает к дороге... Роща эта как будто нарочно создана для такого случая...

— А она не может убежать оттуда?

— Но я ведь говорю тебе, что роща как будто нарочно насажена, чтобы дрозды попадались в ловушку.

— Ладно, пусть будет по-твоему... и пусть твоя щепетильность честного жреца получит удовлетворение,— сказала Эвтибида с тонкой иронией.

Через минуту она добавила:

— Кстати, не грозит ли опасность...

— Какая? — спросил Ай Стендий.

— А вдруг в течение дня щепетильность твоя проснется, встревожит твою душу, взволнует совесть и, подстрекаемая страхом перед гладиаторами и ужасной возможностью быть повешенным, толкнет тебя... ну, например, уйти отсюда, захватив оружие и скарб, в Темесу?

В то время когда гречанка произносила эти слова, она пристально смотрела в глаза жреца, как бы испытывая, каковы его намерения и помыслы.

— Что ты говоришь? — сказал Ай Стендий, упорно защищаясь от ее предположений; в его голосе звучала напускная обида — будто он оскорблен в своем достоинстве.— А что еще тебе пришло на ум?

— Блестящая мысль, достойный, благочестивый жрец.

— А именно?

— Ничего не сообщая твоим двум коллегам, ты вместе со мной спрячешь в верном месте те скромные дары, которые я принесла в жертву богу; затем ты пойдешь со мной за вал, и там мы попируем вместе с тобой... У нас будет роскошная тра-

пеза... потому что я хочу в твоем лице почтить не только уважаемого жреца Геркулеса Оливария, но также честного и хорошего гражданина!

— Во имя богов! — воскликнул жрец с притворной обидой.— Ты, значит, не доверяешь мне?

— Не тебе я не доверяю, а меня тревожит твоя непорочная совесть.

— Но... я не знаю, должен ли я...

— ...идти со мной? Но ведь ты должен помочь мне донести сюда пятнадцать талантов, о которых мы с тобой договорились... Или ты только что сказал — десять?

— Пятнадцать! Я сказал — пятнадцать! — поспешно поправил потитий.

— Во всяком случае, если даже ты и сказал десять, то ошибся... потому что богу я за мою месть приношу пятнадцать талантов. Пойдем же со мной, прямодушный Ай Стендий, ты будешь доволен сегодняшним днем.

Жрец принужден был спрятать в укромном месте шлем, меч и кольцо Эвтибиды и пойти вместе с ней за римский вал.

Марк Красс теперь полностью доверял гречанке; он разрешал ей свободно входить и выходить из лагеря одной или же в сопровождении кого-либо по ее выбору.

Эвтибида устроила для потития роскошный пир. В восьми или девяти чашах отличного цекубского он утопил свою печаль, вызванную недоверием гречанки.

Она же тем временем позвала к себе своего верного Зенократа и, быстро сказав ему что-то шепотом, отпустила его.

Глубокой ночью, в предрассветный час, Эвтибида надела стальной шлем, перебросила через правое плечо перевязь, на которой висел небольшой острый меч, и вышла из лагеря вместе с жрецом, который не слишком твердо стоял на ногах из-за выпитого цекубского.

На расстоянии нескольких шагов за Эвтибидой и Айем Стендием следовали два каппадокийца огромного роста, вооруженные с ног до головы. Это были рабы Марка Лициния Красса.

Пока они идут к храму Геркулеса Оливария, заглянем на минуту в Темесу. Там у Спартака уже три дня стояла наготове флотилия, и он ожидал лишь темной ночи, чтобы перевезти пятнадцать тысяч гладиаторов, которых он мог разместить на тысяче судов, собранных всеми способами.

Едва только зашло бледное солнце, которое в течение целого дня скрывалось за серыми и черными тучами, сгустившимися в небе, Спартак, предвидя, что наступает желанная темная ночь, приказал трем легионам сняться с лагеря, расположенного на берегу, и грузиться на суда, стоявшие в порту. Гранику он при-

казал тоже погрузиться с ними вместе и с наступлением темноты велел распустить паруса на судах, где они имелись, а остальным спустить в воду весла и отправляться в путь.

Флотилия гладиаторов, соблюдая тишину, отплыла из Темесы в открытое море.

Но тот самый сирокко, который сгустил тучи над Темесой, продолжал упорно дуть от берегов Африки и, несмотря на все усилия мореплавателей, относил их к берегу Бруттия и не давал возможности повернуть к берегам Сицилии.

Без устали работая веслами, гладиаторы отплыли на много миль, но на рассвете море стало бурным, свирепствовал ветер, и большая опасность стала угрожать хрупкой флотилии. По совету моряков и рыбаков из Темесы, которые вели многие из судов, а также знакомых с морем гладиаторов, Граник подошел к берегу. Пятнадцать тысяч восставших сошли на пустынный берег близ Никотеры. Отсюда решено было отправиться в близлежащие горы. Граник послал к Спартаку легкое судно с восемью или десятью солдатами во главе с центурионом, чтобы уведомить о случившемся.

Тем временем два каппадокийца вместе с Эвтибидой и жрецом прибыли в храм Геркулеса Оливария. До полуночи они оставались в роще падубов, находившейся близ дороги, которая вела от города к храму. На расстоянии полутора выстрелов из лука, повыше рощи, стоял небольшой дом, где был расположен аванпост гладиаторов. Несмотря на принятые часовыми меры предосторожности, оба каппадокийца время от времени слышали доносимый ветром приглушенный звук голосов и шаги.

— Послушай, Эрцидан,— сказал шепотом на своем родном языке один из рабов другому,— надо постараться взять эту молодую амазонку живьем.

— Мы так и сделаем, Аскубар,— ответил Эрцидан,— ежели удастся.

— Я и говорю... если сможем.

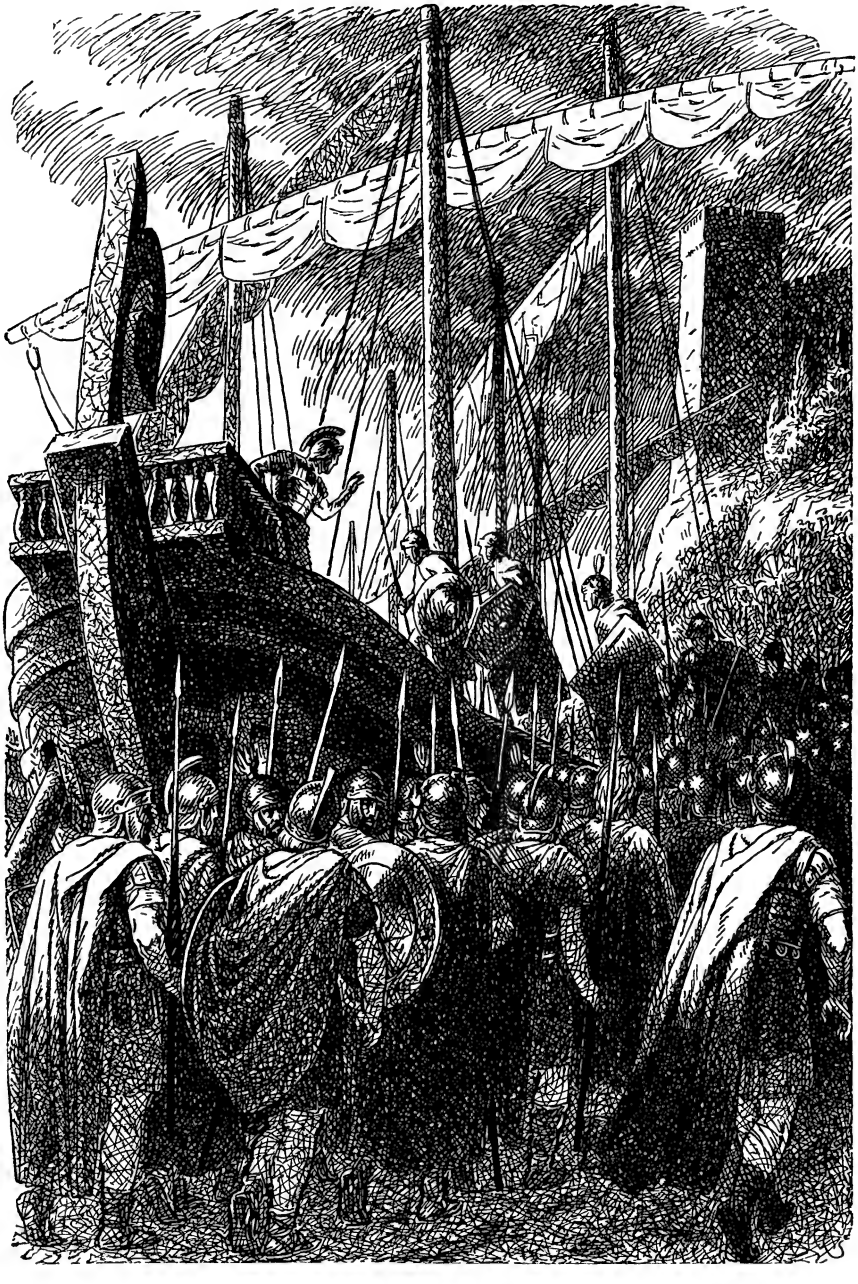
— Потому что, сказать по правде, если она окажет сопротивление мечом или кинжалом, я справлюсь с ней двумя ударами; тем более что, если мы отсюда слышим разговор гладиаторов, то они, конечно, сразу услышат крик, который подымет эта плакса.

— Конечно, услышат и явятся сюда в одну секунду. Тогда мы погибли, до аванпоста гладиаторов расстояние всего лишь два выстрела из лука, а до нашего лагеря в тысячу раз дальше.

— Клянусь Юпитером, ты прав! Это дело начинает меня тревожить.

— А я об этом думаю уже больше часа.

Оба каппадокийца умолкли, погрузившись в раздумье.



Вдруг среди шелеста листьев, вызванного ветром, ясно послышался шум шагов; неподалеку от рабов кто-то шел среди кустарника по роще, в которой они спрятались.

— Кто идет? — приглушенным голосом спросил Аскубар, обнажая меч.

— Молчите,— произнес женский голос,— это я, Эвтибида... Не обращайте внимания на то, что делается за вашей спиной, наблюдайте за дорогой.

Все это она произнесла вполголоса, приблизившись к каппадокийцам. Затем гречанка углубилась в заросли кустарника, вошла в рощу падубов, и вскоре оба раба уже не слышали ничего, кроме шума ветра.

Аскубар и Эрцидан молчали долгое время, наконец первый сказал очень тихо второму:

— Эрцидан!

— Что?

— Знаешь, о чем я думаю?

— Что дело это труднее, чем оно сразу показалось?

— Я тоже так считаю, но в эту минуту я думал, каким бы способом нам выбраться с честью из беды.

— Ты правильно рассудил! Ты уже придумал, как это сделать?

— Как будто придумал...

— Ну, говори.

— Когда маленькая амазонка подойдет поближе, на расстояние двенадцати — пятнадцати шагов, мы пустим в нее две стрелы: одну в сердце, другую в шею... Уверяю тебя, кричать она не будет. Что ты об этом скажешь?

— Молодец, Аскубар!.. Недурно...

— А той, другой, скажем, что она пыталась сопротивляться.

— Хорошо придумано!

— Так и сделаем?

— Сделаем.

— Вполне ли ты уверен, Эрцидан, что на расстоянии двенадцати шагов попадешь ей прямо в сердце?

— Вполне. А ты уверен, что всадишь ей стрелу в шею?

— Увидишь.

Оба каппадокийца, насторожив слух и приготовив оружие, стояли безмолвные и неподвижные.

Между тем взволнованная Эвтибида бродила по окрестностям, словно стремясь ускорить приближение рассвета в надежде, что Мирца выйдет из города и направится к храму. Время казалось ей вечностью. Пять или шесть раз она выходила из рощи падубов, доходила почти до аванпоста гладиаторов и снова

возвращалась обратно. Она заметила, что сирокко, дувший всю ночь, с некоторого времени стал утихать и наконец совсем прекратился. Всматриваясь в даль, где виднелись вершины далеких Апеннин, гречанка увидела, что сгустившиеся там тучи начали окрашиваться слабым бледно-оранжевым цветом. Она испустила вздох облегчения: то были первые предвестники зари.

Эвтибида снова взглянула на дорогу, ведущую к домику, и, соблюдая осторожность, пошла в сторону аванпоста. Но не сделала она и двухсот шагов, как приглушенный, но грозный голос заставил ее остановиться:

— Кто идет?

Это был патруль гладиаторов, который, как это принято в войсках, выходил на заре, чтобы осмотреть окрестности. Эвтибида, ничего не отвечая, повернулась спиной к патрулю и попыталась бесшумно и быстро ускользнуть в рощу. Патруль, не получив ответа, двинулся туда, где скрылась Эвтибида. Вскоре беглянка и преследующие приблизились к роще, на границе которой с натянутыми луками стояли притаившись каппадокийцы.

— Ты слышишь шум шагов? — спросил Аскубар Эрцидана.

— Слышу.

— Будь наготове.

— Сейчас же пущу стрелу.

Начавшийся рассвет уже рассеивал густой мрак ночи, но рабы, не вполне ясно распознав, кто это был, заметили только маленького воина, быстро приближавшегося к ним.

— Это она,— сказал едва слышно Аскубар товарищу.

— Да... на ней панцирь... шлем... фигура маленькая, это непременно женщина.

— Это она... она.

И оба каппадокийца, прицелившись, одновременно спустили тетиву лука; обе стрелы, свистя, вылетели и впились — одна в белую шею, а другая, пробив серебряный панцирь, в грудь Эвтибиды.

Долгий, пронзительный, душераздирающий крик раздался вслед за этим. Аскубар и Эрцидан тут же услыхали шум многочисленных, быстро приближающихся шагов и громоподобный голос:

— К оружию!..

Оба каппадокийца бросились бежать по направлению к римскому лагерю, а декану и четырем гладиаторам преградило путь тело Эвтибиды, которая рухнула на дорогу и теперь лежала, распростершись в луже крови, лившейся из ее ран, особенно из раны на шее, потому что стрела Аскубара попала в сонную артерию и разорвала ее.

Гречанка громко стонала и хрипела, но не могла произнести ни слова.

Гладиаторы наклонились над телом упавшей, и, поднимая ее с земли, все пятеро одновременно спрашивали ее, кто она и каким образом ее ранили.

Между тем уже совсем рассвело, и гладиаторы, положив Эвтибиду на краю дороги, прислонили ее спиной к стволу дуба. Они сняли с нее шлем и, увидав, что по плечам умирающей рассыпались густые рыжие волосы, воскликнули в один голос:

— Женщина!

Они наклонились над ней и, поглядев в лицо, покрывшееся смертельной бледностью, сразу узнали ее и воскликнули в один голос:

— Эвтибида!..

В эту минуту подоспел манипул гладиаторов. Все столпились вокруг раненой.

— Раз она ранена, значит, кто-то стрелял в нее,— сказал центурион, командовавший манипулом.— Пусть пятьдесят человек отправляются на поиски убийц, они не могли далеко уйти.

Пятьдесят гладиаторов побежали в сторону храма Геркулеса Оливария.

Остальные окружили умирающую. Панцирь ее был весь в крови; кровь лилась ручьем. Гладиаторы с мрачными лицами молча следили за агонией этой женщины, принесшей им столько несчастья и горя. Лицо гречанки посинело, она все время металась, опуская голову то на одно, то на другое плечо и издавая безумные стоны; она подымала руки, как бы желая донести их до шеи, но они тут же бессильно падали; ее рот конвульсивно открывался, как будто она силилась что-то сказать.

— Эвтибида! Проклятая изменница! — воскликнул мрачно и строго центурион после нескольких минут молчания.— Что ты делала здесь в такой ранний час? Кто ранил тебя? Ничего понять не могу, но по случившемуся я догадываюсь о каком-то новом страшном замысле... жертвой которого ты по какому-то случаю стала сама.

Из посиневших губ Эвтибиды вырвался еще более ужасный стон; она руками указала гладиаторам, чтобы они отошли в сторону.

— Нет! — вскричал центурион, проклиная ее.— Ты изменой своей погубила сорок тысяч наших братьев... Мы должны припомнить тебе все твои злодеяния, должны сделать твою агонию еще более ужасной — этим мы умилостивим их неотомщенные тени.

Эвтибида склонила голову на грудь, и, если бы не слышалось

ее прерывистое дыхание, можно было бы подумать, что она умерла.

В эту минуту появились, тяжело дыша, все пятьдесят гладиаторов, преследовавшие каппадокийцев. Они привели с собой Эрцидана; он был ранен стрелой в бедро, упал и был взят в плен. Аскубару удалось убежать.

Каппадокиец рассказал все, что знал, и тогда гладиаторы поняли, как все произошло.

— Что случилось? — раздался женский голос.

Это была Мирца, как обычно в своем военном одеянии. В сопровождении Цетуль она шла в храм Геркулеса.

— Стрелы, которые проклятая Эвтибида предназначала тебе, благодаря счастливому вмешательству какого-то бога, может быть Геркулеса, поразили ее самое,— ответил центурион, давая Мирце дорогу, чтобы она могла войти в круг гладиаторов.

Услышав голос Мирцы, Эвтибида подняла голову и вперила свой угасающий, полный ненависти и отчаяния взор в глаза девушки. Губы ее судорожно искривились; казалось, она хотела произнести что-то. Растопырив пальцы, гречанка протянула руки к сестре Спартака, как бы желая схватить ее... Последним усилием она рванулась вперед, затем, испустив предсмертный стон, сомкнула веки; голова ее упала на ствол дерева. Недвижимая и бездыханная, Эвтибида свалилась на землю...

— На этот раз в сеть попался сам птицелов! — воскликнул центурион и предложил Мирце и остальным товарищам следовать за ним.

Все в молчании удалились, оставив на дороге труп презренной предательницы.

Глава двадцать вторая

ПОСЛЕДНИЕ СРАЖЕНИЯ.— ПРОРЫВ ПРИ БРАДАНЕ.— СМЕРТЬ

В тот момент, когда Эвтибида, поплатившись за свои преступления, умирала на глазах у Мирцы возле дороги, ведущей от Темесы к храму Геркулеса Оливария, в порт прибыло судно, с которым Граник послал Спартаку вести о себе.

Узнав о высадке Граника на берегах Бруттия, фракиец долго обдумывал, как ему поступить. Наконец, обратившись к Арториксу, он сказал:

— Ну что ж, поскольку Граник с пятнадцатью тысячами воинов находится у Никотеры, перевезем туда морем все остальное наше войско и будем воевать с еще большей энергией.

Он отослал судно в то место, где находилась флотилия, с приказом возвратиться на следующую ночь в Темесу.

За неделю Спартак перевез ночами все свое войско в Никотеру. Каждую ночь, за исключением последней, когда он погрузился сам вместе с кавалерией, четыре легиона по его приказу делали вылазки, чтобы отвлечь внимание римлян и внушить им мысль, что гладиаторы никуда не собираются уходить.

Как только флотилия, с которой отбыли Спартак, Мамилий и кавалерия, удалилась на несколько миль от берега, жители Темесы уведомили Красса о случившемся.

Красс, вне себя от ярости, проклинал жителей Темесы за то, что они из малодушия не послали к нему гонца предупредить о бегстве неприятеля. Теперь, когда Спартак вырвался из тисков, пламя войны разгорится с новой силой, меж тем как Красс считал ее уже законченной, в чем и уверил Рим.

Наложив на жителей Темесы большой штраф за их трусость, Красс на следующий день приказал своему войску сняться с лагеря и повел его по направлению к Никотере.

Но Спартак, прибыв в Никотеру, на рассвете в тот же день отправился в путь со всеми своими легионами, нигде не останавливаясь в течение двадцатичасового перехода, пока не дошел до Сциллы. Близ нее он расположился лагерем.

На следующий день фракиец отправился в Регий. По пути он призывал к оружию рабов и, заняв сильные позиции, приказал гладиаторам три дня и три ночи рыть канавы и ставить частокол, чтобы к моменту появления Красса был готов неприступный лагерь гладиаторов.

Тогда Красс решил либо принудить Спартака принять бой, либо взять его измором, а для последней цели задумал возвести колоссальное сооружение, достойное римлян. Если бы о нем не свидетельствовали единогласно Плутарх [1], Аппиан [2] и Флор, вряд ли можно было поверить, что подобное сооружение действительно существовало.

«Туда явился Красс, и сама природа подсказала ему, что надо делать,— говорит Плутарх.— Он решил воздвигнуть стену поперек перешейка, избавив тем самым своих солдат от вредного безделья, а неприятеля лишив продовольствия. Велика и трудна была эта работа, но Красс довел ее до конца и, сверх ожидания, в короткий срок. Он вырыл через весь перешеек ров от одного моря до другого, длиной в триста стадий, шириной и глу-

---

[1] Плутарх (ок. 46—126 г. н. э.) — греческий историк и писатель, автор «Сравнительных жизнеописаний выдающихся греческих и римских деятелей».

[2] Аппиан (конец I века — 70 годы II века н. э.) — крупный историк Древнего Рима.

биной в пятнадцать шагов, а вдоль всего рва воздвиг стену поразительной высоты и прочности».

В то время как сто тысяч римлян Красса с невиданным рвением работали над титаническим сооружением, Спартак обучал военному делу еще два легиона, составленных из одиннадцати тысяч рабов, примкнувших к нему в Брутии; вместе с тем он обдумывал, как бы ему выбраться из этого места, насмеявшись над усилиями и предусмотрительностью Красса.

— Скажи мне, Спартак,— спросил фракийца на двадцатый день работ римлян его любимец Арторикс,— скажи, Спартак, разве ты не видишь, что римляне поймали нас в ловушку?

— Ты так думаешь?

— Я вижу стену, которую они сооружают, она уже готова, и, мне кажется, у меня есть основание так думать.

— И на Везувии бедный Клодий Глабр тоже думал, что он поймал меня в ловушку.

— Но через десять дней у нас кончится продовольствие.

— У кого?

— У нас.

— Где?

— Здесь.

— А кто же тебе сказал, что через десять дней мы еще будем здесь?

Арторикс, опустив голову, замолк, стыдясь, что решился давать советы такому дальновидному полководцу. Спартак с нежностью глядел на юношу, растроганный краской стыда на его лице. Ласково похлопав его по плечу, фракиец сказал:

— Ты хорошо сделал, Арторикс, напомнив мне о наших запасах продовольствия, но ты за нас не бойся; я уже решил, что́ нам следует предпринять, чтобы Красс остался в дураках со своей страшной стеной.

— Однако этот Красс, надо признаться, опытный полководец.

— Самый опытный из всех, кто сражался против нас за эти три года,— ответил Спартак и после минутного молчания добавил:— Но все же он нас еще не победил.

— И пока ты жив, он не победит нас.

— Арторикс, но ведь я только человек!

— Нет, нет, ты наш идеал, наше знамя, наша мощь! В тебе воплощена и живет главная наша идея — возрождение угнетенных, благополучие обездоленных, освобождение рабов. Ты так славен и велик, что от твоего существа исходит свет, побеждающий самых непокорных наших товарищей, он отражается в них, воодушевляет новыми силами, вселяет веру в тебя; они уповают на тебя, ибо признают тебя, дивятся тебе и почитают как муд-

рого и доблестного полководца. Пока ты жив, они всегда будут делать то, что ты прикажешь, и, так же как они пришли за тобой сюда, они будут преодолевать многое, что кажется совершенно невозможным. Пока ты жив, они будут делать переходы в тридцать миль в день, будут переносить невзгоды, голод, будут драться как львы; но, если, по несчастью, ты погибнешь, вместе с тобой погибнет и наше знамя, и через двадцать дней наступит конец войны, мы будем уничтожены... О, пусть боги сохранят тебя на долгие годы, с тобой мы одержим полную победу!

— Ты веришь в нашу победу? — спросил Спартак, покачав головой; на губах его была грустная улыбка.

— А почему бы нам не победить?

— Потому что из десяти миллионов рабов, стонущих в цепях по всей Италии, не наберется и ста тысяч, взявших оружие в руки и пришедших к нам; потому что наши идеи не проникли ко всем угнетенным и не согрели их сердца; потому что римский деспотизм еще не вывел окончательно из терпения народы, находящиеся под его игом; потому что Рим слишком еще силен, а мы еще слишком слабы... вот почему мы не можем победить и не победим. Если и есть надежда на победу, то лишь за пределами Италии; здесь же нам суждено погибнуть, здесь мы умрем.

Некоторое время он молчал, потом произнес с глубоким вздохом:

— Пусть же кровь, пролитая нами за святое дело, не будет пролита бесплодно, пусть наши деяния послужат благородным примером для наших потомков.

В эту минуту центурион сообщил Спартаку, что три тысячи пращников, далматов и иллирийцев из римского лагеря подошли к преторским воротам и настойчиво просят принять их в ряды собратьев.

Спартак задумался и не сразу ответил на просьбу трех тысяч дезертиров: может быть, он сомневался в них, а может быть, не хотел подать дурной пример своим солдатам, оказывая перебежчикам внимание, словно они были мужественные воины. Он подошел к воротам лагеря и сказал беглецам, что недостойно солдата покидать свои знамена. Способствовать побегу и принимать в свои ряды дезертиров из вражеского лагеря не только зазорно для полководца, пользующегося уважением, но и может быть пагубным как печальный пример для солдат, раз в ряды угнетенных принимают тех, кто изменил своему знамени и войску. И он отказал им.

Через неделю после этих событий, под вечер, деканы и центурионы обошли все палатки гладиаторов, передавая приказ

Спартака: не ожидая сигнала, сняться с лагеря в полной тишине. А конники, по приказу верховного вождя, отправились в ближние леса, захватив с собой топоры, чтобы рубить деревья; ночью они привезли на своих лошадях в лагерь много бревен.

В час первого факела Спартак приказал зажечь в лагере огни и, воспользовавшись ненастной погодой,— уже два дня в проливе и в окрестностях непрерывно шел дождь со снегом,— в полном мраке, под пронзительный вой ветра, соблюдая глубокую тишину, двинулся к тому месту, где Красс велел копать ров; на краю этого рва еще не было сооружено стены. Спартак приказал забросать ров стволами деревьев, привезенными его конниками, а на эти бревна шесть тысяч легионеров наложили столько же заранее заготовленных мешков с землей. Таким образом ров был заполнен на большом протяжении, и по нему бесшумно прошли легионы гладиаторов; им было приказано, не обращая внимания ни на снег, ни на ветер, ни на бурю, идти без остановки прямо до Кавлона.

Спартак с конницей укрылся в лесу близ вражеского лагеря и в полдень следующего дня врезался со своими всадниками в ряды римских легионов, вышедших за продовольствием в окрестности, и за каких-нибудь полчаса уничтожил свыше четырех тысяч римских солдат.

Римляне были поражены, увидев, что те, кого они еще только вчера вечером, казалось бы, заперли между морем и стеной, угрожают им с тыла. А когда они взялись за оружие, чтобы прийти на помощь своим разбитым легионам, фракиец со всеми конниками умчался от них, направляясь в Кавлон.

— Ах, клянусь богами ада! — вскричал Марк Красс, ударив себя кулаком по голове.— Да что же это такое?.. Вот-вот, кажется, он попал в железное кольцо, а глядь — ускользает из моих рук! Я разбил, уничтожил его войско, а он собирает новое и нападает на меня с еще большей силой. Я объявляю, что война заканчивается, а она вспыхивает еще сильнее прежнего!.. Великие боги! Да это злой дух, не иначе! Вампир, жаждущий крови! Ненасытный волк-оборотень, пожирающий живые существа!

— Нет, он просто-напросто великий полководец,— ответил молодой Катон, назначенный контуберналом Красса за дисциплинированность, выносливость и стойкость, а также за отвагу, проявленную им в этой войне.

Вне себя от гнева Марк Красс, косо взглянув на смелого юношу, казалось, хотел резко ответить ему, но, мало-помалу успокоившись, сказал своим обычным тоном, хотя голос его еще дрожал от гнева:

— Думаю, что ты прав, храбрый юноша.

— Если ты зовешь храбростью привычку говорить правду, то ни Персей, ни Ясон, ни Диомед и никто другой на свете не были храбрее меня,— гордо ответил Катон.

Красс умолк, умолкли Скрофа, Квинт, Муммий и другие военачальники. Все были задумчивы и печальны и как будто погружены в какие-то грустные размышления. Первым прервал молчание Красс и заговорил, словно выражая вслух свои мысли:

— Мы можем преследовать его, но настигнуть не сможем; он летит стремительно, словно борзая или олень, а не человек!.. А вдруг он со своими восемьюдесятью тысячами бросится на Рим? О великие боги!.. Какая неожиданность!.. Как велика опасность!.. Как ее избегнуть? Что делать?

Все молчали и только спустя некоторое время в ответ на вопросы полководца выразили те же сомнения, что и он.

Все предлагали Крассу написать сенату, что война стала еще более жестокой и грозной и, чтобы покончить с нею раз и навсегда, необходимо послать против гладиаторов, кроме войска, которым располагал Красс, еще и те легионы, которые недавно привел в Рим Гней Помпей, одержавший победу в Испании. Необходимо также направить против гладиаторов и те войска, которые сражались с Митридатом под начальством Луция Лициния Лукулла, ныне возвращавшегося в Италию; окружив Спартака с трех сторон армиями по сто тысяч человек в каждой, руководимыми самыми доблестными полководцами республики, можно будет в несколько дней закончить позорную войну с гладиаторами.

Хотя Крассу было неприятно посылать такое сообщение, он все же отправил в Рим гонцов и, снявшись с лагеря, со всем своим войском бросился по следам Спартака.

А фракиец тем временем намеревался пересечь горы и из Кавлона большими переходами пройти через Скилакий, направляясь к горам Никастра и Поликастра.

Но пять дней спустя, когда они дошли до этих мест, Гай Канниций, не изменивший своего упрямого характера смутьяна, с шумом покинул лагерь, увлекая за собою пять легионов; он кричал, что сначала надо разбить Красса, а затем идти на Рим. Не обращая внимания ни на угрозы, ни на просьбы Спартака, он, соединившись с Кастом, вышел из лагеря гладиаторов и расположился в восьми — десяти милях от него.

Спартак послал к мятежникам Граника и Арторикса, но Канниций и Каст ответили, что заняли весьма удобную позицию и здесь будут ждать Красса, чтобы дать ему бой.

Опечаленный неразумным поведением этих легионов, Спар-

так, по своему благородству, не решился бросить их на произвол судьбы: мятежников ждало неизбежное поражение. Фракиец задержался в лагере, надеясь на то, что бунтари образумятся, но из-за этого потерял много времени и преимущество, которое он получил, обогнав Красса.

Итак, гладиаторы стояли на месте, а Красс, также делая быстрые переходы, на четвертый день достиг высот Поликастра, где находились легионы Гая Канниция, и со всей силой обрушился на них. Тридцать тысяч солдат Каста и Гая Канниция сражались с большим мужеством, но, если бы не быстро подоспевшая помощь Спартака, они неминуемо были бы уничтожены.

Как только появился фракиец со своими легионами, тотчас же разгорелся ожесточенный бой. Ночь разъединила сражающихся: ни та, ни другая сторона не уступили ни пяди земли. Гладиаторы потеряли двенадцать тысяч убитыми, а римляне — десять тысяч.

В ту же ночь Спартак, у которого было меньше войска, чем у неприятеля, снялся с лагеря, уговорив отделившихся следовать за ним, и направился в Бизинияну, преследуемый Крассом, который, однако же, не отважился напасть на него.

Спартак укрепился на высокой, обрывистой горе, решив выждать там благоприятных обстоятельств; Канниция и Каста он убеждал в необходимости сохранить единство, говорил им, что в данную минуту разумнее всего избегать боя с Крассом, что на Красса надо будет напасть и разбить его в удобный момент, сначала утомив его переходами и обходами.

Каст и Канниций после разговоров со Спартаком как будто успокоились; они не были враждебно настроены против него, наоборот, уважали его и восхищались им, но оба не терпели узды дисциплины и безрассудно желали как можно скорее вступить в бой с врагом.

Три дня Спартак стоял лагерем близ Бизинияна, под прикрытием горы. На четвертую ночь, когда свирепствовал ураган, под шум дождя и раскаты грома, ослепляемые зигзагами молний, Спартак и его войско бесшумно спустились по крутым тропинкам и скрылись от Красса, направившись форсированным маршем в Кларомонт.

Красс догнал гладиаторов через восемь дней и занял позиции, дававшие ему возможность снова запереть Спартака на горе, где тот расположился лагерем; Каст и Канниций опять отделились от фракийца и отвели оба своих легиона в отдельный лагерь, в шести милях от того места, где укрепился Спартак.

Два дня Красс обозревал местность и позиции врага, а затем ночью отправил один легион занять холм, весь покрытый дере-

вьями и кустарником, приказав солдатам спрятаться там и обрушиться на Каста и Канниция с тыла, когда Скрофа с тремя легионами нападет на них с фронта. Красс намерен был полностью уничтожить эти двенадцать тысяч гладиаторов в течение одного часа, до того как Спартак подоспеет к ним на помощь. После этой вылазки он собирался напасть на самого Спартака, у которого из-за потерь, понесенных в сражении под Поликастром, и после уничтожения двенадцати тысяч солдат в легионах Каста и Канниция должна была остаться армия всего в пятьдесят тысяч человек. Красс считал, что ему удастся полностью окружить эту армию, пустив в ход свои девяносто тысяч солдат.

Ливий Мамерк, командовавший легионом, отправленным Крассом в засаду, так умело провел своих солдат на указанные ему высоты, что Каст и Канниций ничего не заметили. Опасаясь, что доспехи легионеров будут сверкать на солнце и это выдаст врагу их присутствие, Мамерк приказал своим солдатам закрыть ветками шлемы и панцири.

В тревоге ждал Мамерк наступления ночи и зари следующего дня, назначенного для нападения на врага с тыла. Но неблагоприятная для римлян судьба пожелала, чтобы у подножия этого холма, в угоду религиозному рвению окрестных жителей, был сооружен небольшой храм Юпитеру Величайшему Лучшему. Хотя храм этот в последнее время был покинут, все же Мирца продолжала приносить здесь жертвы отцу богов. Мирца обожала брата и постоянно тревожилась о нем; она никогда не упускала случая принести умилостивительную жертву за Спартака.

В этот день, воспользовавшись удобным случаем, Мирца отправилась в сопровождении верной Цетуль в храм Юпитера, ведя за собою белого козленка, которого она хотела принести в жертву на покинутом алтаре Юпитера.

Подойдя к храму, Мирца увидела на хребте горы римских солдат. Одни сидели на корточках, другие лежали в траве; они таким образом были обнаружены этими двумя женщинами, приносившими дары богам за неприятеля. Не вскрикнув, не выдав своего испуга хотя бы малейшим движением, Мирца внутренне возрадовалась счастливому случаю, внушившему ей мысль совершить жертвоприношение,— в этом она видела явное покровительство богов. Она бесшумно двинулась в обратный путь и, быстро миновав долину, поспешила в лагерь Канниция и Каста, чтобы предупредить их о засаде; затем в сопровождении все той же эфиопки побежала предупредить Спартака.

За час до полудня Гай Канниций приказал двум легионам, которые были с ним, сняться с места, и они кинулись со всем

пылом на войско Мамерка. Тот попытался отбить неожиданное нападение, но должен был тотчас же отправить к Крассу контубернала с просьбой о присылке подкреплений.

Римский полководец немедленно отправил два легиона, а Спартак послал в помощь своим два легиона. Бой длился много часов. На место боя помчались и прибыли почти одновременно Спартак и Марк Красс со всеми своими легионами; разгорелась битва куда более кровопролитная, чем все происходившие до тех пор.

Весь день войска бились с большим мужеством и необыкновенной яростью. Наступила ночь, и сумрак, окутавший бойцов, положил конец сражению.

Римляне потеряли свыше одиннадцати тысяч убитыми, гладиаторы — двенадцать тысяч триста, и среди них погибли мужественно сражавшиеся Канниций, Каст и Индутиомар, все трое — командиры легионов.

Спустя четыре часа после сражения Спартак, собрав войска, продолжал свой поход. Он шел по самым крутым, поросшим лесом тропинкам, направляясь к Петелинским горам.

Красс, оставшись победителем на поле сражения, приказал сжечь трупы римлян и, к величайшему удивлению своему и всего своего войска, увидел, что из числа двенадцати тысяч трехсот гладиаторов, павших в этом сражении, всего лишь двое получили раны в спину, все же остальные погибли, раненные в грудь.

После этого сражения, когда войско Спартака скрылось в горах, Красс пожалел, что написал сенату о подкреплении, прося помощи у Помпея и Лукулла, тогда как он в действительности истощил силы гладиаторов, а слава победы над ними может быть приписана двум другим полководцам. Поэтому он решил закончить войну с мятежниками до прихода в Италию Лукулла и раньше, чем Помпей, уже вернувшийся в Рим со своим войском, отправится в Луканию. Поручив командование шестьюдесятью тысячами солдат квестору Скрофе, Красс велел ему преследовать Спартака, не давая гладиаторам ни отдыха, ни срока; а сам с остальными двумя легионами (около двадцати тысяч человек) и со всей поклажей и обозом, делая переходы днем и ночью, направился в Турии, а оттуда — в Потентию, рассылая по округе трибунов для набора солдат, чтобы сформировать новые легионы; он обещал высокое награждение всем, кто поступит в его армию.

Тем временем Спартак, сделав обход, из Кларомонта направился в Никастр, оттуда в Танагр, а из Танагра обратно в Кларомонт, для того чтобы измотать войско Красса, которое, как он предполагал, идет за ним следом. Он не знал, что в тылу

у него только Скрофа. Спартак хотел застигнуть Красса в таком месте, где ему не давало бы преимущества численное превосходство его сил, только тогда фракиец думал вступить с ним в бой.

Скрофа донимал отступавшего Спартака, часто завязывал стычки с его арьергардом, имея частичное преимущество. Не раз к Скрофе в плен попадали целые манипулы гладиаторов, которых он беспощадно вешал на деревьях у дороги.

Из Кларомонта, идя по склонам холмов, Спартак направился в Гераклею.

Дойдя до берега реки Казуент, он понял, что переправиться через нее невозможно: сильные дожди повысили уровень воды, затруднив переход через реку. Гладиаторов догнала римская кавалерия и атаковала колонну отступавших с тыла.

Спартак загорелся лютым гневом. Он велел своим легионам выстроиться и, обратившись к ним с речью, сказал, что это сражение надо выиграть во что бы то ни стало, иначе все погибнут,— в тылу у них река. И гладиаторы с необычайной силой пошли в атаку. Они обрушились на римлян с такой яростью, что за два часа разбили их, обратили в бегство и, преследуя, уничтожили несметное количество римлян.

Квинт тщетно старался удержать бегущих. Напрасны были также усилия Скрофы. Он был ранен в бедро и в лицо; с большим трудом отряду кавалерии удалось спасти его от неистовства врагов.

Римлян постигло тяжкое поражение: в бою при Казуенте было убито свыше десяти тысяч, а гладиаторы потеряли только восемь тысяч. Римских солдат охватила паника, и, спешно перейдя вброд реку Акрис, в волнах которой многие погибли, они не переставали бежать до тех пор, пока не укрылись за стенами Турий.

Легко представить себе, как эта победа подняла дух гладиаторов. Отвага их обратилась в дерзновение; они послали к своему вождю деканов и центурионов, заклиная его снова вести их на врага, и давали обет уничтожить всех римлян. Но фракиец не счел возможным наступать на Красса, который даже после такого поражения был все же сильнее его; к тому же Спартак получил известия, что римский полководец набирает новые легионы.

Услыхав о поражении, которое потерпел Скрофа, Красс отправился из Потентии в Турии со своими тридцатью восемью тысячами солдат — такова была численность его войска вместе с новыми, спешно собранными легионами. Прибыв в Турии, он сделал строгое внушение войскам Скрофы и поклялся снова применить децимацию, если только они опять обратятся в бег-

ство. Красс оставался в Туриях несколько дней, чтобы привести в порядок легионы, потерпевшие поражение в Казуенте, а затем бросился по следам Спартака,— его разведчики уверяли, что фракиец расположился лагерем на побережье Брадана, неподалеку от Сильвия.

Прошло десять дней после сражения при Казуенте. Как-то вечером Спартак, мрачный и печальный, прохаживался по дороге от претория до квестория в своем лагере, расположенном на возвышенности у Брадана. Ему доложили, что трое переодетых гладиаторов прибыли верхом из Рима и привезли ему какое-то важное письмо.

Спартак тотчас же направился в свою палатку и принял там трех прибывших гладиаторов. Они передали ему папирус от Валерии Мессалы и сказали, что посланы специально к нему в лагерь с этим письмом.

Сильно побледнев, Спартак взял письмо и схватился рукой за сердце, как будто хотел сдержать его биение. Он отпустил гладиаторов, приказав накормить их, потом развернул свиток папируса и прочел следующее:

Непобедимому и доблестному Спартаку
шлет свой привет и воздает почести Валерия Мессала.

Враждебный рок и неблагосклонные боги не пожелали покровительствовать твоему делу, которому ты отдал все сокровища благороднейшей души твоей, о возлюбленный мой Спартак. Благодаря твоему сверхчеловеческому мужеству, твоей прозорливости и честности победа на протяжении трех лет не покидала твоих знамен, но даже ты не в силах противостоять злому року и римскому могуществу: из Азии отозван Лукулл и будет направлен против тебя, а сейчас, когда я пишу тебе это письмо, Помпей Великий, покоритель Испании, ведет на тебя все свои войска и с ними из Рима продвигается через Самний. Иди на уступки, Спартак, прекрати войну и сохрани свою жизнь ради моей горячей, неугасимой, вечной любви; сохрани себя ради нашей малютки Постумии, не лишай отцовской ласки нашего милого ребенка: ведь она останется сиротой, если ты будешь упорно продолжать войну, которая стала теперь безнадежной.

Женщина, которую любит Спартак, не должна, не мо-

жет позволить себе посоветовать ему совершить подлый и низкий поступок. После того как ты заставил трепетать Рим, после того как ты в течение трех лет держал в страхе всю Италию, покрыл славой свое имя и блестящими победами заслужил лавры, ты, сложив оружие, уступаешь не страху перед твоими врагами — ты склоняешь знамена перед роком, таинственной, невидимой, неодолимой силой, ибо не было, нет и не будет человека, который мог бы противостоять ударам судьбы, перед нею ничто все усилия людей самой могучей воли, о которых повествует история,— начиная от Кира и кончая Пирром, от Ксеркса до Ганнибала.

До того как на поле брани прибудет Помпей, прекрати войну с Крассом; из опасения, что слава победы над тобой достанется сопернику, Красс, конечно, согласится на почетные для тебя условия.

Оставь дело, ставшее теперь неосуществимым, укройся на моей тускуланской вилле, где тебя ждет самая чистая, самая нежная, самая горячая и преданная любовь. Жизнь твоя, полная счастья, будет проходить среди самых нежных ласк, которые когда-либо женщина на земле дарила своему любимому. Неведомый людям, вдали от их дел, ты будешь жить, боготворимый супруг и отец, в непрерывных восторгах любви.

О Спартак, Спартак, дорогой мой, тебя молит бедная женщина, тебя заклинает несчастная мать, и дочь твоя, слышишь ли Спартак, твой ребенок вместе со мной обнимает твои колена, обливает слезами и покрывает поцелуями твои руки; с горькими слезами и стенаниями обе мы умоляем тебя, чтобы ты сохранил свою драгоценную для нас жизнь, ибо она нам дороже всех сокровищ мира.

Рука моя дрожит, выводя эти строки, слезы душат меня, текут из глаз и падают на папирус, такие горячие, что в некоторых местах ими будет стерто написанное мною.

О Спартак, мой Спартак, пожалей свою дочь, пожалей меня, ведь я всего только слабая, несчастная женщина, я умру от отчаяния и горя, если ты погибнешь...

О Спартак, пожалей меня... я так люблю тебя, боготворю тебя и поклоняюсь тебе больше, чем поклоняются всевышним богам! О Спартак, пожалей меня!..

Валерия.

Невозможно передать словами, что чувствовал бедный гладиатор, читая это письмо. Он плакал, и обильные слезы струились на папирус, смешиваясь со слезами, пролитыми Валерией и оставившими здесь свой след. Прочтя письмо, он поднес его к губам и стал целовать страстно, неистово, безумно. Рыдая, он покрывал его бессчетными поцелуями. Потом, уронив руки, замер, крепко сжимая письмо, и долго стоял неподвижно, вперив в землю глаза, полные слез. Он погрузился в сладостное и печальное раздумье.

Кто знает, где витали в эти мгновения его мысли... Кто знает, какие радужные видения проносились перед его взором... Кто знает, каким дивным призраком он упивался...

Мысли его текли, грустные и полные нежности, но наконец, очнувшись, он вытер глаза, еще раз поцеловал папирус и, свернув его, спрятал у себя на груди. Затем, надев панцирь и шлем, опоясавшись мечом и взяв в руку щит, кликнул своего контубернала и приказал ему подвести коня, а конникам передать, чтобы они были готовы следовать за ним.

Через полчаса, предварительно поговорив с Граником, он ускакал галопом из лагеря во главе трехсот конников.

Через несколько минут после отъезда Спартака в его палатку вошла Мирца, а следом за ней Арторикс.

Юноша умолял и заклинал девушку открыть ему причину, мешающую ей стать его женой, Мирца же, как всегда, молчала, тяжело вздыхая и проливая слезы.

— Я не могу больше так жить, поверь мне, Мирца! — говорил галл.— Не могу больше, клянусь тебе жизнью Спартака, которая для меня гораздо дороже моей собственной жизни, ибо для меня она священна. Клянусь, что в моей любви к тебе, в моей страсти нет ничего мелкого, никакой слабости человеческой; она стала огромной, она завладела всеми моими чувствами, всем моим существом, всей душой. Когда мне станет известно, что́ отвращает тебя от меня, что́ налагает на тебя запрет стать моей женой, может быть... кто знает?.. может быть, меня убедит эта непреодолимая необходимость; может быть, она станет для меня неоспоримой, я осознаю ее неизбежность... я, может статься, покорюсь неумолимому року. Но чтобы я, не ведая, какая причина лишает меня возможности стать счастливейшим из людей, хотя я знаю, что ты любишь меня,— чтобы я добровольно отказался

от радости всей моей жизни и молча покорился,— нет, не верь этому, не думай, что это случится когда-нибудь!..

Арторикс говорил с глубоким волнением, с большой искренностью и любовью. Голос его дрожал, лицо побледнело. Перед Мирцей стоял человек, говоривший то, что он действительно чувствовал.

Она была растрогана и переживала большое, невыразимое горе.

— Арторикс,— сказала она сквозь слезы,— Арторикс, умоляю тебя именем богов твоих, ради твоей любви к Спартаку, не настаивай, не расспрашивай меня больше. Мне так тяжело! Если бы ты только знал, какое горе ты мне причиняешь, поверь мне, Арторикс, ты больше не спрашивал бы меня ни о чем!

— Выслушай же меня, Мирца,— сказал галл, в порыве страстной любви теряя самообладание,— выслушай меня. В таком душевном состоянии, в такой печали и с таким чувством безнадежности, клянусь тебе, я больше жить не могу. Видеть твое прелестное лицо, любоваться чистым сиянием, которое излучает твой взор, каждый миг видеть твою нежную, кроткую улыбку, знать, что я мог бы обладать этим сокровищем добра и красоты, и быть вынужденным отказаться от всего этого, не ведая причины,— это свыше моих сил. Если ты не откроешь мне тайны, если не поведаешь секрета, лучше мне умереть, чем жить, потому что я не могу, больше не могу так мучиться и страдать. Да поразит Спартака в этот миг своей молнией всемогущая Тарана, если я не упаду бездыханным на твоих глазах из-за твоего упорного, необъяснимого молчания!

И с этими словами Арторикс с искаженным от волнения лицом выхватил из-за пояса кинжал и взмахнул им, собираясь нанести себе удар.

— Нет, нет, во имя великих богов! — воскликнула Мирца, умоляюще сложив руки.— Нет! Не надо! — И прерывающимся от волнения голосом добавила: — Я предпочту бесчестье... перед тобою... предпочту лишиться твоего уважения ко мне, чем видеть твою смерть! Остановись... выслушай меня... Арторикс... я не могу быть твоей женой потому, что я недостойна тебя... я умираю от стыда... но ты все узнаешь, мой любимый, обожаемый Арторикс!

И, закрыв лицо руками, она горько зарыдала, потом торопливо заговорила прерывающимся от рыданий голосом:

— Рабыней... понуждаемая плетью моего господина... истязаемая горячими розгами, я поневоле принадлежала другим...— и снова зарыдала, низко склонив голову и закрыв лицо руками.

При этих словах лицо Арторикса потемнело, глаза засверкали

от страшного гнева, и, подняв руку, сжимавшую кинжал, он крикнул мощным голосом:

— Да будут прокляты эти подлые торговцы людьми... Да будет проклято рабство!.. Да будет проклята человеческая жестокость!..

Потом, вложив кинжал в ножны, он бросился к ногам Мирцы, схватил ее руки и, покрывая их поцелуями, в порыве великой любви воскликнул:

— О, любимая, не надо плакать... не плачь! Ну что ж? Разве из-за этого ты менее чиста, менее прекрасна в моих глазах, ты, жертва римского варварства? Они получили власть над твоим телом, но никто и ничто не могло запятнать чистоту твоей души.

— Оставь, оставь меня, дай мне спрятаться от себя самой...— бормотала Мирца, пытаясь снова закрыть руками свое лицо.— Теперь я должна избегать твоего взгляда, я не могу снести его.

И, убежав в отгороженный угол палатки, она бросилась в объятия Цетуль.

Арторикс с обожанием смотрел на полотнище, за которым скрылась девушка, потом вышел со вздохом удовлетворения: ведь то, что Мирца считала непреоборимым препятствием, Арториксу таким не казалось.

На следующий день, едва взошла заря, Марку Крассу, расположившемуся лагерем в Оппиде Мамертинском, на расстоянии одного перехода от лагеря гладиаторов, была подана дощечка, привезенная вражеским конником, гонцом Спартака. На дощечке было послание, написанное на греческом языке. Красс прочел следующее:

Марку Лицинию Крассу, императору,
от Спартака привет.

Мне необходимо встретиться с тобой в десяти милях от твоего лагеря и в десяти от моего. На краю дороги от Оппида в Сильвий стоит небольшая вилла, принадлежащая патрицию из Венусии, Титу Оссилию. Я нахожусь на этой вилле с тремястами конников. Не соблаговолишь ли приехать сюда с таким же числом твоих всадников? Обращаюсь к тебе со всей искренностью, по чести, полагаясь также и на твою честность.

Спартак.

Красс принял предложение гладиатора. Он призвал к себе конника, доставившего дощечку, велел ему возвратиться к Спартаку и передать, что через четыре часа он, Марк Красс, прибудет на свидание в назначенное место со своими тремястами всадниками и так же, как Спартак положился на его честное слово, доверяет и он Спартаку.

В тот же день спустя три с половиной часа, то есть за два часа до полудня, Красс явился на виллу Тита Оссилия во главе отряда кавалерии. У решетки виллы его встретили начальник конницы гладиаторов Мамилий, сопровождавший Спартака, центурион и десять декурионов отряда.

Воздавая Крассу должные знаки почтения, они провели его через переднюю дворца, затем через атрий по коридору, который вел в небольшую картинную галерею. Услышав шум шагов, на пороге галереи показался Спартак. Он жестом приказал гладиаторам удалиться и, поднеся правую руку к губам в знак приветствия, сказал:

— Привет тебе, славный Марк Красс! — и с этими словами отступил в глубь галереи, давая дорогу римскому полководцу.

Тот учтиво ответил на поклон и сказал, входя в галерею:

— Привет и тебе, доблестный Спартак!

Оба полководца стояли друг против друга, молча разглядывая один другого.

Гладиатор был ростом на целую голову выше патриция; его шея, голова, стройные и мужественные формы атлетической фигуры были невыгодным контрастом для Марка Красса, человека среднего роста и несколько тучного.

Спартак внимательно рассматривал строгие и резкие линии костистого, смуглого, чисто римского лица Красса, его короткую шею, широкие плечи и крепкие, но кривые в коленях ноги, а Красс любовался величавой осанкой, ловкостью движений и совершенной красотой геркулесовского сложения Спартака, благородством его высокого лба, красотой глаз, в которых светились честность и прямота, как и во всех чертах его прекрасного лица.

Самым удивительным для Красса — и он сильно досадовал за это на самого себя — было то, что он никак не мог избавиться от чувства глубокого уважения, которое ему помимо воли внушал этот человек.

Первым нарушил молчание Спартак, мягким голосом спросив Красса:

— Скажи, Красс, не кажется ли тебе, что эта война слишком затянулась?

Римлянин замялся, медля с ответом, затем сказал:

— Да, она тянется слишком долго.

— Не кажется ли тебе, что мы могли бы положить ей конец? — снова спросил гладиатор.

Изжелта-серые глаза Красса с тяжелыми веками метнули яркую искру, и сейчас же он спросил:

— Но каким образом?

— Заключив мир.

— Мир? — удивленно переспросил Красс.

— А почему бы и нет?

— Да потому, что... Каким же образом можно было бы заключить этот мир?

— Во имя Геркулеса, таким же точно образом, каким всегда заключают мир воюющие стороны!

— А,— воскликнул Красс с насмешливой улыбкой,— так, как заключают мир с Ганнибалом, с Антиохом, с Митридатом?..

— А почему бы и не так? — с еле заметной иронией спросил фракиец.

— Потому что... потому что...— с оттенком презрения и вместе с тем смущения ответил римский полководец.— Потому что... Да разве вы воюющая сторона?

— У нас собралось много народов, воюющих против римской тирании.

— Вот как! Клянусь Марсом Карателем,— насмешливо воскликнул Красс, заложив левую руку за золотую перевязь,— я всегда считал вас наглой толпой подлых рабов, возмутившихся против своего законного властелина.

— Внесем поправку,— спокойно ответил Спартак.— Подлые, говорите вы? Нет, мы рабы вашего несправедливого и бессмысленного насилия, но мы не подлые... А что касается законности вашего права владеть нами, то лучше не будем об этом говорить.

— Итак,— сказал Красс,— ты хотел бы заключить мир с Римом так же точно, как если бы ты был Ганнибалом или Митридатом? Какие же провинции ты хочешь получить? Какое возмещение ты требуешь за военные издержки?

Глаза Спартака загорелись гневом. Он уже открыл было рот, чтобы должным образом ответить Крассу, но, поднеся левую руку к губам, сдержался. Несколько раз провел он правой рукой по лбу, а затем сказал:

— Я не собирался ни пререкаться с тобой, Красс, ни оскорблять тебя, ни выслушивать твои оскорбления.

— А тебе разве не кажется оскорблением величия народа римского договариваться о заключении мира с рабами и мятежными гладиаторами? Надо родиться на берегах Тибра, чтобы почувствовать весь позор такого предложения! Ты, к своему не-

счастью, не родился римлянином, хотя заслуживал бы это, Спартак, уверяю тебя, и не можешь полностью понять и оценить всю тяжесть великой обиды, которую ты мне нанес.

— А тебе твоя непомерная гордость, присущая от рождения латинской расе, не позволяет понять всю меру оскорбления, нанесенного не мне, не моим товарищам по оружию, а роду человеческому, великим богам: ведь ты считаешь все народы на земле низшими расами, скорее близкими к животным, чем к людям.

И снова в картинной галерее воцарилось молчание.

После нескольких минут размышления Красс поднял голову и сказал, глядя на Спартака:

— У тебя истощились силы, ты просишь мира, так как больше не можешь сопротивляться. Хорошо, каковы же твои условия?

— У меня шестьдесят тысяч человек, и тебе и Риму известна их храбрость... По всей Италии стонут миллионы рабов, закованных вами в цепи. Все они беспрерывно пополняют и будут пополнять мои легионы. Война длится вот уже три года и, возможно, продлится еще десять лет; она может превратиться в пламя, которое сожжет Рим. Я устал, но не обессилен.

— Ты забываешь, что Помпей идет уже из Самния[1] со своими легионами, победившими Сертория, и что со дня на день в Брундизии ожидают Лукулла с войсками, сражавшимися против Митридата.

— И Лукулл также! — воскликнул Спартак, побледнев при этих словах.— Клянусь богами, великую честь оказывает Рим гладиаторам! Вы вынуждены послать против них все войска римской державы и тем не менее не снисходите до заключения мира с ними!

И после минутного молчания Спартак добавил:

— Если я позабыл о Лукулле, то и ты, в свою очередь, позабыл, что когда Красс, Помпей и Лукулл с тремястами тысяч воинов одержат надо мною верх, то славу за это превосходное предприятие — если победа над гладиаторами может вообще принести славу — придется делить между Лукуллом, Помпеем и Крассом.

Римлянин кусал губы: фракиец поразил его в самое уязвимое место. Овладев собой, Красс спросил:

— Какие же ты предлагаешь условия? Я хочу узнать твои условия.

— Армия наша будет распущена, римский сенат торжественно пообещает пощадить всех моих товарищей по оружию, все

[1] После подавления восстания Сертория в Испании Помпей вернулся в 71 году до н. э. через Галлию в Южную Италию.

они, как те, кто были прежде гладиаторами, так и те, кто гладиаторами не были, будут отправлены отдельными подразделениями во все школы и цирки Италии. Я и те немногие из моих товарищей, которые были до войны рудиариями, а также все офицеры, до центурионов включительно, будут считаться рудиариями.

— Я предпочитаю разделить славу с Лукуллом и Помпеем, чем принимать такие условия!

— А если бы ты пожелал заключить мир, каковы были бы твои условия?

— Ты и сто человек твоих, по твоему выбору, получаете свободу, а остальные должны будут сложить оружие и сдаться на волю победителя, их участь решит сенат.

— На таких...— начал было Спартак.

Но Красс, прервав его, продолжал:

— Или же, если ты устал, то оставь их; тебе предоставят свободу, гражданство, ты получишь чин квестора в одной из наших армий; войско гладиаторов без твоего умелого руководства придет в полное расстройство и через неделю будет разгромлено.

Лицо Спартака вспыхнуло пламенем. Нахмурив брови, он с угрожающим видом сделал два шага по направлению к Крассу, но, сдержавшись, произнес дрожащим от гнева голосом:

— Дезертирство... измена... Таким условиям я предпочитаю смерть со всеми моими товарищами на поле брани.

И, направившись к выходу, он сказал:

— Прощай, Марк Красс.

У порога Спартак остановился и, обратившись к римскому полководцу, спросил:

— Увижу ли я тебя в первом бою?

— Увидишь.

— Сразишься ли ты со мной?

— Я сражусь с тобой.

— Прощай же, Красс.

— Прощай.

Спартак вышел на площадку виллы и, велев своим спутникам следовать за ним, вскочил на коня и поскакал в лагерь.

Приехав туда, он тотчас же приказал сняться с лагеря и, перейдя вброд реку Брадан, держать путь по направлению к Петелии. Прибыв туда поздно ночью, он расположился там лагерем. На рассвете разведчики привели к нему взятого ими в плен римского декуриона, который во главе отряда кавалерии мчался к Крассу. Он был послан из Брундизия Лукуллом, войско которого уже прибыло в порт на кораблях, предназначенных для его перевозки. Гонец ехал к претору Сицилии известить

его о скором выступлении Лукулла из Брундизия для встречи с гладиаторами.

Спартак потерял всякую надежду на спасение; отныне выход был только один: бой с Крассом и победа над ним; вся судьба дела гладиаторов зависела теперь от исхода этого сражения. Он ушел из Петилии, вернулся к берегам Брадана и, прибыв туда вечером, разбил палатки на расстоянии одной мили от левого берега и в восьми милях от того места на правом берегу реки, где стоял лагерем накануне и куда теперь стянулись войска Красса, пришедшие сюда за несколько часов до прибытия Спартака. Ночью Красс перебросил свое войско на левый берег реки и приказал разбить лагерь всего лишь в двух милях от лагеря гладиаторов.

На восходе солнца четыре римские когорты уже принялись было углублять ров вокруг своего лагеря, как вдруг три когорты гладиаторов, ходившие в лес за дровами, увидели римлян, занятых работами на укреплениях; гладиаторы бросили вязанки хвороста и дров, которые несли на спине, и отважно ринулись на римлян. Неожиданное их нападение и крики соратников заставили всех римских солдат, входивших в состав легионов, палатки которых были поблизости, выбежать за вал и броситься на врагов; гладиаторы же, находившиеся в своем лагере, услыхав звон и лязг оружия, взобрались на вал и, увидев, что их товарищи ведут бой с римлянами, выбежали из лагеря, кинулись на них, и началось жаркое сражение.

Спартак в эту минуту свертывал папирус с ответным письмом Валерии. Он запечатал свиток, приложив к воску подаренный ею медальон, который всегда висел у него на шее, передал папирус одному из трех ее гонцов, стоявших в палатке фракийца в ожидании его распоряжений, и взволнованно сказал:

— Поручаю тебе, всем вам вверяю это письмо к вашей госпоже, которую вы так любите...

— Мы так же любим и тебя,— прервал Спартака гладиатор, приняв от него письмо.

— Благодарю вас, дорогие мои братья,— ответил фракиец и продолжал: — Поезжайте уединенными крутыми тропинками, соблюдая величайшую осторожность как ночью, так и днем, и передайте ей это письмо. Если с одним из вас случится какая-либо беда, пусть письмо возьмет другой, сделайте все зависящее от вас, чтобы оно непременно попало к ней в руки. Теперь ступайте, и да сопутствуют вам боги!

Гладиаторы ушли из палатки Спартака. Проводив их до самого выхода, фракиец сказал им на прощание:

— Запомните, что выйти из лагеря вам надо через декуманские ворота!

Как раз в этот момент до него донесся лязг оружия, шум завязавшейся схватки, и он поспешил узнать, что случилось.

То же самое сделал и Красс, принявший решение в последний раз помериться силами с врагом. Оба полководца приводили свои войска в боевую готовность. Спартак, обходя по фронту свои легионы, обратился к солдатам со следующими словами:

— Братья! Это сражение решит судьбу всей войны. В тылу у нас Лукулл: он высадился в Брундизии и теперь идет против нас; Помпей угрожает нам с правого фланга: он уже двинулся в Самний; перед нами стоит Красс. Сегодня нужно или победить, или умереть. Либо мы уничтожим войско Красса и вслед за этим разобьем Помпея, или же над нами одержат верх и все мы погибнем, как подобает храбрым воинам, столько раз побеждавшим римлян. Наше дело святое и правое, и оно не погибнет с нашей смертью. На пути к победе нам придется пролить немало крови. Только благодаря самоотверженности и жертвам торжествуют великие идеи. Лучше мужественная и почетная смерть, чем постыдная и позорная жизнь. Погибнув, мы оставим потомкам знамя свободы и равенства, обагренное нашей кровью, оставим им в наследство месть и победу. Братья, ни шагу назад! Победить или умереть!

Так он говорил. В эту минуту ему подвели его прекрасного вороного нумидийского коня; шерсть блестела на скакуне, как полированное черное дерево. На этом красавце Спартак ездил больше года и очень любил его. И вот, вынув из ножен меч, он вонзил его в грудь коня, воскликнув:

— Сегодня я не нуждаюсь в коне: если мы победим, я выберу себе любого скакуна среди вражеских коней, а если я буду побежден, то он не понадобится мне ни сегодня, ни когда бы то ни было.

Слова и поступок Спартака показали гладиаторам, что этот бой будет последним и решающим. Громкими криками приветствовали они своего вождя, прося его подать сигнал к атаке. По команде Спартака затрубили трубы и букцины, подавая сигнал к наступлению.

Подобно тому как поток, вздувшись от дождей и снега, бешено мчится с гор, заливая все вокруг, все опрокидывая и унося в своем водовороте, так и гладиаторы обрушились с неописуемой яростью на римлян, завязав с ними рукопашный бой.

Легионы Красса дрогнули под этим страшным напором, заколебались и вынуждены были отступить под непреодолимым ураганом ударов.

Спартак бился в первой линии, в центре сражения, и совер-

шал чудеса отваги и мужества; каждый удар его меча поражал врагов. Как только Спартак увидел, что вражеские легионы дрогнули и стали отступать, он приказал фанфарам третьего легиона, в рядах которого он был, протрубить условный знак Мамилию, обозначавший, что тот должен немедленно напасть на левый или правый фланг вражеского войска.

Услыхав этот сигнал, Мамилий, находившийся в тылу пехоты со своими восемью тысячами конников, пустил их галопом, обогнул левое крыло гладиаторов, и, вырвавшись вперед больше чем на две стадии, развернул свои части, и, повернув их вправо, помчался во весь опор, намереваясь ударить римлянам во фланг.

Красс внимательно следил за ходом боя, подбадривая поколебавшиеся легионы; Квинтию он дал приказ идти навстречу вражеской коннице; в свою очередь десять из пятнадцати тысяч римских кавалеристов развернулись с поразительной быстротою, так что Мамилий, намеревавшийся кинуться на правый фланг Красса и застигнуть его врасплох, неожиданно сам наткнулся на неприятельскую кавалерию и вынужден был вступить с нею в кровопролитный бой.

В то же время Муммий подвел свои четыре легиона к правому флангу гладиаторов и начал яростную атаку. Граник в ответ на это вывел тотчас же два последних стоявших в резерве легиона и в свою очередь напал на римлян.

Численное превосходство римского войска, насчитывавшего девяносто тысяч человек, не могло не сказаться на исходе сражения против пятидесятитысячной армии гладиаторов. Римские легионы стали было в беспорядке отступать под отчаянным напором гладиаторов, но тогда Красс ввел в бой несколько своих последних резервных легионов и подал знак пришедшим в расстройство частям освободить поле битвы. За четверть часа, быстро расступившись направо и налево, они дали свободный проход новым когортам, которыми командовали сам Красс и трибун Мамерк. С лихорадочной поспешностью они кинулись на Спартака и его гладиаторов, ряды которых несколько расстроились во время преследования отступавших римлян.

Еще сильнее и ожесточеннее разгорелся бой в центре, и в это время остальные пять тысяч римских конников, растянувшись вдоль правого фланга тех десяти тысяч кавалеристов, которые бились против восьми тысяч конников Мамилия, обошли его с левого фланга и напали с тыла на конницу доблестно сражавшихся гладиаторов.

За короткое время правый фланг конницы гладиаторов был опрокинут и смят; несмотря на весь опыт и энергию Граника, на невиданное мужество и отвагу его воинов, Муммию все же удалось обойти противника.

Восставшие уже больше не питали надежды на спасение, их не воодушевляла больше мечта о победе, им осталось только одно: дорого продать свою жизнь, ими руководило теперь только желание мести и решимость людей, доведенных до крайности.

Это уже было не сражение, а кровавая бойня, лютая резня. Гладиаторы были почти полностью окружены, но бой длился еще добрых три часа.

На правом и левом флангах гладиаторы, преследуемые и окруженные, отступили; только центр, где храбро сражались Спартак и неподалеку от него Арторикс, еще оказывал сопротивление врагу.

Увидев, что его одолели, Граник бросился в самую гущу сражения, убил одного трибуна, двух деканов и восемь или десять солдат, но, весь израненный, пронзенный двадцатью мечами, истекая кровью, умер как герой, каким он был всю жизнь. Так же доблестно пал начальник девятого легиона македонянин Эростен.

В центре погиб молодой, красивый Теулопик, сражаясь с большой отвагой во главе своего легиона.

Разбитая наголову конница видела, как пал, пораженный десятью стрелами, ее доблестный командир Мамилий.

Наступил вечер, а сражение все продолжалось; изнуренные, раненные и истекающие кровью гладиаторы не прекращали сопротивления.

Спартак не отступил ни на шаг, он пробился вперед с тысячью воинов, окружавших его, клином врезался в ряды шестого римского легиона, который хотя и состоял из ветеранов, все же не мог противостоять натиску фракийца и призывал на помощь Красса, сражавшегося неподалеку от того места, где находился Спартак.

Трибун Мамерк, за которым следовало множество храбрых ветеранов Мария и Суллы, бросился на Спартака, но был тут же убит им. Сопротивляться фракийцу было невозможно: его меч разил с быстротой молнии, и в несколько минут пали два центуриона и восемь или десять деканов, пытавшихся показать солдатам, как следует отражать врага. Они не смогли подать им никакого иного примера, кроме своей собственной гибели.

Бок о бок со Спартаком бился нумидиец Висбальд, начальник одиннадцатого легиона, проявляя необычайное мужество и храбрость; вокруг этих двух доблестных и могучих людей громоздились сотни вражеских трупов.

Над полем сражения сгущались сумерки, и все же римляне, которые, казалось бы, могли уже считать себя победителями, вынуждены были продолжать бой. Вскоре взошла луна и осве-

тила своими бледными лучами мрачную картину кровавого побоища.

Пало свыше тридцати тысяч гладиаторов; вперемежку с ними на обширном поле лежало восемнадцать тысяч римлян. Битва подошла к концу. Пятнадцать или шестнадцать тысяч гладиаторов, оставшихся в живых после боя, длившегося восемь часов, усталые и измученные, отходили подразделениями, манипулами и как попало, врассыпную, к близлежащим горам и холмам.

Только в одном месте все еще кипел яростный бой, все еще не была утолена жажда крови. Бой происходил в центре поля: тысяча воинов, окружавших Спартака, следуя его примеру, сражалась с такой силой, которая, казалось, никогда не истощится.

— Красс, где ты? — взывал время от времени Спартак прерывающимся голосом.— Ты обещал вступить в единоборство со мною!.. Где же ты, Красс?

Уже два часа назад Спартак приказал удалить с поля боя Мирцу, проливавшую горькие слезы. Ее пришлось увести силой.

Спартак знал, что ему суждено умереть, но ему было бы тяжко присутствовать при гибели сестры и точно так же не хотелось, чтобы она стала свидетельницей его смерти.

Прошел еще час. Щит Спартака изрешетило градом пущенных в него дротиков. На его глазах пали последние друзья его, дравшиеся рядом с ним,— Висбальд и Арторикс, который продолжал биться, хотя все тело его было покрыто ранами, а в грудь вонзилась стрела. Падая, он с несказанной нежностью крикнул своему другу:

— Спартак! В элисии... увижу тебя среди...

Спартак дрался один против семисот или восьмисот врагов, сомкнувшихся вокруг него живым кольцом. Покрытый ранами, он стоял посреди сотен трупов, нагроможденных вокруг него. Глаза его сверкали, голос был подобен грому; с быстротой молнии он вращал меч, наводя на всех ужас, поражая, нанося раны и убивая наповал всех тех, кто осмеливался напасть на него. Но вот брошенный в него с расстояния двенадцати шагов дротик тяжело ранил его в левое бедро. Он упал на левое колено и, обратив в сторону врагов свой щит, продолжал размахивать мечом и разил их с нечеловеческим мужеством, словно рыкающий лев, величием души и атлетической фигурой подобный Геркулесу, окруженному кентаврами. Наконец, пораженный семью или восемью дротиками, брошенными в него с расстояния десяти шагов и вонзившихся ему в спину, он упал навзничь и успел произнести одно только слово: «Ва...ле...рия...» — и испустил дух. Охваченные удивлением, в безмолвии окружили его римляне, ви-

девшие, как он сражался; от первой до последней минуты он бился, как подобает герою, и погиб смертью героя.

Так окончил свою жизнь этот необыкновенный человек, в котором сочетались высокие качества души, незаурядный ум, неукротимая отвага, необычайное мужество и глубокая мудрость,— все качества, необходимые для того, чтобы он мог стать одним из наиболее прославленных полководцев, деяния которого история передавала бы из поколения в поколение.

Два часа спустя римляне ушли в свой лагерь. Мрачная тишина, царившая на поле битвы, озаряемом печальным лунным светом, нарушалась только стонами раненых и умирающих, лежавших вперемежку с мертвецами.

По этому полю смерти бродила лишь одинокая фигурка, с трудом пробираясь среди бездыханных тел, которыми было усеяно поле. Медленно и осторожно продвигалась она к тому месту, где дольше всего шел ожесточенный бой.

Выйдя на освещенное луной место, она вдруг заблестела, словно серебряная, и тогда стало видно, что это воин, шлем и доспехи которого тускло сверкают в лучах луны.

То был, наверное, гладиатор или римлянин, движимый великодушным намерением посетить в такой поздний час это мрачное поле.

Воин долго бродил по полю, пока не дошел до того места, где было нагромождено больше всего трупов и где пал Спартак. Здесь воин остановился. Склонив голову, он рассматривал одно за другим бездыханные тела, пока не разыскал наконец труп вождя гладиаторов. Опустившись перед ним на колени, маленький воин не без труда поднял белокурую голову фракийца и прислонил ее, как к изголовью, к трупу одного из римских центурионов, которого поразил своей рукой Спартак.

Лунное сияние осветило покрытое смертной бледностью лицо гладиатора, такое же прекрасное, как и в жизни, и маленький воин, по лицу которого катились горячие слезы, с громкими рыданиями прильнув устами к этому безжизненному лицу, покрывал его нежными поцелуями.

Воином этим, как читатели могли уже догадаться, была Мирца. Когда гладиаторы были окончательно разгромлены и каждый, кто считал, что умирать бесцельно, думал только о собственном спасении, ища его в бегстве, Мирце удалось ускользнуть от тех, кому поручил ее Спартак. Она вернулась на поле боя, не надеясь застать в живых ни Спартака, ни Арторикса, но в печальной уверенности, что найдет хотя бы их бездыханные тела и простится с дорогими ей покойниками.

— О Спартак!.. Брат мой!..— восклицала девушка слабым, дрожащим от рыдания голосом, целуя Спартака.— Каким

довелось мне увидеть тебя! Какое горе! Что сделали они с твоим прекрасным телом! Сколько ран на тебе... сколько крови!..

Девушка умолкла. Вдруг раздался стон. Он был слышен отчетливее, чем другие стоны, которые в этой мрачной тишине время от времени доносились до нее.

— Неужели я не увижу больше твоего взгляда, так ласково смотревшего на меня! Не увижу больше, любимый брат мой, твоей прекрасной улыбки, сиянием доброты и нежности озарявшей твое благородное лицо? Не услышу больше твоего звучного голоса, дорогих мне слов благодарности за мои малые заботы о тебе!.. О брат мой... о брат мой... не увижу больше, не услышу! О Спартак, любимый брат мой!

И душераздирающий плач снова прервал речь Мирцы, которая все обнимала холодное тело брата.

В эту минуту до ее слуха снова донесся стон, может быть более слабый, но протяжнее первого.

Девушка не двигалась, она по-прежнему целовала лицо бездыханного Спартака.

В третий раз послышался стон, и теперь стонавший произнес какое-то слово.

Девушка поднялась, напрягая слух; она услышала, как кто-то медленно, с трудом произнес ее имя.

Тогда она вскочила, дрожь пробежала по всему ее телу, капли холодного пота выступили на лбу, глаза расширились от ужаса, и она громко спросила, сама не зная кого, как будто ее могли тут услышать:

— Во имя богов, кто это?.. Кто зовет меня?

Ответа не последовало.

Мирца замерла неподвижно, взор ее остановился, точно она окаменела.

— Мирца!.. Родная моя Мирца!..— отчетливо произнес на этот раз умирающий.

— Ах! Что же это? — радостно вскрикнула девушка.— Неужели это ты, Арторикс?

Шагая через трупы, она приблизилась к тому месту, где лежал, утопая в крови, Арторикс. Лицо его было бледное и холодное, время от времени он медленно поднимал веки, уже отягощенные сном смерти.

Мирца упала перед ним на колени и, покрывая его лицо поцелуями, шептала прерывающимся голосом:

— О... ты жив, любимый мой, обожаемый Арторикс!.. Мне, может быть, удастся спасти тебя... и я согрею тебя своим дыханием... перевяжу твои раны... перенесу в безопасное место...

От прикосновения пылающих губ Мирцы умирающий оч-

нулся и, чуть приоткрыв угасающие глаза, произнес слабым голосом:

— Уже... мы уже встретились? Так... скоро? Значит, мы в элисии, моя дорогая Мирца? Но почему... так холодно... в элисии?..

— Нет,— воскликнула в порыве горячей любви девушка, целуя его,— нет, мы не в элисии... Это я, я, твоя Мирца... Ты жив... будешь жить... потому что я хочу, чтобы ты остался жив... мне нужна твоя жизнь! Правда ведь, ты останешься жить, мой любимый?..

Галл закрыл глаза, как бы боясь, чтобы не исчезло это чудное видение. Но горячие поцелуи девушки заставили его очнуться, и, открыв глаза, на миг загоревшиеся живым огнем, он обнял ослабевшими руками шею Мирцы и прошептал:

— Значит, это правда?.. Я еще жив и мне дарована... перед смертью... невыразимая сладость твоих поцелуев?..

— Да, да, тебе, тебе, мой Арторикс... Но ты не должен умереть... я твоя... твоя... всем сердцем.

— О, я умираю счастливым!.. Гез... внял моим мольбам...

Голос Арторикса становился все глуше и слабее, усилие, которое он сделал над собой, волнение радости окончательно истощили его последние жизненные силы.

— Мирца!..— воскликнул он, целуя девушку.— Я... умираю...

Девушка своими устами почувствовала, как задрожали его губы, и, услыхав тяжелое и хриплое дыхание, она поняла, что ее любимый угасает, и прошептала:

— Не умирай... подожди меня... умрем вместе и вместе уйдем в элисий!..

Она выхватила из ножен меч, висевший на поясе Арторикса, и, не дрогнув, твердой рукой вонзила его себе в сонную артерию.

— С тобой,— шептала она, крепко обнимая любимого,— я умираю, с тобой войду в обитель блаженных...

— Что... ты сделала? — еле слышно спросил умирающий.

— Я разделяю твою судьбу... любимый мой...

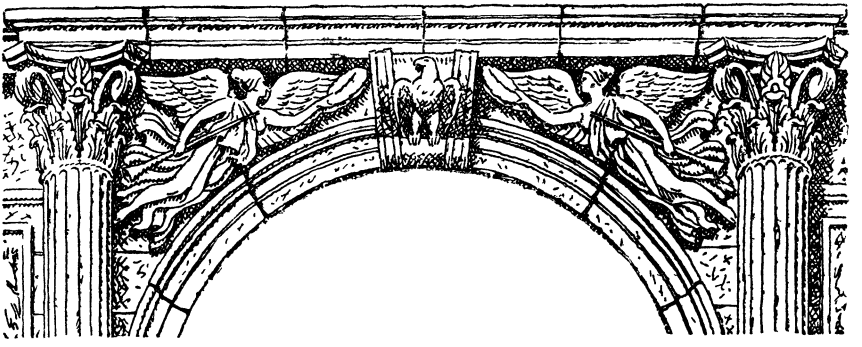
Но она говорила уже с трудом: удар клинка разрезал важнейшую для жизни артерию. Девушка еще теснее прижала юношу к своей груди, и, слив свои уста в поцелуе, они оба испустили дух после короткой агонии.

В эту минуту два гладиатора, осторожно шагая по полю, подошли к тому месту, где лежал Спартак, и, подняв его тело, завернули в широкое шерстяное покрывало темного цвета. Один из них держал ноги, другой поддерживал голову; не без труда вынесли они его с поля сражения. Пройдя свыше двух миль, гладиаторы вышли на дорогу, где их ждала телега, запряженная двумя волами, под присмотром старика крестьянина.

Положив на эту деревенскую телегу тело фракийца, они прикрыли его множеством мешков с зерном, лежавших около телеги, так что тело Спартака было скрыто от глаз.

После этого телега отъехала; солдаты молча шли следом за ней.

Эти солдаты были близнецы Ацилий и Аквилий, сыновья старого Либедия, управителя тускуланской виллы Валерии. Они везли останки погибшего вождя на виллу любившей его женщины, чтобы избавить от поругания, на которое обрекла бы их наглая дерзость победителей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя две недели после сражения при Брадане война с гладиаторами была окончена. Несколько тысяч гладиаторов, которые уцелели от этой резни, бежали в горы, но, будучи лишены связи между собою, без руководителей и к тому же безостановочно преследуемые, с одной стороны Крассом, с другой — Помпеем, также прибывшим на место военных действий, были в несколько дней уничтожены. В плен попало не более семи тысяч; все они были повешены вдоль Аппиевой дороги, от Капуи до Рима.

Во время погребения римских солдат, погибших при Брадане, победители тщетно пытались найти труп Спартака. Поиски не дали никаких результатов. По этому поводу высказано было немало самых разнообразных и подчас странных предположений, но все они были бесконечно далеки от истины.

Так окончилась эта война, длившаяся почти четыре года, война, в которой гладиаторы доказали своим мужеством, что

они — люди, достойные свободы и способные на великие подвиги. Спартак показал в этой войне, что он был одним из самых отважных и достойных славы полководцев, каких только знал мир.

Дело, за которое вели борьбу гладиаторы, было святым и наиболее справедливым из всех когда-либо воодушевлявших до того времени людей. За него пролито было много крови, ее было много пролито и в дальнейшем, немало пролито ее и в наши дни, но борьба за это дело приводила только к кратковременным и ничтожным успехам — и ни разу не увенчалась полной победой.

Пала римская тирания, на смену ей пришли тысячи варварских тираний и мрак средневековья; феодализм и католичество при помощи обмана еще крепче заковали в кандалы угнетенные народы. И лишь постепенно, в результате медленного, но неуклонного движения вперед человеческого разума, непрестанного движения науки стало возможным после столетий кровопролитных битв прийти к французской революции 1793 года, которая восстановила наконец — по крайней мере, в законодательстве — права гражданина и человека и признала хотя бы в принципе,— отвлеченном, но все же неоспоримом и более уже не оспариваемом,— равенство всех людей на земле. Законы, которые регулируют взаимоотношения между государством и гражданами, а также те, которые устанавливают права и обязанности каждого по отношению к другим и к самому себе, нельзя считать совершенными; стоит подумать о тех ужасных переворотах, которые потрясали в последнее время общество, прислушаться к отдаленному смутному гулу, доносящемуся до нас, время от времени смущающему видимое спокойствие мира; эти мрачные раскаты грома — провозвестники грядущих еще более неистовых ураганов.

А теперь закончим нашу повесть и приведем читателей в такое место, где они встретятся с двумя героями нашего повествования, которых — мы льстим себя надеждой — они уже успели полюбить, и поэтому им небезынтересно будет узнать о некоторых событиях в жизни этих действующих лиц.

Прошло три недели после разгрома при Брадане. В то время как Красс и Помпей, затаив ненависть и зависть друг к другу, приближались со своими войсками к Риму, причем каждый из них считал, что только он потушил этот пожар, и требовал себе консульства, прекрасная Валерия сидела на скамеечке в своем конклаве на тускуланской вилле, завернувшись в серую траурную столу.

Дочь Мессалы была очень бледна. Лицо ее хранило следы недавно пережитого глубокого горя. Веки были красны и опухли

от слез; по прекрасным плечам рассыпались мягкие, густые, черные, словно вороново крыло, волосы; в глазах и на всем лице лежал отпечаток невыразимой печали, глубокого, разрывающего сердце отчаяния.

Валерия сидела, облокотившись на поставец и уронив чуть склоненную голову на ладонь левой руки, а в правой сжимала папирус. Черные глаза ее были устремлены на погребальную урну, и эту прекрасную женщину в глубоком немом горе можно было уподобить Ниобее.

Казалось, она говорила: «Посмотрите, есть ли на свете горе, которое могло бы сравниться с моим!»

На скамейке около поставца, также в трауре, стояла миловидная светловолосая Постумия; природная красота сочеталась в ней с детским очарованием и грацией. Нежными пальчиками она водила по чеканным фигурам, листьям и узорам, украшавшим погребальную урну. Время от времени девочка вскидывала свои большие черные глаза на опечаленную мать, словно огорченная ее долгим молчанием.

Вдруг Валерия вздрогнула и, поднеся к глазам папирус, который она продолжала держать в правой руке, снова стала перечитывать его.

Вот что было написано в этом письме:

Дивной Валерии Мессала
Спартак
шлет привет и пожелание счастья.

Из любви к тебе, моя дивная Валерия, я встретился с Марком Крассом и сказал, что сложу оружие. Я готов был согласиться на все из любви к тебе и к нашей дорогой Постумии, но претор Сицилии предложил мне жизнь и свободу ценой измены.

Я предпочел быть неблагодарным по отношению к тебе, бесчеловечным к моей дочери, чем предать своих собратьев и покрыть свое имя вечным позором.

Когда ты получишь это письмо, меня, вероятно, уже не будет в живых: предстоит большой и решающий бой, в котором я со славой закончу свою жизнь.

Таковы начертания враждебного рока. Перед смертью я испытываю потребность, о дивная моя Валерия, просить у тебя прощения за все причиненное тебе горе. Прости

меня и живи в радости. Умирая, я благословляю твое полное мужества сердце, твою благородную, любящую душу.

Будь сильной и живи. Живи ради любви ко мне, живи ради этого невинного ребенка — таково пожелание и просьба умирающего.

Слезы сжимают мне горло, я задыхаюсь, и меня утешает лишь одна мысль: что я обниму тебя, твой бессмертный дух, в лучшем мире. Тебе мой последний поцелуй, к тебе стремится моя последняя мысль, последнее биение сердца

твоего Спартака.

Окончив читать, Валерия поднесла письмо к губам и громко зарыдала.

— Мама, почему ты так плачешь? — печально спросила девочка.

— Бедное дитя мое! — воскликнула Валерия прерывающимся от рыданий голосом, лаская белокурую кудрявую головку Постумии и глядя на нее с невыразимой нежностью.— Ничего! Ничего со мной не случилось! Не огорчайся, дитя мое!

Она привлекла к себе девочку и, обливаясь слезами, покрыла ее лобик поцелуями.

— С тобой ничего не случилось, а ты плачешь! — с упреком сказала Постумия.— Когда я плачу, ты говоришь, что я нехорошая! А теперь ты, мама, нехорошая!

— О, не говори так, не говори!..— воскликнула бедная женщина, еще горячее лаская и целуя ребенка.— О, если бы ты знала, как ты делаешь мне больно, дитя мое!..

— А когда ты плачешь, мне тоже больно!

— О родная моя, как ты мне дорога и как ты жестока ко мне, отныне моя единственная, чистая любовь!

И с этими словами несчастная, снова поцеловав письмо, спрятала его у себя на груди. Она протянула руки к Постумии и посадила ее к себе на колени, стараясь удержать свои слезы; целуя, лаская и гладя волосы девочки, она сказала:

— Ты права, моя малютка, я была нехорошей... но теперь этого не будет. Я буду думать только о тебе и буду крепко-крепко любить тебя, моя девочка, очень крепко. А ты будешь любить свою маму?

— Да, да, всегда, всегда, очень, очень крепко!

Постумия подняла головку, обвила своими ручонками шею

матери и начала горячо целовать ее. Затем девочка снова принялась гладить своими ручками урну.

В конклаве наступила тишина.

Вдруг Постумия спросила у матери:

— Скажи мне, мама, что там внутри?

Глаза Валерии наполнились слезами. Скорбно подняв их к небу, она воскликнула:

— О бедная моя крошка!..

Через минуту, с трудом сдерживая слезы, она дрожащим голосом промолвила:

— В этой урне, моя бедняжка, прах твоего отца!

И снова зарыдала.

СОДЕРЖАНИЕ

Утченко С. Рим и восстание Спартака 3

Глава первая. Щедроты Суллы 21
Глава вторая. Спартак на арене 41
Глава третья. Таверна Венеры Либитины 62
Глава четвертая. Что делал Спартак, получив свободу . 83
Глава пятая. Триклиний Катилины и конклав Валерии . 102
Глава шестая. Угрозы, заговоры и опасности 120
Глава седьмая. Как смерть опередила Демофила и Метробия 146
Глава восьмая. Последствия смерти Суллы 165
Глава девятая. О том, как некий пьяница вообразил себя спасителем республики 196
Глава десятая. Восстание 223
Глава одиннадцатая. От Капуи до Везувия 254
Глава двенадцатая. О том, как благодаря своей прозорливости и ловкости Спартак довел число своих сторонников с шестисот человек до десяти тысяч 271
Глава тринадцатая. От Казилинского до Аквинского сражения 293
Глава четырнадцатая, в которой среди многих различных чувств преобладающим оказалась гордость ликтора Симплициана 316
Глава пятнадцатая. Спартак разбивает наголову другого претора и преодолевает большие искушения 353
Глава шестнадцатая. Лев у ног девушки.— Посол, понесший наказание 375
Глава семнадцатая. Арторикс — странствующий фокусник 396
Глава восемнадцатая. Консулы на войне.— Сражение под Камерином.— Смерть Эномая 423

Глава девятнадцатая. Битва при Мутине.— Мятежи.— Марк Красс действует 447
Глава двадцатая. От битвы при горе Гарган до похорон Крикса 471
Глава двадцать первая. Спартак среди луканцев.— Сети, в которые попал сам птицелов 496
Глава двадцать вторая. Последние сражения.— Прорыв при Брадане.— Смерть 522
Заключение 552

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 36)

Рафаэлло Джованьоли

СПАРТАК

*

Ответственный редактор
Н. С. Дроздова

Художественный редактор
М. Д. Суховцева

Технические редакторы
Л. П. Костикова и Т. Д. Юрханова

Корректоры
К. И. Каревская и Г. В. Русакова

Сдано в набор 24/IV 1976 г. Подписано к печати 22/X 1976 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 35,13. Уч.-изд. л. 34,93+ +1 вкл.=35. Тираж 400 000 (1—200 000) экз. Заказ № 2843. Цена 1 р. 56 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

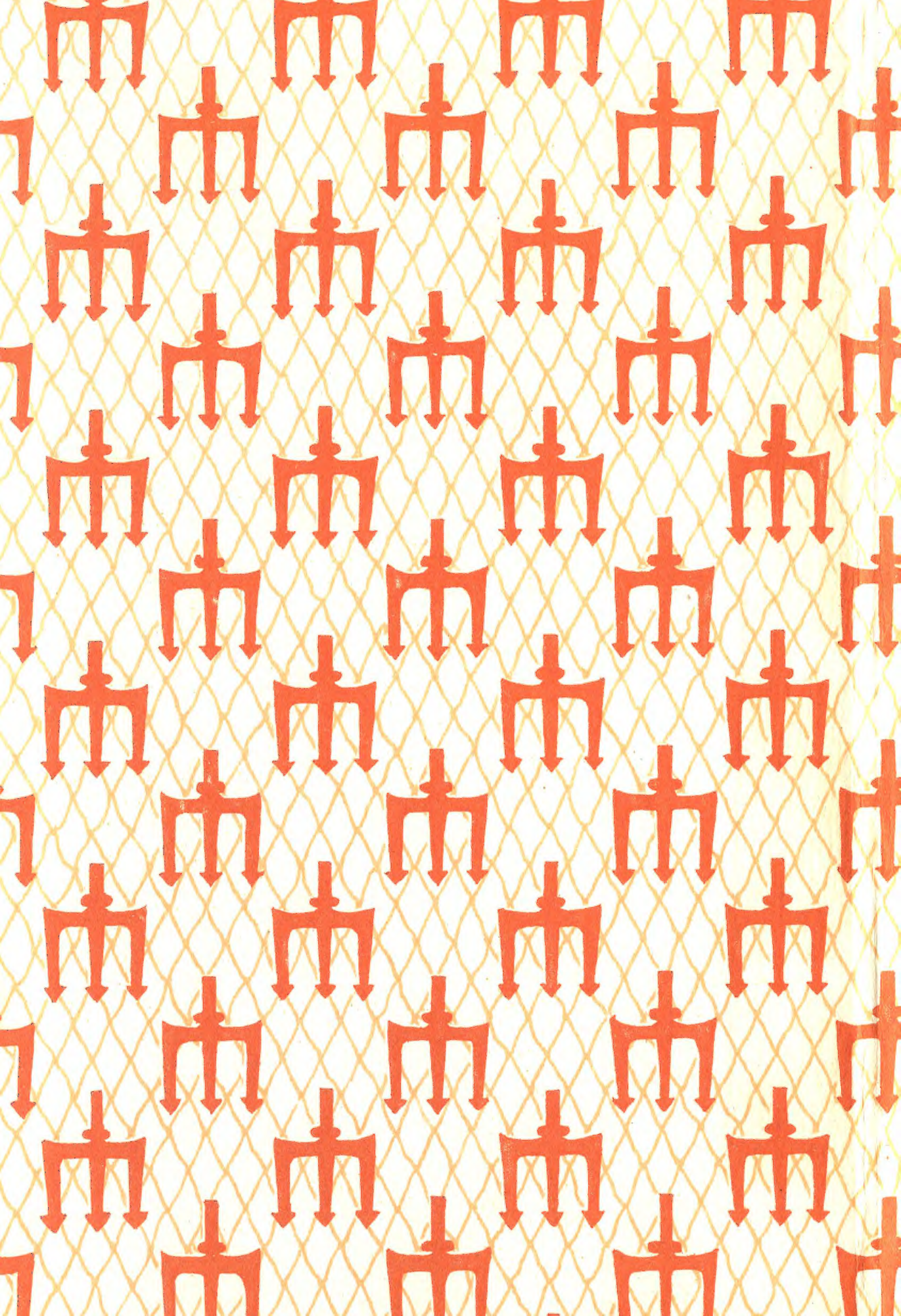
Джованьоли Р.

Д 42 Спартак. Роман. Пер. с итал. А. Ясной. Предисл. С. Утченко. Оформл. Б. Дехтерева. Рис. Л. Фалина. М., «Дет. лит.», 1976.

558 с. с ил.+вкл (Библиотека мировой литературы для детей, том 36).

В романе рассказывается о восстании под руководством Спартака — самом крупном в истории восстании рабов (74—71 гг до н э) в Древнем Риме

Д $\frac{70803-598}{M101(03)76}$ Подп. изд. И(Ит)



Д Р. 58 в.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»